

**ГЕРМАН ИОНИН**

**ПРИТЧИ  
Поэмы  
Повести**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2012 - 2019



© Г. Н. Ионин, 2019.

© «SUPER», 2019

## ОТ АВТОРА.

Части этой книги связаны между собой. А читать ее просто. Нужно только помнить, что все написанное, - процесс, а не какой-то итог, о котором идет рассказ. История-притча. Более, чем за полвека – от конца 40-х годов – до наших дней и – дальше, в будущее. В основе – реалии, доступные автору, пережитые им.

Сердце книги - «Миша», поэма, написанная давно, сразу после смерти сына. Боль, выраженная здесь, порождает все остальные метафоры и притчи. Форма – поток сознания. Как положено в таких случаях: алогично, ассоциативно и, по отношению к читателю, - доверительно.

Что роднит стихи и повести, собранные здесь?

Фантастическое допущение: то, о чем говорится, происходит уже после конца бытия. А Небытие все поглотило и пробует заново. И получается не совсем как было - так и не так. Отсюда перескакивания – возвраты, рывки в будущее. И вот взаимопереходность сознаний. И порой не сразу понимаешь, кто именно из персонажей чувствует и говорит. И все равно в итоге читатель, по какой-то детали, разрешает недоумение.

Тут любой персонаж – ипостась другому. В пространстве и времени. И так не только с отдельными людьми, но и с эпохами истории. Даже бытие и небытие – ипостасны. По мнению автора, подобная реальность посылает нам благую весть о предельной степени любви и победе над смертью. И эта весть христианская – по сути своей.

Думаю, наука подтвердит многие из нынешних философских метафор и притч. Но пока вот он – особый язык породненных потоков сознания. Внешне – трудный и недоступный. А на самом деле простой. Герои повестей как будто все друг о друге знают и в какой-то момент это чувствуют. И тогда преодолено самое страшное – абсурд разобщения. И даже кажется – минувшее можно вернуть и поправить... Но самое горькое в нем все равно уже нельзя изменить.

У героев книги есть прототипы. Не более. И не надо никого узнавать. Обилие реалий не содержит персональных намеков. Еще бы. Все вымышлено. И только потому все для меня заново пережито.

---

**КРЫЛАТЫЙ ПАСТЭР.**  
**Памяти Ювана Шесталова.**

1.

Мы отправляемся туда,  
Совсем не ожидая чуда,  
И оживаем иногда  
И возвращаемся оттуда.  
Небытие на полпути  
Не разрешит противоречий.  
Но ты, мой брат, не уходи,  
Не прерывай последней встречи.  
Наперекор и вопреки,  
Преображение любое.  
Не прерывай моей тоски,  
Не уводи меня с собою.  
Рука магическая ждет  
И приглашает не мешать ей.  
Последней книги переплет,  
Последнее рукопожатье.  
А ты невидим и готов  
Заговорить стихом, которым  
Простор болот и городов  
Объединял небесный Торум.  
И здесь, над этой пустотой  
Крылатый Пастэр подымался.  
Над Русью и рекою той,  
Где ты рожден, великий манси.  
Рекой и космосом распят,  
Один из тех, кого мы ищем,  
Ты останавливал распад  
Камланием и городищем.  
Распад Руси и естества  
Предотвращал мольбой о чуде.  
Конечно, песнь твоя жива  
И в мире, и в мансардном чуме.  
Теперь согласьем подтверди  
Твои творения и были.  
Ты мой. Ты у меня в груди,  
Как сын, которого убили.  
Рука магическая ждет  
И приглашает не мешать ей.  
Последней книги переплет.  
Последнее рукопожатье.

## 2.

Кидаю ладони и длани,  
Пока с бытием наравне  
Котел небытийных камланий  
Кипит и клокочет во мне.  
Природный запас перепродан,  
В бреду и в беде города.  
Котлами камлает природа,  
Огонь раздувает беда.  
Голгофа моя непосильна,  
Единственный голос прямой –  
Губами убитого сына  
Кричит апокалипсис мой.  
А ты удержаться попробуй  
И без берегов и без меж  
Плыви за последнею пробой  
Последний шумер Гильгамеш.  
Увидеть вполне допустимо  
За ширью Оби ледяной  
Бессмертного Утнапиштима  
С его молодою женой.  
Не знаю, откуда взялося,  
Но впору на этом пути  
Догнать шестиногого лося  
И в жертву его принести.  
Народам от чума до чума  
Земное спасение брось,  
И Пастэра – Мир-суснэ-хума –  
Узнает вселенская ось.  
Взмывая над горем и бытом,  
Летя, и любя, и постясь,  
Живет в моем сыне убитом  
Иного Христа ипостась.  
Моею неведомой верой  
От Торума не уклоня,  
Мой Пастэр, поверь и поверуй,  
В себе открывая меня.  
Сегодня, земной и крылатый,  
Мы оба сгораем дотла,  
Сверяя свои результаты  
Над вечным кипеньем котла.

## 3.

Я свой или чужой замаливаю грех,  
Когда у Иртыша предсказываю грустно,  
Что вот произойдет опять слиянье рек  
И посреди болот родит бывшее русло.  
Необозримая стоячая вода,  
Поросшая со дна зеленою щетиной,  
Я думаю, и ты сумеешь, как тогда,  
Соединив себя, рекою стать единой.  
Пока тебя зовет и втягивает Обь,  
Чтобы воскресла ты, в ее течение канув,  
Стоячая вода, попробуй обособь  
Себя от городов и нефтяных фонтанов.  
Сиюминутные расчеты перекрой,  
Любого хищника пугая до отказа  
Невыносимую и жуткою игрой  
Гигантских факелов сжигаемого газа.  
Но, видимо, я свой замаливаю грех.  
Река и заводи меня заколдовали.  
А ожидаемое мной слиянье рек  
И обновление произойдут едва ли.  
Предусмотрительно глаза твоих болот  
Щетиною травы прошиты и зашиты.  
Индус откажется, китаец не придет  
Осваивать простор твоей самозащиты.  
Но ты пригни ко дну зеленую траву,  
Открой глаза твои, поговори со мною.  
И я от радости невольно поплыву  
Безбрежную твоей зеркальной быстриную.  
Родные берега, причастные при мне  
Иному бытию или иному полдню,  
Зовут меня, ведь я на этой быстрине  
Родные языки моих народов помню.  
Мое Небытие сюда перебралось...  
Но я уже тобой и выявлен и понят.  
Стоячий океан или земная ось  
Меня осознают и по течению гонят?  
Пока еще снега простор не замели,  
Пока еще тебя молитвой беспокою,  
Соедини ручьи и реки всей земли,  
Соедини и стань единою рекою.

## 4.

Моя победа остается в силе,  
И эту силу вам не побороть.  
Меня о той победе попросили  
Святые силы, да и сам Господь.  
А было мне предложено во имя  
Зеленого простора моего  
Народов изначальное родство  
Оборонить могилами своими  
И целый мир еще усеять ими  
И заодно освободить его.  
Наверно, от всего пережитого  
Испепеленное горит во мне,  
Чтоб я была по-прежнему готова  
К любому подвигу в такой войне.  
Сегодня пустота на пьедестале,  
И что осталось от России той?  
Георгий Жуков и товарищ Сталин  
В небытии под каменной плитой.

И, получается, никто не властен  
Осуществить великие дела.  
Я отказалась от военной власти  
И никому ее не отдала.

Меняйте конституцию и знамя,  
За всех убитых совершайте суд.  
Страною ипостасного сознания  
Меня мои потомки назовут.  
Предателю сейчас любое можно,  
Душа гниет, взрываются дома.  
И все же неожиданно и мощно  
Я отовсюду выйду к вам сама.  
А вы еще не догадались, где я?  
Но ведь не ваш торгашеский разлад  
И не национальная идея  
Меня сегодня возвратят назад.  
Я это обнаруживаю сразу  
В глубинах моего небытия.  
Идею не придумать по заказу,  
Тем более такую, как моя.  
И, очевидно, я уже нескоро,  
Минуя нынешнюю западню

И не теряя моего простора,  
Мои народы вновь соединю.  
И все-таки, передо мною каюсь  
И понемногу заново сплотюсь,  
Вы ипостасны мне, а я покамест  
Одной себе живая ипостась.  
И уж потом по моему примеру  
Иные поколения там и тут  
И те, которые еще идут,  
Припоминая годы этих смут,  
Поймут мою неслыханную веру  
И, я надеюсь, правильно поймут.  
Не предписали, не провозгласили,  
Но выше ничего на свете нет.  
Моя победа остается в силе,  
Она предвестье будущих побед.  
А будет мне предложено во имя  
Зеленого простора моего  
Усеять мир голгофами своими  
И умереть, освободив его.

## 5.

Не делайте движений запоздалых  
И успокойтесь на какой-то миг.  
Все происходит в эрмитажных залах  
Среди картин и мраморов моих.  
Тут все они хотят соединиться  
В немую сцену раз и навсегда.  
Здесь петербургская моя столица  
И помещенье страшного суда.  
Здесь откровения предназначали  
И переадресовывали мне.  
Здесь понемногу белыми ночами  
Преодоление зреет в тишине.  
И вот опять полночная прогулка,  
Пока не объяснимая никак.  
И в каждом зале отдается гулко  
Мой одинокий полуночный шаг.  
И, ничего не зная о моменте  
Преодоления моих скорбей,



Пошевелился на лиловом стенде  
Нефритовый зеленый скарабей.  
Не уходи, поэму переделай,  
Увиденное разглядишь потом.  
А то иначе этой ночью белой  
Живые оживут перед судом.  
Убитый мальчик скорчился и замер  
Уже, наверно, пять веков назад.  
Но почему-то оживает мрамор  
В ответ на мой неосторожный взгляд.  
И вот возобновляются исканья.  
Прообраз исчезает без следа.  
Еще немного, и из глыбы камня  
Старик-ваятель выглянет сюда.  
Раскаты грома набегают свыше,  
Но никому их слышать не дано.  
Ведь я перед судом оттуда вышел,  
Где все уже давно сотворено.  
Пока еще не грянули раскаты,  
Я ухожу и больше не приду.  
Не надо беспокоить экспонаты,  
Они готовы к страшному суду.

## 6.

Низовское поле, степь ли –  
Вы источник моей тоски.  
Никому не нужные стебли  
Тянут к небу свои колоски.  
Урожай такой иллюзорен  
Для художников и для стад.  
В колосках не хватает зерен,  
Оттого и прямо стоят.  
Что вы плачете все, как дети,  
Повинуясь и повинясь?  
Я таких расставаний свидетель,  
О каких не слышали у нас.  
У какого иконостаса  
И, простите, в храме каком  
Весь народ с Россией расстался  
Абсолютно и целиком?

Апокалипсис был кричащим,  
Чашу мимо не пронесут.  
Всех, кто к этому был причастен,  
Вызываю на страшный суд.  
Не риторикой допотопной  
Эти строки порождены.  
Заказные убийства подобны  
Убиению моей страны.  
На каком пороге и где мы,  
Если в книге добра и зла  
Гибель сына до этой темы  
Дорастала и доросла?  
А тоска по родному дому  
Бытие повернула вспять  
И, как видите, мне, седому,  
Десять лет не давала спать.  
Миражи и мои миражи,  
Ипостаси родной семьи,  
Не кивайте на силы вражды,  
Поглядите в души свои.  
Умираю и возвращаюсь  
И влагаю в последний стих  
То, как родина смотрит, прощаясь,  
Колосками полей пустых.  
И она все больней и краше,  
И тоска моя все сильней.  
Почему никому не страшен  
Страшный суд расставанья с ней?

---

## *РОССИЯ*

1

В неописуемом развале  
Назрела новая беда,  
А мы и не подозревали  
Итогов страшного суда.

От Бога выпадает милость  
Еще пожить недели две,  
И ничего не изменилось  
Ни в Петербурге, ни в Москве.

А на сто первом и сто пятом,  
Куда ведет моя тропа,  
Взрывается последний атом,  
Горит последняя изба.

И мы опять в недоуменье  
Или пытаемся опять

Остановить грехопаденье  
И откровение прервать.

И потому за две недели  
Нам не добавлено и дня.

А это ведь на самом деле  
Очередная западня.

И я отвечу головою,  
Преследуя благую цель,

И даже бытие удвою  
На протяженье двух недель,

И даже вдвое или втрое  
Благоустрою впереди

Существование второе,  
Куда мы сможем перейти.

Но кто взрывает ежедневно  
Лабораторию мою?

И почему она враждебна  
Единственному бытию?

Мойм колайдером ускорясь,  
Она усиливает звук

И увеличивает скорость,  
Уничтожая все вокруг.

И на сто первом и сто пятом,  
Куда ведет моя тропа,  
Взрывается последний атом,  
Горит последняя изба.

И доверительно со мною  
И окончательно простясь,  
Уходит Бытие родное  
В свою иную ипостась.

И тяжело и непосильно  
Прикосновением одним  
Оттуда вызываю сына  
И оживаю рядом с ним.

## 2.

Себя в тумане растворив,  
Стоит недвижим и молчит он.  
Ведь на двоих или троих  
Мой небытийный дом рассчитан.

Он выкрашен и укреплен  
На железобетонных сваях,  
И уж не двигается он,  
Как иногда во сне бывает.

Не понимаю, чем и как  
Он отличается от прочих,  
Но не обжит его чердак  
И пишущей машинки почерк.

А домик прямо на виду,  
И все равно, пройдя по саду,  
Я к самому себе приду,  
Войду и за машинку сяду.

Строками клавиш и трудом  
Избавясь от моих писаний,  
Пойду потом в наш малый дом,  
Строенье, спаренное с баней.

Все из тумана восстает,  
И все по-прежнему знакомо.  
Небытие воссоздает  
Меня и оба наших дома.

Но опасуюсь я, что здесь  
Неисчислимы варианты.  
Глядит моя благая весть  
В окно и сквозь стекло веранды.  
И возмещеньем всех потерь  
Я вижу сквозь листву и хвою –  
Идут, ключом открыли дверь,  
Порог переступили двое.  
Они, любимые мои,  
Живут, любя и прозревая,  
Мой сын, еще в небытии,  
А с ним жена моя – живая.  
Однако в садике своем  
Я замыкать себя не стану.  
Вселенная, как мы втроем,  
Сейчас выходит из тумана.  
И вот я оказался прав:  
Небытия благая сила,  
Все варианты перебрав,  
Мой вариант возобновила.

## 3.

Надежен или завышаем,  
Ответ земле необходим.  
Кому Россию завещаем?  
Кому Европу отдадим?  
Я не ответил и ушел бы,  
Оборонясь и устроясь.  
Но ведь уже людские толпы  
Ответов требуют у нас.  
Предупреждениями одними  
Настаивают на своем.  
Уже земля горит под ними,  
А мы ответа не даем.  
За все грехи и преступленья  
Испытываю боль и стыд.  
Вы не хотите обновленья,  
Которое нам предстоит?

Приоритет непрекаем,  
Война отчаянней и злей.  
Но мы людей не испугаем  
Цивилизацией своей.  
Никто ведь лаской и указкой  
Не ущемил и не сломил  
Американский, африканский  
И палестинский третий мир.  
Когда материки потонут,  
Не оправдается расчет.  
Китай останется не тронут,  
А рядом Индия растет.  
Уже давно землю прожит  
И первый наш, и третий Рим.  
И вот земля терпеть не может  
Все то, что мы сейчас творим.  
Существованье на пределе  
От общих и глобальных бед.  
Пора подумать, в самом деле,  
И обнародовать ответ.  
Но мы опасные истоки  
Заведомо уберегли.  
И все произойдет в итоге  
По воле матери Земли.

## 4.

Преодоленье осознает,  
Чему себя предназначать,  
Пока Небытие не знает,  
Что делать и с чего начать.  
Сначала скрипнет половица,  
Потом из воздуха почти  
Я предназначен появиться  
И первый стих произнести.  
Работа жуткая, немая.  
И вот, когда чердак затих,  
Произношу, не понимая,  
Что это мой последний стих.

Иронизирую предвзято  
О недописанной строке,  
Что будто я ее когда-то  
Забыл на этом чердаке.  
И даже из пустого кресла,  
Где я сидел последний раз,  
Она в Небытие пролезла  
И там со мной разобралась.  
Она усилила мой поиск,  
И что в ней так и что не так.  
И, ни о чем не беспокоясь,  
Меня вернула на чердак.  
Теперь ходи за нею следом  
Или окошко занавесь,  
Но ты невидим и неведом  
И нереален там и здесь.  
Неугомонная, земная,  
Ведь я один тобою взят.  
И вот Небытие не знает,  
Как возвратить меня назад.  
В уединении сугубом  
Отныне ласточка одна  
Потрогает крылом и клювом  
Стекло чердачного окна.  
И удивительная странность:  
Один бродя по чердаку,  
Я не уйду и не останусь,  
И допишу мою строку.

## 5.

Тирада произнесена  
И открывает за пределом  
Особое сознание сна  
В тумане розовом и белом.  
Неузнаваемо земной  
Он обволакивает свыше  
Верхушки яблонь подо мной  
И чуть приметный гребень крыши.

Прочитываю до конца  
Язык передрассветных пятен,  
А у веранды и крыльца  
Туман глубокий и необъятен.  
От дома и от чердака  
Иду нездешними шагами,  
На ощупь и наверняка  
Припоминая каждый камень.  
Я в этот мир перенесен,  
Где плоть и кровь моя живая,  
Но это небытийный сон,  
Которым я овладеваю.  
Овладевай и не спугни  
Туман, которым ты обманут.  
Поселка первые огни  
Реальными огнями станут.  
И так до утренней зари,  
До будки железнодорожной.  
Приснилось - поблагодари  
И просыпайся осторожно.  
И от подобного труда  
Мы воскресением забрезжим.  
По-видимому, никогда  
Небытие не будет прежним.  
И я мой позабытый грех  
Суровой памятью затрону  
И, чтобы не парить поверх,  
Пройду по синему перрону.  
И вот земля воскрешена.  
И где я буду и не буду,  
Особое сознание сна  
Подстережет меня повсюду.

6.

Легит, закутывая в дым  
Единственного пешехода,  
За паровозом золотым  
Состав сорокового года.



Остановился пешеход,  
И осторожен, и приметлив.  
А электричка подождет,  
У нашей станции помедлив.  
Пересоздав и воссоздав  
Утраченное невозвратно,  
У парапета мой состав  
Я пропущу тысячекратно.  
Ведь я себе предназначтал,  
Мое недоуменье спрятав,  
Своеобразный ритуал  
Возобновлений и возвратов.  
Иные двери, буфера  
И довоенная вагонка.  
Мне в этом поезде пора  
Возобновить себя - ребенка.  
Неуловимое не то  
Сейчас изменится в основе –  
И унесет меня в ничто,  
И на перроне остановит.  
И вот вагоны пронеслись,  
Неукоснительны и строги,  
Воспоминание и мысль  
Остановив на полдороге.  
Пожалуйста, не приукрась  
Преодоления игрою.  
На этой станции как раз  
Я опознание устрою.  
Какая может быть игра,  
Когда, жесток и неуступчив,  
Состав сжимает буфера,  
Судьбу и жизнь мою расплющив.  
Остановился пешеход,  
И осторожен, и приметлив.  
А электричка подождет,  
У нашей станции помедлив.

## 7.

У времени какой-то сбой  
И откровенно воля злая.  
Неловко быть самим собой,  
Везде себя возобновляя.  
Неумолимей и лютей  
Родные розовые дали.  
Эпоха родила детей,  
А дети в поезде пропали.  
Не убивай и не обидь  
Законно или незаконно  
Того, кто мог предотвратить  
Исчезновение вагона.  
Уже полвека мне кричат  
Отчаяньем дыханий детских  
Изображения зайчат  
Или цветы на занавесках.  
Вагон почувствовал беду,  
Когда при повороте справа  
Он кувырком на всем ходу  
Случайно выпал из состава.  
А хвост, порядок сохранив,  
У станции догнал свой поезд  
И ликвидировал разрыв,  
Автоматически пристроясь.  
Да, он пристроился вдогон,  
И, видимо, в минуты эти  
Тонул потерянный вагон,  
Где были маленькие дети.  
Себя собрав и сочетав  
Соединительным пробелом,  
Неуправляемый состав  
Опять летит в тумане белом.  
Воронкой, берегом реки  
Или железною дорогой  
Моих детей убереги  
Да и родителей не трогай.

Но пассажиры не вольны,  
Они сидят и едут вместе.  
А впереди – огонь войны,  
Преодоление и возмездье.

## 8.

А я ведь мог на полпути  
Рискованно или рисково  
Из самого себя уйти  
И перейти в себя-другого.  
Решительно и напрямик  
В другого мог перешагнуть я,  
Но упустил короткий миг  
На полпути и перепутье.  
И вот работаю за двух,  
Но замечаю каждый день я,  
Что рядышком идет мой друг  
Путем иного предпочтенья.  
И не достать его рукой,  
Ведь он невидим и неслышим.  
А это просто я-другой  
С иной судьбой и даром высшим.  
Как будто делаем одно  
Душою, красками и речью.  
Однако нам запрещено  
Друг другу повернуть навстречу.  
И был бы откровенно прост  
Ненарушаемый порядок.  
Но между нами белый холст  
Моих прозрений и догадок.  
Увы, не так уж много их,  
Но я шагну к нему и к сыну,  
Когда шепну последний стих  
И допишу мою картину.  
Ведь мы друг друга узнаем,  
И там, за полотном этюда,  
Он есть в небытии моем  
И подает сигнал оттуда.

## 9.

Сухая вкусная смола,  
Сосновый ствол в чешуйках сизых.  
И тень зеленая легла,  
И дождик на иголках высох.  
Я окончательно промок  
На расстоянии от дома.  
А ты, сосна, мой островок  
В неразберихе бурелома.  
Но синева над головой  
Сегодня потемнеет скоро.  
И под ногами холмик твой -  
Моя последняя опора.  
А солнышко уже ко мне  
Совсем утрачивает жалость.  
И на тебе, моей сосне,  
Оно случайно задержалось.  
Я вижу те или не те  
Зеленоватые просветы.  
По ним в кремешной темноте  
Я обнаруживаю, где ты.  
К тебе невидимый подъем,  
А за тобою – словно пропасть.  
Придется нам побыть вдвоем,  
Вполне друг другу уподобясь.  
Касаюсь теплого ствола,  
Шепчу спасительное слово.  
Довольно этого тепла,  
Чтобы тебя увидеть снова.  
И, от ствола не отделим,  
Себя я чувствую сосною,  
Сосновым папою моим,  
И папа говорит со мною.  
И эти шорохи не в счет,  
Когда я по-отцовски мудро,  
Услышав, как смола течет,  
Распределяю краски утра.  
А надо мною твой навес,  
Как неразгаданная тайна.  
И киноварью, наконец,  
Тебя я крашу вертикально.

И уж теперь наверняка,  
Окаймлена лиловой глиной,  
Увидит синяя река  
Твой силуэт ультрамаринный.  
И даст мне лучшую из смол  
На берегу в тени зеленой  
Твой сизый раскаленный ствол  
Под малахитовою кроной.

## 10.

Дорога для меня одна –  
От ужаса и беспредела.  
От насыпи и полотна  
К избе, которая сгорела.  
Я к путешествию готов,  
Иду с намереньем особым  
За горизонт от поездов,  
Петляя по заросшим тропам.  
Мой шаг хозяйский неуклюж,  
Мой взгляд нетерпелив и робок.  
Река извилистая в глушь  
Ведет меня вдоль этих тропок.  
Избу чужую и ничью  
Вдали припоминая грустно,  
Река, подобная ручью,  
Все больше расширяет русло.  
И в ожидаемой дали,  
По мере приближенья к цели,  
Мои поляны заросли,  
Мои поля осиротели.  
Кому нужна благая весть  
И откровение любое,  
Когда сожжен поселок весь  
С его последнею избою?  
Бушует ветер, шевеля  
Обугленные бревна эти.  
Безвидна и пуста земля,  
Спустя веков тысячелетья.

Но здесь особенная та,  
Себя над пепелищем вызвав,  
Единственная пустота,  
Небытию последний вызов.  
Сворачивай к таким местам,  
Где сразу наступает час твой.  
История творится там,  
Иди, упорствуй и участвуй.  
Твои соратники везде.  
Иди, спокойный и молчащий.  
Привет закату и звезде,  
Привет непроходимой чаще.

## 11.

Все это может участиться,  
А срок неумолимо сжат.  
Уже смертельные частицы  
Над головой моей кружат.  
Я их могу столкнуть друг с другом  
Дорожным посохом своим.  
А он обрублен и обструган  
И мне в пути необходим.  
Воображение, дорогой  
Возобновись и участись.  
И только ничего не трогай  
В прозрачном облаке частиц.  
А то из их переполоха  
Объявится переворот.  
Уйдет бытийная эпоха  
И небытийная придет.  
Неотвратимая, тупая  
И незаметная сперва,  
Она приходит и вступает  
В свои законные права.  
Она становится такою  
Во всем природном естестве.  
Она клубится над рекою,  
Она шевелится в листве.

Она идет, и с нею вместе  
Апофатическая тьма.  
Но это ведь ее предвестье,  
А вовсе не она сама.  
Воображенье в разных видах,  
В любых сиреневых потьмах,  
Удерживай случайный выдох  
И посоха неверный взмах.  
Надежду затаив глубоко,  
Рывком шагни из толкотни,  
Рвани и только ради бога  
Частицы эти не сомкни.  
Они опять кружат и кружат  
В лучах сиреневой зари,  
Неразличимые снаружи  
И смертоносные внутри.

## 12.

Самих себя возобновив,  
Мы травы и деревья встретим,  
Покуда Ящеры извив,  
Как зеркало, следит за этим.  
До пояса водоворот  
Вокруг идущих тел и между.  
Мы реку переходим вброд,  
Над головой неся одежду.  
Мы вылезаем, изловчась,  
На берег нашего привала.  
Но Миша молчалив сейчас  
И не смеется, как бывало.  
Благоухая через край,  
Река похоронила звуки.  
И не заглянут в этот рай  
Ни сыновья мои, ни внуки.  
Они уехали домой  
И нас не слышат и не видят.  
И разве только Миша мой  
Навстречу выглянет и выйдет.

Сейчас он появился тут.  
Небыгие перерастая,  
И через несколько минут  
Обязан в воздухе растаять.  
Но удивительней всего,  
Что Миша узнаваем вроде,  
И запись голоса его  
Хранится в том водовороте.  
Мы здесь бывали, и с тех пор  
Воспоминанье как возмездье.  
Для пятерых горит костер,  
И нет ни одного на месте.  
Торфяно-красная вода  
Овеяна моими снами,  
Чтобы сейчас и навсегда  
Все пятеро сидели с нами.  
Ведь можно прошлое поймать,  
В былое отраженье глядя.  
И, проворачивая вспять,  
Я подхожу к зеркальной глади.  
Но в этой глади водяной  
Нет никого и нет кого-то.  
Здесь только я с моей женой  
На берегу водоворота.

## 13.

Мой путь рекою перекрыт.  
Она лиловая. При этом  
Закат сиреневый горит  
Каким-то необычным светом.  
Я помню, здесь давным-давно,  
У места первого привала,  
Большое скользкое бревно  
Изгиб реки перекрывало.  
И кто-то, помнится, прибил,  
Затем что в брод идти глубоко,  
Подобье маленьких перил,  
Но только с одного лишь бока.



По глади ровного стекла  
Или по ветреной погоде  
Подробность эта уплыла  
В недавнем синем половодье.  
Передо мною черный лес  
Над крутизной береговой.  
И вот зачем-то я полез  
В лиловый омут с головою.  
Казалось бы, всего делов,  
Себя разденем и разуем.  
Но омуток не так лилов,  
Не так полог и предсказуем.  
И я не думал, что нырну  
И даже попаду под камень.  
Короче, я пошел ко дну  
С одеждою и сапогами.  
А я ведь мог бы обойти  
Береговое, роковое  
То место, где на полпути  
Недавно утонули двое.  
Не знаю, в том или ином,  
Но в этом мире очень плохо.  
Глотнул воды под валуном,  
А над водой не сделал вдоха.  
Теряю ощущение дна  
И чудом оживаю снова  
От глубины и валуна  
И охлаждения ледяного.

## 14.

Моею давнею виной  
Глядит в глаза и дышит жарко.  
Она опять передо мной,  
Моя чепрачная овчарка.  
Я выплываю, и как раз  
В тени, сквозь листовую сетку,  
Я узнаю ее окрас,  
Ее носочки и горжетку.

Но я из омута еще  
На берег выбраться не смею.  
Она ложится на плечо  
Тяжелой головой своею.  
Прикосновения давно  
Мы не испытывали оба.  
А ведь сейчас оно одно  
Меня спасает от озноба.  
Не понимаю, как втекло  
Над посинелою рекою  
Мое тепло в ее тепло,  
Неуловимое такое.  
Вот мы вдвоем на берегу,  
Под сеткой лиственного крова.  
И я поверить не могу,  
Что ты опять жива, здорова.  
Тебя вели к себе домой  
Твои хозяева другие.  
Все потому, что Миша мой  
Едва дышал от аллергии.  
И кто-нибудь, когда-нибудь  
Вообразит момент ухода,  
Как ты кидалась мне на грудь  
И как ждала меня два года.  
И ради этого тепла  
Ты вроде бы со мною вместе  
От ожиданья умерла.  
А Миша мой убит в подъезде.  
И после Страшного суда,  
На берегу неразличима,  
Ты ожила и навсегда  
Его от смерти излечила.

## 15.

И тут не надо объяснять  
Все то, что лучше или хуже.  
На берегу со мною сядь,  
Поставь невидимые уши.

Очередным добром и злом  
Обеспокоена осина.  
Одолевают бурелом  
Шаги невидимого сына.  
И сразу я ищу вокруг  
Собаке брошенную фразу.  
Когда я замираю вдруг,  
Он тоже замирает сразу.  
Он приближается, и вот  
Сегодня пережит и прожит  
Невероятный переход,  
И сын пути мои проложит.  
Все это выдумки одни.  
И не уйдешь и не ускоришь.  
Разочаруйся и вдохни  
Черно-сиреневую горечь.  
Из ничего и ничего  
К живому сроку или знаку  
Овчарка вывела его,  
А он увел мою собаку.  
Березы черные молчат.  
Но и за этими стволами  
Аквамаринный день зачат,  
Горит карминовое пламя.  
И я иду на этот свет  
Глухую чащею лесною  
И обнаруживаю след,  
Проложенный передо мною.  
И вот не чувствую земли  
И выбираюсь на дорогу.  
Но возгорание вдали  
Уже темнеет понемногу.  
Или опять, смотри-смотри,  
Возобновляется, пожалуй.  
Замена утренней зари,  
Огонь последнего пожара.

## 16.

Останови полночный миг  
Лугов и деревень безлюдых.  
Отец до вымыслов моих  
Добрался в красках и этюдах.  
А мать с собою унесла  
Его невидимые кисти.  
Но вы этюды без числа  
Ко мне и к матери приблизьте.  
А я подумаю пока  
И помолюсь моей иконе,  
Пожарам платья и платка  
На травяном зеленом фоне.  
И облегаемая плоть,  
Святые выдохи и вдохи  
Никак не могут побороть  
Победу огненной эпохи.  
Иконный и искомный лик,  
Знакомый и во мне, и в детях,  
Десятилетия подвиг  
Не замечать ожогов этих.  
Ее пожары таковы.  
И вот бежит она, босая,  
Платок срывая с головы  
И прямо на землю бросаю.  
С загаром цвета молотья  
И в платье красного металла,  
Не добегая до избы,  
Она, как вкопанная, стала.  
Отец прибег в моей душе  
К осуществляемому втайне.  
Кармина, редкого уже,  
С аквариумом сочетанье.  
Прибег он или не прибег,  
Но сокрушительная сила  
Внушила ей последний бег  
И вдруг ее остановила.

Моя икона из икон  
Аквамарином и кармином  
Сегодня или испокон  
Мерцает между мной и сыном.

## 17.

По мусору бетонных плит,  
По этим уличным клоакам  
Он побежал за мной, облит  
Коричневым и черным лаком.  
В людской зловонной толкотне  
Босых ступней его не слышно,  
И, очевидно, только мне  
Открылся малолетний Кришна.  
Игрушка черная мала,  
И, на минуту оживая,  
Она внезапно ожила  
И побежала, как живая.  
Миниатюрен и упруг,  
Все незаметней и бесследней  
За мной по Дели в Петербург  
Бежит малыш четырехлетний.  
Из милой нищенской семьи,  
Как будто Кришна черноротый,  
Кричит: «С собой меня возьми,  
Во мне зерно переворота.  
Ведь ты помилован всерьез,  
На внуков и Россию глядя.  
Я обновление принес  
Тебе, чужой и добрый дядя!»  
А богоматерь – по следам,  
Окутана индийской тканью:  
«Кому я сына передам,  
Как божество, на воспитанье?»  
Глазам, локтям, ступням и ртам  
В миропорядке нет простора.  
И ты, мелькая тут и там,  
Вселенской формой станешь скоро.

Любой миропорядок строг,  
Но мы ведь поняли друг друга.  
Задолго нарушая срок,  
Возобновится калиюга.

Россия, что же ты молчишь?  
Или черты своей достигла?  
В тебе, доверчивый малыш,  
Зародыш будущего цикла.  
Я не отец тебе, но ты  
Бежать и оглянуться вправе.  
Глаза чернее черноты,  
Белки в коричневой оправе.  
Невидимый сыночек мой,  
Кому ты неродной и лишней?  
И я беру тебя с собой  
И прямо называю Кришной.

## 18.

Пугать не надо никого  
Ни воскресеньем, ни распятым.  
Меня и сына моего  
Не воскресить и не распять им.  
Белеет Иерусалим  
И обволакивает, чтобы  
Себе прокладывать самим  
Свою дорогу к храму гроба.  
Непробиваемым ступням  
Легко, неверие развеяв,  
Идти по белым ступням  
Среди арабов и евреев.  
Наедине или окрест  
Не упадем и не стонем,  
Доверив позабытый крест  
Непробиваемым ладоням.  
В скале мерцает белизной  
Захоронение простое,  
Где сын лежит передо мной,  
Одновременно рядом стоя.

И вот, пока мы так стоим  
И пребываем в нашем храме,  
Бессилен Иерусалим  
Хотя бы что-то сделать с нами.

Одновременно в двух мирах  
Я побывал и перепугал  
И фимиам, и полумрак,  
И железобетонный купол,  
И переход и перепад,  
И за пределом, и над краем,  
Туда, где сын мой был распят,  
И весь от головы до пят  
Под мириадами лампад  
Уже теперь недосягаем.

Скажи, могло ли это быть  
И не произойти могло ли?  
Ты научил меня любить,  
Кричать от горя и от боли.

Тебя, мой одинокий Спас,  
Убили здесь, на этом месте.  
И все равно ты город спас  
От гнева и отцовской мести.

И на полу, и в куполах  
И осязаемо, и слепо  
Явились Яхве и Аллах  
К порогу мраморного склепа.  
Еще немного, и войдут  
Уверенно и совместно,  
Сегодня совершая тут  
Спасенье Иерусалима.

А для меня страшней всего  
Его незримое надгробье.  
Мой сын у гроба своего  
Стоит и смотрит исподлобья.

Но я его уже постиг,  
Ладони и ступни потрогав.  
А он мне подарил мой стих  
И для меня, и для пророков.

Невероятная стезя,  
Неузнаваемо-прямая.  
От гроба отойти нельзя,  
Благословенье принимая.  
Но по особому пути  
Наперекор моим обрядам  
Хочу от гроба отойти  
И увести того, кто рядом.  
И увести его туда,  
Где он со мною будет вместе,  
Оберегая города  
От гнева и отцовской мести.

## 19.

Переселяйся поскорей,  
Полегче, пообыкновенней  
В края лесов и пустырей  
Из городов и поселений.  
По всей России вглубь и вширь  
Тебя удерживать не станем.  
Столица мира и пустырь  
Сейчас меняются местами.  
От перегрева южных стран  
В соседство русского народца  
Переберется Ватикан,  
Потом Париж переберется.  
Но африканская война  
Закончится не очень гладко.  
И вот настанут времена  
Совсем другого распорядка.  
Пока мы с вами до сих пор  
Неизлечимостью болеем,  
Евразийский наш простор  
Уйдет к другим гипербореям.  
И я посмертно разберусь,  
Как, изловчась и сочетаясь,  
Поделят вымершую Русь  
Американец и китаец.



Но дух российский будет жив,  
И в невообразимой нови,  
Все племена соединив,  
Индус Россию восстановит.  
И, может быть, на этот раз  
Мы не разрушим наш великий  
Протекторат кровей и рас,  
Обыкновений и религий.  
Мы вспомним лучшие века  
И, становясь четвертым Римом,  
Невольно и наверняка  
Святое назначенье примем.  
На пепелище не молчи.  
Оно бесплотно и бескровно.  
И откровением в ночи  
Дымят обугленные бревна.

## 20.

Сквозь эту угольную тьму  
Рубиновый источник светел.  
Его к приходу моему  
Полночный раздувает ветер.  
Взамен овинов и рябин,  
Сжигаемых вдали и близко,  
Один единственный рубин,  
А в нем – спасительная искра.  
Погода может надо мной  
Впадать в небытие и в ересь.  
А я от искорки одной  
Костер зажег – сажу и греюсь.  
Приосенить огонь костра  
Поможет верная ватнуха.  
Промозглый дождь, как из ведра,  
Опасен для святого духа.  
Наперекор любым ветрам  
Я здесь умру вдали от крова.  
Провозгласить последний храм  
Не будет случая второго.

Не вопреки и не взамен  
Духовной и церковной были,  
Без куполов и белых стен,  
Какие до войны здесь были.  
Непререкаем и сугуб,  
Одoleвает потрясенья  
Обугленный сожженный сруб  
С единственной свечой спасенья.  
Придя к стенам и возле них,  
На эпохальном перехвате,  
Я неожиданно возник  
И даже оказался кстаги.  
Изба сгорела до конца,  
И пустота была воочью.  
Но два последние венца  
Еще дымили этой ночью.  
И в непроглядной глубине,  
Возобновляя стены эти,  
Живой огонь горит во мне,  
Когда рубин уже не светит.

## 21.

На пепелище дождь и ночь  
С ее полночными ветрами.  
Кого любить, кому помочь,  
Кого молить в последнем храме?  
Не умоляй и не смолчи  
О том, что накрывает свыше.  
По деревням идут смерчи,  
Срывая провода и крыши.  
Перенесут и погребут  
За буреломом небывалым.  
Природа объявила бунт  
Землетрясениями и шквалом.  
На пустыре ты не один,  
Ты окружен запретной зоной.  
Вблизи обугленный овин,  
Скелет рябины опаленной.

Мои молитвы перекрыв  
Остервенением упрямым,  
На пустыре природный срыв  
Или природный взрыв над храмом.  
И я ответить не готов,  
К кому душа моя взывает.  
Природа – корень катастроф,  
Мы строим, а она взрывает.  
Природа преодолена,  
И мы о ней свободно судим.  
Мы плохо строим, а она?  
Зачем она мешает людям?  
Нет, мы обдумаем сперва  
Крещение в дождевой купели.  
Мои неловкие слова  
В той жизни умереть успели.  
Ватнушка верная моя  
Последний храм обогревала.  
Посланец из небытия  
Не ощутит смерча и шквала.  
Его молитвы, дрожь и пот –  
По жизни месса дождевая.  
И все равно костер поет,  
Высоко от земли взмывая.

## 22.

Последний храм – само собой,  
Для медитаций и угопий.  
А что за эту избой?  
Сплошные моховые топи?  
Зовет и втягивает мох  
И выпускает с неохотой.  
Но без резиновых сапог  
Иди и головой работай.  
Уединенье – мой оплот.  
А пустыри земные щедрь.  
Пространства моховых болот  
Уходят в ночь на километры.

Вперед от храма своего  
Здесь ночью пробираться проще.  
Идешь, не видя ничего,  
И каждый шаг берешь на ощупь.  
В забвенье или в забытии  
Войны зловещие останки.  
Здесь, очевидно, шли бои  
И в топях вязли наши танки.  
И за пределом естества  
Нащупываешь мертвый отдых.  
В кустах и соснах острова,  
Похожие на остров мертвых.  
И без резиновых сапог,  
Ногою островок нащупав,  
Ты ночью спать бы там не мог  
Среди непогребенных трупов.  
На острове сосновый дух,  
Но я зову на помощь сына  
И вновь ползу, не отдохнув,  
Туда, где топь или трясина.  
Спешу на моховом пути  
Себя от ужаса избавить  
И до утра вперед ползти,  
Собрав земли святую память.  
Одолеваю ночь и жуть,  
Все время думаю о сыне  
И поутру не заблужусь  
В зеленой клочковенной пустыне.

## 23.

В других, не этих временах  
Вам предназначена расплата.  
Не думайте, что Пастернак  
Благословляет власть распада.  
Или, собою заплатив  
И извратив родное слово,  
Не зачисляйте в свой актив  
Ахматову и Гумилева.

Тогда никто им не помог.  
Эпохой преданные дети.  
Их утопил кровавый мох  
Совсем иных десятилетий.  
Они бы, вспомнив и взглянув.  
Ценою вашей и расплатой  
Не подарили свой триумф  
Руси распадной и распятой.  
Существование без опор.  
И не придумано другое.  
Такой гротеск, такой офорт  
Не захотел бы делать Гойя.  
Обзаводитесь поскорей,  
Торгуя и предпринимая,  
Владельцы ферм и пустырей  
Под знаком Гойи или Майи.  
Но виртуальные сейчас  
Любые помыслы фальшивы.  
Разоблачьтесь и ополчьтесь,  
Трудитесь, фермеры наживы.  
Непроданные пустыри  
Не измеряемые смертью.  
Не доживая до зари,  
Воруйте, олигархи смерти.  
Спасая Север и Сибирь  
От виртуального распада,  
Мне снятся Пушкин и Шекспир,  
И Пастернак, и Дхаммапада.  
А там, когда-нибудь, потом,  
Через столетия, неспешно,  
В Небытии, моим судом  
Расплата ваша неизбежна.

## 24.

Из топи в топь влекусь и рвусь,  
Ползу один и знаю твердо:  
Мы выбрали неверный курс  
Обогащения и комфорта.

А здесь решен любой вопрос –  
Бесплотно возникает кто-то  
И каждый раз меня всерьез  
Вытягивает из болота.  
Ногою чувствуешь – вода  
И философствуешь при этом.  
По грудь уходишь иногда  
И выползаешь за ответом.  
В каких условиях иных  
Я мог бы выведать и вынести  
Ответов этих неземных  
Нездешнюю инобытийность?  
Когда из недоступных зон  
Преодоление – детский лепет,  
Познание свой диапазон  
Передвигает и колеблет.  
Прорыва дождалась душа,  
Свободно выберусь и свергнусь.  
Но Фауст хляби осушал,  
А мне открыта их безмерность.  
Духовно пировать готов,  
Как мы еще не пировали.  
Колеблется коварный торф,  
А дальше – истина в провале.  
Особое сознание сна  
Оснащено иною речью:  
Определенности без дна  
Шагай и выплывай навстречу.  
Но кто всерьез или навек,  
Едва усилия ослаблю,  
Меня вытягивал наверх,  
Густою связанного хлябью?  
И кто в очередной провал,  
Приоткрывая откровенье,  
Мне сверху руку подавал  
И продлевал мое мгновение?

## 25.

И сразу, прямо на глазах,  
Определился этот кто-то.  
Лиловой молнии зигзаг  
Пробил и осветил болото.  
Итоги страшного суда  
Напомнит молния сквозная.  
Однако я зашел туда,  
Откуда выхода не знаю.  
Я от колайдера отвлек  
Мои намеренья и цели.  
Закончен суд. Назначен срок.  
И вот конец второй недели.  
Исхода не было и нет,  
А я последний день транжирую.  
Уж лучше бы такой просвет  
Не возникал над этой ширью.  
Где ни проехать, ни пройти,  
Где человек деревни выжег,  
Небытию нужны пути  
Без лишних всполохов и вспышек.  
Оглядываюсь поскорей,  
И возникает подозренье,  
Что это царство Матерей –  
Библейский акт житнетворенья.  
Вопрос, поставленный ребром  
Над пустотой вневременною.  
Догадку подтверждает гром,  
Раскалываясь надо мною.  
Картина повторяет бой,  
Давая будущему знаки.  
А этот кто-то был любой  
Из тех, кто здесь погиб в атаке.  
Не принося особых польз,  
Времен связующий посредник,  
Я, как они, шагал и полз  
В грозу и шквал часов последних.  
Обычный виртуальный сон.  
Однако по каким причинам  
За этот сон я был спасен  
И вознесен погибшим сыном?

## 26.

На остров, маленький такой,  
Из хляби выбрался по пояс.  
Вспоминаньем и тоской  
Издалека сигналит поезд.  
На континентах и полях  
Ни сквозняка, ни беспредела.  
Колайдер или симулякр –  
Небытию какое дело.  
Для городов и пустырей  
Оно себя предназначало  
И вот закончилось быстрей,  
Чем я предполагал сначала.  
Теперь сомненья улечуь,  
Когда над ужасом равнинным  
Сиреневую толщу туч  
Пробьет кармин с ультрамарином.  
Благодари песчаный склон,  
Когда над островом забытым  
Лиловый кров сосновых крон  
Багряным вспыхнет малахитом.  
Восход недоуменье стер,  
Приуговтавливаясь, вырвав  
И развернув живой простор  
Без кочек и ориентиров.  
Спасибо, остров и приют.  
Спасибо, истина и смуга.  
Я ждал, когда меня убьют,  
И не дождался почему-то.  
Колайдерами создана  
Уничтожающая сила.  
Все подытожено сполна,  
Иное время наступило.  
Закономерные поднесь,  
Часы и дни остановились.  
Один я затерялся здесь  
И в новую бытийность вылез.  
На день задержанные так,  
Труды и дни, себя ловите.  
Пора вернуться на чердак  
И к бытию оттуда выйти.



27.

Я возвратился в шесть утра.  
Мои босые ноги вспухли.  
Сиж у милого костра  
И подгребаю палкой угли.  
Но я ведь вышел не один  
Из дождевой холодной рани.  
Передо мной сидит мой сын,  
Как я, измучен и изранен.  
О чем у прежнего жилья  
Друг друга мы переспросили?  
Все то, что ночью видел я,  
Эмблема нынешней России.  
Здесь ничего такого нет,  
И эти русские владенья,  
За вычетом глубоких недр,  
Европе не приобретенье.  
Но почему-то мы с тобой  
Иначе будущее видим.  
Решительный последний бой  
Неосязаем и невидим.  
И вот извне и изнутри  
Спасительными чудесами  
Торфяники и пустыри  
Рождают оборону сами.  
Распад, расхват страны моей  
Предуготовлен и прочерчен.  
Природа страдает ей  
Землетрясением и смерчем.  
Хозяева сошли с ума,  
Они всех более повинны.  
Спалил народ свои дома,  
Свои рябины и овины.  
И вот я памятью святой  
Преодоление готовлю.  
Я стану торфом и водой,  
Болотом и бездонной топью.  
И я, как ты в такую ночь,  
Небытие мое осилю,  
Чтобы самой земле помочь  
Из ничего создать Россию.

28.

Преодоление совершилось  
В назначенный сегодня срок.  
Но отчего мою решимость  
Оно скрывает между строк?  
И не зовут, и не боятся.  
И я за правило приму  
Попеременно появляться  
Подобно сыну моему.

А он ведь, как мы это знаем,  
В двух измерениях сейчас:  
То абсолютно осязаем,  
А то скрывается из глаз.

Когда Россия возродится,  
Невидим и необъясним,  
Наверно, он не возвратится  
И я последую за ним.

Но состоянья перепада  
Небезопасны для страны:  
Когда в ней будет все, как надо,  
Мы снова будем ей нужны.

Кому ее беречь охота  
Среди китайцев и менял?  
А мы хотим, чтобы хоть кто-то  
Ее любил и охранял.

И над недавно пустыней  
Заклятья наши пролетят.  
И нам ответят берег синий  
И фиолетовый закат.

Переболеем и удвоим  
Надзор над милою страной.  
И понемногу нам обоим  
Откроется простор иной.

Но и тогда, земля родная,  
Преобразясь и обновясь,  
Отца и сына вспоминая,  
Ты не останешься без нас.

Тебе понадобится чудо  
И сокрушительный подъем.  
И мы появимся оттуда  
Поодиночке и вдвоем.

-----

## САМОСОЖЖЕНИЕ

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### 1.

Однажды я проснулся мальчишкой, таким, каким хотел быть.

Все недостаточное во мне исправилось вдруг. Само собой. И без моих усилий, трудов и тренировок. Едва проснувшись, я почувствовал, что могу то, чего раньше не мог. И обладаю тем, о чем до сих пор только мечтал. Потянулся во сне и вырос. Голова ясная. И вот вдруг легко и свободно я открываю многое, что никак не давалось моему пониманию. Здорово. Значит, наступило, наконец, такое утро, когда все приходит само. И я его не проспал – это утро. Оно в детстве бывает у всех, но дети спят и не замечают. И сам я не замечал. А тут первый раз проснулся вовремя. Догадался. Поймал. Подсмотрел. Как оно бывает. Вот, наконец-то. Подглядел. Тихо...

Еще не все. Прямо передо мной приоткрылась одна из тайн, которую природа прячет от нас. Не переход, а рывок. Вот моя правая рука. Поднимаю ее. Всматриваюсь. И сейчас увижу, как она от плеча до локтя наливается небывалой мощью. Вот-вот. Появится мускул. Очень приятно. Надо проверить. Проверяю. Изо всех сил вытягиваю обе руки. Получается? Да? Как будто расправилось то, что выросло ночью. Весело. Когда растешь – все происходит само, и это правильно – доверить себя росту, особенно если не знаешь, каким будешь через минуту. А почему никто не рассказывал мне о том, как все это совершается? А в самом деле... Почему?

Я отвожу глаза от окон. Стены, коричневые обои – ослепляют меня. Еще больше, чем окна. Я даже прищуриваюсь. А главное – вижу все отчетливо, как никогда не видел. Даже если надевал песне, вынув его из черного папиного футляра. Предметы не уменьшаются. И я знаю, что смотреть новыми глазами не вредно. Песне делает меня дальноржим. Но теперь я не буду надевать папины стекла. Будто и впрямь кто-то наводит мои зрачки на резкость, чтобы я лучше рассматривал всякую вещь и немедленно пользовался моим нечеловеческим зрением. Сон куда-то пропал. А я продолжаю лежать. Одеяло – до подбородка. Я нарочно удерживаю себя от того, чтобы сразу вскочить. Надо понять, что происходит.

А ну-ка, ну-ка... Что такое?.. Зрение как будто становится резче и резче. Куда еще? Обычные мелкие предметы бьют в глаза четкостью форм и деталей. О цвете вещей и предметов даже не хочу говорить. Пыль отмыта. Краски горят. Все пестро, и все ломит прямо в глаза. Я ведь кое к чему уже присмотрелся. Кое-что перестал замечать. А теперь все как впервые.

Подумай. Тебе еще только двенадцать лет. Вот чудное утро. Гляди. Гляди. А если такого дня больше не будет. Какое счастье. Ты не проспал этот свой единственный день.

Да, да... Потом придет к тебе еще один такой. В конце жизни. Прощальный день. И ты в последний раз увидишь то, что можно увидеть. И все будет резко и ослепительно. А потом погаснет. Это день, который в итоге, ты уже не сможешь проспать. При одном условии: пойми и запомни, все, что с тобой происходит сейчас. Давай, потянись еще раз и – долой одеяло!

Двенадцать лет. Год уже, как не стало его. И вот я замечаю: у меня сегодня другая память. Отец умер. По утрам я помню об этом. По утрам. Ночью нет ничего такого. Ночью отец жив. Он заснул. Он спит, пока утро его не разбудит. И вот я обычно сплю и сам не хочу просыпаться. А теперь все не так. Да, конечно, я знаю - смерть была. Но сейчас он где-то рядом. Боже мой, да ведь это он, отец, глядит моими глазами. Он забыл снять пенсне. И это зрение перешло ко мне и стало моим. А пенсне – вот оно лежит на столе, и теперь оно вовсе не нужно. Господи, неужели такие чудеса могут быть? Ладно. Отец во мне, и потому изменилась прежняя память о нем, та, которая - стала воздухом, столиком и половинками линз. Теперь что-то особое. Он мне дарит себя и сам растворяется в новом солнечном свете.

Но при этом он от меня отдельно. Он сам по себе. Видит хорошо. Наверно, он хочет, чтобы я не помнил о нем. Так будет лучше. Не бойся. Папа рядом и пока никуда не уходит. В такое утро отлично писать интерьер малой комнаты. Прежде она была его мастерской. А теперь... Он точно знает, как надо смешивать на палитре небывалые чистые краски. Точка для этюда готова. Отойди от сына. Так чтобы тоже включить его в интерьер. Вот. Сыну легко, и мне хорошо. Свобода... Мальчик не скоро поймет. А я понял только теперь. Жалко? Нет. Уже не нужно. Я по-своему, я без красок и кистей напишу. Никто не увидит. И ладно. Зато сегодня я понимаю, что этюды мои, те, что остались, вбирают в себя новую силу.

Вот, например, этот этюд. Он до сих пор висит на стене. Между окном и дверью в большую комнату. Сын увидит его сегодня по-новому и оценит его. На солнце выверен каждый мазок. Вижу. Издалека. Близорукий. Пенсне мое на столе. Сын больше его не наденет. Слава богу. Что-то еще. Зачем? Хватит!.. Не слишком? Выдержит? Я думаю, да. Не надо бояться. Он, конечно, тоже во мне. А все-таки жалко... Утро. Интерьер останется где-то в небытии. А я рядом. А я везде. А мне тоже нужно понять. Что-то еще предстоит. Потом. А пока такое переживание. Я хотел изведать его под конец последних минут. И не изведал. Было много всего. Тогда я ждал чего-то большего. Только теперь дождался. И не проспал.

Узнаю себя и – говорю. Независимо. Говорю как будто бы полным голосом. А сын прислушивается и не слышит. Но ему так весело, хорошо. Книжки. Этюды. Кисти мои в большой стеклянной банке на круглом столике у мольберта. Холсты, холсты. Повернуты к стенам. Еще не окантованы и не

повешены. Я их вижу и узнаю. Сын, поверни подрамники, отойди в сторону и посмотри. Ну, вот он как будто слышит, встает с кровати, но не понимает меня и думает о другом. Он оглядывает себя. Свои руки и ноги. Чего он хочет? Пусть бы он оставался таким, как сейчас.

Это самое лучшее время. И самое лучшее настроение. Куда спешить? Почему он не желает задержать солнце на желтых обоях у самого окна, где висит в позолоченной рамочке мой этюд. Этот недавний, который сегодня так понравился мне. А солнце сжимается и уходит на улицу. Ничего. Краски выступят. Этюд станет еще лучше. Комната моя на теневой стороне. Что остается делать? Интерьер готов. Сейчас он растворится в утреннем воздухе. Он лучше того, который мог бы висеть на стене.

Остановись. Не увлекайся. Не допускай, чтобы схватила тебя невыносимая боль. Сын поправляет кровать. Поправил. Сел поверх одеяла. Сидит. Порадуйся этому. Не собирай свою силу. Она обернется болью.

Мама куда-то ушла. Не дождалась, когда я проснусь. Могу спокойно себя осмотреть. В полной уверенности, что никто не видит меня. И все-таки чувствую, что кто-то смотрит. Но мне не стыдно. Как будто я совершенно один. А ведь так себя оглядеть – очень полезно. Зеркала нет. Осматриваю стоя. Вот странно. Изменений меньше, чем я полагал. Но они есть. Жаль, что тот, кто смотрит, их не увидит. И я не вижу. Мускулов не прибавилось. На руках и ногах – все как было. Только силы стало побольше. Хочется что-то делать. А что – не знаю. Прежнее уже расхотелось. Присесть, например. Знаю, что могу выжать из себя сто приседаний. Зачем? Не надо. Искусственно это. Оказывается, лишнее тренировать силу, которая сама выросла за ночь.

Тот, кто видит, понимает меня. Потому и не стыдно. Мама тоже легко поняла бы такое. Но от нее все надо скрывать. Вот когда станет заметно, можно похвастать. А сейчас не увидит, хотя и поймет. Ладно. Кровать заправлена. Пора одеваться. Руки торопятся. Ноги пружинят. Сладкая сила играет и как будто сама куда-то ведет. А!.. Надо попробовать голос. Может быть, здесь что-то за ночь произошло... Вот. Эту ноту в «Персидской песне» Шалапина, я еще вчера брать не умел. А сегодня – свободно. Еще раз пробую. Мой новый голос. Он будет хороший – вместо женского дисканта или альтя (я до сих пор не разобрался). Альт остается. Но петь им уже смешно. Правда, в «Персидской песне»... Шалапин пробовал. И папа умел...

Я начинаю высоко-высоко. Нет. Фистула у меня женская, тонкая. А у отца – как у Шалапина. Что это? Послышалось мне? Папа зашел в той комнате. Как за работой. Нет, конечно. Показалось. Долгая, долгая тишина. Ее надо нарушить. Пробую трижды. Нет, нет... Ничего не выходит. Или я не слышу себя. Нет, я слышу. Это мой детский не сломавшийся голос. Его никто не признает. Нет изменений. Но громкая нота звучит уже хорошо. Взял несколько раз. Убедился. Любый теперь согласен со мной. А кто слушает? Нет никого. И в той большой комнате. Да ведь она теперь мамина. Там живет мама. Там ее грушевая кровать и трельяж, как было до войны. Там наш

обеденный стол. Желтые кресла в чехлах и диван. А коричневый дубовый мольберт я не перевез оттуда в мой кабинет. Мольберт на колесиках. Папа не может в той комнате ходить, работать и петь. И я не стану возить мольберт взад и вперед. И не буду крутить рукоятку от его деревянных винтов.

Я вырос. Вон я какой длинный и тощий. Высокий. Мне уже неловко.

Мама нет. И никто не смотрит. Выйди в ту комнату. Заставь себя. Крутани винт. Подыми воображаемую картину. Опустит. Сделай наклон. Выпрями.

Нет, не могу. Это плохо. Надо в себе сохранять ребенка. И уж кто сохранит, - остается художником. А кто потерял дарование божье, тот будет мастером и не больше того. Вот моя первая мысль на сегодня, более сильная, чем вчера.

Хотя я думал о том же. Но ведь и раньше кто-то об этом знал. Жаль, я тогда отца не спросил.

Но я спрашиваю сейчас. Не вижу и спрашиваю. Так я делал раньше, когда отец мой был еще жив. И работал в той комнате. Вот я спрашиваю, а он молчит, не отвечает. Работает. Он слышит вопрос и молчит. Ходит. Подойдет к холсту, отойдет. Слышит и думает.

Надо было его спросить о ребенке и взрослом. Он молчал бы, как и сейчас. И все-таки я делаю первый раз то же самое, но без него. Занятно. Повторяю вопрос. Пустота. Папа, ты где? Шагов не слышно. Там, за стеной. Остановился он, замер и ждет. Новая тишина.

Думаю о самосожжении. А ведь я еще ничего не знаю о нем. Оно состоится через три года в этой малой комнате. Будет жаркое лето. И такое же утро. Как сейчас. Мама уйдет на работу, а я останусь один. Тогда. А теперь ничего такого еще не случилось. Как я могу думать и знать? Но я вижу все – до мельчайших подробностей. А может быть, это я вспоминаю в конце моей жизни – вижу последний день, о котором подумал сегодня? Последний день вообразить вовсе нетрудно. Воображай, как хочешь. Все равно все будет не так. И вот я воображаю – так и не так. Никто не знает, когда это будет. Во всяком случае – все очень живо. И так же резко и ослепительно – при моем новом зрении. Только в такое утро и можно воображать. Вообрази...

Но об этом потом. Ведь столько произойдет самых разных событий, без которых самосожжение невозможно. А я о них ничего не знаю. Приходится придумывать их. Придумывать, но не лгать себе самому. Отец не позволит. Он рядом. При желании можно увидеть его. Позвать из той комнаты. И вот когда это легко, почему-то не делаешь. Да и зачем? Каждое слово, сказанное вслух и не сказанное, известно ему еще прежде, чем оно рождается в тишине. И мне известно. Если не шуметь и не трогать вещи и не крутить ручку мольберта. Память последнего и воображение первого дня. А не пора ли их сравнить между собой? Как это сделать? Об этом спрашивай ребенка, если он еще остался в тебе. В двенадцать лет он остается.

Вот, я воображаю себя в мой последний день высоким, немного полным,

седым и не очень благообразным. У меня маленькая голова и крупное тело. Но главное – я умудрился избыть мою ненавистную худобу. Это самое первое дело. Как только немножечко повзрослею, начну полнеть. Жизнь моя оборвется внезапно. Я не замечу и стану тогда совсем, как мой стройный и темноволосый отец – там, за этой капитальной стеной в нашей старой квартире. Новой квартиры не будет. Но и старая пропадет неизвестно куда. В общем, никаких предметов. Одни шкафы, шкафы, полные книгами. И многие из них я знаю уже сейчас. Другие так интересно было бы перелистать, но это пока невозможно. Я не один в мой последний день. Рядом со мной – те, кто будет, и те, кого нет. Кое-кого я знаю. Остальные – мне неизвестны.

Полный седой человек – это я. Он знает о моем самосожжении. Знает. И, к сожалению, кое-что он уже позабыл. Он и меня, такого, какой я сейчас, помнит уже не во всех деталях. И я мог бы ему подсказать и обязательно подскажу. Но это потом. А как быть сегодня? То самосожжение, о котором, естественно, я еще ничего не могу вспомнить и которое только воображаю, ближе ко мне по времени, оно для меня – сама реальность. Но ведь и отец мой о нем ничего не подозревает. Это естественно. И вот, если сосредоточить воображение и интуицию, мне значительно легче представить тот промежуточный день сейчас, нежели вспомнить потом. Как соединить одно и другое? Пока невозможно. Последний день далеко.

Но я уже предчувствую... Туг не до шуток. Очень опасно. Прекрати. Нынешний первый и тот последний, окончательный день. В такое утро неужели отец не поможет? А чем он сумеет помочь?.. Каким неведомым словом? Еще немного, и он что-то ответит мне из той комнаты, как будто беседуя сам с собой за работой. Шагов не слышно. А он уже что-то сказал незаметно. Да, я вырос. Пора начинать.

## 2.

Как получилось, что эта вспышка... Ну, в общем, то состояние, когда не надо усилий, а только бы не проспать и вовремя утром подсмотреть тайну, подаренную природой... Как получилось, что эту радость подменила взрослая боль, и все стало невыносимо трудно... Утра как не бывало. Отец, наверно, уже нашел ответ, он ребенок и мастер и трудится каждый божий день. И даже сейчас. Где-то рядом или там, за стеной.

Тяжело. И вдруг я чувствую желание освободиться. Так, чтобы никого не было рядом со мной. Я все должен делать один. Вот пока для меня условия созданы. Мама ушла в магазин. Папа уйдет, если надо. И не будет обижен. Там для него простора много. Там нет расстояний. Комнату и меня он может рисовать откуда угодно. Этюды особые. Когда-нибудь и я до них доберусь.

А теперь – простору и только простору. Пускай мир остается. А он ведь и никуда не исчезнет. Вернее, исчезнет он только туда. А мы там все друг друга найдем. И для каждого откроется полный простор. А сейчас, - то же самое.

Будь собой, двенадцатилетним, и все делай сам. Тем более – силы прибывают каждую ночь. Просыпайся пораньше. И не спрашивай ни о чем. Потому что никто тебе не ответит. А все ответы – в тебе самом.

И не надо ничего думать о самосожжении. Тем более – ты о нем ничего и не ведаешь. А тот пожилой и полный, с маленькой головой, тот, которым ты будешь в свой последний, окончательный день, он от тебя еще далеко. Настолько далеко, что от него не нужно освобождаться. Чем он дальше, тем ты свободнее. И вот именно без него открывается необъятный простор. Сделай так, чтобы он, пожилой, не приближался. Ведь сегодня это сделать нетрудно.

И не надо ничего соединять. Когда-нибудь оно соединится без твоих усилий. Ты ведь ничего не создал. А трудился уже немало. Позабудь все это. Иначе ты не один. Отцу хорошо. Он помнит о тебе по-особому. И не только о тебе – он помнит о маме, об этой комнате, о своих картинах, прислоненных к стенам. Их надо окантовать и повесить. Потом, потом. Сделаю все, как он хочет. Но почему я понял, что именно этого, а не другого чего-то хочет отец?..

И вот я, двенадцатилетний, возвращаюсь откуда-то к своей обычной свободе. Что я чувствую?.. Никакого мужества не надо, чтобы трудиться прямо сутра. Да, да... Чем труднее, тем лучше. Когда ничего не сделано, так хорошо начинать на белом листе. Только забудь все, что ты мог бы на нем написать. Как это сделать?

Постой. А кто это сейчас прошептал? Ты ведь сегодня утром совсем один. Тебе легко. И никто ничего не должен шептать. И все притихло вокруг. И все притаилось. Почему детская радость моя опять переходит в невыносимую боль?

У сознания, любого, не только моего, есть граница, которую легко перейти, но лучше не надо. И даром о такой границе не знает никто. Психологи не догадываются. Мое утреннее открытие. Сон и возможность. Я уже побывал за этой границей. Когда проснулся не вовремя. И убедился – что-то во мне само стало новым. Оказалось. Так, что я могу сделать то, чего раньше не мог. Ведь сознание – это прежде всего сознание границ. А без них – оно другое. Там начинаются чудеса невозможного. Там даже могут быть встречи. Желанные и страшные. Но там нет ничего опасного. Только нужно уметь постоять и покачаться на одной из этих границ. Чтобы запомнить, как возвращаться обратно.

Говорят, мальчик, двенадцатилетний подросток, не может и не должен об этом думать и так шептать себе самому. Наоборот. Именно в двенадцать лет подобное сделаешь утром, поймав на границе особый миг, да именно миг (я прошептал правильно, я нашел нужное слово: миг, а не момент, – миг, само слово открывает границу, если только этот миг наступил). Осторожно. Растешь – любые границы твердеют. Не опоздай. Сознание проснулось, но ты уже опоздал немного. А завтра будет еще труднее. Вот почему дети не



замечают. А взрослым еще тяжелее заметить. И все-таки можно. Так назревает в жизни тот, окончательный миг. Последнее утро, которое мне еще предстоит. Ладно. Шаг назад. Вот граница. Постою, покачаюсь на ней.

Должен сказать – когда медлишь, миг уже не длится и не кончается. Сколько он продолжится? Я не знаю. И никто не сумеет мне подсказать. Никто ведь утром так не просыпался и таких открытий не делал. Открытие. Открытие. Пока стоишь, граница не исчезает. Как это может быть? Да, она не твердеет. А голова остается ясной. И мои двенадцать лет никуда не уходят. И не отдаляется конец моей жизни. Он рядом, так что ему приближаться не надо. Я его не пускаю. Правой рукой отвожу от себя. И это очень легко. И так хорошо. А что нужно делать левой рукой? Пробуй, пока не забыл. Пробую. Ничего. Все по-прежнему. Нет. Кое-что изменилось.

Почему-то боль совсем пропадает. И я вдруг вижу малую комнату еще более резко. Что это? Возвращение отца? Но я пока не хочу. Отстраняю левой рукой. А он как будто бы это понял и уходит куда-то. Еще немного, непонятные слезы помешают мне видеть. Не надо. Не надо. Но они набегают. Неужели я не смогу их удержать? Пусть. Надо научиться видеть сквозь эти непонятные слезы. Все дрожит. Конечно, так плакала мама. Или так отвечал ей отец. Не хочу. Не хочу. Миг продолжается. А я должен остаться один. Еще немного. Должен остаться. И тогда что-то случится со мной. И я не боюсь того, что случится. Это самое правильное. Когда стоишь, как я, все происходит само. Ничего страшного.

Только бы запомнить. Постоять и не позабыть.

Миг растворился. И я сам не заметил. Нет его больше. Он куда-то ушел. Но я ничего не успел. И со мной ничего не случилось. Надо было еще постоять. Нет, на сегодня довольно. Что-то подарено мне. Что именно? Что такое?.. Надо понять... Вот, кажется, я понимаю. Озарение. Боль становится радостью. Но она, радость, большая, как боль.

Способность перескакивать время, оставаясь тем же двенадцатилетним мальчишкой, вполне в духе моей эпохи. Люди не нуждаются в знании будущего, потому что оно, это будущее, известно и так. Нет, нет, я неправильно думаю. Люди знают, как должно быть. И этого им довольно. А того, что станет на самом деле, отклонений от должного, они просто знать не хотят. И – самое интересное – они умеют прогнать от себя все лишние мысли. И вот они живут ровно и весело, как требует послевоенное время. Никаких болей.

А если что, люди сообща прогоняют ненужный страх. Современность у них сильнее. Конечно, если ты не согласен бояться. А если боишься, ты отступил и пропал. И тогда время тебя уничтожит. Люди это вполне понимают, а, чтобы не испугаться, гонят от себя любой страх, любые сомнения. Прогнали, и вот уже нет ничего – только живи. Нет, конечно,

запуганных людей тоже много, но у них у всех есть простой и хороший выход к тому, чтобы ничего не бояться. А у меня все не так.

Сказать, что я боюсь чего-то, нет, я не могу. Я слишком еще маленький. Кроме того, постоянно по утрам во мне сами собой прибывают силы. Чего тут бояться? Радости много. Но при этом какая-то боль. И она оттого, что вроде кто-то тебе рассказал о том, что будет через два или три года. Будет не с тобой, а со всеми или с очень многими. Нет, нет, я неправильно думаю. Никто мне ничего не рассказывает. А вот как во сне: я оттуда вернулся и кое-что помню. И не хочу забывать, а забыть очень легко. Но для меня, к сожалению, это не выход – забыть.

И вот еще что. У меня так мало бумаг, исписанных моим новым почерком. Я ведь совсем недавно почерк совсем поменял. Зачем – я не знаю. Так вот. Этих новых бумаг не так уж и много. Вон сколько отец оставил этюдов. Я их все сохранил, и папа, наверно, этим очень доволен. А те бумаги мои с новым почерком легко помещаются в одном верхнем ящике папиного бюро. Вон сколько пустого места. А я почему-то вижу кипы рукописей. Груды машинописного текста. Вижу «Континенталь», пишущую машинку, ту, которой у меня пока еще нет. Бумаги, бумаги, бумаги. И все они горой лежат на полу – перед моей громадной цилиндрической печкой.

Дров нет. Видимо, я не успел их еще принести из подвала. Но я тихо-тихо открываю дымовую трубу. Потом набиваю печку бумагами. И мне почему-то кажется, что «Континенталь» плачет, глядя мне в спину. Странное и неотвязное впечатление: глаз у машинки нет, но мне как-то не по себе. Тем не менее, я продолжаю работу – сую кипу за кипой в квадратную дверцу железной печки моей. Вот она и сейчас передо мною. Но с ней все в порядке. Она пуста. Но я сую в нее кипу за кипой. И вот бумаги не помещаются. Изо всех сил надавливаю и забиваю в железную дверцу новую стопку. Наконец, ломая спички, пытаюсь поджечь.

Бумага вспыхивает и тут же гаснет. Я пробую снова. Дым идет в комнату, битком набитая печка моя гаснет еще быстрее. Вынимать бумаги не хочется. Я пытаюсь надавить на них сверху. Путь для дыма, кажется, появился. Но огонь гаснет и гаснет. А спичек скоро не хватит. Вот загорелось. Надо успеть вернуться, пока не погасло.

Господи. Я откидываю голову назад и невольно сажусь на запровленную кровать. Печка закрыта. Железная дверца и дымовая труба. Встаю, подхожу и трогаю ее железную крашеную обивку. За ней холодные кирпичи. Обнимаю печку. Прижимаю ладони. Кажется, она чуть-чуть потеплела. Но это неуловимо. И вот понятно, что тепла уже нет и не было вовсе. Оно будет. А пока железо нагрелось от прижатых ладоней. А это совсем другое. Холод побеждает. Печку пора затопить. А вот и дрова наготове. Осенью пригодятся.

Господи. Что же такое... Трудно, почти невозможно прогнать все эти предчувствия. Они мешают. Они не дают испытать то, что я переживаю

сегодня. Или нет, я неправильно думаю. Оказывается то, чего я хочу, оставаясь один, - все это приведет к тому, что печка моя когда-нибудь окажется теплой от сожженной бумаги, на которой мои каракули нескольких лет – тех, которые я пока еще должен прожить, никак не догадываясь, что буду что-то сжигать.

Не догадываясь... А если я догадался? Попробуй забыть. Нет, уже теперь это хорошо задержится в памяти. Вот несчастье... А может быть, счастье? Наоборот? Что-то не очень складывается. И на этот раз вовсе не потому, что я в чем-то ошибся. Я проснулся утром – и все. Больше ничего такого не сделал. Да ведь и ничего не случилось. Что ты встревожился? Почему трогаешь печку. Она пустая, холодная и топить ее вовсе не надо. Солнце в комнате побывало. Впереди целое лето. И ящик папиного бюро наполовину пустой.

А самое главное – ты ведь не знаешь, что будет в тех сожженных бумагах. Ты ведь еще ничего не создал и не написал. Так что не беспокойся. И, пожалуйста, не пытайся всмотреться и вообразить, что напишется на этих листах. Уж во всяком случае – там все появится не само собой. Не так, как ты сегодня проснулся. Ты все это поймешь и, может быть, выступишь в тринадцать, в четырнадцать лет. А что? Неужели ты не будешь страдать? Еще как. Все впереди. И каждое слово, которое горит в будущем, ты напишешь своєю рукою. Никаких особенных тайн природа тебе не открыла.

Ну и что ты стоишь? Зачем обнимаешь пустую, холодную печку? В комнате – светло и тепло. Оторвись. Не откладывай дела. Выдвигай полированную доску бюро. Папин мольберт ждет не дождется. А бюро – пожалуйста – выдвигай и работай. Создавай то, чего нет. Создашь, и появится в полном объеме все, что ты будешь сжигать.

А впрочем, кто знает, быть может, не все бумаги ты положишь в эту железную печку. А может быть, одни только те, что отстучишь на машинке – той, которой у тебя пока еще нет? Как она называется? «Континенталь»? Откуда название?... А, из технической энциклопедии. На нее еще до войны зачем-то подписался отец. Вот она стоит на верхней полке резного книжного шкафа. Ты ведь мечтал о пишущей машинке и заглянул в один из томов. Понял – откуда?.. Но пока ничего нет на столе. Пиши то, что ты, может быть, не будешь совать в эту печку. И то, что сунешь в нее.

Какое благо – думать о самосожжении – еще до того, как ты что-либо создал. Представляю, что будет, если мне удастся хоть что-нибудь написать, и все это я брошу на паркет посреди моей ослепительной утренней комнаты. А почему отец мой никогда ничего не сжигал. А ведь мог бы. Я знаю одного скульптора (он еще жив) - оказывается, он уничтожал свои глиняные этюды обнаженной натуры. Очень хорошие. Талантливые. Редкой красоты - лучше его важных и главных работ. Мастер знал о том. И все-таки ломал свои глиняные фигурки, ломал совсем, чтобы никто не мог догадаться, чем они были, и чтобы не попытался, даже мысленно, восстанавливать их.

Еще и еще раз: какое благо – думать о самосожжении, еще ничего не создав.

Воображай несозданное. Воображай, как ты его уничтожишь. И притом оставайся таким же, как сейчас. Но ведь каждое утро что-то меняется. Надо ни в коем случае не забывать то, что сделал в воображении, и делать все так, чтобы нечего было сжигать. Вот, наконец, все верно, и теперь я правильно думаю. Правильно. И мне бы каждый это сказал, кроме скульптора, который ломал свои глиняные фигурки. Пойду к нему и спрошу. Нет. Решение принято. Я все делаю сам. Это смешно. Спрашивать, ничего не создав. Никому не дам надо мною смеяться. Довольно того, что я сам над собой посмеюсь. Пока мои предчувствия – воображение, только воображение. Но при всем желании я не могу отличить игры от серьезных предчувствий.

И вдруг все меняется – тут же, прямо передо мной и во мне самом. Описать такое состояние – никак не возможно. Комната прежняя, и я тот же самый. Печка такая же пустая, холодная. Полированная доска бюро выдвинута. Деревянная гармошка опущена – так, чтобы не видеть ящичков, полочек и всего, что лежит на них – отцовских карандашей, акварельных кисточек и баночек с разноцветною тушью. Все по-старому. Но все, оказывается, хранит разгадку – ответ на мои вопросы. Я понимаю, что распоряжусь бытием по-своему. А не так, как мне благоразумно подскажут. Причем уже сейчас ясно, что я сделаю хуже себе самому. Ну и что же? Пусть. Ведь это мое бытие и небытие.

И не думай, что ты взял и принял такое решение. Это вообще не решение. Это событие. И пусть никто не узнает о нем. Я самому себе задам вопросы и отвечу на них. Никакой пощады. И никакого благоразумия. И без глупостей. Что ж? Я сегодня отказываюсь от очень многого. И отказываюсь на всю жизнь – до последнего часа. Тем более – я уже вообразил мой последний час. Вообще побольше такого. Каждое утро. И все – на бумагу. И не бояться перечитывать написанное вчера.

И ничего не сжигать, как бы это ни было плохо. Пока не заполнится ящик бюро. А потом все вывалить на пол, засунуть в печку и сжечь. И то, что плохо. И то, что хорошо получилось. Потом отец разберется. Тот, который во мне. Тот, который ничего никогда не сжигал. Невольно протягиваю руку, проверяю, один я или нет в моей утренней комнате. Ощупываю каждый предмет. И сам смеюсь над собой.

### 3.

Да, я один. Но это совсем не то, что пугало в детстве. Пугало не только по вечерам, когда родители без меня уходили в гости. Но и утром, если они еще спали, а я уже просыпался. Вот они спят и не успеют меня защитить, а вдруг что-то почудится в комнате. Такое одиночество и впрямь пугало тогда. А сейчас... Вокруг – все по моей воле. Но я стараюсь, чтобы ничего не было. Так и есть. Нет ничего. Но все может быть. Вот здорово. Все. И то, что я придумую. И то, что само появится. Как во сне. Только настоящее. Можно потрогать и нарисовать. И оно не исчезнет. И останется, пока захочу.

А хотеть можно очень долго. Потому что сейчас нет ничего. Какое богатство! Ну вот. Собирай любое. Собирай! Торопись. А то оно само начнет возникать – одно к одному. И тогда – уйдет хорошее одиночество. Потеряешь все. Нет, я не дам. Словами. Одними словами. Больше ничем. Уже сколько раз в мои двенадцать лет я чувствую – одними, только одними словами. Торопись, но не обгоняй себя самого. Вырвешься вперед – страшно. А сейчас – не больше, не меньше. Как нужно. Вот – поймал... А что поймал? Сделал столько, чтобы дальше все само возникало.

Даже как будто бы и без меня. А на самом деле – вот он я. И не иду, и не плыву, и не лечу. Оно подхватило меня. И теперь – не мешать... Будь что будет. Сейчас вынесет. И снова – не больше не меньше. Вот веселое одиночество. Долго не продлится. Не думай так! Не сбивай! Хорошо, что успел отогнать пустое слово. Одно и другое. Вот опять счастье. Забри и воображай. Как можно больше. Не останавливайся. Еще, еще и еще. Рука пишет? Быстрее, быстрее... Пишет. Как хорошо. Начинаю привыкать и осматриваться. Отдельные слова готового текста. Господи... Не дай забыть все, что открылось...

А что родилось? Былина. Выдумка. Но не надо ее бояться. Она тоже готова жить. Что же ты так долго не давал ей вздохнуть и собраться из воздуха? Почему-то вижу – в словах! – голубую кольчугу. Нет, не кольчугу. Стальные зеркальные латы из небольших пластинок. И в каждой пластинке отражается комната, которую я забыл, чтобы она не мешала. Теперь их много. Желтые, ослепительно-желтые обои, а на них – этюды, этюды в золоченых маленьких рамках. Нет, не надо. Вот они исчезают. И что-то сейчас опять отразится. Голубые зеркальные пластинки, а на самом деле зеркальные латы. Уж лучше была бы кольчуга.

Ну, хорошо. Пусть будет кольчуга. Вспоминаю. Вспомнил. Тот, кто вспомнил, должен уйти. Уходит. И вот я опять один. Потому что мой Вольга еще не родился. А он может быть живым. Я чувствую, какая в нем богатырская сила. Вот зеркала пропадают. Витье кольчужных петель слепит лучше любых зеркал. Кольчуга. Родилось другое время. Никто еще не видел его. И вот не буду петь. Не хочу рисовать. Не буду. Слова. Только слова. И из них сама собой соберется одна строка. Та, ради которой...

Нет, я понимаю, что отстаю от времени. Или его обогнал. Где-то рядом совсем другая эпоха. Ее считают действительностью. Хороша действительность. Я кое-что знаю о ней. И другие знают. И вы знаете. И вот эта действительность движется вперед. У меня иные законы. И приходится быть в одиночестве. Подумаешь!.. Очень я испугался. Я уже сейчас вижу, что вашему времени придет конец. Могу подробно рассказать. Но рассказывать неинтересно. Ни сейчас. Ни в дни гибели. Эпоха. Мне даже ее жалко. Нет, не заслуживает жалости... Бог недоволен. Когда будет все, как надо, время остановится. А теперь – пусть летит.

Моя эпоха – другая. Не мечты, не фантазия. Тоже действительность. И она

опережает. Весело. Какой-то богатырь Вольга. Выдуманный, конечно. Пора к нему присмотреться. Вот Билибин взял и нарисовал своего богатыря. Это в том искусстве. А у меня свой. Он будет жить, как я захочу. Все станет по моему. А почему это плохо? Отец качает головой и уходит куда-то. Оказывается, я его так и не смог прогнать. Но он вернется. Потому что не все успел. Он попевал за своей эпохой. А в душе не хотел попевать. Приходилось. И только после того, как он ушел туда, у меня случилось такое утро. И он вернулся. А теперь куда он пропал? Не надо спрашивать. Со мной происходит что-то важное. Вернется.

Нужно остановить взгляд. Уставить его в любую точку и не отводить. Пока не появится мой детский Вольга. Ведь я уже знаю, каким он будет. И то, что я брошу его и забуду. Напрасно. Мы сами бежим от своих открытий. Отводим глаза прочь. И вот ничего не может явиться, и все забыто. А когда приходит последний час, попробуй вспомни. А у меня есть время. Оно. Мое молодое. То, от которого я отстаю, потому что сам захотел. Но кто-то уже смотрит моими глазами. Ну вот, наконец... Это и есть настоящее открытие. Нужно позаботиться о том, что делать в последнюю минуту перед концом. Вот что самое важное в мои двенадцать лет. Всматриваюсь, не отвожу глаз и вижу все очень хорошо. Вспоминаю о самосожжении.

В печке никак не может загореться и сгореть мой Вольга. Останется несколько листов. И вот на одном из них – нужная строчка. Вижу в ней каждую букву. Еще немного – смогу прочитав вслух. Не торопись. Еще впереди целая жизнь. Тогда, в последнюю минуту, я буду собирать эту строку. А сейчас – вот она... И что же? Никак не собираю то, что легко читаю. Нет, нет, я и тогда сумею. Не отводи глаз. И ты увидишь то, что будет после конца. И тогда ты все-таки вспомнишь, потому что настанет утро, которое я переживаю сейчас. А может быть, все то, что сейчас переживаю, это утро и есть – после конца... Оно. Подожди, подожди...Открытие! В самом деле, так и есть... Вот почему я хорошо вспоминаю и легко собираю... Что же это? Хочу я или нет прозреть, наконец?

Только не утерй. Всмотрись. И потом постарайся такими глазами видеть всегда. Ослепнешь от ярких красок. Заболят глаза от того, как они наведены на резкость. От этих деталей, от этих линий, бликов и очертаний. От этих этюдов и золотых рамок. От этих зеркальных пластинок, голубых стальных извивов кольчуги. От того, что является из пустоты. Самосожжение.

Неужто вся жизнь моя такова? А тот, кто живет больше, яростнее, быстрее, тот сжигает себя? Нет, нет, есть в твоём одиночестве то, что нужно. побыстрее собрать и засунуть поглубже, туда, в эту печь. Моя поэма-былина. И я сожгу ее. Но это не самосожжение. Поэма сгорит, а я ведь останусь. Так будет и с жизнью. Тот, кто сжигает, не будет сожжен. А это значит – и поэму я сумею восстановить по частям и по строчкам. И я это сделаю после конца моего. Но почему после конца? Конец уже позади. Надо сейчас. И я уже

делаю это. Получится другая поэма. Ну и что? Другая, но та же самая. Вот почему так светло и молодо все во мне. И ничего повториться не может. Возобновить – сотворить заново – родить вновь то, чего не было.

Удивительная возможность – поправить непоправимое. Здесь главная тайна тайн. Больно и страшно, зато поправимо. Так можно поправить эпоху, действительность и себя самого. Ту строку, что еще только рождается, а ее уже пора поправлять. Вот зачем отец ко мне возвратился. И вот почему уходит и на время оставляет меня одного. Как хорошо знать, что он вернется и запоет в той комнате чуть слышным фальцетом из «Персидской песни». Да ведь и сам Шаляпин вернется. Только мне самому нужно вспомнить всю мою жизнь. Ту, которая кончилась, ведь уже началась иная – после конца. Вот света становится больше. Добавить еще? Отчего не добавить, если владеешь тайной? А чтобы добавить, нужно возобновить.

Вольга, на гравюре Билибина, оглядывается в зеленом просторе. За его спиной – извивы синей реки. В руке богатыря копьё – красное древко. Вольга – молодой – безусый и безбородый. Ему, наверно, тоже двенадцать лет. А за ним – дружина таких же, как он, молодых. Белые и черные, разноцветные кони. Передо мной на шахматном столике раскрытая книга. Мой Вольга не такой. Он тоже оглядывается. И так же режут мои глаза белки его глаз. И кольчуга такая же точно. Он смотрит на меня прямо в упор и думает, чему бы еще научить молодую дружину. И сейчас я узнаю, чему научить. На цветной гравюре – тихий спокойный вечер. Темная зелень берега, темная кромка леса. Река темнее серого неба. Тот Вольга закончил свой день. Мой – начинает.

Билибин. Билибин. Я очень его люблю. Он вернулся в мое веселое одиночество против моей воли и раньше отца моего. Что делать, если так получилось? Утром – хорошо рассматривать на шахматном столике чужой, уже завершённый день. Он тоже горит и спит яркими красками. Зеленая и темно-красная керамика столика. Те же цвета, что и на раскрытой гравюре. Ну, еще бы! Столик – из того же века, из того же десятилетия, когда рисовал Билибин. У отца – совсем другие сочетания красок. Но он тоже любил Билибина. Книжка эта принадлежит ему. Она его молодость, так же, как и мое двенадцатилетие. Все отсюда, и все – туда. Надо возобновить. Отец это делать не станет, когда вернется. А у меня впереди – целая жизнь.

Вот, наконец, понимаю, чего хочет Вольга. Он колдует и приказывает, чтобы утро не уходило. Его красный щит светлеет прямо у меня на глазах. И кольчуга становится голубой, как предрассветное небо. Еще немного, и солнце взойдет. Но пока так хорошо в прозрачной тени перед восходом. Утро не должно умирать. Милый Вольга будет моим.

Вольга – вещей. Он знает о том, что будет. Светлое солнечное колдовство. Как жаль, что эта сила погибнет из-за того, что вы любите в вашей эпохе. Именно это я не люблю в ней. Схватка с тем, что я не люблю... Нет, не сегодня. Я еще очень молод. Вольга собирает силы. Поединок впереди. Поэма-былина... Там все должно быть не так... Я ведь хорошо знаю,

что мой богатырь погибнет. И придется поэму засунуть в печь. Вот с этой судьбой своей и станет бороться Вольга. В настоящей былине об этом ни слова, ни строчки. Святогор кончается. А Вольга остаётся. Но это в настоящей былине. А у меня – поединок. И я знаю, какой. В былине все богатыри перевелись на Руси. Но среди них не было моего Вольги.

А где он? Еще бы... Он вещий. Всезнающий. Ведающий. Он тот, кто не совершает ошибок. Потому что заранее знает. Но такого не может быть. Значит, он будет. Как хорошо – заранее знать и делать то же самое, как будто и вовсе не знаешь. Но ведь это в шутку, а на самом-то деле – все известно, а ты делаешь то же самое, потому что впереди небывалый поединок богатыря. Люди не знают сейчас, что после победы нужен именно такой поединок. И, если не знаешь, он может не состояться. Но ведь я посвящен в это великое знание. У меня сейчас все происходит – после конца. Пора колдовать. Превращаться. И обучать молодую дружину. Моим примером. Или чем-то совсем другим. Предведением. Точным словом о том, что будет.

Нужна строка. Одна лишь строка. А ее нет. Хотя я помню все свои будущие строки и строфы. Но их нельзя повторять, потому что будет, что будет. А должно состояться иначе. Гравюра Билибина темнеет все больше и больше. Я отыскиваю в ней хотя бы одно световое пятнышко. И мне так жалко и горько. Мне кажется, что и билибинский Вольга опечален. Он оглядывается и смотрит мимо меня с такой неодолимой тоской. Он окружен, скован зеленым сумраком зеленой гравюры. Он не может двинуться. Он застыл. Мысли его одни и те же. Но ведь и со мной сейчас происходит все то же самое. Только я окружен и скован светом и ослепительной пестротой колдовского утра. Колдуй – не колдуй. Утро уходит. Поединок пора начинать. А я не готов

И вдруг я вижу – мой Вольга что-то понял. Его лицо осветилось. Шлем горит еще ярче. На щит невозможно смотреть. Да, он уже понял. Догадываюсь и не могу догадаться. Но это не выдумка. Он живет отдельно от моего воображения и от меня самого. Наконец-то. Вот что значит уставить взгляд в одну точку и не отступать. И при этом не отгонять и помнить все, что было до конца моего. Упорство – главное колдовство. Прежде ты бросил, отступил. А теперь выдержал. Вот он твой поединок. И не важно, что ты не знаешь то, что понял Вольга. Все нормально. Все, как должно получиться, если не отступаешь. Веселое одиночество кончается весело.

А все-таки – что же ты понял? Попробуй намекнуть хотя бы одной строкой. Вот – намек сделан. Хорошо, что ты затаил дыхание. Слава богу – ты не услышал голосов конца обреченной эпохи. Они уже слышны. Тем более – ты знаешь заранее. Можно вернуть комнату. За окном – тишина. А за дверью, там, где папин мольберт, только что отзвучали шаги. Папа снова ушел. Он рядом был. А я не заметил. Только что отзвучали шаги.

Строка появилась. Не могу ее записать и произнести. Такая она по-детски



неловкая и неумелая. Да, ее нужно скрыть от себя самого. Но уж раз она появилась, то никуда не уйдет. А ведь строка та самая, та, какую хотел я вспомнить. И теперь она будет меня преследовать всю мою жизнь. Я постараюсь ее забыть и не смогу. Посмеюсь, и опять за мое серьезное дело. А она опять звучит в ушах, как будто кто-то страшным женским голосом, как во сне, произносит ее, и как будто голос этот, кошмарный только во сне, раздается во мне самом, и самое жуткое то, что голос это чужой, а вовсе не такой, как мой детский дискант. Это какой-то чужой фантастический женский голос. Как мне его заглушить? Как забыть строку? Нет, она после конца меня возвращает к началу. Она не дает мне, взрослея, утрачивать мое молодое утро. Вот оно и не может кончиться. Вольга наколдовал хорошо.

Что я пишу затейливым новым почерком? Слава богу, совсем другое. А не то, что произносит фантастический голос. Перечитываю. Нет, лучше не вчитываться. Что же? Я разучился писать? Только этого не хватало. Конец – в прошлом, а я писать не умею. И как раз в самое утро, когда мог бы и должен писать. И это для твоего же блага. Такие слова произносит женский голос во мне. А потом опять – строка, и снова – для твоего же блага. Ну, конечно, я понимаю. Разучиться писать или сочинять такие вот строки – вполне ради моего спасения от себя самого. Как теперь выбираться из этого состояния? Строка, одна и та же, повторяется. И я уже не слышу ее. Вот я уже и не помню о том, что конец мой – у меня за плечами. Это я как будто бы знаю, но вспомнить уже не могу.

Господи, какое облегчение. Добрый Вольга. Ведь самое трудное – себя самого прогнать. Освободиться от себя, а не только от эпохи и от всего, что вокруг. Вот, наконец, я догнал наше время. Надо в него всмотреться. Оно живое, как ты. Вот и всмотришься. И вслушайся. В нем, в этом времени – воля к тому, чтобы не погибнуть. Надо пройти насквозь. То, что придет конец, ты знаешь и не забудешь. То, что нужно другое, – тоже известно. Но ведь любое время – твое. Испытай себя словом. А для этого – заново научись добывать звуки и строки, чтобы их не стыдно было произносить. Конечно, конечно, для моего блага лучшего и не надо. Ладно. Перестань повторять женским голосом. Я уже проснулся от этого сна. Меня напугать невозможно.

Перестань. Перестань. Я от тебя свободен. И от себя. Где ты, мой друг? Мой Вольга? Я не вижу богатыря. Но чувствую – он прямо передо мной. Он колдует, колдует. Первая, вторая, третья мудрость. Как превращаться. Как обернуться в небе соколом. Как дружину обратить в муравьев. Как читать любви, святые и обыкновенные книги. А потом как складывать из воздуха небывалые строки. Что сделать, чтобы земля колебалась. Пригодится на всякий случай. Когда настанет час колдовства. Начнешь поединок. А пока знай и не пробуй. И все это Вольге моему «в наук пошло». Вольга, вещий Олег и Волхв – одно и то же лицо. Богатырь, князь, колдун. А ведь все это – в строчках былии. Боже, как просто и как хорошо.

## 4.

Свободен от себя самого. Другой, но – тот же самый. Время, история. Все, что сейчас. Пять лет после победы. Богатырское утро. Слава богу, никто не знает о моей поэме-былине. Я начал ее писать сразу после смерти отца. А тут на глазах у меня уже почти восстановили разрушенный город. Он ведь не до конца был разрушен. Он смог устоять. Люди все – дружина Вольги. И не знают об этом. И пускай не знают. Я их люблю. Весело видеть, как они, победители, о себе ничего не знают. Делают все правильно, как надо, чтобы вновь и вновь побеждать. Научились победам. Впереди поединок с главным врагом. А кто он – этот враг? Надо подумать. Победители, к сожалению, ошибаются кое в чем. А Вольга безупречен. Он, богатырь, князь и колдун. Я люблю всех. Но они уже сделали много ошибок. Дружина учится. Они дружина, а богатырь – воскрешенное время. Уж если отец рядом со мной после смерти, то почему эпоха не станет одной былинной строкой?

Что-то мне почудилось в соседней комнате. И это не шаги отца. Он ходит иначе. Но ведь и мама еще не вернулась. Туда, в большую соседнюю комнату, никто не вернулся. Даже я сам. Но я в двух шагах. Недалеко и другие: мы в одном времени. Понимаю: отсутствие не выдержало среди неподвижных вещей. Оно ждет. Его шум, казалось бы, невозможно услышать. Но мне удалось. И вот это я и называю – почудилось. Очень кстати. Я люблю мир, в котором чудится шум отсутствия. Кто прошелся по комнате и тронул мольберт? А потом притаился и задержал дыхание? Надо уметь слышать. А когда рядом тот, кого в комнате нет, и он случайно выдал себя неловким шагом и невольным прикосновением к мольберту, к большому, раздвижному столу, значит, все в порядке, значит, я вернулся так же, как мой отец.

Ну да, конечно. Я понял. Ничего не случилось. Это я поймал шум шагов моего дяди. А ведь он живет как раз под нами, на втором этаже. Он никогда не отстанет от времени. И от эпохи. Это иной художник. Он не похож на моего отца. Там у него комната-мастерская. Он ходит перед картиной. Отойдет на два-три шага и слегка запоет. По-другому. Ему пропадать некуда. Комната у него поменьше, чем наша. Много вещей. Жена и две дочки. Они в других комнатах. И только жена его рядом. А он работает. Сквозь пол можно услышать. Он пишет какую-то вещь. Я даже знаю, какую. Наверно, он ее уже написал. Кисти. Холсты. Ходит, проверяет себя. Оттуда звуки. Сквозь пол. А вообще в нашей соседней комнате нет никого.

Ни матери, ни отца, живого и ушедшего, никого, и даже я прислушиваюсь к пустоте – сквозь открытую дверь. И все-таки пустота заполнена звуками. Под натертым лиловым паркетом, там, на втором этаже, незнакомая другая судьба, другое время, другие ритмы. Другой растворитель и запах масляных красок. Мой родной дядя. Брат моей мамы, на кого она страшно похожа. Он, моя кровь и плоть.

Дядя. Я иногда захожу к нему в гости и вижу, как он устал. Потому что

утомительна жизнь, если она всего лишь одна. Он не знает, что это не так. Да и в той жизни... Что с ним произойдет через несколько лет? Он сделается классиком, знаменитым. А сейчас... вокруг много близких людей. Как побыть одному? И вот он тихо-тихо, так, чтобы жена и дочки не заметили, напевает что-то с кистью в руке. Вокруг моего отца – больше простора. Тогда и теперь. Целая комната, и в ней нет никого. А дядя – даже далеко от картины отойти не может. Все оглядывается. Красное бюро. Стенка. Слева окно. А в углу – швейная машинка. И жена с прямым пробором, нагнув голову, что-то быстро-быстро на машинке строчит. По-семейному тесно. Он пишет красками не то, что хотел бы. Он ни разу с моим отцом не выходил на этюды. Некогда. Много заказов.

Откажись от них, как мой голодный отец. Нет. Невозможно. Там, где отсутствие, голода нет. Помню. Осознаю. Дядя не знает, что он тоже вернулся. Он в той жизни. И вот надо все успеть. Времени уже не так много осталось. Дядя завидует молодым. Всем, у кого жизнь впереди. Он готов был бы со мной поменяться. Однажды он так и сказал в ответ на мой наивный вопрос о том, почему вокруг так медленно тянется время. Для кого медленно? Для тебя? Радуйся, гордись, пользуйся. Я бы с тобой поменялся годами. И, небось, ты не захочешь? Нет, я отвечаю, - хочу, прямо сейчас. Попробуем, и дядя снова запел про себя – так, чтобы никто не услышал. А потом промолвил, не отводя кисти от холста: прошлое недоступно, по крайней мере, не может мне пригодиться. Только запас молодых сил...

Отец, когда был жив, не произносил такие слова. А я их вполне понимаю. Тогда и сейчас, после конца. Ну, хорошо – теперь. А почему тогда? Напрасно дядя думает, что никогда не вернется. Он ведь не верил, что после конца что-то может случиться. Героическое сознание. Без предрассудков. А сейчас он на втором этаже. И мы могли бы продолжить наш разговор. А кто мешает? Звуки отсутствия не пропадают. Они живут. Услышал? Почудилось? Не испугался? Что пробилось к нам, на третий этаж? Нет, свидание не состоится. У меня только запас молодых сил. А у него - только звуки. Даже холсты и краски пропали куда-то. Ему незачем возвращаться. Он и там не верит, что это нужно. Еще бы. Жизнь только одна. Как мне ему объяснить? Отец мой и тот не поможет. Он сам должен себе помочь. Там и здесь. Как ему теперь себя обнаружить? Нет, попытаюсь.

Конечно, ошибок лучше не совершать. Но уж если так получилось, придется. Он удивится, но повторит, что по-прежнему признает одну единственную жизнь, ту, которую он прожил тогда. И никакой другой не нужно ему. Ведь если бы он хотя бы в мыслях своих допускал возможность возврата и перехода, он, мой дядя, не мог бы так беззаветно и безоглядно любить жизнь, подаренную тогда. Жизнь, а не свой опыт. И только в те дни он и был согласен со мной поменяться годами. А теперь – отказывается от всего, что возможно и необходимо, чтобы проникнуть сквозь прозрачную непроходимую грань. Попробую. Слово за мной.

Социальность. Любимое слово мое, когда мне было десять лет. Я ведь старался разговаривать только со взрослыми. И тогда – кстати или некстати – употреблял это слово. Идет разговор, пауза, и я произношу, напевно и очень искренно: «Социальность...» Скажу и прислушаюсь, жду. И самое смешное – я, в общем, не очень и ошибался тогда, употребляя такое недетское слово. Взрослые, услышав его, задумывались и начинали размышлять вслух, а я только попевал за их мыслями и очень многому учился. Во всяком случае, мне сейчас, после конца, легко вернуться в то состояние и подышать воздухом тогдашних споров о социальности. Забавно! Разница невелика.

Дядя мой никогда сразу не отзывался на это слово. Он как-то неестественно обрывал разговор, уже не пел перед мольбертом, подходил к картине, отходил, насколько возможно, склонял голову набок (чего мой отец никогда не делал) и опять приближался к холсту и молчал, отгоняя ненужную мысль. Но она все равно мешала ему. Долго. Долго. И уже нельзя было его разговорить во время работы. Все мои слова повисали в воздухе. И я поневоле догадывался, что означает молчание дяди. Попробуй, распутай, объясни себе самому. Жизнь одна, а понять невозможно. Дядя молчал и через полчаса произносил нараспев, настороженно и проникновенно: «Да, социальность...» И, не опуская кисти, взглядывал на меня.

«Да, социальность...» - повторял он, думая о другом. И я удивлялся и сравнивал дядю с моим отцом. Взрослые должны быть в чем-то уверены. Что? Он боится? Да, я знаю, что это страшно. Может быть, самое страшное в жизни. Вот отчего он был бы готов со мной поменяться годами. Для меня слово, а для него – целая жизнь. И та, которая позади. И та, что еще предстоит. А он ведь ее любит. И еще больше любит жену и своих дочерей. И что получается? Кроме социальности и любимых нет ничего? А после конца? Что исчезнет? Все или только то, что мешало? И вместо лишнего выживет нужное. Оно радует и не требует ничего взамен. Слышишь, дядя Шура? Отвлекись от своей картины...

Я не захожу в соседнюю комнату, но я знаю, что на втором этаже он отвлекся. Он опустил свою кисть, посмотрел на то место, где я когда-то сидел. К сожалению или к счастью, там пустота. Звуки затихли. Он всматривается. Он хочет, чтобы я появился. А я не знаю, как лучше сделать. Социальности нет. Просто очень много людей. И с ними надо наладить прежнюю и новую жизнь. Они тебя не увидят. Ну и что же? Возвращайся один. Скорее. Скорей. Пока я недалеко от тебя. Не отводи свой взгляд. Смотри в одну точку. Вот я подсказываю надежный способ. Я его уже испытал. Войди в мое утро. И тогда сумеешь подняться по темной лестнице на третий этаж и позвонить в нашу дверь. А потом придет мама, и ты встретишь родную сестру.

Нет, она еще не вернулась. И ты не хочешь, чтобы она возвращалась. Дядя Шура. Нельзя оставаться в той социальности. Рядом с тобою – совсем другая эпоха. Полная молодых, нерастраченных сил. А ведь они тебе так нужны. Рядом. Рядом. Вот увидишь - придет мой отец. Вслед за тобой.

Все глубже и глубже... Любить людей – значит действовать в сфере человеческих интересов. Так он сказал. А что бы ответил отец?.. А что бы ответил я – в это утро. Конечно, правильно. Сфера интересов. Но ведь они так меняются. А жизнь остается. Быть может, что-то всегда неизменно. Иначе просто бы не было ничего. Все бы разрушилось и погибло. Наивно. Не исчезает одна лишь Возможность появления интересов людей. Вот это и есть основа основ. Так я говорю моему дяде. А он не слышит меня. Он уже заглянул ко мне в комнату. Секунда. Убедился, что я существую. Успокоился. И пошел к себе на второй этаж. С новым желанием. Работать. Работать. Работать. И по-прежнему... Больше и больше. Глубже и глубже. Вот он спускается по лестнице. Вот проходит сквозь дверь. И все-таки я ему возражаю. Нельзя, нельзя так заблуждаться. Он скоро заплачет. Но не оглянется. Его мир громаден. А заблуждения? Что ж? Есть и другие миры. Нужно отвоевывать свой.

А я сейчас был бы готов отдать ему свои десять – четырнадцать лет. Я затем и позвал его. А он не догадывается. Не понимает. Ушел. Вернулся к себе. Любить людей. Мне близки чужие миры, как мой – в это утро. Удивительно. Легко и радостно отдавать все, что имеешь. Прямо «Гирлянда джатак». Там Будда, в каждом рассказе, без конца себя отдает. И автора звали – прямо как дядю моего, Арья Шура. Помнится, в прежнем существовании, я эту книжку ему подарил. А теперь мог бы отдать мои молодые прежние годы. Это легко и вполне безопасно для жизни. Теперь-то я знаю. Впрочем, сейчас это ему не нужно совсем. Он заглянул ко мне, чтобы убедиться – жизнь всесильна. Он прозрел. Вот можно существовать – после конца...

Тот, о ком думаешь и кого любишь, получает в дар осознанную возможность желаний и бытия. Полнуби, вообрази, и вот, совсем без мук и страданий, торжествует джатака полной отдачи. Ведь нет ничего более важного, чем подарить ушедшему человеку сознание возврата в тот мир, который тебе милее всего. Сознание. Только это и можно дарить. Остальное приложится. Да и само возвращение состоится. Вот как сейчас. В это обычное утро. И никто не заметит. И никто не будет встревожен. Но почему-то почувствует – чудо произошло. Мне впереди четырнадцать лет. Радость переполняет меня. И я понимаю, что сегодня случилось. А мог бы и не понимать. Сознание – высшая радость. Но его может не быть. Она все равно с тобой. И неизвестно откуда. Осознай, если хочешь. Осознаю.

В той комнате снова какой-то шум. Другой, но похожий. Кто-то шаркнул ногой по паркету. Кто-то подвинул мольберт. А! Вспоминаю. После смерти отца дядя Шура очень хотел купить или приобрести наш мольберт. Он уж очень хороший. На двух деревянных винтах. Легко делать наклон. Удобно ставить на него большую картину. Папы нет. Мольберт стоит одиноко. Я не художник. Дядя Шура за ним приходил тогда. И вот сейчас тронул его рукой. А потом понял, что я его не отдам, ведь, оказалось, возвращается мой отец. А, может быть, они встретились только что. Очень возможно. Дядя Шура опять заглянул в мою комнату. Убедился, что я существую, обрадовался и вновь пошел к себе на второй этаж.

Отец мой и дядя никогда всерьез не говорили друг с другом. Отец не поддерживал разговор. Предпочитал рисовать. А дядя думал, что собеседник не способен думать и не владеет словом. Нет, он догадывался, что этот странный художник – себе на уме. Как любой крестьянин. Он знает что-то, но предпочитает молчать. Так было в той жизни. А теперь они встретились. На лестнице. Дядя Шура подымался ко мне и вдруг видит в темноте фигуру отца. Он сразу его узнает. Отец прямо смотрит на него, как будто спрашивает: куда и зачем ты идешь. Дядя Шура не отвечает и даже не хочет здороваться. Ведь это совсем невозможная встреча. Такого просто не может быть. И все-таки он здоровается. Отец отвечает кивком головы, идет вместе с ним.

Потрогав мольберт и заглянув ко мне в комнату, оба готовы, наконец, первый раз в жизни – поговорить. Но так, чтобы я не попытался вмешаться в беседу. И я не вмешиваюсь. Отец – небывалый случай! – спускается на второй этаж, как дядя, проходит сквозь двери. И вот они в той комнате, где много вещей, красное бюро, холст на старом мольберте, замазанном краской, швейная машинка в углу (почему-то она закрыта футляром). Дядя Шура показывает отцу свой уже почти законченный холст. Отец как будто не видит. Пытается разглядеть. Очень старается. Снимает и надевает пенсне. Отходит от картины. Упирается в стену. Оглядывается и опять забывает об этом. Как можно работать в такой тесноте?

Картину разглядеть невозможно. И, кроме того, он видит на мольберте чистый недавно загрунтованный холст. Ну как об этом сказать? Надо еще и еще раз всмотреться получше. И вот на белом холсте появляются, наконец, беглый рисунок углем, потом новые линии, поправки, фигуры, черновики. Много лишнего, а то, что нужно, вовсе чернеет. Пора писать маслом. И вот проступают краски. Я все это вижу издалека. В готовом виде. Как должно быть в итоге. А отец восстанавливает весь процесс рождения картины. И для него это очень трудно. И все-таки он заставляет себя. Еще и еще раз. И вот картина закончена. Последний мазок. И ничего добавить нельзя. А это ужасно. Воздуха нет. Простор куда-то пропал. Но как об этом сказать.

Дядя Шура молчит. В его душе – протест против новой картины. А он обязан ее любить. И вроде бы любит. Как любит людей, ему современных. И всю современность. Она одна, и другой не дано. Господи, ну что он молчит? Ведь я сам понимаю, как это ужасно. Столько трудов, и все к черту. Но если он что-нибудь скажет, я отвечу ему. И тогда надо держаться. Он все равно ничего не поймет, а я буду себя убеждать. Вслух. Потому что иначе нельзя. Для меня слова. Даже если они не верны, обладают особенной силой. Они, слова – ближе к истине. И когда говоришь, невольно слышишь эхо в пространстве и времени. А картина приходит в будущее сама по себе. Как рукопожатие. И никто не знает, каким будет оно. Только я почему-то знаю.

Отец все разглядел. Усталый, снимает пенсне. Вот несколько замечаний. Эпоха велит завидовать мастерству. А тут все продумано от начала и до конца. Но он прав, протестуя против своей готовой картины. Я не протестую. Неужели я все это вслух говорю? Первый раз в жизни такими словами... Он тот, кто не ошибается. Потому что вся картина – ошибка.

## 5.

Ошибка целой эпохи. Так или не так? Но эпоха не ошибается. Умножают просчеты лидеры и вожди. А вот сама она торжествует. У нее свой Олимп, свой земной и небесный рай. Свое «умное место», как сказал бы Платон. Конечно, здесь предел творческой воли. И вот я не за Возрождение. И не за эпоху Возрождения. А за Возрождение – в нашу эпоху. Не видишь и не признаешь? Так очень легко судить об ошибках. А твой сын задумал что-то иное. Богатырь Вольга – мудр и молод. Правильно. Пора.

Не признаю, ты говоришь? Пора? Но после конца – трудно соображать. Ты ведь пишешь, не понимая, что сам уже кончился. Я о Вольге ничего не знаю. Это он сочиняет после смерти моей. А ты ведь меня пережил на много десятилетий. И ты застал его молодого героя. А теперь мы говорим, когда и ты кончился тоже. Мы говорим после конца. И ты находишь время, чтобы обсуждать его детские глупые выдумки.

Ну, какая эпоха? После конца не бывает эпох. Там – чередование, смена беспредельных времен. Они всегда есть и только порой друг друга перекрывают. Как мы с тобой. Ты говоришь по привычке. А я молчу. Да, я ничего не сказал. Я промолчал о том, что ты услышал сейчас.

Это не важно. Я тоже, по большей части, – молчу. А для тех, к кому сейчас мы вернулись, и все наши слова – молчание. Ты безмолвствуешь – о сыне своем. А я нахожу время – как тогда, так и сейчас – нахожу время, потому что он мне как сын. Об этом я думаю и даже не спрашиваю. А он ведь ко мне обращался. И я отвечал ему, как умел и как мог. А почему ты ни разу ему не ответил? Ведь это нехорошо. Там и здесь. Ну ладно.

Итак, мы вернулись оттуда, где нет времен, а одни беспредельности. Об этом ты промолчал? Хорошо, я услышал. Нет, ошибаешься. Там есть все, чего нет здесь. К сожалению, нет. И тут уже ничего не поделаешь. Надо справляться с тем, что имеешь. А недостача – ущербна.

Ты чистый. У тебя нет полотен, ложных и продуманных в каждой мелкой детали, как эта моя, та, что стоит перед тобой на мольберте. А я досаую, что – на моем, а не на твоём. Теперь, надеюсь, ты понимаешь? Да, у тебя живопись в той сфере и на том просторе, где не бывает ошибок. Там, где Рылов и Пришвин. А не там, где Пикассо и Матисс.

Только поэтому я не хочу разглядывать красивые твои пейзажи, портреты и натюрморты. Но я их вижу. Они прямо передо мной. Я их отгоняю. А они все равно встают – из воздуха, из полутьмы этой комнаты, за этими высокими венецианскими окнами с полукруглым верхом. У тебя окна прямоугольные. Как рамы холстов и этюдов. Ну, что? Опять молчишь? Нужно побеждать не в беспредельном, а именно там, где мы живем.

Ошибаться и погибать? А где мы? В каком из времен? Говори, говори дальше. Я люблю тебя слушать. И каждый раз понимаю, что ничего не слышу. Розовые блики твоих слов на зеленом фоне мелкой листвы.

Помолчи о розовых бликах. Ты прав. Как мне их одолеть? Матисс? Да, я люблю Матисса. А ты проходишь мимо него на третьем этаже Эрмитажа. Мой мир человеческий. И куда ни оглянешься в нем, везде – следы и произведения человеческих рук. Для меня божество – загадка. Оно во мне, и оно велит все переделать по моему образу и подобию. Все кругом обречено быть немного иным. А ты на своем природном просторе никогда сам с собой не встречаешься. Почему? Ты молча возражаешь мне, что каждый из миров – беспрделен. И тебе хорошо созерцать все сотворенное божеством, а не тобой. Оно сотворило, а ты послушно и молитвенно благодаришь его за многоцветие мира. Хорошо – нигде не встречать себя.

Но ты спроси у своего повзрослевшего сына. У того, кто завершил целую жизнь и начал сначала. И даже меня зовет на свой хорошо продуманный путь. Спроси у него. А он тебе скажет, что сначала ты, а потом я с этой картиной своей, где пытаюсь поправить реальность, в которой живу. Ты сначала, потом я, а потом снова ты. Хорошо. Допустим. Я пришел на готовое. И столько уже сделано – до меня. А я вижу – сколько еще нужно сделать. И все вместить в одну единокровную жизнь. И я поправлю ее, так что везде будут следы моих касаний и жестов. А ты уйдешь и оставишь отпечаток того, что было, есть и будет всегда – без тебя. Ну, спрашивай сына, как я его вопрошаю. Он где-то рядом или на том, на твоём этаже.

Говори. Говори. Мне кажется, что ты словами выражаешь то, что я хотел бы тебе объяснить. Но это ошибка. Ты говоришь другое. Мой сын поправил бы меня и нарушил бы наше молчание. Это он виноват. Он даже ни разу не вообразил, что при жизни и после конца думал его кровный отец. А я думал и думаю. И ему надо потрудиться и создать язык для меня. Я пытаюсь целое утро. Прихожу. Ухожу. А он никак не может понять. Нет, он все знает прекрасно. Он не хочет ничего для меня создавать. Он ждет, когда я сам что-то сумею. Один. Без него. И без тебя, разумеется. А ты говори. Говори. Он все слышит. Он ждет. Он по-своему подсказывает. Мне и тебе. Нельзя одному работать за всех. Ты готов. А как же другие миры?

Но ты спрашивай и разговаривай с ним. Ты знаешь – тот, кто спрашивает, молчит. А надо иначе. Я устал, себе самому задавая вопросы. Кроме того, я уже ответил. Моей картиной, конечно. Чтобы так ответить, нужно ограничить мир подрамником и все вместить, что возможно, в прямоугольник холста. А ты накладываешь рамку на мир, а не вмещаешь в нее все, что подвластно художнику. Все, чего нет в этой рамке. Так очень просто. И у меня были такие пробы. Но я не решился отдать им целую жизнь. И вот спрашиваю: почему, если получается все, что задумал, картина умирает у тебя на глазах? Я это знаю. Ошибка. Ошибка. Знаю сам, без тебя. Ошибка времени, которому я отдал всю мою жизнь.



А теперь ты помолчи. Ну, давай разберем каждый твой мазок и всю композицию. Отложи палитру и кисти. Сын мой нам не поможет. Поблагодарим и оставим его. Я потом объясню. Он и так много сделал для нас. Пусть поживет свободно. Мне тяжело. Но я согласен заняться тайнами этой картины. Мы друг друга поймем. А у него будет свободное утро.

Господи, как занятно подслушивать бестолковый разговор двух мастеров, один из которых молчит, а другой не только художник, но и литератор, он все облекает в слова. Оба они молчали долго по ту и по эту сторону прозрачной границы. А теперь поневоле оказались вместе и пытаются выразить все, что ими не было сказано прежде. Поневоле – потому что я захотел. Такое бывает после конца. Как бы от них отделаться?.. Их разговоры меня сбивают. И сами они оба знают, что я им дальше помочь не смогу. Завел беседу, и отходи в сторону, пока не увлекся. А то они, в конце концов, доберутся и до тебя. А ты свой мир заново создаешь. И все позабыл. Чистый и необъятный простор. И в нем еще ничего не родилось.

Вот оно – ощущение чистоты. Его, после конца, испытывает – кто чистоты не утратил. Сохранил ее в себе, хоть немного. Человек жив, пока он способен ее сохранять. Каждый, кто жив, богат изначальной своей чистотой. Каждый – в сущности – имеет возможность все начать, как впервые. Так зачем вспоминать о том, что было. Вспоминай о тех, кто был и родился опять. Он, как младенец, делает первый шаг. Вот эти пусть будут рядом с тобой. А не те, кто спорит о прошлом и вспоминают себя. Пусть они остаются. Но без тебя. И тем более – сами хотят, чтобы ты не подслушивал их. Вольга мой – тоже воспоминание. Детское, наивное, чистое... Оно мне поможет. Я тогда еще не знал своего мира и не совершил никаких особых ошибок.

Опять долетают обрывки бестолкового спора. И опять я слышу: «Розовые блики» на зеленом фоне мелкой листвы. Отец разбирает композицию дяди, чтобы понять, почему умирает картина. Ведь и у него, а не только у дяди, умирают холсты на мольберте. Папу спасает этюдник и губит мольберт. Он его ненавидит. Бойтся утром к нему подойти. Бежит от него. И мне он завещал такой же побег от себя. Дядя никуда не бежит. И в этом причина его розовых бликов. На картине грузинка пляшет в искрометном розовом платье. А все остальные смотрят – кто стоит, кто в красивой позе полулежит. Деревья в розовых бликах тоже видят этот сверкающий танец. Такого быть не могло. Это создано. И вот вихрь танца умер, застыл.

Придуманное. Сотворенное. Кругом лежат фотографии лучших мгновений жизни. Молодость. Радость. Вот черно-белая пляшущая грузинка. А вот фигуры в купальных костюмах. Такие же – на полотне. Юность... Все это было. И такого быть не могло. Почему? Потому что... И тут отец, наконец, произносит что-то, чего я не слышу... Мой дядя соглашается с ним. Вообще-то, мне бы надо было послушать. Я ведь хотел, чтобы они от меня оторвались. Вот и случилось все, как я захотел. А теперь они и в самом деле

без меня обойдутся. У них свои особые тайны. Все в порядке вещей. Отлегло. Свободен. Вдруг – невозможная тишина. Отсутствует самое главное из того, что было сотворено. Подступает еще не рожденное.

Тихо. Чувствую, что я совсем другой, чем когда-то был. Имя, отец, мать, судьба – все другое. Как получилось? Не знаю. Сразу потеряно все. Пробую вернуть. Кое-что вернул. Остальное исчезло. Характер совсем другой. Желанья другие. И нет памяти об ошибках. У меня тогда не было их. А что же осталось? Эпоха, где спорят заново дядя и мой отец.

Итак, ясно. Родился я в ту самую невозможно страшную и светлую, как утро, эпоху. И тот я – вовсе другой, а не тот, каким был тогда, в первый раз. Вот почему все так происходит. И столько странностей, что я даже не знаю, с чего начать. Вот почему я могу то, что раньше не мог. И вот почему, наконец, утих на втором этаже спор двух мастеров. Но это не значит, что их там нет. Они продолжают разговор, но совсем по-другому. И голоса у них изменились. Осталось только то, что один – мой отец, а другой – дядя. И на мольберте картина другая. Но те же розовые блики на платье и листьях. И так же пляшет грузинка. И так же, но в других позах все остальные любуются ею. Оба мастера ничего не могут понять. Картина – живая.

Как она получилась? Откуда вдруг – тот же самый замысел? Отец и дядя пытаются вспомнить, что все это жило, но было иначе. И сейчас им вовсе не страшно, а неудобно и больно. Чувствуют они себя несвободно. Хочется что-то забыть или вспомнить от начала и до конца. И ничего не всплывает. Не забывается. Не вспоминается. Потому что они от меня не зависят, как все-таки было минуту назад. И я, и они оба вполне имеют все, что хотели. Мы трое вполне родились. Каждый в том возрасте и с тем же опытом, бывшим тогда. Но тот же опыт родился тоже как будто бы заново. Он другой тот же самый. Он тот же самый другой. И никак не вспомнить и не забыть и не понять, что же случилось и в чем тут разница и граница.

Им неудобно. А мне хорошо. Видимо, потому, что каждый из нас остался в возрасте той минуты. Им труднее понять, какое чудо произошло. Каждый из них мастер, и вот надо, хочешь, не хочешь, овладеть новым своим мастерством. А я еще ничего создать не успел. Мне предстоит овладевать опытом, которого еще нет – ни в прошлом, ни в будущем. Его просто нет. Что-то подобное было, но я не помню и не хочу вспоминать. Потому что мне всего десять-четырнадцать лет. Удивительная свобода и радость рождения. Как трудно и страшно рождаться заново. А появиться в двенадцать лет – это значит узнать и испробовать, в чем красота и чистота всего, что собственно родилось. Чудо! Сознание и радость рождения соединились.

Все-таки надо вернуть и отца, и дядю. Мне хорошо, а им каково? Я должен сразу же подумать о них. А то они спорят об искусстве эпохи. А ведь сама эпоха осталась той же, но ее люди – другие. И только сохранили чистоту прежних людей, которые были тогда. Да, чистота их та же самая, но ее

больше, потому что они сейчас родились одновременно со мной, как отец мой и дядя. Господи. Трудно поверить. А ведь, оказывается, возможно. Вот чудо. И самое поразительное, оно тоже – после конца. Выпало мне в мои годы открыть и получить такую возможность. Еще немного, чуть раньше или позже, и было бы все другое. А пока, чтобы оценить и обрадоваться, нужно сразу, побыстрее подумать о тех, кто старше меня.

Думаю. Думаю. И понимаю, что вернулось жуткое и страшное время. И нельзя сказать, что оно другое. Чувствую и предвижу. Оно то же самое, но с другими людьми. Нет, не могу объяснить. Ускользает. И это не сон. Вот-вот поймаю. Не теряй сознания счастья. Вот оно. Держи его и не упускай. Четырнадцать лет... Самосожжение. Остальное – потом.

Солнце ушло из комнаты. Мама еще не вернулась. Пенсне отца – в футляре передо мной. Так ослепителен мир. Краски его горят и не могут растаять под зажатými веками. Очертанья предметов прорисованы. Этоды отца на темных стенах один ярче другого. Открываю глаза. То же самое. Отец ходит в своей мастерской. В нашей большой комнате с белеными стенами. Когда мы их успели вновь побелить? Неважно. Отец подвинул слегка мольберт на лиловом паркете. Громадный холст повернулся и разгородил мастерскую надвое. Мама войдет и удивится. Но ведь мама тоже другая, как я и отец. Вот он шагнул от холста. Вижу его хорошо.

Что это? Новый заказ? Кто заказал? Не надо мешать. Мне ведь пока еще никто ничего не заказывал. Каждый – в своем возрасте. Но положение одинаковое. Передо мной белый лист. А перед ним – только что загрунтованный холст. Как интересно. Пишет. Свободно приближается к мольберту и отступает назад. А я почему-то знаю, что грунт остается белым, как стены комнаты-мастерской. Отец прикасается кистью, и никаких следов на холсте. А он увлеченно работает. Вот запел – уже не фальцетом, а вполголоса, приятным звуком. Как мог бы запеть Шаляпин. Если бы он возвратился и увидел картину отца. Папа! Но где же рисунок углем? Где первые краски? Все поглощает ослепительная белизна.

Неужели все действительно так? Сквозь стекло двери заглядываю в мастерскую. Сразу хватаю никелированную дверную ручку. Поворачиваю. Она подвигает к себе металлические зажимы сверху и снизу. И теперь обе половинки дверей можно открыть. Открываю. Господи. Уже стекло не мешает. Я вижу ясно. Так, что каждая черточка режет глаза. Все точно так. Огромный холст. Белый, как снег. Неприкасаемый. Отец в зеленой рубашке и белых брюках, с палитрой в одной руке и с кистью в другой, молодежавый, с первой чуть приметной сединой на висках, всматривается в белизну, смело пишет по ней и как будто чего-то ждет, хотя, как мне кажется, ничего не видит. Пишет и ждет. Когда же появится? Что?

Я понимаю. Это счастливое состояние. Только то, что ты хотел бы... Только это вберет в себя и выявит грунтованная белизна. И то не сразу... Не надо спешить. Но отец нетерпелив. Ничего нет. А он все веселее и веселей.

Потому что он больше и больше видит любое, что должно появиться. Не торопись, нетронутый грунт. Это я спешу. У меня другая задача. Времени остается немного. Сейчас кто-то придет. Нет, мне уже теперь он помешать не может. Сын? Он где-то рядом. Вот на пороге моей мастерской. Дверь открывается. Он понимает и будет молчать. Ему только бы убедиться, что все в порядке. Да, как видите – все. Вот сейчас допишу и уйду. А белизна проявит. И неважно, когда. При мне или после.

Увижу или не успею взглянуть? Я тоже всматриваюсь. И тоже спрашиваю себя. Вот она – беспредельность. Она не просто вбирает в себя. Она отвечает. Мне становится больно. А что если она не сможет ответить? Отец торопится. Я его понимаю. Картина молчит. Или это начало? Или это конец? Я опускаю глаза. Белизна пропадает.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1.

Теперь, когда со мной, отцом и дядей все в порядке, пора подумать о нашем новом положении. Кто я такой, кто моя мама, кто отец и что происходит за окнами? Ясно, что я школьник. Наилучшее время – каникулы. Это сейчас. Три месяца, чтобы читать и писать. Мы откуда не уехали на лето: денег нет, живем впроголодь. Мама ушла в магазин. Значит, что-то осталось. Последний, предсмертный гонорар отца, две тысячи, скоро иссякнут. Мама экономит. А мне – достаточно хлеба, масла и сахара. Что она принесет, я не знаю. Но за окнами весело, шумно и многолюдно.

Не только я, мы все – в новом существовании. Для всех то, что было, повторяется вновь. Но все по-иному. Теперь, кажется, и Ленинград совсем другой. Когда он мне дороже и ближе – в тот или в этот раз? Люди не догадываются, какими они были тогда. Зачем это знать? Предполагаю. Субъективные впечатления. Тоже неплохо. Во всяком случае, я уже не могу теперь быть просто двенадцатилетним. Я смутно припоминаю прежние мои отроческие быстрые годы. Припоминаю. И каждый мог бы. Да, все изменилось. Надеюсь, к лучшему.

Ленинград я люблю как будто в последний раз. А тогда – это было в первый. Нет, не могу объяснить. И не только я. Мы понимаем. Иное дыхание. Подарок божества. Догадываясь, мы вплотную подходим к чему-то. Ладно. Поговорю с людьми и проверю. Целая жизнь. И еще - впереди заново крушение громадной эпохи. А, может, его и не будет. Крушения. Посмотрим. Ничего не известно. Хочешь – не хочешь, но ты уже вышел из-под власти того, что повторяется вновь и по-новому. Память, догадки мешают работать. Лучше без них. Все равно все будет иначе.

Но что это? Вдруг все постоянные звуки замерли. Шаги отца – глуше и

тише. А! Белизна пропала. Вот причина. И холст куда-то девался. И мольберт опять отодвинут к стене. Как было вчера. При желании можно возобновить. Да, все остается. Как будто бы и отец продолжает работать. И дядя у себя внизу рассматривает картину и сам не верит и не понимает, почему она вдруг оказалась живой. Все как надо. И все отдалилось куда-то.

Тихо. Тихо. Вот слышу – мягко и нежно с улицы раздается вальс-фантазия Глинки. Мой любимый. Громче и громче. Он перекрывает уличный шум. Еще бы. Репродукторы включены. Глинку слушает весь мой город. Странно и весело. Кончится Глинка – запоет Шаляпин. И будут слушать. А у кого дома радио не включено, он все равно вместе со мной. Музыка – одна для всех. Но что особенного? В том существовании все это было. Но сегодня все иначе звучит. Все подтверждает мою правоту и молодость. Рядом со мной эпоха моя не погибнет.

Громко сказано. А ведь ничего тут особого нет. Новое измерение, по твоему желанию, после конца. Все твое – Ленинград, Эрмитаж, время и те, кто утром опять восстанавливает город под вальс-фантазию Глинки. Музыка – та же и немного другая. Новое измерение возможно для каждого, кто поверит в таинство перехода. Хотите, научу любого рождать небывалое время. А потом все мы пересечемся и найдем общий язык и друг друга пойдем с полуслова. И будем это считать лучшим существованием. Только это. Всемогущество свободы и воображения. Ладно. Ладно. Хватит. Знаем. Все возможно и все доступно. Кроме чего-то одного, и очень важного. Боюсь подумать. Неужели – Глинка?..

Он... В эту минуту – исключительно он. Вспоминаю, как он звучал в прошлый раз. И мне тогда было тоже двенадцать лет. Было такое же утро. И так же казалось, что отец работает в соседней комнате-мастерской. Вальс-фантазия для меня был тогда лишь фантазией. Не было вальса. И фантазия не зависела от меня. В музыке жила одна и та же картина. Она состояла из линий гравюры. Им я доверял, и поэтому краски отсутствовали. Деревья. Руины античного храма. И какие-то неизвестные мне богини, особенно одна из них – в центре. Она протягивает руку и указывает на что-то. Божественный профиль, густые волнистые пряди, собранные в клубок на затылке.

Печаль – оттенок. Но гравюра застыла. Я представлял себе, как движется и не прерывается эта невозможно прекрасная жизнь. И был счастлив, потому что она и в самом деле ничем ни от кого не зависела. Я, ребенок, созерцаю воображаемую гравюру... А Глинка подсказывает мне звуками, как движутся люди и боги. Как они печалются и говорят неслышными голосами. И казалось, что все люди вокруг меня и сам я так же прекрасны, и мы движемся и говорим на языке богов и героев. И все понятно и современно. И я кого угодно мог бы ввести в этот мир. И потому вальс-фантазия перекрывал шум целого города. И тихо такты музыки прикасались к руинам разрушенных зданий. Кипела работа. Народ прибывал, и все больше люди включались в дело.

Пленные немцы медленно шагали серой колонной по Большому проспекту, как будто бы сами, шли без конвоя – тоже хотели трудиться. Звонки трамваев за окнами совпадали с еле слышными тактами вальса. Что-то важное совершалось и уже, как видимо, произошло. Да, я понимал, как хорош любой миг этой удивительной жизни. Времена теряли границы.

Вот что было тогда. А теперь границы потеряны полностью. Они мерцают. Они прозрачны, как та гравюра с античными руинами и богиней. Музыка не нужна. Все и так музыкально и пронизано светом. Главное, фантазии нет. Вводить в нее никого не надо. И все-таки эти такты... Эти незаметные скрипичные взгласы. Почему они вдруг приглушили все остальные шумы утренних улиц? Почему напомнили о себе?

В них – что-то другое. Благая весть о том, чего я не знаю. Большое скрытое озарение ожидает всех. И наших людей на тротуарах, и колонну пленных немцев на мостовой, и трамваи, и разрушенные и восстановленные дома. Ритмы и жесты музыкальны сами собой. Это сильнее времени.

Враг повержен. Те, кто пугал и был опасен, теперь вот они, рядом - идут свободно и справедливо. Там, на третьей линии, их ожидает разрушенный дом. Надо разбирать кирпичи. Медленно и надежно. А мы, победители, торопимся и спешим. Но дело не в этом. Победители не знают, что за нами в этом существовании кто-то следит. Чья-то рука указывает, что надо делать. Складки античных одежд и волнистые пряди прически. Нежная светотень. И клубок на затылке. А кто это? И знает ли мой Вольга об античной богине? Увы, он и знать не может. Иначе поэма не состоится. Но почему фантазия? Вальс? Что-то не так. И не только в поэме. Озарение прояснит. Уже проясняет. Главное сейчас – восстанавливать то, что разрушено. Так, чтобы избежать всех ненужных движений каждому, кто работает, и ненужных слов – мне самому.

Да, да. Сейчас объясню. Тогда, в прошлый раз, мы наделали много ошибок. Потому что не о том думали, когда разбирали кирпичные груды, обломки искореженных чугуновых стропил. Не так двигались и не так тогда говорили друг с другом. Я не ведал о том. А теперь, вспоминая, могу объяснить себе. Конечно. Симфония верных движений. Их было больше. Я могу доказать, если кто-нибудь в новом будущем захочет об этом спросить. И неважно, пусть никто не захочет. Нужно сейчас делать все правильно и не ошибаться. Богиня указывает. А Вольга сам понимает, что нужно. Да, приходится колдовать. Но это веселое колдовство. Как в народной былинке. И дружина поступает верно и точно. А ты не ослабляй напряжения.

Как хорошо. Возможно по утрам осознавать и прояснять верную мысль. Родить ее, удивиться ей и совсем с другим чувством, как говорил мой дядя, любить людей и действовать в сфере человеческих интересов. Но это для ямба Шуры. А у меня задача – написать двадцать строк четырехстопного ямба. Обдумать и написать. Поэма никак не может остановиться. Я уже завершил десять и двадцать строк. И что же? Мало. Хочется еще и еще.

Стараюсь не делать ошибок. Видимо, к этим двум страницам в школьной тетради, с моим искусственным почерком, я буду возвращаться потом и уж наверно их не сожгу. В них все правильно и гладко. Но мои строчки рифмованного четырехстопного ямба несовременны. Их не признают. Я сам их скрою и только втайне буду любить.

Вот они. Кончился мой рабочий день. Быстро. Очень уж быстро. Видимо, я опять ничего не сотворил. Да, конечно. Детские шутки необязательны. А современная социальность пойдет по другому пути. Как это остановить? Отказаться? Признать поражение в эпоху побед? Нет, ни за что.

Остается одно. Идти вперед. И будь что будет. А мои догадки? Еще один раз – очередной вариант непризнанного черновика? Поэма-конспект. Поэма, не нужная никому. А история? Тогда и сейчас. То, что выше времени. Где она у тебя? Собери свои молодые силы. Те, которыми ты хотел пожертвовать и не отдал дяде, а оставил отцу. Много ли отдал? Смешно.

Он трудится. А ты? Возвратись. И вдруг я понимаю, что сделал самое важное. И теперь, кажется, один растолкую себе и другим. Боже мой. Не отводи глаза в сторону. Протяни руку и укажи. Там невидимое начало. Только твоё. Гляди. Указывай себе самому. Только так надо смотреть. Пока никто не видит и показывать некому. Есть или нет в стихах живая кровь? Думаю, ты не погрешил.

Так было. А что изменилось на этот раз?.. Да вот я сам, сознание мое стало другим. Постепенно распутаю. Узнаю. И пускай на это уйдет много лет. Нет, не много. Два года. Как раз, когда подоспеет событие. Да, мой отец – художник. Дядя – тоже. А мама – учительница. И все другие, мои современники. Например, помните, тот скульптор, который ломал свои глиняные фигурки, - он тот же, как был, с той же фамилией. А на самом деле он уже другой человек. Ничего, распутаем. Занятно получается, если ты уже вовсе другой, но просыпаешься, а у тебя за плечами – двенадцать, а через два года четырнадцать лет. Попробуй, привыкни. Большая нагрузка на память, на интуицию. Новизна фактов, деталей. Вроде бы я тогда что-то читал об идее вечного возвращения. В энциклопедии. Проверим. Но все не так.

Происходит вовсе другое. Вот хотя бы то, что в таких вопросах разбираюсь теперь, когда мне двенадцать. И уже не только по литературной энциклопедии, которая стоит на отцовских полках, рядом с большой советской энциклопедией. Коричневые корешки рядом с красными. Тогда я вчитывался в каждую страницу и сравнивал с тем, что говорят. А теперь этих книг уже недостаточно. Вечного возвращения нет. Всегда приходит небывалое и неповторимое. И так будет вечно. А оно никогда уже не возвратится. Оно – всегда. Каждый из нас не возвратится. И каждый будет – всегда. Моя догадка. Ее никто не признает. Как те сто сорок стихов – несовременных четырехстопных ямбов. Сегодня, в школьной тетради. Без единой помарки. В них я, вроде бы, не погрешил. А, может быть, они все-таки современны?

Тогда? Сейчас? Опять социальность? Или то, что снова над ней? У отца и

у дяди как будто есть надежда вспомнить свой прежний опыт. А мне почему не попробовать? Музыка? Вот мелодию нельзя объяснить. Но ее слышит весь город. И все понимают, что это какая-то совсем особая жизнь, которой не было раньше. Насколько она современна – попробуй сказать. Но она подтверждает все небывалое. И вообще – все, что можно любить. Как хорошо – мелодия длится. Но вот она кончится. А я уж забыл, что она когда-нибудь дойдет сама до последнего такта. И что тогда? Я ведь знаю ее наизусть. Пока еще можно жить по-новому. А дальше? Вечное возвращение? Господи. Только не это... Помни и не допускай. Не допускаю.

Вот, быстрее, быстрее. Последний такт прозвучал. Что-то родное уходит. Картина меняется. Нет развалин. Одна слепящая глаза грандиозная современность. Вынести невозможно. Подожди. Вот где понадобятся все твои силы. Пауза. Город шумит. И между взрывами шума - что-то особое. И не надо бояться. Оно происходит само собой. Помни, ты после конца. Вводи в это время любые события, все, что сумеешь вообразить, пока над городом простор и свобода от музыки. Пауза. Послушай в ней то, что ты знаешь всегда, в любой тишине и в любом городском нарастании трамвайного грохота. Выйди из комнаты. Выйди из дома. Сегодня ты поработал. Пора.

Нет, я не готов. Я не могу так выходить. А то все трудятся. И только я один придумал какие-то ямбы. И будто мне они указывают, что и как надо быстрее и втайне от всех выразить словом и внести в школьную тетрадь с Пушкиным и таблицей умножения на обложке. Нет, я так не могу. Я не все решил. Надо вернуться. И хотя бы малое, но довести до конца.

Подхожу к двери с никелированной ручкой и большими стеклами. В них видна мастерская отца и, одновременно – мамина комната. Беленые стены. Пустые. До сих пор ничего не висит. У стены – мольберт. Желтая грушевая кровать и трельяж. Да, конечно. После смерти отца мы с мамой так и не успели решить, что это будет – недавняя мастерская или гостиная, как до войны. В ней мы прожили блокадную зиму. Потом отец побелил стены и стал здесь работать. Не знаю, правильно ли он сделал – ведь мы с мамой все время мелькали мимо него. Мешали невольно. Незавершенные картины видел каждый, кто приходил. После смерти отца я сделал себе кабинет в малой комнате. И вот остаюсь один на один с моими черновиками. Повторно.

Если всмотреться в стекло двери и стараться не видеть предметы соседней комнаты, можно, как в зеркале, рассмотреть себя самого и обнаружить, насколько я стал на этот раз другим человеком. Пока с той стороны дверного стекла не появился отец с палитрой и кистями в руках и пока он не обратил внимание на то, что я вижу его сквозь стекло. Не дай бог, он подойдет к двери и оттуда внимательно, слегка подавшись вперед, станет разглядывать меня с той же целью. Глаза в глаза. И тут мы увидим, что мы совсем другие, а не те, что были тогда. Не дай бог. Нет, за стеклом нет ничего. Но и себя разглядеть в нем очень трудно – мешают предметы из большой комнаты, видимые сквозь это стекло. Я сам для себя неуловим. И меня как будто бы нет. Забавно. Кому-то покажется правдой. А кто станет всматриваться? Никто ничего не узнает. Моя тайна останется тайной.



Как? Что это? Быть не может. Опять звучит вальс-фантазия Глинки. Но ведь вальс уже только что отзвучал. Вслушиваюсь так же, как всматриваюсь в дверное стекло. Нет, все те же упругие такты, любимые оркестровые взлеты. Нарастания. Та же мелодия. В ней печаль – неуловимый оттенок радости. То состояние, которое в детстве мне казалось одно самым прекрасным. Что же теперь?

Всматриваюсь в стекло. Вижу мое лицо. Но трудно понять в таком отражении, сколько мне лет. Лицо отрока или юноши или уже меня – пожилого? До или после самосожжения? Было оно или нет? По отражению понять невозможно. Мешают предметы с той стороны. При желании, можно увидеть. По-прежнему глаза мои наведены на небывалую резкость. И вот я то различаю, то теряю точное отражение. И все это соответствует скрипичным тактам, которые снова, повторно слышит весь город. И все же на этот раз городской шум перекрывает порой прозрачную музыку. И она спокойно растворяется в звуках утра и возвращается вновь.

## 2

Ох, уж эти сто сорок строк... Тогда я не знал, не догадывался, чего они будут стоить мне. А теперь... вспоминаю. И что же? Я готов повторить все, как было. Даже если совпадение окажется полным. Тем более, впереди открытие за открытием. Нет, я понимаю взрослых. Еще и еще раз. То же самое. Только иначе. Творчество – тайна. Конечно. И все-таки и для взрослых, и для меня, и для божества главное решает порыв страсти. Да. Но даже если не так, я бы все повторил.

Опять эти сто сорок строк моего четырехстопного ямба. А вокруг – дни и годы восстановления города. Все понятно. Все имеет смысл. Хочется жить. И люди включаются в большую работу. Они ошибались во многом. И чтобы поправить, сейчас нужно вернуться. А у меня дело обстоит еще проще. Ведь я подросток. Первые дни каникул. Творчество тянет в мир античной фантазии. Но я хочу овладеть самым трудным – понять, что происходит рядом, и как все-таки сделать мой стих современным. Поэты включены в жизнь, а я отключен. А может быть, все дело в том, что я мало работаю на каникулах? Божество – работа. И вот у божества любое получается заново. А у меня сто сорок, неизвестно каких. Не современных. И без помарок.

И неужели я всю мою отроческую жизнь потрачу на то, чтобы это понять? Тогда и сейчас? Весь мой роман? И больше мне уже ничего не дано? И неужели я в западне? Заколдованный круг? Нет, не хочу. Пора приниматься опять за эти сто сорок зарифмованных строк. Надо сказать себе, что они – пустога. Сказать и вглядываться в них без конца. Вглядываться и требовать от себя. Ведь я недоволен? Больше того – я несчастен. Странный я человек. Ну, спроси у себя. Ведь ты уже когда-то выходил из подобного тупика? Нет. Что было, не годится теперь. Поэтому спрашивать себя и вспоминать я не буду. Уж если все правильно, зачем сейчас просыпаться двенадцатилетним?

Что-то не так было тогда – и у меня, и у всех людей. Малых и взрослых. Ведь вот я не стал ни октябренок, ни пионером. А они, мои ровесники, в значках и галстуках. И кто прав? Это все не праздный вопрос в мои новые двенадцать лет. Но я не хочу отвлекаться. Помни одно: если все повторяешь, не бойся – будет по-новому. Само собой. Такова уж природа любого взросления. А ну давай разберемся. Что-то плохо в моих сегодняшних ямбах. Какая нужна современность? Что необходимо поправить в каждой строке? Может быть, почерк? Опять его поменять? Но ведь ты уже не ребенок. Стыдно. Богиня с клубком на затылке тебе не подкажет. И Глинка тут не причем. Вот когда понимаешь, каково быть совсем одному.

«Ты погибнешь, погибнешь...» - опять говорит во мне чей-то чужой женский голос. Я ведь его уже прогонял. А он говорит, говорит. И от него бежать невозможно. Скорей бы мама вернулась. Я бы ей рассказал. Она не подумает, что я сумасшедший. Она всегда узнает чужие мои голоса. Их много во мне. «Ты погибнешь». Нет, не погибну. Ведь я тогда не погиб.

Все, что создано с помощью слов, имеет одно огромное преимущество. По сравнению с ходом событий. Все написанное ты можешь вернуть и поправить. А событие попробуй исправь. Сначала верни его. После всеобщего конца и такое возможно. После конца. Но люди не всегда знают об этом. Они ведь не догадываются или стараются не думать о том, что конец уже был. И вот кажется, что переделывать нечего. Любой миг неповторим. Что произошло, переделать нельзя. Этим завершил Толстой «Войну и мир». Одно из моих любимых мест – вторая часть эпилога. Почему-то я думаю, что это не литература, а жизнь – без догадки, что конец позади, а не впереди. Предопределение или переделка? Верно второе. Таков любой черновик.

Снимаю с полки однотомное издание романа. Все нравится мне в этой книге – даже глянцева бумага, на которой в два столбца располагается хорошо напечатанный текст. Бумага дешевая, но приятно лоснится и как будто охраняет гладкой поверхностью длинные толстовские фразы, где, оказывается, написано совсем не то, что знаешь о жизни после конца. Приятно, что Толстой заблуждался или, точнее сказать, не достигал всей правды, поневоле доступной сейчас. А ведь после конца своего где-то он еще раз переписал свой роман. Как? Лучше не думать. Перелистываю глянцевые страницы. Сколько раз он их перекраивал и вот не сообразил, что так же можно переделать историю.

Начинаю править в школьной тетради свои сто сорок рифмованных строк. И вновь понимаю, какой это ужас. Через полчаса все написанное – разрушено. Пробую читать вслух, и меня сразу охватывает смертельная боль и тоска. Мой родной богатырь... Уже нет его смелых глаз и голубого блестящего шлема и красного копыя и щита, как на гравюре Билибина. Появляется что-то весьма современное, для чего не нужны кольчуга и шлем. Конечно, я не вычеркиваю упоминания о них, но эти подробности уже не режут глаза. И становится ясно

– они условны и выдуманы. И вот я завидую певцам былин. Рапсодам, а не аздам. Они повторяли столько веков то, что когда-то считалось былью. А где моя быль? Выдумки, выдумки... Подражания. Почему я теряю присутствие духа?

Меня поражает мысль о том, что все может легко получиться и будет в итоге совсем не то, что хочется мне. А самое главное – стих становится вовсе другим. И тут я вдруг понимаю, что вот эти четырехстопные ямбы как раз и есть то, на что мне указывает протянутой рукой богиня, печалься и радуясь одновременно. Ее улыбка, нежная светотень лица, волнистые пряди, клубок волос на затылке, складки одежды - вся ее фигура на фоне античных руин и под сенью узорной мелкой листвы над ее головой, все это и есть мой несовременный и непризнанный ямб. Так не пишут сейчас другие поэты. Напрасно богиня что-то шепчет и на что-то указывает. Понимаю – здесь очень легко вступить в поединок. С кем? С современностью?

Да, все разлетелось, развеялось. И вальс-фантазия понемногу примолк. А я, с исчиренным текстом, вижу полное его разрушение. Мраморные строки лежат под ногами. Гравюра меркнет, и пропадает куда-то ее белизна.

Господи, сколько утрат, но мне их не жалко. Я вздрагиваю, удивляюсь и потом вычеркиваю еще одну мраморную строку.

Вот что я совершил. Тогда. А сейчас? Можно исправить. Не один только стих. Время, когда он родился. И это будет уже другая, моя современность. А не та, к которой надо подстроиться. Ну, с чего же начнем? Видимо, все очень просто. Уж если я взялся править мои подражания – то ли Пушкину, то ли былине, то ли Билибину, - значит логично продолжить и довести до конца все начатое и не бояться итога. Видимо, я приду куда-нибудь. Приду неизвестно куда. Приду к себе самому. Или к абсурду. Кто может сказать? Кому известен конец даже после конца? Не будь рабом того, что в первый раз получилось. Освобождай себя. Каждое утро гляди на часы и кончай к вечеру, обрывай. Остановись и оглядывайся.

Произношу эти слова и почему-то чувствую, что ими открываю путь к жизни и к моей неведомой никому современности. Признают ее или нет – какое мне дело? Гете сказал о природе и человеке: ты должен идти, путь знает она. Знает, знает, а я должен узнать. Вот и все. И пусть весь твой рабочий день на каникулах длится с утра и допоздна, как у других, как у дяди и у отца. А перед сном тебе нужно полюбить этот прожитый день и его ожидаемый или неожиданный итог. Хорошо, хорошо! Делай, что надо, и будь что будет. А как надо, никто не знает. Поэтому – делай и люби каждый миг свободы и творчества. Ты никому не мешаешь. И тебе никто. Все хорошо. Но ничего себе не прощай. Делай и переделывай.

Тут я снова перечитал мой черновик в школьной тетради. Вижу, почерк уже изменился. Исчезли искусственные завитки и вариации чужой каллиграфии. Что-то новое появилось в начертании букв. Я вновь развернул однотомику «Войны и мира». И что-то заныло в груди, как будто я забыл о

самом важном, а оно прерывает и скоро совсем прервет мою радость. Что же такое? Перелистываю одну за другой страницы белого односторонника. Шрифт не меняется. А что же должно измениться? Нет, не могу себе представить, что Толстой где-то, после конца своего заново переделывает готовый текст эпилога. Нет, он его уже переделал. Да, он знает правду и теперь больше не заблуждается, как при жизни. А все-таки ничего не будет менять.

Да. Это я почувствовал верно. Так оно и есть. И мне радостно за Толстого, может быть, больше, чем ему самому. Он такой. А вот мое настроение куда-то исчезло. Я опустил руки и устался в одну точку – на последней строке эпилога. Там говорится об осознаваемой свободе и неосознаваемой зависимости. Как он может не переделать такое? Но он оставит все как есть без изменений. И я понимаю, что на меня навалилась вся громада, вся тяжесть неизменной эпохи. Время, даже после конца, отказывается переделывать такую реальность. И все попытки изменить ее – обречены. Вот она чужая и чуждая мне современность. Ее будут менять. И уйдет на такие попытки – полвека. И кончится все возвратом к началу.

И я, сколько бы ни трудился и сколько бы ни блуждал по непроходимому лесу, я все равно вернусь на этот единственный путь.

Тут я вздрагиваю. Что такое? Опять? Оказывается, возврат уже состоялся. Вечер еще очень далек. И вообще прошло только пятнадцать минут с тех пор, как я сел переделывать мои детские ямбы.

И вот, наконец, – непонятный скачок. На шахматном столике передо мной – пишущая машинка, недавно купленная, – красивая «Котиненталь». Только что ее не было. И вдруг – вот она. И такое сознание, что утро без нее – то же самое, что и при ней. То же самое утро. А может быть, она стояла тут с самого начала – просто я не заметил. Но ведь всего лишь минутой раньше я писал и правил на этом же столике в моей школьной тетради. А вот и она, тетрадь – в той же обложке с портретом Пушкина на титуле и таблицей умножения в самом конце. Лежит на круглом низеньком столике, придвинутом слева, поближе к окну. В машинку заправлен белый листок, а на нем – уже переделанный текст поэмы, одна страница.

Вот забавно. Тут же, на круглом столике, – белый том «Войны и мира». Закрыт и отодвинут. Но я еще повторяю шепотом последние слова эпилога. Повторяю и очень боюсь вынуть лист из машинки и перечитать вслух, что же у меня получилось. Глаза боятся, а руки делают. Вынимаю листок. Перечитываю. Ну, так и есть. Вот мой стих, уже не подражательный и вполне современный. Только что перепечатано заново. То, к чему я стремился. Но не то, что хочется мне. В школьной тетради – лучше. Вот она прямо передо мной. И открывать не надо. И перечитывать. Помню все наизусть. Лучше. Ну и что? Признай и вернись. А целый год работы – зачем? Вскликаю. Приоткрыт верхний большой ящик бюро. Он доверху набит черновиками.

И я невольно бросаю в него добытый из машинки листок. Ему тоже место здесь, в этом ящике. Там все машинописные черновики. Дочерна

переправлены от руки. Нет, это не год. Это целые три года работы. Промелькнули. Прошли. Не заметил. Ничего себе – такое же утро. Те же каникулы. Ничего себе – «выросли мускулы». Я вытянулся. Я стал еще более тощим. Но силы прибавилось. Мама опять ушла в магазин. Смешно. Как же я мог не заметить? За окнами шум другой. Понимаю, почему вальс-фантазия повторно звучал по репродуктору. Вот он теперь не заучит. Репродукторы отключены. Забота о тишине. Тогда повторение было предвестьем скачка – через три года. А я не понял. Не догадался.

Утро было предвестием. Потому что все теперь уже – после конца. Тут совсем другие законы времени и современности. И ничего сложного. Может быть, это и лучше, нежели в первый раз? И не говори – «не знаю». Ты должен, обязан знать. Когда же ты станешь серьезным? Сколько раз тебе нужно родиться двенадцатилетним, чтобы это понять, наконец? Ну, хорошо. Скачок совершился. А как же быть с этим ящиком вариантов одной и той же поэмы? Здесь – что? Все по-прежнему? Все как впервые? Все, как я правил? Куда же я шел? И почему опять на круглом столике – та, уже пожелтевшая моя тетрадошка и первые сто сорок стихов моего четырехстопного ямба? Самый первый, продиктованный богиней вариант богатырской поэмы?

Кругом загадки. Думаешь разорвать их связь. И уже вроде бы вырвался. Оказывается – перескочил. Оглянулся. И вот новые и еще более страшные тайны в тебе и вокруг. И они такие, что невольно хочется вновь проснуться двенадцатилетним, да, проснуться, как это было сегодня – до того, как на шахматном столике появилась «Континенталь».

Кто-то мешает мне повторить мой собственный путь. И даже не повторить, а пройти его заново. Как и зачем появились кипы черновиков? Что я переживал над каждой строкой? Почему, изменив хотя бы одно слово, я непременно перепечатывал всю страницу, выдерживал ее из машинки, мгновенно перечитывал всю, и вот становилось ясно, что это не то – не то, и не так. И тогда грудь схватывала знакомая боль. Иногда – сразу, раньше того, как я вслух перечитывал текст. Просто – взглядываю на страницу и вижу: строчки не так чередуются по количеству букв и пробелов – более короткие, более длинные составляют не тот, милый мне красивый столбец. Значит, все заведомо плохо. И действительно оказывается так.

Три года. И каждый подобный день был особенным. И в итоге дня я должен был непременно добиться победы. Иначе я не имел права ни есть, ни спать. И я переделывал и перепечатывал за день по десять и двадцать, иногда по тридцать раз одну и ту же страницу. И все отброшенные варианты складывал в ящик бюро. И ни разу не перечитывал кипы черновиков. Я твердо знал: возвращаться нельзя. Если что-то один раз показалось неточным или плохим, значит строка или вся страница уже не верна. Иди вперед и никогда, никогда уже не возвращайся.

Три года. Вот как я жил. «Континенталь» - свидетель. Пишущая машинка

знает - я страдал, и я был честен перед собой и другими. Внутренний голос подсказывал мне, что хорошо и что плохо. Бывали минуты радости. Чаще всего я дышал свободно, потому что ни разу в те годы себя не обманывал и потому что всегда отбрасывал то, в чем усомнился однажды. Вот что было моей современностью. И мне казалось, что так, как я, все должны поступать. И тогда все хорошо. Порой, вынув листок из машинки, я не видел своих изъянов, и при этом был на седьмом небе от счастья. Но потом я вновь без конца все перечитывал. Особенно по утрам. И каждый раз очень боялся. Но, проснувшись, мгновенно вскакивал с железной отцовской кровати, жадно хватал последний лист. И если что – снова за переделку.

Может быть, это было самое лучшее время жизни моей. И, как всегда, в лучшие годы совершаешь какие-то очень большие ошибки. Они честные, и кроме твоей чистоты, им нет никаких оправданий. И все они похоронены в ящике бюро, в кипах черновиков. Нужно все заново пережить, преодолеть и понять. Нужно вновь накопить такие же кипы. Когда? Три года пропали. Только что. Я их перескочил. И передо мною – бумаги, бумаги, бумаги. Вместо жизни – только ее один мертвый архив. Старый. Прежний. Все, что я сжег в прошлый раз. Перелистываю. Узнаю. Вспоминаю. Что же теперь, через год, я буду сжигать? То же самое? Итак, возвращай изжитое? Перечитывай все, к чему ты никак не хотел возвращаться? И тем был честен перед собой и другими? А самосожжение отменяется?..

Мой Толстой, помоги. Он молчит. Ему не до меня. Он где-то переписывает и никак не может переписать эпилог романа.

### 3.

Я понял, почему вдруг, в одно и то же утро, совершился перескок через три года. Начало моего погружения в современность и завершение его сомкнулись. Подожди, подожди... Сейчас я точно вспомню, как это произошло. Как именно.

Я сидел за шахматным столиком. А второй принадлежавший отцу круглый низенький столик на выгнутых четырех ножках почему-то был рядом – пустой, хорошо вытертый мокрой тряпкой, так, как я любил его вытирать по утрам, и он еще не успел просохнуть, и я смотрел на него. Я как будто ждал, что он прямо на глазах у меня слегка посветлеет. На нем, я точно помню, ничего не лежало, кроме белой мокрой тряпки – пока он еще влажен, я бы не положил на деревянный круг ни книгу, ни рукопись.

Да, я любовался его живописной древесной поверхностью и лишь боковым взглядом видел темно-зеленую и темно-малиновую керамику шахматного столика, и на ней тоже ничего не было – только школьная тетрадь с моими грешными ямбами.

Я поправил в тетради много стихов. Поправил, перечел и убедился, что после правки все оказалось хуже. И тогда я встал из-за стола, попытился на несколько шагов к противоположной стене, к железной отцовской кровати, крытой солдатским зеленым одеялом.

Мне хотелось отойти подальше от красно-зеленой керамики и не глядеть на мою исчирикannую тетрадь, раскрытую на середине. Отойти и забыть на время все, что я сделал. Потом я еще раз шагнул вперед, взял мокрую тряпку и вновь с удовольствием вытер, почти вымыл круглый низенький столик, оставил на нем тряпку и долго наблюдал, как он светлеет и сохнет. И это меня успокоило. Чистое дерево лучше керамики. Но вдруг мокрая белая тряпка прямо на глазах у меня куда-то пропала, тут же легла на деревянный круг школьная тетрадь, а рядом том «Войны и мира» в твердой, желтоватой обложке. Тогда я нехотя и со страхом взглянул на керамику и, как будто ожидая то, что увижу, увидел именно то, что хотел увидеть.

Как в кинокадре, на высокий столик прыгнула пишущая машинка, и в ней оказался лист бумаги, и там проступили современные ямбы, которые могли появиться только через три года. И все это произошло в одну-две секунды. И я от неожиданности прямо сел на кровать, уперся локтями в колени и долго-долго смотрел прямо перед собой.

Но я сразу все понял. Хотя и не мог поверить. Потом поднялся, подошел к шахматному столику, вынул из машинки страницу, прочел и аккуратно, привычным движением положил ее в полуоткрытый ящик бюро. Он оказался полон бумагами. Потом я снова сел на кровать. И вот сижу теперь и думаю: не записать ли видение, как это сделал Германн в «Пиковой даме». Как записать? Утро. И не было никаких видений. Записывать нечего. Реальность. Конечно, та же реальность, как шестьдесят лет назад в дни моего отрочества. И вполне реальный скачок через три года. Где уж тут сомневаться? И теперь так и будет. В любую минуту - сольются начало и конец. Потому что все вокруг – после конца.

Религиозное чувство не покидает меня. Оно вспыхивает какой-то особенной радостью, так не бывало прежде. И дело не в том, что все сущее непрерывно. История наша до и после победы – это совсем особый вопрос. А теперь... Ослепительность красок и четкость очертаний вновь поражает меня, и, кажется, я не могу вынести такого напора внешних образов. Они пронзают меня насквозь. Похоже на расщепление пустоты. Взрыв разноцветных отчетливо ясных форм. И в них освобождает себя родственная сила. Вот, на самом деле, то, что реально вместо небесного рая. И, приняв откровение, я могу по желанию усиливать или ослаблять мою радость.

И все-таки спрашиваю себя: кто совершил этот невозможный и до предела простой скачок через целых три года? Кто совершил? Я или Некто и Нечто? Вопрос вопросов. Уж если не я, значит, все повторится и все произойдет, как было в тот единственный раз. А ведь я не хочу никаких повторений. И зачем нужно такое нежданное утро? Вот где мое «быть или не быть». Я удивился. А что меня удивило? То, чего я никак не хотел? Или желаемое и желанное? И в итоге – что получилось? Неожиданное или навязанное родной неведомой силой? Гамлет. Вот где разгадка вопроса. Неужели кто-то извне играет со мной?

Время не останавливается. Утро уходит. Я привык торопиться. Но куда и зачем? Если опять произойдет скачок – и снова пропадет несколько лет, и, не дай бог, я вновь доживу до той, единственной катастрофы. Но ее уж я никак не хочу повторять. Кто потревожил естественный ход событий? Почему я гляжусь, как в зеркало, в то, что было и будет. Я, подросток, прозреваю в себе отца, который никогда никому не пожертвует сыном. И никакой страх и трепет не заставит меня... И тут вдруг я понимаю, почему все так вышло сегодня. Вот оно. Бумаги в раскрытом бюро. Бумаги – мое отражение. Их стоит перечитать. Не вдумываясь. А только ощущая, что вот они – есть. Они, сожженные мной в прошлый раз.

Да, я хотел перескочить эти целых три года. Удерживал себя, и все-таки очень хотел. И все состоялось. И все вышло по желанию моему. Перескочил. Но сохранилось отражение того, что отброшено. В бумагах все, что могло бы со мною случиться за эти три года, если бы все шло непрерывно – день за днем. Вглядишься, вчитайся. Воспользуйся, уничтоженное и погибшее вновь раскрыто перед тобой. Через день ты вновь должен был все это сжечь. Или сжег бы другое, то, что после конца повторило бы твой, уже однажды пройденный путь. Не надо ни повторять, ни забывать. И вот совместились конец и начало. И получилось то, чего ты и в самом деле хотел. Радуйся и пользуйся, пока невозможное в яви.

Но я задаю себе все тот же вопрос. Кто это сделал? Я или мое божество? И чувствую – ответа не будет. Женский чужой голос во мне говорит: «Читай, перечитывай, думай. Ты не погибнешь, если ответишь. И ведь ответ уже есть. Но я не буду тебе шептать. Прочти, наконец, все, что ты отбросил, и к чему не хотел возвращаться».

Открытие. Больше, чем вся моя воля.

Постой. Вот еще немного, и ты схватишь мыслью и словом то, что тебе никак не дается и вообще недоступно живому смертному разумению. А ведь и после конца возможны такие мгновения. Вот сейчас, например, такая минута. Я морщу лоб, взмахиваю руками, пытаюсь поймать в воздухе то, что увижу. Не помогает. Снова ловлю и, чтобы лучше поймать, зажмуриваюсь и расправляю морщины лба. Скоро все концы и начала сольются. И что случится тогда? И куда прыгнет мое запредельное время? Нет, надо ловить осторожно. Лови, когда есть за что ухватиться. Высвобождай силу. Точно, и без ошибок. Тогда и после конца проступит сознание. Вот чего не понимают и не могут понять. И там и здесь.

Возвращаю себя. Удивляюсь и радуюсь тому, что живет воля, которая скоро вернет невозможно утраченное. И не спрашивай себя, как ты собрал эту волю. Вот она есть, и ладно. Пользуйся. И теперь снова перед тобой – полуоткрытый ящик бюро. Только что в него ты бросил добытый из машинки последний листок. И даже не бросил, а надавил на бумажную кипу и втиснул в нее завершающий вариант конечной главы. Ты его узнал – этот листок. Именно в нем отразилась вся твоя прежняя боль. И ты не захотел ее дальше



терпеть и твердо решил: пора остановить погружение. Пора. Сил больше нет. Перечитываю. Стих до предела прост. Ни одного стечения гласных. Это язык стальной современности. Каждая третья строка – два слова. Первое слово – существительное. Второе – эпитет. Или – наборот.

Опять наступает минута, когда я в прошлый раз понял, что дальше так жить не могу. Минута, самая горькая в четырнадцать лет. Потому что – впервые, хотя и вторично. И одновременно – детская радость освобождения. Как легко. Сбросить многолетнее бремя. Целых три года. И никогда не поздно вернуться. Нет, нет. Поздно... Подумай. Вспомни. Как ты гордился, что опередил свои годы и забрался уже так далеко и заговорил такими современными ямбами. И это уже – твой характер и вся твоя жизнь. И ее признали взрослые и друзья по школе. Ты забыл? Перескочил? Три года прошло. И мама признала и согласна считать поэму зрелой не по летам. Поздно. Поздно. Не перескакивай, даже если случилось такое. Будь верен себе и иди вперед.

Нет, не могу и не буду. Ведь я потерял себя самого. Что мне делать? В одну и ту же секунду мечешься между началом и концом и между концом и началом. Как согласиться, поверить и объяснить себе самому?.. Да, я знаю – когда-нибудь всему народу придется решать нечто подобное. Это ужасно. Трудись ежедневно, ежесекундно, и не прощаешь себе ни одной ошибки. И вот, наконец, все готов отвергнуть и сжечь. Так я страдал над последним листком, тем, который сейчас только что втиснул в ящик бюро, надавив на кипу напрасных бумаг, на отражение моего отроческого счастья, веры в то, что я приду к победе, потому что ни одной ошибки себе не простил.

Все начала и все концы... А ведь это не просто мои опасения. Это происходит сейчас. Это явь любой секунды моего прекрасного утра. И я уверен, что наступает великий общий сбой времени после конца. Трудно вообразить, что я увижу и услышу сейчас. Надо собрать всю свою волю и силу. Ничего. Ничего. Встречай то, что сам предназначил себе.

Вынимаю из бюро ту же страницу и всматриваюсь опять в каждую букву. Это не просто бумага и текст. Это моя встреча с людьми. Тогда и сейчас. Можно в четырнадцать лет повторить, как я выходил из одиночества в люди. «Глаза земли» Пришвина тогда еще не были напечатаны. Но я уже читал его «Колобок» и повесть «Черный араб». Думаю, вполне достаточно в мои четырнадцать лет. Бумага, ямбы, строки из двух и более слов – это все люди, которые принимают или не принимают, признают или не признают. Они совершают мой выбор. Они одобряют самих себя и гонят прочь все чужие слова. А я прислушиваюсь и исполняю их повеления.

И чтобы встречаться с людьми, вовсе не нужно выходить на улицу, в город. Всматривайся в каждую букву. И ты услышишь голос эпохи. Он тебя примет или отвергнет. Он достоверен. И даже если все изменят ему, он сохранит свою правду и поколеблет грядущую эпоху распада. В мои

четырнадцать лет я хорошо вижу этот страшный распад. И почему же последний листок дрожит у меня в руках, и я чувствую, что он чужой для меня? Буквы, строки, рифмы чужие. Мой богатырь, который не ошибается и побеждает, ушел из былинны, растворился в воздухе утра за день до самосожжения моего. Потому так резки в глазах тона и очертания предметов. Да, я перестал видеть волшебника-богатыря.

Кто из этих букв-людей, кто его подменил? И вот я за буквами и словами вижу совсем другие лица. Они напряженно и неотступно следят за моим выражением. Они выглядывают и пропадают. И теперь я уже не знаю, куда смотреть. Но я не могу оторвать глаз от листа. Рука потянулась к авторучке, чтобы что-то поправить. А лист ждет и всматривается в меня. Он убежден, что ничего править нельзя. А я знаю, что здесь все никуда не годится. Тогда, в первый раз, я ничего не поправил, а сжег лист и все остальное. Что же сейчас? Буду бороться? Но сила времени исходит из текста и не дает мне взять авторучку. Лица-буквы замерли. Попробуй, тронь. Будет плохо не только тебе и нам. Не призрагайся. Не отрекайся. Лучше сожги, но не трогай. Лучше сожги.

Вот до чего дошло. Но я чувствую новую силу. Прямо гляжу в чужие глаза. Как во сне, когда привидится кто-то опасный, а ты отчаянно и свободно говоришь и делаешь то, что нельзя. А он почему-то медлит и ожидает и как будто ничем не может ответить, а на самом деле готовит страшный ответ. А тебе уже поздно бояться. И ты выходишь из-под его власти и просыпаешься. Обычно во сне это какой-то рисунок белыми линиями – штрихами на черном фоне. А туг – все наоборот: черные буквы на белой пожелтевшей бумаге. А ты сам проснулся давно и никак не можешь заснуть. Ты не хочешь, а буквы ждут.

Нет, не дождетесь. Тогда я сжег, а теперь буду править. Глядите по-прежнему. Я не боюсь. Вот я снова протягиваю руку. Нет, ничего не выходит. Буквы начинают смеяться, двигаться, меняться местами. Они дрожат и мерцают на желтом листе. Пропечатанная строчка лезет на строчку. Вздрогнули, накрыли друг друга, схватились. Какое-то время силы равны. И вдруг – все посыпалось. Попробуй, прочти. Хаос букв и строчек. Быстрой и быстрой. Не отступай. Черное месиво. Помедли – все восстановится вновь.

Никогда не думал, что бумага и текст могут с такой силой себя защищать. Неужели то, что вложено в них, не умирает? А ведь я знаю, стихи – детские. Их еще править и править. И это даже еще не стихи, а просто мой искренний труд – каждое утро, день за днем, год за годом. Почему же страница, которую я держу в руках, стала последней? А первая лежит на круглом столике – моя тетрадка с несовременными ямбами? Я сам, четырнадцатилетний, смеюсь. Но для меня здесь главная тайна целой эпохи. Чувствую – это серьезно. Я сам втянул себя. Я вижу все изнутри. Так же, как отец и дядя – еще живой. Он сейчас трудится над новой картиной. А отец невидимый спит на солдатской кровати – там, где я еще недавно сидел.

Они мастера. Но со мной происходит все, что хорошо им знакомо. Они в глубине событий. Но ведь и я, в мои четырнадцать лет, оказался там, где они. И мать моя недаром волнуется. Ладно.

Пробую снова поправить мой пожелтый листок. Сейчас, когда мне снова четырнадцать лет, я другими глазами вижу слабости и несовершенства. Есть хорошие строки. Другие – легко изменить и выправить их так, чтобы они вовсе не отличались от разговорной обыденной речи. Рифмы и ритм не должны замечаться. Вот не хватает слов-омонимов, а в конце строки и в начале следующей – одинаковый гласный, дальше неловкий, придуманный оборот. А здесь не хватает цвета и воздуха. А тут просто плохо.

Мысленно поправляю, но опасаясь притронуться к авторучке. Страница молчит. Она себя защитит, если двинусь. Никакого насилия. Но ведь ясно – так оставить нельзя. И чем больше я поправляю, тем отчетливее желтеет бумага. Предупреждение. Стоп. Ничего не запоминаю из того, что поправил. Оказывается, дело не только в том, что я перескочил через годы. Сбой означает, что возникла граница между прошлым утром и настоящим. И границу не перейти. Попытайся – буквы смешаются в черное месиво, а отступишь назад – станут на место. Вот если бы не было перерыва, ты бы мог править этот листок. Но ты ведь не правил тогда, а с трудом засунул его в круглую печь. Она у тебя за спиной.

Подхожу, прикасаюсь ладонью. Чувствую холод железа. Потом открываю дверцу. Там черная пустота. И, кажется, она ждет и готова принять все, что я засуну в нее. Листок входит легко. Но я не хочу его запачкать копотью и серой золой. Держу на весу и вынимаю обратно. И снова разглядываю каждую строчку и букву. Как будто что-то в них должно измениться. Нет, все неизменно.

Печка зияет. Оттуда тянет холодом. Стою, как вкопанный. Черная глубина и мой пожелтый листок. Прозрачный и не преодоленный запрет. Как хорошо, что я сделал открытие. Тайну его разгадаю потом. Скорее. Снова эту одну, единственную страницу в печь, кладу на ровную поверхность нежного серого пепла. В руках – откуда он взялся? – полупустой коробок. Зажигаю. Подношу к бумаге. Страница вспыхивает легко.

#### 4.

Она сгорела. И сразу исчезла из памяти. Как будто ее и не было вовсе. Горстка черного пепла сжимается, колеблется – вот-вот улетит. И в самом деле – от черного пепла нет и следа. Запах спички, дыма и сгоревшей бумаги. Но скоро и они пропадут. Вот и пропали. Не было того, что сгорело. А за спиной у меня – полуоткрытый ящик бюро, полный бумагами. Собственно – что пропало? Все в полной сохранности, кроме последней страницы. Но ее ведь можно заново написать, как только я прочту все эти архивные кипы. А что если начать и кончить сегодня – за один единственный день?

А потом? Любая из этих бумажек также окажется недоступна для исправлений? И ее можно только читать и сжигать? И забывать навсегда? И еще неизвестно – вспомню ли я ту преданную огню страницу и действительно ли я смогу написать ее заново? Три года пропали, но они держат меня. По крайней мере – я не один. Рядом со мной, надо мной, вокруг меня – кто-то. Некий таинственный смысл. И еще есть возможность его разгадать. Открытие сделано, а тайна пока не раскрыта. Буду читать и, может быть, разгадаю? И тогда вырвусь из этого бесконечного утра? Вырвусь в нормальную жизнь. Все идет по новому кругу. Потрясенное успокоится. И ты сам успокойся. Поступай разумно и точно.

Но после всего, что я узнал, непонятна любая умиротворенная жизнь. Вот сравни, как я недоумевал тогда, уходя из бытия, и что стал сознавать сегодня. Воспоминание мерцает. Вот мне снова четырнадцать лет. Память восстановится или родится вновь. Потом. Потом. А сейчас это еще не память, а что-то другое. Неудержимая жажда жить. Голод к жизни, похожий на прежний испытанный голод. В блокаду и после. Да, да, это и есть настоящий забытый голод. Я ведь утром еще не кушал. А сейчас мама вернется, но я не готов. Я ничего не сделал. Еще не успел. Только и удалось – сжечь в печке одну-единственную страницу. Даже мои исправления к ней позабыл. А ведь кушать можно только после хорошей работы.

Голод к существованию совсем другой. И я испытываю его сполна, и все-таки мне до смерти хочется хлеба. Тут память еще более ранняя. Война. Киргизия. Корку хлеба – ничего больше. Но даже ее пока за целое утро я, по правде сказать, не заслужил. И вместо того, чтобы сотворить что-то новое, должен читать отвергнутое. Господи, да ведь если жить по моим же правилам, то мне грозит голодная смерть. Мама придет. Но ведь она еще не знает о моем открытии и самосожжении. Она думает, что я еще сплю. Она не торопится. Вообще после конца – все не так. Жизнь – западня. А жизненный голод – особенно. Подавляю блокадную мысль о хлебе. Все иначе. Радуйся тому, что сознание есть.

А ведь сознание и память – разные вещи. Можно помнить и не сознавать. Это я уже испытал. После конца на миг я сразу все вспомнил. А осознавать начинаю только сейчас. Вот я сжег и забыл страницу. Она для меня вместо хлеба в новой нормальной жизни. Осознавай. Потому что вспомнить не сможешь. Тогда не было этого голода. И до, и после конца.

В печке хорошая тяга. Осторожно сую руку сквозь открытую дверцу. Хочу ощутить, почувствовать хотя бы малый остаток тепла от огня, которым сгорела страница. Нет, пепел улетел, а тепло изначально пропало. Зола источает холод. Огонь погас. Черный пепел исчез. И ничего больше нет. Но вот единственное, что я могу. На лиловой золе оставляю отпечаток моей правой руки. Закрываю дверцу.

Да, я передал золе ничтожную долю тепла. Ее сохранят вмятины от

ладони и пальцев. Вообще зола теплее кирпичной кладки и черной копоти. Но огонь взял с собой то, что изнутри согревает золу. Я вернул тепло и очень доволен. Кажется, это единственное, что сегодня вполне удалось.

Почему голод не переходит в желание быстрее, быстрее прочитать, восстановить пропущенное и вырваться? Нет, не желаю. И вновь сажусь к моей школьной тетрадке – за шахматный столик. Он манит меня, он такой же, каким был три года назад. Куда девалась «Континенталь»? Полуоткрытый ящик бюро вновь опустел. Вот здорово. Перескок на три года назад. Возвращайся к истокам страдания. Ты не хочешь? Вперед? Назад? Что делать? Какое решение? Голод? Куда он меня поведет? Что подскажет? Ничего. Он куда-то пропал. Я сыт еще со вчерашнего дня. Память. Могу точно сказать, чем вчера мы с мамой поужинали перед сном. Помню, что мы очень много смеялись.

Мама сказала к вечеру – у нас нет ни копейки. Мы поставили чайник с двухнедельной заваркой. И нашлась корка хлеба, о которой я только что мечтал три года спустя. Одна хорошая корка, одна на двоих. И, кажется, я позабыл ее преломить и – оставил на утро. Весело. Нет ни копейки. Ну, конечно. Отцовский посмертный гонорар – неприкосновенный запас. На случай последнего голода. Это мы знаем. И не потому ли нам было так смешно. Он остается в запасе. Иначе мы бы так не смеялись. Впрочем, кто знает. Может быть, еще больше. Короче, вот она, хлебная корка, та, без которой я бы умер три года спустя. Но голод пропал. А мама куда-то ушла (без единой копейки!).

Все относительно. Есть во мне то, что всегда сохраняет себя. Только оно и держит всю мою непонятную жизнь – до и после конца. Мама – так же. Тут мы с ней хорошо понимаем друг друга. А если вдуматься, «гайна смеха», по выражению Блока. А я бы сказал: «Возможность утоленного голода». И что бы ни было, такая возможность всегда остается.

Ну, вот он возвращается, мой богатырь. Он, кто всегда побеждал, он, чьи победы никто не заметит. Он появляется. И не нужно ему шлема и лат. Он умеет одно – превращаться. В себя самого. Не того, каким он сейчас оказался, а в другого. Каким становятся, возвратясь. Он умеет превращаться в любого себя.

И уж если все годы прожиты, а голод остался неутоленным, тогда, и только тогда можно знать, в какого себя ты хочешь вернуться. И надолго или на пару минут. Чтобы сжечь страницу и оставить в нежной золе отпечаток от своей правой руки и в нем, в отпечатке, передать золе прежнее, ласковое тепло. А потом опять к началу. И не перечитывать ничего.

Начинаю. Но что это? Опять? Опять? Препней школьной тетрадки нет на шахматном столике. Ну, еще бы. Ее и не может быть. Заново? Заново! Нет витязя. Нет былины. Сейчас возвратится мама. Веселая или сосредоточенная. В хорошем или дурном настроении. С буханкой хлеба – на последние отсутствующие копейки. С пакетиком соленого масла. На рубль, которого

нет. И еще принесет кулек макарон. Кажется, даже во время блокады что-то было поесть. А теперь – только то, что отсутствует. Но зато – все по желанию. Из того, чего нет, мы с мамой выбираем любое. Она вернется. Увидит – я встал. И сразу поймет – что-то произошло. Спросит. А я не буду обманывать. Все расскажу. Она хорошо понимает.

А я расскажу ей все, что было сегодня утром. И тогда мы решим, что нам делать и на что жить после смерти отца. Мы никому ничего не должны. И никому невдомек, что у нас нет серебряных, медных монет и бумажных рублей – коричневых, с изображением шахтера с каким-то металлургическим приспособлением на плече. Наоборот, знакомые и родные полагают, что где-то лежит у нас все, что отец заработал. И только мы с мамой не забываем: неприкосновенный запас – отсутствие. Наверно, мама пошла в ломбард, рано-рано, чтобы занять бесконечную очередь. Да. Мы какие-то несерьезные. Кто-то, как обычно придет к нам в гости и попросит взаймы. И еще не было случая, чтобы мать отказала. Но мы сами взаймы не берем.

Думаю, вспоминаю. И снова смешно. Сегодня все обойдется. Мы привыкли начинать заново, когда нет ничего. Думаю, уж если мама спросит меня о моей поэме, я ей скажу все как есть и покажу на пустой шахматный столик. И у меня, как у нее. Мама будет в недоумении, остановится, потом, не встречаясь глазами со мной, быстро осмолит комнату, заметит полукрытый пустой ящик бюро, невольно разведет руками, но не засмеется, как вчера перед сном. А я тоже не буду смеяться. И не стану объяснять, что я только сейчас обнаружил отсутствие школьной тетрадки. Как получилось и вообще что происходит? Нет. Прямо возьму и расскажу. Мы разберемся. Потом. Перед сном.

Бесконечное утро. Мама долго еще не придет. Очередь длинная. А я что-то успею сделать и написать, не вспоминая прежние строки. Их было сто сорок. Вот я уже в новой тетради вывел одну из них – точно, такая. Надо следить за собой. Вот опять выплывает еще одна, другая, третья строка. Могу вспомнить страницу, которую сжег. Вспоминаю. Немедленно прекрати. Не держи в памяти даже то, что она когда-то была. И что я ее втиснул в ящик бюро. И что в ней смеялись и прыгали буквы. И что я ее бросил в печь и поджег. И она легко и быстро сгорела. И пепел пропал. И след руки остался на лиловой золе. Гони память. Гони. Собери в себе умение забывать.

Но опять шепчет во мне таинственный женский голос: «Неужели так трудно? – говорит он. - Вот пройдет вся твоя жизнь. И ты закончишь то, что задумал. Да, я тебе обещаю – ты все доведешь до завершения, до конца. И тогда, может быть, вспомнишь о том, что я шепчу... Очень похоже. Готовься. Воображай. Подумай заранее, как пережить еще раз такую минуту. И снова перед началом небывалого круга».

Слава богу, не буду ничего перечитывать. Вот свобода от вчерашнего замысла. Новый и небывалый должен сегодня родиться. Если забуду все до конца. Не торопись. Разгоняй, мысленно очищай перед собой пространство и

время. А как это сделать? Пока только жестами и движением бровей. Отстраняю правой и левой рукой. И сразу же всматриваюсь в очищенное живое. Стены, этюды, бюро, круглый столик, чисто вымытый, с белой тряпкой, шахматная керамика, а на улице гром трамваев, ровный, приятный шум, голоса, а вот и вальс-фантазия Глинки – все по-новому. Все очищено. Все готово к тому, чтобы и мне, наконец, начать нормальный рабочий день. Хорошо. Но этого недостаточно.

Собственно, что получилось. Я, как и отец мой, поставил перед собой огромный белый загрунтованный холст. Воображаемый. Отец хочет работать. А я только-только начну. Он как будто бы знает, что проступит потом на этом белом холсте. А я еще даже не начал. Я чувствую, папа не спит, невидимый на своей, а теперь моей железной кровати. Она заправлена и пуста. Значит, он уже в соседней комнате. Но это его дело. Он скоро запоет красивым фальцетом. Он доволен – и не только собой, но и мной. Он уверен, что есть причина тому. Я не догадываюсь, какая. Но ведь если он доволен, значит, причина есть. Очищаю дальше. Наконец-то я понял: предсмертные краски – потом. А сейчас надо на белом листе выявить первое слово.

И я его вывожу и хочу, чтобы оно сразу исчезло и осталось там, куда пропало внезапно. И тогда не надо новых листов. И не нужна красивая «Континенталь» - пишущая машинка. Воображаемый белый лист на шахматном столике вбирает в себя каждое слово, и я тороплюсь выводить буквы уточкой, моим любимым пером, макая в черную тушь, которую вместо чернил держу в банке на красной и зеленой керамике. Тушь высыхает, перо не пишет, но я розовой промокашкой вытираю черную уточку и вновь пытаюсь писать. Почерк прежний, с придуманными завитками. Слово написано, и сразу оно пропадает и сохраняется где-то на том же самом белом тетрадном листе.

Я всматриваюсь. Губы шепчут и что-то вслух произносят. Что-то очень хорошее. Я не вслушиваюсь в собственный шепот. Перечту потом, когда выступит. Шепот не вызывает сомнений. Значит, я свободен от страшных минут, которые мне предстоят. Все, что создается, живо, не выдуманно и потому хорошо. Теперь надо успеть. И я успеваю. И даже могу обогнать самого себя. Обгоняю. Как здорово. Сколько написано. А на листе нет ни единого слова. Но я знаю: все, что родилось, не пропало. Проговариваю вслух. И звуки исчезают в воздухе, как слова на бумаге. Повторяю. Повторяю опять. Повторно записываю. И теперь уже четко вывожу уточкой, без нажима, целую строчку. Одну и другую.

Едва кончу писать - исчезает, но так, что я успеваю прочесть. Правлю. И правка тоже уходит. Всматриваюсь в белый отработанный лист. Он целиком черно-белый в готовом виде. Он дает себя прочитать и сразу, целым листом, вновь белизна, и в ней скапливаются прежние слова и листы. Кто их вызовет? Кто прочитает? Но они есть в моем отроческом небытии.

Вызовет, вызовет... Значит, вызвать можно. И я не знаю, что будет в итоге? Мой белый лист – это не папин загрунтованный холст на мольберте.

Вызываю. Читаю. И вновь отпускаю в бездну чуткой нетронутой белизны. Белизны одного единственного листа. В ней все, что будет и может быть. И все, что уже есть. И вот я понимаю – любой лежащий передо мной отработанный и неотработанный листок бумаги равен тому, на котором пишу. Нужно в него отдавать и из него вычитывать все, что написано. Вот оно – открытие тайны. Вот она – тайна очищенного пространства и времени. А если вчитаться, можно вызвать оттуда окончательную страницу, ту, что была неосознанной целью, радостью всей твоей неразумной воли.

И вот строчки, написанные черной тушью, детским почерком без нажима, временно закрывают конечный итог. Надо уметь их отпускать от себя, и тогда выплывет из белизны окончательный текст. И оказывается, до сих пор я боялся такого итога. А теперь – тайна раскрыта. Бояться нечего. Нужно, как я уже чувствовал, усиливать или ослаблять мою радость. Вот как легко утоляется жизненный голод. И навстречу мне выходит из белизны тот, кто в итоге станет моим героем вместо былинного богатыря в кольчуге и шлеме с красным щитом и копьем. И его сейчас легко сотворить. И слова сами собой образуют современные и какие-то новые строки. Неужели они мои? Да, твои – отвечает мне белизна. Уточка скользит по бумаге. Щедро и точно.

Оборачиваюсь. Мама у меня за спиной. Она вернулась. А я и не слышал, как она открывала ключом входную дверь, как прошла большую комнату и почему-то заглянула ко мне. Долго она стоит, касаясь пальцами стекла двери между нашими комнатами. Она так никогда не делает. Жест – вневременной. Или я ее вижу во сне? Таких снов у меня еще не было. Но слишком резки все очертанья предметов, и все цвета и все слова, с помощью которых я мог бы нарисовать то, что вижу. А я никогда не видел лицо мамы так отчетливо, как сейчас. Не рисунок, не прозрачная акварель – милый словесный образ. И если не произнести ясно и медленно каждый звук, облик исчезнет. А мама как будто ждет, угадывая то, что я скажу и не опоздаю сказать.

Я не опаздываю. Нужно всего несколько слов. Они приходят ко мне. Произношу. Встакиваю. Кидаюсь к ней. Обнимаю. Чувствую вкус ее слез. И плачу сам. И вдруг замечаю, что она, мама, не просто обнимает, а осязает меня. Судорожно. Жадно. Счастливо. Как будто мы друг друга забыли и не видали давно. Я ощущаю все ее прикосновения и свои, такие же, как и ее. Такие же. И понимаю, что еще один только раз у этой стеклянной двери повторится такая же встреча, такое же самосожжение. И запомнится нам обоим как самое счастливое мгновение жизни. А потом – она, родная, уйдет. И я уйду. И все куда-то уйдут. И мы будем в том виноваты. Один только раз. Не вспоминай. Не вглядывайся в нестерпимую белизну.

Шум улицы хлынул в комнату. И я вижу, что мне уже не двенадцать, а одиннадцать лет, и мама потому и вошла ко мне и убедилась в том, что я здесь, и в эту минуту – знаю – она никому не отдаст меня и я ее никому не отдам, и ее горечь сродни моей. У нее уже было, а у меня еще будет, но пока вот они – живые, здоровые одиннадцать лет.



## 5.

Когда брат погиб, ему тоже было одиннадцать. И он ушел в день рождения своего – за два года до того, как родился я. И вот сейчас именно в этот день мама утром возвращается и, слава богу, застает меня дома. Вот я – живой и здоровый. А где он? Или он тоже здесь? Не там, а здесь. Мама знает. Она была не в ломбарде, а на могиле сына. Она не хотела, чтобы я шел вместе с ней. Она ушла и не разбудила меня. И вот я целое утро с моими строчками, ямбами. А она была там. Долго. Долго. Но, слава богу – можно вернуться. Мама видит меня. И знает, что если я жив и здоров, то он тоже где-то здесь. Мама всегда чувствует верно. Он тут.

Он мой богатырь. Мой Вольга. И как только он ушел из этих бумаг и они исчезли, он появляется неосознано и невидимо. Мама знает и чувствует. Но ей не у кого переспросить. А обнять можно только меня. Лучше не знать. Мама даже не оглядывается по сторонам. Даже не всматривается. Что может быть – в мои одиннадцать лет? Все то же самое? Только по-новому? Вот мы в малой комнате. Брат сейчас уйдет, как тогда. И останусь один только я. Он выйдет за хлебом и не вернется. Но сейчас он еще не ушел. Могилка на Смоленском кладбище... Мама ее не нашла. Потому что ее еще нет.

Если брат выйдет за хлебом, все возобновится, как прежде. Война. Блокада. Киргизия. А потом смерть отца и все грядущие смерти. Надо все это остановить. Остановить, пока он не вышел из комнаты. Можно? Или ни от кого ничего не зависит? Посвященный ответит. Мама не спрашивает. А я даже после конца – не знаю, что делать. Какими ямбами остеречь от смерти того, кто погиб? Я ведь ношу его имя. И родился через два года после него. Но вот мы вместе – одновременно. Мы такие разные. Он богатырь, а я сочинитель, я любитель ямбов и слов. А впрочем, какой он богатырь? Тоже одиннадцатилетний мальчишка. Он смелый, неудержимый. Он, кто не побоялся погибнуть. Из-за простого спора на улице.

Боже. Еще немного, и я исчезну. И не будет в прошлом – рождения моего. Это ведь так же реально, как то, что я никому не нужен с моими бумагами. И как мне поступить сейчас? Что сделать, чтобы мой брат не вышел за хлебом? Он потому и присутствует здесь невидимо и неприкосновенно... И все же пока догадаться не может, что я существую. Или он уже догадался? Мне и маме такое знакомо. Но мы появляемся и не уходим. Я, не уходя, выйду вместо него. А он пусть побудет с мамой вдвоем. Ему увидеть ее не так-то просто. Но самый смелый увидит. Вот удивительно. Сошлись лучшие мгновения жизни. И я, которого быть не должно, живу и думаю, как поступить. Неужели мы не сумеем?

В комнате напряженная тишина. Рождается невозможное – то, что лучше былин, картин и этюдов. Я откидываю голову назад, чтобы разглядеть мамино заплаканное лицо. Она спокойно отвечает взглядом, который вынести невозможно. Пока все поправимо. И не так страшно, как поправила жизнь.

Брат ожидает чего-то. Не от мамы и не от меня. От себя самого. Тогда он прошептал, что не рад своему дню рождения. Опять знакомое чувство. Незачем появляться. И ненужно и некуда уходить.

Удивительное событие. Брат, присутствуя, готов появиться. Мама рядом. Отец тут. Дядя – под нами. И мы все никогда не думали так друг о друге. А уж теперь я точно знаю: так не думал никто из нас. Брат. Неуравновешенный мальчишка. Что он выкинет через минуту? Опять скрылся из дома? Опять мама ищет его, бежит, не зная куда и не понимая, что с ним происходит. А он далеко. На восемнадцатой линии. С какими-то хулиганами. Он сам ведь не хулиган, а каждый раз выглядит главным среди этих ребят. Набирает из них дружину. Он сильный и смелый. Отец тоже разыскивает его на улицах и во дворах. Сын уже ничего не боится. Это серьезно и страшно. Мама не может понять. Дружина из хулиганов. Они погубят его. Спор о жизни и смерти.

Мы понимаем тебя, наконец. Не уходи. Я сам сейчас выйду за хлебом. Прежде мама не отпускала меня. И я привык быть рядом и радовался тому, что она видит – вот я сижу и работаю. И я привык, но стыдился перед сверстниками за себя и за маму. Я бунтовал. Настаивал. Она плакала и не отпускала. Сегодня особый день. Будет все, как надо. Она спокойна. Отпустит. Но куда выходить? Мы забыли – у нас нет ни копейки. В квартире собрались голодные люди. Они свободны и веселы. Братья узнали друг друга. Старший повзрослел в мои одиннадцать лет. А я понимаю, почему сам я год спустя придумал поэму «Вольга» и почему сейчас ее нет на столе. Это глупость, глупость. Но уж если такое случилось, нужно все довести до конца.

Ты согласен со мной? Но откуда я знаю? Ведь я даже не вижу тебя в нашей комнате. И мама не видит. Но как будто мы только что тебя обнаружили. Да, ты вернулся, остался и никуда не ушел. Наступило одно из тех состояний, которое нам всем хорошо знакомо, все мы живем, сознавая себя, сознание заменяет нам то, что погибло в нас и вокруг – заменяет нам зрение, слух, осязание, кажется, даже заменяет чувство реальности. Однако оно существует больше, чем все остальное. И для меня оно воплотилось в невидимом образе и присутствии старшего брата. Ему одиннадцать лет. Но, в отличие от меня, он готов к любым поворотам судьбы.

А вы, еще не написанные мои четырехстопные ямбы... Вас нужно писать совсем иначе, глядя прямо перед собой и стараясь, чтобы герой появился один, сам, помимо авторской воли. Сейчас он готов появиться. Но он не один. Как бы запомнить и не утратить. Пусть он услышит хотя бы строчку поэмы. Если услышит, я свободен и волен. Я собираю слова. В такую минуту. Мама смотрит, как будто я только что появился. Она дождалась и перестала руками счастливо и жадно осязать мои плечи и спину. Мама отпускает меня. Когда-нибудь я так же освобожу того, кого ни за что не хочу отпускать. А сейчас надо всматриваться в пустоту новой утренней комнаты. В ней все готово виться. Все, что я захочу.

И вдруг раздается голос брата. А ведь я прежде не слышал его. Мама, ты

узнаешь? Действительно – он? Сейчас только я один говорю, а сам отворачиваюсь от мамы, чтобы разделить наши знакомые ей голоса. Но она слышит меня и его. И не удивляется ничему. И я понимаю – чудо произошло. Никуда не уйти, хотя в первый миг хочется бежать, зажать уши и заглушить своим собственным шепотом родной узнаваемый голос.

Мама как будто не замечает, что я неотрывно ловлю и пытаюсь понять ее выражение. Голос брата – откровение для меня. Как только он раздался, я сразу увидел сквозь стену – отец останавливает в воздухе свою кисть, прислушивается и, если поверит, сейчас войдет в малую комнату. Мама не ожидает его появления, но готова признать все, что случится. Для одной души, кажется, невозможно такое счастье. Но она, как и мой брат, не одна, и в этом разгадка неуловимой тайны, ради которой мы все жили и опять будем жить. Если продлится, хотя бы на секунду мгновение встречи. Только спокойствие может его удержать. Колебнется что-то в любом из нас, и все пропадет. Мама ровным темным взглядом успокаивает меня, отца и старшего сына.

Что говорит он? Что он думает обо мне, впервые увидев меня рядом с мамой – моей и своей?.. Он ведь при жизни был неудержим в каждом порыве и в каждом слове и чувстве. Мама даже боялась, когда он сильно, почти до боли крепко ее обнимал. Она прятала свое лицо, смеясь тем счастливым смехом, каким уже не могла смеяться потом. Она прятала, а он все равно ее целовал, целовал и заглядывал ей в прямо глаза. А я так не умею. И вот теперь в комнате, где мы все вместе, он мог бы так же порывисто прижимать к себе мою маму, но она обнимает меня, и ему нужно только одним голосом, как мама прикосновением ко мне, удерживать мгновение счастья. Иначе оно не перейдет в новую жизнь.

Брат повторяет фразу о том, что он почему-то не радуется своему дню рождения. Мама уже слышала и сейчас не вникает в смысл этих слов. Она узнает их и понимает еще раз то, что уже поняла: сын вернулся, и не так вернулся, как прежде – моим рождением – он пришел совсем по-другому, он, невидимый, произносит, последнюю фразу в той жизни своей и первую – в этой, и она значит что-то совсем иное, то, что мы все понимаем. Тише. Тише. Сломанный мальчишеский голос удивительно напоминает мой, но в нем есть то, что ушло вместе с ним. Ушло, а теперь вернулось. И вот мы вместе. Папа даже сначала не может разобрать, кто из нас двоих говорит. Поневоле мы замерли. Вслушиваемся в тишину.

Брат, повторяя, недоговаривает свою предсмертную фразу. Где он? При желании можно его разглядеть. Вот он подвинулся. Вот шагнул. Он узнает старые вещи, предметы – все, что было тогда. Он трогает печку. Медленно проводит пальцем по синей железной спинке отцовской кровати, долго всматривается в шахматную керамику (мамина вещь). Другой круглый, деревянный столик – это его собственность в прошлом. Бюро купили потом – он не видит. Этюды на стенах надо еще рассмотреть – что перед войной, а

что появилось потом. Этюды в начале тридцатых не висели на стенах. Все остальное – мое и ему не знакомо. Я затаиваю дыхание. Вот сейчас он обнаружит меня. И в комнате наступит самая невозможная тишина.

Он понял, что чувствует мама? Она видит его и осызает меня. Что это? Разве можно заглядывать за такую недоступную грань? Это смертельно опасно для тех, кто не знает жизни после конца. А мы? Ведь мы уже все испытали. Отпала надежда. Уже не нужна молитва. Но даже для нас кажется невозможно опасным то, как мы с братом явились матери и отцу.

Итак, у меня есть брат. Вместо меня. После смерти моей. Вот что значит мой день рождения. Я и сейчас его не хочу. Лучше бы его не было. Этого дня. Брат все равно бы родился. А я бы жил непрерывно и не считал бы, сколько мне лет. В сущности, все так и произошло. А то, что мне опять сейчас только одиннадцать, это ошибка. Она помешает нам. Как нам друг друга узнать? Нельзя, не получится, но происходит. Вот что я думаю, когда говорю сам с собой. Повзрослел. Кое-что прояснилось... Особенно его возвращение. Он ведь тоже вернулся. Ошибка. Но зато мы будем расти, не обгоняя друг друга. Он писал поэму взамен погибшего брата. А брат, оказывается, еще не погиб. Хорошо это или плохо? Что нужно поправить? Или все так и будет, как есть?

Люди признают наше родство. Мама счастлива. Отец – на десятом небе. Сам брат об этом мечтал. С кем говорить? Я старший. Он младший. Все как положено и задумано изначально. И ему станет легче. А то жить вместо меня... Вообще вместо кого-то жить невозможно. К сожалению, такое случится у него, когда он станет отцом. Пока неизвестно. Мы ведь еще маленькие. Вот я старший, но мы ровесники. Такую ошибку я бы не стал исправлять. Нам хорошо. Бедная, счастливая мама. Счастье ее пройдет. Начнутся бессонные ночи. Бесконечные разговоры с отцом. А он живет особенной жизнью. Вот он стоит на пороге. В комнату войти – для него выше сил. Знаю, как это больно. А все-таки я шагнул.

Да, счастье кончится очень быстро. Одиннадцать лет. Я все это понимаю вполне. Брат, я вижу, ты мне отвечаешь. Мама услышит. Ну и что? Не бойся. Отвечай в полный голос. Я тебя научу тому, чего ты не умеешь. Ты ведь проснулся утром сегодня таким, каким хотел и мечтал проснуться. А вот я тебя сейчас удивлю. Это не ты, это я проснулся утром, когда ты еще спал. Ты ничего не понял тогда. Это я глядел твоими глазами. Это я пружинил мускулами, которых у тебя еще нет. Вот видишь – они мои. Но теперь мы ровесники. И ты порадуешься, что рядом с тобой – на тебя не похожий. Но такой же, как ты. Понимаешь? У нас будут свои тайны от мамы. Это здорово. Ты согласен? Или, как всегда, будешь все говорить?

Чувствуешь, как тяжело то, что сегодня случилось? Тяжело, будто кто-то выбирается на свободу, пугается, не может порвать простые веревки, а их так легко распутать. Но все, как во сне, когда хочешь убежать от врага и пока еще не умеешь. Я тебя научу. Ты ведь и сам знаешь – такому легко научиться. Так уже было в той жизни. Но у тебя она есть в прошлом, а у меня еще будет...

Пойми, какое это великое счастье. Рядом с тобой человек, у которого будет, будет самая первая жизнь. Мне легче, потому что она – самая первая. Что это? Мама протягивает руку. Ищет меня. А другой рукой опирается на твое плечико. Мама, что ты ищешь? Зачем? Посмотри, отец у двери. Он больше всех понимает, как тяжело вам. А я будто прыгнул куда-то. Легко.

Лечу в прыжке. Мама помнит, я хорошо прыгал и бегал. У меня получалось красивее, чем у других. Я тебя научу. Но ты не захочешь. Не надо. Я буду сам, как тогда. Но ты не дашь мне уйти. Отец и мать надеются на тебя. Вот мама нашла мою руку. Вот она жадно ощупывает ее. Мама, потрогай плечо. Оно другое? То самое? А вот и отец шагнул в комнату к нам.

Господи. Да он все знает. Он, без всяких воспоминаний, лучше помнит о каждом из нас и о том, что будет с моими детьми. Я пытаюсь его о чем-то спросить, а он уже отвечает. Он прав. Я мечтал о таком невозможном чуде. Мы с мамой не говорили друг другу, что я об этом мечтал. А отцу и нельзя было о таком говорить. Все было предоставлено мне. А что стоило вызвать чудо, попробовать его и, ничего не меняя в нем, перебросить отсюда сюда. В момент возвращения своего. Он хорошо сказал. Мы все после конца, вернувшись, выбираемся на свободу. Кто живет и не знает, что это такое, тот и не пытается выбраться. А кто уже был свободен, тот не может жить, не вырвавшись еще раз. Нет, лучше не думать.

Мама тоже не знает, что делать. Первый раз она одновременно чувствует нас на ошупь. Вся фигура брата больше моей. Он сильнее меня. Кажется, даже выше. Мама держит ладонкой его круглое плечо, а другой рукой – мои косточки под мальчишеской кожей. Плечико того, кто пишет стихи. Не думай об этом, а то все пропадет. Мама. Ты слышала, что брат мне сказал? В его одиннадцать лет разве такое возможно? Возможно. Все возможно сегодня. Только не спрашивай вслух. Неужели мало этих предсмертных бессонных ночей, когда я боялась дохнуть и потревожить разорванное сердце мое. Помнишь, я не давала тебе даже подвинуть стул в два часа ночи. Ты был в этой комнате, а я умирала там, где отец пишет картину.

Мама, ты это сказала или подумала? Брат кивает и, прищурившись, всматривается в меня. Отец услышал мамино слово. Хочет ответить насчет картины, которая в той комнате ожидает его. Но у него нет слов, как всегда. Проще простого сказать, что ему, отцу, помешали работать. Да, помешали. Но то, что он видит, лишает его белый холст всякого смысла. О моих будущих черновиках и речь не может зайти. Мама знает о них, но молчит и будет молчать.

У брата – особое выражение. Голова его больше и круглее моей. Глаза прищурены, рот полуоткрыт. Да, я знаю по фотографии – он такой. Но что-то новое в чертах мальчишеского лица, в быстрых, серых, как у меня, глазах. Из всех нас он один действительно выбирается на свободу и так понимает свою внезапно рожденную жизнь. Ему там, в отсутствии, было труднее всего. На

половину окаменеть. Думать и не быть в состоянии двинуть рукой и ногой. Надо, конечно, вырваться и, о ужас, пройти через жизнь. Это с его неспособностью долго стоять или сидеть неподвижно, долго пребывать в одном и тот же порыве, в одном и том же красивом прыжке.

И тут вдруг на разноцветной керамике столика появляется школьная тетрадка, а в ней строки, записанные уточкой и черною тушью. Скачок во времени – в такую минуту? У меня, я чувствую, сердце оборвалось. Я сразу понял, что значит выбраться и выбираться. И не просто сквозь жизнь, а через эти сто сорок записанных строк.

Но теперь я знаю, они о моем брате – в той настоящей и непридуманной жизни, которая его ожидает. Потому что я сегодня утром все-таки написал эти строки. Они, только они выступили на белой бумаге. Другие надо вызвать из белизны. Выбраться. Сколько дней и ночей. Брат кивает мне. Он согласен.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1.

Мы тогда поспорили. Дескать, я не смогу на полном ходу прыгнуть на подножку трамвая. С той стороны, где между путями врыты металлические столбы. Они перекладинами поддерживают направо и налево трамвайные провода. В начале тридцатых, провода крепились на таких столбах, напоминавших кресты. И эти кресты, один за другим, тянулись между путями по всему Большому проспекту. Я тогда не думал о крестах. Это я говорю теперь. Через тринадцать лет. В день моего рождения. Говорю, чтобы напомнить самому себе все, что близкие знают и без меня.

Кое-что им все-таки неизвестно. Об этом потом. А сейчас хочу спросить. Откуда я знаю, что было после того, как я повис на подножке и, проехав минут пять, спрыгнул с нее и разбил себе голову об этот зеленый чугунный столб? Откуда я знаю, что таких столбов уже нет? Ведь я появился здесь, в комнате, и еще ничего не видел за окнами дома. После гибели – вообще что можно знать, а, если знаешь, то как объяснить? Но почему-то знаешь точно. И о чем ни спросишь себя – все тебе известно. Нет, конечно, кое-что не можешь понять. Ответ готов – просто не догадываешься, как спросить. А самое трудное для меня – вспоминать. Как поменять одну память на другую? Ту, которая оттуда, на ту, которая здесь.

Ну, так вот я говорю: тогда мы поспорили. О чем я думал и почему соглашался? Не понимаю. Надо было сделать, и я сделал. В той моей жизни такое нормально. Взрослый в одиннадцать лет. Прыжок небывалый и страшный. Помню секунду, когда я летел навстречу столбу. И все, что можно понять в эту секунду, я понял. Свист. Удара не избежать. Еще бы – трамвай набирал скорость. Ну, вот видишь... Дальше я не успел подумать. А очень хотелось. И еще я заметил, как летел этот столб, как будто он выбрал меня. И

еще – мелькнуло и вспыхнуло, что сейчас мне что-то откроется. И хотелось, чтобы это было еще скорей и без удара, а то я все равно не почувствую. И еще – радость, что лететь быстрее нельзя.

Да, в ту секунду я стал взрослым. Жизни больше не будет. Все, все кончится. Поневоле, я взрослый. И это я почувствовал. Но дальше ничего не успел. Вообще я многое не успел, но понял все. И понял, что это же самое почувствует и поймет еще кто-то один, и этот кто-то будет мне родным, как папа и мама. Кто он, я не успел подумать. И тут страшный удар. В полном сознании. Голова моя разлетелась. И я это успел вытерпеть. Тут же как отрезало. А потом началось другое. Оно растянулось надолго.

Боль пропала сразу. И я вдруг увидел отца. Он, спотыкаясь, бежал к перекрестку. Потом он поднял меня и взял на руки мое тело. И дальше я почему-то подумал, что мама не знает о том, что случилось. Это для нее хорошо. А отец нес меня на руках и не замечал, какой я тяжелый. И я сам глядел откуда-то, где было легко. Мама стояла передо мной неподвижно. Она обо всем знала раньше отца. И ей не нужно было даже выглядывать из окна. Она услышала крик ребят, догадалась, что это на перекрестке. И тут отец тоже все понял и побежал. Он возвращался долго, и вот, наконец, поднялся по лестнице вместе со мной, неся меня на руках. И я это все видел неизвестно откуда. И там было легко. Можно запомнить. Я видел и знаю.

А теперь самое трудное. Вопрос мой ко мне. Я его уже задал. Не хочу вспоминать, но я должен ответить. О чем спорили мы? И зачем я согласился? Я вышел за хлебом. Надо было всего лишь свернуть направо и по булыжной мостовой пройти чуть наискосок на вторую линию к хлебному магазину. А я недаром сказал маме утром, что не рад своему дню рождения. Предчувствие? Нет. Но теперь-то я понимаю. Ведь я в этот день решил уйти из дома и долго не возвращаться. А пришлось бы сидеть возле мамы и папы. И не только сидеть – позировать папе. Сидеть и не двигаться. Хуже не может быть. Он меня уже заставлял – я замер тогда только на пять минут, а потом сорвался и убежал. Портрет. Мальчик в тубетейке. Но отцу показалось мало.

Круглый портрет и сейчас висит на стенке в комнате брата. Круглая медная рамочка. А в ней прикрытый прозрачной целлулоидной пленкой чуть заметный карандашный рисунок. Больше отец не успел. Он думал удержать меня. И удержал только образ. Мальчик улыбается и глядит слегка исподлобья. А что он думает и чувствует, никому не известно. Отец ничего не добился. И вот он решил написать акварель. На продолговатом прямоугольнике ватмана. И там изобразить наше семейное счастье. Когда мы все вместе. Мама шьет, сидя на своей желтой кровати (она стоит поперек комнаты), а я что-то читаю на диване между двумя окнами под каким-то портретом в темной рамке. Сейчас я знаю: папа на нем изобразил себя.

Диван под белым чехлом, но он тоже грушевого дерева, желтый, как и кровать. Мама шьет, а я читаю. Или рисую. Отец изображенный смотрит из рамки. И тот же отец, живой – прямо передо мной у черного пианино рисует меня, маму, каждый квадратик начищенного паркета, синие обои, стол,

покрытый белой скатертью с голубыми зелеными складками на углах. Все подробно, ярко и четко. Режет глаза. И только отец, тот, кто рисует, один только он движется передо мной. А мы все остальные должны замереть. И точно такой получится акварель. Папа уже все сделал, только не успел красками изобразить меня и маму. Так мы и оставались в рисунке. Ну, все понятно. Ведь я не хотел позировать и убежал.

Отец рисовал без нас. Потому что мама где-то искала меня. А я пропадал. И вот ему тоже было тревожно. Он всматривался в каждую подробность рисунка. Он выбирал самые яркие краски. Узор обоев, резьба на спинках желтой кровати, такая же тумбочка рядом, угол черного пианино, все получалось как надо. Но свой автопортрет он не трогал кисточкой, словно его не видел так же отчетливо, как все остальное. Да и как рисовать себя самого, если в комнате нет меня и мамы моей. Теперь-то я понимаю отца. А тогда хотелось побыстрее убежать и быть на свободе. И мне казалось, что счастье, которое отец так любил рисовать, мешает мне и не дает мне делать все то, для чего я родился.

А в день рождения точно я бы, по просьбе отца, сидел и позировал, а мама счастливая шила бы, поджав ноги на желтой кровати. Отец точно задумал закончить акварель к моему дню рождения и даже, может быть подарить ее мне. Потому что я стал притворяться, что мне нравится этот подробный цветной рисунок. И, самое интересное – он и впрямь начинал нравиться мне. Но не настолько, чтобы я обрадовался такому подарку. Папа это понимал и тревожился. А мама страдала и за себя, и за меня, и за папу. Она устала и хотела покоя. А ведь она тогда была совсем молодой. Она устала от папы. А за меня ей было больно каждый день. Она все чаще спрашивала меня, чего я хочу. А сама думала только о том, чтобы я не сбежал из дома и из акварели отца.

Вот каким было счастье наше в тот злополучный день. И теперь-то я понимаю. И даже в последнюю секунду все понимал. Потому что на миг сделался взрослым в свои одиннадцать лет. А ведь счастье нужно одним только взрослым. А я твердо знал: счастье, счастье... нет, проживу без него. Лишь бы успеть. Вот папа так и не кончил свою акварель.

Но я все время ухожу от ответа на свой же прямой вопрос. Я вроде бы уже все вспомнил. Значит, ответ на вопрос я не хочу вспоминать. Но теперь я старше – намного старше. Могу подсчитать. А это важно. Мне сейчас исполнилось двадцать четыре года. А к началу войны, если бы я не разбился тогда, стукнуло двадцать лет. Я бы ушел на войну. А если бы меня не послали, сбежал бы на фронт. Я бы там пригодился. Но об этом потом. Зачем же я спорил? Вот сейчас я скажу себе самому самую неприятную вещь. Дело в том, что мы ни о чем не спорили. Я предложил им на спор, что прыгну на подножку трамвая. Я сам предложил. А они молчали. А потом один за другим говорили мне, что так делать не надо. Это я точно помню.

Нет, еще точнее. Об этом я не забывал. Просто не забывал. Нечего вспоминать. Мы спорили о том, что этого делать не надо. А я предлагал им



поспорить, что я смогу. Потом уличные ребята опять стали молчать. И я догадывался, почему. Ведь если бы я прыгнул удачно, им тоже пришлось бы попробовать. Они понимали, что дело серьезно. Получалось, что я хвастался, а они трусили. Нет, я помню этих ребят. Вспоминаю по-взрослому. Они разные, но среди них не было трусов. Так вот. Не было. Не было. И я не хвастался. Они все знали меня. И уж если я предлагал, то выполняю. Это они уяснили все. А было их четверо. Что же, выходит, я их заставлял в свой день рождения, вслед за мной сделать опасный прыжок?

Мы понимали, какой он опасный. Мама очень не любила этих ребят. А я могу сейчас всех назвать по имени и сказать о каждом из них. Ребята хорошие. И вовсе не они меня подговаривали. А получается, что я их подталкивал к смерти. Сам шел на смерть и их звал за собой. Получается, что я и есть самый главный и опасный уличный хулиган. Но ведь я не такой. А они, хулиганы, тоже другие. Значит, что получается? А очень просто. И я испытал и не хочу говорить. Почему не хочу? Нужно себя заставить. Ничего, ничего. Заставлю. Я затем и пришел, чтобы заставить себя. Но подожди. Дай-ка я еще раз осмотрю в нашей малой комнате. Ведь этого не было. На стене между окнами висит в рамочке та самая незаконченная акварель.

Откуда она появилась? Да, она. Та же самая. Висит, как положено, между окнами, на теневой стороне, так чтобы акварельные краски на свету не поблекли. И на ней все в цвете. Только мама, с поджатыми ногами, на грушевой желтой кровати и я на диване - в карандаше и остаемся белыми пятнами ватмана. А если еще присмотреться получше, я на диване какой-то странный. Как будто отец уже прикоснулся ко мне кисточкой, а потом испугался и передумал и решил меня смыть чистой водой с акварели и вместо меня прорисовать грушевый желтый диван в белом чехле с голубыми складками. Он попробовал меня смыть, но я все равно остался. Какой-то прозрачный мальчик. Прозрачный. Сидит под портретом, читает или рисует.

Вот это да. Во-первых, кто окантовал и под стеклом в рамке повесил незаконченную акварель? По-моему, брат мой тоже только что заметил ее. Мы оба с ним переглядываемся удивленно. А отец пожирает меня глазами и ничего не видит вокруг. Мама тоже стоит неподвижно, как в тот злополучный день. Кто повесил? Это во-первых. А во-вторых, почему я на рисунке не карандашный, как мама, а прозрачный, смытый кисточкой наполовину? Уж об этом помнит один отец. Ладно, я у него спрошу. А почему нужно спрашивать? Я ведь тоже знаю об этом. Нужно только захотеть и умело спросить об этом себя самого. Господи, вот почему я ничего не хочу вспоминать. Нет, я себя заставляю. И заставляю. Да, это очень страшно.

Похоже – я прямо вышел из рисунка сюда. Вышел и остался таким же, как на акварели. Карандашный. Прозрачный. А отец и мать видят меня и не замечают окантованного рисунка, висящего между окнами на стене. Видим его только мы двое – только я и мой брат. Прозрачный мальчик похож на брата больше, чем на меня. Вообще стороннему глазу не будет понятно, кто

там сидит на диване. Мы с братом знаем. Но как это странно. И недаром он так же посматривает на меня, как я на него. В конце концов, что все это значит? Мы знаем. Лучше не говорить. Даже когда вернулся оттуда, не все обязательно самому себе называть своими словами. Прежде надо спросить у других, кто так же может ответить. Пусть они скажут о самом страшном.

Отец попробовал обойтись без меня. Он начал меня смывать акварельной кисточкой. А потом испугался и понял, что этого делать нельзя. Без меня комната стала невыносимой. Тогда и мама исчезла бы вместе со мной. Отец остановил свою кисть. И ему стало еще больнее, чем в день моего рождения. И тогда он решил изобразить на акварели меня-другого, чтобы как-то остановить свою боль. И получился кто-то другой. И отец испугался. И спрятал свою акварель и постарался не видеть ее и забыть о ней навсегда.

Такие вещи не забываются. Кто-то невидимый окантовал и повесил. Но ведь не мог же он все сделать сейчас – в эту минуту. Мне почему-то кажется, что это сделано много лет спустя, после нашей сегодняшней встречи. И уже совершилось – в будущем. В будущем это есть. И вот невидимый просто взял и перенес акварель – оттуда сюда. Она и висит как-то странно – вровень с моим лбом. А ведь мне, двадцатичетырехлетнему, сегодня только одиннадцать лет. Брат мой тоже в недоумении. Ему тоже одиннадцать. Было недавно. Теперь идет уже двенадцатый год. И все равно он не захотел бы так повесить незавершенную акварель. Здесь она не могла бы висеть. Только там, на другой квартире. Брат мой, что ты знаешь, скажи...

Он молчит. А я опять вспоминаю моих ребят. Что-то с ними случилось, когда трамвай пролетел мимо, и они увидели меня лежащего между путями. Они закричали. Но что было дальше? Никто из них, конечно, прыгать не стал. Они разбежались. И не от страха перед моим отцом. А потому что увидели смерть одного из тех, кто был рядом с ними и кого они признавали самым смелым и самым главным. Он один погиб у них на глазах. И вот каждому теперь полагалось побыть одному. И только так испытать самое страшное. В память о нем, о том, кто погиб. И они разбежались. И что-то с ними случилось. И они запомнили мой день рождения. И стали немного другими. Как будто все мое произошло с каждым из них.

А вот теперь самое-самое страшное. Они повзрослели и через девять лет пошли на войну. И никто из них не вернулся. Это все достоверно. Только мне и дано помнить судьбу этих моих четверых. Ни отец, ни мать о них ничего не знали. Они считали уличных мальчишек виновными в смерти моей. Ни отец, ни мать не пытались их разыскивать и расспрашивать. Они куда-то пропали из нашего семейного счастья. Из акварели отца. А на самом деле – все было не так. И кто может понять, что с ними случилось? Брат, один только брат почувствует это. Иначе он не сможет быть мне родным. Но он, кажется, понимает. Потому и молчит. Никто не вернулся. И я, когда бы не день рождения, мог бы погибнуть в первом бою. А на деле я бы все-таки выжил.

Да, смерть ужасна вовсе не потому что обрывает сознание. А тем, что, наоборот, разрушает все границы его. Это я говорю тебе, мой брат, и говорю

твоими словами. Мне такие слова не нужны. Тому, кто все знает, слова и вообще не нужны. Лучше всматриваться в отцовскую акварель.

Есть в ней еще одна невероятная тайна. Папа, подыми свою голову. Почему так светло в комнате? Почему рябит в глазах от любых четких предметов? Почему ровный уличный свет становится ярче и ярче? Почему за окном... Нет, все по-прежнему. И ничего не изменилось. И акварель твоя неподвижна. В тени между окнами. Почти не видна, потому что слепит уличный свет. Но брат мой уже заметил. И я вижу, что мальчик на акварели появился не сразу. Он был пририсован, когда уже все почти на рисунке было готово – и диван под чехлом, и темный простенок между окнами весь был покрашен. Поверх красок нарисован карандашом призрачный мальчик. А то место, где его голова и плечи, размыто кисточкой. И не до конца.

Светится неузнанный силуэт. Боже, как это страшно. Папа молчит. А мама на рисунке склонила голову над шитьем и как будто не видит. Всматриваюсь. Вот моя знакомая челка. Но ведь и у брата моего точно такая. Что было раньше? Краска покрыла рисунок? Или отец размыл ее, чтобы потом заново нарисовать все, что хотел закрасить? Это важно. Моя голова и плечи точно вмещаются в это размытое пятнышко. Прежде всего голова, а плечи – на уровне подбородка. Я знаю, отец ни за что не скажет. А я мог бы спросить у себя самого. Но почему-то не спрашиваю. И уже не спрошу. Одно ясно: ответ готов. При желании каждый может спросить у себя. Становится так тяжело и обидно, что даже мама перестает смотреть прямо перед собой.

Кто из нас виноват, или нет никого виноватых? Брат подходит к рисунку один и всматривается в него. Как будто мы все куда-то пропали. Проходит минута. Еще минута. Он, повернувшись к нам спиной, не помнит о нас. Еще минута. Что он высматривает? Он хочет побыть один? Это понятно. Братишка, побудь. Но недолго. Долго нельзя. Опасно. И для тебя и для нас. Это вообще опасно. После конца, когда появляешься, уже нельзя долго быть одному. Когда появляешься. Там нет одиночества. Оно только здесь. Если так долго всматриваться в рисунок. Не все ли равно – что было в начале и что получилось потом? Вот мы все вместе. И главная разгадка всех тайн очень проста. Никто из нас не виноват, как не виновны те ребята мои.

Они погибли. И я погиб. Я выжил и возвратился. Они за меня погибли. А я за них. Перед ними. Брат мой тоже посмотрит в глаза смерти, как смотрели отец мой и мать. Брат отрывает глаза от акварели. Он разгадал. Он понял. Он ожидал это всегда. И потому появился на свет. А сейчас он как будто заново и впервые видит комнату и всех нас.

## 2.

Дай-ка я тебя рассмотрю, братишка. «Поворотись-ка, брат...» Это почти из Гоголя, которого ты так хорошо запомнил, а я еще не читал. Все равно. Теперь мне известно многое. Ты не удивляешься, потому что пока очень плохо воображаешь меня. Что? Не так? Почему глядишь исподлобья? Подними голову, смотри прямо, и тогда не будешь бояться.

Интересно. То, что я только что узнал о тебе, пропадает куда-то, исчезает из памяти. А появляется в ней то, что неожиданно для меня. Скажи – так должно быть или нет? Ладно-ладно!.. Твоя премудрость мне не нужна. Ты ведь сочинитель. Вот на столике тетрадка. Дело твое. Но мне приятно - мой брат придумывает стихи.

Мама, ты помнишь? Ты заставляла меня учить стихи наизусть? Я учил поневоле. Я как будто бы чувствовал, что будет кто-то другой, кто любит и понимает эти стихи, но никак бы не мог подумать, что это мой брат. Подожди, подожди... Ты молчишь, а я угадал, о чем ты думаешь - вместе с мамой. Ваши мысли совпали. Это бывает. И у меня бывало.

Мама, ты помнишь? Редко выпадало такое, а теперь будет чаще... Ладно! Вы подумали о том, что великое-великое счастье, когда младший брат пишет о старшем, а мать повторяет наизусть стихи, сочиненные сыном. Глупость какая! Зачем писать обо мне? Я ведь только-только вернулся. Впрочем, я ведаю. И не надо мне ничего объяснять.

Мама, запомни. Так будет всегда. Папа свидетель. Отец, рисуй сколько хочешь. Тебе теперь есть кого рисовать. Посади брата на диван в той комнате, посади и рисуй его, а братишка будет что-то читать или писать. И, может быть, уж тогда ты кончишь свою акварель. Вынимай ее из рамочки и из-под стекла. Ты понимаешь – ее нельзя так оставить.

Ну, вот видите – как хорошо. Теперь у нас у всех мысли совпали. Это недолгое великое счастье. Счастье, а хочется плакать. Но я об этом никому не скажу. А маме в глаза не могу смотреть, когда она счастлива. Не знаю, почему, но стало мне очень больно. Все тело болит. Но вот сразу прошло. Это вернется. Вдруг. Неожиданно. Я привыкну. Буду готов.

Братишка, ты мне поможешь. Готов? Да? Только ты мне сумеешь помочь.

А жизнь – безумие. Становишься глупым. Чувствуешь, как что-то большими кусками отваливается от тебя. И эти куски – уже не ты, а что-то другое. Кто-то другой. Так начинаешь видеть и слышать. Братишка, запоминай. Это тебе пригодится. Давай будем ходить вместе, пока все лишнее от меня отвалится. А я тебе стану говорить. Обо всем, что происходит со мной. Тебе это важно? Я знаю. Но ты пока не можешь понять.

Поймешь, когда сам станешь отцом. Я представляю, как это будет. Могу рассказать, если хочешь. Пока еще я это воображаю лучше, чем ты. Что? Ты боишься об этом думать. Признаю, чего ты боишься. Ты прав. Мы будем с твоим сыном очень похожи. Но еще до этого надо обоим дожить. А пока радуйся тому, что мы вместе.

Жизнь такая вокруг. Для меня впервые. Ты вспоминаешь. А я в первый раз. Представляешь? Все изменилось. У меня теперь нет моих друзей. Все они погибли на войне. Тебе я об этом еще не успел сказать. Вслух. И этот кусок от меня еще не отпал. Это я всегда буду помнить. И вообще – самое важное обо мне выведывай от меня. А что дальше? Ты можешь ответить? Не было еще того, что случится дальше со мной.

О тебе я могу многое рассказать. О будущем, которого тоже пока еще не

было. Спешу. Расспрашивай, а то забуду. И в самом деле, жизнь – какое-то безумие. Все живые – сумасшедшие, точно. И я становлюсь сумасшедшим, потому что уходит все не только лишнее, но и нужное для тебя и других. А писать стихи – дело очень простое. Я тебя научу. Нет, пожалуй, уже не сумею.

Как больно. А голова ясная. Боль ее не берет. Я бы разреvelся, да боюсь напугать всех вас. Потерплю. Тем более – мне уже доводилось терпеть. Недолго. Одну секунду. Но я ее помню. А сейчас почему-то боль отпускает не сразу. Но быстро. Не успеваешь крикнуть, сморщиться и сжать кулаки. Вам незаметно.

Да, у нас вдруг стала большая семья. И только поэтому все мы совсем другие. А я другой в первый раз. Если так можно сказать. Я ведь вижу, что было бы со мной, если бы я тогда не погиб. Но я погиб, и теперь все по-иному. Да и сам я совсем другой. Мама, не думай об этом. Наши мысли не совпадают. Что скажут люди, когда узнают, что мы с папой вернулись. А о том, что все вернулись, не думает никто, кроме нас.

Теперь мой брат – пока мой единственный друг. Значит, я вернулся в свой день рождения, как если бы тогда ничего не случилось. И сейчас начнется тот самый день, который тогда оборвался, потому что не стало меня. А теперь я вот он, а день рождения совсем не такой. Столько произошло. Люди совсем изменились. Началась и кончилась война. Отец постарел. Родился брат.

А на улице красивая музыка. Трамваи звенят. Грохочут. Вот они. В окно. Красные. Тоже другие. У них нет подножек на обе стороны вагона. Вот прошел американский трамвай. Раздвижные дверцы. Я понял. Подножек вовсе нет. Вошел внутрь и едешь. Безопасно. Не о чем спорить. А вот место, где был наш спор. Теперь мы стоим на нем – вместе с братом. А отец не подходит к нам. Остановился на углу нашего дома – издали смотрит.

Что он чувствует, увидев нас вместе у перехода, где между путями был тогда зеленый чугунный столб, который поддерживал провода? Только наш отец может выдержать... Я опять на том же месте. Он боится. Но за кого? За меня уже поздно. За младшего? За тебя? Но папа ведь не верит, что я тогда подговаривал, я предлагал. Он не хочет понять, что ребята удерживали меня. А, может быть, знает. И мы с тобой стоим сейчас там же. А что если я еще придумаю, что-нибудь? Нет, брата моего не соблазнишь.

Нам по одиннадцать лет. А мы уже кое-что испытали. Мы и думаем и говорим друг с другом как взрослые. Нельзя оставаться прежними. Что ты сказал, братишка? Ты сказал – жизнь взрослеет. А ты хоть сам понимаешь, что ты такое сказал. Я понимаю, потому что вернулся первый и единственный раз. А ты? Ладно, ладно. Не отвечай.

Вот отец к нам подходит. Не выдержал. А тут, на месте, выдержать еще труднее. Но я никогда не видел, чтобы отец наш так мучился. А ты? Вот он, я вижу, стиснул губы, втянул их и сжал и глядит то на одного, то на другого. Не выдержал. Испугался за младшего. Вот схватил тебя за руку. Тебя, а не меня, старшего брата. А потом? Что он делает? Вот он идет к тому месту, где был столб, и останавливается между путями.

Останавливается и смотрит на нас. Вообще-то это страшный взгляд. Так художник не будет глядеть. Точно. Так смотрит отец. Папа, не стой долго между путями. Видишь, громохает красный американский трамвай. Сейчас он промчится, набирая скорость, прямо у тебя за спиной. Почему ты не сходишь с места? Водитель почувствовал что-то неладное. Пронзительно заливается электрический трамвайный звонок. Не так, как было тогда. Трамвай останавливается. А ты все стоишь. Нет, невозможно смотреть. Мы поняли. Папа, уйдем. Я тебя сам уведу. Брат, не двигайся и стой на панели. Отец медленно идет нам навстречу. А мимо, уже за его спиной проносится встречный старый красный трамвай. И у него – такие же две подножки на обе стороны, как было тогда. Но он притормаживает скорость: впереди первая линия.

Вот такая акварель... Давай вернемся. Отец идет сзади нас. Конвоирует. Не дает мне убежать. Но куда же я убегу без тебя? В незнакомом городе. Да и ты... Не бегаешь, а ходишь степенно, как взрослый. И в самом деле – жизнь повзрослела. Моя радость не совпадает с твоей. А хочется по-прежнему бегать и прыгать. Мы будем жить в маленькой комнате, там, где раньше была мастерская отца.

А он где? Я думаю, вместе с нами. Он теперь уже нас от себя не отпустит. Я его понимаю. Да ведь и ты жил с ним эти два года. Ничего. Как-нибудь все устроится. И начнется наше новое детство. Вижу, ты смотришь на меня с завистью. Конечно, я покрепче тебя. Ты думал сегодня утром, что сами собой у тебя за ночь вырастут мускулы. Так? Не притворяйся. Я ведь не маленький.

Ты даже вытягивал руку из-под одеяла, чтобы увидеть, как твоя тонкая рука наливается силой. А на самом деле – вот он я, такой, каким ты хотел быть. Смотри на меня и радуйся. Так ты будешь радоваться, глядя на всех других людей, которые в чем-то лучше тебя. Сначала порадуйся на старшего брата. К тому же мы ровесники. Понемногу научишься. А потом будешь учить других – это уж точно.

Все вы, поэты, художники, только тем и живете. И это правильно. Чувствуешь? Я говорю то, что ты скоро подумаешь сам. Ну а потом займемся твоими стихами. Ты мне будешь их читать наизусть. Что? Не сможешь? Никогда не читал? А это ведь самый лучший способ. Вслух и наизусть. Я тебя научу, что нужно писать обо мне. Так, чтобы люди поверили. Я понимаю, как это трудно.

Сегодня ведь мой день рождения. Родителям надо что-то придумывать. А нам бы с тобой убежать из дому до вечера. Подальше куда-нибудь. Туда, где нет никого над тобой. Только ты сам. Вдвоем интересней. И там я тебе скажу, что поэму твою обо мне совсем не надо писать. Пиши обо всем, что мы увидим. Нет, не пиши. А сразу говори наизусть. Что? Ничего не получится? А разве что-то должно получиться? Это скучно. Сидеть над тем, что придумал. Да, ты прав. Мама будет страдать. А она и так уже довольно страдала. Мы недолго. Мы вернемся. Не хочешь? Нет, это я – хочу-не хочу. Ты не можешь.

Так что же нам делать в мой день? Ладно. Сядем на этом диване рядом. Комната здесь совсем такая, как на той акварели. И диван под белым чехлом. Но почему нет синих обоев? Слава богу. Белые стены лучше. Да ведь и ты до войны синих обоев боялся. Комната изменилась. И кровать сейчас поставлена боком, а не спинкой к стене. И паркет натерт лиловой, а не желтой мастикой. И тумбочка, которая всегда у кровати была, куда-то пропала. Но обеденный стол прежний. И дубовый буфет. А у левой стенки нет пианино. И книжный шкаф с резными стариками на дверцах ты еще не подвинул в малую комнату, где мы теперь будем жить. И мольберт посреди гостиной, а на нем большой белый холст.

И все равно комната прежняя. Теперь отец придумает новую акварель. Сядем рядышком на этот диван в простенке между окнами. Пусть отец посмотрит. И пусть не придумывает никакой другой акварели. Только эту начнет и кончит за сегодняшний день. Мы посидим. А потом сбежим. Но он хорошо запомнит, как мы сидели. Я – нога на ногу, в коротких штанишках с ненавистными ляжками. А ты в своих нынешних вельветовых гольфах, с книжкой в руках.

Фантастика. Я так отучу отца нас рисовать. Но будет новая акварель – мне в подарок. Мне и тебе. Сели. Отец появился. Берет кисти. Вдевает на палец палитру. Как будто нас нет. Поворачивается к нам спиной и начинает что-то красить на белом холсте. И на белом появляются какие-то линии, цветные пятна. Папа отдергивает руку и стоит неподвижно перед белым холстом, к нам спиной. Как будто нас нет. Хотел бы я видеть сейчас его лицо. Быть может, он удивился тому, что на холсте появляется что-то. А может быть, он понял, что рисует совсем другое – не то, что надо.

Папа, повернись к нам и отложи палитру и кисти. Ты видишь – мы здесь. Мы любим тебя. Мы ждем, когда ты начнешь нас рисовать. Мы согласны. Ты видишь? Брат мой читает. А я сижу и позирую. Нам хорошо в эту минуту. Отец поворачивается к нам. И вдруг на белом холсте одна за другой исчезают краски и линии.

Для меня невозможно – сидеть вот так рядом с братом. А я почему-то сижу. Мне приятно – чувствовать рядом тепло моего ровесника – младшего. Он и впрямь держит на коленях какую-то книгу. С картинками. Не знаю, какую. Но он не читает. Смотрит перед собой. Перелистывает, не глядя. И все время косым взглядом видит меня. Он, как и отец, боится, что я исчезну. Думает обо мне. Он представляет себе, как через много-много лет станет писать о том, как мы рядом сидим на диване, а отец уже целый час, устроившись на своем стульчике у обеденного стола, держит на коленях чертежную доску, макает кисточкой в банку с водой и торопится сделать новую акварель.

Фантастика. И так тихо-тихо в утренней комнате, а за окнами уличный шум и красивая музыка. Я почему-то не слышал такой в тот прежний мой день рождения. Отцу очень трудно писать акварель. Все подробности комнаты сразу кисточкой не изобразишь. Он вспоминает, как рисовал ту,

незаконченную, закрашивая каждый желтый квадратик паркета. Теперь все так и не так. И не успеть. А мы сидим неподвижно. И отец понимает, что такого не может быть. Несколько раз он откладывает кисточку и протирает глаза. Нет, все на месте. Никто не сбежал.

Почему он ничего не хочет сказать вслух? И вдруг замечаю: брат рассказывает свою поэму о каком-то Вольге. Былина, и мне совсем непонятно. А он говорит, как будто отец его попросил. И вот он читает свои стихи ему одному. И все время посматривает на меня. А я должен сидеть, позировать и молчать. Но мне приятно. Первый раз в моей новой жизни. А! Я догадался... Это братишка делает мне подарок в мой прерванный день рождения. Он думает, что для меня это будет лучший подарок.

И тут слышу, как в маленькой комнате плачет мама. Тихо. Почти неслышно. Так, чтобы мы не слышали. Так, словно она и вовсе не плачет. Брат услышал давно. Перестал рассказывать. А отец, как ни в чем не бывало, рисует свою акварель. И я почему-то не вскакиваю и не бегу в малую комнату. Кто-то мне говорит, что маме нужно побыть одной. А, это мой брат хочет предупредить и потому перестал рассказывать о Вольге. Господи, какая нелепость! Нельзя так.

Неужели один я ни о чем не могу догадаться, а все понимают? Да, отец уже решил, что по-настоящему в двух комнатах – только двое – мама и брат мой. А мы с отцом вернулись. И нам нельзя исчезать. И мама плачет об этом.

Вскакиваю. «Нельзя исчезать»... Наконец-то я понял. Красивая музыка на улице – тоже как плач. Господи, почему так все устроено? Жалко людей. Жалко этой безумной жизни. Чем больше думаешь, тем горше... Надо реветь, а я не умею. Вернее, я согласен – плакать не надо. А брат мой не может привыкнуть. Он знает: мама плачет не о нем, а обо мне одном. Что бы мы ни делали в этой комнате, мама будет плакать одна. И никто из нас помешать ей не сможет. Я вскочил и чувствую: надо прервать комнатную тишину и всю эту жизнь. Брат мой вскакивает вместе со мной. А отец продолжает писать акварель.

Мы осторожно входим вдвоем в малую комнату. Мы ничего не видим, но чувствуем, что мама заметила нас. Все равно. Жалко людей. Жалко этой безумной жизни. Сейчас все пропадет. Останутся только брат и мама. В мой день рождения. Надо не допустить, чтобы такое случилось. Вот он, братишка, первый подвиг Вольги. Не надо сказок, или, как ты говоришь, былин и заповедей. От меня зависит – исчезнет все или останется. Надо задержать внимание. Оторваться от брата. Но как это сделать? Он не отделяется, не отпадает куском от меня. Вот он рядом, как тень. И мне это легко. Я согласен. А так нельзя. Надо рвануться. Но не убежать никуда.

Но пока. Отец. Рисует свою акварель и никуда не уходит. Я приближаюсь к маме, хотя и не вижу ее. Вот заметила, что я рядом. Вот я ее увидел. Оглядываюсь. Точно! Брат за спиной у меня. Живой, как и я. Мама, ты заметила. Как мы вошли. Я рукою касался дверного стекла. Такое было однажды. В мой день рождения. Но я тогда один. А теперь мы впервые вошли



вдвоем и так часто будем входить. Привыкай. Мы вернулись. Мы были на месте, и ничего не случилось. Папа с нами. А ты плакала здесь. Но мы долго не слышали, как ты плачешь. Теперь все позади. Этот страшный день рождения кончится благополучно. Это очень страшный день. Страшнее того. Правда?

Вот, наконец, я стану и в самом деле твоим старшим братишкой. Мама не плачет больше. Она тогда верила мне. Правда, не знала, что я выкину через минуту. И теперь не знает. Но сейчас я ее защитил. Ее, тебя и твою поэму. А на стене висит старая акварель. Там два сына слились в одном. В ней ничего не изменилось. А где же отец? Почему его нет? Где его новый рисунок? Папа в большой комнате сидит, как сидел. Но акварель его точно такая, как в рамке и за стеклом. Сегодня он ее все-таки завершил.

### 3.

Мы забыли. Мы совсем забыли об этом. Лето 47-го года. Каникулы. Да. В это время в той жизни брат был очень болен. Папа умер зимой. Брат заболел и каким-то чудом пережил его смерть. Но это было в той жизни. А в этой – папа вернулся. И я вслед за ним. Ему удалось. Можно и мне. Он сразу. А я – тринадцать лет спустя, после того как погиб. Уже после войны. Кто-то очень хотел, чтобы мы возвратились. Кто? Мама? Мой старший братишка? Все равно. Желания совпали. Этого захотели. Не только двое. Но мы все четверо. Не торопись. Дай подумать. Мешает красивая музыка за окном.

Немцы идут. Медленным шагом. Серой колонной. Ровно. Они идут восстанавливать то, что разрушили в Ленинграде. Идут под музыку Глинки. Под вальс-фантазию. Про Глинку и про фантазию ничего не знаю. Это мне передал брат. Спасибо ему. Новая жизнь любопытна. А я многое мог бы рассказать о своем времени в старой жизни. Это мы помним трое – мама, папа и я. Помним каждый по-своему. Братишка помнить не может. Его тогда еще не было. А ему это нужно. Сейчас и особенно когда станет он старым. Вот когда он снова очень захочет, чтобы я возвратился.

Но ведь и сейчас уже не 47-й, а 48-й год. Брату исполнилось в мае 12 лет. Я не заметил, как мы сразу перескочили на год вперед. Видимо, все были рады перескочить. Это великое счастье. Это уже очень серьезно. Если на такое согласны все четверо. И главное – никаких фантазий. Все настоящему и больше, чем любая обычная жизнь. Люди не понимают. А я за этот незаметно мелькнувший год кое-что стал понимать. Утра похожи. Но это утро почти совпало с тем, когда мне было одиннадцать лет. А теперь мне тоже двенадцать. Но все случилось так, что я не заметил.

Брат мой понял не сразу. Великое счастье не всегда получается у тех, кто одинаково и одновременно хочет его. Ну ладно, ладно. У нас оно было год назад или в этом году. Папа еще больше постарел. Братишка немного окреп и даже стал похож на меня. Все равно он понял не сразу. Ничего. Я ему помогу. А мама опять в мой день рождения рано-рано ушла на Смоленское кладбище

и снова, уже который раз в году искала мою могилку с мраморным крестиком и фотографией в круглой оправе. Всякий раз находила ее, и тут же могилка исчезала прямо у нее на глазах. И сегодня так же, как год назад.

Трудно понять. Да и нужно ли думать об этом? Так есть. Уж ничего не поделаешь. Так устроено, а относиться надо серьезно и не воображать, как это делают взрослые. Счастье должно быть счастьем, если вы не хотите его потерять. Вот я, например, уже не думаю убежать из дома. Но все-таки что-то такое должно случиться. Ненадолго я пропадаю. Сбегаю по лестнице вниз. Вспоминаю – забыл о моем братишке. Возвращаюсь. Говорю ему что-то, хватаю за руку и ташу его за собой. Мы бежим по Большому проспекту в сторону от первой линии, за колонной пленных немцев. А она уже свернула куда-то. Брат подчиняется мне. А этого не было раньше.

Я ташу его дальше – не знаю куда. Он согласен и едва попевает за мной. Правильно! Мы сворачиваем на пятую линию. Там есть один разрушенный дом. Мы не ошиблись. Вот немцы стоят у фасада – у двери и у подворотни. Сейчас им назначат работу. Они ждут спокойно. Разные. Кто-то из них убивал моих друзей на войне. Кто кого? Я всматриваюсь, как будто ищу знакомого. Нет, они все чужие. И почему-то у всех – ядовито-голубые глаза. Даже не голубые, а ярко-ярко синие. Таких я нигде не видел. А у них одинаковые. Братишка, ты заметил? Уже давно или в первый раз? Какая разница? Давай им поможем. Поработаем вместе? Что? Почему ты молчишь?

Какой смысл? Они разрушили – пусть работают? Они, с этими ядовито-синими глазами? Я догадываюсь – никто из них не убивал моих друзей и никто не разрушал этот дом. Непонятно как, но я точно знаю. Да, конечно. Должны отвечать за других. И все-таки... Они не прочь, чтобы мы помогли. Что думает вот этот высокий со страшным худым лицом? Ты знаешь или тебе подсказать? Он думает, что мы с тобой неразумны. Да. Но победители делают, что хотят. Он спрашивает другого синеглазого, сколько мне лет. Чувствует, наверное, что я мог воевать и благополучно возвратиться с войны. Победитель. Мы не встречались, но вот – узнали друг друга. Ты не волнуйся – это ему полезно.

Когда-нибудь ты, как я сейчас, встретишь тех, кто убил твоего младшего сына. Что-то в этом роде будет с тобой. А сейчас подаю этому высокому целые непобитые кирпичи. Я ему, а ты мне. Молчи и работай. Учись. Не роняй кирпич. Но что это? Дети бросают немцам в окно морковки и хлеб. А те ловят, благодарят и смеются. Детей ругают чужие тети, проходя мимо по улице. А детишки, наши ровесники, все равно бросают им хлеб. Понял, почему так происходит? Год назад я не стал бы им подавать кирпичи. А теперь – в самый раз. Они ведь наши пленные. Значит, мы тоже их брали в плен? Так или не так? Ты ничего не помнишь.

Да, конечно, я не голодал и не боялся их по ночам, как ты. И сейчас они страшноваты. Одинаковые глаза. Да, у меня получилось, что мне они так и не стали врагами. Я же не буду тебя за руку тащить назад, в тот год, когда тебе исполнилось пять с половиной лет. Как-нибудь сам, без тебя. И без

родителей. Они туда ни за что не вернуться. Тогда они за меня были спокойны. Думали о том, как бы тебя от смерти спасти. Получается, что война разъединила нас. Война легла между нами. Вот тебе строчка для поэмы твоей.

Но ведь – помнишь? Те, которые отговаривали меня прыгать с подножки трамвая, погибли вроде бы тоже из-за меня. Они погибли, потому что я прыгнул и разбил себе голову. И их убили враги. Значит, пленные все-таки стали моими врагами? Даже больше, чем для тебя. Этот высокий синеглазый чувствует, что я мог бы сказать. Но я без единого слова подаю ему кирпичи, которые ты протягиваешь мне. Что это? Он возвращает мне морковку. Одну из тех, которые нынешние наши огольцы побросали в окно. Хорошие пацаны. Да и мы с тобой... У них научились. Вот с кем было бы интересно. Маловаты. Ну – подрастут.

А ты зачем спрашиваешь меня о будущем? Давай кирпич и молчи. Будущее... Твой сын в будущем тоже полюбит распоряжаться тобой. Командовать, как на фронте. И ты станешь весело ему подчиняться. Ну, давай последний кирпич. Все. Конец. Возвращаю морковку. Немец не хочет брать. И вот я везу ему. Приказываю. Засмеялся. Помотал головой. И взял, наконец. Мы с ним не увидимся больше. Что? Хочешь завтра опять прибежать к этому дому? Нет, не выйдет. Слушай меня. Пора возвращаться. Мама беспокоится о тебе. А отец опять, как в молодые годы, не знает, где нас искать.

Пойдем. Но что такое? Немец, обращаясь ко мне, говорит на своем языке. Послушаем. Ты понимаешь? Ты, как я, ничего не помнишь, не знаешь. Слова – неразборчиво, но зато мне ясно, что он хочет сказать. Он меня принял за немца. А ты молчишь. Значит, и ты немец, как я.

У всех, кто вернулся, - полная свобода прыгать в пространстве и времени. Это я тебе говорю твоими словами. Я так еще не говорил никогда. Но ведь вот какое дело. Мы оба не заметили, как прыгнули через год. Вот ты начнешь сегодня писать свою поэму, которую не надо писать. Это значит целый год уже за плечами – после того, как я возвратился. И все за одно только утро. Ты пойми – у тебя уже была твоя прежняя жизнь. А у меня после того дня рождения – все не так. Ты пойми, как же я буду перескакивать и перепрыгивать, ни разу не прожив своего? Хватит – я уже прыгнул раз. Заметь – по своей воле, потому что сам захотел. А сегодня все для тебя, потому что ты хочешь, потому что у тебя уже была твоя жизнь.

Что – и дальше так будет? Не отвечай. Ты ведь и сам ничего не понял. Мы с тобою равны. К тому ж – одноклассники. Ровесники. Сегодня и уже год назад стали такими. Как бы мне от тебя отойти? Но я не хочу. Мне интересно. И, кроме того, как только я пожелаю, - все нарушится. Я буду совсем другой. Не станет меня. А это я уже пробовал. Нет, все устроено ладно и мудро. Хитро придумано кем-то. Богом? А может быть, кем-то из нас? Тобой? Но ты еще не дорос. Отцом? Но он ведь тоже вернулся. Мама в это не верит. Иначе она бы не ходила на кладбище. И к тому же она не знает главного, того, что я сам забываю. Все мы вернулись, но не все в той жизни прожили и пережили свое. А может быть, немец придумал, тот, что мне отдавал морковку? Но он враг.

Нет, ничего понять нельзя. А что мне делать, когда ты сегодня станешь писать поэму в своих глупых стихах? Отца не будет и меня тоже? Но я не хочу. Да и кто согласится? Один отец, который все понимает. Он прожил много лет. Наверно, ему самому надо на час-другой отступить от себя. А я не согласен, потому что и то, и это время – чужие и непонятные. Хочется попробовать и там, и здесь. А то, как будто и не возвращался. Как будто и нет меня рядом с братишкой моим. Но ведь это.... Просто слов у меня не хватает. Я тогда их не знал и не хочу их произносить. Брат мой сказал бы – абсурд. И он прав – это абсурд. Ну и что? Мы возвратились домой. Отец пишет картину. Белый холст без красок и линий. Мама уже вернулась и не соображает, как с нами быть.

Я позабочусь об этом. Я сейчас пропаду навсегда. И останусь там. Для меня привычно. Меня ведь и вовсе нет. Никому не мешаю. Отец... Пойдем. Положи свои кисти. Положи на обеденный стол палитру. Не жалея красок, тех, которые ты оставишь на ней. Они все равно исчезнут. Уйдем. Далеко-далеко.

Нет. Ничего такого не выйдет. И отец не захочет. И я уже успел привязаться. Не оторвать. Вот – понимаю. Брат притянул меня к дому. То, что не удавалось ни матери, ни отцу. Понимаю и больше не буду пытаться. А я даже ведь и не пробовал. Понял сразу. Навсегда уйти уже не сумею. А ненадолго – тут моя полная воля. Я ведь могу сам прыгать, перескакивать время. У брата не так. Он не знает, что будет через минуту. А я сделаю то, что сам захочу. Надо ему об этом сказать. Он какой-то нерасторопный. Это у всех, кто пишет поэмы. С ними что-то стрясется. А они не в силах сообразить. Они страдают. А надо решить. И сделать то, что решил.

Братишка. Ты пойми - нам придется иногда уходить друг от друга. А если мы захотим, то встретимся вновь. Даже когда кто-то один захочет. Другой может услышать. А если мы оба подумаем одно и то же – повидаемся, как сейчас. Так или нет? А потом вдруг мы пожелаем исчезнуть. Это нестрашно. Куда хуже, если не сможем уйти. Однако... Оказывается, это все я говорю вслух – наизусть. А мама глядит на меня и не может поверить. Мама, ты видишь – брат мой поверил. Испугался. А потом обрадовался чему-то. Что? Что ты сказал? Что? Я сделал открытие для тебя? Я тебе – открытие, а ты мне – поэму. Только пиши ее без меня, когда мы расстанемся ненадолго. У нас будут свои тайны. И у тебя. Мама, не слушай.

Сегодня мы видели немца. Ты знаешь немецкий язык? Жалко, что тебя не было с нами тогда. Немец, пленный, что-то мне говорил. Я думаю, это он и сейчас говорит. А я только повторяю за ним. Как мы познакомились? Молчи, братишка. Мама будет ругать. А я не хочу. В первый день возвращения. Я вернулся из того, что было в прошлом году. Что? Непонятно? Какие все непонятливые. Вот брат понимает. Как мы встретились? Ну, мы им помогали работать. Кто нас видел? Не знаю. А кто может видеть меня? Видят все, и никто не узнает. Но ты за брата волнуешься? Господи. Я его научу, как жить и никого не бояться. А за меня бояться не надо. И ты об этом плакала утром сегодня.

Тот немец добрый и очень несчастный. Он много успел пережить. Мы как будто раньше встречались. Еще до войны. Да, он запомнил меня. Ведь я с тех пор вовсе не изменился. Немного подрос и окреп за этот год. Мама, ты не помнишь? Был у нас до войны знакомый немец, ну, совсем молодой? Худой? Синеглазый?

Были знакомые немцы. А ты не могла бы узнать? Он сейчас на пятой линии разбирает разрушенный дом. Ты не пойдешь, конечно. Все вы боитесь чего-то. Больше мы с ним не увидимся. Впрочем, если я захочу... Ладно-ладно. Брата не стану таскать за собой. А отцу скажи, где я буду. Брат, пиши поэму и никуда не ходи. Пишешь, и вокруг тебя нет никого? Только по радио за окном вальс-фантазия Глинки. Нет ни отца, ни матери, ни меня. Мама рядом, но она как будто исчезла. А мы с папой ушли и побудем вместе там, где нас нет. Я люблю моего братишку и люблю, когда он остается один. Почему-то я чувствую, что он всегда был очень близко. Чем дальше я уйду, тем он ближе. Вот мы снова на пятой линии как будто увидели страшного немца. Он с тех пор не переставал говорить.

Кто же он, тот, кто стал между мною и братом? Он знает, как все устроено. Он добрый. И он несчастный, потому что остался один. Даже среди других немцев, таких же, как он. Потому что он особый. Его немецкий язык я понять не могу. А он говорит для меня. Мы что-то с ним вдвоем понимаем, чего не знают другие. А! Мы оба не знаем войны. По разным причинам. Он никого не убил, даже ни разу не выстрелил. А я погиб до начала войны. Все испытали, что такое война. Все, кроме нас. А мы думаем, что жизнь может быть совсем без войны. Вот как звуки этой музыки, фантазии, которую оба мы слышим. Братишка слышит ее иначе. А мы – одинаково. Нам даже не надо встречаться. Мы уже встретились. И узнали друг друга.

Самое главное – освободиться от страха. Пробовать и ничего не бояться. Немец мне объясняет, что Гитлер тоже попробовал. И что он был смелым и злым. Я не слушаю. Может быть, все так и есть. А тот остается несчастным и добрым? А ведь это самые лучшие люди. Но и они бывают врагами. Вот, братишка мой, о чем надо писать, отодвинув свою и чужую прежнюю жизнь. Смотри-ка, я научился говорить за один только год. Это не я. Это мне передал брат. Он уже написал двадцать стихов. Не о том. Совсем не о том. Как быть? Немец мне страшен, хоть я его не боюсь. Он как страшный сон, о котором знаешь, что это сон. Вот продолжает звучать его немецкая речь. А меня пока еще нет.

Брат пишет. Я вспоминаю. Вот он вернулся в Ленинград еще в 44-м году. И двоюродная сестра тогда привела его в первый раз в гости к себе – к отцу своему и к любимой матери. Они живут и сейчас под нами, на втором этаже. Но тогда это было первый раз. Вечером. А брат помнил блокадный город и боялся ночной темноты. В гостях он услышал музыку. Мама моей двоюродной сестренки играла на рояле что-то страшное и красивое, а сестренка пыталась петь по-немецки. Хозяйка объяснила брату, что это баллада о лесном царе. Музыка Шуберта. Можно играть и петь. А можно

просто играть. Звуки тревожатся. Отец ночью скачет верхом. На руках у него маленький сын. А за деревьями чащи – лесной царь. И вот этот лесной говорит: «Мальчик, мое дитя... У меня в ночной стране много чудесного. Не бойся меня. Останься. Ты очень красив. Я все равно тебя возьму от отца твоего...».

Страшно мальчику. И брату моему стало страшно.

Мама тогда спустилась к нему и увела его из квартиры дяди на наш третий этаж. Братишка дрожал от страха. Он слышал музыку, и на него набегал какой-то красивый шум, отдалялся и вновь набегал. И этот шум нагонял его на темной лестнице. И лесной царь выглядывал из черных углов. В ту ночь братик не мог заснуть, лежал на своей детской кроватке и смотрел в темноту. А мама с папой спали на большой кровати. Но брату казалось, что лесной царь нарочно сделал так, что они уснули, и теперь он возьмет его. Он выдержал. Он молодец. Он не стал будить мать и отца. Но он дрожал, как тот мальчик в песне. И страшна была красивая музыка и женский голос и то, как этот голос пел по-немецки.

Почему я помню? Странно. Какой-то абсурд. Устроено так, что, как только брат начинал бояться, я сразу себя вспоминал. Там, где нет ничего. И мне хотелось проснуться. Но мешало ничто, и я опять засыпал. А тут я проснулся и слышал и видел все хорошо. Откуда – не знаю. Тогда я был действительно старше братишки. А теперь? Куда подевался лесной царь и шумная музыка? Все можно вернуть. И все можно вспомнить. Вспоминаю и сам начинаю дрожать. Оказывается, я сейчас, пока он пишет, ушел от него не так далеко. И мне захотелось остаться там и послушать. Брат мой заснет в своей детской кроватке, и память моя начнет исчезать. А если я ее задержу? Снова немецкая речь. Но ведь это не то. Нет, все то же самое. Вот я вернулся.

Брат написал сто двадцать строк про какого-то богатыря. Не знаю, почему они про меня. И брат еще не подумал об этом. Ну, ладно-ладно. Я успею ему рассказать. А вальс-фантазия, как ни странно, это моя музыка. Это я сам. Двенадцатилетний. Прежний. Другой.

#### 4.

Сейчас, я думаю, мы с ним подеремся. А почему бы нет. Ну, дело в том, что я неожиданно понял, что он такое написал про меня. Мне двенадцать лет. И я в состоянии все понять. Эта так называемая эпоха, которую он намерен воспеть, не заслуживает никаких стихов. Даже таких плохих, как его поэма. Откуда я знаю? Он же читает вслух. Он думает, что меня нет, что я куда-то ушел. Я действительно уходил, но слух мой никуда не делся. Я не дурак. И все, что происходит в мое отсутствие, мне известно. И отца для него как будто не существует. А наш папа просто не вытерпел бы. И все бы ему сказал. Ну, ничего. Я ему объясню. А если не получится, придется побить. Я ведь не папа, а ровесник. Старший брат.

Я дрался довольно часто – прежде, в свои одиннадцать лет. У меня

получалось. Редко приходил домой в синяках. Чаще доставалось другим. И впрямь – богатырь. Но только совсем не такой. Я вообще драться люблю. Что ты, братишка, это ведь удовольствие. Пробеуешь, как получится в этот раз. Выдержишь или не выдержишь. Устоишь на ногах или нет. Братишка мой слаб. Ясно, что не устоит и не выдержит. Он смотрит со стороны. Память человека в честном бою у него желания нет. А на самом деле тот, с кем подрался до кровянки, тот становится ближе. С тем я вроде бы побратался. Но так было тогда. А сейчас? А что сейчас? Конечно, брат мой – исусик. Но он, когда пишет свои стихи, - тоже дерется. Но с тем, кого нет. И не уступает.

С кем нужно драться? Какая-токая эпоха? Какой князь Владимир? Какие богатыри? Люди оглупели совсем. Ничего не хотят знать – боятся друг друга. Если уж и брат мне не в помощь, тогда я как-нибудь сам ударю. Я сумею. А то противно. Особенно страшно после войны и победы. Работают, как муравьи. Как пленные немцы. Хуже. Глупее. Тратят силы. Напрасно и делают все не то. Ничего не выйдет. Ни у отца, ни у сына. Папа, по крайней мере, в этом разобрался давно. И настроение у него плохое. А брат позорит имя отца. Пойдем разберемся к тому старику, помнишь ты говорил, тому, который ломает свои глиняные фигурки. Что он скажет? Он меня помнит. И я помню его. В первой жизни. Он даже лепил меня для какой-то скульптуры в универмаге.

У брата несчастный вид. Он видит: ничего не выходит сегодня. Объяснять не надо. Он согласен. Только упрям. И особенно любит сидеть неподвижно и смотреть без конца в то, что написано. Я стихов не люблю. Но вижу, что нельзя так сидеть. Ничего не сдвигается с места. Нужно с кем-то подраться. Хотя бы со мной. Вот он сидит за своим шахматным столиком. Перед ним тетрадь с переправленными страницами. Сто двадцать стихов. Он видит, что плохо, намного хуже, чем было в начале. Подхожу сзади. Стою за спиной. Читаю. Беру его за плечи. Встряхиваю, как следует. Он не чувствует. Как будто нет никакого брата. Я ему говорю что-то громко. Он не слышит и сидит, как сидел. Ударить со спины? Не почувствует. И нехорошо.

Братишка, тебе все чудится какой-то женский толстый голос. Вот его ты слышишь. Но ты не можешь понять, о чем он предупреждает тебя. Я бы тебе объяснил, кто говорит с тобой. Но ты не дорос. Что бы я ни сказал – не услышишь. Почему он женский, - не знаю. У мамы – совсем другой. А она этот голос любит и знает. Может быть, это жена того скульптора, который ломает фигурки. Она тоже помнит меня. Сейчас она в академии художеств учит студентов немецкому языку. Опять немецкий язык! Она самая умная женщина в проклятую нашу эпоху. Тоже помнит меня, каким я был в первый раз в одиннадцать лет. Что? Не догадался? Сидишь целое утро. Мараешь бумагу. И не стыдно тебе.

Брат и на этот раз как будто не слышит. Я подымаю его со стула и даю ему раз и другой. Несильно и необидно. Нет, мало. Я валю его на пол. Тут он немного приходит в себя. Оказывается, он тоже умеет драться. У него резкая

кисть руки. Сильные пальцы. Он приказывает себе не разжимать их, и я не могу их разжать. Мы катаемся по полу. Боремся. Удовольствие не из малых. Я, конечно, его сильнее, и мог бы придавить его своим крепким коленом. Но вот замечаю, что он до последнего будет сопротивляться. Такие ребята бывают. С ними надо поосторожней. Как бы чего не случилось. А он уже измучен сегодня стихами. Измучен и обозлился. И не знает, на кого и на что. Надо же – довести себя до такой злобы на себя и на всех.

Сейчас он сам с удовольствием готов отдать последние силы, вцепился мне в плечи, обхватил мою спину, пытается не отпустить мою ногу. Ишь, какой злой. Но я мягким приемом его прижимаю. Почти кладу на лопатки. А потом ослабеваю и сдаюсь, наконец. Он злой победитель. А я смеюсь.

Подрались? Пока еще нет. Все впереди. Я думаю, он ни с кем драться не будет. У него другой способ. Стихи. Это неплохо. У него два любимых поэта. Гейне и Данте. Откуда я знаю? Он уже успел мне сказать. У него есть немецкая книжка. Он переводит оттуда четверостишиями.

О Данговом Аде ты, может, слышал?

Читал роковые терцеты?

Спасенье от Бога бессильно для тех,

Кому отомстили поэты!

Я запомнил сразу. Говорю наизусть громким голосом. Это он слышит. Но если ты слышишь, почему до сих пор не научился? Что ты опять, успокаивая дыхание, сидишь над своею тетрадкой? С эпохой нужно говорить, как говорили с немцами на войне. Очень жалею, что не дожил. Но впереди будет кое-кто похуже тех, синеглазых. Умная женщина тебе перевела из немецкой книжки четверостишие и объяснила, как надо переводить. Ты написал свое. Почти такое же. Только по-русски. Написал, а не понял, как надо бить.

Ну, так что? Спрашиваешь ты, что тебе делать с поэмой? Сожги ее поскорей, и дело с концом. Ничего не выйдет. А хуже того, если выйдет. Еще напечатает. Нет, я вижу, до этого не дойдет. Сходи к ней. К самой умной. Почитай из своей тетрадки. Она и слушать не станет. Она тебе скажет пару ласковых слов. А я добавлю потом. Но будет уже покрепче. До фонаря. До кровянки. Я тоже могу обозлиться.

Новое дело. Что происходит? Комната все та же. И брат сидит над шахматным столиком, как сидел. Неподвижно. И безнадежно. Только он стал чуть-чуть покрупней. Пошире в плечиках. Косточки прямо видны сквозь белую кожу. Все позвонки. А на шахматном столике вдруг в одну секунду оказалась красивая пишущая машинка. Немецкая. Черная. С изображением завода. Откуда она? Почему сразу? Да и со мной самим что-то неладно. Я вырос. Плечи мои округлились. Одежка другая. В ту я бы не влез. Вот. Брючки в обтяжку. Майка. Пошевелил рукой и ногой. Удовольствие. С кем бы схватиться? Да вот еще. Музыка нет за окном. Трамваи гремят и звенят по-прежнему. Уличный шум сдержанный и настороженный. Что происходит? Как будто не знаю. Два года прошло. Перескочили. И главное – вновь по моему желанию.



Где же моя серьезная жизнь? Я что-то не помню. Где я учился? Где по ночам спал в это время? Я знаю, что мама – опять учительница. Стала с трудом. Ведь у нее большой перерыв. Из-за меня. После смерти моей она нигде не работала. Берегла моего братишку. Я понимаю. Вот сберегла. А он все пишет поэму. Хочет, чтобы в ней, как он говорит, жила социальность и чтобы стих был совсем современным. Владимир, красное солнышко скоро умрет. Богатырей не было и не будет. Годы прошли, а я как-то не пригодился. А ведь это для меня возвращение в первый раз. И даже не возвращение. Это продолжение оборванной жизни. Как же так? Почему эта моя первая жизнь обрывается, прыгая через годы? В общем-то, я не жалею. Так лучше.

Трагическое существование – вот что такое моя возобновленная жизнь. Таких существований много сейчас. Люди их не замечают. А тут я сам не заметил. Вот начало самосожжения целой эпохи. Я теперь понимаю два слова – «эпоха» и «самосожжение». Потому что мы сами не видим, что происходит. Вот я как будто проспал. А на самом деле я торопился. Где мои коротенькие штанишки с ненавистными лямками? Где моя челка? И вообще... Куда подевалась моя круглая голова? Смотрю, как в зеркало, в стекло двери между нашими комнатами. Там, слава богу, вижу громадный белый холст на мольберте. Холст по-прежнему белый. А перед ним, слава богу, отец в зеленой рубашке и белых брюках. Он как будто помолодел. Он куда-то ушел и не уходил эти годы.

Сколько таких трагических существований. Людям нет места в эпохе и в социальности. Кому нужно, чтобы я возвратился? Мама не верит. Отец работает, невидимый нам. Да и братишка мой трудится каждый день. А я? Вот уж действительно – подожди, подожди... Привязалось ко мне это слово. На этот раз – неслучайно. Я, наконец, понимаю. Все эти прыжки во времени после конца – делал я. Они имеют значение только для брата, мамы и папы. Но в первую очередь – они для меня. Предлагаю. Поспорим. Чего вы боитесь? Вот я опять прыгну. А вы останетесь жить. И так день за днем. И все равно будет по-моему. Сожгите свою эпоху. Поторопитесь. Вы ее полюбите после такого самосожжения. Точно!

Пишущая машинка стучит. Вот братишка опять перепечатал набело страницу ради одной строки. И опять что-то не вышло. Он сует ее в открытый ящик бюро. Там уже места нет этим бумагам. А я разминаю мышцы за спиной у брата. Он чувствует запах пота и делает вид, что не замечает меня.

Я уже интересуюсь такими вещами. По-моему, с меня Поликлет делал своего Дорифора. Свой канон. Надо сходить к тому скульптору. Он не Поликлет. Он ломает свои замечательные глиняные фигурки. Мы ведь у него с братом уже побывали. Он меня сразу узнал. А то, что я разбился, это он позабыл. А когда братишка ему напомнил, он задумался только на секунду. Задумался и снова забыл. И так у всех, кто меня вспоминает. Хороша эпоха! Все люди такие.

Ну, так вот. Мы побывали у него. И он сразу же потащил меня к себе в мастерскую. Попросил раздеться и стал меня опять лепить для какой-то скульптуры. Дядя тоже, после нескольких встреч, вылепил из воска мою

фигурку для своей заказной спортивной вазы. И тоже не стал он думать о том, как же так – и почему я вернулся. Канон. Дорифор. Видят одно. Забывают другое. А я ведь не игрушка. Я вернулся для жизни. А теперь вижу: не больно-то мне и нужна эта жизнь.

А зачем я разминаюсь? Делаю сто приседаний? Отжимаюсь до потери сознания? Еще не хватало: брат, на меня глядя, этим займется, чтобы немного исправить свою худобу. Тот скульптор хороший. Когда он меня лепил, надо было видеть его: он бежал вокруг меня, примеривался, зачем-то водил руками в воздухе, повторяя все изгибы моей фигуры и не прикасаясь ко мне, смотрел снизу, сбоку, почти приседал, а сам что-то бормотал, разговаривал сам с собой и какие смешные рожи делал при этом. Настоящий мастер. А я?

А мне было ясно, почему он ломал свои глиняные фигурки. В его большой мастерской я тогда не увидел ни одной. А только ящик с готовой зеленой глиной. Он, сбросив клеенку, брал из него материал для того, чтоб лепить меня. А я думал о том, что он лепит сейчас из той самой глины, которая получилась, когда он сломал свои маленькие этюды голой женской натуры. Они были лучше, чем у Майоля. Он их сломал, и теперь я вместо них. Ужас какой-то. Я понял, он ломал их от страха, а я своим телом спасал старика.

Еще бы. Тогда, в начале тридцатых, я стал осовиахимовцем, а потом бронзовым пионером в ДЛТ, а теперь – будущим дорифором эпохи. Подрос. Окреп. Но еще мальчишка. Теперь братец-поэт делает из меня богатыря, который не ошибается. Как? Уже сто приседаний? На сегодня хватит. Разогрелся. Пора одеваться. Ноги приятно болят. Сила играет. Братишка, не оглядывайся. Поликлет, Пракситель, Лиссип. Роден, Матвеев, Майоль.

Умная женщина. Наталия Александровна. Она интересовалась больше тобою, чем мной. И у своего мужа любила только его глиняные фигурки. Помнишь, она говорила тебе, когда однажды у них собралось много гостей и муж был в хорошем настроении и открыл мастерскую (а то он вообще туда никого не пускал), помнишь она говорила: «Не будь дураком – иди посмотри его обнаженку, пока не сломал. Чудо! Иди!» И ты пошел и посмотрел. И все же она единственная, увидев меня рядом с тобой, вздрогнула, дольше других думала, потом коснулась меня ладошкой, потрогала, сжала мое плечо, нахмурилась и не вынимая изо рта папиросы, долго-долго высматривала что-то в моем лице и вдруг сильно оттолкнула меня от себя.

Перекрестилась. Она верила в бога. Как ты. И даже больше тебя. В синей спальне у нее над кроватью висела маленькая иконка. А у тебя – на стене (бабушкино благословенье). Там, на этой кровати, она умирала. Вот мы приходим с тобой. На лестницу дверь открыта. Много народу. Стоят в прихожей. У нее только что кончился приступ. Страшная боль. Помнишь. Только что она кричала. Мы не слышали, но я знаю. Это было за месяц до смерти. Мы стоим среди каких-то людей, докторов. Но она почувствовала. Молвила слабым голосом: «Кто пришел?». Назвали твое, наше общее имя. Оно ведь совпадает с моим. И вот она повелела громко, чтобы дали тебе несколько груш для больной матери и чтобы мы побыстрее уходили. Ты и я.

Ты помнишь? Вот о чем надо писать. Это великая женщина. Ее все обожали. И она, как никто, любила сама нашу маму. А тебя все хотела наставить на истинный путь. Кратко и метко. А обо мне она потом старалась не думать. Мы приходили - она видела тебя одного. Лежит на диване в красном халате, курит, вдруг взглянет на меня, нахмурится и отвернется. Но больше она при мне уже не крестилась ни разу. Я любовался ею. И она это знала. И ты тогда был верующим и, как она, любил Толстого. Вы вдвоем со скульптором философствовали. А я молчал, и она молчала, как будто я ее чем-то стеснял. И только однажды крикнула очень уж громко: «Объясни, объясни... Вот он сидит. Объясни!» И никто из нас ей не ответил. Так было с нами в те два года, которые мы проскочили. Вижу все, как сейчас. Великая женщина. После ее смерти я от нее взял в себя ее разум. Хочешь, могу объяснить, как я это сделал?

## 5.

Пора прощаться. И с эпохой, и с мамой, и с тобою, братишка. Ну а с отцом я не расстанусь. Он уходит, как я, вместе со мной. И не будет в вашей гостиной большого белого холста на мольберте. Пенсне ляжет в отцовский футляр. Не зазвучит никогда фальцет из «Персидской песни». Теперь слушай пластинки Шаляпина да посматривай на мощный портрет старика в меховой шапке. Он слегка напоминает живого артиста крупными чертами лица. Папа любил этот портрет, окантовал его и всегда держал на стене. Такой мужик мог петь, как отец, красивым фальцетом финальный переход из «Персидской песни». Теперь все только напоминание, только эхо того, что происходило сегодня утром, в день, когда впервые мне бы исполнилось двенадцать лет.

Я ухожу умудренным. Я много узнал и даже кое-чему тебя научил. По крайней мере, я теперь сумею словами выразить то, что чувствую здесь, рядом с тобой. Вот выражаю. Ты слышишь мой голос? Ты еще можешь потрогать меня и со мной побороться. Я знаю, ты теперь уже не захочешь присесть и накачивать мускулы по утрам. Такое предназначено брату, где бы он ни был. А тебе нужно только одно – самосожжение. И ты его совершишь. И вы останетесь с мамой вдвоем. И жизнь ваша будет не похожей на прежнюю. Ту, что была до конца. А на Смоленском появится могила моя – рядом с могилой бабушки – той, что тебя благословила черноликой иконой тихвинской Божьей матери. Вот икона висит на стене.

Когда уходит настоящая жизнь, остаются ее следы – пенсне, портрет старика, икона. И та акварель с изображением гостиной комнаты, какой она была до войны. Отец ведь успел дорисовать интерьер к моему дню рождения. Там на диване сидит один-единственный мальчик – ты в свои нынешние двенадцать лет, после того как увидел брата и незаметно простился с ним. Вот я стою перед окантованной акварелью в нашей малой комнате. А ты оторвался, наконец, от своих бумаг, поднял голову и встретился взглядом со мной. Встретился и улыбнулся какой-то особой улыбкой. Ну, почему ты не

встанешь из-за столика, почему не подойдешь ко мне и не сольешься со мной в один, размытый акварельной кисточкой образ?

Мама нет с нами. Она ведь не верит в то, что происходит сейчас. И вот ее нет. Она только на акварели. Поджав ноги, сидит на кровати, шьет и знает, что я никуда не уйду. Как хорошо у отца получилось. Он успел дописать все незаконченное, все, что было в карандаше на этой бумаге. Успел завершить изображение счастья и вновь повесил его на стену между окнами в нашей квадратной комнате. Повесил и пропал, как часто бывало со мной тогда, в той первой жизни. А я отца никогда не терял из виду и сейчас уведу за собой. Он пойдет молчаливо, покорно. И после уже не решится по утрам тебя навещать. Между нами, брат, расстояние – восемь, десять шагов. Даже меньше. А ты видишь и слышишь брата и не можешь встать и ко мне подойти.

Есть более важные вещи. На самом деле, побеждает непонятная сила – наша возможность являться и уходить. Святое право – не так ли? От нас требуется одно – чтобы мы любили тех, кого можем любить. Я тебе скажу – так оно было и будет. И ты уже написал поэму об отце, потерявшем сына. Почему ты забываешь о ней? А ведь именно на нее указывает богиня, в глубине твоей любимой гравюры – среди античных развалин. Я все знаю. Ты рассказал о том, как Феб или Гелиос не смогли удержать безрассудного сына. А ведь это и обо мне. И о нашем отце. И о тебе и о твоём будущем, о младшем, который погибнет. Я мог бы тебе рассказать, что с ним случится. Мог бы. Но ты подожди. И я подожду.

Братишка встает и подходит ко мне. Расставание он переживает потом. А я – напротив испытываю боль и тоскую до того, как оно совершится. Таким я, конечно, не был в той жизни. А теперь воображаю, как ты станешь потом вспоминать наше раннее утро. Вот эту минуту, когда мы с тобой стоим у стены между окнами. Ты на свету, а я – в полутени. Но все хорошо видно. Ты разглядываешь мое лицо внимательно, как та старая мудрая женщина, которая просила тебя объяснить, а ты ничего не мог ей ответить, а я сидел рядом и тоже молчал. Полутень прозрачна. Все различимо. Но ты ждешь, что я тебе словами или без слов открою то, что мешает увидеть эта прозрачная полутень. А она все больше и больше скрывает меня. Гляди сквозь нее. Не давай мне уйти.

Брат вовремя удерживает меня. И, наконец, понимает, что это главное в его жизни предчувствие. Такое же состояние будет еще один раз. Один, единственный раз. Да, подумай, как я, переживи заранее то, что будет с тобой. И тогда я останусь еще. На какое-то время. А ты войдешь в полутень.

Ты помнишь свои четырнадцать лет. И я еще не совсем их забыл. Но, чтобы расстаться, мы возвратились на два года назад. Мы говорим друг с другом, как в наши четырнадцать. Приятно, что у тебя такой крепкий братишка. И сам ты подросток. Мы остаемся такими. Но вот, оставаясь такими, мы с тобой возвратились. Ты спрашиваешь – зачем? Я не знаю ответа и не стану тебе отвечать. Что отвечать, если так хорошо вдвоем в нашей комнате. Все нас оставили и правильно сделали. Братья проводят последний час.

Ничего им не нужно. Только быть рядом. И, даже закрыв глаза, одному чувствовать рядом с собой другого. Долго-долго стоять неподвижно. И знать, что любое движение – приближает секунду, когда неожиданно и незаметно – там или здесь – ты уже будешь один.

И не надо спрашивать объяснений. И не нужно ничего объяснять. Но ты все равно пытаешься. Правильно. Говори и спрашивай. А иначе остановится время. И мы так и останемся с тобою вдвоем навсегда. Неужели ты этого хочешь? Я говорю тебе – такое возможно. Очень легко. Но почему-то мы оба – ты и я – хотим, чтобы время вернулось. И оно возвращается. И мы опять боимся двинуться, тронуть друг друга, молвить лишнее слово. Отец расстается с сыном. Это понятно. Так уж устроено, чтобы они расставались. А вот брату с братом, нам с тобою, предназначено жить неразлучно. Да, неразлучно. Ты это поймешь. И вот у тебя будет два сына. И они проживут как братья, а потом случится то, что нам предстоит.

И тогда ты один вспомнишь расставание наше. Свидетелей нет. Что? Мы понимаем без слов. И поэтому я молчу, чтобы время подольше не возвращалось. Всмотрись в меня, пока я здесь, и ты обнаружишь, что во мне одном оба твоих – и старший и младший. Это самое страшное, что ты мог бы во мне разглядеть. Но ты в свои четырнадцать лет еще не в силах такое увидеть. А ведь счастье ваше начнется здесь, в этой комнате. И оно здесь не кончится. Выйдем из полутени. Все как положено. Мы повзрослели. Вот мы совсем разные. А они, твои двое. Сейчас они оба войдут в меня одного. Вот вышли, а вот вошли. Ты не видишь. А ведь это сейчас происходит у тебя на глазах. Ну, ничего. У брата есть брат. Он к тебе вернется потом.

Что? Я проговорился... Но, слава богу, вслух не сказал. Продолжай радоваться. Не спрашивай и не объясняй. Дело опасное. А ты ведь говоришь с тем, кто не побоялся тогда. Спустя годы, все совершится, я к тебе приду незаметно и буду последним, кому ты скажешь свое конечное слово.

Через несколько минут жизнь моя оборвется. Не в одиннадцать, так в четырнадцать лет. Надо быть великодушным. И к тебе, и к эпохе. И к этой тетрадке на шахматном столике. Или нет. К этой пишущей машинке, к этой красивой «Континетали» и к этим кипам бумаг и черновики. И к тому, как шумит улица за окном. И к немецким колоннам военнопленных. И к тому синеглазому со страшным лицом. Без меня попытайся с ним повстречаться. Ему почитай свой перевод. И пойми, что он скажет тебе по-немецки. А то ведь никто ничего объяснить не сумеет. А он объяснит и себя, и меня. И ты вновь не захочешь со мной расставаться. Не то, что сейчас. Ты боишься. Но тогда ты поймешь. Ладно-ладно.

А, вот, наконец... Верно, братишка. Держи меня крепче за руку. Держи так, чтобы я не мог разжать твои пальцы. Резкая кисть. Прикажи ей. Ты сможешь. Вот – получилось. Не ослабляй. А то со мной происходит что-то совсем сверхъестественное. Твердо стою на полу. Чувствую руку твою. Но видишь, есть нечто посильнее тебя и меня. Оно разнимает нас и разводит. Нет, не удержишь. Тут нужны богатырские силы. Ну-ка, читай мне свою

поэму. Вслух, наизусть. Читай эти твои сто двадцать стихов. Читай громко. Никого нет, кроме нас. Никто не станет смеяться. Даже тот портрет старика в меховой шапке. Ну, читай, громко читай свою глупую стихотворную выдумку. Сам не знаю, но это мне помогает. Удерживает. Вот здорово. Ты понял? Ну, разжимай свою руку.

А теперь вываливай все из открытого ящика. Все бумаги. Вали их прямо на пол. Вываливай до конца. И не бойся. Я не заставлю тебя их читать. Мы их будем жечь, и они сгорят вместе с тем – последним листом, который, помнишь, ты сунул отдельно в открытую холодную печь. И там, на лиловой золе, еще оставил отпечаток ладони? Помнишь? Нет, надо сжечь все до конца. Я тебе помогу складывать кипу за кипой. Ты мне передавай, а уж я постараюсь так засунуть, чтобы все поместилось. И оставлю зазоры между листами для дыма и воздуха... Вот зажигаю. Подожди. Подожди. Сразу нельзя. Будем вместе подбрасывать, когда вспыхнет и наполовину сгорит. Вот спичка зажглась. Волшебная тяга.

Тебе не страшно? Мы ведь вдвоем. Не бойся. И не жалея. Да, я вижу, ты не жалеешь. Наши желанья совпали. Весело. И жутко. Как в тот момент, когда я прыгнул с подножки. Бросай понемногу. Нужно вытерпеть, чтобы сгорело то, что копилось годами. Вот, наконец, я пригодился.

Подожженная снизу толща черновиков хорошо занялась плотным огнем. В комнате запах сожженной бумаги. Такого здесь не было никогда. А пол завален все новыми и новыми кипами. Стоя над ними, ты выглядишь очень забавно. Почему ты раскладываешь их на полу? Почему не бросаешь в одну красивую грудку поближе ко мне? И неужели ты все-таки читаешь отдельные строки? Сожми их в одну строку, проговори вслух и забудь. Да, без меня ты едва ли решился бы на второе самосожжение. Ты все перечел бы внимательно и был бы в плену у того, что ты сделал. Прости, говорю твоими словами. А по-моему, в той жизни, пройдя ее до конца, ты полюбил то, что однажды смело бросил в огонь.

Ты живешь заново, а я в первый раз. Но я понял одно. Я перескочил свое время и тебя научил перескакивать. Вот и сейчас учись у старшего брата. В том, что я тебя открываю, состояла вся моя жизнь. Вот что я понял. И больше мне уже ничего не нужно. Я затем и пришел. А ты останешься доживать свое время. Вспоминать и перечитывать сожженные черновики. Вот и сейчас ты читаешь и вспоминаешь. И тебе горько и больно и за себя, и за время свое. Правильно? Я ведь говорю только твоими словами. А по-моему, надо быстрее расставаться с тем, что было в той жизни. И лишь тогда тебе откроется новая жизнь. Как для меня, кто после того дня рождения жил одно только утро. А сколько вместило в него.

Ну, подавай новую кипу. Зачем ты схватил и держишь ее? Хочешь утаить от меня? Но ведь я вижу тебя так же хорошо, как ты своего старшего брата. Вот он сидит на корточках у открытой печки. Протягивает руку за очередной пачкой. Смеется. Такой большой, налитый силой. Из-за него не виден огонь,

в котором неверный труд сгорает сегодня. Ты шепчешь свои зачеркнутые стихи, а брат радуется тому, что они горят и пламя ждет новых стихов, чтобы вспыхивать заново за железной дверцей нагретой печи. Вот я снова ее открываю. Давай! Давай! Радуйся тому, что есть что сжигать. Ты подумай. Настанут годы, когда пустые дни полетят в пространство и не будет того, кто сожжет их. И тогда ты меня позовешь. И я приду к тебе – на прощанье.

Ладно. Ладно. Ты уж очень взволнован. Круглая моя голова с прежней челкой. Крупные плечи. Майка вплоть прилегает к груди. Брюки чуть не трещат, обтягивая крепкие ноги. Вот я слегка отодвинулся. Красные блики огня пляшут на мускулистых руках. На правой и левой.

Последняя кипа. И она полетела в огонь. Я знаю, что тебе дорого в ней. Здесь тебе очень хотелось, чтобы стих точно передавал свежий морской ветер, смоляной запах от палубы корабля. Ты хотел нарисовать словами крепких могучих гребцов. Тех воинов богатыря, который не ошибается. Тебе никак не давался этот особый запах корабельных досок и тел и соленого ветра и чтобы это все вмещалось в необъятный синий простор. Воины сбросили шлемы и латы. Они гребут и загорают на солнце. Как передать ощущение близкой победы? Богатыри знают, что никто из них не погибнет. Надо лишь доплыть до царства Салтыка Ставрелевича. А Вольга твой – прямо античный герой. Но он один знает, что, победив Салтыка, мы вызовем в бой необоримую силу.

И все погибнут в этом бою. Почему и зачем – неизвестно. А сейчас они плывут в ослепительном синем просторе. И несказанный запах тел и палубы корабля – вот все богатство, которое таит поэма-былина. У тебя никак не получалась эта страница. И вот вся она, размноженная десятками вариантов, легла в последнюю кипу черновиков. Ты столько раз ее правил и перепечатывал. Перепечатывал, перечитывал и отбрасывал, засовывал в ящик бюро. Но если сжать все в несколько строк, то получится то, что ты хотел выразить словом. Нужно перечитать. А я выхватил эту кипу и бросил в огонь. И смеюсь один, сидя на корточках. И руки мои похожи на руки богатырей, гребцов из былины. Вот сейчас ты родишь нужное слово. И крепкая рифма свяжет найденный стих.

Нет, все не так. Богатыри уже перевелись на Руси. Победа была. Все погибли. Я был бы последним из них. Если бы вырос. Но я не хочу погибнуть последним. Погляди на меня еще раз. У каждого – свое назначение. Мое написано у меня на лбу, прикрытом прежнею челкой. Все-таки голова у меня круглая. Упрямая шея. Глаза побольше твоих и очень пронзительный взгляд. Знаю. Мать мне говорила. И отец это видел, когда меня рисовал. Я хочу остаться таким. И останусь. Я попытался что-то в себе изменить. Я попробовал. Ничего не выходит. Как у тебя с этой твоей последней кипой черновиков. Чувствуешь, как она догорает? И долго останется запах пепла в нашей маленькой комнате. Я попробовал. Нет, ничего другого не нужно.

Я встаю навстречу тебе. Мы оба свободны. В комнате потеплело. Мама

придет, и ты ей все объяснишь. Передавай дяде привет. И тому скульптору. Он еще жив. Ну а его супруге я сам скажу нужное слово. Я знаю теперь, как с ней говорить. И тому немцу. И новому дню.

Как больно знать, что тебя уже не видит никто. Я один или брат остался один? Это уже не важно для тех, кто уходит в четырнадцать лет. Вижу, брат озирает комнату. На полу ни одного листочка. Все сожжено. Он не смотрит в мою полутень – туда, где я только что был. Там его ждет акварель, и он не видит, как на ней исчезают краски. Опять карандашная мама сидит на кровати, поджав ноги, и шьет. Опять призрачный, размытый акварельную кисточкой мальчик. Я изо всех сил пытаюсь остановить исчезновение красок. Но сил моих не хватает. И вот акварель остается по-прежнему незавершенной. Одно или два белых пятнышка за стеклом. Полутень или запах бумажного пепла.

Братишка, пошатываясь, делает шаг вправо и влево. Потом оборачивается. Бросается к печке. Ее бежевая железная обивка постепенно теряет тепло. Он прижимается к ней и широко раскинутыми руками обнимает, обхватывает ее. Тепла немного. Но оно согревает голые руки. И он так долго, долго стоит. Все остальное у него за спиной. Он прислушивается. Нет, никто не дышит и не делает новых движений. И никто не подходит сзади. И никто ничего не скажет. А эти слова как будто бы уже прозвучали. Брат их не слушал и вот пытается вспомнить. Печка, ответь, если можешь. Но она молчит и сохраняет умирающее тепло. Наконец, брат поворачивается ко мне. И там, откуда я вижу, пытается что-то еще разглядеть на стене между окнами.

В соседней комнате все тихо. Нет никого. Синяя железная кровать у печки еще не заправлена. Зеленое солдатское одеяло откинута. Брат мой только что встал. Это все хорошо видно тому, кто ушел. Шахматный столик. Пишущая машинка. Ящик бюро. Выдвинутый. Пустой. На улице веселая музыка. Понемногу все становится тихо и все исчезает. Брат уже ничего не может увидеть. Он, зажав уши, пошатываясь, ходит по комнате взад и вперед. Но вот и комнаты нет. Остаются только его шаги. Но вот уже их больше нет. Брат открывает глаза. Нет, все, как обычно. Он сидит на заправленной койке. Запах пепла исчез. А в полутени между окнами на стене почему-то нет окантованной акварели.

А на другой стене, освещенной утренним солнцем, в медной позолоченной круглой рамочке за целлулоидной пленкой мой чуть заметный карандашный портрет. Прощаясь и забывая себя, почему-то я вызвал его из памяти и оставил на память.

---



## ПОЕДИНОК.

Нет ничего. Пока ничего нет. Верный путь к тому, чтобы все было. Уверен. Проверял много раз. И никто не знает о моем способе. А вокруг. Агрессия. Беготня. Тревожность. Но я просто не ведаю таких состояний. И скрываю тайну мою ото всех. Время еще не пришло. И, главное, никому не нужно. Получается, что я все наблюдаю со стороны. Помогает. Ученики присматриваются ко мне. И никак не могут понять. Да, не разгадали. А я и не тороплюсь. Но сегодня понял. Они совершают ошибку. Простите – кто? Я. А уже потом – они. Ладно. Пока не буду. Полчаса, а уже потом надо бежать на первый урок. В 30-ю школу. Там разыгрывается драма. После нее из ничего будет все. Надо выдержать. Выстоять. Пять уроков. Пять Катерин из «Грозы». А в это время гроза надо мною. Хуже грозы. Полный конец.

Но это внешнее. А вообще-то мне – кажется – что-то удалось на вчерашнем последнем уроке. Больше, чем нужно для школы. И для моего класса, где я воспитатель. Больше. Но ребята поняли и поверили мне. Я сам поверил. Кончай. Вредно вспоминать о вчерашнем уроке. Целый день впереди. Ничего не получится. Надо все заново. Будто не было. То, с чего начал свой день. Вместо молитвы. Слова убегают. Разгони их. Вакуум. То, что нужно литератору. Кажется, я им становлюсь. Повтори правило. Он, литератор, должен быть отделен от тебя. Больше, вернее. Совсем безнадежно. Смогу. Но зачем в портфель кладу записную книжку. Я ничего не записываю. Запоминаю. Нет. Записная книжка. Пустая. Правильно. Нужно, чтобы хоть где-то был вакуум. Полная пустота. Кладу и забуду. Нельзя. Напоминаю настойчиво. Забыл сварить кашу. Все. Некогда.

Что-то меня задерживает. Воспоминание. Надо проверить. Вот. Оно весь день будет со мной. И все погубит. Смысла нет никакого. Одни предметы, взгляды. Прикосновения. А что если так построить урок. И все рассказать, что я гоню от себя. А потом повторить и проверить. Что Катерина? У меня в каждом классе. Будь осторожен. Ты еще молод. И тебе двадцать шесть. Я закрываю входную дверь. Ключ кладу в левый карман. В левый, не в правый. А какая разница? Почему эта привычка. Все неслучайно. А ты не притворяйся. Темная лестница. Черные углы. Как в детстве. Когда ты боялся. Теперь смешно. И все равно дрожь пробегает, когда прохожу мимо. На этой площадке ни одной двери. Нужно мелькнуть побыстрее. Пробегаю. Уже не смешно. Действительно страшно. Господи. Не дай бог, если будет и состоится... То, что в черном углу.

Вот – пробежал. Надо уехать отсюда. Но я не уеду. Почему известно? Точно. Я никуда не уеду. Характер. Судьба. Как себя переделать? Пусть будет. А сегодня – прямо об этом сказать. На уроке. На каком? Четвертом? Пятом? Или потом? Завтра? Нельзя. Нарушается принцип. И вдруг понимаю:

то, чего я жду, не случится, если я все скажу. На последнем уроке. Да. На последнем. Ну вот. Спокойно. Можно идти и забыть обо всем. Лишнее. Записная книжка. Никогда больше не буду брать. Мучает. И вот я вспоминаю, какая драма ожидает меня. И чувствую – готов. И даже нетерпеливо жду поединка. Хорошее утро. Правильно. Так бы всегда.

Поединок с людьми или с годами... шестидесятью. А в чем суть этой схватки? Дело в том, что сейчас начало того, что потом приведет к катастрофе. Заметить почти невозможно. Чувствуют все. Не замечая. Самое правильное – чутье. А я старше моих двадцати шести. Очень просто. Не знаю, как у других. Сознание ошибки. И увлечение. Дескать, конечно, да, я ошибаюсь. Но... увлечен. Понимаю. И ничего поделать уже не могу. Вижу сейчас. Но потом будет видно. «Хороший человек в темных блужданиях твердо знает верный путь». Гете прав. Но формула работает по-разному. Я твердо знаю верный путь и потому, будучи хорошим, разрешаю себе заблуждение. Таковы наши шестидесять. Потом объясню. Самому себе. А теперь – Островский. Пять Катерин. Что услышу – не знаю. Кроме того, методист, который меня изучает, придет на урок. На четвертый? На пятый?

Здесь, у Андреевского собора, в прошлом году, зимой, помню, я упал и сломал себе руку. Потому что был удачный урок о Тургеневе. О «Певцах». «Записки охотника». Я один говорил. И все меня понимали. А я говорил о том, что мы заблуждаемся. Вышли на волю и не заметили, что все дорожки позаросли. Частым ельником и березником. Так пел Яша Турок. А я говорил и думал о том, что нам предстоит. Удалось позабыться. У Тургенева – чайка на камне. А у меня бескрайний туманный простор. Видел своими глазами. И было больно и горько. Ну, ладно. Пока не надо. Из глубины простора. Возвращайся назад. К началу шестидесятых. Да. Уже сейчас вижу, что это прорыв. Урок получился. И я вдруг прервал его на середине и попросил написать и сам сел писать. Сначала – досада. А потом увлеклись. Я собрал эти листочки и поспешил домой. И упал. И сломал руку об угол панели.

Вот это место. Опаздываю. И все равно останавливаюсь. Не знаю зачем. Оправдалось тогда. И теперь оправдается. Вижу – церковь открыта. Крестятся. Входят. Но это потом. В тумане. А теперь все не так. Люди спешат, не оглядываясь. Дверь крепко задраена. Кто-то, как я, останавливается и глядит, сожалея. Видит меня. Мы понимаем друг друга. Он хочет заговорить. Пожилой. Благообразный. В старой бобровой шапке с черным бархатным верхом и в черной шубе с бобровым воротником. Седая бородка. Пенсне. И пронзительный взгляд. Интересно. Что-то бормочет. Я не слышу. Опаздываю. Надо бежать. Вот. Осторожно обхожу угол. Поднимаю глаза. Но старика уже нет. Шуба его напоминает отцовскую шубу. Шапка тоже. Я их надевал после папиной смерти. Никто не замечал. Мама мне вслед глядела печально. Смешно и горько. Ну, кажется, я совсем опоздал.

Почти бегу по аллее. В руке портфель. Путь знакомый. По этой аллее я мальчишкой, «весь в мелу», бегал к Среднему, в букинистический магазин.

Теперь – мимо и мимо. И опять кто-то шепчет – надо уехать отсюда. Но я не уеду. И когда-нибудь здесь, медленно проходя по аллее, буду собирать в себе память обо всей моей жизни. И когда-нибудь кончится. Но сейчас, перед уроком, зачем эти мысли? Оно неслучайно. Вот, кажется, я не опоздал. Угловой дом. 30-я школа. Надо зайти со двора. Много ребят. Киваю головой. Отвечаю. На самом деле – по-молодому обгоняю кого-то. Меня пропускают. Чувствуют – что-то не так. Ожидают. Вижу. Такие улыбки. Пять Катерин.

Никогда не нужно себя обгонять. Кто говорит? Не я. Обгоняю. А теперь, на первом уроке, так обогнал. Что даже сам пришел в себя и вернулся. Ребята в недоумении. Предчувствуют. Одна Катерина. Ждали. И не дождалась. А я забежал далеко-далеко. И вдруг мне стало холодно. Передернуло, как от простуды. В каждом классе – одна. Кто меня понимает. Остальные за ней. Причем тут Островский. Говорили много. Спорили. Угадывали чей-то план. А его не было. Плана. Светло и жарко. Вот меня передернуло. Возвратился. Не все погибло. Выпустили. Дождались возврата. Нельзя. Больше нельзя. Спасибо. Что осталось? И что останется? Ожидание. Что-то мелькнуло. Они хотели, чтобы я вернулся. Никак нельзя отпускать. Ребенок – учитель. Сами пройдем. И вдруг тишина. И «не нужно ни слова, ни просьбы...». Она для меня – тишина. Полвека самообмана. Переживете. И я вместе с вами.

Остальные уроки не в счет. Не помню, что было. Кто говорил. Много ли, мало. Только бы промолчать. Но я не умею. Перемена. Спрашивали, что было на первом уроке. И так до конца. И до последнего – пятого. Передавали устно. Что-то прибавлено от себя. Ничего. Полезно. Холодно. В коридоре. В учительской. Сижу прямо на солнце. И все равно. И неужели так будет завтра. И послезавтра. Не выдержу. Еще раз руку ломать? Наложили гипс очень крепко. Сдавили запястье. Болит невозможно. И я не спал тогда целую ночь. А теперь? Неужели тот перелом? Перед погодой. Нельзя, когда падаешь, выставлять правую руку. Но я никуда не уеду. И все равно буду жертвовать правой рукой. А уехать куда? В деревню. Туда. В детство мое. Там наступало первое обновление. И не наступило. А сейчас. Впереди полвека. Тяжело. Дальше – тупик. Доживу. И они доживут. И переживут.

Листаю журнал. Выставляю пятерки. Четвертый урок. Предпоследний. Никого не забыть. Человек с бородкой. В пенсне. В бобровой шапке и черной шубе с бобром. Но куда он пропал? Передо мною совсем другой. Продолжаем литературный спор. Чуть перемена – он рядом. С ним хорошо. Он из тех, кому будущее не нужно. Он весь в настоящем. Сидит напротив. Историк. Обществовед. Что он думает об ошибках эпохи. Той, которая наступила? Нет, ничего. Нужно думать о том, что можно исправить. Полвека пройдет. И только тогда начнут исправлять. Толстой перед смертью продиктовал, что каждый из нас тогда существует, когда и поскольку он связан с другими людьми. Конфликтно. Порой идилично. Пока живешь, надо жить. И писать. Побольше. И переписывать набело. Без единой помарки. Есенин не ставил ни одной запятой. И каждую букву отдельно.

Слушаю. Перемена проходит. И никак не может пройти. Мучительно. И я

по-прежнему – в той тишине. Проставляю пятерки. Память хорошая. Никого не забыл. Не выдерживаю. Прерываю. Как же так? Нельзя допускать ни малейшей лжи. А мы уже допускаем. Видите? Признаете? Тот, с бородкой, хотел говорить. Кто – не знаю. Пропал. Теперь вместо него... Хорошо. Хорошо. До звонка еще пять минут. По моим часам. Говорите, надо конфликтно? Идиллически? Лев Толстой о другом. О том, чего мы боимся. И что неизбежно. И оно спасет нас. А мы далеко от него на полвека. И еще пережить катастрофу. Не переживем? Звонок. Пятая Катерина. Моя тишина.

Жизнь устроена так. Всегда не доделано. Трудись. Жертвуй. И уходи, потеряв последние силы. Кто-то любит процесс. А я все довожу до конца. И тогда вопрос бытию. Что дальше? Зачем? И когда? Пустые вопросы. Процесс. Но сегодня урок нужно кончать. Пятый, а дальше некуда. Второй, третий, четвертый. Тут еще многоточие кстати. Но пятый. Все равно. Ты понимаешь. Попытка – не больше. Многоточие, мучение, все останется – до нового дня. И все-таки надо пытаться. У меня смешная уверенность – будто мои дорогие ребята ждут пятого часа. И там она. Что скажет? О чем промолчит? Никому не отвечу. Будут смеяться. Но для меня это моя особая жизнь. Даже ей не скажу. Она иногда глядит – будто спрашивает. Нет. Не скажу. Историку – этажом выше. Но пока нам по пути. Он продолжает. Киваю. Согласен. Молчу. Дверь класса. Вхожу. Как завершить. Помогите.

Нет. Пятая Катерина – увы! – не желает помочь. Не хочет. А вообще – могла бы. Пол-урока. И вдруг – здравствуйте. Вижу – методист за последним столом. Там, где репродукция – карандашный рисунок. Почему не заметил. Надо кончать. При нем – невозможно. Тем более – увидел внезапно. Ребята молчат и не думают выручать. Любопытно. Методист – мужчина. Хуже не может быть. Привыкли. Мгновенно всматриваюсь. Пенсне. Бородка. Уже полгода. А я не узнал сегодня. Там, у Андреевского собора. Вот что значат шуба и шапка. Отлегло. Он уже изучил. Он обо мне все завершил и только ждет подтверждения. Точно. Ну, если так – думай спокойно. И я начинаю исповедь. Очень трудно. Катерина глядит в окно. Осуждает меня. При нем. Нельзя. Невозможно. Перестань. А почему оставили меня одного. И вдруг он встает. Он делает жест и выходит. Он дарит мне половину урока.

Вот я уже дома. Очень медленно по обледенелой панели. Как сейчас вижу. Себя самого. Иду. В портфеле – то, что написали ребята. И я кое-что написал. Десять минут. Но каких. Знаю, о чем написали. Нет, не знаю. Сегодня особый пятый. Победа? Поражение? Все равно. Закончил. Мы кое-что завершили. Вот иду. Обледенелый угол панели. Нет никого. И никто не поможет. Миную благополучно. Каждый шаг. Твердо ступай. Не ставь ногу на пятку. Не выставляй правую руку. И так – до самой парадной. До лестницы и темных углов. Промелькнули. Вырвал сегодня целый день для себя. Осторожно, как по льду, вступаю в большую комнату. Слава богу. Стол чист и без скатерти. Только тут вспоминаю, что каша не сварена. Сил нет никаких. Удивительный

жест. Встал и вышел. Хорош поединок. Почему пенсне? Думаю, долго не проживет. Потому и ушел с половины урока.

Малая комната. В ней все начинается. И в нее легко возвращаться, если что-то удалось окончить и завершить. Удалось. Вспоминаю. Сколько здесь бывало друзей. И все они живы. Вообще все, кроме отца и матери. И, удивительно, те, кто заглядывал ко мне, отсюда уже не уходят. Мысленно. Понимаешь? Они бы ушли. Но я их не отпускаю. Память хорошая. Говорят. И я знаю, о чем говорить. Карандашный рисунок. Он у меня в том углу. Там почему-то одно свободное место за последним столом. А здесь, в малой комнате, голые стены. Говорят, очень полезно. Для начала начал. Вот характер. Двадцать шесть лет. А все будет именно так. Пусто после победы.

Гроза миновала. Несколько дней впереди. Когда опять соберется. Нет, жить все-таки невыносимо, пока знаешь: полвека уйдет на общее заблуждение. А ребята еще далеки от него. Они вместе со мной. Вот что написали. Посильнее меня. А через год – уже другое. Будут готовы. И все-таки. Школа. Подружился. У нас – двухлетка. Два года. И сколько еще промелькнет. А мне уже двадцать шесть. И что-то случится. Потом. Примериваюсь. Что-то рисую в воздухе. Странное занятие. После обеда. Рисовать. И снова не быть свободным. Так и не снял мой светлый серый костюм. Желтые кожаные сандалии. Форма, которую нам для хора выдавали в Москве. В 57-ом. Мы тогда победили. И вот надеваю на все уроки. Лень снимать. Лягу. Посплю. Мамин диван держит меня. Сандалии – дома. Они домашние. Аккуратно поставлю. Зимой ходить в сером костюме. Странно.

Спать в нем хорошо. Вообще хорошо во сне продолжать мой поединок. И что бы ни было там – проснуться и не отступать. И пусть любое безумие. Продолжить его наяву. Насколько возможно. Попробуйте. Очень хороший способ. Кому говорю. Никого. Гулкая комната. Попробуйте – все равно. Пока еще можно. Потом вы придете, а я забуду, как продолжать прерванный сон. Вот, пока я рассуждал, мой сон растворился. Большая потеря. Что-то хорошее. То, ради чего остальное. Оно пропало. Не вспомнить и не рассказать. Поединок не состоялся. Катерина глядела в окно. Потом, когда она ушел, повернулась. Она силуэтом на фоне окна. Разглядел выражение. Боже. Сколько таких судеб откроется и пройдет мимо. Но ты. Учитель. Будь осторожен. Обгоняй. Оставляй позади. Полвека пойдет, пока я смогу объявить. Уже другой пустоте. Себе самому. То, что зреет сейчас.

Двадцать шесть лет – предельное время. Наступает внезапно. Вдруг что-то шевелится в глубине. Предчувствие? Боль? Неужели сегодня. То состояние, то мгновение, после которого... Да, после которого... Подожди. Очень опасно. Когда же ты кончишь – довольно так вот жить в полусне. Ведь именно полусон тебя обгоняет. Ты живешь в другом. Становишься там на себя не похожим. Но тоже самим собой. А потом возвращаешься. Трудно сказать. И нельзя исповедоваться. Видишь – все откликаются. Только не знают, что делать с новым открытием. Вот написали. Читаю. Не дай бог кто-

то прочтет. Медитации. Да. Иная духовность. Попробуй, переломи. Такая школа никому не нужна. Подожди. Обнаружат. Но ведь и ты сам ничего не можешь от людей утаить. Как сегодня. В минуту, когда подарена тебе твоя тишина. Воздействие сильное. Попробуй встать и уйти. Тот попробовал.

Да, люди уходят. А кто-то сидит и пишет. Но я и не думал, что так могущественно расщепление атома. В минуту прикосновения к тайне. Но ведь и тайны, в сущности, нет. Страшно подумать: людям все известно. И вот они стараются отогнать лишнее знание. Они считают, что лишнее. А все равно смутно чувствуют свое заблуждение. И вот его укрывают от себя и других. И так и рождается тайна. А потом кто-то пытается ее разгадать. Полвека такое нам предстоит. А потом двадцать шесть лет. И катастрофа. Какая? Не напрягайся. А то увидишь в подробностях. Вот сегодня – первый урок. И почти увидел на пятом. Увидел, увидел. То, что в черных углах.

## 2.

В черных углах – наши страхи. Чего сейчас люди боятся? Вместо одного культа придумали новый. Говорят, прежний был от страха. А этот светлый. И еще не обжитый. Но ведь все видят, чем он закончится. Того и боятся. И загоняют в угол. И погружают во тьму. Дети. Играют. В опасные, смертельные игры. А методист в пенсне уже не ребенок. Откуда он взялся? Кто его, такого, назначил меня изучать? Лучше не спрашивай. Ответ известен. А я не хочу отвечать. Благоразумные люди вопросов не задают. Но сегодня мне показалось, что дети мои в каждом из пяти классов – отказываются от игры. Они уже не играют. А мы – от одной игры переходим к другой. И следим друг за другом. Невольно. И поправляем, когда кто-то нарушил правила этой игры. Хочу в детство, в деревню. В эвакуацию. Туда.

Вот – все будет серьезно. Я уже нашел мой способ, как выходить из игры. На уроке. Методист понял меня. Какое счастье. Он, у двери, сделал свой замечательный жест. Больше не буду. И скрылся. Туда, откуда возник. И уж конечно, он об этом хотел заранее молвить на углу, там, у Андреевского собора. Узнал меня, а я его нет. Жаль. Не появится вновь. Мы ни разу не обсудили наш общий вопрос. Как переломить ситуацию заблуждения? Как остановить новую ложь и эту новую, благостную игру? Однажды он завел разговор – после урока. Но я не помню. Историк был рядом. Курил трубку. Помалкивал. Бритый. Седовласый. Он следил за моим выражением. Но слушал человека в пенсне лучше, чем я. Почему я тогда не вникал? Не помню. А, мы обсуждали – зачем я переставил Островского и Тургенева. Ранняя зима за окном. Для «Грозы» необычно. Да. Я перепугал.

Система прекрасна. Какая удача. Стройная идеология. Другой не будет. Как хорошо. Я промолвил тогда вполголоса – детям такое внушить невозможно. Методист поправил: детям попытаются навязать. И не надо стараться. Жизнь поможет. Где-то у Гете сказано: теперь они тебя не станут

слушать – их нужно предоставить жизни. Так мудр и благ. «Прометей», мой любимый. Надо поставить в нашем школьном театре. Предложу на уроке. Вот почему я не слушал и не запомнил тот разговор. А теперь – все забыто. Он, видимо, понял, что со мной – в порядке. И успокоился. И отошел куда-то. Куда? Надо мне самому стать методистом. А я опасался. Отодвигал «Грозу» от начала учебного года. Поменял Островского и Тургенева. Прямо об этом – стыдно сказать. Самому себе. Тоже загнал в черный угол. У каждого свой. Но как много хороших людей. Вот надо хорошо думать о них.

Непрерывная жизнь. И никакой усталости нет. Желтые кожаные сандалии стоят у дивана. Брюки помялись. Ну что ж? Буду гладить. Когда-нибудь кончится моя одинокая жизнь. Как-нибудь нужно сделать, чтобы и здесь не было новой игры. Кто согласится? Но я свободен. Думаю только о школе и об уроках. Неправда. Вот чего я боюсь. Гроза все-таки надвигается. Полный конец. Недаром я ее отодвинул. Смешно. Отодвинуть нельзя. Надо замедлить. Изю всех сил. Вот, я замедляю. Но это что-то большое. И все правильно. Думаю только о школе. Так получается. Вот здесь и будет вся моя жизнь. Как успокоиться? Кто успокоит? Не надо. Сам. Вижу все – до конца.

Учителя. Отец и мать. Оба. Он постарше. И вот раньше ушел. Мама – за ним. Как только сравнялись годами. Это значит – и я уйду, когда мне исполнится шестьдесят. В двадцать шесть по утрам и ночам думать об этом... Думаю. Порой исповедуюсь на уроке. Днем – никогда. Но сегодня. Что случилось, и что будет со мной? Дети материалисты. И я укрепляю их в этой религии. Страх отсрочен. И у них. И у меня. Смеются, думая о конце. Поразному философствуют. А я знаю одно. Конец – это вещь о конце. И отец то же мне завещал. Тихо. Спокойно. Осталась библиотека. Здесь. В малой комнате. Там, где я сейчас никак не могу заснуть. Кожаные сандалии. Мягкие брюки. Сажусь на диване. Стеллажи по стенам. И уже посередине, между стенами – полки. Мой лабиринт. А в гостиной – шкафы. Шкафы. Дед собирал. Целая жизнь. Гражданская война. Блокада. Холод и голод. Книги.

Где-то за стеной – неоконченная симфония Шуберта. Очень люблю. И буду любить. И до последнего дня. Отец. Мать. Уходили спокойно. И никто из них не страдал. То же самое – и со мной. Слава богу – в школе об этом ни слова. Плохо. Ведь ученики мои знают, что я ничего не скрываю от них. То, что помню и вспоминаю. Не надо. И ни в коем случае нельзя повторять. И вот ни разу не вспомнил. Потому что много, много раз, думал здесь. По утрам и ночам. А неоконченная симфония – детская память. Приемника у нас не было. Трансляция. Раннее утро. Что-то похожее на «Лебединое озеро». Та же тревога. И почти та же мелодия. Нет, все по-иному. Не то. Чайковский заимствовал. Шуберт вначале. Никак не поймаю. Поутру – великое счастье. Как уловить мелодию, чтобы ее помнить весь день? И ту, и другую. Так было. И опять она за стеной. Книг больше. Мелодия та же.

Учителя. Они согласны во всем. Отец и мать хорошо понимали друг друга. Они решили, что не будут меня учить и воспитывать. Вот бесстрашные люди. В такие годы. Они твердо выдерживали. И я невольно чувствовал сам, чего они ждут от меня. И поступал свободно – как надо. И не было никаких проблем. И шло незаметно. Может быть, потому что все мы учителя. И нет желания отступить и нарушить. И нет страха перед неизвестным. И не было никаких темных углов. И мы заранее знали, как быть и что делать. Или мне казалось. Вполне возможно. Я мог вообразить. Потому что родители были не так откровенны, как я. Они замечали за мной такую особенность. Но это их не пугало. Мы жили спокойно. Говорили вполголоса. Даже я приучился. И уже не знаю жизни другой. Только в школе и на уроках. Там что-то случается. Там – неоконченная симфония Шуберта.

Пятая Катерина. Дай перечту. А ведь она сдала белый нетронутый лист. Кажется, я что-то читал. Было. Исчезло. Вот – вторая часть «Неоконченной». Соседи не выключают. Спасибо. Нет ничего. Без подписи, без даты, без обозначения класса. Только она. У всех остальных афоризмы, стихотворения в прозе, рассказы, притчи. Но я точно помню – слова на белом листе. И еще подумал – потом, потом. И если не торопиться, даже узнаю – какие были слова. Нет, не сумею. Шуберт. Вторая часть – раздумья о первой. Не окончено. Мне, психологу, все ясно и так. Иначе она не могла. Записывала мысленно. И остановила себя. И поглядела в окно. И перечитала.

Она от меня далеко. Дальше, чем детство и эвакуация. Между нами двенадцать лет. Я знаю, кого она любит. Из соседнего класса. Будущий физик. Самый красивый из всех ребят. Обдумывает страшный эксперимент. Потом. После университета. Когда-нибудь. Непременно. Любви никакой не знает. И не должен быть. Никогда. Уж если эксперимент, какая любовь. Вообще они даже и незнакомы. Он заметил ее. А она – только и думает. Вот моя исповедь ей помогает. Учителю можно послать белый листок. Он поймет и не будет спрашивать. А себя? Неужели я мог бы экспериментировать. Неужели мог бы разгонять частицы друг против друга так, чтобы столкнуть их и уничтожить все бытие. Нет. Но он по-своему ближе к тому, о чем я давно догадался. У меня еще будет с ним разговор. Через год. Не раньше. Он расскажет. И спросит. И тогда я смогу ответить. А сейчас. Белая страница.

Как опасно и как легко – жить во всех временах и проникать в любое сознание. И я могу научить. И это сразу приносит счастье. И не нужно сюжетов иной, тяжелой любви. Все достигается. Нет. Нельзя. Никто не учится. Ведь вот они так друг друга и не узнают. Ладно. Господь с ними. Даже не поговорят. Не посмотрят в глаза друг другу. И разойдутся. А я все равно уже не смогу их забыть. И даже если я дам белый листок. Не поймет. Но я не имею права. Листок послан мне. Чтобы я молчал. И чтобы мне было грустно. Как сейчас. Впереди целый свободный день. Гроза миновала. Можно вернуться. Да. Важное дело. А я тоскую. Жду и мечтаю, когда опять войду в этот класс. В тот и в другой. И теперь понятно. Вот почему. Не думай. Отодвинь от себя. Ты чего-то не знаешь. Только не это. Что-то другое. Кому написать. Подожди. А что ты уже написал на уроке?



Сразу? Тогда? Перечитывать? Ну а теперь?.. Удивительно. Совсем о другой любви. Которой нет и не будет. Оказывается, у меня тоже эксперимент. Целая жизнь. Ну почему я не могу, как отец и мать. Они оттуда глядят и покачивают головами. Не понимают. Эксперимент заключается в том, что кто-то один... Боже мой. Уничтожь свой тетрадный листок. Там фамилия, имя, дата и даже класс. Пять листков – и каждый в разных классах. А это последний. Пятый. Понятно, почему не успел прочитать. Потому что... Представил себе мой странный эксперимент. Вернее, вспомнил, что сам задумал его в школе. Тоже в девятом классе. И не говорил о нем. Никому. Никогда. И не вспоминал. Уничтожь. А если соединить их. Пять, по порядку. Перечитай. Получается исповедь. В той тишине. Когда человек снял пенсне и вышел из класса. А она отвернулась к окну. И это не я. Мое чужое сознание.

Белое толстое кружево. На черном круглом столе. Семейное. Мама любила его. Низенький столик на выгнутых ножках. Знаю, куда-то он пропадет. Кружево успокаивает. Можно вернуться. Это мама моя, уходя, так постелила. Ничего не меняю. Убираю листочки в портфель. Прислоняю портфель к ножке дивана. Как плохо, что я ничего не умею. Говорить и писать. И проникать в чужие сознания. Или думать, что я проникаю. И вот, пожалуйста. Кто-то еще проникнул. В мое. И в нем остается. Встаю. Встряхиваю головой. Ничего не меняется. Головное. Нет. Оказывается, безразлично. Кто-то во мне. Как получилось. Афоризмы. Притчи. Любовь.

Джойс придумал язык. Множество языков. Между народами. В пространстве. И поверх эпох и столетий. И не надо переводить. Пытаются. И ничего не выходит. Оставляют без перевода. На листе бумаги – те же новые корни и звуки. Произнесите вслух. Очень просто. Произнесите, поймите, объединитесь – как дети, вы, любые народы и времена. Футуризм. Вопреки советской эпохе нового культа. Нет. Не надо придумывать новый язык. Он уже есть. На белом листочке. И в душе у меня. Совсем другой. Буду придерживаться. Без перевода. Малыми дозами. Вторгаясь в обычную речь. Понемногу привыкнут. Или от меня медленно отойдут. Кто куда. И не забудут. И порой, тоже малыми дозами, станут говорить на этом простом языке. И научат всех, кто еще не умеет. А потом новый культ начнет исчезать. И в ином столетии, в новом тысячелетии, заговорят, наконец.

Нет. Все будет не так. Поединок продолжится. Остановись. Не заглядывай. Ты проживешь долгую жизнь. Подумай сам. Тебе – двадцать шесть. А будет – переживешь знакомых и давних ровесников, учеников. Уйдут все. А ты... должитель. Вот еще кто-то ушел. Опередили. И там говорят, что это естественно. Ты пойми. Говорят – на моем языке. Слышу сегодня. Опомнись. Ну и что? Ничего не меняется. В природном порядке вещей. И это ведь хорошо. Насчет языка. Ничего не будет. А язык остается. Нет, не сейчас. Будет. Останется. И его нужно туда занести. Вот настоящая цель. И уж это я беру на себя. Вот о чем ты написал на листке. Уничтожь

немедля. Подожди. Записано, значит, не будет сказано в классе. В первом и в пятом. Паллиатив. Малыми дозами. И наоборот. Побольше пищи. На уроках. И не показывай. И не произноси. Громко и внятно. Перечитывай дома.

Поэты. Но ведь и сам ты... Они догадываются. Но ты помалкивай. Конечно, поэзия – это способ туда перенести язык. Да, все это понятно. И лучше – пускай они подумают сами. А и думать нечего. Пусть они пишут на каждом уроке. Да. Уже получается. И мне хорошо. Сознаю. Надвигается. И все равно хорошо. Как сегодня. Как сейчас. В эту минуту. Вроде бы нет никого. А я чувствую себя где-то в самой гуще того, что живет. Потому что все, кто уйдут, не уходят. А язык тот все лучше и лучше. И на нем говорят. И от этого он все больше будет моим. Но пока – ты слабее, чем дети. Отвлекись. Плохо владеешь. Что бы сказал историк. Или тот методист. Один пожалеет, потеряв собеседника. А другой – уже пропал. Он моя выдумка. Фантом. Воображение. Разрешаю себе. И единственное, что смущает. Да. Встреча у Андреевского собора. И то, как он сегодня ушел с половины урока.

Вот кто-то болеет. А я слишком здоров. Может быть, есть отклонения. Трудно понять. Врачи бы от меня отшатнулись. Предполагаю. Тут нужно другое здоровье. Чувствую. Природа заботится. Оберегает. И охранит. И побольше играй. В иную игру. Не в ту. Путь к пониманию. А вы... Предлагайте другой язык. Молчание. Пустота. Ну что ж. Потеснитесь. Там и здесь. И опять вспомнил того. Из другого класса. Разговор неизбежен. Когда буду в силе. Прямо начну всерьез на моем языке. Большие глаза. Он сразу ответит. Пожалуй, не так уж и долго ждать. Выдумки. Обдумывает и боится. Она помогла. Понимаешь? Мне помогла. Только мне одному.

Через полвека – предел, конец общему заблуждению. И ты пойми – тогда уже поздно. Полвека потеряно. А я почему-то переживу всех, и тогда я стану молодым удивительным стариком. Катерина пропадет, затеряется. Физик померкнет. Как я хочу, чтобы они встретились. Были бы счастливы. Доиграли бы до конца. И ничего бы уже не боялись. И тогда не надо никакой благодарности. Увы, это все кажется. А будет не так. Пропадут. Исчезнут. Не заметят. И никто не заметит. И продолжится бытие. Не прервется. И эксперимента не будет. А мой, к сожалению, состоится. Уже состоялся. Потому что – могу предсказывать. На свободе заглядываю туда. Возвращаюсь. И приношу оттуда горькую весть. Поздно. Уже сейчас опоздали. Оказались не на высоте положения. Подготовили крах и распад. А это хуже, страшнее, чем разогнать частицы друг против друга.

Ну, молодой старичок, у тебя вечер, ночь, а завтра целый день полной свободы. Отвлекись. Наступит. И разве мало? Жена и сын. Предполагаю. И ты, по крайней мере, не опоздал. Отчего так тяжело на душе. Неужели зависит от какого-то физика. Нет. Разговор состоится. Вижу и слышу. Он придет к тебе сам. В первые дни после рождения сына. Он увидит кроватьку.

Нет, не увидит. Я его не пушу в малую комнату. Но он будет знать, что кровать стоит у дальней стены. Он придет рассказать. Посоветоваться. Ничего себе. Какие советы? Сказать о новом открытии. Оповестить. И услышать за капитальной стеной милый недовольный голос младенца. И то, как он зачмокает и потянется. Такой разговор. Большеглазый физик умолкнет на полуслове. И вновь тишина. И я тогда вместо разговора, дам ему тот белый отдельный листок. Без фамилии, даты и обозначения класса.

Воображение. Книги все в большой комнате. Негде сидеть. Не помню. Кто-то придет вместе с ним. Оба студенты. Школа, добрая память. В прошлом. Вот момент, когда ничего еще нет. Он сейчас. А тогда – все решится. Мой сын и листок. Физик умолкнет. А что же открытие? Не помню. Ведь если не сказано, выпадает из памяти. И все будет не так. Но бытие сохранится. И тогда, и сейчас. Большеглазый поднимется и уведет своего широкоплечего друга. Уйдет. И больше я его не увижу. Только имя. Среди каких-то ученых. Лауреатов. Не помню. Как интересно. День спасения. Уже очень ясно. Похоже на правду. А куда передвинуть книги? Зачем? Подождут. В каждой загнутые страницы. Мои. Мамины. Все равно. Душно в малой комнате. Представляю. Кровать у самой двери. Дальше – круглая печка, новый стеллаж. Пора. Буду передвигать.

Почему пустота? Вот исчерпана целая жизнь. Полвека. Мне двадцать шесть. Почему поединок? Он труднее всего. Начался или нет? Едва, и уже смертельно опасен. Видишь? Временное состояние. Говорю, с кем говорю на моем языке? И кто мне отвечает? Еще и еще раз? Впереди. Сегодня, завтра. Надо вслушиваться в тишину вечером, в самом конце дня. У цели. Там, в пустоте, ответ на любой вопрос. И не надо бояться. Да, потемнело. Черно за окном. И все равно свет проникает оттуда. Кажется. Нет. Круглый столик. Белое кружево. Ощупываю. Прямо передо мной. И вдруг понимаю - все пропадает. Пропало. Ушло. И сегодня, сейчас, в темноте, первая схватка.

### 3.

От чего зависит? От слова. Сказанного и неизреченного. Произнести где угодно. В пустыне. Или прямо здесь. В ночной тишине. Ты филолог. Тебе остается верить в слова. И в то единое слово. Но не в то, которое было в начале. Оно уже не требует веры. Каждый раз нужно кому-то начать. Как в классе. Кому-то из моих любимых ребят. И ты не думай. Ты любишь всех равно и по-разному. А теперь их нет рядом с тобой. Вот почему каждую ночь – дух над бездною. Носится над водой. А твой удел – опять и опять молвить какое-то новое первое слово. Или то же самое, но смысл другой. Иной, небывалый. И еще больше. Сказано, и все изменится. Вот. Проверяю.

А ты собрала все мои страхи. Тьма. И уж если молвить первое слово, то здесь. И только сейчас. Как научить медитациям ночи? Никто не поверит. И не надо. Может быть, он, большеглазый физик, тоже не спит. И готовится

гибель. А ты одним только словом, от которого все зависит, решил что-то в себе изменить и остановить этот страх. Пытайся. Вот главный сюжет на полвека. Серьезно. К сожалению, поздно шутить. Большеголезный страдает. Оттого, что не находит верное слово. Он Фарадей. Только словами. Без формул. Красивая формула вызывает у него подозрение. А слово спасает от новых ошибок. Откуда я знаю? А, это он написал в сочинении. Признался мне. Там написано – Базаров остановится перед моей новой формулой. А я перед словом его. Уж этот Базаров. Опыты. А впереди – частицы друг против друга. Остается немного. Но кто-то мешает. Кто? Сочинение конечно.

Ах, большеголезный. Кажется, я тебе сумею помочь. Подброшу идею. Но сначала внесу ее в эту черную пустоту, которая прямо передо мной. Вижу формулу и не могу разглядеть. Ничего. Главное – вот она. Чувствую – рука вновь заболела к погоде. Стало светлей. А ведь еще только час ночи, не больше. Метель. Белая метель за окном. Крупные хлопья. Падают медленно. И вдруг – порыв. Метет, метет. И опять замедление. Сквозь хлопья – огонек в доме напротив. Слава богу. Я не один. Формула неподвижна. Если бы Фарадей поглядел, то сразу нашел бы нужное слово. А у меня оно уже наготове. Сейчас прошепчу. Подожди. С кем поединок? С ним? Нет. Он еще ничего не нашел. С формулой. Но она в пустоте и во мраке малой комнаты. Она прямо нависла там, где... Не продолжай. Там, где место у правой стены. Освобожденное милое место. Отвожу глаза. Передвигаю. Сразу. Мгновенно.

Вот оно – слово мое. Стоило только его прошептать, и сразу в него вошли все мои силы. Вся память о детстве, о том, которое было здесь в этой комнате. Да, было здесь, когда меня оставляли, гасили свет. А сами сидели в гостиной. Там шумно, а здесь не могу заснуть, потому что боюсь темноты. И даже голос подать боюсь. И только один спаситель. Тепловой прожектор. Как раз там, где освобожденное милое место. Он высоко стоит на чем-то и красное что-то как будто бы светит и пружинка издает иногда странные звуки. Я не знаю, что это пружинка, и кажется, круглое хочет о чем-то запеть и не может, и что-то шепчет. Поставили, и оно, круглое, охраняет меня.

Шепот, шепот. А за окном даже метели не слышно. Все, что в комнате, заглушает. А на самом деле – ровная белая тишина. Один из моих самых счастливых часов. Если удастся победить засыпание. Теряю себя. Вздрагиваю. Мой молодой организм. Не больше – не меньше. Не хочу быть ребенком. И чтоб все было так же, как тогда, в сороковом, до войны. В этой же малой комнате. Тут был кабинет отца. Мамин письменный стол. Но кровать моя пребывала в гостиной. И меня положили здесь, потому что гости у нас. Поставили круглый прожектор. Особый день. До войны. Нет, не хочу. Молодой организм, и я взрослый. Впервые. И того, что будет, пока еще нет. Похуже войны. Гости умерли, погибли на фронте. В прошлом. А теперь... Я обнаружил того, кто погубит. Постараюсь поправить, насколько возможно. И вновь та же комната. И тут я сам оставил себя одного.

Сейчас я самый умный, мудрый и точный. Никогда впредь уже таким быть не сумею. И вроде бы ничего особенного. Ничего не могу. Только уроки. Откуда, однако, столь небывалое ощущение силы. И всего-то я один человек. И живу напряженно. И не разделяю мнений. Новый культ. А рядом он. Торжество разума. Уничтожение бытия. Твой ученик. Фарадей большеглазый. Ты ему ставишь отметки. Он может. И ты находишь слово, которое его остановит сейчас. Или не остановит. И больше такого не будет. Год пройдет. Он станет взрослее. Слово тогда уже не поможет. Сейчас. Надо сейчас. И тогда он придет. Посоветоваться. И его широкоплечий приятель. Кшатрий. Придет вместе с ним. И белый листок спасет бытие. Ну что может быть лучше. Да, сейчас я назначен быть мудрым и точным. Я и мой ребенок, чью кроватку мы поставим у этой стены. Что ж? Выдумка посильнее правды.

А я точно знаю, что никакой выдумки нет. Вот книги на стеллажах. Дореволюционные кожаные переплеты. Отец-книголюб. Кто-то мечтал бы о таком книжном богатстве. А вот оно – без всяких фантазий – прямо передо мной. А вот на стеллаже в правом углу – тот самый прожектор. Он сохранился. И на керамике та же пружинка. И это она шептала тогда. Какая тут выдумка. И так же все остальное. Понимаешь? Как просто на самом деле оно совершается – то, что важнее всего. Проще войны и мира. Проще евангелия. Ну, еще бы. Подожди. А кто внушил ему эту мысль? Неужели ты сам. Ты хотел одного, а он подумал другое. И пришел к убеждению. А теперь попробуй перебороть. И это уже не шутки фантазии. Ладно, попробуем. А ты сохрани белый листок. И свои странички. Это не так уж трудно. Их не выбрасывай. То, что писал на уроках. И чего испугался. Они спасение всем.

Когда-нибудь и ты скажешь об этом. Надо сказать. И не ищи чего-то особого. Такие поиски – вот заблуждение. Кто знает и кто не знает. А все меркнет перед этой простой действительной притчей. И вот уже так светло ночью в густом снегопаде. И так тепло от прожектора в правом углу. Эта ночь согреет и осветит всю мою жизнь. И любовь придет и вернется ко мне. Ты не заметил. Уроки. Уроки. Сегодня. Уже вчера. Потому что за окном – два часа ночи. А в комнате время пропало. Люблю. Оно пропадает. И когда уходит – вдруг найдено слово. Которое затерялось. Тогда. Понимаешь? Не притворяйся. Оно то же самое. Или это совсем другая мелодия. Все равно.

Сначала опишу мое слово. И только потом произнесу его вслух. Одно только слово. Занятие долгое. Устно. Оказывается, я не люблю писать. Каждый раз – мука и боль. А устно – как будто легче. А потом и совсем легко. Наслаждение. Какая свобода. Любое слово. И если хочешь его описать, придумывай ради него рассказы, романы, трактаты. Кто хочет, входите. Проникайте. Присутствуйте. Когда и где угодно. Устно и письменно. И уж если так – ничего не надо. Прикосновение. Бесконечность. Ответ. Новая тайна. Все, как положено. А потом – оно, слово. Громко и ясно. Живет. Существует. И не знает себя. Еще немного. И вот оно. Произношу. Называю. Могу повторить. Повторяю. И сразу оно умирает. И я остаюсь один. Как сейчас. И вновь по ночам пытаюсь его описать. И все оживает. По-новому. И так всегда. Привык. Но сегодня... Вдруг – пустота. И это любовь?

Честно говоря, началось давно. Сильный человек скрывает свои желания. А я не знаю – сильный ли, слабый, но это природа моя. Скрываю. Запретно и неизбежно. Кто придет и откроет? Все равно. Природа. Мама еще замечала. Отец не заметил. Потому что рано ушел. Он велел мне утаивать. Он говорил – будет всегда у меня то же самое. Полюби натуру свою. Учитель. Он говорил мне, что наше дело – непрерывная мука. Оно голгофа желаний. А ты любишь тех, кого учишь, и эта любовь ежедневно смягчает всю твою боль. Да, да, это особое чувство. Другие не понимают. А ты... Подожди. Подожди. Когда-нибудь настанет минута угаенного, скрытого счастья. И тогда будет ясно. И вдруг ты опомнишься. И обнаружишь – рядом с тобою – жена. И уже много лет. А ты не заметил. И слово твое затерялось. И вот уже ребенок в кроватке. И никакого другого счастья. Годы прошли. И тебе двадцать шесть.

Он говорил серьезно. А я был мальчишкой. Слушал. И по временам плохо учился. Мама страдала. А отец ни разу не выдал себя. Уходил на уроки. И только однажды исповедался мне. И вот я стал думать. Мысленно повторял каждое слово. А потом его проговаривал вслух. Печально и тихо. Пока не слышит никто. Проговаривал и покачивал головой. И вот в итоге научился молчать. И утаивать чувства мои и желания. А было их столько... Даже сейчас утаиваю от себя самого. И никого, ничего. А на самом деле – все было. В душе. Только в душе. Я себе запрещал даже фантазии. Так я научился. И понимаю – отец мой был прав. Да, он был прав. И уже в школе на каком-то уроке, я, пятиклассник, подумал, что буду учителем. И решил, что у меня как раз для учителя есть преимущество. От природы. И однажды прямо сказал об этом отцу. Отец, очевидно, меня одобрял. Мама страдала.

Ну, это скучно рассказывать. Каждое утро любовь. И все больше и больше. И все переживания во мне оставались. И казалось, что если я утаю от себя самого, то мне что-то откроется и я испытаю радость любви, которой ни у кого не бывает. И это сильнее меня. И я утаивал. И удивлялся. И все получалось как будто. Но когда плохо учился, исправлялся потом. И вот однажды я научился любить каждое слово. И вдруг стало понятно. Любить слова. И не молчать. И не утаивать. И говорить, говорить, без конца говорить себе самому. И потом собирать. И удивляться. И радоваться. И это уже в седьмом классе. И тогда я твердо установил – буду учителем. И полюбил.

Никому не рассказывай. Никто не поймет. А все именно так. Я полюбил. Но ее еще не было. Нет. Не мечта. Не фантазия. Не было. Как будто она – как во время войны. Но тогда она была далеко. А теперь ее не было. И я знал – долго не будет. Но я полюбил. И берег себя для нее. И теперь мне двадцать шесть. И ее еще нет. И я уже учитель. И сохраняю для нее мою чистоту. Ну, слава богу, меня сейчас не слышит никто. Норма. Seriously. И до сих пор грехопадения не было. А я все знаю вполне. Как будто попробовал. И вот храню в себе чистоту, по которой плакал Толстой. Вот мое преимущество. И вот почему я учитель. Сколько раз говорил себе. Но только сегодня... Теми

словами. И не то, что можно сказать. А то, что и на самом деле во мне и со мной. Чистота – преимущество. И это чувствуют люди. Но мне все равно. Преимущество или нет. Норма. Которой можно и нужно учить.

Господи. Вот я прошептал. И как будто нарушил. Нет. Самому себе. Можно признаться. Единственный раз. Когда за окном – снежная белая ночь. Понимаете? Нет. Чувствую. Чистота во мне. По-прежнему охраняю себя. Потому что люблю. Как тогда. А ее еще нет. И я думаю. Природа ответит. И даже если не сможет, я все равно буду любить. Удержаться почти невозможно. Особенно мне. Каждую ночь. И каждое утро. Любой шаг. И каждое слово. А я удержался. И обнаружил. Нет силы такой. Вот единственное, что надо делать. Попробуй, скажи вслух. Засмеются. Невесело и недобро. А кое-кто – по-глупому от души. И вот сейчас торжественно тихо произношу. Когда смогу сказать в классе. И никто не засмеется в ответ...Господи. Нет, невозможно. Ведь надо, чтобы никто. А ведь я не один такой. Нас много. Но все молчат. А это спасение. И тут нужен учитель.

И все-таки нет. Не могу. Для меня такой урок только, если я сберегу себя для нее. Тогда все очень просто. А пока нельзя. Отец мой прав. Мама страдает. А я... Что мне говорить. Вот он я. Каждый час добавляет силы. Ни разу не изменил. Ее еще нет. А я ни разу. Не изменил. И все понемногу становится радостью. Но если ее нет...Если только. Тогда разгоняй частицы друг против друга. Тогда я подумаю так. Нет, я не ангел. Я, может быть, стану еще страшнее, чем он, большеглазый. Опаснее, чем он, Фарадей. Но она все-таки есть. Даже если не встречу. Люблю. И от этого зависит. От слова. От его силы, которая скопилась во мне. Смеются. Вижу. Мысленно. И не дай бог увидеть живьем на уроке. Тогда конец. Полный конец. Вот нарастает гроза. И страсть набегает. И чистота за пределом. И такая радость. Кому бы о ней рассказать. Никому. Потому что люблю. И слова наготове.

Круглый столик. Белое кружево. Мамин подарок. Ушла и оставила. Я сохраняю. Что бы ни было. Все остается как есть. Тоже подвиг. Никто не узнает. Нет никого. Белые хлопья за стеклами окон. Я подхожу и смотрю, как они падают. Огонек в доме напротив. Пропадает и снова. Еще немного, и разгадаю загадку смерти. Вполне возможно. Уже разгадал и забыл. И в такую ночь – лишнее. Потом буду локти кусать. А теперь забываю. Вот опять пропал огонек. Жду. Не появляется. Нечего ждать. А может быть, он не дождался. Всего верней. Сострадаю. Огонек сгинул в ночной белизне снегопада. Сгинул. И тем более я в эту ночь не зажигал электрический свет.

Он не дождался. Вот о чем нужно думать. Помолчи. Нет, это не он, а она. Вот она, смерть, если она не дождалась. Будь осторожен. В школе все может случиться. Больше того. Не случается, потому что может случиться. В жизни кое-что уже не случается. И не происходит. Потому что не может. А здесь. Хорошо – ученики мои знают, что я не сплю по ночам. Довольно посмотреть

на учителя – каков он сегодня. И все они знают. А иногда мне кажется – они оберегают меня. Потому что мне двадцать шесть. А им только пятнадцать, шестнадцать. Они предвидят, как все будет с ними. Конспирация. Все скрывают. И друг от друга, и от себя. А со мной – дело сложнее. Тут ничего не скроешь. Поэтому живут осторожно. Ради моей чистоты. Вот почему я учитель. И это не я так думаю. Это они. Оберегают. А то как бы со мной чего не случилось. В школе все может быть. С этим учителем. Доброй ночи.

Я бы сам себе не поверил. Сказка. Идиллия. Да, конечно. И все висит на этой вот ниточке. Прямо про это. Но телефонный кабель крепче. А здесь – почти ничего. Как может не оборваться? Висит. И не обрывается. И так может быть. И не только сейчас. Но и потом. В конце века. А он погибает уже сейчас. Без всяких частиц и Фарадеев. Уже погибает. Потому что неправильно. И все, что будет, возможно сейчас. И все уже есть. Но если учитель на грани жизни и смерти – помедлим. Он не выдержит. Когда узнает. Поэтому давай так, чтобы нечего было узнать. Но ведь и рано еще. Двадцать шесть лет. Перетерпел. Пережил. Ну а потом. Страшно подумать. Ты подожди, пока он еще не переступил этот год. Кто-то из них. Может быть, кто-то один, усмехаясь, думает это. И засыпает. И видит сны. И ничего не случается. И с ним, и со мной. Кто-то один. Кто из них? Огонек не дождался.

Мне становится грустно. От всех этих выдумок. Сейчас, я точно знаю, оно так и есть. Ничего не придумано. А выдумка остается. Наивно, и сказать нельзя никому. И кто-то один живет и не обрывается. А может быть, и не один. Конечно. И скоро два года. И зачем я придумал? И ради кого? А сегодня исполнен срок этих двух лет. Подтверждение выдумок. Вот почему пустота. Подошло. Тише, тише. Не говори вслух. Дальше нельзя. А ты один. В темноте. Формула растворилась. Ее не собрать. Фарадей уснул до утра. В такую ночь он долго не засыпал. Работал. Что-то записывал. И ждал, когда зажжется электрический свет. В доме напротив. А происходило другое. Срок. Два года мы ждали. И вот он оборвался. В темноте. У меня на глазах. И я видел этот разрыв. В комнате. И за окном. Тут отражение. Того, что рвануло вправо. И понеслось. Почему вправо? Не знаю. Долгий порыв. Тихо.

Я вот что скажу. Прекрати. Завтра свободный день. Подарок по этому случаю. Очень кстати – свобода. Во время таких событий. В истории бытия. Прекрати. Видишь – любовь. Напомнила срок. И ничего не поделаешь. Корешки непрочитанных книг. И не надо читать. Вижу заранее. Каждую книгу. Прочитано. Теперь надо встретить. Не знаю, где. Дурацкий характер. Где-нибудь. Обязательно встречу. Долгая история нашей любви. Сразу во мне собралось. Дождались. И теперь уже неизбежно. И зачем я придумал? Зачем? И ведь что интересно. Поневоле. Утаивай дальше. Два года. А за это время все состоялось. И все неизбежное произошло. Долго. Метель утихает.



## 4.

Мы расстались на два года. И как будто бы навсегда. Я один знал об этом назначенном сроке. А она... Что она могла думать, если поверила тогдашнему слову. И сейчас я не могу сомневаться в том, что заставил поверить выдумке. Но это сейчас. А тогда... Я сам был обманут. И сам себя обманул. Молодая память. Попробуй вспомнить, что было на самом деле. Туман. Снегопад. Какая-то неизвестность. А может быть, потому что не хочу вспоминать. Потому что знаю все до последнего слова. Она уходила из этой комнаты. И все быстрее и быстрее – к двери. И я тогда испил ту же самую горечь, ту же самую, что и она. И она ушла. А я оставался на месте. И вокруг была пустота. И точно такая она была, как сейчас, этой ночью. Тогда. Вечер.

Я понял, что остался один. И сразу придумал двухлетний срок. Зачем? Вспоминать не надо. Характер. И я тот же самый. И всегда останусь таким. А ведь мог бы кое-что поменять. В детстве пробовал. Получалось. И в университете. Что-то менялось. И застывало. И я снова и снова ломал. И опять. Но в ту минуту, вечером, оставаясь один, я ничего менять не хотел. Выдумка стала законом жизни. И до сих пор не могу понять, почему. Как получилось. Нет. Не интересно рассказывать. И не хочется вспоминать. Полюбил. Еще раз. Ничего не могу поделать. Один аргумент. Моя чистота. Никакой измены. Потому что не было ничего. И один только я знал, что ничего этого не было. Вот попробую. Полюблю. И себе назначил два года. А ей – свободно – целую жизнь. И мы поверили слову. Поверили оба. А оно как раз и не значило ничего. Для нас обоих. Как все, что сегодня заведомо лживо.

Единственный мой окончательный грех. Нет, не единственный. Весь я с моей натурой какой-то не тот. Не знаю. Невыносим. Особенно выдумки. Но этот грех и в самом деле не похож на все мои остальные. И по правде он окончательный. И его изменить нельзя. И вспомнить. И позабыть. И ничего от меня уже не зависит. А тогда я лгал или нет. И ведь я знал, что все это ложь. И лгал чистосердечно. И как будто молился. И правда была сильнее. И все равно все состоялось. И произошло почему-то. И сейчас происходит. И вот наступает срок. Для нас – раньше. Или нет, пока для меня одного. Как было сказано. И что же теперь делать? Ждать, когда мы встретимся вновь. Где-нибудь. Я знаю, где она. Знаю, а искать не пойду. Смешно, если буду искать. И за эти два года, за эти придуманные два года. Может быть, все потеряно. И что? Как бы не так. Срок наступил. Ночью сегодня.

И уже после ничего бояться не надо. Отец отступает и отдаляется от меня. Куда-то, где вспомнить и вообразить его невозможно. Он уходит по-своему. И его нетрудно узнать в темноте. Он тоже один. Да, это он. Почему пропадает. Но ведь и я за ним никуда не иду. Вот зажигаю свет – настольную зеленую лампу. Здесь он сидел. Начинаю писать. Не отрываясь. Представляю, как она сама жила эти два года. Воображал несколько раз. И получались глупые выдумки. А сейчас пишу совсем о другом, но чувствую это. Вообще-то, честно говоря, такого быть не могло. Но длилось два года. И несколько лет. Пока что-то возьмет верх над моим сказанным словом. Пока.

Для меня кончилось. А для нее? Тоже, наверное тоже, и независимо от меня. Голова у тебя – молодой организм. Иначе ты бы никогда не сделал такое. Частицы разогнаны, и бытие уничтожено. Ты разогнал, ты уничтожил. А если оно остается? Какие частицы? Какие? Она удержала и сохранила. Потому что их не было. И сейчас, далеко от меня, почувствовала. Я разгонял пустоту. И вот она улеглась и понемногу исчезла. И сегодня уже предел. Что? Перестает исчезать? Перестала. Или опять. И снова боль. И опять – новое горе. И ничего не известно. И только слышны его шаги. Мое дыхание. Почему такая белая ночь? Так или не так? Надо ответить. Уже все ясно. И все-таки я снова останавливаю себя. Нельзя уговаривать мою пустоту. Нельзя. Что-то кончится. Что-то начнется. А сроки твои уже позади. И когда-нибудь ты не сможешь ничего пожелать. И не захочешь спасения.

Пытка и мука. Днем и ночью. Все эти дни. Все эти полночи. Годы прошли. Кому-то уже дальше нельзя. А кому-то ничего не назначено. И ничего не обещано. И вот еще одна белая ночь. И как понять, что она не похожа на все другие такие же ночи? Ненавижу себя и мое состояние. Эта вечная боль. И эти два года. И все-таки, несмотря ни на что, я снова бы так поступил. Какое-то предназначение. Или что это было? Не хочу отвечать, потому что могу оглянуться. Я сам от себя отступаю. Как мой отец. Отхожу – от меня и от нее в бесконечность. Вот я здесь и оттуда смотрю. Отлетаю. Чтобы вернуться назад. А ей в такие минуты – никуда нельзя отойти от себя. Оставайся и предчувствуй новую боль. И каждую минуту сильнее, и нет никакого конца. Никакого. Он перестает ощущать. И это спасение. А мне – все большее и горше. Как два года назад. Когда он сказал. И я побежала.

Вдруг меня озарило. А ведь это все правда. Частицы. Не было их. Я-то знаю, что они были. И даже есть какой-то смысл в этом решении. Мы решаем. А они терпят и ждут. Потому что рядом с нами зреет общая гибель. А мы не боимся. Идем навстречу. И ничего хорошего. Мы блуждаем. И неужели – срок не напрасен. И я угадал. Тогда надо спешить. Нет, ничего не надо. Перебори быстрее то, что открылось тебе. И в самом деле. Ты себя ненавидишь. Выдержи. Не уступай. И так все пропало. И твой срок не имеет значения. Он для тебя одного. И все-таки не отступай. Она ждала. И ты подожди. Хотя бы немного. А потом – что-то само собою случится. Но я никогда не любил все, что происходит само собой. Понимаю – ошибка. Но только так. Мое призвание – любить ошибки. И потом, когда они сделаны, их исправлять. И это неверно, что исправить нельзя. Вот – мое преимущество.

Я знаю – характер плохой. Попробуй ужиться. Кто-то решает. А кто-то любит. Вот и сейчас. Какая прекрасная, белоснежная, тихая ночь. Никаких новых решений. Возвратилось прежнее. И как будто настала та же минута. И в той же комнате. И ты еще ничего не сказал. Не надо. Самообман. Ты любил и вдруг почему-то влюбился. В кого? Почему ты сейчас не отвечаешь. И не произносишь вслух? Почему? Не обманывай. Говори. Прекрасное чувство. Но ты видел разницу. И не боялся. И тогда был вечер.

Окна открыты. Что-то звенело в душе и вокруг. И воздух дрожал. И она уходила. И ты радовался непонятной свободе. Ипил горечь минуты. И уже заранее придумывал срок.

И что-то тебя отвлекало. И это было счастливое детское настроение. Ты очень любил жизнь. Бытие. В ту минуту. Утратил, отодвинул самое главное и был счастлив. Счастьем других. Ничего не пойму. Как такое могло получиться. При твоём характере. И в двадцать четыре года. Боже. Мама твоя умерла. Отец приходил, уходил в бесконечность. И вот впервые, после ужаса и непрерывных воспоминаний, счастье свободы. Лично твоей. Что? Назовите смысл в таком сочетании слов? Пробовать жить и влюбляться. Ну что ж? Попробуй. И вот я стоял. Оглушенный, счастливый. Почти ученик. А ведь еще недавно был молодым старичком. Так называли меня. И никто не верил, что я стану юным, даже красивым и открытым для счастья. И вот я таким оказался. И не обманывай. Именно этим я был тогда увлечен. Больше ничем. А влюбленность – награда. И я не хотел слышать никаких лишних слов.

Вообще роскошная жизнь. При моем аскетизме. Нет, не подумай, что я был расчетлив. Ох, уж этот рационализм. Вы просто поверьте, что его не было у меня. Аскетизм – природа. Ничего не поделаешь. Есть у Микеланджело или у кого-то иного скульптура Иоанна Крестителя. Тощий, высокий, как я, держит кукурузный початок. Отодвинув его от себя. На самое большее расстояние. От голодного рта. И смотрит на него свысока. А в початке уже нет ни единого зернышка. Я любил смотреть репродукцию этой фигуры. В биографии Германа Грима она показана в разных ракурсах. Это хорошие фотографии. Да, понимаете. Вот мой образ. Формула. Точное воссоздание. И такая жизнь бывает роскошной. А вместо початка – папины книги на стеллажах и в шкафу. Голод и одиночество. Убежденно и добровольно. Любовь отодвинута. А влюбленность – вокруг. Аскетизм.

Вечер понемногу темнел. Прохладный воздух веял в окно. А я долго рассматривал кукурузный початок. Посреди комнаты живая фигура. Стоял. И вместо мрамора – прикрытая костюмом плоть молодого учителя. Очень комично – со стороны и по сути. Мраморный кукурузный початок пропал. Растаял в воздухе. Рука невольно сжалась в кулак. Ничего не осталось. Я усмехнулся еще раз. И теперь усмехаюсь. Потому что стою в той же позе. А вокруг и во мне – все другое. Как же так? Словно и не было этих двух лет. Честное слово. Пальцы в воздухе собирают вновь памятное прикосновение. Живое, прощальное. Только что. Оно. Два года. Минуту назад. Ночь. Зеленая лампа горит. Исписанные листки. Что? Неужели стихи. Предсказания. О том, что ночь пройдет. И что будет завтра. Стихи как стихи. Пожалуй, неплохо. Но в них почему-то нет кукурузных зерен. Поэтому – та же усмешка. Тоска.

И вдруг вижу – рядом со стихами белый листок. Тот, что вчера на уроке. И после урока – в моем забытии. Чужая судьба – такая родная. Все приблизилось вдруг. Вот удивительно. Я все позабыл. И мог писать на этом белом листке. Потому что свет от него ярче всего остального. Того, что лежит

на столе. И вот, оказывается, есть особая память. Она, слава богу, живет, и она меня удержала. Какое счастье. Ведь это спасение. Пора просыпаться. Предвижу все. И то, что завтра будет со мной. И то, что потом. Все, все на свете. Предвижу. Еще. Еще одно погружение. И я буду знать. Правильно все. Остается немного. Несколько слов. То слово. Четыре строки.

О том, что будет с ней. Нет, не со мной, а с ней. Что она подумает, и что она сделает завтра. В свободный день. Или в день свободы. Что? Воскресение? Суббота? Я думаю, воскресенье. Молодая память. Все позабыл. Она станет религиозной. Нет, не сразу и рядом со мной. А я буду проповедником ипостаси. Она везде. Ее и моя ипостась. Уже сейчас присмотришься. Везде мы встречаемся оба. То, что между нами, происходит везде. Мы невинны. Грехопадения не было. У других по-другому. Или точно так. И они тоже невинны. Вот почему я учитель. Может быть, у кого-нибудь что-то и было. Но вот они в классе невинны опять. И к ним приходит на первый и пятый урок тоже невинный. И на все остальные уроки. И сразу видно. Где-то она уже два года ожидает его. Ее чистота. А он избежал и сейчас избегает грехопадения. Вот в чем суть уроков литературы. Любят.

Кто кого? Многие в классе. И сами не знают об этом. А друг о друге - прекрасно. Как об учителе и о той, с кем он расстался. Еще бы. Они видят обычно друг друга со стороны. А себя - только в зеркало. Значит, самое главное, как научиться быть ипостасью себе. Вот он этому учит. Невольно и незаметно. А они. Любят и утаивают любовь. Надо ему подсказать. Он тоже такой. Что делать? Мы ипостасны. Как подсказать? Белым листком? Полночной метелью? Огоньком в доме напротив? Черными окнами друг против друга? Частицами? Формулой? Или чем-то иным. Но это я. А она - действительно станет религиозной. После чего-то ужасного. Или счастливого. А сейчас пока этого нет. И религия не при чем. И кажется, пока мы все атеисты. И ничего. Глупости. Нет. Пятая Катерина верует в бога. И не надо. Радуйся тому, что она есть. И первая тоже. И на всех уроках. Кто кого?

Еще и еще раз вглядываюсь в белый листок. Никаких прикосновений и никакой авторучки. Белый как белый. В него мгновенно уходят слова и всплывают и вновь пропадают. Очень быстро. Может быть, за пределами света. Быстрей. Потому белизна. А на моей странице всплыло и задержалось, и не хватает последнего четверостишия. Вот оно мерцает, как на ладони, является. Исчезает. Исчезло вовсе. Непонятная дрожь. Будет. Явится и застынет. Мое написанное уже никого не спасает. Знаю заранее. А этот листок. Белизна его. Также знаю. И вот они сейчас ипостаси друг друга. И оказались рядом. Лежат. Читаю. Забываю. Читаю опять. Здесь все вопросы и все ответы. Молодое сознание. Не надо обманываться. Не увлекайся. Ее спокойствие и ожидание - сильнее всего. А еще сильнее - то, как она избежала. И то, как я тогда не остался один. И придумал два года. И ждал.

Подказала. Несчастливая подказала счастливому. И ей - неизвестной, далекой. Ну, и долго ты будешь читать. Отвлекись. Не вспугни откровение

ипостаси. Ее всеобщность. Прозрачная, как белое снежное утро. Еще в полутьме. И неясно, когда загорится тот огонек. Еще можно поспать. А вот – он загорелся. И это совсем другой человек. Я знаю всех по квартирам. Классный руководитель. Или переселился? Кто-то из них. Поближе ко мне. Да, воскресение. Просыпается трезвая память. Видимо, так. Успокойся. Нормально. Значит, есть еще один огонек. Утро большое. Долгое. Приготовься. Как трудно осознавать, что предназначено. В самом начале.

Попробуй изведать близкую жизнь и счастье рядом с таким человеком. Впрочем, теперь эти слова не нужны. Два года все объяснили. Такой человек. А что лучше и хуже, не знает никто. По-своему хуже. Но обнаруживается внезапно. А тут известно заранее. И ничего не скрыто. И ведь я не знал тогда, что любое слово, любое движение – наша любовь, для таких, как мы. Кто-то решает. А кто-то любит. Мы оба такие. Но решать предназначено мне. И она не пыталась бороться. Понимаешь, не было поединка. И я не боролся. И она сразу ушла и потом побежала. И я глядел ей вслед. И вдруг перестал быть Иоанном Крестителем. И заплакал, как в детстве. И закрыл руками глаза. Когда ребенком предошущаешь самое горькое в жизни твоей. Предвидишь и предошущаешь. И никто не поможет. И никто не поймет. Мама, и та почувствует. И отойдет осторожно. В другую комнату. И будет страдать.

А я первый раз говорю себе об этих слезах и об этих ладонях, прижатых к лицу. Не признавался. Тоже почему-то решил забыть и не рассказывать никогда, никому. Именно такое выдерживал я целых два года. Никому, ничего. Силы хватало. А теперь, сегодня... Прорвалось. И вырвалось. И как будто она тихо открыла дверь, и посмотрела, и все поняла, и, зажав, затаив дыхание, вышла опять. Отнимаю ладони. В том-то и дело. Никто не входил. Я бы услышал. И сейчас проверяю. Нет никого. Но если подумалось мне. Если почудилось. И уж если нарушен запрет. И я признался в том, что сам себе запретил признавать. И такое случилось... Только что. Вот минутою назад. Уж если такое... Что? Неужели опять новый срок? А потом опять. И так целую жизнь. И оно, то же самое. Нет, уже невозможно. А что же тогда? Спрашиваю. И не знаю ответа. Новое. Утром. Да, оно, это новое, произошло.

Иногда ничего не меняется. А на самом деле все происходит. Сила воображения тут не причем. Ты другой. И глядишь иными глазами. И чувствуешь – есть кто-то посильнее тебя. Это известно. Я много раз повторял. И где-то читал. Не помню. И это неважно. Оно теперь происходит. У Андрея Болконского – прямо противоположно. Что-то более важное. Никуда не надо идти. И, главное, не надо искать. И не надо ждать неожиданной встречи. И сегодня, точно не знаю когда, если только не буду решать, плакать и не буду искать и ожидать, и прислушиваться, и сожалеть, и шептать самому себе, – вот с нею произойдет все то же самое, что и со мной. И я сразу узнаю об этом. Но только не трогай белый тетрадный листок. Положи на место. Выключи зеленую лампу. А то он слишком белый – рядом с твоим. А ты записывай последнее четверостишие и отходи от стола. Молча.

Вдруг слышу ее голос. Непонятно откуда. Будь осторожен. Вновь постарайся отвлечься. Какой-то еще голос. Из далекого будущего. Тоже не слушай. Прекрасное утро. Солнечный день. Сказка. Там, за окном. Снег на ветках. Белые крыши. Снег осыпается. Непроизвольно. Сам по себе. Дом напротив едва-едва желтеет сквозь ветки, с которых осыпается белый пушистый узор. Синие темные окна. В одном из них, почти незаметно, горит электрический свет. И теперь понимаю, что он горел за метелью всю ночь. Снег на ветке его закрывал, и тогда мне показалось, что свет погасили. А теперь осыпается белое кружево. И вот он, горит. И ни разу не угасал.

## 5.

Все состоялось. Все именно так. И даже я не предвидел. Но так получилось. Целое утро. Дома не мог оставаться. И вот я вышел и сразу встретил и увидел ее. Сначала встретил. Почувствовал. А потом поглядел и увидел. Это значит – я не высматривал. И не искал. Мы узнали друг друга. Оба остановились. Поговорили о чем-то, совсем постороннем. А потом вдруг вместе пошли и вернулись ко мне. Она заметила сразу. Обе комнаты. Все аккуратно. И ничего не изменилось пока за эти два года. Нет, изменилось. Книги будут перемещены в гостиную комнату. Потому что один стеллаж уже передвинут. Освободилось у правой стены милое место. Милое – так он его называл. И не объяснял почему. А теперь... Но уже теперь зачем объяснять?

Не могу повторить, что она сказала в ответ. Проклятый характер. Не могу повторить. И даже то, что сам ей сказал. Не могу. Солнышко ты мое. И это я солнышко? Вот. Все очень просто. И самое удивительное. Ведь я не возразил. Согласился. Очень смешно. И тут уже не просто характер. Что-то совсем другое. Что делать... Солнышко так солнышко. На самом деле она. Сразу все началось. Время пошло быстрее. Потом побежало. Как раз. Мы вовсе не удивились. В порядке вещей. Какая-то римская, латинская формула. То, что надо. Неважно. И все-таки человеческая природа очень красива. Это я о ней. О природе. Все в ней как-то и куда-то заторопилось. В природе. Разумеется, в ней. И все равно, то первое мгновение никуда не уходит. И нам никак не выбежать из него. А мы не хотим выбегать. Кружится комната. Стол. Стеллажи. А ведь я все-таки старше. Смеюсь. Успокаиваю. Напрасно.

Все состоялось. Будет свадьба. И только тогда. Это я опять. Новые какие-то сроки. Слушается. Она согласна. И это все не как у людей. И слава богу. Надо быстрее. Вот мы инопланетяне. Говорят, что все люди такие. Возможно. И все-таки это не так. А уж мы – точно. И не по природе. А потому что знаем. Кто-то велит и предназначает. И это мы сами. Скорей, скорей. Как хорошо. Белоснежная ночь. И день белоснежный. Первый наш день. Любая выдумка – лучше природы. Как хорошо осознавать. А все происходит само. Не торопитесь. Это я за вас тороплюсь.

Отдохните от этих двух лет. Я знаю, что делаю. Понимаете – кто я? Вот уж никак не могу вам помешать. И всегда возникаю рядом с теми, кто может послушать меня. Но они почему-то не слушают. И все у них пропадает. И я пропадаю тоже. Но с вами легко. Даже когда вы торопитесь. Или сдерживаете время. Ради меня.

В первый день. Во второй половине. Гости. Гости. Гости. И все почему-то приносят стихи, рассказы. Читают вслух. Обязательно. И видят, как мы вдвоем. И говорят мне, что, может быть, я заболела. Уж очень внимательно. А она не слушает вовсе. И ее как будто бы нет. Молчу, молчу о том, что была бессонная ночь. Да, природная аномалия. Снег еще никогда не выпадал во время уроков о Екатерине. Вы заметили? Одному и другому гостю. А сколько их было. Нетерпеливо. Стихи. Рассказы. Я запомнил от слова до слова. Конечно, все обостряется. Надо о каждом из них. Потом. Потом. И ясно, что я люблю. Оставляют. Стихи. Рассказы. Беру. Складываю. На круглом столе.

Первый день. И уже к нам приходят. Это молодость. Или что-то еще. Сегодня кажется мне, что у нас будет особое предназначение. Мы не хотим... Подожди. Надо спросить. Она не понимает ни слова. Молчаливо покачивает головой. Пытается понять, что происходит. И не получается. Вижу. Осознаю. И все-таки, да, я согласен, что-то очень большое. Хотя что может быть больше и важнее, чем это счастье двоих. Наше дело, конечно. Для нас. Но это не все. Где и почему от нас чего-то ждут. Незаметно. Незаметно. Как будто невидимо. И от Наташи никто не требует, чтобы она понимала. Но ведь все дело – в ней. Поэтому и покачивает головой. Да, все в ней. Как-нибудь потом объясню. Вопреки. Скажу тишине. Воздуху. Круглому столику. Белому кружеву. Этим стихам и рассказам. А потом уже тем, кто приходил и вот удалился от нас. И тому, кто придет. Ему. Большеголому Фарадею. Потом.

Они удалились. Их было четверо. Один за другим. Как нарочно. И не заставляли друг друга. Даже на лестнице не встречались, когда проходили навстречу друг другу мимо тех черных углов. Очень забавно. И все они знают меня давно. По школе, по университету, по филфаку, по университетскому хору. Вот из школы я так и не ушел. И на филфаке читаю лекции. И в хоре пою. Нет, ничего не уходит и не отдаляется. А тут еще старшее поколение. Дядя. Скульптор Синайский. И еще один скульптор. Нет, все понятно. Я молодой. Чем старше, тем больше знакомых, друзей, и тем реже так вот они будут у меня появляться. А ведь и я не хожу ни к кому. Только в хор и к тем пожилым. И к себе на уроки. И еще один. Он пришел сегодня последним. Саша. Художник. Поэт. Живет и не знает, что я его очень люблю. И вот ему-то как раз я не успею об этом сказать. И он уйдет навсегда.

Саша не оставил стихов. Только читал. Отрывисто. И будто внезапно. Не успею обругать одно, а он уже другое читает. Почему я всегда ругаю то, что он пишет? Он хороший художник, и я не хочу, чтобы он становился поэтом. А он хочет. И все-таки оставит искусство. Единственный случай, когда что-то я отрицаю. Но все будет не так. И сегодня. Вот Наташа вздрагивала от этих

стихов. Да и сам я не мог удержаться. Впервые. И это он мне сказал, что я заболел. И правда, вдруг я почувствовал сильный озноб. Это верный признак. Проклятый характер. И почему я раньше не слышал. Вот от слова до слова – настоящие строки. Надо сказать. А я ругаю. От радости. Да. И мой Саша понял. И сразу встал. И заторопился. И я вижу со стороны, с какой ласковой доброй улыбкой иду за ним к дверям и провожаю его. Иду. А он ...всегда замечал. Но было не так. Что же такое? Провожая. От радости.

Вот мы одни. Поели. Попили. Наташа чувствует – жар. Легко распознать. Долго не распознавала. Так мне и надо. За все мои ипостаси. Которые набегают. И сильнее, и больше. Температура сорок. Падаю на диван. Как вчера. В тот же час. В те же минуты. Наташа никуда не уйдет. Нельзя. Будь спокойна. Что-то сразу дала мне. Сбегала в магазин. Я дремлю и знаю, что почему-то стою любви этих людей. Только Наташа. Смешно. Путаюсь и выплываю. Снова. Как будто кто-то меня окунул с головой. Помню, в детстве тонул. Пятилетним. В пруду. Похоже. Легко. Нет сознания. И что-то. Серьезное. Вот. И самое важное. Самое. Что-то. Оно. Вместо всего.

Да, вместо всего. Но вот они собираются у моего изголовья. И все говорят. И каждый свое. Одновременно. И чтобы я любого слушал больше других. Утомительно. Получается. Могу повторить. И ничего. Таблетка действует. Они разойдутся. И то, что сказали, останется в памяти. Кое-что очень важное. Сравниваю. Сопоставляю. Понимаю, почему я учитель. По-новому понимаю. Сейчас. И, к сожалению, забуду. Вот уже забываю. И не могу повторить. Жаль. А ко мне приходят даром. Надо выслушать. Много терпения. И ведь это все родственное. Чужое и чуждое. Саша. Ты знаешь или не знаешь. Мы родственны. И будет плохо, если кто-то из нас уйдет раньше другого. Заранее знаю, кто. И это ужасно. Лишнее слово. Некому ужасаться. Все уйдут, и не будет меня. Голова раскалывается. Красный, красный кирпич. Вбили мне в череп. Тому и другому. Наташа...

Все проясняется. Но еще звучат голоса. Или уже отзвучали? Нет, я не болен. Что-то другое. Вспоминаю. Так было два года назад. И тоже необъяснимо. Такой же день. Кажется, воскресенье. Или суббота. Свободный и вполне счастливый. Наташа рядом. И тоже гости. И все было, как сегодня. Стихи и рассказы. Круглый столик. Белое кружево. И что-то мучило, когда мы остались одни. Говорили о Саше. У него были тогда неплохие стихи. Но рифмы плохие. И мы говорили об этом. Подумаешь, рифмы. Но попробуй – пошевели, поправь... Пробовали. И не выходило. А так оставить было нельзя. Но ведь это чужие стихи. Оставь. Не могу. Послушай, оставь его. Пусть он сам потрудится. Нет, не могу. И вдруг случилось. Тоже температура. И красный кирпич. И все говорили вокруг. Наперебой. Одновременно. И Наташа лечила меня. И я лежал и заснул. И долго спал.

А теперь – вполне хорошие рифмы. Одна строка. Да, только одна – выпадает. И Саша знает о ней. Видно было, когда он читал. И ради нее – все что угодно. И он заметил, что я встрепенулся. И прямо на этой строке. А без нее нельзя. И с ней невозможно. И вот он почувствовал и ушел. А я не заснул.



И таблетка не помогала. И теперь проясняется. Вот я здоров. А тогда болел несколько дней. И рассказывал Саше потом. А он качал головой и удивлялся чему-то. И запомнил, конечно. Вот – я чувствую себя хорошо. О свадьбе – ни слова. Это я решил про себя. Наташа не знает. А ведь все ясно и так. И тем более – эта болезнь. И, кажется, я Наташе сказал. Да, все-таки был сильный приступ. Не знаю – чего. А, может быть, все нормально. Второй раз. Третьего лучше не надо. Не вынесу. Не совладаю. Что-то останется и не пройдет. А теперь отпустило. И ничего не будет. И о свадьбе – всерешено.

Пересказываю Наташе мои голоса. Каждый отдельно. А как рассказать, когда они вместе. Пытаюсь. Вижу – не получается. Вечер опять. Приближается час. Надо расстаться. Наташа молчит. Нет, спорить со мной бесполезно. Характер такой, что и слов не надо. Ясно, что со мной жить невозможно. Предупреждаю заранее. Смешно и занятно. Что-то само совершается, без наших усилий. И даже запретны прикосновения. Быстрой. Быстрой. А то будет поздно. И ты пойми. Нельзя с моим и твоим характером взять и легко отступить. А я уже дважды не выдержал. Видишь – случается иногда. А так не бывает. Это что-то особое. Наташа уходит. И я снова один.

Вот она возвращается. Что-то забыла. Да, точно. Забыла в той комнате. Очень торопится. И я не заметил, как она снова ушла. А ключи у нее. Те, другие. Остались тогда. Но в тот раз она не вернулась. А теперь – вот они. Вот лежат на большом столе. И это значит. Правильно. Первый раз понимаю, что значит – радуйся, дево. Так оно было. И сейчас. И никаких чудес и ангелов. Тогда люди не поняли и придумали дивно прекрасный образ. А он скрывает за собой то, что возможно. Вот никогда не думал, что евангелие – книга о нашей любви. Да, видимо, назрел момент в бытии. Когда повторяется то, что было однажды. И не возвращается вовсе, а повторяется. И по-новому. Так же благоуханно. Ключи от квартиры. Обещание гибели – в самом начале. И только теперь ощутимо. Родился тот, кто погубит. И должен родиться тот, кто спасет. Радуйся, дево. Ты серьезно. Вот ключи от вертепа. Заранее.

И это все, о чем я не могу рассказывать на уроке. И о чем не могу исповедоваться. Еще за минуты или за полчаса до звонка. Ничего. Услышат все, кому нужно. Уже услышали. Вернее, слышали. И не поняли. Не осознали. Как там еще сказать... Все правда. А мы осознали. Поняли. А вот услышали только сейчас. Но я позже всех. И позже Наташи. Видимо, нужно. Отсюда приступ непонятной болезни. Она задержала. И я вполне допускаю, что все это миф. А объяснение всему будет простое. И все-таки природа и бытие обязаны обезопасить себя. Ну, ладно. Кому неясно, пусть заблуждается. А если не так – лучше для нас. Не будет голгофы. Там, в далеком-далеком будущем нашем. А что это значит? Будущего не будет? Что? Безумие или заколдованный круг. Тут одна только строчка. И попробуй сегодня с ней разобраться. Понимаю. Саша оставил. Обычно он от меня домой не спешит.

Все недоделанное очень опасно. И не надо преуменьшать. Помалкивай. И не говори никому. Жизнь все равно выше любого конца бытия. И вообще

выше любого конца. А уж это мы все помним и понимаем. Усвоили хорошо. Выше. Да, но при этом она гибнет, и наступает конец. Детская мудрость подсказывает исход и спасение. Оно, известие о конце, меня осенило, когда мне исполнилось десять лет. И тогда уже... Ладно. Все правильно. И сегодня ты не совершил ни одной, ни единой ошибки. Вот ключи на столе. Вот иди закрой дверь на темную лестницу. Закрой на защелку. От себя самого. Закрываю. Нет у меня философии. Подожди. Будет еще. И она уже есть. Но пока ничего не случилось, она растворена в малой комнате, в воздухе. Да, в предвечернем воздухе первого нашего дня. Удивительно. Стеллажи пропадают, и я вижу совсем другой интерьер. На секунду. Как озарение. Все.

Что я увидел? Какой такой интерьер? Что за слово. Случайное. Может испортить строку. Саша отсюда никак не хочет уйти. А он знает, что сейчас не до этого. Но, по крайней мере, у него хорошие строки. Вот бы увидеть их вдвоем, увидеть его рядом с моим Фарадеем. Приплюснутый нос. Толстые губы. А над ними – глазки молодого сатира. Я очень люблю это лицо. И высокий морщинистый лоб. И ежиком стоящие волосы. Он, многоопытный, любит мою чистоту и невинность. Он мог бы что-то сказать Фарадею. Этой слабой строкой. Но вот милый Саша встал и ушел. И когда-нибудь он уже не вернется. А теперь оно у него еще впереди. Нет, все правильно было сегодня.

Услышу все голоса. И те, что молчат. И те, что раздаются не вовремя. И те, что ушли. И один этот голос. И те, что еще зазвучат. Ничего. На уроке такое бывает. И от боли раскалывается голова. И озноб. Жугкий последний озноб. И чтобы никто не заметил. Дома такое – смертельно. А на уроке естественно. Каждый раз. Последнее время. Полный конец. И произвольно. А ты – как можешь. Тихо. Спокойно. Бери себя в руки. В половину. В четверть. Приглушай себя самого. И пусть методист изучает. Но температура тогда еще выше. Все плывет под ногами. И, если такое нормально, моим ребятам никто и ничто не грозит. У меня – с возрастом. А у них – все в порядке. И то, что Наташа вернулась, они почувствуют сразу. И это будет завтра – увидим. Развязка еще далеко. А тут план. Уже отодвинут. Хватит. Ритмы иные. Ребята не выдержат. И не уйдут. Пора. Медлить нельзя.

Если кто выдаст меня или как-нибудь расскажет родителям, возобновятся прежние разговоры. Бывало. В учительской – шепотом. У директора в кабинете вполголоса. Потом историк на педсовете. Завтра он опять проводит меня к дверям десятого класса. И попросится на урок. И придется его пустить. И вот мы будем один на один. И ребята со мной. И хорошо, если вновь блеснет пенсне методиста. Но все это малой кровью. Как ни странно, у меня опыт и положение. Охранная грамота. Лекции там и тут. А потом рухнет в минуту. Знаю, когда. Наташа вернулась. Нельзя. И не забывай – другое, что предстоит. И будь осторожен. Общий закон полезен сегодня и завтра. Математика. Физика. Удержись. И не вздумай обронить, что назначена свадьба. У нас двухлетка. Десятый, десятый. Никто ничего не знает. И не дожидается. Вот разве от прежних ребят. Едва ли. Будь спокоен.

За окном темнота. Снег растаял. Черной пастой по черному. Ветки деревьев пропали во мраке. Дом напротив. Разноцветные окна. Где мой огонек? Он горит. А его распознать невозможно. Попробуй, узнай. Но я узнаю. Там, за окном, тоже зеленая лампа. И если увеличить, какой уютный теплый чужой интерьер. Кажется. В доме на той стороне Большого проспекта. Воображение. А если оттуда взглянуть? Нет, конечно, пока никто не посмотрит. А я благодарю огонек. Он уже которую ночь мне помогает. И не надеется на то, что я помогу. Снежная добрая сказка. Внезапно. Природная аномалия. Так и надо внушить. Самому себе. На пятом уроке. И ладно. А ты подожди. Не растрчивай силы. Вспомни отца. Подумай и рассуди. Понимаешь, он отступил. Мама что-то сказала. Не слышу. Страдает, конечно. И все-таки я разобрал. Спасибо. Черные ветви на черном.

Окна гаснут. Опять и опять. В доме напротив. А одно остается. Мое, наверно, горит в темноте. Интерьер. Зеленая лампа. Готово. А теперь лучше выпастись хорошенько. Падаю головой на стол. Но где он там? И что он такое? Нет, непонятно. Читаю стихи. Читаю рассказы. Повторяю строку. Выпадает. Корешки непрочитанных книг. Снова то, что на круглом столе. А на письменном – белый прежний листок. Боюсь прикоснуться. Надо по белому. Еле слышно. Где Наташа? Поворачивается от окна. Вижу глаза. Вот, наконец. Почему просыпаюсь? Нет ничего. Мы одни. И внезапно я понимаю, с кем и когда после многих бессонных ночей там неизбежен мой поединок.

## 6.

Видимо, все-таки я заснул, как убитый. Полностью. Отрублено. Потеряно. И не то слово. Ну, какие слова. Одно. Сразу прихожу в себя рано утром. Уже давно пора в школу на первый урок. Что осталось от меня, который был ночью. Первый раз хочу разобраться. Что-то осталось. Чувствую. Вот это и надо схватить и удержать на бегу. И когда спешешь, такое возможно. Хватай. Вот, кажется, поймал. Похоже на что-то. Знаю только – это ощущение свободы. Или как там сказать. Не делаешь ничего, потому что можешь все. На бегу получается очень похоже. Быстрее, быстрее. Лучше и лучше. Подобие полное. Отсутствие мысли – это изначальная мысль. Того, кто бежит. А то, что во сне тебя нет и не было, ты уже осознал. И не надо.

Вот, пока бегу, изначальная мысль о шестидесяти годах. Они в самом начале. То же самое. Кто-то понял давно. А кто-то уже опоздал понимать. Интересно. Осознает индивидуум. Тот, кто бежит. А личность уже давно все поняла и не нуждается в осознании. Понимаю, пока бегу и не решил, что скажу ребятам о сочиненном позавчера. Да, я все прочитал. Но заснул. Отрубил. И Наташа пропала вместе со мной. Именно вместе. Вот поворот на панели. Мокрый лед. Упадешь. Выставишь правую руку. Вот поскользнулся. Но как удачно. Все-таки мысль помогла. Удержался. А со стороны показалось, что я нарочно. Пока молодой. И никто не подумал, что я учитель

и бегу на урок. Прекрасная память. Вспоминаю работы. Сказки. Притчи. Стихотворения в прозе. И вдруг – мое четверостишие. Которого нет. Не успел. Так и сказать? Нет, на бегу. Породил. Вот оно. Очень точно.

Да, да, я хочу, чтобы ребята меня увидели, пока я бегу. Тоже остаток от меня – того, каким я был, засыпая. Прыжок. Минуты часы, бесплодные состояния. Вот что такое сон. Природа подсказывает. А мы не можем понять. Строка выпадает – усни. Проснулся – беги и в прыжке через лед рождай эту строку. Нише учил. Прыгать, скакать, перескакивать. Правильно. Схвачено. Бедный философ. Люди видят, когда ты скачешь на месте. А я прыгаю на первый урок. Это совсем другое. Вот знакомые лица. Девятый А. И девятый Д. Притча и гроздь афоризмов. Узнали. Смеются. И также прыгают. Молодо и удачно. И не знают, что это прекрасный способ достижения цели. Нет, нет. Они теперь уже знают. Оба, и автор притчи, и творец коротких изречений. На манер Дхаммапады. Джатаки и откровения. Они видят, что я прочитал. То, что позавчера. Видят. И легко, и молодо обгоняют меня.

Вдруг, уже когда они мелькнули, в одном из них узнаю моего Фарадея. Он тоже еще не проснулся вполне. Он обогнал меня. А его большие глаза остаются. А кто же второй? Широкоплечий, тот самый, который везде сопровождает его. Листок его – притча. Страшный миф. И надо об этом сказать. А почему он так весело прыгает. Крепкий парень. Вот ему бы поручить роль Прометея. Очень хороший ход. Он еще раз обдумает притчу. Фарадей не поможет. А если тогда Фарадея сделать Юпитером. А Катерину – Пандорой. Нет, Гете не подойдет. Кстати, я знаю текст наизусть. Прочитаю. Но сам от себя. Никакого театра. Дважды. А и Д. Для того и другого.

Ретардация. Какой он Юпитер? А, может быть, в самый раз. Невысокого роста. Соразмерный. Бледный. Когда бежал и прыгал, – чуть приметный румянец. Он уже сейчас Юпитер. Опередил учителя. Кшатрий – за ним. Нет, какой Прометей? Это Меркурий. Все хорошо. А кто Минерва? Среди математиков и физиков девятого А и Б легко ее отыскать. Тогда все же кто Прометей? Пока не вижу. Перебираю. Вот есть один. Подходит внешне. В классе аристократ. Аккуратный. Белый воротничок. Манжеты. Его нужно вырвать из этого амплуа. Он писатель. Уже сейчас. Первые рассказы. Какой программист? Противник Базарова. Павел Петрович выстроил себя как храм себя самого. Цитата из его сочинения. Да, это он – Прометей. Если не дать ему такую роль, знаю, какой он будет писатель. До конца века. Нет, не хочу. Пусть поиграет. Он все равно выйдет из роли. А так он в ней проживет.

Пять Катерин, а Пандора одна. И эта роль не подходит. Ну и что ж? Надо играть именно то, чего в тебе нет. А впрочем. У Гете Пандора – совсем особенная. Она познает любовь. И спрашивает у Прометея – что значит странное чувство, которое охватило ее. А он отвечает, что это смерть. И объявляет: она, смерть, утолнение всего бытия, предел постижения мира. Вот, наконец, я прозрел, почему Пандора, вижу сцену в кабинете истории. Именно там. Большая комната. Зал. А у правой стены – возвышение. Площадка. Там хорошо декорации. Точно. Все решено, пока подбегаю к

воротам во двор. Мои ребята расступаются и смеются, как надо. Легко и доступно. Замедляю свой бег. Ретардация. Делаю вид, что задумался. Вспомнил. А и в самом деле. Внезапная мысль пронизала меня. Остановила. Притворяться не надо. Стою. Потом иду медленным шагом. Тихо. Солидно.

Спас положение. Дети идут на расстоянии – после меня. Двадцать шесть лет. Волей-неволей. Само собой. Получается. Первый раз. В моей молодой жизни это – уже очевидно – прощальный бег. Все понятно. А о чем я задумался – неизвестно. Так оно и должно быть. И только я знаю мою страшную мысль. Кое-что остается в тайне. Прометей откровенен. Когда он один. И только тогда он продолжает страшную мысль и доводит ее до конца. Минерва уже почти избавила его от поединка с Юпитером. Спор не закончен. Мимо меня по двору проходят учителя – один за другим. Конечно, для них мое поведение странно. И у каждого есть версия. Для шестидесятых годов – устарело. Шестидесятые. Снег во дворе не тает. Солнце не проникает сюда. Надо пройти поскорей. Пора сдвинуться. А зачем грузовик? В кузове – белый сугроб. Как хорошо. Как приятно смотреть. А почему, не знаю. Полвека.

Страшная мысль – о скором конце шестидесятых. Только-только началось оно – и закончится быстро. Сюда бы историка. Вот он мимо. С трубкой в зубах. И ничего не видит, не слышит. Пусть идет в одиночестве. Еще подожду. Конец готовят они. Единственное желание. Пригормозить развитие. Потому что неминуем распад. И они добьются распада. Но если по-моему, легко проскочить промежуток. Перепрыгнуть. По-молодому легко. Прихожу в себя. Рядом кшатрий и Фарадей. Оба спрашивают, медлят. Сообщают – вот через минуту звонок. Оба знают, что со мной происходит. Спокойно. Спокойно. Все хорошо. Буду, конечно. Да, да, первый урок. Буду.

Кабинет истории – в том помещении, где прозвучит «Прометей». Это вроде бы – малый актовый зал. А большой – напротив. Там физкультура. Шведские стенки. Чаще всего – баскетбол. Я с моим ростом в университете пытался. Не получилось. Очень уж слаб. Но люблю смотреть. Если окно между третьим и пятым, прихожу и смотрю. А иногда и после уроков. Тогда играют свободно. И не ожидают звонка. Мужской математический баскетбол. Мой воспитательский класс. Или, как правило, А и Д. Отдыхаю душой. Смотрю и не думаю о шестидесятых годах. Мысль куда-то уходит. Она сама переживает себя. Но почему-то я никогда не досигаю до конца баскетбольной игры. Побаиваюсь конца. Как только мой класс побеждает, встаю, ухожу. Так вот. Площадка лестницы. А налево будет наш «Прометей». В новых ролях. Нет, ради этого стоит жить. Кроме уроков. Игра и победа.

Историк догадывается, что в его кабинете весной мы поставим знаменитый отрывок. Откуда он знает? Ревнует. Придется уступать кабинет. И еще кое-что уступать. И кое-кого. Он ведь очень любит. Не знаю как. Но любит ревниво. А насчет «Прометей». Мы говорили недавно. Этот историк, несмотря на свою эрудицию, вряд ли прочитал все короткие сцены. И когда я

ему напомнил и проговорил несколько строк последнего монолога, он как-то завял и нахмурился и посмотрел на меня подозрительно. А потом сформулировал: понимаете, автор «Вертера» в итоге отверг «Прометея», а вот мужскую силу на удивление сохранил. Это к искусству имеет свое отношение. Именно в этом смысле. А «Прометей» - понимаете? Да? Вот не закончено. И обрывается так внезапно. И его никто не ставил. И не поставят. И довольно знать, что вот он есть. А другое дело «Вертер» и «Фауст». Верно?

Я не выдал себя. Но теперь его догадка вполне оправдывается. А что еще? Дальше – ревность. Ребята увлекутся тем, что чуждо. Уйдут от проблем современной жизни. А потом срывы. И жуткие ситуации. Да. Шестидесятые кончатся. Понимаете? Это верно. И так непрерывно и ярко не могут они продолжаться. А что в итоге. Подумайте. Вечная изменчивая современность. Вот опора для Фауста наших дней. Вы это хотите сказать? Я бы одним глазком глянул в сочинения ваших ребят. Они ведь и мои тоже. Мои – на моих уроках. Иногда я думаю: ну зачем, скажите, мы их тащим в разные стороны. А мы ведь с вами не просто учителя. Что-то, я понимаю, такое. Передается. Они страдают нам. Нет, не точно. Они ловят момент, от которого дальше сами пойдут. А момент ежедневно иной. А что у вас нынче? А! «Снегурочка»? Завершает Островского? Светлое царство? В итоге?

Вот, сегодня пока еще я не выдал себя. Да, самое трудное. Все наруже. Только слова запоздали. Но это мое сознание удивительно: вижу – не надо и слов. Да, он прав - передается. Надо по-своему чисто мыслить и чувствовать. Больше ловить себя. Чисто и хорошо. Для меня это просто. А признаться нельзя. Слова не поспели. В самом начале. Гибель еще далеко. Неужели окно? Между вторым и третьим. А «Снегурочка» - дважды. Совсем незаметно. Вот окно. Сажу в физкультурном зале. Опять баскетбол. Потому и сажу. Кто-то рядом. Оглядываюсь. Он, Фарадей. Почему не играешь? В форме. Нет, не хочу. Все равно полный конец. Что? Откуда мое выражение?

Бросил команду? Нет, запасной. И не возражает. Наконец, он рядом, и я могу его рассмотреть. И вот странное чувство. Это мой сын. А ведь он совсем не похож на того, кто и впрямь успеет родиться. Чужой, но почему-то родной. И уж очень красив. А ведь я так мечтал о красивом сыне. Это сбудется. Но сумеет ли он дожить до пятнадцати лет. Ведь вот в двух шагах от меня тут на скамейке он, тот, кто убьет бытие – и его, и себя, и меня. Пока можно его рассмотреть – каким, быть может, станет мой сын пятнадцати лет. На него не похожий. Что-то мне говорит: он уже сейчас думает не о том, что класс проигрывает, а о чем-то своем. А мой сын еще не родился. Этот гений без конца решает свое. Но почему он сел почти рядом со мной. Фарадей. Античный эфеб. Ничего не видит перед собой. Но порой поворачивает голову прямо ко мне. И как будто спрашивает. И большие глаза остаются.

Нет, лишь по видимости учитель и ученик. Он уже превысил свой возраст. И ему все равно, как он выглядит. Он занят. И то, чем он занят, надо скрыть от меня. А уже не скроешь. Тайна его мне известна. И я признаю, что она

серьезна, и это не шутка, и это никогда не пройдет и не ослабнет, пока есть бытие. И он знает, что я это знаю. Смешно говорить, но, мне кажется, он уже начал со мною прощаться. И, понятно, со мною одним. Потому что прощание будет взаимным. А никто не в курсе того, что происходит сейчас. Кшатрий вырывает победу. Видишь – два класса объединили в один баскетбол. Полный конец отодвинут. Победа возможна. Мы болеем. Девочки у противоположной стены. Ждут своей очереди. Класс на класс. Физкультурник свистит. И никому невдомек, что происходит. Вот Фарадей опять повернулся. Глаза наши встретились. На какой-то миг. На секунду.

Попробуй понять. В эту секунду он еще больше стал моим сыном. Да, мы сказали друг другу, что здесь удержать и изменить уже ничего не получится. Даже если бы он захотел. А когда чувствует меня рядом, то вроде бы хочет остановить свою мысль. Но в нем самом уже сейчас есть что-то – посильнее всего на свете. Тут не справиться никакому отцу и учителю. И ему самому. Самое время – проситься и забыть друг о друге. Попробуй. Он понимает. И я понимаю. А что мы поняли? В какой-то момент отец теряет свою отцовскую власть. А учитель остается учителем. И вот, если соединить, уже ничего не изменишь. А сегодня, пока он сидел рядом со мной, Фарадею кое-что удалось. Зацепилось – без формул. И вот невольно по его губам пробегает улыбка. И он пытается спрятать ее, потому что в этот момент уже надо позаботиться обо мне. И ведь я понимаю, что это значит.

Игра закончилась. Кшатрий вразвалку подходит к нам. А Фарадей продолжает сидеть. И как будто не видит и взглядом отделяет нас одного от другого. И мы оба чувствуем – Фарадей решил большую задачу. Какую – лучше не знать. Он решил, пожалуй. Но это не все. Чувствую – лучше его увести и о чем-то спросить. Но урок продолжается. И я уйду. Победили. Но теперь все оно стало еще неизбежной. А зачем он ко мне поворачивает голову и чего-то ждет от меня? По-моему, ничего он не ждет, но хочет, чтобы я мог видеть его. Подробно и точно. Потому что это прощание. И не с ним. А с моим будущим сыном. Пятнадцатилетним. И с Наташей. И с жизнью моей.

Спускаюсь по лестнице. Нет никого. Чугунные перила. Отчетливо. Но как будто в тумане. И на душе тяжело. Ступенька. Еще ступенька. Деревянный верх чугунных перил. Скользит ладонь. От шишки к шишке. Чтобы никто не катался. Как называется, я не знаю. Один. И только слышны свистки из физкультурного зала. Свистки. Топот пробежек. Там. Но здесь, на гулкой лестнице судьба еще обреченной. В самом начале. И, главное, сейчас окончательно знаю, кто мой смертельный враг. И не только мой. Всеобщий. Нет, я его разглядел. И это не выдумка. Видел его в баскетбольной форме. И почему-то убедился еще раз. Нет, он не отступит. Значит, каждый из нас обречен. Как после этого идти на урок. А дома – как переставлять книжные полки. И освобождать малую комнату от пыли и книг. Я вообще никогда ни от кого не зависел. А тут гулкая лестница. И так тяжело на душе. Прощание.

Искал хоть какой-нибудь малый изъян. Искал и не нашел. Совершенная

форма. Посмотришь, и, кажется – природа нашла то, что искала. Нет, мой сын будет немножко другим. Надо жить и рождаться. А когда подобная и ни с чем не сравнимая красота, веришь в то, что бытие исчерпало себя. И уже сейчас подтверждаю – он тоже мой сын. И вот радость рождения становится божественным роком, от которого не уйти и с которым нельзя помириться. А в современной жизни и через пятнадцать лет этот смысл может быть легко обнаружен. Вот я сейчас увидел его. И увидел в живом воплощении. Да. Он тоже мой сын. И что ж? Будем бороться? Но ведь это смешно. Чужой. И все-таки нет. Я заметил малый изъян. Через пятнадцать лет акмэ поколеблется. Или, напротив, достигнет предела. И это решит. Но ведь Фарадей не видит себя. И не знает. И никто ему не подскажет. И никто не остановит. Никто.

И вновь захотелось увидеть его. И какой это страшный выбор. Между обоими сыновьями. Но ведь, хочешь, не хочешь, а мне приходится выбирать. Пока спускаюсь по лестнице. И самое невыносимое – глаза Фарадея. Они больше, чем надо. Вот его настоящий изъян. Фаюмский портрет – подобие. Или что-то другое. Нет, не подходит. Очень большие глаза. И, как ни странно, они делают фигуру его совершенной. И в этом дело. Я наконец угадал. И вот почему он ко мне поворачивал голову. Надо же было его рассмотреть. И вот уже теперь все на месте. При таких глазах акмэ не исчезает с годами. Весь человек изменяется, а они остаются. Видеть их все равно, что ими глядеть. И улыбка на его удлинённом лице немного асимметрична. А у моего сына будет иная. Вот я теперь увидел и вижу его. Другого. С большим губами. И он все время смеется. Подавляя усмешку.

Вдруг на гулкой лестнице, за моей спиной, рванулся шум физкультурного зала. Свистки. Топот пробежек. Шквал. И сразу все тихо и отдаленно. Видимо, кто-то дверь открыл и сразу ее притворил. Оглядываюсь. На площадке у перил стоит мой Фарадей. Он вышел. Вслед за мной. Вижу – спускается медленно. Прямо ко мне. Ступень за ступенью. Рука на перилах. Подходит. Почти вровень. Я чуть-чуть выше его. Не страшно. Он через год меня догонит и перегонит. А что ты хочешь сказать? На губах та же улыбка. Он берет меня за руку. Да, да, прямо так и берет. Я выдергиваю руку и отступаю. Он подымает глаза. Не бойтесь. И я не боюсь. Это будет нескоро.

## 7.

Литература. Жизнь человеческая. И удивительно – каждый раз: неужели тайна открыта? Мелькнула секунда, и вот – вновь: та же тайна – мерцает и ускользает. А то, что схватил, забываешь сразу. На глазах исчезает. Кажется, протяни руку, и схватишь. Нет, уходит. И сразу тебя кто-то отодвигает. Мягко и незаметно. Подальше от виденного. Надо немного. Не забывай. Изо всей силы сдвигай брови. Сжимай пальцы. Нет, все равно упустил. Чудо. Может быть, это и есть главный – изначальный и окончательный ответ божества?.. Какого – не знаю. Вот почему шестидесятые просчитались. Наука. Наука. Очень скоро куда-то исчезнет языческий облачный культ. А успехи огромные. И все равно. Пропадает. Уходит. И вот исчезает совсем.



Вижу, как Фарадей, оглядываясь, вновь ступень за ступенью подымается на площадку, медленно приотворяет белую дверь в физкультурный зал и оттуда, изнутри закрывает ее за собой. Кажется, на площадке он последний раз оглянулся. Не помню, забыл. Топот, пробежки. Почему я ничего не спрашиваю и не спросил. Он был в том состоянии, когда мог бы ответить. А что отвечать? Загадок не стало. Тайны исчезли. Ответ воплощен и доступен глазу. А он, Фарадей, готовит конец. Тогда зачем отцовские и сыновние чувства? И я зажмуриваюсь, чтобы запомнить. И нет ничего. Осталась литература. Четвертый и пятый уроки. «Снегурочка». Пандора. Прометей. Любовь – это смерть. Но почему откровение так невыносимо для человека. Все проявлено. Будь отцом и побеждай как отец. Да ведь и он вышел к тебе за твоим ответом. Вышел к своему другому, чужому отцу. Вышел к тебе.

Еще один момент спасенья упущен. Ты понимаешь? Сегодня – все. Потеряно право кого-нибудь и в чем-нибудь обвинять. Ты упустил. А почему – неизвестно. Вот судьба хотела с тобой говорить. Что? У тебя не нашлось бы спасительных слов? Учительская. Никого. До звонка двадцать минут. Вот она где. Тайна тайн. И совсем не так. Сыновняя красота Фарадея – это вопрос, а не ответ. Понимаешь? Он все знает. Он прекрасно видит себя. И он не чувствует, что ему делать с самим собой. Гениальная мысль работает. И она идет мимо цели. Конец концов кажется невозможным. И вдруг – новое предчувствие. И задачу можно решить. Но решение пройдет мимо отца, у которого будет ребенок. И вот он рядом – прыгает через лед. Останавливается у порога. Смотрит нашу игру в баскетбол. Сидит в физкультурном зале. Подхожу незаметно. Вот он. И я могу его рассмотреть.

И тут задача совсем другая. Сколько лет? Он еще совсем молодой. Но уже ушел далеко от таких, как мы. У него что-то случилось. Хорошее. Мне хочется взять его за руку. Но как это сделать. Когда? Вот он сидит. И надо его подвинуть к ответу. Я вижу границу ума и абстракции. Ее перейти невозможно. И ему никогда не понять все то, что я легко решаю сейчас. Он занят одной только тайной – красотой и цветением жизни. А я – тайной конца. И это не просто мысль. Это вся природа моя. И его природа. Мы не похожи. Надо спросить. Или просто еще раз взглянуть. Он встает и уходит. Выйду вслед, пока пересменка игры. Лестница. Прикосновење к учителю.

Я никогда не был и не буду красив. Как же мне иметь сына, у которого все соразмерно. Вот они вокруг. Сколько их. Каждое их движение – для меня загадка природы. С мячом. В баскетбольной форме. Прыжки. Попадания в корзину. Самое странное: Фарадей все это видит, как я. Он прекрасно играет. Но чаще сидит в запасных. Как будто уже отыграл. А я так и не начал. Не получилось. И вот стал учителем. Но как будто играю. И теперь, оказывается, решаю задачу моего Фарадея. А ведь меньше всего я способен к такому открытию. Но мне почему-то нужно все проверить и, может быть, убедиться, что этот страшный опыт уже не получится никогда. Здесь тайна природы. И она доступна учителю. Интуитивно. Или как-то иначе. И все-таки нет. Сегодня решение состоялось. И Фарадей вдруг понял, кто он такой. И ему стало страшно. И захотелось увидеть себя со стороны моими глазами.

И то, что не имело значения, вдруг получает небывалую цену. Молодость и то, что он, по глубинной сути, мой сын. Теперь, когда все решилось, он понял, и вышел за мной, и схватил меня за руку. И запомнит, как он это сделал сегодня. И еще больше, чем прежде, он возненавидит свою красоту. Потому что она мешает ему. Быть собой. И сделать что надо. Она сильнее эксперимента, после которого нет ничего. А учитель ищет ошибку. И не найдет. Он уже сегодня проверял мою внешность, а у меня получилось решение. Он искал изъяна во мне. И не нашел. И я уже теперь тоже найти не могу. А в голове, разумеется, все черновое. Еще много, много лет впереди. Что? Решил пробежаться по залу? Что? Ноги сильные. Руки свободны. В плечах играет сладкая мощь, которую надо убить. А оттуда, с той стороны, девочки смотрят. Искоса. Поневоле. Нет, я не буду делать то, что хочется им.

А то, как учитель смотрит, совсем другое. Похоже на моего родного отца. Теперь он в учительской. Думает обо мне моими мыслями, смотрит моими глазами. Спасибо. Он вырвал руку, потому что мог не выдержать. И обнять меня, как он обнял бы своего еще не рожденного сына. Когда ему исполнится тоже пятнадцать лет. А теперь нельзя. Вот – я чужой. И могут подумать. Они дураки. Прикосновения к учителю хватит на целую жизнь. Так я бы сказал раньше. А теперь – задача моя решена. И это не только моя готовность. Через пятнадцать лет все будут готовы. А если, не дай бог, я не сумею, предстоит постыдное умирание. Всем и всему. Учитель в силах вообразить. Один только он. А эти историки, физики, физкультурники, и она, из девятого Д... Она, которая смотрит. У шведской стенки напротив. Ладно. По крайней мере, ты не смотри. Пробежался, и хватит. Бросил в корзину. Довольно. Пора.

Вообще тем, кто опередил время, нечего делать в пространстве. Бедный учитель. Он тоже опередил, но слишком любит всю эту жизнь и ее обновление. А я знаю, что там и чем закончится эпоха великих научных открытий. Главное знаю, что там, за пределом. Или чего-то не знаю. И это неважно. Прежде всего, не могу и не хочу. Но там – главная тайна. Прорваться к ней любой ценой. Никто не поймет. Кроме учителя. Он боится. Напрасно. И не потому что нескоро. Пожалуй, пятнадцать лет это, я думаю, слишком уж много. Нет, не выдержу. Только бы сразу его убедить. И не сейчас. А то он совсем еще молодой. Он моложе меня. И счастлив, конечно.

Он счастлив. Учитель. И в этом все дело. Вот, оказывается, что произошло в его жизни. Вчера. Ну, конечно... Очень кстати – воображение математика. Программиста. Оно такое же, как у поэта. Или у мастера афоризмов. Психология математика может мне подсказать. И уже подсказала. Он счастлив тем особенным счастьем. И к нему пришла она. Та, о ком он так долго молчал. И вот учитель сразу подумал о сыне. Подожди. Совсем не так. Ну, ведь это же очевидно. Он и не знает о том, что подумал. Такое бывает. Призрак большой удачи. О которой лучше молчать. И только смотреть и любить. И сейчас он в учительской один – смотрит и любит. А продолжает он смотреть на меня. Хотя и не видит. Боже мой, как это здорово. И не объяснить никому. И не надо. А мне хорошо, потому что сейчас, наверно, я ему помогаю. И он вспомнит об этом дне. Вспомнит. Когда?..

Нет, не надо. Сейчас, математик, не вспоминай. Пусть он там, пока, один успокоится. Ведь я правду сказал – будет еще не скоро. То, чего он боится. И то, что я победил сегодня. Вчерне. И пока остановил мою мысль. А то получается формула. И это неверно. Отойди и забудь. Сядь в самый дальний угол у шведской стенки и понаблюдай, как девчонки играют. И как играет она. Он ее зовет Катериной. А я? Никак. Пытаюсь разглядеть и не вижу. Потерялась в команде. Дело в том, что я не люблю смотреть этот девчоночий баскетбол. Медленно, и очень много лишних движений. Она исключение. А сегодня совсем потерялась. А! Неужели это она. Там, у шведской стенки. Почти у кольца и корзины. Сидит в запасных. И даже не смотрит и не следит за мячом. Девчонки мешают игре. Тормозят прыжки и перелеты мяча. Надо не так. Все равно. Она сидит и не смотрит. Вижу на расстоянии. Пропала.

Вспоминаю, как это было. Совсем недавно. Здесь. В этом углу. На совмещенном уроке. Первый раз. Поединок двух классов. И вот я увидел ее. И сразу понял, что она будет смотреть на меня. Урывками. Искоса. И я себе запретил отвечать. Математик. И тогда она еще не была Катериной. Учитель ее не назвал. Мысленно. Про себя. Но я по его молодому лицу сразу узнал и догадался. И это было потом. А тогда... Запретил и как будто забыл. А потом еще раз. И еще, и еще. Запрещал и всегда выдерживал. И не вспоминал. А сегодня случайно и неожиданно вспомнил. Тоже не знал и подумал. Ну, встань, поиграй. Надо отвлечься. А где же она? Я не заметил. Там ее уже нет. Изо всех сил зажмуриваю глаза. Так, ради шутки. И вот странно. Тот же самый зал. И те же пробежки. Топот все тех же тяжелых девчоночьих ног. А кто-то совсем не слышно. Красивые затяжные прыжки. Показалось. Корзина.

Шум и шквал перемены. Раздевалка ребят. Где мой кшатрий. А почему я его так называю. Учитель сказал. И мне понравилось это слово. Хорош брахман. И не сказал, а написал на моей работе. Он все видит и знает. Мои афоризмы и его страшная притча. Надо поговорить. Да вот он – рядом со мной. Какой могучий. Повыше и посильнее меня. Это счастье. Ну, конечно, другое. Не то. Подожди. Всему свое время. А почему не то? Это все и есть моя удача. И все дело в том, чтобы ее удержать. И помешать иному. И все рассказать. Ему одному. Только ему. Я понимаю, он будет согласен. Притча. И еще немного. И он одобрит мой план. Ужас. Поговорим. Задача и притча.

Если перечитать афоризмы, с конца к началу, будет подсказка в решении моей неразрешимой задачи. Подсказка. Учитель не догадается. А вообще, я думаю, он уже давно догадался. И недаром торопится. Я бы тоже сразу поторопился. Прозорливая притча. Я не читал, но знаю. Проверим сегодня после уроков. Думаю, о ней учитель не скажет ни слова. Она дружеское предостережение мне. А ведь он еще не знает, что я задумал. Вот какая дружба. Честное слово. Повезло. И с учителем тоже. Но все бесполезно. И потому, что мы одиноки. Уже сейчас. И легко проверить. Мое поверяемо запросто. И с годами все больше. Я, учитель и он, мой друг. Мы якобы

встретились где-то. Спустия много лет. Готовые к разговору. Притча в том, что вдруг понемногу все исчезает. Одно за другим. И на что глянешь, то пропадет. Но еще много, много такого, на что мы не взглянули. Оно остается.

А эта моя внешность. Я знаю. На нее смотреть и смотреть. Хорошо. Насмотрелся. Не вижу себя. А они вдвоем тоже меня разглядели. Сидим. И вот причина спасения. А я ведь моими большими глазами уже давно все поглотил. Они безопасны. Эти мои большие глаза. Чуть какая-то. Очень уж просто. И напряженно. Как натюрморт Пикассо. Абстракция – повторное зрение. Остается то, на что нельзя поглядеть. Элементарно. И вот понемногу трое. Одни. Кое-что и в них пропадает. Выдержали испытание зрением. Живы. Доступны и недоступны. Хочется тронуть. Но это опасно. Замена глазам. Прикосновение. Лучше не надо. Замерли. Мысль отпадает. Она тоже замена. Вот мы такие. Трое сидим. А время длится и длится. И теперь уже бесконечно. Закреплено. Притчу пора кончать. А она не кончается. И это не формула. Что он еще придумал? Друг мой. Стоит многогочие. Вижу листок.

Жаль, что в разных классах. Надо бы с ним сидеть за одним столом. Не трое, так двое. Нет. Лучше уж сразу. Неправильно и негуманно – длить расставание. Попробую убедить. Но вот он рядом. Шкафчик открыт. Мы оба одеты. Перемена кончается. Вот мы повторяем движенья друг друга. И оба молчим. А это значит – слова не нужны. Как будто мы уже все друг другу сказали. Да, он согласен. И только третьего нет. Чтобы он согласился. Но ведь годы еще не прошли. И потом – учитель. Совсем другое. Он в любое время продолжает учить. И смеется. И головой мотает. И все-таки учит. А уже нечему. И незачем. И мы трое смеемся. И продолжаем. Постой. Погоди. Как-то сегодня по-молодому нехорошо. Ты набегался. Наигрался. А я сидел. И только пробежался однажды. И положил в корзину. Раз или два. И она глядела. А кто она? И что я сказал? Ничего. Но ты зря улыбаешься, притча.

Он согласен. Своей громадной рукой берет меня сзади за шею. Ишь ты какой. И я тебе покажу внешность. Ну ладно. Пусти. Не трогай. Ты все-таки не догадался. И я тебе объясню. Пробую. Начинаю. Ничего не выходит. Кто-то держит и не дает. Вот еще раз. То же самое. Слова не идут. Запретны. Он видит, как я стараюсь. Притча серьезная. Тут не до смеха. Мы в коридоре. У раздевалки. Слова и ноги никак не идут. Глупо. Ты, кшатрий, мог бы другим объяснить. Я бы тебе разрешил. Но никто не услышит. И ты сам понял не так. У меня проще. В притче ужас. А тут раз и готово. Потрогай меня и прощай. При выходе на площадку в дверях. Вот. Она. Проклятая внешность.

Торжество разума. А зачем оно – торжество? Невозможный вопрос. Они могут задать. И только со стороны. И только те, кто не понял. А он такой необъятный. Вопрос. Иногда он тебя настигает. Спросишь и вздрогнешь. И потом долго отходишь. Лучше не надо. Нет. Не требует объяснений. Оно, торжество. Испытать и увидеть при жизни то, что все равно будет когда-то.

Итог итогов. Бытие смертно. Мы все это чувствуем. И очень боимся посмотреть правде в глаза. И эта наша радость жизни, любовь и все остальное. И все это самообман обреченных. А я уже не могу таким оставаться. Проверил себя. Не могу. Все. Больше не возвращаюсь. А то, что люди не знают, это хорошо для них. Это спасение. Верующий не заметит, как исчезнет все бытие. А у них глупая вера в то, что материя неистребима. Я знаю правду. А вы не хотите – не надо. Мы. Друг и учитель. Довольно троих.

Внешность эфеба – вопрос и ответ. Возражение бытия. Казалось бы, для меня сильнее всего. Тут я сам себя отрицаю. Ну и что? Отрицаю. Но ты пойми. Одно дело – внешность, а другое – затейливая глубинная суть. Вижу, как жизнь во мне красотой эфеба защищает себя. Да, это, конечно. А я философствую. Ну, да ведь никто не узнает. А я и сам над собою смеюсь. Что-то вроде игры в баскетбол. И все вновь приходит ко мне. Запах кожаного мяча. Пронзительный запах пота. Совсем разный от разных ребят. Как положено. Природа старается. Женя, кшатрий. Но ты понимаешь. Она старается. Как любой человек. И даже я спасал бы мою проклятую внешность. Потому что еще не все решено. И до моего торжества нужно дожить. Поневоле стараешься. Очень затейливо. Красота эфеба радует жизнь. И отодвигает мой срок. Но я не дам. Кстати. Это я сам. И один одолею себя.

Прощальные прикосновения. Как-нибудь надо к ним привыкать. Многократно. Трогаю Женю. Какая сила. Не сдвинешь с места. И это здорово, что он всегда все понимает. Прощальное, а все равно радует мир. Никто не замечает, а радует. Мы вдвоем на лестнице. Нет, Катерина заметила. И все-то она видит, когда не надо глядеть. Не отвечаю. А Женя с ней в одном классе. И, как всегда, ноль внимания. Слава богу. Не предназначены. Да и я никому его не отдам. Он согласен. И вот я опять за плечо трогаю Женю. Он, как Толстой, ясновидец плоти. А там, из того же класса, аристократ. В воротничке и белых манжетах. Мы еще не знакомы. Первые месяцы нашей двухлетки. Все естественно. Все впереди. Не отвечаю. А ее уже нет. Убежала. Вот хорошо. Никто не глядит. Аристократ медленно отворачивается. Он будет совсем другой человек. Тоже в моей власти. Пока.

Перемена шумит и никак не кончается. Идет директриса. Она молодая. Но скоро умрет. Раньше учителя. Если вдуматься в это все, можно сойти с ума. Жалко всех. А ничего не поделаешь. Кто-то предназначен. Кому-то вложена способность решать задачи. А кому-то – исполнить одно. Подольше молчать. Пусть, кто хочет, все принимает в шутку. А молчать надо о том, что шуток нет никаких. Откровение, как сказал бы учитель. На самом деле – математический знак. Без формулы. И подтверждение – ежедневно. Все больше и больше. Опять Катерина. Там, у входа в девятый Д. Отпускаю Женю. Он идет неохотно. Лениво. Туда. А вот и учитель. Счастливый. Один.

## 8.

После уроков. Сидим в кабинете литературы. Из разных классов. Те, кого пригласил учитель играть в «Прометее». Кое-кто знает отрывок. А остальные – шаром покати. Историк напросился и сидит за последним столом. Пронзительный подозрительный взгляд. И тонкие губы. Не люблю. Все что-то выслушивает и высматривает. А волосы уже слегка поседели. Залысины, как рога. Не люблю заранее. И все-таки он очень талантлив. А девчонки – только я и еще одна из другого класса. Она совсем незаметная. А хочет играть. Кого? Неизвестно. Вот звучит «Прометей». Учитель по книге. Повторно. Еще раз. Мальчики в сборе. И, кроме них, еще любопытные.

В математической школе много ребят. Пока девчонок поменьше. Зато какие. А здесь. Пришли. Отдельно сидим у окна. Приятно видеть много умных ребят. Устали от математики. Или так. Не знаю. Вообще у нашего главного, Эмпедокла, устать невозможно. Все время задачи, задачи. Решай непрерывно. Их много. И кто как решил. Значит, с «Прометеем» что-то иное. А почему я не слушаю голос. Первый раз было иначе. В классе. И это не повторение. А многим – впервые. Что-то задело. Сцена Пандоры. И сразу на меня. Все, кроме Юпитера. И не надо. У него с Женей другая, короткая сцена. А у меня с Прометеем. И кто он – пока не известно. Оглядываю ребят. Учитель еще не выбрал. Думаю, выбираю. Пишу на белом листочке. Мысленно. А слова пропадают. Что он? Тот листок. А сейчас верлибры Гете заполняют пространство. Потом. Потом. Еще раз перечитаю. По памяти.

«Снегурочка». Любовь – это смерть. Сначала она умерла. А потом он разъяснил. Мне, Пандоре. У Гете очень уж откровенно. Арбар. Где он, и почему его нет? В тексте – вот он. А для меня – просто не существует. Зачем эта выдумка? Не буду играть. Опять – белый листок. Нет, вижу, он прекрасно читает все мои мысли. И сейчас, повторно, в голосе – то же знание. И он, конечно, не скажет. Потому что счастлив. И даже над книгой думает о своем. Но остается после уроков. Заметно. Вообще любой учитель – тот, на кого можно смотреть. А на ребят не стоит. Выдаешь себя. Уже с первых уроков. Математика. Физика. Литература. Запреты. Запреты. Ладно. Минерва. Это не я. У нее большая сцена с учителем. Слова заворожили меня и других. О чем говорят? О богах? О Юпитере? Или так. Показалось.

Ну, сиди и смотри. Только на него одного. Нет, надо оглядываться. И сразу все поймут, на кого. А на самом деле – по роли. Ищу Арбара и знаю, что не найду. Он сам отыщет меня. Вызовется. А историк охватывает взглядом. По очереди. Каждого, кто сидит. Ладно. Впивайся. Чувствую. Верлибры Гете понемногу добрались до нас. И до учителя. Голос его дрожит. Звук исчезает. Шепотом. Про то, что сны еще не сбылись. А он не уйдет в пустыню. И останется тут, на земле, со своими детьми. Удивительная тишина. Произносит шепотом. И в этот момент. Я мгновенно и незаметно. Взглядываю. Опускаю глаза. Увидали. И учитель на последнем слове, последнего монолога. Увидел. Отвлёкся. Ну, теперь одно. Буду, буду играть.

Мы никогда ничего не скажем друг другу. Юпитер с Меркурием. А я с каким-то Арбаром. Так у него. У Гете нет моего разговора с Юпитером. И как в стихотворном отрывке, будет и в жизни. Какой-то Арбар. А ведь Юпитер задумал свое. Задумал. И Меркурий объявит потом. И это будет мгновение смерти. Красиво. И очень верно. Когда-нибудь он придет. Этот миг. И сбудется все. Желанное. Страшное. Все. Вот и я уже заговорила верлибрами Гете. Очень легко. Но такое – уже не игра. Историк что-то хочет сказать. И сам останавливает себя. Таит улыбка ядовитых и тонких губ. Учитель дает ему слово. Но в классе безмолвие. Сначала решают ребята. А девчонки потом. Она. Незаметная. И я, живая Пандора. Они решили. Но я прослушала, кто и что говорил. Прометеев много. И каждый хочет. И это нормально. И только Юпитер и Меркурий заранее предназначены. Принято.

Минерва принята. Как интересно. Присматриваюсь. Незаметная. Удивительно. Это она. И никого не надо искать. Высокая. Не больше, не меньше. Красивый особенный рост. И такое бывает. Громадный лоб. Неужели учитель заранее выбрал? У нее маленькие глаза. Как и должно быть у нашей Минервы. Узкие плечи. А почему она встала? Он попросил? Ребята глядят и ее признают. Учитель согласен. Все, как задумано. Прометей попробуют. Поочередно. Шутки. Смех. Ничего не слышу. Неужели аристократ? По-своему, очень эффектный. Позвали. Сам не подумал бы и не пришел. Наконец учитель закрыл глаза и отключился на время. Замечала давно. Пауза, как на уроке. А сегодня очень уж долго. Он счастлив. Мы помолчим. Он приходит в себя и смеется. Мы глядим исподлобья. Тихо. Сочувственно. Хорошо. Провожаем его в счастливую жизнь. Отпускаю.

Никто не уходит. Историк исчез. Ребята спорят. О чем? Не могу понять. У Гете ожившие статуи. Но как они ожили? Минерва молчит. Она помогла. Ничего себе незаметная. Ребята глядят на нее, как будто мы ей все обязаны жизнью. И здесь что-то серьезное. Физики. Математики. А на самом деле – кто мы такие? Почему она. Получается, единственная, кому Прометей признается в любви. Но какое уж тут признание. Смешно. Вечная жизнь. Богиня. Любит отца и обманывает, и все ради него, Прометей. И это любовь. Может быть. Я не знаю. И в самом деле – она незаметна. Как воздух. А я опять позабылась и не слышу, о чем говорят. Все счастливые ошибаются. И почему его слушают. И Юпитер молчит. А он что-то задумал. И Меркурий с ним рядом. Профиль на профиль. Меркурий повыше, но когда сидят – получается вровень. Что со мной? Опять, и уже неотрывно, гляжу.

Учитель увлекся. Вопрос решен, а о таком отрывке можно поспорить. И тут чувствуется что-то очень опасное. Книга отложена. Он шагнул в середину класса. И внезапно все почему-то заговорили о том, что будет после. Фантазируют. А учитель не объясняет. Бледнеет и спрашивает. И ожидает ответа. И вот уже понятно, зачем внезапная тишина. Дело серьезно. Холодок пробегает по классу. Я как всегда отвлекаюсь и не слышу ответ. И, по-моему, никто его не услышал. Молчание. Прямо тайная вечеря. Но за окнами день. И сейчас четыре часа. И нас шестнадцать. А сколько их в «Прометее»? И неужели все, кто пришел? Они. Кроме тех, богов, и меня.

Создан театр. Неплохо. Но мы все равно одиноки. Возраст. В девятом классе. Уже другое. Двухлетка. И к тому же, два класса, и только в театре они собираются вместе. Кончилось первое наше сидение. Учитель, он кабинет закрывает на ключ. Так надо. А то я бы осталась. Одна. И на том же месте, где и сидела. Пустые углы. И меня позабыли бы все. И это вот и есть настоящая правда. Но ключ повернулся. И учитель вдруг почувствовал, что я в коридоре стою у окна. Подошел и о чем-то спросил. Отвечаю. Слова скрывают и все равно выдают мое настроение. А ему надо поскорее домой. Но как быть, если есть разговор. И что-то касается лично его. Неужели мой белый листок. Но мы знаем – о нем ничего нельзя говорить. А ведь я тоже думаю: здесь что-то особенно страшное. Кто объяснит? Нет, невозможно. Ключ дрожит. И только время подскажет. Наверно. Видимо, так.

Вообще, даже странно. Перестаю отвечать. Он понимает. И говорит, что хотел вернуть мне мой белый листок. Но раздумал. И оставит его у себя для какого-то важного дня. Нужно мое разрешение. Да, разрешаю. И он сразу торопится и уже не видит меня. Вот учитель. Два часа потерял. После уроков. И только затем, чтобы это спросить. И попутно «Прометей» и театр. Но все об одном. Признаю и сама себе ничего объяснить не могу. Любовь – это смерть. Вот единственное, что я понимаю. Остальное – время. И из-за него, из-за времени, так тяжело на душе. И к тому же мне пора возвращаться. Домой. Решать задачи. Ничего себе. Десять совсем заумных решений. Вот Юпитер с Меркурием наполовину. А я абсолютно одна. Разные каждому. Отвлекают. Эмпедокл. А почему Эмпедокл? Учитель ушел. В «Прометее» что-то есть для меня. Гете. Он разгадал. Мы не можем понять. Все целиком.

Вдруг Юпитер идет в коридор. Почему-то один. Отослал Меркурия. Или что-то другое. Пустой коридор. Мы вдвоем. Идет красивой походкой. Мы незнакомы. Пройдет мимо. Стою у окна. Напротив дверь кабинета литературы. За стеклом двери – мое окно. Смотрю туда. Подходит. Заглядывает сквозь стекло в кабинет. Ко мне спиной. Уже задержался. Оборачивается. Не успеваю. Видим друг друга. Никак не могу отвернуться. Вот его большие глаза. Первый раз обращенные прямо ко мне. Издалека. Все равно. И теперь уже надо знакомиться. Но мы далеко друг от друга. Что я забыла? А ты что забыл? Текст «Прометей»? Мысленно. Кого-нибудь ждешь? Нет, никого. Ближе и ближе. Вот он рядом. И все точно так. Никаких изменений. Слепительно. Говорить невозможно. А ему уже скучно со мной. Две секунды, и уже исчерпано сразу. Для него. А для меня. Трудно сказать.

Да и что? Не о чем говорить. А мы стоим. И это хуже всего. Для меня. А у него что-то странное. Он как будто принуждает себя. Он сжал свои красивые губы. И не дает себе отойти. Приказывает себе. И выдерживает молчание. А потом вдруг произносит. Отчетливо. Какую-то умную мысль. Ну, конечно. Он из тех, к кому всегда приходят умные мысли. Видит, что я ничего не услышала. Повторяет. Еще и еще раз. Есть на сленге обозначение того состояния, в котором я сейчас пребываю. Забыла слово. А он вдруг повторяет – и очень точно – какой-то свой афоризм. Что-то вроде того, что в сочинении. Я уже слышала эти слова. Они. Учитель мой читал на уроке. Сегодня.



Говорят, Гете был в юности феноменально красивым. И тогда в Германии - самым первым. И тоже большие глаза. Помню портрет. «Вертер» и «Прометей». Все одно. И вот Юпитер. Почти повторение. А сейчас, когда рядом со мной – абсолютно. У него в словах особая хватка. Не спутаешь. Он не боится говорить и писать на своем языке. Так любого парня можно узнать. По тому, как он говорит и какие словечки вставляет. У этого – сразу понятно – все правильно. Афоризм Господа Бога. Только очень уж странный. Никого ни о чем не спрашивай. Хочешь делать – будь свободен и не спрашивай никого. Погибнут люди. Но ведь и ты – вместе с ними. И никто не заметит и не поймает секунду. Паскаль не прав. Она, вселенная, осознает. И потому она – вместе с нами. Вот много слов. А у него одним афоризмом. Повторить невозможно. Ускользает. И это слова. Только слова. А он стоит ошутимо.

Как понять? Василий – царь. Базилевс. Или какой-нибудь Зевс. Что-то вроде Юпитера. Чепуха – распределение ролей. Почему он согласился. Не знаю. Вот когда близко, видно, кто он такой. Ни малейшей глупости. Презрение к форме. Прежде всего, своей. К тому, как он создан. И вот жесткая и страшная воля. В том, что глаза его могут быть неподвижны. И уж теперь в ответ смотри, сколько хочешь. Пользуюсь мало. Потому что воля отталкивает. И не только меня. Любого. А меня совсем. Толкает и приглашает. К тому, чтобы я ничего не видела и понимала. Ну, я понимаю. И спокойно смотрю. Он первым отводит глаза. И это совсем интересно. Кто я такая? Почему спокойна? Потому что сама не слышу, как спрашиваю о том, что он задумал. А в шутку теперь уже не получится. И он отвечает. Подробно и четко. Он уверен, что мне можно все рассказать. Почему так уверен?

Он кончил еще один афоризм и смотрит. Но вовсе не спрашивает моего разрешения. Долго, долго. А я гляжу на него и вспоминаю учителя. И мой белый листок. И вот удивительно. А ведь он, тот белый листок, ну, объясните, как это сказать, не от мира сего. Он без единого слова. А в нем ответ на любые слова. И на то, о чем спорили и не доспорили в классе. То, что случится потом. После нашего «Прометей». Вот оно. Простой белый тетрадный листок. Учитель, не отдавай. И я сама не отдам. Никакими словами. Только сейчас. И пока он отводит глаза. А потом не станет его. Говорю тебе, потому что он стоит и не слышит. И не услышит уже никого. Проклятая внешность. Он прошептал, когда проходил мимо меня в коридоре. У двери на лестничную площадку. По дороге сюда. Проклятая. Может быть. Но она спасение. Твое. А потом и учителя. И мое. И Гете. Которого нет.

Пока я шептала, он исчез. И продолжал стоять рядом со мной. А потом как будто назад возвращался. И опять уходил. То же чувство. Ровное и спокойное. Так у меня. И я не знаю, что будет потом. Оно продлится или исчезнет. Наверно, оно пропадет. И тогда все равно. Ведь в конечном счете он прав. Ничего не останется. И не все ли равно, когда. Бытие смертно. Вот что он сказал. Просто и ясно. Ответил мне. И что он задумал. А то и задумал. Оно. Такое открытие. Оно и есть его афоризм. А остальное – будет, не будет. Какое дело? И все на белом листке. Но там еще кое-что. Мы не дозрели. Даже Гете еще не дорос. Вернее, он уже там. Он там, где будет «потом».

Чем дальше от школы, тем больше в ней. Там коридор опустел. Но именно там все будет решаться. Вот, оказывается, как. Тишина в пустых кабинетах. И уже смеркается. Идти далеко. Но я не поеду. Все ушли. А то я бы осталась и не возвращалась домой. Здесь больше, чем дома. Ведь я понимаю мальчишек. И как они изменятся все. Они сейчас не такие. А я такая одна. Между прочим, никто еще не заметил. И я сама заметила только сегодня. Мы страшно сблизились и сразу, вдруг совсем отошли друг от друга. Так надо. Он прав. Посвященным положено отдалиться. Такое дело. И для меня оно – вместо любви. Но это и есть любовь. Предложено. И больше не будет встреч. Так близко. И так доверительно. Слово какое. Недавно учитель сказал. И полюбил это слово. И я полюблю. Не сразу. Может быть, поневоле. Согласна. И что же? Это вся моя жизнь. Хорошо, что недолго. Посвящена.

Седьмая линия. Дальше Андреевская церковь и Большой проспект. Перейти. А потом налево. Пешком. В Андреевском храме – богослужение. Показалось, конечно. Вроде бы слышу – поют. Нет. Не слышу. Там какой-то антропологический центр. Перегородки. Столы с зелеными лампами. Даже сейчас кто-то сидит, работает. Успокоительный свет. А за спиной скелеты. Большое окно. Вот вижу – там погасла последняя лампа. Темно. Пусто. Ушли. А поют в Никольском соборе. Прямо против нашего дома. Там. За Невой. Мимо сфинксов. По набережной. Нет. Почему-то мне почудилось тут. И я никуда не хочу. Возвращаюсь к Андреевскому собору. На том углу. Где угол панели. Стою. И вдруг проходит она. И незаметно крестится на углу. Быстро. Но я заметила. Это, конечно она. Молодая. Счастливая. Вот еще раз перекрестилась. И поспешила. И я невольно иду по ее счастливым следам.

И не тороплюсь, и вспоминаю одна ее выражение. Придумываю. Иду понемногу. Трудно сказать. Но было в ней что-то. Я полагаю, они всегда будут вместе. А то иначе Арбар. Пустота. Нет, никакого Арбара не будет. Вот он идет мимо. Прямо навстречу мне. Похожий на то, что нужно. Мы незнакомы. И не познакомимся. А он, когда мы готовы уже разминуться, так посмотрел на меня. Прощел. И не оглядывается. Еще бы. Никаких встреч. И никаких знакомств. После того, что было сегодня. И никаких Прометеев. Гете не подойдет. Он исчез, мне поручив последнее слово. Оно в его жизни будет последним. Воображаю мгновение. Каким оно будет и где. Вот о чем надо писать отрывок. Но это все есть на моем белом листочке. А он у учителя. Да. Последняя минута в жизни Юпитера. Вот когда он поймет, что сотворил и о чем, посвященные, мы хранили молчание. Мы сохраним. А он?

По счастливым следам. Расходимся. Но я на другой стороне Большого проспекта. Брожу взад и вперед. Очень медленно. Так, чтобы я сама не могла подумать. На той стороне трехэтажный дом с полукруглым фронтоном. Вот зажглись два окна. Вижу. И сразу в ответ вспыхнули еще. В комнате рядом. Значит, она пришла. Они счастливые люди. Все будет. А за спиной у меня он, только что отстроенный дом. Как будто не знаешь. И не притворяйся. Беги поскорей. Пока тебя не увидели. Кто-то из них. Там его зеленая лампа. На уровне третьего этажа. Увидит. Подумает. И ошибется. Нет, не увидит. Гете. Брожу. И уже совсем потемнело. Звезд не видно. Сумрак и холод. Зима.

## 9.

Свадьбу сыграли. Несколько раз. Одну и ту же. В нашей отдельной квартире. Повторно. Для тех, с кем приходится поневоле проститься. И не для них. Для нас. Вместе с ними. Разумеется, никаких расставаний. Просто наступила новая жизнь. Они. Ученики прошлых лет и те, кто согласился играть в «Прометее». И мы понимаем: больше у меня свадеб не будет. Вот поэтому дважды. Одну и ту же. По-разному. И раз навсегда. Фарадей не пришел. Но его окно светилось на той стороне Большого проспекта. В новом доме. Там у него отдельная комната. Я уже знаю. Ну и что ж? Он и не должен был приходить. А Минерва пришла. И Пандора. И Меркурий с какой-то особой смущенной улыбкой. Было весело. Один только чай. Пирожки.

Говорили о шестидесятых годах. Первая четырехлетка. Выпустил восемь классов. Сразу – литературное объединение. И вот «Прометей». Вдобавок и неожиданно. Прежние ребята ревнуют. Присматриваются к новым. А я уже умею так повернуть, чтобы никакого раздражения друг против друга. Это нетрудно. Просто их много. И они такие. Согласились. Но и я научился. А мы спорим о том, как быть с эпохой, которая нас окружает. «Прометей». Пока идут репетиции, и в жизни, когда мы вместе. И вот скажите, что будет... Мнения разделились. Но никому не страшно. А что ожидает? Разницы нет. Вы не правы. Кто конкретно? Помните, как мы остались после уроков? Прометей, Прометей... И заговорили о том, что сейчас. Продолжаем. И опять ничего не понятно. Тогда был Юпитер. А теперь вот он уже не пришел. Женя знает, где он. И еще кое-что знает. Легко быть Меркурием?

И вдруг Меркурий заговорил. Тихим голосом. И все замолчали. Он вообще непростой. Немного словен и очень оригинален. Усмехается. И всегда вопреки учителю. Добавит. И опустит голову. И глядит исподлобья. Такой громадный. Гете ходит и смотрит прямо. А этот. Короче, все притихают, когда он говорит. Вот и сейчас. Он знает, кто останется победителем в поединке. А что ты имеешь в виду? Какой поединок? Начал, так уже договаривай. Нет, понимаешь? Никогда ничего не скажет определенно. Темнит. А всегда интересно. Победители уже сидят за этим столом. Что? Не расслышали? Да, сидят. И вы сидите. Боже мой, что происходит. Учитель опять бледнеет, как было тогда. Вообще репетиции тоже у нас обрываются. Только начнет получаться. Как вдруг обрыв и конец. Что это значит? И кто обрывает? Понять невозможно. А вот сейчас... Он. И больше никто. Женя.

Аристократ – Прометей. Утвердился. А сейчас опоздал на свадьбу. В воротничке и манжетах. Держится прямо. Голову немного закидывает назад. Роль Прометея – абсурд. Но он хороший артист. И это надо признать. Каждый раз напряженно. Волнуется. Вот и сегодня. Садится рядом с учителем. Нашел Пандору и улыбнулся чужою улыбкой. Она отворачивается и глядит в какую-то пустоту. В малой комнате. Уже нет стеллажей. Голые стены. Библиотека там, в большой проходной. Лабиринт. Среди полок легко заблудиться. В

прятки играть. Никто не пытается. А здесь, в малой комнате – пустота. И раздвижной стол. Что будет здесь? У этой стены. Вдали от книг.

Мою Наташу ребята знают и любят. Она приходила. Вела кружок по физике. Все получалось. Потом на два года пропала. И все равно ее ждут. И даже те, кто не знал. О ней слышали. И вообще все известно. От выпускников и учителей. От меня, хотя ведь я ни слова не говорил. Ни в Лито, ни на уроках, ни на репетициях. Жизнь устроена так. Мы дышим и не замечаем. И когда-нибудь я стану вспоминать и жалеть. И завидовать времени. И только тогда мы поймем, что на самом деле наша любовь абсолютно и всегда радует всех. Знают и радуются. Точно. И скажите – кто это прервет и зачем. Такого не будет. Потому что не будет уже ничего. И вот всерьез бы такой разговор. Прямо на свадьбе. Меркурий глядит исподлобья. Он больше не скажет ни слова. А остальные догадываются. Но попробуйте осознать. Вообще не войдет ни в какое сознание. Оно. Предвестие поединка.

Из учителей – сначала только одна. И она не физик и не математик. Она, конечно, постарше меня. И к тому же... Да. Мой защитник и покровитель. Если она рядом, то все в порядке. Она устроитель свадьбы. И одной, и другой. Давно ожидала. И решила, что нужно сделать повторно. Для нее и ребят. А другие придут, кто захочет. Сначала она одна. А потом уже мои самые любимые учителя заглянули. Почти педсовет. Чай, пирожки. Шум. Разговор. В общем – тридцатая школа. Историк и Эмпедокл полагают, что они со мной еще не очень знакомы. Поздравят иначе. А есть и те, кто мысленно вместе с нами. Нормально. Изобилие на столе. Веселье в полном разгаре. Наташу любят. И соболезнуют ей. Потому что главная тяжесть. И все на ней. А мне, как всегда, облегчение. Ну и к тому же характер. Уроки – одно, а другое – семейная жизнь. Моя Наташа спокойна. Она уже испытала.

Шестидесятые годы – конечно, веха в истории. Это видно уже сейчас. Приятно быть на подъеме и на вершине. А туда еще нужно подняться. Аббатство Телема. Делай что хочешь. Вот мы и делаем. Пробуем. Что, ребята, притихли? Неправда? Что-то не так? Естественно. А вы захотели иначе? Все равно. Воздух эпохи другой. Дышите и будьте свободны. И слава богу. И не надо расспрашивать и погружаться. Хотя бы на свадьбе. Да, к сожалению, поединок уже неизбежен. И потом вы все равно увидите все по-другому. Время придет. Мы только так. Предчувствуем кое-что. Слушаем юность. Да? И студенты согласны? Разговоры, как у Рабле. А вернее, он вообразил нас. Отчасти. И не до конца. А оно, бытие, на подъеме. Учитель скажет... И невольно подумаешь, как понимать. Шутка. Еще. И вот из урока в урок. Шутим. Здорово. Нет, не глупость, а просто ничего не понятно.

Звонок. Иду сквозь темный лабиринт стеллажей. В прихожей свет. Открываю дверь. На пороге он. Юпитер. Я понял, что он придет. На той стороне Большого проспекта погасло окно. Видимо, он решил. И не так просто. Что значит? Нет, ничего. Снимает куртку. Проходит. И как всегда, незаметно. И на том конце стола. Прямо против аристократа. Получается,

против меня. Моя Наташа на него обратила внимание. И вздрогнула. А я пожимаю плечами. Ну, как объяснить, кроме того, что он мой ученик? Фарадей. Гете. Юпитер. Он пока еще не был ни на одной репетиции. Ждали. Не приходил. Он раздумывал – играть, не играть. Но сегодня ясно. Пришел.

Вечер. Понемногу ребята уходят. Учителя остаются. Фарадей медлит. Не видит. Не слышит. На него оборачиваются. Взрослые разговоры. Где Меркурий? Шум другой. Но как будто поколения продолжают сидеть. Студенты. Недавние выпускники. И вот Фарадей и Меркурий. Как будто нарочно. Молчат и не переглядываются. Они хотят услышать весь разговор до конца. Учителя откровенны. Делятся по трое. Вдруг. Оптимисты. И те, кто утратил надежду. А вам не пора? Ведь завтра уроки. Нет. Суббота. Второй выходной. Василий, Гете, вовремя решает задачи. В понедельник. В день, когда их дают. А потом друг Меркурий. Для раздумий неделя свободна. А чего вы молчите оба? Как заговорщики. Оптимист Василий. Ну и Женья, конечно. Гермес и Меркурий.. Что? Оптимизм для тех, кто готов полюбить отсутствие бытия? Подожди. Что это значит? И ты готов? Нет, невозможно.

Слово сказано. И уже отменить его не может никто. А Фарадей молчит и глядит в пустоту комнаты. А за столом справа место, где сидела Пандора. Ей далеко. До Никольского собора. Ушла раньше других. Наш Гермес взялся ее провожать. Отказалась. Взглянула на Фарадея и вышла. Но как будто сидит. У нее тоже большие глаза. Прометей-аристократ не выдержал и простился. Раньше. За полчаса. Место рядом со мной опустело. И никто не смотрит. Чувствую, что-то уже решилось. В этой комнате. Фарадей. По-моему, он похож на молодого учителя. Просто моложе меня. А уже за три месяца в девятом классе одолел Эмпедокла. И постигает. Физические законы. А они меняются в живой природе. Поправка Пришвина. И вот все равно – стоит учиться. Литературе одной. Остальное доступно. Может сам объяснить. Еще бы. Непрерывная мысль. А сегодня вечером – новый шаг. Учитель – рядом.

Эпиметей. Брат Прометея. Большая, длинная сцена. Как без нее играть? А у Гете он самый главный. Но это потом. А сейчас Эпиметей похож на Меркурия. Он крепок задним умом. И надо учителю подсказать распределение новых ролей. А то где Мирра, подруга Пандоры? А где он, кто строит хижину, и тот, у кого отбили козу? Конечно, учитель задумал, чтобы мы сами наводили порядок. И поправляли его. Отрывок прекрасен. Он победит, и он подчинит замыслу Гете весь театр. Уже о репетициях говорят. Читают и перечитывают оба действия. И вот интересно. Позднее Гете пишет «Пандору». И тоже ее не кончает. И как-то на уроке об «Отцах и детях» учитель уже намекнул. Я прочитал. Дважды и трижды. И слегка запугался. Плохо. Надо ставить оба отрывка. А на это уйдет целая жизнь. То, что есть. Остальное допишем. Я уже начал. И вот не являлся на репетиции.

Эпиметей. Пандора одна. Супруга. Сейчас не знает об этом. Арбар не при чем. Возлюбленный Мирры. Оба счастливы. Коротким счастьем любви. Они первобытные люди. Мы остаемся такими. А у Пандоры с Эпиметеем – семья. И младенец. Думаю. Все надо сыграть. А потом повторим первый отрывок. И

пускай он дважды. Как свадьба учителя. Решено. Подскажу. Отвлекает. Прямо перед уходом. А то очень уж сокрушительно работает мысль. И вот все ближе и ближе. Цель. Ускорение. Попродержать. Учитель поможет. Оптимисты и пессимисты. Они уже догадываются и не знают, что все решено. Или почти. Работы хватит. Еще на пятнадцать лет. А потом...

Ну вот они, эпохальные строки. Учитель читает. Прямо на свадьбе. И каждый из коллег и студентов избирает себя. Так и сказал – спасительно. Прямо по строчкам. Ну, кто начнет? Один и другой. И оба, разумеется, повторяют, что Бог поможет ускорить волевое решение. И больше никак. Оно, старшее поколение. И это шестидесятые годы. Молодая жена готова перекреститься. Очень заметно. «О небо, если бы хоть раз Сей пламень развился по воле, И, не томясь не мучась доле...» Напрасно. И вот уже слово берут оптимисты. Конечно. Воля прежде всего. А не будет ее, Бог не поможет. Она и есть божество. К ней обращение. Вот наше небо. Студенты согласны. Филологи. Математики. Все, кто кончил в прошлом и позапрошлом году. Мука, томление – грех. Вон какие успехи. Романтика шестидесятых. Синтез материи. Всей целиком. Бедные, бедные оптимисты.

И только один я избираю последнее восклицание. Если бы воля и судьба помогли и я просиял бы и погас, наконец. Произношу. И сразу все понимаю, что не один я. И ничего себе свадьба. Но ведь это уже посерьезнее. К тому же, не я, Тютчев сказал. Просиять и погаснуть. И то, и другое объединилось в последней строке. Нет ничего. Одна секунда счастья и полный конец. Но мое мгновение длится. Когда я томлюсь и мучаюсь поиском формулы. Фарадей. А он без формул. Найдет, наконец. Погаснет и просияет. И его негромкий голос лучше иных доказательств. Жаль наш Эмпедокл далеко. А то бы он возразил. Но и его слова повисли бы в воздухе. Над столом. Одни пирожки. А их уже почти не осталось. Надо попробовать. Надкусить. Приобщиться. А то подумают. Они дураки. Надкусываю. Приобщаюсь. А учителя гуляют по строчкам всего стихотворения Тютчева.

Кому-то в молении о чаше ближе слабость Христа. И в этих четверостишиях. Однообразие воли. Такого быть не должно. Постепенное угасание. Учебный год. Один за другим. Тяжелее всего. А университет – повторение. И учителя понимают, что надо не так. И поглядывают. И говорят, что кто-то один. Когда-нибудь. Ну и что? Вот он сидит между нами. И ничего. Природа вложила такую мощь охранения и преодоления. В каждого из тех, кто родится. Если до сих пор никто не смог, значит и в будущем не сумеет. Преступления – да. Убийства. Истребление поколений. Целых народов. Но это мелочь по сравнению с тем, что задумано. Все удастся. А что-то не будет позволено. И никто не отважится. А если... Ну, тогда вмешается кто-то один посильней человеческой воли. Вот как ответил бы Эмпедокл. А учитель – не знаю. Пандора ушла. Комната опустела.

Красивое лицо невесты, жены учителя вдруг выразило что-то непонятное мне. Поневоле смотрю. Что-то совсем особое. Теоретически знаю. Только что разглядывала меня. Мы незнакомы. Я понимаю. Как вдруг. Черты ее

дрогнули. Вспыхнула. Изменилась. Опускаю глаза. Подымаю. Ухожу в себя глубоко. Учитель встревожился. Гости зашевелились. Пора уходить. Да, мгновение. То. Ради которого. Боже мой, какая сила и власть. Понимаешь и обнаруживаешь. И она узнала впервые. И я подглядел. И учитель почувствовал. Да, накануне. Оно состоялось. И только теперь. Только теперь. Поняли трое. Сначала она. А потом и мы. Да, будет ребенок. Будет мой враг.

Как все почувствовали. И засобирались. Они. Свидетели счастья. Вторая свадьба. А между второй и первой промежутки – три дня. И вот совершилось. Торжественно. И такого еще не бывало. А если порой совпадает, никто не догадывается. А жених и невеста. Их тайна. И, вероятно, все дело во мне. А почему я первый, кто посвящен. Понятно. Их ребенок. А я – кто такой? В этом доме. В комнате. Там. Где поставят кровать. Мне казалось, минует меня чаша сия. Пришел убедиться. Нет, не минует. И если есть Бог, то это сигнал. Но ведь Бога нет никакого. Или не будет. И что же? Они говорят, что природа вмещается. Или что-то оттуда. Но простите. Уж кому-кому, а мне известно, что будет через пятнадцать лет после кануна свадьбы. И после мгновения. Ради которого... Да, оно состоялось. Можешь не сомневаться. А теперь и у тебя новая жизнь. Прямо по Фрейду. Младенец. Мой ровесник.

Перехожу Большой проспект. Поворачиваю влево. Парадная. Родители заждались. Но я им сказал. И они не волнуются. Музыканты. Их удивить нелегко. Я приглашал их. Они отказались. Было бы, может быть, все иначе. И я все равно бы заметил. Но эти выдумки. Свадьба. На скрипке играть. Нет, они умные люди. Шум за столом в такие дни – вариант особенной тишины. Той, какая нужна. А вот мелодия Глюка помешает мгновению. И узнаванию. В общем ладно. Перехожу тротуар и первый раз не чувствую тело моим. Удивительно. Первый раз. Что такое. Я уже привык, что оно принадлежит исключительно мне одному. А тут что-то совсем невозможное. Отдельно. Вовсе отдельно. Иду. А оно само собой вступает на лестницу. Освобождаюсь от внешности. И ничего. Легче думать. И вот каждый шаг приближает решение. Даже страшно. Легко и знакомо. Вот как надо. Но это не все.

Ха. Интересно. То, что я сегодня узнал, облегчает. Как же? Теоретически – наоборот. А на практике, в жизни, оказывается. Что же? Я совсем другой без этого тела? Вот чему надо учиться в школе. Такому, как я. Но дело в том, что оно все равно существует. Рядом со мной. Повторяет мои движения. Мысли. Решения. И ему так же легко без меня, как мне без него. Сейчас мама увидит. И под ее взглядом все успокоится. Выпрямляюсь и открываю дверь на втором этаже. Темно. Включаю свет. Незаметно, в том состоянии вхожу в мою комнату. Одновременно. Отдельно. И включаю зеленую лампу. Комнатка маленькая. И как раз для меня. Отсюда видно окно учителя на той стороне Большого проспекта. Мы синхронно. Там такая же лампа. Но пока светятся четыре окна. Еще бы. Гости ушли. Стол опустел. Мысленно прибираю. Вытираю мокрой тряпкой и сдвигаю обеденный стол. Отдыхайте.

Как я легко породнился. Прямо фантастика. А мне очень важно вновь

собрать меня самого. Пришел, и отчуждение мешает. Вот что значит собственный дом. И у меня порядок. И я как будто готовлюсь жить до конца. В таком же спокойном зеленом свете. И потолок очень высокий. Пандора. Такую девчонку попробуй найди. Я ей сказал. И ошибся. Она поняла, что это все не пустой афоризм. И выдержала. Но на какой-то миг потеряла сознание. Стоя тогда у окна в коридоре. И сразу вернула себя. Как я. Не успела упасть. А я посильнее. Могу ходить. Одновременно и параллельно с тем, что от меня отделилось. Никакой фантастики. Вот моя зеленая лампа. Вот я целый опять.

## 10.

«Прометей» поставлен. Оба спектакля. В кабинете истории. Самого историка не было. Отговорился. Но зато пришел методист. Прометей сквозь его пенсне. Интересно. Теперь положение мое укрепилось. Акции выросли. Выражение завуча. Пять открытых уроков. Гроза миновала. Бой впереди. Большой поединок. А сейчас – наша победа. Наш «Прометей». А что? Мы тоже творим шестидесятые годы. Пока неясен масштаб. Но с каждым днем больше и больше. И одновременно творится иное. Оно победит к семидесятым годам. Уже сейчас масштаб театра превращается в миф. Подумаешь – постановка. А методист объяснил. Понял. И пропал навсегда.

В кабинете истории не продохнуть. Сидят. Стоят. В проходах. Зеленую доску занавесли задником. Перерисовка пейзажа Пуссена. Как у Гете в первом акте «Пандоры». Фарадей настаивал, чтобы мы ее тоже сыграли. Но я воспротивился. И растолковал, что это очень слабая вещь. Неужели не видите разницы? Он увидал, и живая Пандора со мной согласилась. Тем более там, у Гете, она еще только должна появиться. Нет, неудачно. Зато наш Прометей – вызов. Аристократ превосходен. Именно. Он выше себя самого. И чувствую – каждый из ребят может сыграть Прометея. Какое счастье. Все на сцене в античных костюмах. Придумали. Каждый себе подбирал. Но самое, самое важное. Аристократ. Ну, совсем, совсем не похож на себя. И это он. Узнаю. И дай бог ему долго не выйти из роли. Хочу сказать. И забываю. И снова. И вот. И, в общем, если короче, – все идеально.

Учителя на первом ряду. И я между ними. И как ребенок во время войны. Блокада. И все вокруг защищают меня. Точно, точно такое. Бывают минуты. И вдруг со всей удивительной простотой – замысел Гете. Впервые. Милости просим. Репетиции полгода. И только сейчас. Оказывается, вот оно что. И не надо никаких мыслей и слов. Ничего не надо сейчас. И всему свое время. Боюсь, оборвется. Не бойся. Не пропадет. Понято сразу. Потом. Потом. А пока живи. Первый, второй и тот монолог Прометея. Он еще впереди. Монолог. А я уже слышу. Правильно. Да. И в этом замысел. Очень простой. Но как получается. И все они чувствуют себя отдельно от себя самих. И на какое-то время. Пока произносят слова. А это очень важный момент. Не превзойти себя, а отделиться. И потом сразу назад. Сразу. И ничего не потеряно. И они все понимают. И это и есть игра. Больше и лучше.



Но тут я вдруг замечаю – Миша, аристократ, произносит свои слова. Не те, что у Гете. И совсем незаметно. Забыл и придумал. Нет, не так. Еще и еще. Первый раз все было в порядке. Помнил и знал. А сейчас. Закинул голову. Смотрит на меня и продолжает. Ужас. В такой момент. Набор слов. Или нет. Не набор. Что-то свое. И понять не могу. И не хуже Гете. А что он сказал? Монолог восстановлен. И когда-нибудь взрослые начнут говорить стихами. Детская выдумка. Она состоялась. А я бы не мог. Дальше не помню. Голос Миши перекрывает все реплики, все голоса. Ничего подобного не было. И не поет, говорит. А вы понимаете, что он сказал? Еще раз. Шепотом.

Да. Открытие. Аристократ. Первое представление уже встревожило и насторожило меня. Кого? Меня, учителя, или каждого из тех, кто играл? Или тех, кто сидит в первом ряду. Вижу, все они или почти что все на второе представление явились повторно. И еще бы пришли. Но трижды нельзя. Аристократ, Миша, не сможет сыграть. Начнется актерство. Невольно. Да, в школе. Закономерно. Два раза. Не больше. Ну, так вот уже в первый раз что-то в нем началось. А сейчас... Какое-то чудо. Собственный текст. Экспромт. Нет, готово заранее. И он об этом не знает. Само получается. Вот Прометей. Именно так. Уже в сотый раз повторяю мгновение. В сотый. А сейчас всего лишь второй. А для него – в первый раз. Какие слова! Точно по Гете. А потом. Открытие. Повторяю. Пока происходит. Себе самому. Первая сцена с Меркурием. И окончательный монолог. Все едино. И все заново. Сразу.

Шепчу по-немецки. Не помню. Подлинник. Нужен мой перевод. Меркурий говорит о том, что родители, боги, уступают сыну Олимп и хотят, чтобы он правил землей. Да? У Гете не так. Брат. Но, в общем, верно. Меркурий, как всегда, исподлобья. Он произносит, зная замысел. Прометей понимает. Ловушка, устроенная богами. Согласись – ты обречен вместе с землей и небом превратиться в ничто. Апофатическая мифология. Богов нет. Потому что есть одно бытие. Только оно. А боги его сотворили. Значит, они вне бытия. И значит, их нет. А тогда причем тут власть над землей и Олимп? Аристократ-Прометей разгадывает обман. И уже теперь он промыслитель. Из глины создать человека. Боги смеются. А он создает. Но им невдомек, что будет. Поиграли в бытие, и довольно. Уже обманули. А человек – нечто иное. Вот. Гете опережает шестидесятые годы. Миша со мной. Бытие. Мое бытие.

Зачем по-немецки? И без того хорошо. Тут его мастерская. Вот кабинет истории. Много народу пришло. И все обмануты. И все оживают, узнав про этот обман. Миша ничего не боится. Но поглядывает со сцены. И не на меня одного. Понимаете? Вы еще не родились. Помешаем богам. Какие прекрасные формы. Из глины. Аристократ понимает. И все понимают. Стыдятся. Чувствую, в первом ряду. Сиди. Не оглядывайся. Оно так и есть. И неловко. И вдруг пробегает по залу ропот. И все заметили что-то одно. А Прометею неловко и нелегко. Он оглядывается мгновенно. И ничего. Пока все в порядке. Бывает. А что, в самом деле? Гете. Оживает. Один. И мой замечательный текст. Он куда-то пропал. А ведь это бессмертие невыносимо.

Попробуй. В небытии. Оживаешь. И каждый раз. Глина. Прекрасная форма. И тут исчезают слова. По-немецки. Мои другие слова. Исчезают.

Понятно. Доходит не сразу. Прометей усмехается. И опять строки верлибра. И вновь ропот – по залу. И обрыв. Тишина. Трогают. Возвращают. И не дают позабыться. Непомерно тяжелое состояние. Тут. На границе миров. Надо уж где-то в одном. Помню, когда уходил, мне показалось, рядом с креслом, прямо у ног, на полу, страница, рукою Шиллера. И я прошептал, что с этим листком нельзя так обращаться и ронять его на пол. А потом я попросил больше света и ушел в ослепительный свет. А где же мой Прометей? Он прав. Хотите жить, не давайте себя обмануть. И тогда. Одно такое мгновение жизни стоит многих десятилетий.

Не давайте себя обмануть. И тут я боюсь, что будет, когда на сцену выйдет Юпитер. Но это нескоро. А пока еще одно открытие. Сцена с Минервой. Какая красавица. На репетициях и в первый раз было не так. И тогда она пыталась уладить конфликт-поединок. И скрывала она тогда свою любовь к Прометею. Скороговоркой. Высокая. С гордо поднятой головой. И без всякого шлема. А теперь. Что случилось. Несомненно. Это любовь. Меркурий украл у нее отцовы слова о том, что боги отдадут Прометею Олимп. Как удалось? И я не заметил. А сейчас она их повторит. И уже знает, что это обман. Конечно. Юпитер ей поручил. И она обещала. И скажет. И вот когда единственная в жизни любовь может выдать себя. И выдает. И Минерва слегка запинаясь и громко повторяет и произносит чужие слова. А в зале смех узнавания. И Прометей смеется. Долго и весело. Дольше нас.

А тот листок, рукою Шиллера, лежит на полу. И я не могу объяснить, как он мне дорог сегодня, в последний час перед концом. Понимаю, что это преждевременно для учителя. Но у меня время кончается. И я не могу откладывать и хочу прочитать. Вижу, он белый. Рукою Шиллера несколько слов. Два или три. Но зато какие. Наверно, все-таки это мои слова. И его рукой на белом листе. Вот не думал, что придется так уходить. Дальше – бред. И проблески прежней воли. Встань поскорее. Знобит и уводит. И ни один миг ничего не прибавит. Согласен. Уже невозможно. А я успел. Или еще успеваю. Плед на ногах. «И все вокруг тебя в ночи крушится. И чувства тмятся...» Нет, пока еще осторожно. Воля моя. Больше света. Откройте окна. Вижу. Вижу его – мое молодое лицо. Наивная молодость. И сентиментальная старость. И опять она - собирается мысль. Ты не упусти.

Минерва протягивает руку. А Прометей невольно отступает назад и замирает на месте. Он сам. И только теперь он видит Минерву. Можно ее разглядеть. И неожиданная долгая пауза. Вот что такое. Минута, и вдруг Минерва на сцене одна. Прометей не уходит, а как будто бы он пропадает и, спустя миг, появляется вновь. И при этом неотрывно глядит на нее. И она не обманывает. И, наконец, узнавая друг друга, оба на сцене. Бытие спасено. В самом начале. Еще до первого рождения человека. Ясно каждому. И любовь

сделает все. Прометей немного боится. Афина берет его за руку. Отворачивается. Он отступает. Но она его крепко держит. И не выпускает. И, конечно. Прежде на репетициях этого не было. Прометей неизменен. А она шепчет в ответ на его слова: «Так мыслит мощь». Опасная реплика. Что-то комическое. Вот сейчас пробежит по залу смешок. Пауза. Тишина. Любовь.

И тут почему-то выходит Юпитер. Ничего такого на репетициях. И вопреки моей режиссуре. Выходит, и сразу все становится ясно. Меркурий за ним. Что это? Бунт против меня? Или все – как надо. Придумали сами. «Так мыслит мощь». И все они встретились. Могучий Меркурий. И Гете-Юпитер. Вот когда внешность его засияет сразу в полную мощь. И так ясно. А при его появлении. Что? Свидетели? Подсмотрели. Меркурий уведомил. И сам будто второй после Юпитера. И никто не должен обнаружить их в этой сцене. Любимая дочь изменяет отцу. И замысел под угрозой. Но Минерва и Прометей оборачиваются. Помедлив, Юпитер отводит свои большие глаза.

Я не знаю, что делать. Но вижу – все хорошо. Никто не будет сверять. А лучше бы сверили. Нужна хорошая память. А по сути, наконец, они заговорили со мной. И еще скажут. И это их право. Но что они говорят? Вот сейчас будет сцена Юпитера и Меркурия. Фарадей не уходит. И недаром он возник раньше времени. И вот он ждет, пока Прометей и Минерва исчезнут. А они дышат и не исчезают. И как будто зал обязан решить, кому пропасть и кому оставаться. Но никто не может решить. И к тому же Прометей и Минерва скованы появлением главного бога. Дверь со сцены одна. Понимаете, нужно пройти мимо Юпитера. У него за спиной. Неверная дочь сама должна увести бунтаря. А они такого не сделают. Оба. И вот что значит нарушить хорошо продуманную мизансцену. И я опять не знаю, что делать. Но вижу – плохо. И не надо сверять. Уж на этот раз Юпитер – хозяин текста.

Он берет на себя роль Гете. И один, и никого не спрашивая, легко становится им. Статный. Красивый. Как молодой создатель «Вертера» и «Прометей». Уже сейчас он Юпитер. А что будет потом. И Прометей от него отдельно. И это не самое важное. Кое-кто в зале узнает молодого Гете. Неужели? Да, это он. Подобран. Какое подобран? Что-то не так. Но точно. Бывают природные случаи. Так вот взять и легко появиться. А кто-то один из ребят узнает и не скрывает. И по залу опять пробегает ропот. И друг другу передают. И вот уже все признают. И я поневоле свидетельствую. Точно. Он. И неужели разгадка. Вот что значат слова о том, что оно, то самое, будет нескоро. И пожатые руки. Ну конечно, у Гете впереди – целая жизнь. А вы хотели бы вместе с ним уйти. Вероятно. Будет нескоро. А пока в зале. Понятно и хорошо. Оборачиваюсь. Чтобы отвлечься и не видеть Юпитера.

Вот. За чертой. И я бы мог сказать очень много. Еще не поздно. Усилием воли. Уже не пускает меня. А я еще там. И уже за пределом. И все равно я вам сейчас объясню. Кому? Исчезают не сразу. И уже не слышат. Соглашаются и пропадают. Не принимая меня. Вы забыли? Придется принять. Последняя вспышка в небытии гениальна. Вот разгадка всех предельных и запредельных

метаморфоз. А перенести назад я уже не успею. Или вот. Есть возможность. Она в природе самая окончательная. И труднее всего – захотеть. А потом волевое движение. Времени хватит, когда его уже нет. И не надо никаких звуков, провалов, пещер. И никакого света в конце. Что? Удастся? Да. Вот уже слабый вдох после выдоха. Движение брови. Кровь заработала. Еще немного – открою глаза. Вижу со стороны. Нельзя. Только оттуда. Из себя. Изнутри. Дрожащее веко слегка приоткрылось.

Второе. Не отвлекайся. Не упусти. Будет о чем рассказать. Ну, еще. Ну, совсем. Ну, окончательно. Выкарабкивайся. Вновь чувствую. Веки. Нос. Губы. Руки. Опять мои тонкие длинные ноги. Говорят, мое тело юноши. Да. Кажется, удалось. Вот оно. И сейчас опять вдруг потеряю. И не замечу. И не хватит сил. Выдохнуть после вдоха. А если уже не нужно. Бред. Кто-то рядом. Окна открыли. И еще страшнее. Когда очень много внешнего света. Мешает. И еще раз. Не поддавайся обману. Природа-мать уводит меня понемногу. И вбирает в себя. А там что такое? Бред. Гром. Солнце. Внутренний свет. Моя пустота. Выше. Больше. Там. Нет катастрофы.

Нет, конечно. Потому что вообще нет ничего. Даже небытия. До сих пор боялись добраться. Да и вообще в этот мир доступа нет. Блуждай вокруг. Упирайся отсутствием лба, и назад. А я туда проникаю. Вероятно, сон. И не больше того. А на деле... То, что называют – реальность. Когда этот Юпитер, пятнадцатилетний, обладая моей молодой внешностью, разгонит частицы и убьет бытие, то сначала будет отсутствие сущего, потом собственно и по сути небытие, а потом... Вот когда человек умирает. «Умрем, отец мой». Нет. Еще не время. Слышишь, Пандора? Аристократ вздрагивает и уже совсем теряет себя и становится Прометеем. У всех на глазах. Он отвоевывает Пандору. Хотя бы на сцене. А на самом деле он вместе со мной. Там, где нет катастрофы. Там. И сразу назад. Пандора готова. Но ей далеко до отца. А Прометей... На время. Вот Юпитер повержен. И непонятно, как.

Напряжение смертно. Арбар из-за кулисы. Мирра что-то ему говорит, разводя руками. Никто ничего не слышит. Пандора одна собрала в себе всю тишину. Задела ее любовь. Кто-то, какой-то Гете, попробовал тронуть. Пандора одним своим появлением на сцене сделала что-то, от чего люди опять стали бояться. А ведь у него там, где Гете, вовсе не страшно. Ребята, математики, физики, программисты пересели на месте. От напряжения. Поудобнее. И опять обвал. Слышно дыхание Пандоры. Сюда бы Юпитера. Нет, Фарадей за сценой. В коридоре. А здесь. Только она. «Умрем, отец мой». Не время. Вот ему легко рассуждать. Он уже там побывал. Там, где нестрашно. Гете увел туда красоту Юпитера. Потому что не вовремя вспомнил себя. Да, он вернулся в небытие. Но она, соразмерность, уже там побывала. И теперь что делать Пандоре. Ходит, гуляет по сцене. Туда, сюда.

Прометей прижался к доске. К пейзажу. Пуссен. Кнопками. На листах бумаги. Пожалуйста, будь осторожен. Прижался и стой. Не оборви. Подпираю. Промыслитель. Такое слово. Оно. И когда? В шестидесятые годы.

А что значит? И дело не в нем. Вот сейчас начнется главное. Прометей неосторожно спиной срывает пейзаж. За спиной доска, и на ней что-то написано мелом. Никто не читает. Но постепенно пробегает шумок. На доске формула Фарадея. То, что он позабыл. А после того, как Промыслитель побывал за пределом, вдруг она открывается на зеленой доске ясным добытым смыслом. На какой-то момент. Прочитали. Кто-то понял и догадался. Новый шумок. Мгновенно усвоили. Позабыли. Как Фарадей в коридоре. Пандора задумчиво стирает с доски. Ровные складки белой туники. «Умрем, отец мой». А Прометей, отвечая, тихо-тихо те же верлибры.

И вот весь монолог вполголоса. Нет ни бунта, ни революций. Нет бури, натиска. Потому что все вернулось ко мне. Уже за пределом. Шиллер написал на листочке несколько слов. И не мои, не свои. Кто-то еще. Конец. Катастрофа. Скрыбин. Или Толстой. Учитель, где ты? Как продиктовано? «Истина... Люблю много... Все они...». И не замечай. Не обращай вниманья. Побеждаю. Пересиливаю. Мы там, куда и откуда уже никакого доступа нет. И без времени. Хочешь? Не хочешь? Тогда разрешаю вернуться. Ну что? Этого или иного? Ты только скажи. Пандора. Я подарю тебе. А ведь уже и так тебя одарили. И сейчас, когда ничего не страшно, слушай мой монолог.

## 11.

Ничего не страшно. Понемногу. Шепотом. И не такой уж я аристократ. Понимаешь? Ты хотя бы сам... Конечно. Тут верлибры готовы. Лучше не скажешь. Осталось немного. Но препятствие перед каждым словом. Пауза. И ее, паузу, диктует внезапная тишина. А я обязан преодолеть. И никто не почувствует, как трудно от стиха к стиху и от слова к слову. Ерунда, отвлекаюсь и никак не могу отвлечься. Голос крепнет. И поэтому шепот. И не удастся. Шепот как в полный голос. И непонятно что. А ведь надо крикнуть. Оглушительно, и чтобы он услышал. А я кричу шепотом. И знаю, что меня услышали все. Так понятно. Монолог во время грозы. И все оттуда. С неба. Вывернуты большие деревья. Падают горы. Новые молнии. Почти попадают. И всего этого нет. И шепот перекрывает воображаемый шквал.

И так бы всегда. Без пафоса. И без всяких попыток там или здесь кого-то еще напугать. Да и попыток нет. Понимаете? Паузы между словами растут. И при этом надо спешить уложиться во время, как если бы их и не было вовсе. Пауз. Препятствий. Или чего там еще. Воображаемых молний, и камней. Да. Это все не мое. А почему-то лезет на сцену. Произношу. Перекрываю. А в душе – ничего. Спокойно и невозмутимо. Буду хорошим стилистом. Пойму, как поставить рядом слова. Это приходит с опытом. А пока Прометей. Придумал учитель. Не очень ловко. Но все прозрачно. Какие-то силы грозят. А он думает, что делает нас. Примитивная аналогия. Ничего он не делает. Мы сами такие. И, главное, он раньше других понял и знает. Ну, побольше тех, кто сидит в первом ряду. У... Какие лица. У самых добрых в глазах – предательство. А у других. Прямо страшно должно быть кому-то.

А я знаю, они кое-что затевают. Против учителя. И это не мнительность.

Посмотри. Ведь, казалось бы, все так понятно. Литературный кружок. Прометей. Уроки. Свадьба. Ну, что вам надо. Скажите. Нет, не скажут. А вот, желая добра, обдумывают, с чего и как все начать. И, конечно, кто виноват. И два шага вперед, четыре назад. Ненавижу. Нет, серьезно. И чем дальше, тем больше надо это все ненавидеть. Как они чутко улавливают. Куда-то он плывет не туда. И одно слово – тревожно. И ребята за ним. И у них у всех уже особый язык. И вот сейчас монолог тоже чужой. Классика, да. Но ведь нас не обманешь. И не то и не так. И тревога наша вызвана тем, что пока мы еще на подъеме. К концу века – другое. Тогда пожалуйста. Дураки не видят. А мы предчувствуем. Все как один. И по-разному. И все равно он плывет не туда. И поворачивает монолог да, против нас, против первого ряда.

Ох, как же я их ненавижу. А учитель сидит среди них. Чужой. И ждет от меня. И я, конечно, и от всей души, шепчу то, что нужно. И не говорю, а шепчу. Могу моими словами. Но тут есть еще кое-что. Юпитер ждет в коридоре. Он свое отыграл. И как будто решил остаться на сцене. И это не Юпитер, а Зевс. И я уже к нему обратился. И заглушил. И подавил. И, как видно, пустое. И уж он доберется до нас. И посильней, чем эти тревожные, в первом ряду. И я знаю, как. Формула на доске. И мы догадались. И те, из глубины зала, чего-то ждут от меня. И вот он, временный бум Прометея. Все как надо. Шепчу. И попадаю в зеленую точку. И она вспыхивает и угасает.

В середине зала и в конце выключен свет. Как обычно. Сцена освещена. Там, в полумраке, не видно, что на стенах и что на той, противоположной стене. Там тоже бумажные декорации. На левой стене шар земной в облаках. Черно-белый. Слева – окна, завешаны, и вместо них – черное звездное небо. А на противоположной стене, прямо в глаза мне, через весь полутемный зал, глядит голова Люцифера. Да, это демон Врубеля. Это иной Прометей, узнаю, он тоже носитель огня. Благодаря бумажным панно кабинет раздвинут в пространстве. Лермонтов, а не Гете. Ну и что? Правильно. Кто придумал? Подмена. Ничего не поняли. А теперь время пришло. Ведь все дело в том, что над нами уже не нужно надзирателей и юпитеров. Или уж лучше Юпитер. Тот, кого сегодня мы одолели. Попробуем сами. Без них. И без него. Ребята в зале готовы. Понимают меня. И только один Люцифер не согласен.

Боги завидуют. А он страдает. Потому что не любит. И в этом все дело. Он, Люцифер, забыл о том, что это я сотворил из глины прекрасные формы. Он забыл. А я не забуду. И все станет на место. И только это самое трудное. Вот они, в полутемном зале, они, те, что за первым рядом, как им выдержать первую заповедь. Полюби свой огонь. Даже если взял его с неба. Как полюбить. Объясни, Прометей. Не могу. Не умею. Потому что люблю. И остальные заповеди. Хижина. И сама земля, которую не пошатнешь. Такие слова легко прошептать. И услышат их все, до последнего ряда. Вот она, земля в облаках. На левой стене. Плывет. И сохраняет себя. И неужели ее не будет. Произношу слова. И сквозь шепот прорывается голос. И это плохо. Учитель вдруг закрывает лицо руками. Такого еще никогда, ни разу не было на уроках. Вырвется голос, и все пропадет. Уже вырвался, но еще не пропало.

Боги жалки, нищи без нас и без наших молитв. Да, это правда. Особенно, если сбудется формула Фарадея. Не будет нас – исчезнут они. Все исчезнет. И это сделает кто-то из нас. Один. Тот, что стоит в коридоре. Он свое отыграл и едва ли слышит мой шепот. Как я брошу ему последний верлибр? Это он там, в коридоре, не замечает нас и все бытие. Не обращает внимания. Разгоняет частицы. Но я знаю тайну, скрытую от него. Нет, не знаю. Воля моя, чтобы тайна была. Там, где ее нет, именно там ожидаю и велю, чтобы она появилась. Кое-что посильнее. Пустые слова. Пол плывет под ногами. Учитель все ниже опускает голову и плотней закрывает руками лицо. И так и сидит в первом ряду. А его коллеги чего-то ждут от меня. И тут я замечаю, что слова, которые надо сказать, люди знают на память и повторяют одними губами, опережая меня. Удлиняю паузы. Да, так и есть. Побеждают слова.

И вдруг в первом ряду вижу историка. Он все-таки здесь. Как он появился? Это он повторяет губами. И как будто глотает каждое слово. И при этом его тонкие губы с правой стороны, и только с правой понемногу вытягиваются в улыбку и собирают морщины у правого глаза. Да, это он знает на память весь мой монолог. А другие... Пожалуй, мне показалось. Повторяют за мной. Мысленно или одними губами. Кто как. И вот опять прорывается голос. Учитель открывает лицо. Выпрямляется. И тут я вижу – любое мое усилие сразу повторяется в нем. Хорошо, что еще так много надо сказать. О детстве. О слабости. О заблуждении. Голос крепнет. Шепот забыт.

Мой учитель многих переживает. И тех, кто уцелел к середине века. И тех, кто равен ему по летам. Он долгожитель. И даже я, может быть, уйду раньше его. Трудно поверить. Но вот, стоя на сцене, представляю, как он постепенно придет к одиночеству. Этот историк покинет мир через десять лет после нашего «Прометей». Он поседет совсем. Кто-то будет его опекать. А учитель останется таким, как сейчас. Вот я собрал в груди нужное чувство. Громкий голос. Надо его отдать. Отдаю. И хорошо, что никто не вздрогнет и не удивится. И ничего не пропало. Все глаза – на меня. Забавно. Кажется, я владею залом. Чего не было никогда. И независимо, кто я такой. Подождите. Слово или я сам? Оказывается, это одно. Думай, что хочешь. И не сомневайся. Достиг. Скажи глупость. Верлибр. Они поверят. И даже историк. Потом образумятся. Но я не скажу. Смертные. И один долгожитель.

С Юпитером состязаться трудно. У него все соразмерно. А у меня высокий, но немного стесанный лоб. Маловат подбородок. И вообще голова маловата. Держись прямо. Закидывай ее затылком назад. И не бойся. Такое не будет смешно. Плечи нормальные. Ноги длинные. Белый короткий хитон. «Кто мне помог с титанами бороться. Кто спас меня от смерти, от рабства». Казалось, что я не смогу проговорить устарелые эти слова. Пытался дома, когда родители уходили. Разглядывал себя в большое высокое зеркало. А лицо кривилось. Гримаса. Ненавижу себя. А теперь спокойно. Проговариваю, откинув затылок. Даже не думаю. Свысока, но в меру. Не замечаю. И верят, и ждут. И снова трудно. И где она, моя соразмерность. Вот она. Юпитер – воспоминание. Удалось. А теперь о сердце. Еще труднее. Совсем невозможно. И вдруг. Опять вижу историка. Ждет. Спасибо. Сразу. Помог.

Вижу судьбу мою. Промыслитель. Все вижу. Сердце. Какое? Господи, сколько о нем. И свободно. Как надо. Пробую. Верят. На слово. А я догоню. Самого себя. Учитель. Избегаю встретиться взглядом. Ну, не надо. Не смотри на меня. Закрой ладонями лицо на минуту. Нет, он ждет. И не думает закрывать. Громко. Отчетливо. И по правде – отчаянно. Историк улавливает фальшь. Но сейчас ничего не нашел. И не находит. Потому что нет ничего. И сердце. Названо. И несоразмерно. И все-таки есть. И в одну минуту. Вдруг. Небывалая сила. Отчетливо. Громко. Господи. Неужели неясно? Впервые. Он, Гете, вылеплен тоже моими руками. А я его не защитил до сих пор. Эпиметей. Крепок задним умом. Думает после. Получается, все мы Эпиметей. Вот сейчас меня выявят. И погонят со сцены. И не лги. Себе самому. Нет. Старик не то говорил, умирая. Только что. И ты не заметил?

Какое-то чудо. Оно. Все удастся по правде. Что бы Прометей ни сказал, учитель счастлив. Ну, вот я вижу отсюда. Со сцены. Человек счастливый, он всегда не похож на себя. Надо усвоить. Ну, уж теперь я не забуду. Видишь, он с трудом ожидает, когда кончится мой монолог. Опережает слова. Почти произносит. И уже не одними губами. Суфлер. Вот что такое счастье. Разглядывает меня, и видит, и любит мои недостатки. А Юпитер не может войти в зал в античном костюме. Он бы вошел. И не в зале, на сцене он появиться не смеет. И потом не войдет. И все потому, что старик не отпустит на возвышение свою прежнюю внешность. И не освободит молодого себя.

Тот, кто убил своего героя, может с ним заодно прекратить бытие. Ай, старик. Мы тебя разгадали. Ты, молодой, был опасен себе самому. И всему, что будет, было и есть. И ты одумался и создал меня. А уж я потрудился над глиной. И вот молодая плоть. Понятно и просто. Поправил себя. Но теперь я живу по своей и собственной воле. Я был нужен тебе, чтобы ты себя сохранил. Ты, а не я. Все ты. Но вот я возник. И тебя создал и спас. И это прошло. Понимаешь? Ты в моей судьбе эпизод, и не больше. И что же? Продолжаешь царить? И чтобы я тебя почитал? Жалко. Смешно. И несоразмерно. И ты это понял. И ушел. И оставил меня. Одного. А я не один. Спасая. Живу. И говорю. И помимо слов монолога. Что-то в воздухе. Над людьми и между людьми. Да, имею право. Любить и лепить. И никому не важно, где я. Там или здесь. А он произносит мои слова... Он повторяет.

Оказывается, вот в чем дело. Небытие. А после него. После. И после Гете. А что? Он там. Но что же после? Там его Прометей. А что это значит? Не спрашивай. Ум за разум. Формула. На зеленой доске смазанные разводы мела. Высохло. Выступило. Задумчиво. Бумага на полу. Задник. Почти под ногами. Красиво. Кнопки. Остатки Пуссена. Свисают у меня за спиной. Опять повернуло назад? Смотрю учителю прямо в глаза. Не отводит. Кивает. Обе руки вперед. Прямо ко мне. Что-то мы поняли. Ухватили. И все равно оказались тут. И на сцене, и в первом ряду. Как ему удалось? И опять побеждают слова. А в зале какой-то вдох. И выдох освобождения. Ну что ж? Мы все там побывали. Теперь и в самом деле страх пропал. В самом последнем ряду. В темноте. Под головой Люцифера. Боже мой. Представляю. Как будут пугать в конце двадцатого века. И в начале тысячелетия. Выдох.



А я тоже счастлив. Заранее. Вслед за учителем. Задумчиво. С тряпкой в руках. У зеленой доски. Самое главное. То, что задумчиво. И то, что мокрой тряпкой стирает мел. Она молодец. А где она? Тоже там. В коридоре. И там отдельно. Вдалеке от него. Приоткрыла дверь в кабинет. Видит меня. Любопытно. Тоже неплохо. Ради такой секунды можно почувствовать счастье. Отвоевал. На мгновение. Ладно. Слушай. Одаренная всеми. Ко всему любопытная. Меркурий за нею. В том же костюме. Не видит никто. Минерва тихо выходит на сцену. И стоит за моею спиной. Безумие. Произвол. И откровенно, и весело. И в порядке. После того, как мы там побывали, все на сцене кажется детской игрой. А оно так и есть. Мы играем. Для второго раза неплохо. А у меня еще остаются верлибры. Ай, старик. Был молодым и сумел себя отодвинуть. И все рассчитал. И позаботился обо мне.

И теперь они позабыли. Свои тревоги и замыслы. Отключились. Поддались. Понимаю. Сочувствую. И не сострадаю. Еще не хватало. Им сострадать. И всем остальным. Кто изменит. А я могу прогуляться по сцене. Туда и сюда. Еще немного - выйду из роли. Ну и что? Вышел – вошел. Вы понимаете. Уже нельзя. Математики. Физики. Островок. Звездное небо. Спит земля. Куда выходить. Мы в самом начале. Подождите еще. Будет. Выберемся. Там оно. Второе существование. И мы в него перейдем. И уж как-нибудь. Я не знаю. Еще не придумал. Боже мой. Вот молчание. В зале. И в полутьме пространства. И за дверью. И в коридоре. И здесь. На свету.

Ревную. Да. И Минерва мне уже не поможет. На сцене она, чтобы сейчас еще раз попытаться уладить наш поединок. Все по Гете. Ну а по мне? Уже ничего. Пандора послушала и прикрыла дверь в коридор. С той стороны. Любопытная. Теперь она мой сон, который не сбьлся. И не созрел. Предназначена Вертеру. Или Юпитеру. Или Эпиметею. А я скульптор в моей мастерской. Но здесь уже ни одной статуи. Ожили и ушли. Глина осталась. Осязай красоту. Минерва любит. А на самом деле. Дочь изменяет отцу. Любопытная. Искушение. Грехопадение. Прозрачный ларец, ящик Пандоры. Таков Юпитер. Входит в замысел. Все, что я создал, могу любить, как отец. И не больше. Осязай и отпускаяй от себя. Образ, подобие. А ведь это все мои сны. Внешность Юпитера. Тоже из моей мастерской. А иначе я подражатель. Вот запутался. Хожу по сцене. Ревную. И осязую. И отпускаю всех от себя.

Понимаю учителя. Он любит именно так. Очевидно, как его молодое счастье. Опять. И то же самое. Заметно. В первом ряду. Минерва любит. Сама собой. Но она примиритель. Побывала у Зевса. И вернулась. Не признаю. И уже не ревную. Но у меня вопрос. Почему – скажите мне - учитель создал меня и отпустил на эту проклятую сцену. Разыгрывай, Миша, то, что случится в его судьбе. Но ведь мы знаем. Это уже не только игра. И у него на уроках всегда получается больше, чем нужно. Задумано так, а получается больше. Кое-кто из тех, кто в зале, не выдержит. Уже сейчас в них что-то готовится. И вот она в полутьме – запредельная тишина. Одна любопытная вырвалась. От меня. А не от него. Бродит она одна в коридоре. Фарадей поглядывает издаലെка. И не подходит. В поединке с учителем. А ведь это я, несоразмерный, вылепил Фарадея. Как моего Гете. И отпустил.

Плохо. Слова. Слова. Пауза моя затянулась. Ожидание – совсем на пределе. Пандора не дождалась. И не услышит. А я опять шепчу как будто себе самому. То, что они, сны мои, еще не созрели в яви. А второе существование. Когда оно будет? Успею. А, может быть, не смогу. Надо без слов. Попробуй. И все равно без ответа. И вдруг понимаю. Не надо. Не ждут. Пострадал. Вижу, разглядывают меня. Ищут изъяны. Те, что с возрастом выступают. И те, что сейчас. Ищут все. И ребята. И в первом ряду. И только один учитель. Покачивает головой. И закрывает глаза. Вижу отсюда. Что? Сны? А может быть, явь? Или пустыня моя. Или моя мастерская. Покамест я все прошептал. Кроме последних верлибров. Которые уже не знаю, как говорить. Минерва подскажет. А она стоит неподвижной статуей. Кто ее вылепил? Прозрачный фронтон. И она шагнула оттуда. Шагнула и замерла.

Ищут что-то во мне. Ожидают, когда я выйду из роли. Выйду. Предам. Возненавижу себя. И уже было сегодня. А будет не так. Отвратительный. Лысый. Потный. И ничего не останется. И я забуду учителя. А, может быть, я тогда постараюсь его позабыть. И это уже теперь живет в моей плоти? Хорош промыслитель. И я сам не могу понять, что чувствую, когда кричу последние стихи в полутемный зал. Ищу слова. И как будто хватаю руками их в воздухе. И не нахожу. И повторяю. И добавляю немного. И вот опять на сцене Юпитер. Отодвигает Минерву. И она отступает. И он выходит вперед. Он решил. И во мне. Прежние силы. И мы впервые стоим друг против друга.

## 12.

Весна. Приближается день рождения. Пусть приближается. А мой сын уже родился. Первые дни. В той малой комнате, откуда убрали книжные полки. Там, у стены, кроватка. А рядом наша кровать. И вот я ложусь на нее, одетый, и рассматриваю сына. Он спит. И вообще он почти не плачет. Кормление. Без единого звука. И снова сон. Что-то особенное. Говорят. Я не знаю. Согласен. Это здоровый сон. Лежи. Смотри. Наблюдай. Улавливай сходство. Наташа подходит, уходит. Хлопочет. А я лежу и смотрю. И не стыдно. Постираю пеленки. И снова лежу и смотрю. Иногда засыпаю. Свет из окон в глаза. Просыпаюсь. То же самое. Без перерыва. Счастье. Так не бывает. А я вижу точно то, что есть наяву. Снится оно или нет? Просыпаюсь.

Нет, я серьезно во сне обдумываю, как поступить. Мне говорят, что ничего делать не надо. Я не верю. И продолжаю обдумывать. И вновь прихожу к тому, что все уже сделано. А это смешно. Руки болят. И еще не согрелись после холодной воды. Холодные, свежие. А оно. Все до конца? Или опять. Нет, оно большое. И не это какое-то беспокойство. Совсем другое. Не то. И тоже светлое, как день за окном. И холодное, как вода. И теплое, как сын в белой кроватке. И его головка приподнята на подушке. Профиль чудный. В губах порода. Вот уже первое мое искушение. Глупость. Милая глупость. И почему я не могу насмотреться. Нет, не могу. И вот это и есть то,

что сделано. Помимо сына. И все в нем до конца. Пошевелился. Почмокал. Нет, невозможно. И не буду стараться. Уговорили. Наташа опять его на руки. Подожди. Нельзя. Я сам. Держу. Теплое. Вот белые весы у окна.

В них, весах, удача и радость. Почему-то я чувствую, что все по заслугам. И не боюсь исчерпать. Взвесил. И снова лежу и смотрю. Сразу. Белые веки. Ресницы. Полуоткрытые губки. Не надо ничего открывать. Все открыто. И настолько ясно, что уходит оно из сознания. Так легко. И кто-то успокаивает, и ненадолго. Что я? Опять уснул? Но ведь понятно, чем он похож на маму свою. Все в губах. Губы. И это не все. Остальное спит. Нет никаких образов, которые здесь, в этой комнате, до войны мучили меня по ночам. И, наверно, мучение – самое первое, что я испытал младенцем. И теперь такого не будет. И вообще. Время кошмаров ушло. И что-то всегда пропадает. И это закон. Отцу надо смотреть на младенца. На меня мало смотрели. Наверно. Быть может, боялись. И было чего испугаться, увидев на моем личике. Смерть и рождение рядом. А я был похож. Или буду похож. На погибшего брата. Буду.

Сон отлетел. Сижу над кроватью. Ничего даже близко нет. Испытание за плечами. Наташа рядом. Стоит и любит. Уже давно. Передышка. Пора. И слава богу. Никто не звонит. Не приходит. И мы одни. А где мои дети? Чувствую – недалеко. Вот стол, за которым они сидели тогда. Свадьба. А теперь я на этом столе пеленаю. Тоже мое дело. Иногда уступаю. Дети где-то у входа. После «Прометей» понятно. Кто первый придет посмотреть? А все давно уж пришли. Но там. Далеко. На расстоянии. Вспомнят и снова живут. И у них все то же. И уроки. И баскетбол. И первая наша весна. И чудо. И если бы не было «Прометей», то уже не случилось бы и нашего рождества.

У меня пеленки в прихожей. Электрический свет. У Наташи – кормление. Воображаю. Вижу сквозь стены. Комната залита утренним светом. Наташа, сидя, поставила ногу на приступочку, держит, кормит, а я стираю. Там ослепительно. А я случайно ушел в прихожую, когда она кормит. Молоко пропадает. И тогда я из бугылочки сам буду кормить. Прямо в кровати. Пока еще можно. Сначала здесь. А потом новый зеркальный угол на свадебном нашем столе. Наташа без сил. Но стоит над сыном. И не ложится. И не засыпает. А он давно уже спит. И никуда не надо спешить. Мой письменный стол у окна. Машинка в той комнате. На маленьком столике. Отгорожена стеллажами. Отвыкаю. Пишу и снова меняю почерк. Зачем – непонятно. А может быть, для того, чтобы меньше работала «Континенталь» и реже стучали клавиши. Всматриваюсь в почерк. Теперь он простой.

Понемногу сбывается. Младенец – Миша. Так мы называли его. И не потому что Прометей был Михаилом. Тот, отыграв свою роль, – снова аристократ. Опять воротничок и манжеты. А на самом деле что-то в нем происходит. Но сейчас другой Михаил. Младенец пока с немного прижатым носиком. Вижу – каждый день расправляется. Будет прямым и красивым. Крепкий. И уже сейчас ни одного движения лишнего. И почему не плачет. Молочко. И чмокает одинаково. И снова сон. Вес ежедневно прибывает, как в сказке. Много и постоянно. Даже не верю. Сбывается. Только бы не

тревожили. Он, вероятно, уже теперь знает, как жить, и, так сказать, не тратит сил понапрасну. Почти осознана воля. Им самим. Что такое? Возможно? Или нет – очевидно. И уж это, явно, совсем другой Михаил. И вот что меня поражает – какой он крепкий и соразмерный. А ну-ка взглядишь.

Морщит лобик во сне. Вот сейчас откроет глаза, и я увижу. Нет, что-то отогнал от себя. Отогнал. Морщины пропали. Губка пошевелилась. И опять – ничего лишнего. То, что смешно, будет прекрасно. А пока учись понемногу. Младенец уже обогнал. В комнате пусто. Почему я заметил. Мы позаботились. И перестарались. Надо один сюда книжный шкаф. Со львами на дверцах. И одну гуашь. Танец Тамары. Это Врубель. Подлинник. Достался отцу. Красиво. Но мы его сняли. И он где-то в той большой комнате. Стоит на полу. И даже там я его не решаюсь повесить перед первым стеллажом у окна. Место приберег, а повесить боюсь. Видимо, надо здесь. На той стене. Напротив кровати. Между круглой печкой и дверью. Кто нащептывает? Надо Наташе сказать. Говорю. Она улыбается и не понимает. А то, что она не хочет понять, она просто не слышит. Вот опять лобик. И опять отогнал.

Утро. Идут уроки. Но я сегодня свободен. Собирается что-то в душе. Весеннее чувство проникает сквозь кисею от окна. Подхожу. Отбрасываю занавеску. Еще ослепительней. Словно молния вспыхнула в небе и задержалась надолго. Милое утро. А впереди целый день. Застыла. Не смеет уйти. И я почему-то спокоен. Закрываю лицо ладонями, вспоминаю самые счастливые минуты последних дней и часов. Они сливаются, и я их не различаю. И они ослепительны. И там никакой грозы. А сейчас. Над ребенком. Он отгоняет. Не я. Потому что учусь и не умею. И не очень верю, какая гроза. Показалось. Потому что подумал о Врубеле. Да. Слышу звонок.

Он, звонок, повторяется. Наташа не слышит. И не должна. А я поднимаюсь, встаю. Пробираюсь. Прихожая. Электрический свет. Открываю первую дверь. Замираю. Кто там? Хочу догадаться. Жду. Опять позвонит. Осторожно. Повтор. Тоже догадывается. Открываю. Нет. Не Юпитер. И не Пандора. И не Прометей. Это она. Ирина Александровна. Милый добрый ангел нашей семьи. Тоже из первого ряда. Михаил Прометей учится у меня. А она литератор. В другом параллельном классе. Прометей не знает ее. Ошибается. Тогда, на сцене. Но это прошло. И неправда. Потом ему объясню. А теперь на пороге она. И сразу в душе – покой, свет и тепло. Она уже приходила. И с первого самого дня. И ежедневно. После моих и своих уроков. А иногда – раньше меня. Вот. Спешу. Возвращаюсь. А она уже здесь. Опыт. Любовь. И всегда верно и точно. Юмор. Предупреждение. Шутка.

Оказывается, она удержала ребят. А что? Они бы устроили рождественские каникулы. После уроков. Нельзя. Пока еще рано. Может быть, верно. А может быть, и вовсе не так. Там стеллажи. Книги. Надо еще принести. Раритеты – сюда. Полки поставить иначе. Потом. Ребята придут. Низенькая. Уже у кровати. Чувствую, что-то еще не сказала. Мне все равно. Согласна. Подумает и не скажет. Сегодня. И правильно сделает. Конечно,

есть кое-что поважнее таких важных вестей. Добрый совет Наташе. Стоит у кровати. Думает что-то. А, по правде, без всякой мысли. Долго. Долго. И не очень серьезно. Что? Почему он не плачет? А ему не до этого. Вот. Хорошо, глубоко дышит. Все в порядке. У него особый способ. Вернее, чем наш. Крикнет несколько раз. И довольно. А если еще не кричал, подождите. Собрал и бережет свои силы. Правильно. И очень опасно. В будущем. Там.

Я говорю, что ребенок отгоняет кого-то. Морщит свой лобик. А потом опять – ровный покой. Ирина Александровна оглядывается. Нет никого, кроме нас. Вот и ответ. Глупость. Или вернее – мнительность. А где жил мой брат? В этой комнате? Нет, слава богу. В той, большой. Там гостиная. А здесь кабинет. Книг тогда было меньше. То – начало тридцатых годов. А теперь шестидесятые в самом начале. Он отгоняет брата. Конечно. Правильно. У вас не получится. И не пытайтесь. А он прогонит. И уже вышло. Но это важно. Ревнует. Что? Ирина Александровна всхлипывает и быстро опять любит. Руку на лобик ему. Нет, нельзя. Не привыкла. Что-то особенное. Кто этот Вася? Из девятого Д. Играл в постановке. Он что-то на меня в коридоре по-особому смотрит. Он знает, что я к вам. И что-то хочет спросить. И не решается. А я понимаю. Серьезно. Тут ему нечего делать.

Больше ни слова. Какое чутье. Но не тот разговор. Он придет. И хочется поверить... Нет, невозможно. Опять и опять. И все те же слова. Гляжу на сына и мысленно спрашиваю. Обо всем. И сам отвечаю. И забываю. А Ирина Александровна помнит. Подумает и вставит словцо. Почему? Почему? Нет. Комната слишком пуста. Гуашь Врубеля надо сюда. У окна. Там, где весы. И очень тихую музыку. Любую. Лучше всего. Еле слышно. Поможет. Нет, не любую. Вам поможет. Не допускайте, чтобы он посмотрел на ребенка. Я знаю ваш замысел. Нет, вы его не спасете. Да, очень опасно. Приходят, растут люди, которые нам и не снились. Он один из них. Что? Новый звонок?

Не ходите. Не открывайте. Он. Чувствую, понимаете. Знаю. Вредно, если посмотрит. Уверена. Вам нельзя никаких ошибок. С таким ребенком. А он. За дверью. Гениален так же, как и красив. И вы знаете – он свою красоту ненавидит. А к вам ятнется, чтобы самого себя убедить в своей правоте. Была бы моя воля, я бы таких в школу не принимала. Зачем ему школа? Переубедить невозможно. Подавить гениального? Тоже нельзя. Вы и не будете этого делать. А у нас не получится. И вот из-за таких все и бывает. А тут ничего не будет. Мне ребята сказали. Формула. На зеленой доске. Вы заметили? Ваша девочка стерла. А мы запомнили. И уже ее обсудили. Без вас. И что в итоге? А то. Лучше не замечать. Авось не получится. Он, гениальный, ведь и сам может забыть. А к вам надо прийти, чтобы не забывать никогда. Увидит ребенка и уже не забудет. Опять. Знает, вы здесь.

Ирина Александровна. Вы суеверная. Да? Я не ошибся. Как вы сказали? Добавка? Подождите, к чему? А без суеверия? Что? Мы не люди? Да? Вы так считаете. А идеологи наши. Те, что сидели в первом ряду? А историк? Ну, лучше не спрашивать. Тут суеверие самое страшное. И глубокое. Вы без него обойдетесь? Не думаю. Коллектив знает. И это дурной тон обнаруживать. А

историк – враг, понимаю. А из-за этого Васи вам еще будет. Они хотят устроить собрание класса. И там обсудить формулу вашего Фарадея. Представляете? Воображаю, что это будет. После того «Прометей». Что я скажу? На собрании. Да, понятно. Дети поймут. И поучатся понемногу. А в чем ваша роль? Промолчите? Ну, тогда встанет историк. И уже молчание вам не поможет. А методист. Я ему тоже сказала. Чего вы хотите? Будете защищать? И тогда еще хуже. Он понял. И, я думаю, больше не явится. Так.

Вот смотрите. Мы говорим о таком. А ребенок спит. И не беспокоится. Ровно дышит. Глубоко. Волевой. Значит, все в порядке. И вы так и знайте. А дверь я открою сама. И вы не бойтесь. И я так скажу ему, что все станет на место. Люди обычно меня понимают. Конечно, эти ни с чем не считаются. Но, я надеюсь, он станет нормальным учеником. И затаит в себе. А потом у него не получится. Вот. Я суеверна. Вы правы. Но у каждого есть границы. Вы их не знаете. Для себя. А мои хорошо знакомы. И мне, и другим. Ну, ладно. Пора собираться. Ну? Он звонит. Кстати, на лестнице. Как нельзя? А что можно? Вы не волнуйтесь. У сына учитеесь. А ваш ученик. Все равно уже никуда не уйдет. На уроках. Нет? Вы не можете? Ну, не волнуйте меня. Опыт добавок. Врубеля надо сюда. И знаете, почему? Над весами так хорошо. Это северный оберег. По крайней мере, я буду спокойна. Книг много. Пора.

Опыт – опытом. А вот уже первый прокол. Мы идем к двери вдвоем. А как же иначе. Я все равно открою и увижу его. Но Ирина Александровна останавливает меня в прихожей. Властно и сильно. И неожиданно. Вот сама трогает первую дверь. Закрывает ее за собой. А потом вторую. На лестницу. Я ухожу. Никаких защелок. В сущности, обе двери открыты. Жизнь и смерть. Возвращаюсь к ребенку. Наташа кормит. И я замираю на месте. При входе в нашу малую милую комнату. Сиреневый колорит. Распределение света и красок. От окна по стене. А справа печка такого же цвета. Но гуще. И, кажется, немного темней. Жена. Взглянет и снова к нему. Думай. Оберегай.

Дверь не закрыта. Но я ничего не слышу. Звонок, или мне показалось? Книжный вертеп доступен. А здесь – под охраной Врубеля. Все-таки вечность. Попробуй ты ее уничтожить. Бог – пожалуй. А Демон – сомнительно. И что если все-таки – наоборот? Математика, физика – демоничны. Видимо, бога нет. Остаются они. Изобретай поскорее то, что лучше, вернее божьего и нашего бытия. Вот бы этим заняться. Если бы я мог и умел. Только ради одного – обороны. Смешно – в малой комнате. Уничтожить – пожалуйста. А создать – не получится. Фарадей уже думал об этом. И отказался. Предполагаю. Но ведь и в самом деле – заколдованный круг. Чуть что – вновь бытие. Другое. Да вот и Миша, младенец, другой. Но опять оно. Для Фарадея невыносимо. Неужели Ирина Александровна уговорила? Не может быть. Он стоит у двери на лестнице. Открою. Стою.

И вот в эту минуту вся моя душа – на ладони. Гете сказал о природе: «Как она поступает сейчас, она может всегда поступать». И я смотрю прямо перед собой и не понимаю, почему я настолько верен природе. Литератор. Учитель.

Отец. Надо спросить у Наташи. Но она кормит грудью. Кормит, и вдруг взглянет, и снова – к нему. А в комнате – сиреневый отблеск весны. И на таком фоне она и младенец. И нога на приступочке. И склоненная голова. И левой рукой поправляет что-то, подсаживает поудобнее. И на столе – сиреневый зеркальный утюг. Никто не видит. И не должен увидеть. А ведь сколько раз уже рисовали. Именно это. И не увидели ничего. Отвлечения. Как Христос Леонардо. С кудрявой головкой. Отвлекся от груди. Большими глазами. На мою мать. Когда она ожидала ребенка. Да. Она ожидала меня. А сейчас младенец не отвлекается. Оберег. И, кроме того, нет никого на пороге.

Прикрываю стеклянную дверь. Между нашими комнатами. Еще светлей и прозрачней воздух. Третья дверь. Красного дерева. И большие вставленные в нее прозрачные стекла. И никелированная задвижка. Оглядываюсь. Да. Все блестит и отражает сияние комнаты. И оттого что окна без штор. И от белой кровати. И от того, что прямо в центре картины. Которой нет. И не будет нигде. Против белых весов и оберега. Против стены между печкой и дверью. У той стены, где еще нет резного дубового книжного шкафа. Правильно. И хорошо, что нет ничего. Как я мог подумать. Вот. И уже не думаю. Слава богу. И все-таки ребенком тоже не надо быть. Отгородился. Третьей дверью. А сам очень боюсь оглянуться. Дверные стекла. И ты догадываешься. И неужели он сможет войти? А ведь он тогда взял меня за руку. Сразу пойдя. Закрой входную дверь. На защелку. Ты, отец. Ты, учитель, похожий на брата.

А я стою неподвижно. В этой живой тишине слышу мое дыхание. Прерываю. Вот он заплачет. Хотя бы немного. Напряжение. И зачем оно. Лишнее. А ему снова не до того. И уже нет никакой тишины. Тихие звуки. Совсем другое. И они нарастают. И все тише и тише. И все сильнее растут. Пошевелился. Прибавляю мои шевеления. А потом снова прервал и затаился. Вдруг внезапно поворачиваюсь к двери лицом. Там кто-то когда-то увидел отца. Другой и другого. А теперь. С трудом различаю красивую голову моего Фарадея. Спокойно и неподвижно. Большими глазами глядит сквозь дверное стекло. Отодвинул меня взглядом. Не заслоняй. И почему-то я отступаю.

## 13.

Прозрачное прямоугольное стекло между нами. И все равно. Только взглянуть. Отступаю. Но видеть ему не даю. Заслоняю. И еще заслоню. А он как будто видит насквозь. И в чертах лица ничего не меняется. Гете пришел, и его не пускают. Он. Тот молодой Гете, который убил Вертера и написал «Прометей». И вот он в рамке дверного окна. И нечего притворяться. Но ведь это мой ученик. В серой школьной форме. И в белой рубашке. Все как положено. Густые черные волосы над огромным лбом. Короткая стрижка. Ну, что вернее? Спасаться вместе с женой и сыном. Или спасти? И я не выдерживаю. Отступаю вбок, и он видит картину. Которой нет и не будет. И уж если такое возможно... Секунда. Еще секунда. И вот его нет.

Что я сделал? Попробуй понять. Наташа кончает кормление. Подхожу. Беру на руки сына. Оглядываюсь. Кажется – он еще смотрит. Нет. За стеклами двери – книжные полки. Нагромождение. И жалко, что нет живого лица. Все правильно. И Наташа ничего не заметила. А я не могу наглядеться. Мишенька мой. Повернул головку. Тепло Наташи и его тепло. Стою долго. Он тоже ничего не заметил. И не отогнал никого. И я решаю не говорить еще о том, что случилось. Никаких тайн. А сегодня – молчание. Как будто молитва. Хожу по комнате. С ним на руках. Усталая Наташа наблюдает за нами. И не спрашивает. Видимо, догадалась. Особой догадкой. Той, которая не хочет помнить обо всем, что узнала. И я не хочу. И вот вспоминаю. Уже и впрямь ничего делать не надо. Жить и ожидать, когда исполнится положенный срок. И вспоминать. Все уже сделано. Верю. Живу. Ожидаю.

Так бы ходил и ходил. Но вот опасность. Могу заснуть на ходу. Остановливаюсь. Подожду. Постою. Опускаю в кроватку. Что-то произошло. Потом объясню. Себе самому. Вообще обычное состояние. Самообмана. Помнишь? Ларец Пандоры. То, что осталось на дне. Где Катерина? Почему я забыл? Да. Через стекло не передашь тетрадный листок. И еще не время. Но что переживает она? Пока листок у тебя, ничего ты не сделал. Вот что правда. А как его передашь? И где он? Вот – лежит на месте и ждет. А я? Пеленки. Утюг. И за письменный стол. Поскорей. Завтра уроки. Там увижу всех. И Меркурия. И Прометея. И Катерину. И Фарадея. Чувствую. Моей любви хватит опять. И никто не ревнует. И я очень спокоен. Подымаю глаза. Вижу. Наташа сидит за моим столом. Голова немножечко набок. Смотрит внимательно и терпеливо. А ведь мы сегодня утром не сказали ни слова.

Кончается утро. Не могу уйти. И не могу оставаться. А вокруг затихают звуки. И куда пропадают? Не знаю. Потому что их нет. Вот это оно – счастливое утро. Отзвуки разговора? Предупреждение? Шутка? Да? Собрание класса? Обсуждение формулы. Жаль, что я в 9-м Б только учитель. А не воспитатель. Испортят они все, что сделано. И потом. Не дай бог. Доберутся. До самой глубокой тайны. Подожди. Отвлекись. Вот еще один шаг. Откуда? Много шагов. Окно. Печка. Стена. Весы. Кроватка. Большой раздвижной обеденный стол. Готовый утюг. А там лабиринт полок и стеллажей. Дойти до стеклянной двери. Вот. Пройти мимо того, кто стоял.

Мне почему-то кажется, что автор «Фауста» переживал подобное искушение. И победил его. И открыл для себя и полюбил метаморфозы природы. А Гете, он, кто стоял и смотрел сквозь дверное стекло, он хочет и не может остановить, отменить свой, пока единственный, замысел. Полагаю. А, может быть, и все по-другому. Надеюсь. Пандора. Ему бы в твой ларец глянуть одним глазком. Я, например, не хочу. А ему было бы очень важно. Полсекунды, и все стало бы ясно. Там, на дне ларца, ничего не осталось? Пусто, или все-таки что-то есть. Надежда или, может быть, катастрофа. И вот, вместо попытки туда заглянуть, он идет к нам и, услышав какие-то (я не знаю)



остерегающие слова, долго стоит на площадке лестницы, потом проникает самовольно в чужую прихожую, потом вдоль стены, мимо книг, вправо стеклянная дверь. И вот он сквозь это стекло видит кормление сына.

Что увидел? Почему сразу пропал? Иду по его следам. Никаких следов. Не удивлюсь, если дверь на защелку. Нет, конечно. Аккуратно прикрыта. И не заперта. И на темной лестнице тоже нет никого. Что он решил? Или почувствовал? От чего вздрогнул? Или застыл? Одну секунду. Ужас. Ты понимаешь? А ведь больше никаких других оберегов не будет. И никаких запретов иных. Могу вообразить, о чем думает он. Пока переходит на ту сторону Большого проспекта. И к себе на третий этаж. Мимо кабинета отца, к зеленой лампе. О чем? Нет, не хочу. Я из тех, кто не заглядывает в этот ларец. И он из тех. Да, из тех, кто не заглядывает. Понимаю. Тут мы похожи. И все-таки что увидел? Неужели то, что и я? Но одно дело – увидеть. А испытывать. Да, испытать. Увидев? До опыта? Неужели он в состоянии? Что же? Когда-нибудь и все равно такой должен родиться. И вот он родился.

Провожу ладошкой по стеллажам. По корешкам и полкам. Проходя. Возвращаясь. Там предусмотрено. И вспоминаю отца. Это его следы. Взял, отодвинул. Книжки. За всю его жизнь. Как подобраны. Лучше не подходить. И не читать названия. И не трогать. Кожаные корешки. И не проверять золотые обрезы. Каждая книга – то, что отец хотел мне сказать. И чтобы я полюбил этот запах. Кожи и клея. Но их сочетания. Лучше не надо. Все найду. Если понадобится. Мой Фарадей интуитивно знает все это богатство. Не читал. Но знает. И сегодня увидел то, чего не было никогда. И не будет. И останется только в словах. Почему он сразу ушел? Ну, договаривай. Потому что замысел его и решение останутся прежними. Предполагаю. Видимо, все так и будет. А теперь учитель опять. И вот завтра урок. Мой Фарадей подготовился. А ты? Как всегда? В полном смятении. Правильно. Хорошо.

Что ж? Поединок вступает в особую фазу. Больше не думай о нем. Само собой. Происходит. Внеклассное чтение. Ждут, что я принесу что-нибудь. А я вижу, как литература мелькает. Современные книги выветриваются у меня на глазах. А уже есть два писателя в классе. Прометей и Меркурий. Пишут. Почитай еще раз их сочинения. Они рвутся к жизни от книг. И остаются в себе. Остаются. И без опыта и грамоты прозы или стиха. Подожди. Скоро заболит приемами. И новизной. Тогда держись. И рядом с ними только мой Фарадей манипулирует миром. Выдерживает. Формула. Формула. И без единой записи. Хотя бы на одном белом тетрадном листке. На том. На одном.

Тебе не надо оставаться учителем. Будь отцом. И только отцом. Родного Мишеньки. Нашего сына. Ты еще не знаешь, как полюбишь его и что это будет. А я поняла – ты любишь и будешь любить учеников так же сильно, как и его, Мишеньку нашего. По-иному, но так же сильно. И ты пойми. Чувство растет. И ты не выдержишь. А они будут от тебя уходить. И это как Миша, который тоже когда-нибудь уйдет от тебя. В свою жизнь. В свою любовь. Но

он еще долго с тобою останется. А они отойдут. И станут жить вдаль, без тебя. И ты невольно кого-то из них забудешь. И это самое страшное. Любовь остается. А память как будто бы исчезает. Я легко представляю себе. Но я не способна испытывать. По-особому так. И нести в себе. И переживать. И для меня довольно того, что я уже испытала. И еще предстоит. Потому что... Ну, ты понимаешь, я переживаю, что такое любовь.

Она одна у всех. Но когда их много. И как у тебя. Тогда не знаю, что делать. И ты не выдержишь. Точно. Пиши стихи. Или прозу. А то до сих пор ты не можешь выбрать. Конечно, будешь мучиться. Тоже. Варианты. Строки и строфы. Но когда-нибудь кончится. И все в словах станет на место. Все, как ты говоришь. И оно каждый раз будет уже тебя отпускать. А с учениками и сыном – совсем не так. И после кто-нибудь об этом напишет. Конечно, если узнает, хотя бы немного, то, что я испытала. Ну, ладно. Ты все равно не слушаешь и не слышишь. Как хочешь, назови. Боюсь, что оно, это чувство, вообще в нашей природе. Боюсь, потому что могу. Пока слава богу. Ну, что ты глядишь на меня. Да, сижу за твоим столом. Видишь – нет сил. И даже встать не сумею. А ты ходишь и ходишь. Ну, у тебя еще все впереди. Полгода, а уже начинается. Ты не волнуйся. По-своему так же сильно.

Чувствую. Она молча, про себя говорит. И все верно. И еще вернее, чем прежде. Мысленно. Дело в том, что она всегда говорила такое. Или что-то похоже. Напоминала. И жалела меня. А я никогда не нуждался. По-глупому. И только теперь начинаю соображать. А если серьезно. Ну, как объяснить. Природа. Природа. И главное, знаю, что выдержу. Вот это самая важная глупость. А уже справиться невозможно. Сегодня, когда он смотрел в дверное стекло. Он, кого даже назвать нельзя. Он, кто разгоняет частицы. Вот сегодня, когда он смотрел и видел, как ты кормишь, и ощущал и испытывал дыхание Миши, так же, как ты и я, вот в эту минуту... Оно и случилось. Да, я знаю, как выдержать. И я готов к тому, что будет с нами. И с тобой, и со мной. И вот наш Миша никогда, никогда от нас не уйдет. Посмотри, как он спит. Что? Повернул головку. Сам. И в первый раз. Неужели? Какое-то чудо.

Я не вижу. Наверно, тебе показалось. Он не умеет. Но ты заметил – все так. Полежи. Посмотри. Успеешь. Пеленки. Впереди – целый день. Ты готов. И сейчас не надо готовиться. Ты потом разберешься. И сможешь. Или решишь. А вот он, этот белый тетрадный листок. У тебя на столе, справа, тут уже целый год. Я иногда сажусь. Гляжу на него и думаю. А сегодня захотелось его прочитать. Хочу прочитать, а здесь ничего не написано. Если бы я спросила тебя, ты уже давно бы мне рассказал. Но и я сама разгадаю. Раньше. Потому что. Ну, он приходил. И смотрел на меня. Через дверное стекло. И вот разгадка всего. Он ревнует к ребенку. И задумал очень плохое.

Что же получается. Древо познания. Чем больше мы знаем, тем ближе конец. И дело не в том, что Фарадей ревнует. Это ошибка. Матери всегда

ошибаются так. И вечно им кажется, что кто-то подсматривает и не желает, чтобы родилась еще одна жизнь. И это злодей. И его замысел страшен. Вовсе не так. Причина – познание. Когда мы познаем друг друга до глубины и предела, и когда происходит что-то вроде цепной реакции бытийного взрыва. Видимо, так. Они бы разлетелись в пространстве. А теперь познали, и вот неизбежно их столкновение. Ужас. Ну, конечно, мы тормозим познание, пока умеем, и отвлекаем себя. Вся история – как бы себя ограничить. И природа за нас постаралась. Каждый за себя. Но ничего не выходит. Мы узнаем все больше и больше. И вот, наконец, границы между нами прозрачны, как стекло дверного окна. А потом и стекло пропадает. И тогда полный конец.

И что же я делаю? Помогаю процессу. И вот Фарадей потянулся ко мне. А наш сын – помеха, отсрочка познания. Так получается? Объясните, зачем возобновлять неосознанное, когда уже мерцает финал? Самообман. Отвлечение. И школа, и Прометей, и это искусство, и внешность моя, и любовь, как ее теперь называют и будут еще называть. Ну, скажите, зачем. И вот я хочу последний раз посмотреть. И смотрю. И вижу одну только мать. И не вижу младенца. Она его укрывает и кормит. А потом он познает себя и, надеюсь, будет готов. Но сейчас я бы хотел взглянуть, на что как правило не глядят. Младенца разглядывает отец, когда им любитесь мама. И когда он спит и дышит спокойно и сладко. Здесь нужен мой взгляд. Вот о чем я думаю под зеленою лампой. А учитель испытывает боль, от которой вот я бы мог его излечить. Боль самообмана. Взрослые игры. Надо проверить. Напрямую.

Кто это? Он или я. Одна и та же зеленая лампа. На той и на этой стороне Большого проспекта. Да, мы оба готовы к уроку. Но ведь Гете прожил очень долгую жизнь. А завтра Андрей Болконский и Пьер. Смерть в конце и рождение в эпилоге. Ни то, ни другое. Ладوشка Пьера по задку младенца. Как и моя – в сентябре, октябре. Или через полгода. Пробуждение от жизни. Погружение друг в друга. Ну, вы понимаете, что здесь никто не додумал. Что-то важное. Какой-то изъян. И вот, оказывается, от чего предостерегают меня. Зеленая формула и мои уроки. Поединок или согласие? Мы решаем и никак не можем решить. Но вот Мишенька поморщил свой лобик и открыл черные глазки. Глядят на меня и не видят. И опять морщинки на лбу. И вдруг заплакал неожиданным звуком. И не могу объяснить. Он сразу же обрывается. И вновь прямой, какой-то густой и невидящий звук. Будто слово.

Не видит. Не слышит. Вот сам поворачивает головку направо. И в глазах. Мне кажется. В моих зрячих глазах. Что-то мелькает. Я вижу. И меня уже не обманешь. А ведь я уже давно умею видеть со стороны. А тут вдруг его глазками. Самого себя. На секунду. И опять обрывается. И пропадают морщинки. Достаточно. И снова. И снова. Понемногу. Сумеешь. И не упускай. И, чтобы суметь, отгони остальное. И только этим одним. Постарайся. Не отвлекай. Губка дрожит. Мирный звук успокоения. Звук первой улыбки. Посмотри. Посмотри. Подойди осторожно. Ты уже здесь. Не дыши, как и я. А теперь свободно. Ничего не надо испытывать. И познавать.

Разминулись. Поэтому боль и страдания. И это все выпадает на нашу

долю. А он не страдает. Мой ученик. И научить невозможно. Нет, он не смеется над теми, кто испытывает боль. Он понимает их правду. И особый их способ жизни. И вот не могут они решиться и распорядиться прямо своим существованием. А ты? Фауст продолжение Прометея. Это он произнес: «Набравшись духу, выломай руками Врата, которых самый вид страшит... Прими решение Хотя бы и ценой уничтоженья». А ведь самим собой – легко и просто распорядиться. А если не только самим собой? Ошибка. Вот он подумал, а они его остановили. Звоном колоколов. Пробуждением. Пением ангелов. Он вспомнил о детстве. О своих первых молитвах. И не выдержал. И выронил чашу. Урок. Нельзя думать об одном себе. Никогда. Особенно при таком уникальном решении. Я не видел младенца. Разминулись. Правильно.

Фарадей смотрит в окно и узнает мою зеленую лампу. Даже днем. А тем более – к вечеру. Я ведь рано ее зажигаю. Моя сторона – теневая. Для художника и литератора – самое верное. Солнце рано утром и почти прямо перед заходом. А днем – спокойная ровная тень. Учитель думает, почему я исчез. А это случилось произвольно. И даже я сам не заметил. Как будто какая-то сила отогнала меня. Ну что ты. Я сам не заметил, как себя отогнал. А почему отогнал? Просто ушел. Нет, что-то не так. А я не люблю, когда это что-то необъяснимо. Вот как сейчас. Мне пятнадцать лет. Кризис уже миновал. И что же? Получается, он опять. С новым вопросом. Тогда я в тринадцать лет хотел собою распорядиться. Только собой. А теперь. Слава богу. Но как я ушел, не взглянув. А ведь приходил посмотреть. И получилось иначе. Значит, не последняя встреча. И еще много лет впереди. Вживую.

Вот, я чувствую, там, у своего окна, учитель во всем разобрался. Лампа горит. И он понял то, что я пытаюсь понять. А что же дальше. Ладно. Пока. Оставляю. Потому что его касается. А мне – взростеть и взростеть. Проклятая формулировка. И не мои слова. Тех, кто вырос. А моя незрелая формула. Только не трогайте. И не мешайте. Но я сам виноват. Зачем ее написал на зеленой доске, там, где кнопки пейзажи Пуссена. Стальными кнопками. В зеленую доску. Она стерла. Молодец. Но уже успели заметить. И прочитать. И тогда, помнишь, пробежал шумок в кабинете. Я всегда различаю такой шумок. Здесь много хороших, умных ребят. И когда они понимают что-то. Все вместе. Ну, в общем я свалил дурака. Вот еще случай необъяснимый. Не досмотрел. Написал. Что такое. Ведь понятно. Есть вещи, которые никак нельзя писать на доске. Она поняла. А он тем более. Учитель.

Вот отец у меня за стеной двинул стулом и прошелся по комнате. Но я надеюсь – не заглянет ко мне. Еще и еще раз. А скажите, кто моя мать. И где она. Ведь я на отца не очень похож. Значит, мама. Вот зачем я пошел глядеть на младенца. И скрылся, когда увидел кормление. Вот в чем дело. Подожди. А зачем ты кричишь? Папа услышит и заглянет сюда. И не кстати. Чужим голосом. Эти расспросы его. И совсем не то, что нужно сейчас. Вот оно, все имеет свое разумное объяснение. И неужели буду искать. Но только не с ним. Лучше спросить учителя. Завтра. После уроков. Когда он спешит. Литератор знает ответ на такие вопросы. А что, если в этих ответах загадка всего?

## 14.

Собрание отменили. Классный руководитель, историк, почувствовал. По настроению ребят. Они как-то очень застенчиво опускали головы и отводили глаза. Ну, вообще они знали, в чем дело, и понимали, что подобные формулы просто нельзя обсуждать. А что же девчонки? Кто-то из них вслух начинал. Но, посмотрев на ребят, умолкали. Представляете такое собрание. Один историк поет, растягивает ударные слоги в словах. А остальные упрямо и безнадежно молчат. И такое безмолвие. Первые десять минут. А потом еще больше и тяжелее. Хорошо историк не пригласил никого. И нашего литератора. Умный. Пронзительный. Ядовитый. Он сразу понял. Что-то не то. И распустил собрание. Класс еще посидел в тишине. А потом разошелся.

9-й Б. Какой-то особенный класс. Надо сказать, в нем собрали самых умных математиков и программистов. Ни одного писателя. Девочки здесь безоговорочно признают превосходство ребят. А мальчишки знают свое превосходство. И никто их ни в виду не подает. В общем, для школы самый типичный и желаемый класс. Никаких Катерин. Только одна. Да и та стала Минервой. Не характерна. Забыли о ней. А на собрании класса. Она одна встала и вышла. Исчезла. И после того, как закрылась дверь, повисло безмолвие. Такое событие. Вот что значит собрание умных ребят. Никакой историк ничего не изменит. А скажите, что обсуждать. Ведь никакими словами не расскажешь формулы Фарадея. Все понимают. А рассказать невозможно. А разговоры о смысле жизни в 9-м Б не проходят. Потому что здесь нельзя просто поговорить. Литератор делает паузы и предлагает писать.

А кто это сейчас размышляет о 9-м Б? Но ведь само собой очевидно. Тут некому размышлять. Василий – непризнанный лидер. Во-первых, в таком классе лидера быть не может. Во-вторых, сам Юпитер за собою этой роли не признает. И не признает. И все равно он, понимаете, лидер. Вот я из глубины такого особого состояния класса веду разговор. А кто я такой – неизвестно. И здесь нужен мой взгляд. Со стороны. Уж если хотим что-то понять. Когда возникает подобное множество умных людей, что бывает в истории? Может быть, самое жуткое. То, что Минерва ушла. Это серьезно. А мы забыли о ней. Вот теперь помолчим. И непонятно о чем. Интересно. Время. Драгоценные минуты уходят. А молчание уже не прерывается. Даже когда класс поредел. И исчез. А историк закрыл на ключ свой кабинет. Что происходит? И кто размышляет? А это один и тот же вопрос.

Попробую дальше. Дело в том, что в этом же классе многие мальчики заболели. Формулой Фарадея. И молчали о том. И не говорили друг другу. Девочки выжидали. Что будет? А сейчас этот класс вообще за чертой. И я не знаю, что делать. Понимаете. Я. Даже я. Неизвестно кто. Нереальный. Математический знак. Ведь, как вы думаете, литературного разума нет. А

учителя просто не в силах уже понять, что предстоит. И слава богу. Но оно готовится ежедневно. Эмпедокл позже всех. Встревожен. Задачи решают легко. Самые трудные. А физики, старший и младший, осознали. Оба. В учительской. И без единого слова. Брошен жребий. И перейден Рубикон.

Перейден – куда? Вопрос литератора. А ведь они. Оба. Старший и младший. Такие разные. Один ученик другого. Вот среди учителей пара. Прометей и Меркурий. Кажется, из учителей только они оба тогда не пришли посмотреть постановку. И проиграли. На один вечер упустили ребят от себя. Потеряли. Но, по их разумению, почти ничего. Пока живы, нетрудно восстановить. И еще неизвестно, кому догонять. Само собой. Образуется. Подумаешь, формула. Никто не заметил ошибки. А она спрятана в математических знаках выведенного закона. Легко обнаружить. Но это серьезно. Ошибка. Побольше было бы таких ошибок. Чистая математика. Физика. Но Эмпедокл-философ недаром бросился в Этну. Иногда. Вместо ошибок открытия. Целый класс. Обогнать не обгонят. Но кое-что выхватят из-за той черты, куда мы уже не пойдем добровольно. От нас – к бытию.

Посидеть в лагерях полезно тому, кто выжил, как я. Прометей. А Меркурий – мой ученик. Дети нам подражают. Освобождение из лагеря. Боюсь, небывалый распад. Сейчас как будто свобода. А очень скоро. Новые признаки. Уже сейчас. Недаром заболел целый класс. И не говорят. И не объясняют. Получается, мы не видим. А на самом деле все мы думаем одинаково. Только я уже повидал итог. А они – подбираются. Пока не случилось, как со мной, торжествует чистая физика. Власть над природой. Полвека уйдет на преодоление этих новых иллюзий. А потом уже – Меркурия сделают богом. Не доживу. Нет, хорошо, что поставили. Оправдание Гете – его долгая, долгая жизнь. А я знал наизусть, как пройдет постановка. А потому не заглядывал. Только один раз. На последнем прогоне. Перед самым этим наивным действием. И тогда никто не заметил.

И я сам не знаю, каким ветром туда меня занесло. Вообще, хорошо. Если проходишь прямо в открытую дверь перед сценой. И никто не видит. И так же ты покидаешь. И не опознан. Хорошо. Значит, в тебе есть что-то вылепленное из лучшей глины. Проверено опытом. А когда вспоминаешь, что и ты литератор и за то посидел кое-где, чувствуешь, как тебя лепил Прометей. Приятно прикосновение творческих рук. Можешь с улыбкой закрыть глаза. А потом без улыбки. Подумать и перестать. И незаметно уснуть и не просыпаться. А я в эти глубины заглядывал часто. И там, и здесь. И успокоился. Кажется, тут пределы познания. Все доводить до конца. И тогда исчезает ужас исхода. А разогнать частицы нетрудно. Исправьте ошибку. Она очень простая. Да, простая. Но заметить ее почти невозможно. Заметят. И разгонят частицы. И создадут бытие. А эта болезнь...

У литератора мысль плывет. К сожалению. А ведь я видел тогда, как Фарадей начертил на зеленой доске формулу. Перед разговором с Меркурием. Печально. Устало. И неуверенно. Он тогда начертил и стереть не успел. И тут,

видимо, сам обнаружил ошибку. И опечалился. А я тогда покачал головой. Бывает. Сподобился видеть. Он опечален. А я литератор. Обнаружил, и мысль моя поплыла. И сидел я в лагере за мою литературную мысль. И продолжаю сидеть во время прогона. Потом вспомнят. Увидят, как я молчал за последним столом. С улыбкой, закрыв глаза. И без улыбки. Да. Неожиданно вообразят. А я уже буду не в силах ничего вспоминать.

Как видите, бессмысленно применять мифологию к нашим шестидесятым. В них начало конца исчерпанного тысячелетия. Прямо сейчас. Когда я один сижу в учительской. Когда курю бесконечную трубку. Медовый табак. А мой урок физики там идет сам собой. Без меня. Решают. И не могут решить. И оторваться не могут. Там класс-амфитеатр. Мое возвышение. Стол. А за спиной, рядом с зеленой доской, дверь в особое помещение. Где приборы, нужные для урока, зеркало и полный стеллаж энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Там я обычно курю от перемены до перемены. А сейчас почему-то вышел в учительскую. Она через дверь. Кабинет литератора. Хорошо отгораживает. От класса и от урока. Потребность или причуда. И то и другое. У Меркурия – свой урок. Думал, его застану здесь. Хорошо было бы с ним. Приятно. Одиночество полное.

Дверь учительской приоткрыта. В пустом коридоре отзвуки дальних уроков. У литератора тишина. Пишут. А у меня решают. В амфитеатре. Там тоже дверь приоткрыта. Малейший звук долетает. И литератор, как я, приоткрывает порой дверь своего кабинета. Но в учительскую не вышел ни разу во время урока. А оттуда, из конца коридора, доносятся женские наставительные голоса. Все как обычно. И вдруг слышу: кто-то в амфитеатре встал и спускается к учительскому столу. Я разрешаю обычно зайти в мой отсек, взять с полки томик Брокгауза и Эфрона, посмотреть и поставить на место. Нет, кто-то в коридор выходит из класса. Походка знакомая. Узнаю. Ближе. Ближе. Такого еще не бывало. Да, на пороге учительской он. Фарадей. Высокий. Статный. Входит ко мне. Садится напротив. Кончил. Понятно. Раньше других. А у него задача, какую и сам я пока не решил.

Нарушение. До конца урока еще полчаса. Нет. Отклонение то, что бывает часто. А это. Неординарно. Особое. Курю. Не обращаю внимание. И к тому же не видит никто. А он тоже молчит. Сидит свободно. Без принуждения. Голову держит прямо. Шея прямая. Надо сказать. Но мы оба молчим. Ничего себе ученик. Медовый дым табака ему доставляет страдание. Терпит. И как будто в молчании слышит ответ на какой-то свой непонятный вопрос. Что ж, неплохо. Мой вид отвечает. А я отдыхаю. Для учителя – это высший класс. Но я себе вполне отдаю отчет. Подобная ситуация – первая и последняя. Вот. Закрываю глаза. Так легче представить себе, что с ним происходит. А я вполне представляю. Это не физика. И не ошибка в формуле. Тут он сам. Лучше других. Нет. Он хочет спросить о моей судьбе. И я отвечаю. Без слов. И страдаю. Не знаю, не помню, кто была моя мать.

На нас, брошенных матерью, не важно – в жизни, в смерти – особая,

неотменяемая печать. Только мы узнаем ее. Прячу в бороде и в усах. А он в кончиках изогнутых губ. И в глазах. Интересный случай нелюбви к своей внешности. Вот. Вполне объяснимо. Конечно. Мать. А я не знаю. Сходство или различие. Мне все равно. И это он видит. И больше не придет за ответом. Но у него еще есть вопрос. О том, что значит преодолеть сущее в существе. Может быть, здесь мы сойдемся. Напрасно. Моя дорога – в земной и неизбежный тупик. И это, если подумать, хороший исход. Как любовь. Невероятно. И неизбежно. Полвека. Но я не трогаю никого из тех, кто живет.

Василий. Зевс. Все-таки мать бросила его, но не ушла. Аргистка. Альт. А у меня. Просто не знаю. Не помню. Даже не видел. До войны. А во время войны. Пропала куда-то. И я один. А отец не бросил и не пропал. А просто погиб. В самом начале войны. В первом бою. Под Ленинградом. В траншее. Не хотел нагибаться. Высокого роста. Ушел. Не заметил. Погиб и не бросил меня. Все остальное – это я сам. Правда, из-за отца я и в лагерь попал. Еще бы. Дед мой из самых первых большевиков. По фамилии знали. И следили за мной. Всех ленинцев надо было убрать. И убирали. А я ведь совсем другой. Только фамилия. Всеединство Карсавина. К сожалению, в лагере кто-то другой был его единственным слушателем и учеником. Вот бы мне повезло. Но не судьба. И все-таки я слышал на расстоянии. Мама и всеединство. Одно? Или нет. А ты, Фарадей-Василий. Ответишь? Или конец?

Чей вопрос? И кто отвечает? Медовый табак. Ароматное облако. Неизбежны. Потому что конец очевиден. Философия – поединок с богами. И с главным из них. Законы физики – божественная игра. Скрыбин почувствовал верно. И передал звуками. Как словами. Но это все мутации опыта. А передо мною – вневременной гений конца. Откуда он взялся? Из девятого Б? Ему нужно только взглянуть на меня. И больше – ни единого слова. Он ищет формулу. А я просто продолжаю искать. Абсолютное опережение. Еще и еще раз. Откуда? Но это он сам не знает. Всеединство имеет предел. Вот почему я не исповедую, а размышляю. Но зачем размышлять. Оно окончательно. И даже не так. Оно. Это неточное слово. А на деле все подвержено сроку. Все, что едино. Мое и ваше единое все. Вот прямо передо мной тот, кто назначен. Родился. Успею. Или уйду по воле его?

Ну, посмотри, посмотри. Благо не надо рассказывать о том, что известно. До опыта. Разумеется, так. Сцена для литератора. Кстати, он впервые ввел Достоевского. А Великого инквизитора? Вот бы Фарадею поручить эту роль. Но ведь он безмолвно спрашивает о матери. И самое интересное – да, ведь я знаю, что ответить ему. Но я не отвечаю. Только вид мой. Одна только моя обреченность. Он исполнитель, и я его не хочу опровергнуть. Смотри. Исполняй. К тому же, я уйду все-таки раньше. И уже после меня ты закончишь свой последний в мире физический опыт. И я для тебя не доступен. И потому ты глядишь и глядишь на меня. И когда мы сидим друг против друга, что-то может случиться. В обоих нас. Но не случается. Все против тебя. И твоя внешность. И моя недоступность. И воля. И мать. Но ты ничего не боишься. Осанка прямая. С трудом выносишь аромат моего табака.



Поговорили. Пора возвращаться в класс. Кто первый? Известно. Субординация. Гляжу – Фарадея в учительской нет. Уступает. И тут я понимаю. Кто угодно может вздрогнуть при известии о замысле Фарадея. Только не его мать. Видимо, уже был разговор. И вот он вышел ко мне. А сейчас вернулся на место. Мимо открытой двери кабинета литературы. Там пишут верлибры и притчи о смерти Болконского и о Николушке из эпилога. Напряженная тишина. И в моем амфитеатре. Первый раз Фарадей понимает, что он своими шагами нарушает все, что в какой-то момент нельзя нарушать. И я возвращаюсь. И прохожу в отсек. Мимо книжных полок. Прямо к себе.

Это физик. Это не я. А Меркурий, другой, тот, кто учитель, младший коллега, любимец ребят, кончает сейчас у доски свой милый изящный урок. А я, как мы уже условились, неизвестно кто. Со стороны. Как ни странно, я не люблю перемены. И литератор не любит. Все во время урока. И в том лучшие учителя совпадают. Ну, так вот. Фарадей возвращается в амфитеатр. А вслед за ним – незаметный учитель, к себе в отсек. А умные ребята решают задачу. Каждый свою. И вот – еще немного – решат. А сами думают о формуле конца и о том, где в ней ошибка. Так можно думать вне времени. И не дойти до итога. И только я, со стороны, я, неизвестно кто, не физик, не математик, только я знаю, как разрешить весь этот вопрос о частицах. Знаю, но никому из девятого Б сказать не могу. Потому что я сам далек от событий. Нет меня. Ребята не примут, и не услышат, и не поймут. Один литератор. Он.

Я ему легко сообщаю решение. Мое. Нет. Бесполезно. Одна интуиция. Мало. При всем желании до него докричаться нельзя. В другом измерении. Или, как он говорит, в иной ипостаси. Особой. Апофатической. Той, когда существование уже по ту сторону бытия. Или как-то иначе. Не знаю и не могу. Ну, ладно, еще раз. Интуиция. Назад. Как только Фарадей вернулся, ребята зашевелились. Вакуум. Для урока смертельно. Ни за что нельзя допускать. Физик-учитель появляется из отсека. Что? С новой задачей? Поздно. А до конца десять минут. Он с трубкой в руках. Погасла. А в бороде и в усах – непонятное выражение. Мало. Фарадей тоже встает. На третьем ряду. В проходе амфитеатра. Друг против друга. Ребята переводят взгляд. От одного на другого. И вновь. Неужели сейчас кто-то начнет. Слово. Первое и последнее. В тишине. Кто из них? Нет, это не поединок. Что-то иное. Что?

Минуту оба стоят. Поневоле. Третьего нет. Формула? Но здесь очевидно – решения долго не будет. Но кто-то из них. Почему? Не понятно. Учитель и непризнанный лидер. Словесно. Потому что иначе нельзя. Открытие уже состоялось. Все его чувствуют в воздухе. Но никак не поймать. А в соседнем классе – порядок. Что-то совсем иное. То, что можно словом. Достаточно. Казалось бы, так. Попробуй. Ведь я физик и литератор. Что-то из лагеря? Трубка мешает. На стол положить? Невозможно. Только в отсеке. А так я ее никогда не кладу. Вернуться в отсек и потом появиться без трубки – смерти подобно. Скоро уйдет вторая минута. Нельзя. И вдруг я понимаю, что больше всего мешает он, тот, кого нет и кто сам не знает, кто он. Я слышу его, а Фарадей как будто не слышит. Прямой. Спокойный. И третьего нет. Но ведь вот он – ясно. Оказывается, попробуй признай. И сразу никакого открытия.

Давайте кончать. Кто-то один пусть решает. И это буду не я. Почему? Потому что, поймите меня, третий решил. И я не хочу повторять. Садись, Фарадей. Еще восемь и даже девять минут. Садись. Не огорчайся. Нет. Черты Фарадея не дрогнут. Я его знаю. У него свой ответ. Он счастлив, потому что задача неразрешима. А это нельзя доказать и проверить. И вот он знает, что невидимый третий так же далек от решения. И от задачи. Прямая осанка. И оказывается, от того, как ты держишь голову, зависит судьба. Твоя и моя. Попробую выпрямить спину. В шутку. Ребята смеются. Над нами обоими. А то, что я прячу в бороде и в усах, никому не дает повода шутить и смеяться.

## 15.

Историк увидел немало. В основном в тридцатые годы. И во время войны. Корреспондент. Журналист. Очерки. С места событий. Очень талантлив. Потом книги. С большим промежутком. Небольшие. Узнаваема каждая. Маленькие рассказы. Отобранные из жизни. Придуманных нет. Но без подробностей. То, что написано, литература. Отжатый неприкасаемый текст. Без помарок. На белой, белой бумаге. И всегда – от руки. Никаких машинок. Писатель? Не знаю. Не задавался вопросом. Да, пишу. У меня свой круг тем. Только то, что волнует. И свой ареал читателей. Большой, малый. Неважно. Он есть. Расширять? Не моя забота. Понимаете? Все сложилось. И каждый день. Утром. Вечером. В любое время суток. И по четыре часа.

Реалист и романтик. Новизна ситуаций. В самой жизни. Что-то одно. Каждый раз. И на остроту реагировать остро. И всегда помнить: жизнь – это чудо. Внезапна. А философия, храм для молитв – недопустимая роскошь. Нет времени. По большому счету – я не отдыхаю. Медитации не для меня. По моему разумению. Ответы уже даны. Живите с ними. Будьте неадекватны. Вот мои заповеди. Бог – цепочка событий на лучах бесконечности. Все по Ромэну Ролану. Романтик и реалист. Между прочим, вполне допустимый для нашего опыта. «Жан Кристоф» – моя любимая библия. Бог – это «новый день». А герой – Христофор. Но самое несказанное – в Ветхом Завете. Принимаю и считаю, что малыми дозами ученикам нужно приоткрывать. Не мое амплуа. Но знаю: основа идеологии – там. Понимаете? Марксизм – приложение. Коммунизм – подголосок. А вот наша мелодия – ветхозаветна.

Согласен. «Прометей» поставили. В моем кабинете. Да, я незаметно сидел. На первом и втором представлении. Получилось. Обдумываю. Но самое главное – что будет потом. А ведь это вполне очевидно. Формула, которой болеет мой класс. Вы поймите. Никакой гитлеризм – ничто в сравнении с тем, что возникает в сознании современных ребят. И кто за это ответит? Нет, я вижу. Литератор тоже в поединке с неслыханным замыслом. Но откуда опасность? А она из глубин древнего мифа. Гете ее опроверг. А мы искушаем детей. Вижу, вижу конец. И не только десятилетия. Вижу страшный исход всего двадцатого века. А где наши возможности. Не доживу. И не застану. А уже сейчас течение времени убыстрится. И скоро мы вступим в воды смерти. Утпаиштим Гильгамешу не в помощь. Надо остерегаться подвига Прометея. Остановите кедровый плот. А иначе без весел – грядет катастрофа.

Как сказать литератору? Но ведь он уже давно обнаружил. А слышать не хочет. И я не могу проговаривать вслух то, что сейчас мысленно повторил про себя. Доверительно остерегал много раз. Больше не буду. Он вроде согласен. А на самом деле отплывает все дальше. Мы уже не слышим друг друга. А там – воды смерти, Утнапиштим. И вот я первый раз пишу одно, а думаю о другом. Перечитываю. Без помарок. Слава богу, совсем не то. И на бумаге. Новый готовый очерк. Или рассказ. Я не знаю. Править нельзя. Могу вновь написать. Но уже не сегодня. Четыре часа истекли. Рукопись в полном порядке. А вообще. Может быть. Ветхий завет – Христофор? Набело. Заново.

Вообще, разумею, грустно такое страшное знание. Что делать? Объективно – так. А жизнь уже подходит к концу. Грешному Христофору подобает нести Христа на плечах. И вот мы не знаем, какую тяжесть подняли и переносим через поток. На грани тысячелетий увидим: да, это Христос. Но совсем другой. Дитя спрыгнет на землю. И окажется – ребенок вместил в себя тяжесть нашей Земли, нашего мира. Мы ее выдержали. А вернее другое: погнулись, рухнули в бурный поток. А Христос-младенец пошел по воде и вознесся, чтобы не испытывать новой голгофы. Ну, мифотворец. Позавидуй словеснику. Он бы это сказал на уроке. А ты... Христофор... Преследуй и оберегай литератора. Он, по молодости, решил, что мы в поединке. Но, и по правде, схватка еще предстоит. А уж если помощь отвергнута, выйдем, как следует. В бой. И с ним, и с его Прометеем. Всерьез.

Василий, Фарадей. Это, конечно, крепкий орешек. Усилия литератора оказались напрасны. Однако здесь им еще кое-что предстоит. А со мной ни разу не вступил в диалог. Почему? Потому что впустую. Пока я пишу очерки и рассказы, он делает дело. А я ведь сегодня хотел писать о нем. А получилось иначе. Главное куда-то исчезло. Автоцензура. И очень кстати. Никто не поверит. Лучше о стульях и партах, чем о конце бытия. Не знаю, как Новый завет, но Ветхий будет продолжен. Поединок между заветами. Как об этом сказать? Описательно. Иносказательно. Как-нибудь. А то, получается, вот я тоже плыву не в том фарватере. И не говори, что думаешь. А думай, что говоришь. Василий историю знает отлично. И не могу зацепить. Он полемист, а уходит от спора. И это самое трудное, когда монолог повисает в гробовой тишине девятого Б. Умолкаю вовремя. Пауза. Гнев.

Вот не удалось на классном собрании. Придется на педсовете. Но ведь и там предмет обсуждения вызовет оторопь и любого поставит в столбняк. И все притихнут и глянут недоуменно. Конец бытия? Фарадей из девятого Б. Ну вы же разумный преподаватель. С какой стороны подойти, чтобы вас понять. В школе другие вопросы. А вы разберитесь. И с ним, и сами с собой. Как-то на вас не похоже. Ученик всегда прав. Ищите учителя. Откуда это у наших ребят? Ну, говорите прямо. И неужели вы на это пойдете. Не такое уж безопасное время. Шестидесятые годы. Вы в лагерях не сидели. А кое-кто побывал. Господи, что я придумываю. Из такой ситуации трудно выйти. Остается опять. Раздражением, гневом. Но литератор тоже способен. Громко и безоглядно. Ответит. И все опять войдет в свои берега. И вновь неудача.

А куда исчез и девался тот методист. Мне казалось, что он человек разумный. Тоже кое-что повидал. Ему бы дойти до корня опасности. И осторожно поправить. Но человек в пенсне постарше меня. И не любит громкие монологи. А тут он куда-то исчез в самый опасный момент. Нам нужно всем думать о том, как избежать катастрофы. С ним бы я мог побеседовать на перемене. У него какой-то особенный опыт. И не менее интересно узнать, откуда он возник и скрылся куда. Он очень поддержал постановку. И то, что за нею скрывается. Господи, если бы вы знали, какой апокалипсис нас ожидает. Вы бы не спорили и прислушались. Неужели никто не верит, что конец неизбежен. И что опять оживает Ветхий Завет.

Вообще «Апокалипсис» - ветхозаветная книга. Она о конце христианства и о всеобщем конце. Фарадею бы следовало ее изучить. В ней больше физики, чем религии. Понимаете? В ней за образами и картинками Суда – гневная формула, которую я предлагал обсудить на собрании класса. Меня не дослушали. А полностью перейти на библейскую речь я не вправе как учитель истории. Гнев оттого, что не все удается высказать прямо. Но я горд, что себя удержал и прекратил разговор. Если тромбоны слабо звучат, приглуши их звучание. А я видел прищуренным глазом, как Фарадей был спокоен. Еще бы. Девятый Б – за него. А я оказался один. Коллективная глухота. И отчуждение. Вот что особенно важно. Вы подумайте. Они, заговорщики против жизни и всего бытия... Они друг за друга. Безмолвно. И не чувствуют со мной никакой человеческой связи. Ну что же? Они правы.

Да, да. Уж если на то пошло, я закован в броню отчуждения. Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений. И не было интереса к тому, что я скрываю в моей глубине и не высказываю никому никогда. Как будто нет ничего. Значит, надежно. И вот видишь, ты выжил и не пострадал. И всегда одинок. И всегда в коллективе. И у всех на виду. Могу научить, как это делать. Пробовал. Не получалось. И отсюда гнев. Будоражит. И безопасен. Пошумят вокруг меня. И все опять войдет в прежнее русло. Ты виноват в отчуждении. Понимаешь, ты сам виноват. И тебе еще подарена долгая жизнь. Давай договаривай. Они полагают, что вся тайна твоя – отсутствие бытия. Но в такой непроницаемой оболочке. Надежен. Разговаривать не о чем. Вот я объявил о том, что собрание кончено. Класс безмолвствовал, и какое-то время все они сидели на месте. Оказывается, это был реквием по тебе.

Вот удивительно. Сам с собой ведь я вполне откровенен. И вы не думайте, что это впервые. Бывают минуты. Часы. Дни иногда. Бывают. И никаких изменений. В тебе. Никаких изменений. Прямо иногда хочу закричать. И никто не поверит, что я сошел с ума. Или что-то иное. Крик был. Но его никто не услышал. Неуязвим. Надежен. Победительная пустота. В оболочке надежности и убежденности. Прямо за столом – еще один очерк. О себе самом. В памяти. Потому что никто не поверит. Исповедь не мое амплуа. Но я воспитатель. Надо отказываться. И что же? Прежде всего – в самом классе объявить об этом решении. И не получится. Ответ – молчание. Потому

что они тебя уже отпустили. Ведь уже состоялся реквием о тебе. А как же они? Заговорщики? Еще и еще раз. Что такое – замысел Фарадея? Пожертвовать мной – ничего не стоит. А вот физика – реквием по бытию?

Курю. Уже не трубка. Сигарета за сигаретой. Над столом настенная полочка. Собраны все мои книги. Открой любую. На любой странице – изюминка мысли. Перечитать любопытно. И я уверен: все они прочтены. От корки до корки. Но не девятым Б. Не входят в мой ареал. И еще один. Он. Литератор. Поглядел. Полистал. Перечитал страницу-другую. И отложил. И – к своему Прометею. Или Толстому. Он и библию читает по-своему. И не боится ее проповедовать в классе. И на этой библии он еще погорит. А у него жена и ребенок. Вот где я мог бы его остеречь. Надо еще откровенней. Что же? Придется. Чувствую. Подступает. Второй раз. Курю. Сигарета за сигаретой.

Да. Здесь школа профессионалов. И учитель – профессия. А не мое амплуа. Пишу. О том. О другом. А главное о том, как трудна социальность. Она везде. И в ней горько себя осознать. А здесь островок. И все по-иному. Решают задачи. И не любят собраний. Поневоле. Приходится иногда. Независимы. Взорвать педсовет почти невозможно. Так, чтобы все на одного.

А ведь воздействовать надо. Вот я в учительской. Физик в углу на диване. Тонет в медовом дыму. И никому невдомек, о чем это он. Куда погрузился. Урок без него. Попробуй. Не выйдет. А у него. Решают. И ему естественно – отдалиться и не мешать. А я пытаюсь как-нибудь закрутить разговор. Нависаю. Прогуливаюсь перед столом взад и вперед. Раздражение. Гнев. Умеренно и на пределе. У меня социальность. А у него – профессия. Вот в чем разгадка. Но ежели все-таки я сумею. Пробью? Оправдаю? Зажгу?

Главная тайна в том, что пробуждение коллектива, подобного этому, наиболее мощно. Тогда литератор поймет. И еще пожалеет. Это я произношу вслух. Неожиданно. Физик оборачивается. И опять пропадает в дыму. Надо начать разговор. Внезапным вопросом. Или признанием. Нет. Философ непроницаем. Трубка. Урок. Борода и усы. А на пороге Василий. Во время урока. Видит меня краем глаза. Потом здоровается только со мной. Кивком головы. Держит прямо. Проходит мимо и садится перед учителем физики. Что это? Форма урока? Легкое вздрагивание плеча. В мою сторону. Понимаю. Лишний. Уйти не могу. Исчезаю. Сидя на месте. Все же сейчас до звонка – его урок. А после звонка. Фарадею неловко. Но чувствую, разговор состоялся. И без единого слова. И я даже знаю, о чем. Не помешал. Вижу – поговорили. Фарадей – мимо. Юпитер. Физик уходит через десять минут.

Поле боя – за мною. Все ушли. А впереди – целая перемена. Шум. Разговоры. И обязательно кто-то со мной. А я не могу забыть, как Василий. Туда и обратно. Оба раза. Мимо меня. Он поздоровался. Да. И он в моем воспитательском классе. Что-то с матерью. Отец вместо нее. На родительское собрание. А до этого всегда приходила мама. Красивая женщина. Я слушал ее в филармонии. Альт или скрипка. Очень похож на маму. А в отца, пианиста, я вглядывался и удивлялся. Большое лицо. Рот полуоткрыт. А живот

громадный касался моего живота. Пока мы говорили. Один на один. Я поневоле отодвигался. А он следом за мной. Пианист первоклассный. Жаль, что он так не любит советскую власть. А она ему все дала. Нездоровый. Намекал, что в семье разногласия. Музыкальные? Нет. Поглядел на меня удивленно. Даже рот на минуту прикрыл. А потом опять. Разногласия.

Трудно им выступать дуэтом. Фортепьяно и альт редко встречаются. А советская власть к таким, как он, безразлична. Я очень хотел сообщить ему о замысле сына. Это важнее всего. Но не смог. Потому что живот меня оттолкнул. И я подумал... Напрасно. Этот Иван так далеко зашел в искусстве интерпретации. Баха и особенно Листа. Он уже давно прозевал. И жену, и сына. И никаких разговоров. У Василия-Фарадея отдельная комната. Зеленая лампа. И кто разгонит частицы? Я так и не мог объяснить. Начал и сразу примолк. Музыка – поверх бытия. Сын иногда ее слышит. А вообще. Она по уграм. Пока он здесь на уроках. Альт замолчал. В этом все дело.

Понимаете. Разговор по этим вопросам уже опоздал. Мои сентенции бесполезны. Фарадей цепляется. Хочет что-то услышать. Но только не от меня. Мой вакуум пустоты и ветхозаветная идеология – ноль откровения. Мать живет своею судьбой. Отец прозевал. Значит, конец бытия. Физика – апокалипсис. В итоге итогов. Дешевые образы нового Иерусалима. Убожество нового дня. Вот почему Фарадей не желает стать Христофором. Лучше Юпитером. И прекратить бытие. Физика в помощь царю богов. Интересно. Вот я все понимаю. Но разговаривать не о чем. Я для него существую где-то рядом. Ничего поправить нельзя. А если и можно, отца не изменишь. А мама. Она и есть этот неисповедимый конец. Формула. И то не вполне разгаданная. Вот закралась ошибка. Неизбежно. Против материи. Волевые решения... Кому они в помощь теперь. А погружение – гибель.

Все ушли от меня. А это значит, я в гуще событий. Привык. Жертва истории тот, кто жертвует. А я умудрился выжить без жертв. И только этому и могу научить. Исподволь. Недоговаривая. Произнося монологи. А он, литератор, спит и видит, что высказал все. Он верит, что там, внутри, в глубине, - другое. По образу и подобию нашему. Что-то еще более совершенное. Как можно верить. А ну, загляни в себя. И увидишь. И пусть не заходит ум за разум. Точно сказано. И вот его простота хуже моего воровства. Вера в идею спасает. А идея – остановка познания. За ней начинается – проба. Наша обыкновенная практика. Нет, литератор идет напролом. Идет сквозь любую систему идей. А что в итоге? Смысл? Какой? Правда в ограничении. Идея – грань ограниченной правды. А смысл один. Человеческий. Думаю, во всем бытии ничего другого не сыщешь. Наука.

Ну что ж? Вновь монолог. А уже давно перемена. И передо мной – литератор. Слава богу, не отец Фарадея. Он. Глядит с любопытством. А я как будто ослеп. Вслух. Сигарета за сигаретой. В полный голос. Как на уроке. Литератор молчит. А я ему – прямо о нем же самом. В третьем лице. Прорвалось. Учителя обходят с опаской. Оглядываются. На высоких тонах,

Поглядят на него и успокаиваются. Еще бы. Литератор смеется. Как будто бы что-то узнал. Запредельно простое и верное. Что? Не согласен. Впервые. В разговоре со мной. Ждет, когда я кончу свой монолог. А в ответ. Очень кратко. О том, как они хорошо писали. На уроке литературы. И он сам хорошо написал. И ребята поверили. А сейчас у него самый сложный девятый Б. Литератор счастлив. Да, он слушал меня и ничего не услышал. Но почувствовал. И мне говорит, что это нужно все записать. По памяти. Прямо.

Я замолкаю. Развожу руками. Отступаю назад. Моргаю. Закипаю нешуточно. Левый глаз вздрагивает и как будто не видит. Неужели смешно. Ну да. Конечно. Удачный урок. Поздравляю. А у меня было окно. Провел с пользой. И думал о вас. Тревожно. А вы. Так удачно. В самом деле, хорошо получилось. Андрей Болконский был бы доволен. А Пьер Безухов – тем более. Оборачиваюсь. И вдруг на пороге учительской – аристократ. Он. Тот, кто играл. Входит. Видит нас. Рядом. Вдвоем. Что за притча? Глаза горят. Он вспоминает себя. Ту роль. Мизансцены. Верлибры. Импровизации. Первый ряд. И учитель. И навстречу мне все больше и больше ненависть Прометей.

## 16.

Гроза грянула. В самом конце учебного года. Не хочу говорить. Затаил в себе. Готовлю ответ. Но вообще на такое отвечают жизнью. Пока она есть. Ладно. Отвечу. Поединок – начало ответа. А он понемногу идет целый год. Понемногу. Пора. И вот уже неважно, что будет потом. Чувствую. Любые последствия. Никто не удержит. Уйду в бесконечность. Понимаю тех, кто легко уходил. Нет, это не то, что вы думаете. Они знали, куда. А для меня выхода нет. И все равно. Остается. Выйти куда-то. И опять Прометей. Прямо проклятье. Иной посмеется. А дело в том, что уже два года, как сложилось литературное общество под античным названием. Потом постановка. Потом передачи. По радио. Телевидению. И вот неужели конец Прометею? Похоже.

Не надо. Придумывать обстоятельства. Оценивать время. Ловить сигналы. Политический благовест прямо оттуда. И у себя. На этих тайных для меня партийных собраниях. Я никогда не ловил сигналы. И отец мой. Учитель. Как он выжил и уцелел. Умудрился. А ничего не скрывал. Говорил, что думал. И думал, что говорил. И ничего. Теперь я поневоле беседую с ним. В первой большой комнате. В лабиринте полок и стеллажей. Кажется, он где-то здесь. Книги вместо людей. После всего, что в школе. Обойди лабиринт и садись у окна к машинке. Вот она. Заправлен листок. Давно не касался. Каждый удар клавиши резок и страшен. Стол с зеленым сукном. Зеленая лампа молчит. Еще светло. Белые ночи. Мишенька спит. Наташа уснула. Сколько нам еще отмерено жизни? И вот он – для меня главный вопрос. Все остальное легко, верно и одолимо. Самое трудное – люди. Попробуй с ними.

Да что, собственно, произошло? А ничего. Я просто вдруг многое понял. Меня пронзило как откровение то, что я уже знал. Попробуй. Вообще говоря,

так может все, что мы знаем. Пронзить очевидной и неотменяемой правдой. Оказывается, мы спим и не живем, а предполагаем. В полусне. И много всего. И как будто бы есть. Оно. Это все. И как будто бы есть. Но вдруг. Узнаешь. Оно, действительно, есть. Или нет. Или не существует. По правде. А это все равно. Есть или нет. Откровение. Как для Ницше. Для запретного Ницше. Но я читал. В одной из папиных книг. Перевод Антоновского. Очень округло. А вот по-немецки. Оригинал в кожаном переплете. В каждом из нас – невидимый Кант. И вдруг подарок. Точно. Без нуоменов и феноменов. Потому что Мишенька спит. И Наташа уснула. Белая ночь. Зажигаю лампу. И мне все равно. Горит она или нет на той стороне Большого проспекта.

Что я узнал? А то, что, действительно, есть Фарадей. И что он отмеряет жизнь моему сыну, моей Наташе и мне. Раньше было, как будто я все придумал. Вообразил. Или предположил. А теперь... Пронзило насквозь. И вот оно. Белою ночью. И я вижу, как он разгоняет частицы. В уме. И в будущем. Не могу разглядеть. Но вижу. Еще немного – сойду с ума. И было бы лучше. Однако нет. Сознание остается. Чистая живая вода. Неподвижна. И сквозь нее. Устоялась. А если не только со мной. Но и со всеми. В такую ночь. А что? Нет, все они спят. А вот он. Фарадей. Зеленая лампа. Горит. Как у меня. И он тоже понял сегодня, как я. Тоже. Сегодня. Как я. Вот. Что есть.

Интересная психология. А ведь я все это знал. Уже целый год. И опасался. И все равно. Предполагал. И не больше. Ницше так открыл только вечное возвращение. И то, что бог умер. А для меня теперь все – откровение. Все. А для ученика моего только частицы. И это значит, я чуть-чуть богаче. Моего Фарадея. И могу его научить. Всему. Остальному. Уж если он понял одно. Легко дойти до всего. И без меня. Он сумел бы. Но я знаю теперь. Не захочет. Нужен учитель. И это была бы победа. Вот. Вода заколебалась. Не вижу. Оказывается, не все откровенно. Какая победа? Предположение. А на самом деле. Я так и останусь. А у него. Принцип уйдет в глубину. Что? И здесь открыто мне. Сегодня. Белою ночью. И вдруг нормальный вопрос. Подожди. Когда же он спит? Отец – растяпа. Мать отдалилась. А ведь он. Каждую ночь. Прямо, как я. Когда же он спит? Когда? И тут я сам засыпаю.

Сны – откровения. Почему я не знал, что они бывают. Если что-то подобное произошло наяву. И если удалось это запомнить во сне. Очень серьезно. Я уже заснул и думаю так. Верный признак. Все как наяву. То же самое. Окно. Стол. Машинки нет почему-то. Удивляюсь. Проверяю рукой. Пустота. Зеленое сукно. И пять стопок разноцветных тетрадей. Знаю, обложки у них разноцветные. А вот листочки. Отдельною стопкой. Перебираю. Верлибры. Верлибры. Надо найти. Нахожу. Занумерованы. Стихи. Абзацы. Прямо Новый Завет. Кто-то из них. Из девятого Б. Нет. Фарадей не писал. Отказался. Дата. Класс. Белый листок. Что такое? Никогда не случилось. Кто-то другой. И я боюсь прочитать. Почему-то. И все равно читаю. Вода замутилась. Не вижу. Но каждый стих шепчу наизусть. И не понимаю. Но откровение – вот. И теперь нужно проснуться. И не забыть.



Осознаю. Просыпаюсь. Но это во сне. Машинки нет на столе. Тетради исчезли. Передо мной на порванном зеленом сукне два белых листка. Разные даты. Что же это? Неужели он догадался. И моя тайна раскрыта. И этот второй белый листок – откровение мне. Чувствую – после такого могу не проснуться. Помню прочитанное. Повторяю губами. Согласен продлить. Не забуду. Не забываю. Почти не забыл. И вдруг ясная мысль. Ничего этого нет. Продолжаю видеть. И вот нащупываю машинку. Пока не вижу. Но обнаруживаю. И чего-то не достает. Состояние очень тяжелое. В нем откровение правды. Ничего не получится. А я все равно готов остаться учителем. Но не могу представить себе, как я теперь пойду на уроки. Чтобы взять и проснуться. Все помню. И безнадежно. Все правда. И эти два белых листка. На них проступают слова. И пропадают мгновенно. И я прочитал.

Боже мой. Осознаю. Мишенька плачет. Уже давно. А Наташа уснула. Она слышит и не верит во сне. Такого не может быть. И все-таки вот. Его особенный плач. Особенный звук. Редко. Уже немного другой. Это явь. Приходится просыпаться. Точно. Заплакал. Сразу проснулась. Белая ночь. Тишина. И машинка за стеной не стучит. Зеленая лампа сквозь дверное стекло. Мишенька спит. Как всегда. И кто-то еще. Наташа встает. Она тихонечко открывает стеклянную дверь. Подходит ко мне. Стоит за спиной. Какое дыхание. Он что-то видит. Стон. Прерывисто. А я все наблюдаю. Со стороны. И, наконец, просыпаюсь. Оно со мной. И за спиною. Нет никого.

Бывает, проснешься и рад, что все не так, не то, что видел во сне. А бывает, когда нет разницы и границы. Все то же самое. И еще хуже, потому что явь, а не сон. Вот как раз. И теперь никуда не уйти. Убывание жизни. В самом начале. Длинною в целую жизнь. Это одно. А совсем другое, когда кто-то ночью трудится и цепляет мыслью возможность убить и себя, и тебя, и его, и ее, и всех еще, кто знает и не знает об этом. И самого господа бога, если только он жив. И пространство, где он может явиться. И время, когда он появится. И то... Попробуй, вообрази. Там. За всеми пределами. Там. И уж если до сих пор. Как ты можешь мириться и понять, в чем дело? Еще нескоро. Но ты обречен. И вместе со всеми. И со всем. И в тебе, и вовне. Ради кого? И вот, чувствую. Он еще подвинулся к цели. На волосок. Но подвинулся. И уже не усомнится в себе. Получилось. Ошибка устранена. Белою ночью. Сегодня.

Почему же на волосок? Потому что на осуществление. Половина бюджета Земли. А это значит – наука. Политика. И не только здесь. Но и за рубежом. А сколько людей надо включить в систему работы. И не обнаруживать, ради чего. Втайне. Конспиративно. На это уйдет много десятилетий. Главное – поддерживать версию, что ошибка еще остается. И что цель – удвоение бытия. Тут люди найдутся. А была ли ошибка вообще? Формула на зеленой доске – прикрытие? Спрашиваю себя самого, пока мой учитель еще не уснул на той стороне Большого проспекта. В принципе – да. И мне удалось. И помогла постановка. И то, что девятый Б. заболел. И только Минерва заранее знала, что это обман. А теперь, наконец, учитель мой догадался. И вот – не спит, как и я. Ну и что ж? Самое верное – обдумывать планы дальнейших действий. А удвоение бытия – попридержать напоследок. Учитель, усни.

Все начинаем сначала. Его литературное объединение – в помощь. Войду. Серьезно. И будет чему поучиться. Там задачи покрепче. Там люди. Гроза может грянуть в любую минуту. Сначала там решу неразрешимое. А потом – все мои планы. Все. На пятнадцать лет. И не больше. Вот бы сейчас увидеть Меркурия. Спит без своих задних прекрасных ног. Он далеко и не почувствует, что я подумал. Завтра. Поговорим наяву. Меркурий будет согласен. Он первый составит со мной совсем другое литературное общество школы. Там присмотрю людей. Задача – втянуть в него литератора. Не Прометей, а Паскаль. Подойдет. Объявим. Посоревнуемся. А пока – согласие полное. Кшатрий, Меркурий, отсыпайся покрепче. Завтра – особый день. А я свеж, как всегда. Я научился. Как Эдисон. Подремать четыре минуты. И вновь за работу. Подожди. А что я написал вчера на белом листе. Вспомнил?

Одновременно ищу у себя этот белый листок. Он, который приснился. Ищу и найти не могу. По-моему, каждый похож. Вот узнаваемый почерк. Читаю впервые. Не понимаю. Повторяю губами. Обещание. Все решить. И это сегодня. Белою ночью. Сейчас. Внимание. Вслушайся в тишину. Отыщи вторую страницу. Положи, как во сне. Сукно. Угол стола. Вчитайся. Притчи. Или загадка. Вспомни. Такое задание было. А я это принял за то, что он отказался писать. Вот он. Прямо. И вот его откровение. Выдал. Уже хорошо. Одновременно. Спасение здесь. Или там. Неважно. Вхожу в Мишину комнату. Ровный полусвет. И вокруг видно, как днем. Кроватька. Он спит.

Ты сейчас разберись. И прежде всего. Ты подумай. Там, по ту сторону Большого проспекта, - убийца. И его зеленая лампа. А ты размышляешь, когда он спит. Не подходи к белой кроватьке. Дыхание жизни. Шаг назад. Поскорей. Мгновенно. Ты соучастник. Что? Учитель? Или тоже убийца. Ты понял сегодня? Белая ночь. Насквозь. И это серьезно. Кричать. Ненавидеть. Или читать его белый листок. А там сказано, что в его формуле ошибка – прикрытие. Вот. Между строк. Прямое признание. А ты встревожен, что этот Фарадей не спит по ночам. Как твой младенец в кроватьке. Помнишь? Когда Миша еще не родился, ты в этом убийце чувствовал сына. Помнишь там, на лестнице с четвертого этажа. Когда он взял тебя за руку. И ты отдернул ее. Помнишь? Или забыл? Или проспал белою ночью? Да? Проспал? Что? Он решил сейчас. Ну а ты? Что? В ответ не можешь тоже решить? Не подходи.

Стою. Прислушиваюсь. Почти не слышно дыхание Миши. Наклоняюсь к нему. Слышу. Ничего больше. Какое еще бытие? Зачем? Здесь все. Сладкий спокойный выдох и вдох. Каждый день он уже другой понемногу. Оглядываюсь. Наташа сидит на нашей кровати. Глаза блестят в полутьме. И неслышно. Вот. Она проснулась. Чья-то фигура. Моя. Над кроватькой. И я не вздрогнул. А что? Ничего не случилось? Или уже? Вот он потерял головкой. В чепчике. Защиты рукавички. Все как обычно. Выдохнул. Потянулся. И засопел. И успокоился. А почему отец над ним, как тень? Почему силуэт?

Потому что... А это нужно сейчас. Конечно. У него особенный слух. И у меня. По-другому. И все по-другому. И почему у меня. А он как будто чего-то боится. Молчание. Отшатнулся. Выпрямился. И уходит неслышно. И только бы он чего-нибудь не задел. Стеклопанельная дверь. Как будто не тронул.

Надо уйти. Вот сейчас погашу зеленую лампу. Один посижу у окна. Вижу каждую клавишу. Недоступны. Литеры. Буквы и строчки. Не трогай. Пока не решил. Что? Убийца сына – твой сын? Или как сын? Или как что-то родное? Как ты сам? Или как он, в белой кровати. Ну какие тут клавиши. Какие листки. Что ты можешь читать, если никто еще не узнал о том, что случилось. И как ты можешь сидеть у окна? Ты ослеп. Ты не видишь, как за окном замерли силуэты громадных берез на твоей стороне Большого проспекта. Но как они замерли? Отчего? И вновь учитель в тебе говорит – люби Фарадея. Что-то ужасное. Собирается что-то. В такие минуты я страшен, пожалуй, себе самому. И сердце болит. И это признак. Впервые. А я его узнаю. Почему? И что это значит? А ничего. Что-то уже разрешилось. Помимо воли. Предполагаю. Хочется даже ощупать себя. Кто я? Тот или другой?

Все, что ты можешь еще... Останови себя. И вот как ты вышел из малой комнаты, вот и живи так. Пока ты выпрямился, но еще не ушел. Попробуй выдержат. Останови. Невозможно. И как будто бы я подплываю к дверному стеклу. Вижу, Наташа сидит, и смотрит она туда, где только что была моя тень. Теперь она прозрачна. Исчез мой силуэт. Она видит, что я за этим дверным окном. И сидит неподвижно. И что-то напоминает. Мне или ей. Было недавно. Или давно. Зимой. Или когда? Задолго до нынешней белой ночи. Месяцы. Дни. А она уже не уснет. Войди. Возвратись. Конечно. Уже возвратился. И еще одно откровение. И опять понимаю. Все неизменно.

Люблю, как и прежде. Люблю. Той же любовью. Попробуй себя изменить. Гроза во мне, чтобы это увидеть по правде. И Наташа знает – в этой любви ничего не изменишь. Приговоренные к смерти. Учеником, которого бросила мать. Мы трое. Он чужой. Но сегодня, и уже целый год он тоже мой сын. Я это знал. И не мог понять. А Наташа не знала. И вот сегодня, во время грозы, тихой белою ночью, мы поняли, что все действительно так. И в самом деле. Между нами несколько метров. Сто, не больше. Всего лишь этот широкий ночной безлюдный проспект. Но почему-то. Он, Фарадей, и не спит и боится прийти. И было бы странно. Пересечь Большой, подняться по черной и страшной с детства нашей лестнице и позвонить к нам в три часа белой ночи. Да. Это странно. А и не надо звонить. Я отодвинул защелку. Понимаешь, Наташа. Дверь на лестницу. Не заперта.

Нет. Между нами пространство. Гроза в нашей небывалой семье. И над нами гроза. Над нами троими. И без грома и туч. И без молний. Одни только разрывы. И главный из них белый разрыв. Замедленный. Остановленный и неподвижный. Что же? Есть люди, способные так порывать. Мы неспособны. Ты понимаешь. Ладно. И не будем больше об этом. Думаю, все обойдется.

Думай, думай, пока не исполнен срок. И за это время сложится что-то иное. В истории. И в России. И в школе. И на уроках твоих. И чужих. И все это будет. И уже перелом. Самое темное время проходит. Начинается долгий рассвет. И почему он так долго. Наташа прижалась ко мне. Если бы сейчас Миша заплакал, мы бы смогли забыться. И потерять себя на мгновение. И была бы совсем другая жизнь. И как обычно. И как было оно до моих гроз. И откровений. Миша спокоен. Отделен от нас. Краем кровати. Знает. Втроем.

На улице крики, смех. Кто-то гуляет. Машина. Одна и другая. По мостовой. Быстро и мимо. Снова и снова. А потом опять внезапный обвал тишины. Зеленое небо. Вновь силуэты берез. Широкий проспект. Фасад противоположного дома. За ним желтеет и уже багровеет раннее утро. Мы одни все равно. Потому что знаем о том, как разрыв состоялся. А он, Фарадей, не знает. И не узнает об этом. Все правильно. Благополучно. И все-таки. Есть подозрения. Представляю. Что-то вдруг шевельнется в ясной спокойной душе. В тот момент, когда он засыпает, что-то горько отзывается в глубине. И непонятно. И хочется переболеть. И пропадает. И нет ничего. Но остается горькое что-то. Все растворилось, а оно не проходит. И чувствуешь – ты не заснул. А положенные пять минут улетели. Отдыха нет. И снова провал. И сиреневая пустая стена. И на ней образ, как все это будет.

Никто не заметит. Никто не успеет понять. Никаких страданий. Проверено. Полчаса воображения. И четыре минуты сна. А на пятой очнусь. И те же проверки. И вся наука из них состоит. Как будто светлеет. И, приходя в себя, вновь сознаю – учитель мой не будет согласен. После конца останется что-то. Какая-то горечь. Или вроде знакомой тревоги. А потом? Продолжение? Возврат? И напрасно все это? Хорошо. Проверяем. Продлитесь, мгновения ночи. Уйду. Испытаю. И снова уйду. А мой учитель. Никуда не уходит. Вот и сейчас. Окно погасло. А он бродит из комнаты в комнату. А вот сидит. И мама. Ребенок. Разом. Разом. Я больше других не хочу, чтобы кто-то страдал.

## 17.

Прометей и Паскаль. Оба лито. Одно и другое. Они соревнуются. Кто победит? А мне дороги оба имени. Прометей – вроде бы мое детище. А Паскаль – дитя Фарадея. Мы собираемся после уроков. Но Василий устроил так, что дни занятий не совпадают. Зачем? Вполне понятно. Во всяком случае, меня это радует. И у него какие-то мысли. Хорошие. Он сам выбирает и принимает ребят. А у меня – те, кто захочет. И они, мои прометеевцы, давно сплотились. Кажется, крепко. Может быть, на целую жизнь. Десятиклассники, те, что делали постановку, уже кончают родную тридцатую школу. Осталось еще полугодие. До январских каникул Маяковского не успели. Перед елкой последние два урока о поэме «Про это».

В моем воспитательском и в десятом Б совпало. И ребята на елку тогда не пошли. Поэмой «Про это» я испортил им праздник. А я просто читал и комментировал. Никаких заданий и белых листков. Не пошли на праздник. Потому что елка в «Про это»... Кто-то мне из ребят позвонил, чтобы я в Новый год поднялся на мост Лейтенанта Шмидта. И я пошел. Не было никого. Но мне показалось, что там невидимо стоит Фарадей. И я поглядел, помедлил и вернулся домой. Помню все как сейчас. Вот возвращаюсь. Морозно. И не так уж много снега. Но он хрустит под ногами. Новый год. Намело. Тротуар. Думаю. У Маяковского не было сына. Мишеньки не было. Феерический мост. Любовь. Несерьезно. По сравнению с тем, что сейчас. У меня. И у того, кто позвонил. У меня преимущество. Академический садик. Мимо, потому что я предчувствую что-то. Поэма другая. Поединок.

Вот как было. А в душе. Совсем небывалое чувство. Жалко тех, кто не знает о том, что предстоит. А тот, кто знает, уже в поединке. Не беспокояся. Вхожу и слышу Мишенькин голос. И опять – не плачет, а что-то без слов. Себе самому. Кроватька. Манеж. А я после мороза – там, в стороне, у стеклянной двери. Стол накрыт. И опять мы троим. Телевизора нет. А телефон отключили. Понятно. Скоро исполнится год. Ему одному. И кому-то еще. Окна задернуты шторами. Тяжелая ткань. А я не трогаю и не смотрю. И все равно вижу сквозь шторы и стены. Моя Наташа переживает. И за меня, и за Мишу. Все время хочет взять его на руки. И только подумает – слезы. Не будем. Согрелся. Беру его и прижимаю к себе. Осторожно. Чуть-чуть. Удивительно. И то, что нужно. Звонок в дверь. Ирина Александровна с нами. Избегает прямо смотреть мне в глаза. И теперь совсем на минуточку.

Счастье. В семье. И причем здесь «Про это»? А оно победило. Оба лито. И Прометей, и Паскаль. И когда началось последнее полугодие, все мои программисты решили поставить поэму. Новому поколению – странно. И все же согласны. Читали дома. Не поняли. Снова пришлось после уроков читать. И тогда кто-то мне кинул красный томик. А я почти наизусть. И это случилось уже в феврале. Загорелись. И снова, и снова, опять и опять. Разместили реплики. Читали, распределяли. Сошли с ума. Ведь всего лишь одно полугодие. И экзамены. И не ко времени. И ничего. А решили после того Нового года. Когда не пошли на праздник. Вместо него. Прощально.

А у кого-то про это было иначе. А у нас. Объединились. Выпускники. Полное собрание сочинений. То, что писали два года. Почти ежедневно. На второй половине урока. Перечитываю. Им бы тоже полезно. Я думаю. А листки у меня. Правильно. Приходи. Читай. У меня. Сохранно. И не пропадут. В общем, понятно, почему решили «Про это». Понятно. Если все прочитать. А эпоха подходит к концу. Кончается кукурузное время. Уже невозможно. Тонкий слой целины в воздухе. На ветру. И Демьян Бедный. Вместо Блока и Маяковского. А к концу века в роли Демьяна – понимаете? – Николай Гумилев. Но это предчувствие. А пока. В пику эстрадам, – «Про это». И не

подумайте. Я молчу. Предлагают ребята. А во главе – Фарадей. Монологи ему. И он ведет репетиции. Он выбирает. Он полагает. Он думает, А я не спорю. Тихо и скромно. Паскаль – это и есть Прометей.

Артист. Или физик. Организатор конца. Там, где любовь, у него ничего не выходит. Объясняю. Показываю. Пока непонятно. И все-таки я еще режиссер. Надо признаться – никто не понимает поэта. Любовь. Голгофа. Но Василий не отступает. Он изменяется. И я понимаю, в чем дело. И самому себе запрещаю думать и решать окончательно. А меня уже теперь не обманешь. Но кто знает, что будет в итоге. И кто победит. И в итоге что победит. Игра не годится. И всякие режиссерские штучки. Кто-то из артистов приходил. Консультировал. Две недели не мог это вытеснить. Чтобы ребята забыли. Нет. Не артист и не физик. Любовь и голгофа. То, что в моей судьбе. И притворяться не надо. Василий односторонен. И он это знает. Но пятнадцать лет. Самое время. Что-то в душе. Невольно. И далеко до того. Фарадей владеет собой. Он все предвидит. Опережает. Испытывает себя.

Катерина, увы, не имеет роли. Нет в тексте ни единого слова для ее монологов и реплик. Зато ребята придумали хор. А в нем столько лиц. И каждый – отдельно. По двое. По трое. Кто-то один. А потом все вместе. Разбили текст. Выбрали. Пробуют. Говорю иногда. Читаю за них. Очень легко. Наиболее трудное. Сами. А я отступаю. И остаюсь режиссером. Вот голгофа почище. Но я доведу до конца. Невозможное дело. Вижу финал. Катерина по-прежнему любит. В хоре теперь. Василия видит часто. А ведь не познакомились до сих пор. И не подружились. И так и останется. Не замечает. Весна. Где оно – безответное чувство. Или почти безответное. Вот. Надо любить и чтобы тебя не любили. И то и другое в принципе невозможно. Для Фарадея. А перед ним и Минерва бы не устояла. Хотя у нее, кажется, еще не погасла прежнее что-то к Прометею-аристократу. Весна. Пустота.

А что Меркурий? Он тоже эпизодически в хоре. И все, что связано с нэпом. Тут он сразу на первом плане. Вот настоящий артист. Попробуй добраться, что у него на душе. За Фарадеем. Честно сказать, он еще не понял, зачем постановка. А уже ведет за собою хор. Потому что неузнаваем. Такой он могучий. За лето вытянулся. Выше Василия целую голову. Выше меня. Бедная Катерина. Равнодушна. И это ей дается непросто. Она прощается в школе с любовью. И, как думает, навсегда. И поэтому в хоре. И все равно одна. Повзрослела. А такая же, как была. Помнишь первые дни девятого класса? Объясните тайну «Про это». И как поэму вынести в жизнь.

Все вокруг одного. А кто он? Вот интересный вопрос. Оказывается, понемногу Фарадея стали разгадывать. И первым – Кшатрий. А за ним остальные. У Меркурия очень острый глаз. А сам этот гигант еще послужит Юпитеру. И вдруг обнаруживает. Нет ничего. Где Юпитер? И почему он какой-то... Прямо что-то вроде Христа. Почему? Какая любовь? Объясните. Что это? Замысел? Или другое. И если он хочет поближе к людям, то здесь... Голгофа. И опять непонятно. И когда кончится бытие, кто будет кого

воскрешать. Думаю, Вася – не просто Вася. Он что-то опять решил. И не посвящает меня. А по-прежнему ведет за собой. И я почему-то иду. Ради конца – на крест. И кто же я? Организатор Голгофы? Зачем? Сейчас никакого нпа. А рынок еще впереди. Значит, уже сейчас. Понимаете. Нужно всем на него одного. А потом – воскресить. И голгофник – снова Юпитер.

Бывший девятый Б до сих пор ищет ошибку. Тайна соблюдена. Помогает на репетициях. Идут независимо от меня. Коллектив педагогов пробует остановить постановку. Не в состоянии. Что-то в роде цепной реакции. Физик спокоен. А я успокаиваю. Историк – сигарета за сигаретой. И статья за статьей. А еще появились в школе новые педагоги. Обе женщины. Математик. Историк. И зачем-то обе носят костюмы серого цвета. И еще библиотекарь. Когда-то сидела в лагере. А теперь ортодокс. На партсобраниях речи. И все сводится к тому – надо меня увольнять или нет. Физик беспартийный. А в учительской он кратко сказал. Вы опоздали. Не делайте глупостей. Дайте учителю выйти и вывести. И не мешайте. Примолкли. Потому что не в состоянии. А я сам не знаю, как выводить.

Режиссер понимает. Объяснять, что такое любовь, невозможно. И надо жить и по возможности открывать людям себя самого. На репетициях рассказываю. Приходят. По трое. И по одному. Как в хоре. Мишенька, непонятно как получилось, но с каждым днем все больше и больше он всеобщий любимец. Фарадей ни разу ничего не сказал. Однажды спросил: бывает или нет связь, которую нельзя разорвать. И я ответил, что никакая сила не заставит меня разжать руки и уронить ребенка на землю. И это правда. Я понял, когда однажды обнял и держал Мишеньку на руках. Никакая сила. Фарадей кивнул головой и отвлекся. А остальные. Особенно аристократ-Прометей. Все ждали еще чего-то. А больше не было ничего. И репетиция прошла хорошо. Спокойно и как-то задумчиво. И поглядывали на Фарадея. А он заметил вдруг, что в «Про это» нет богоматери. И многого нет. И не надо. А потом подумал и проговорил: а вот Прометей-комсомолец.

«Обмотки и френч». Аристократ сразу понял – здесь его роль. Комсомолец кончает с собой и похож на Иисуса. И в самом деле, похож. Попробуй, сыграй. А тот, кто стоит на мосту. Кто-то иной. Или тот же самый. А вот Прометею - монолог человека. «Я слышу мой, мой собственный голос, мне лапы дырявят голоса нож». Интересно. Юпитер с продырявленными руками. Голгофа? А кто сыграет медведя. Вот он превращается в Маяковского. Он, кто никогда и ни за что не уронит ребенка. С феерического моста. Прямо в Неву. И где он? И где «большелобый» химик? «Тихий». Перед опытом. Книга «Земля». И где в этой книге формула мастерской?

Многолюдна поэма. Не один Маяковский. Да и он сам. Любит мою любовь. Как перевести формулу Фарадея в секрет воскрешения? Как из воздуха выстроить мастерскую, где само бытие себя воскресит. Василий понемногу теряет себя. Отдает одному и другому строки и строфы. Где хотя бы строчка его? Без актерства. И без намерения утаить? Придуманный хор

тоже распадается на единицы. Каждый стих кричит сам за себя. Уже наизусть и девяты́е, и десяты́е классы. И те, что в этом году, и выпускники. Музыка в конце и в начале – Скрыбин, а в середине – Глюк из «Орфея». На репетициях буря и страсти. Оживают слова. Но десятый Б. не может понять, в чем же смысл всей этой необъятной работы. Прощание со школой. Новое запоздалое рождество. Или тайное общество. «Воздух в воздух будто камень в камень». Вот именно. Камень как будто. А на самом деле воздух и воздух.

Фарадей достигает цели. Благодаря Меркурию, у него все больше и больше сторонников. А я отступаю. И не скрываю. И еще отступлю. И кто-то со мной. И в самом деле – формула мастерской мне помогает немного. Но я не знаю, как ее выразить словом. Немного иначе. В поэме не так. Однажды на репетиции открыто спросил Фарадея. Как решить или не решить эту задачу? А он только что пробовал продекламировать эпилог из «Про это». Большелобый тихий физик останавливается вдруг и проговаривает вполголоса. Та же формула, только с противоположным знаком. Уже решено. Пробуйте. Объяснить ее не умею. Буквы, знаки, объемы ее известны. Определите ошибку. Большелобого химика вам отдам. Физика оставляю себе. Вот они – строки мои. Слышу их. А произнести не так-то легко. Там верлибры, а тут – богатые рифмы. Понимаете – рифма подскажет. Ищите.

Все рассмеялись. Оказывается, Фарадей умеет шутить. Не вообще, а над собой. Сыграл режиссера. Как хорошо, что уступил ему эту роль. Последнее время он, по виду, совсем простился с матерью и отцом. Живет вместе и простился вполне. И, наверно, в больших глазах его стало больше печали. Если взглядеться. Он тоже за прошлое минувшее лето вырос немного. Легкая дисгармония. Плечи пошире. А лицо и черты как будто не изменились. Во втором полугодии прибавил. И вот – новая соразмерность. Ищу следов бессонницы и не вижу. А он следит за мною. И ни одного слова и жеста не упускает. Мельком. Внезапно. А потом опять – в самого себя. Мне бы надо его разглядеть. Вот прямо так, взять за плечи, встряхнуть и всмотреться. Та же формула. Рифмы. А ну-ка, что у тебя там в глубине. Был бы сыном, я бы спросил. И сумел бы. И это мне еще предстоит. Подожди. Вырастет Миша.

Эпилог. В кабинете литературы. Что-то не так. И опять я виноват. Опять как будто. На стенах кабинета репродукции академических рисунков. Шефы. Сделали экспозицию. Потому что. Присвоено имя Шевченко. Математической школе. Да. Посмеемся. Но здесь. И особенно тот, в левом углу. Живая натура. И трудно поверить, что возможен такой богатырь. Лицо молодое. И вот он. Живой. И то, что в стихах. Приоткрывается. Фарадей перехватывает мой взгляд на этот рисунок. И усмешка. И складка у рта. Ничего не пропало. И не пропадет. Разгоняем частицы. И успеваем. Уже за пределом. И несколько раз меняем знак в формуле жизни и смерти.

Несколько раз. И неизвестно, как получилось. Фарадей поневоле. Это я хочу. А он. Совсем не желая. Неожиданно сам для себя. Человеческая природа. Прорисовано. И заштриховано. И каждый мускул. И что это? Божий



промысел? Или гипербола? Точно. И вот. Легко поменять. Искушение для большелобого. А ничего. Я одолею. Кшатрий. Гляди и учись. Да, он тоже видит рисунок. Но понимаете. Нет любви. А это...Формула или форма? Повисает. Вся репетиция. Обступают нас репродукции. Ну, хорошо. Не будет нас. Но ведь они тоже исчезнут. И пропадут, погибнут формы и формулы. А ты что? Пожалел? Нет, здесь нельзя. В тесноте. Уроки – одно. А для «Про это» нужен простор. Будет. Еще успеем. Если успеем. И как раз кабинет очень подходит. Ну? Разглядите друг друга. И помолчите. Вот. Молчим. И разглядываем. И нет ничего. Но как жалко и горько. Вот. Собрались. Тупик.

Медведь пошевелился там, за третьим столом у окна. Там, где обычно сидит на уроке. Вот опять засмеялись. И этого класса не будет. И вдруг любовь началась. Как? Непонятно. И никто не заметил. Сгущается воздух. Трудно дышать. Учитель бледнеет и вспоминает о чем-то. И сразу – слова, слова и слова. Но они окружают меня. И пускай умирают. И сразу новые. Много их. И все о любви. Но тут же сама любовь. Понимаете. Надо услышать. Она не всегда живет в этом классе. Ловите мгновение. Попробуйте – смейтесь. Фарадей никогда ничего не говорил о любви. Он про это ничего не запомнил. А вот сейчас. Фантастически верно. Медведь подвигается и шумно вздыхает. И скамья трещит. И стол прыгает сам. Ребята, сидите на месте. Не открывайте дверь кабинета. Не выпускайте любовь. Это кто говорит? Фарадей? Глупость какая. Первый раз. Поневоле.

Молчите. Молчите о ней. Самое доброе. И самое верное. Нет. Он говорит. И на себя не похож. Как будто не он. А тот медведь у окна. Беспомощно. И безнадежно. «Скитайся ж и ты. И тебя не полюбят. Гребни. Тони меж домовых камней». Вот, как только заговорил, не полюбили. Одну минуту. Меньше. Но это случилось. Никому не нужен. Опасен. Все на него. Подумайте. Формула. Форма. И сам он форма. Одну минуту. Фарадей не уходит. Такого не может быть. Разглядывают. Откровенно и прямо. Не скрывая взгляда и не опуская глаза. Высматривают. Где она – смерть. И не видят. Как разглядеть? А ведь одно. Как у Гете. «Пандора» - сказал Прометей. А здесь поневоле – ужасно, когда не любишь, «ужас не сметь». Вот и разгадка. Идем, скорее идем. На феерический мост. А потом – раздерите на части. Убейте. И тогда вы останетесь. И не будет меня.

И вдруг он заговорил о своих частицах. И о том, как их разгонять и сталкивать. И как уничтожать мое и твое бытие. Вот решена задача. Тайна открыта. Игра уже не нужна. Смерть, любовь. Доказано. Перепроверено. Все едино. Вижу от Фарадея – сразу все отшатнулись. Они. Все, кто встал. И все, кто сидел. Как будто ветром нагнуло. А он, прямой, статный. Полный любви. Приглашает погибнуть. И пока не решил, надо его уничтожить. Воскрешение – тоже смерть. И не поддавайтесь. Он объясняет. Удивительно просто. И уже не игра. Вижу – доходит. Она. Последняя репетиция. В кабинете литературы.

## 18.

Мгновение мелькнуло. И как будто забылось. И опять мы в кабинете истории. Безумные репетиции. Февраль на исходе. Распределение ролей меняется ежедневно. И все наизусть. Уже давно. А на уроках внеклассного чтения споры. Возвраты. Поэты. Прозаики. «Новый мир». Слепы. Не видят. Куда подталкивают. Бытие. К какому обрыву. И к какой катастрофе. А мои программисты видят и знают. История совершается на репетициях. И Фарадей – под присмотром. Он уже все объяснил. И теперь ничего не скрывает. Но те, кто ставит «Про это», уже давно догадались, что за ним, Фарадеем, не уследить. И он сам догадался. И не удержит себя. Удваивать бытие неинтересно. Вот оно. Уже существует. А как поменять знак, если его уже нет. И бытия. И знака. И формулы. И причем тут любовь. И как воскрешать. Кому и кого? Да, я не знаю. И никто не знает. И не узнает никто.

И опять репетиция. Народу все больше и больше. Каждый раз – тот же текст и что-то иное. В новых ролях, и совсем не так. Тайна «Про это» не тронута. И недоступна. А ведь надо, чтобы все отозвались. На первое слово. И как это сделать? Если не получится. Тогда одно. Эксперимент Фарадея. А в это время вокруг – абсурд за абсурдом. И литература туда же. И эти серые идеологи. В юбках. Со складкой у губ. И та, и другая. Даже историк, и то поседел. Все расплывается. А до катастрофы еще далеко. И, если вздуматься. Лучше не надо. И только в кабинете истории. На репетиции, мы решаем, как быть. Потому что как «не быть» - нами уже решено. А что литератор? Молчит. Понемногу и постепенно он теперь ведет репетиции. Но вообще. Все по-прежнему зависит от Фарадея. От его настроения. И состояния. И он с тех пор ни разу не говорил о любви. И неизвестно.

Мои программисты не признают никаких тупиков. Там, где тупик там они собираются вместе. А я все жду – вот Фарадей со своим другом, богатырем, заглянет ко мне и увидит годовалого Мишу. И потом нельзя упустить момент, когда я ему отдам тот белый листок. А ребята все пишут и пишут. На каждом уроке. И что они пишут. Конечно, я читаю один. И даже Наташе не показываю эти писания. Притчи. Каждый урок. Сто двадцать работ. На четыре класса. Проверяю. Цитирую вслух. Без указания автора. И уже могу не спрашивать разрешения. Боже мой. А не предьявить ли мне Фарадею. Все написанное. И все, что красной пастой. И мое. То, что пишу на уроке. Он знает об этих листочках. И они бы ему помогли. Захочет – прочтет. Я его понимаю. Не хочет. Или, быть может, запрещает себе.

Есть у меня грех. И большой. Перед ней. Катериной. С тех пор, как она подала мне белый листок, я перестал читать ее сочинения. Кроме тех, которые по программе. А она пишет. И мы с ней уже осознали, что пишет она для себя. И никто не нарушит. Безнадежно. Единственный раз. Когда я хотел почитать. Это после той репетиции. В кабинете литературы. На другой же день. Они писали. Целый урок. Вместо урока. И я писал кое-что. И мы

условились. Что я не буду читать. Тогда первый раз. Фарадей подал белый листок. Но он не отказывался. Писал. Разорвал. И в итоге подал нетронутый белый. А обо мне. Что говорить. Стихи. О России. Когда-нибудь. Прочитаю. А сейчас. Я отдал. Только Наташе одной.

Слава богу, кроме нас, никто не верит. А те, кто верит, все равно считают невероятным. И не одни идеологи. Опасность такого масштаба кажется безопасной. Или не входит в сознание. И вот на этом держится жизнь? Да, я верю. И не могу, не умею вместить. Или предотвратить. Что? Убеждать? Поздно. И кто кого убедит. Изолировать? Он и без нас. Проще всего, как мелькнуло на репетиции. Уничтожить. В метафоре – да. Но тут не метафора. Шестидесятые годы. Новый культ. Уничтожить ребенка? Простите меня, как уничтожить? Одни программисты могли на секунду подумать. И сразу мгновение как будто забылось. И только одна ясная мысль. Репетиции. Постановка. Физик прав. Опоздали. И теперь не надо мешать. И ни в коем случае не трогать родителей. И молодого учителя. Отойдите и не мешайте.

Примерно так. В глазах у всех. Кто вспомнит. А вот литератор не забывает. Не может забыть. И уж он-то знает – верить или не верить. Вот что получается. Поневоле подумаешь – это последние часы и дни шестидесятых годов. И всего каких-то четыре года. И те уже за плечами. И вот итог. Может быть, он как-нибудь сам собой разрешится. На репетициях. И в постановке. Подумают. И засмеются. А уж смех погасит последнюю мысль. И попытку решить. Репетируем. Держимся. Улыбаемся? Улыбайтесь. Ужас и невеселый смех. А потом ирония. И незаметный возврат к обычному состоянию. Без памяти и без мысли. Вот. Установлено, где граница. Но когда играем «Про это» в кабинете истории, память в порядке. И вмещается. Каждый раз. Больше и больше. И ничего. Не сходим с ума. Литератор - пример. А у него – жена и ребенок.

Иными словами. До чего мы дорепетируемся, то и будет. Никто не попробовал. Никто вслух не сказал. Признаем. Понимаете? И в том, как играют ребята, единственный способ. Ну, в общем. Интонации. Движения. И все очень серьезно. И как-то легко. Иронично. Чаше стали смеяться. И вдруг остановка. И тишина. Как тогда. В «Прометее». Помните? Нет, не забыли. Позвольте. Это совсем другое. Не так. Мы тогда не смеялись. Порою шутим. Ну, Фарадей. Когда сам себя остановишь? А он улыбнется и говорит - ничего не зависит. И он не один. И где-то сейчас. Точно такое. Но уж всего вернее. Одно. То, что никто нигде не ставит «Про это». Продолжаем? Уловили? Повторяю. Никто не ставит. И не отвлекайтесь. Вы поймите. Это не я. Проклятое время. Затяжной и растянутой конец бытия. И каждый из нас – конец. Для себя. И ты. Может быть, первый. И все. И не больше того.

Мизансцены меняются. Импровизации. В движениях. В положениях. Но не в словах. Пробовали отойти от текста. Не получилось. Маяковский доволен. А может быть, мы так и сделаем. Кто-то его сыграет. И прямо без слов. Одно выражение. Меркурий, попробуй. Пойми. Ты уже не тот. Не Меркурий. И даже не кшатрий. Как тебя называет учитель. Нет. Без слов. Ты

стоишь в стороне. И одобряешь. Или напротив. Кто-то пытается. Вставить стих. А ты выразительно поправляешь. Не так. И опять получается. Один единственный текст. И наконец ты его произносишь. И вот. Реплика восстановлена. И снова рифмы сильнее слов. Проходят сквозь постановку. И сквозь наше время. И ведут за собою слова. Согласен? Принято. Нет. Не согласен. Ты. Единственный. Ростом. Лицом. Ты. Соглашайся. Голову брить не надо. Смех. Воображение. Он, обритый. Очень похож.

Сообразайте. У Маяковского не получилось. Потому что рифма не касается всех. А у нас другое. Больше, чем рифма. Сразу всех. Одновременно. Хотя бы в этом. Будут все как одно. И каждый по-своему. Кончай. Одно и то же. Но это как в церкви. Нет. Церковь уже не голгофа. Крест. А у нас «руки крестом». «И пускай перекладиной руки раскистены». Что? Изображать? Кшатрию? Нет. Не позволим. Голгофу и так превратили в математический знак. Формула или голгофа? Подождите. Вот сейчас. Фарадей не шутит. Потому что есть еще фарадеи. Что? Опять любовь? Никуда не уходит. А когда же она придет, наконец? Ни слова об этом. И самое слово – забыть. В поэме. Одно многоточие. Рифма. Пойдите. Учитель ушел. Ушел с репетиции. Что? Продолжаем? Не отвлекайтесь? Голгофа. Ты, Фарадей, виноват.

Да. Был такой случай. Было. Я ушел с репетиции. Она продолжалась, и без меня. А я точно знал, что совершается. Уйти невозможно. Что-то меня схватило. Не понимаю. Может быть, оно, еще одно откровение. О том, что все действительно так. И не снится. И я не придумал. А может быть, что-то иное. Правильно. Фарадей виноват. Но ведь он сказал все, что думал тогда. Значит, мы пережили момент, и уже ничего нельзя изменить. Логично. А если так, зачем репетиции. Но их уже не отменишь. И вот придется прийти. И я прихожу. И как ни в чем не бывало. Веду. И замечаю. За тот раз, когда я ушел, они куда-то продвинулись. И теперь надо их догонять. Пытаюсь. И вижу – что-то упущено. И так и останется. Они меня обогнали. Тайна. И уже от меня. Виноват Фарадей. Но, как сказано. Тут ничего не изменишь.

А у меня предположение. Он все-таки ошибался, когда говорил, что формула его может быть открыта еще кем-то иным. И что он сам не так уж и одинок. И дело не в нем. Ошибается. Но попробуй ты его опровергнуть. Ищи доказательства. Интуиция говорит. И она сильнее. А получается очень просто. Ошибка его – знак чьей-то воли к самозащите. От всех. И от тех, кто любит. И у кого ребенок. Постановка нужна, чтобы защитить себя от самых близких, кто, может быть, помешает. Им доказать, что они думают с ним одинаково. И что каждый из них – Фарадей. И уж если вы хотите любить, то это и есть любовь в вашем и в моем понимании. Всем одна и та же судьба. И все вместе со мною. Только так – вместе. А если не так, то причем тут любовь? Самообман. Себялюбие.

А я ищу хоть какое-нибудь изменение в его облике. Та же внешность. Другие растут, взрослеют. Он остается. И убеждает собою, что никто не изменится, если он любит. И если кому удается на минуту или на много лет

заболеть формулой Фарадея. Вот о чем говорит внешность эфеба. Или юного Гете, пока он не испугал сам собою себя самого. И у Маяковского. Если всмотреться, тот же облик. Подумаешь, в нем что-то немного не так. Безразлично. Он себя понимал как норму. И нам завещал. И вот постановка должна обнаружить. Любите? Подождите. И не пытайтесь меня распыть за то, что я вас потревожил. Вы самих себя распинаете. Потому что не любите. Даже сами себя. Вот ошибка, в которой вы не хотите признаться. Потому и болеете понапрасну. И теперь жду, когда вы обнаружите и устраните ошибку. На репетиции не получится. И на прогоне. А вот, когда мы в последний раз...

Оглядываю ребят. Всех, кто участвует в нашем деле. Поневоле со стороны. Вот зачем я тогда ушел с репетиции. Надо слегка отойти. Вот могу разглядеть. И становится страшно. Кажется, Фарадей тут не ошибся. Понемногу и незаметно. Аристократ и Меркурий. И тот, кто медведь-коммунист. И комсомолец. Иисус, который, приподняв терновый венок, из иконного глянца кивнул Фарадею. И здесь нашлась для десятого Б особая роль. Все они. Как у Толстого. В его предсмертных словах. Обретают лик и облик эфеба. И тут же рассыпаются врозь. И снова каждый – сам за себя. И каждый сам собою доволен. Потому что забыл, зачем репетиции и постановка. Но какая-то сила все равно собирает их всех. После уроков. Опять в разных ролях. Уже любая строчка – новая роль. И ничего, ничего не изменишь.

Да, конечно. Ребята выросли. И что-то в них установилось уже навсегда. И вот Катерина и Минерва. Естественно, и Минерва. Как будто снова первые дни девятого класса. Как объяснить. А зачем объяснять? Все увлеклись и не видят их. А они среди всех последние месяцы рядом со мною. И я хотел бы вернуться. И сам не знаю куда. И оставаться. И что-то сделать. И невозможное. И невообразимое. Оба ЛИТО. Паскаль. Прометей. Вот, наверно, разгадка. Надо поставить голгофу. А как это сделать? «Про это» не дает оснований. Фарадей всех к себе повернул. Миша мой и голгофа никак не могут войти в то, что происходит на сцене. Для Минервы и Пандоры нет ролей в итоге – перед прогоном. И они оглядываются на меня. И я в отчаянье. Оттого, что, оказывается, хочу голгофы. Той, которой так легко избежать. И вот они захотели тоже.

В тексте Маяковского голгофа – самое важное. И опять. И опять. Вроде бы вся постановка. Без нее. Без голгофы. Ее проговаривают. Фарадей подсказал. Попытка спасти. Неудачная. Уничтожили. Как было с Иисусом. Но тогда родилась религия, вера в божьего сына. Потом – повторение. В человека. А теперь конец. И вместо воскрешения. Того, на Страшном суде, тихий физик и химик. И мастерская. Как воскрешать. Повторение. Привыкли. Верят. Стараются. А я вам говорю. Повторенья не будет. Поменяйте знак. Но после конца. Формула уже не работает. Ветхий завет. В итоге полный конец бытия. Само собой. Постепенно. А я предлагаю – сразу. Не надо мучений. Моих и твоих. И особенно – детских. Поэтому наша голгофа –

предупреждение. Как не надо. Смотрите, что будет. Опять. И опять. Новый завет. Берегитесь.

Избегали голгофы. И мизансцена. Стоит Фарадей посредине. И все рвутся его уничтожить. И дотянуться не могут. Поэтовы клочья – метафора. Мелькают флажки. По сцене. А он стоит невредим. Флажки и клочки. Мелькнули и спрятались. А потом он один. Просит, чтобы его воскресили. И разводит руками. Хор застыл. Нет никого. Вот еще одна смерть. Гете и Маяковский. В одном лице. В одном облике. Видите? Я ушел вместе с вами. И вы ушли вместе со мной. Если бог – вне бытия. То вот и все мы стали как боги. Не бойтесь. А сейчас. Мастерская разгоняет частицы. Человеческий разум дошел до предела. И отказывается от бытия. Хор смеется. Тем невеселым смехом. Конца. Шестидесятых годов. И хорошо, если зал засмеется. Плохо, если получится немая сцена. Как у Гоголя в «Ревизоре». Должна была получиться.

Понимаете? Перед прогоном на репетицию пришел седовласый историк. В свой кабинет. И все понял. И ужаснулся. И посмотрел на меня. Вот он что-то хочет сказать. И не может. Как же? Это его воспитательский класс. Да причем здесь класс. Учителя. Вот главное зло. Дождемся прогона. Говорят, что-то меняется. Каждый раз. Непредсказуемо. А этот литератор. Добился. Доплыл. Со своим «Прометеем». Вот бы сюда сейчас методиста. Пусть полюбуется. Да вот он как раз. Вспомнил. Два года прошло. Изменился. Бородка. Усы. Пенсне выдает его. А то бы я не узнал. Как догадались. Внучка. Та, которую зовут Катериной. Вот. Все очень просто. Ну что? С концом? Или с концами. Интеллигенция. Как поживает ваш новый культ? Усы. Бородка. Прищуренный взгляд. Без очков. Что лучше? Тысячи? Миллионы? А может быть, сразу? На сцене? Или как?

Нет богоматери. Нет Иисуса-младенца. Есть одна, только одна любовь. И к кому – неизвестно. О ней ничего. Знаем, она, любимая, притворилась больной и веселилась вместе с гостями. Когда она «вплеснился» в стенку на лестнице. А и в самом деле. Где она? Снова. Сцена звонка. Лыдина-подушка. Феерический мост. И она. Глумится. И «ведет бесшабашье». Все по порядку. Нет богоматери. Нет рождества. Остается один поединок. Один. И вот. Я чувствую. Что-то со мною случится. Вот глянут сейчас на меня. А я незаметен. Веду репетицию. И ожидаю, что будет. Фарадей вспоминает первым. На его красивом лице исчезает усмешка. И сразу – полный обвал тишины. Сцена и гости. Зал. И Меркурий вырастает на сцене. Слышны его шаги. И от этого тишина еще громче. Вот. Иначе не скажешь. Он идет. И становится против Юпитера. Против Яхве. И против меня.

Дальше не помню. Ясно только одно. Репетицию надо прервать. И никакого прогона. Планы. Проекты. Эксперименты. Предметы. Экзамены. Пленумы. Десятилетия. Остановитесь на миг. Получилась голгофа. Что? Непонятно. И вот. Не нужно никаких доказательств. Что она была. Вот она. И

не повторилась. В первый раз. В нашем театре. Первый раз. Не надо хотеть. Она состоялась. Только что. У всех на глазах. Никто не бьет Фарадея. Уже не нужно. А он стоит, прямой. Недоступный. Он вспомнил. И вдруг. Вся моя боль. Вспыхнула в нем. Он ее отводит рукой. Еще и еще. Опять. И опять. Кшатрий берет его за руку. И уводит со сцены. А он возвращается. Такой же прямой. И тут происходит. Вот оно. Аристократ-Прометей. Рядом с ним. А я – между ними. И никто не уходит. И я читаю им свои стихи о России. Те, что писал в классе тогда.

## 19.

Любовь – это общая судьба. Добровольно. И поневоле. Когда люди вместе. И не бегут из этой судьбы. Любовь неизбежна. Видите? На сцене получается. Что-то вроде любви. Все на первый крик «Товарищ!» готовят эксперимент. Бегают строки-частицы. Никак не могут столкнуться. Все к одному. Фарадею. Уничтожение – столкновение всех. И всего. Он готов. Он снова на сцене. Он снова невообразимо красив. Нельзя не заметить. Уничтожьте его, и столкнетесь в едином порыве. Нет, не сейчас. А тогда. В последний раз. Вот вам и формула, и голгофа. Ни одна черточка не дрогнет. А пока. Что происходит? Все замерли. Только аристократ идет мне навстречу. Преждевременно. Или что-то иное. Учитель.

Встает между нами. Читает стихи. О матери и распятии. И я первый раз пытаюсь понять. Что я чувствовал к нему, когда брал его за руку. И что переживаю сейчас. Новый текст. Неплохие стихи. Не Маяковский. Но дело не в них. Это пока репетиция. А что в основе? И в глубине? Что? Надо прервать. Разобраться. Почему никто не уходит? Репетиция кончилась. А все ожидают чего-то. Нет. Не дождетесь. Но как выйти из этого состояния? Ведь ничего не нарушилось. А почему мы стоим. Свободно. Можем двигаться и почему-то стоим без движения. Стихи о России? Смешно. И никто не смеется. Воистину чудо. Но я первым уйти не могу. Скорей. Уходите. Избавьте. Нет. Не избавляют. Ладно. Согласен. Добровольно. И поневоле. Вновь развожу руками. И чувствую. Нет. Нельзя. И вдруг понимаю, что все уловили. То состояние. Которое будет. После конца.

Что это? Полсекунды хватит. Но где она – секунда? Все уловили. Мне труднее. Потому что я давно по ту сторону. И до сих пор не увидел. Вернее, заставлял себя не думать, не знать. И удавалось. А теперь. Полсекунды. Страшное дело. Что-то вроде любви? Или сама любовь? Та, что так долго не приходила. Неужели так просто? Она в итоге всего. Пропись. Не так. Формула не допускает. Учитель интуитивно прав. Ушли границы. Бытие – подробность. Могу не считать. Вот ее нет. А вокруг. Иные миры. Подробности. И все это не бытие, а что-то совсем другое. Земля. Вселенная. Где они? После конца. Оттуда возврат. В любой из миров. А ты выбираешь. И не выбрал еще. Надо вернуться в любой. Нет. Сразу. Одновременно. Без выбора. Вот что такое любовь. Ты к этому близок. И она приходит. Учитель такое умеет. Не уходя.

Перерыв? Или разрыв. До прогона? Кабинет пустеет. Выдержал, слава богу. Пребывание там. Катерина-Пандора. Учитель с ключом. И я развожу руками на сцене. Пора покидать прерванную релетицию. Только бы ни с кем не встречаться. Домой. Сейчас никого. На гастролях. Один. Опять вечер. Еще темно. Зеленая лампа. Там и здесь. Не заметил, как уже сижу с нею один на один. Все готово. Нечего делать. Кшатрий звонит. Меркурий. Ну, давай. Сразу? Можно и сразу. Так не успею. И все-таки надо. Что-то не решено. Мы вместе. Мы любим друг друга. Было сегодня лишнее? Да. Катерина. Россия. Но вообще я уважаю такие препятствия. Это, конечно, учитель писал. После стихов Маяковского. Думаю, когда я разорвал свой первый листок. И подал белый. Тогда. Предположение. И сегодня случилось такое. Как на уроке. Вживую.

Меркурий. Подожди. Давай вспоминать имена. А то мы сегодня забыли. Привязались. Память о школе. Паскаль. Я бы знал, что она уничтожает меня. А она бы не знала. Давайте хорошо мыслить. И проверять. Физика. Что? У тебя задача? По-моему очень просто. А Эмпедокл? Покажи. Нет. Он неистощим. Подумаем. Поищем решение. Все разрешимо. А ты из дома? Откуда еще? Не знаю. Поживи у меня. Да. Гастроли. Неделя-другая. Ты будешь. И никто не заглянет. Диван у меня. Освободи. Книги теперь не нужны. А Маяковский – тем более. Вот. Ложись. Отдыхай. Задача? Уже решена. А ты что писал? Признавайся. Россия. Какая Россия? Вижу ее конец. И могу объяснить, как это будет. Полезно тебе. Ты станешь совсем другим. Не поверишь. Поговорим. Отдыхай. И я помолчу немного. И вот еще. Вдруг соберусь на прогулку. Не отпуская. Уговаривай. Силой.

Какие гастроли? Ну, ты же знаешь. С оркестром. Оркестр отделяет моих друг от друга. Альт и фортепьяно. Нет, это еще больший разрыв. Слава богу, твои терпимы. Терпят. А мои уже давно. Целых два года. Для кого-то роковые. А для кого-то... Счастье. Любовь. Ребенок. Кстати, я не могу понять. Толстой не любил грудных. Красный комочек мяса. Кричит, не рассуждая. Пронзительный крик. Вот я живу. Не любил. А у парней нашего возраста, наверно, должно быть, как у Толстого. А вот объясни, почему у меня. Совсем другое. Я бы всматривался в красное личико. И в каждую складочку. И взвешивал бы. И пеленал. И стирал. А потом он растет. И хочется угадать. Бывают повторения. Или почти повторения. Ты слушаешь удивленно, потому что у тебя все это будет. Все впереди. А у меня. Точно уже. Нет. Никогда.

Поговорим о внешности. Тоже придется расстаться. Почему-то мы решили. Пятнадцать лет. Почему? Из-за учителя? Ты не думал. Понятно. А я все чаще и чаще. Слушай. Переезжай ко мне и живи у меня. А ты не можешь. Родители. Жаль. Мне с тобой хорошо. А что будет через пятнадцать лет? Мне приятно смотреть на тебя. Какой ты большой. Это нам с тобой повезло. Честно говоря, я смеюсь, когда слушаю твои умные афоризмы. Да, умные. Тебе я в два счета скажу, как погибнет Россия. И Советский Союз. Ну, Союз



не самое важное. Переживут. А вот Россия. Почему? Почему он писал о ней? А... Богоматерь. Он внес богоматерь в поэму «Про это». И тут мы совпали. И сам не знаю – зачем? Ты не решаешься мне сказать. Я сам не решаюсь. Прямо как в «Фаусте». Ты читал? Вот я тебе расскажу. Потом. Не сегодня. Мать-материя, пока отдыхай.

Так вот. Внешность – от матери. Нежные формы. Женственность. И соразмерность моя. От нее. Ты совсем другое. И отец у тебя коротышка. И мама совсем не похожа. В кого ты, Меркурий, уродился такой. И ты согласен. И готов. Через пятнадцать лет. И у тебя тоже... Подожди. Объясни. Что ты хочешь сказать. Учителю двадцать шесть. Год назад. И что? Эксперимент никто не сделает, кроме нас. А мы можем его отложить. На двадцать пять лет. Причем тут пятнадцать? А может быть, еще на восемь каких-нибудь лет? Арифметика первоклассная. В первом классе. И для первого класса. А потом? Уже некому будет разгадывать. Союза не будет. Потом России. А потом и ему. Которому тоже тогда исполнится двадцать шесть. Как и его отцу. Ты усекаешь? Вот это все – внешность. Материнский расчет. Эта вечная, вечная женственность.

Мы с тобой могокане. Про внешности. А я бы еще прибавил. Несколько лет. И тогда все точно. Расчет оправдается. И не надо готовить. Ход жизни самой поработает. В нашу пользу. Все сделают люди. Сами собой. И мы не виновны. Мы только поможем. И без лишних страданий. Сразу. Тогда все захотят. Вот увидишь. И каждому из нас будет шестьдесят четыре. Побольше. А учитель тогда проживет всю свою жизнь. И ты знаешь? Мы тогда придем оба с тобой. Просмотри в окно. Там горит его зеленая лампа. И тогда будет гореть. Видишь, как все замыкается. Безболезненно. Мы решаем. А на самом деле. Все решает. Само бытие. Не беспокойся. Молодость наша. А тут голгофа. Как ты полагаешь, будут на сцене меня избивать? Побьют мою внешность. Или она всех остановит. Как было сегодня. Там. Или не так? Да. Не так. Простой перерыв.

Да. На прогоне и в последний раз могут побить нештутейно. За что? Вот если бы мы ускорили события. А то ведь аристократ-Прометей – тоже голгофник. Присоединится ко мне. Избивайте. За что? А ты? Примешь участие? Не двигайся. Примешь. А может быть, и впрямь учитель нас разведет? Нет. Я знаю. Ты меня защитишь. А я не двинусь. Последняя жертва. Смешно. Ты остановишь. Такой могучий. Кшатрий. Мой богатырь. А для всех – Меркурий. И для учителя тоже. Нет. Нет. Все будет не так. Непредсказуемо. Подожди. А как же любовь? По твоей части. А как Минерва и ее Прометей? Все запугано. Я только знаю. Ты Маяковский. Прими на себя эту роль. А я. Голгофник. Метафора. А она. Много значений. И неизменна. Подожди. Ты медведь. И ты ее ревнуешь ко мне. Подожди. А может быть, это правда. И не метафора? Спи. Отдыхай.

Поздно гулять. И все равно я собираюсь. Пока он спит и не удержит меня. Вот просыпается. Чутко на страже. Что? Будешь уговаривать? Или силой? И то, и другое. Попробуй. Уговори. Да, о любви. Самое время. В нашу теорию

входит вполне. Давай о любви. Я тебя огорчу, если скажу, что она, любовь, только взаимна. А не взаимна – порви и забудь. Мы с тобою друзья. Но Катерина одна между нами. Кстати, ее так и зовут. Учитель назвал, и совпало. Он думает, что мы незнакомы. И она подумала так. А на самом деле. Ты прав. Но я никому не скажу. Даже тебе. Что смотришь спросонья? Ревнуй по-медвежьи. Не скажу, а уже сказано вслух. Дело в том, что она допоздна гуляет между нашими окнами. Учителя и моим. По Большому проспекту. А ты не знал? Но ведь так, чтобы мы не заметили. И сейчас. Еще не поздно. Держи. Не пойду.

Самая большая любовь не дрогнет. Иди ты. И не позволит себя опознать. Равнодушие. Безразличие. Эксперимент. Этот. И ты недаром со мною согласен. Соразмерная внешность. Но ты не подумай, что все зависит от меня одного. Или от нас двоих. Безразлично. Мы оба одно. А ты все равно бы любил. И мы все равно бы дружили. Как сейчас. И все бы делали вместе. Сегодня какая-то слабость. Попробуй меня удержи. Силой. И убеждением. Да. Уже сегодня я думал, что выйду. И эти последние дни. Перед прогоном. Только она, поэма «Про это», удержит меня. И ты не смейся. Постановка поэмы. Такая школьная проза. Театр. И его режиссура. Стихи о России. Снова смешно. Ты понял? Кто задумал играть, репетировать. Молчи. Да. Ты, Прометей, Минерва, Пандора. А ведь это я. И почему-то учитель. Сразу. Как я. Получилось. Верно. Пора.

Не пускай. Не пускай. А я и сам себя не пускаю. Два года. Попробуй. Учитель попробовал. Но он заранее эти два года считал. А я... Пожалуй, бессрочно. И теперь ты понимаешь. Взаимна любовь. А если бессрочно, она одна. Как у тебя. Ну, зеленая лампа. Гори. И в том, и в другом окне. Белые ночи пока еще далеко. Но ведь и они уже ничего не изменят. Пока мы вдвоем. И пока ты со мной. И пока мы готовим эксперимент. И пока его для нас готовит история. Громко сказано? Больше такого ты от меня не услышишь. Лежи. Отдыхай. Спи... Дружеский сон – хорошее средство. Лучшее средство. И не удивляйся, что я говорю такими словами. Мы все говорим только так. Сами с собой. А друг другу – иные слова. Но нам с тобой это не нужно. Внешность отговорила свое. Что? Что ты сказал. Ты, я вижу, проснулся. Мы на равных. В том, что не спим.

Вот уже час, другой проходит. А мы не сказали ни слова. Я за столом обернулся к тебе. А ты сидишь на диване, кровати твоей. Не знаю, о чем думаешь ты. А я вспоминаю. Эти два года. Настоящее время. И больше такого не будет. Оно кончается. Жалко мне учителей нашей тридцатой. Она совсем другая, чем кажется им. Одновременно та и другая. Вот словечко. Одновременно. Пристало. Уже который раз. И за один только вечер. А уже двенадцать часов. Вставай. Натягивай брюки. Пойдем поедим. Поговорили. От тебя я узнал кое-что. Спасибо. А то устаешь, когда все друг о друге ведаешь. Догадок не надо. А ты мне очень многое объяснил. Ты медведь-Маяковский. Ты будешь плакать. Что? Не умеешь? Проголодались. Что в холодильнике. Нет ничего. Родители молодцы. Как всегда. Ну вот, кажется... Хлеб и сахар. Хватит.

Да. Ты сказал, что мы в самом начале послебытийной эры. И ты ясно видишь это начало. Во всяком случае хорошо избавление. От вечной любви. Она еще больше – на самом деле. Не надо преувеличивать. Да. Она еще больше. Ты знаешь. А ведь я ни разу не оставался один. Без тебя. Кто-то во мне говорил. Кто-то сказал, что наше сознание вовсе неисчерпаемо оттого, что оно переходит в другие свои состояния. Те, что откроются. После конца бытия. Представь. Мы увидим. Рано ли, поздно. Вот как сейчас. На кухне. Когда мы пьем кипяток. С хлебом и сахаром. Очень вкусно. Предвесьте того, что будет. Но ты осознал, почему я хочу взглянуть на сынишку учителя. Не пускай. Дождемся конца. Двадцатилетия. Очень хочу. И вот оставляю зеленую лампу. Это согреет его. А то не выдержу долго.

Проклятый возраст. Вижу насквозь. Все его штучки и ухищрения. И особенно этот язык. Бессильный. Бездарный. Словечки. Уж лучше физиология. Или словесный стиль нашего эксперимента. Мы с тобой говорим на таком языке. И вот учителя примем, пожалуй. Он изучил. По нашим работам. Притчи твои. Пользуется иногда. Проскальзывает. А вот в «Про это» есть язык нашей любви. Катерина ушла. Большой проспект опустел. Позвать учителя? Он ведь не спит. Видишь – зеленая лампа. Попросить у него. Чаю хотя бы. Как тогда на свадьбе. Как мне тогда было легко. При всех проблемах. Тогда начиналось. Ну а теперь. Все подходит к концу. Неудобно звать. Все-таки совесть. Он и так изболевся. Ты представь. Смотреть на ребенка. И даже не видеть, а слышать, как он в соседней комнате спит. И знать, что в двух шагах от него. Кто-то. Нет, не могу. Один. Или вдвоем.

Кто-то, короче. И этот кто-то. Брошенный сын. Чьих-то родителей. Твой Фарадей. Может ускорить. Или замедлить. Это ужасно, ей богу. Что? Позовем? Объясним? Успокоим? Час ночи – это еще не конец. Все поправимо. А мне кажется, он догадался. Только не знает, что мы вдвоем. И что Катерина. Была между нами. Ушла. И все равно. Бродит опять. Мысленно. И непоправимо. Что? Остается это сказать. И добавить?.. Что ты молчишь? Почему не пьешь кипяток? Последний кусочек хлеба. Мы преломляем с тобой. Вот наша тайная вечеря. А ведь и она в «Про это» еще не вошла. Ты промолчал целый вечер. Один-два афоризма. И уже не уснешь. Выйдем вдвоем. Одного не пускай. Натягивай джинсы. Куртка. Готовы. Свет оставляем. Лампу. Взглянем оттуда. Вот они. Два маяка.

Пусто и холодно. Ну, скажи еще что-нибудь. О послебытийной эре. Да об эре торговли. Когда России не будет. Ты хочешь сказать. Существование сохранится. А бытие незаметно исчезнет. Хорошо. Но я думал об этом. Дело твое. А на поверку – безвременье. И это серьезно. И тогда уже не нужно отсчитывать срок. Люди привыкнут. А ты? По-прежнему. Ночью. По Большому проспекту. Между двух маяков. Маяковский. Медведь. Незаметно. По следам Катерины. Ушла. И все равно. По следам. Третья линия. Сфинксы. Нева. А через нее феерический мост. Я часто бывал здесь один. Под Новый год вызвал учителя. И наблюдал. Шел по пятам. Стоял почти за его спиной. А он не заметил. Никого не видел. Счастливый. А ведь это была новогодняя

ночь. Гуляли. Хохмили. Визжали и бегали. На берегу. А мост был пустым. И только я. Почти рядом. Один.

А теперь мы двое. Стоим посредине. Следы уводят. Но мы держим друг друга. Ты меня держишь за плечи. А я сам собою держу. Тебя. И себя. Ну, и долго еще? А ты скажи. Неужели нужна такая граница? Чугунная решетка. На середине моста. Узор кажется черным. А Нева еще ледяная. Февраль. Постановка в марте. Или в апреле. Как мы решим, так и будет. А все-таки. Без вызова учитель сюда не придет. И она. Пандора твоя. Моя Катерина. Или как мы ее сейчас назовем. Холодно. Пусто. Не пускаешь. Но я уведу тебя за собой. Ты видишь? Не время. Только одна полынья. Под серединой моста. Между быками. Только одна. Уходим. А то я слышу. Движение воды. Лыдинка оторвана. И застряла. Ты слышишь? Как я? Вершители мира. Бедный Паскаль. Тебе еще предстоит. А в том, послебытийном безвременье, ты, мой товарищ, сменишь меня.

Уводим друг друга. Сохранно. И безопасно. Большой проспект. Вот мы дома. Куртки долой. Хлеба нет. Падаем оба. Я на кровать. Ты – на удобный диван. Кто быстрее забудет себя? Побывали. Первый раз комната поплыла. Так и вижу. Лыдина. Белый медведь. Послебытийно. Что-то вроде наркотика. Ты не пробовал. А я не могу. Вижу тебя и твое лицо. Ну, спрашивай, пока я еще в силах. Ты спросил. Или ответил. Плывет. Белое. Подо мной. Мы едем? Или стоим? А ты глядишь неподвижно. Тоже большими глазами. Или это мои? Ты сидишь и не можешь лечь. А я уже отключился. И ты за мной. Вот она. Ревность. Не упускай. Ни на шаг. По-своему. В разных мирах. Или в одном. Оттого что рядом. Ничего не меняется. Как обычно. Вдали. Не отпускал. Никогда. И сейчас. Рядом. Напротив. Прячь ноги под одеяло. И гляди неотрывно. И с головой. И сразу. И легко. По следам.

## 20.

Они пришли. Оба. На другой же день. После той репетиции. А я только что возвратился. К Наташе. И к сыну. И все думал о том, что произошло накануне. Целый месяц. А то и два. Ребята не выдержат. И уж если что-то случится, я буду один виноват. Сегодня четыре урока. И во всех классах. Ничего не писали. Отказались. И я согласился. Мы не могли. Надо бы отойти друг от друга. А урок собирает всех. Устали. Не помню, что было, о чем говорили. Что-то важное. Кто-то смеялся. А о вчерашнем – ни слова. Катерина-Пандора не слушала и писала. Одна. У окна. И не по заданию. Хотела отдать листок. После урока. И не отдала. Конечно. Как же иначе? Аристократ в своем классе вел мой урок. От начала и до конца. Он видел, что я просто изнемогаю. Сам вызвался. Очень удачно. И в других классах могли бы. Но там. О Фолкнере. И Хемингуэе.

Ладно. Вернулся. Наташа мне кажется очень спокойной. Спрошу. Так, чтобы не встревожить. Не получается. Но ведь ясно. Говорить об этом нельзя. Миша не спит. Я не отхожу от него. И о чем говорить? Умолкаю. В манеже.

Ползает. А перед ним черепаха. Подарок ему. Привыкает. На кого посмотреть? Я вроде бы неподвижен. Глаза в глаза. Тянет ручки навстречу. Беру его. И сразу опускаю обратно. Потому что. Он продолжает смотреть на меня. Я встаю. Он поднимает головку. Трудно поверить. Но я понимаю то, что он хочет спросить. И не умею ответить. А он видит, что я не могу. Тот же вопрос. Наташа знает язык. На котором нужно сейчас. Но Мишенька не отстывает. Сел и продолжает смотреть. Я ему отвечаю растерянным взглядом. И сразу. Какая-то сила. Спасает меня. Отвечаю улыбкой. Он верит ей. И смеется. Нельзя не поверить. Больше, чем я.

Тот же вопрос. Думаю, когда он вырастет, он вспомнит это мгновение. Фантастика. Фантастика. Все равно. В будущем это уже происходит. Сейчас. Наташа, не слушай. Ты прямо готова заплакать. Опять черепаха. Ползет по сетке манежа вверх. Надо снимать. Снимаю. Скорее. Миша смеется и машет ручонками. Надо спасать. Наконец ты делаешь. Мама поможет. Лапка запуталась. Освобождаю. Кладу посредине. Миша сидит. И трогает черепаху. И вдруг. Радостный крик. Дождался. И падает рядом с ней. Весело. Быстро. Ползет. И отводит глаза от меня. Ты что-то сказал. Он в будущем вспоминает. Все то, что сейчас? Объясни. И я объясняю. Пока Миша не слышит. Глазами. На его языке. То, что нельзя объяснить. Помни. Держись. Не забывай. Как говорят. Лучше не думать. И не торопи. Это мгновение. И не пиши ничего о нем. Никогда. Счастье.

А в большой комнате чьи-то шаги. Опять. Дверь не закрыта. Как два года назад. Они. Возвращаются к двери. Снимают куртки. Сапоги. Долго стоят. Вот неслышно подходят. Открывают стеклянную дверь. Оба. И без приглашения. Хозяева жизни. Вот они – рядом со мной. Наташа спокойна. А что происходит у нее в душе? Рассказать? Кому? Себе самому? Или Меркурию и Фарадею. Миша замер. Схватился за сетку манежа. Уцепился повыше. И вот. Встает им навстречу. Смеется. Какие большие. Как много. Водит головой. Видит глаза. И снова смеется. Он встал. Может быть, в первый раз. А может быть, всем показалось. Он снова сидит. И готов заплакать. Сетка. Еще раз помоги. Вновь подымается. И я, уже совсем не так, беру его на руки. Фарадей что-то шепчет. Мишенька зачарован его большими глазами. Тянет ручку. Он хочет потрогать лицо.

Фарадей позволяет. Уже сколько лет. Его лица никто не касался. Не позволял. Никому. Жадно глядит. И не замечает. Вот заметил. И на губах. Улыбка. И вдруг засмеялся. Папа не так. Но очень похоже. Да. На том языке. Хочет взять на руки. И без спроса берет. Мишенька хлопает его по губам. А потом удивленно трогает щеку. Наташа глядит на меня. В глазах тот же вопрос. Ужас. Рванулась к нему. Но Фарадей не дает. Отстывает на шаг. С ним на руках. Нежно губами. Касается. Головки его. Лобик. Макушка. Ловит губами ручку. И снова глядит. Всматривается. И торжественно. Осторожно. Отдает Наташе ребенка. Меркурий видит все. Пожирает глазами. Своего

Фарадея. Первый раз. Не узнает. И не верит глазам. Невозможно. Лицо его искажается. Он отступает. К стеклянной двери. Беспомощно. Оборачивается ко мне.

Вот, наконец. Он увидел. Потрогал. Почувствовал прикосновение. Зачем? Мой годовалый Мишенька сам защищает себя. И не только себя. Маму. Папу. И всех других. И того большого. Который стоит у стеклянной двери. Этот нестрашный. А тот. Какой-то чужой. Он сам испугался. Хочется плакать. Но дядя не плачет. Он только пугается. Что они будут делать сейчас? Все на меня. Или все на него. Другого. Он приятный и теплый. Я хотел бы снова к нему. Но мама. Меня прижимает к себе. Снова и снова. А я не пугаюсь. Только не надо на него одного. Он не хочет. Он хочет со мной. Мама, отдай. Как папа. Вот и другой. Перестал бояться. Подходит поближе. Ой, какой он большой. Пусть попробует взять. Нет. У него холодные руки. Терплю. Что будет? Он твердый. Как угол кровати. Но за него легко уцепиться. Папа не так. А он может меня уронить.

Ну вот. Все подержали младенца. И что-то передалось от него. Мы успокоились в эту минуту. Когда Миша опять у меня на руках. И тянется к маме. Уйдем. Нет. Что-то еще. Кто кого охраняет. И от кого? Попробуй спросить. Чувствую, что значит одно неточное слово. И наступает минута, когда можно решить. И в такую минуту. Спасительно. Живое молчание. Пробую. Полслова. Какой-то звук. И умолкаю. Но звук понятен и знаком Фарадею. Мишино выражение. Голгофа учителя. Понятна всем четверым. Но что она по сравнению с тем, что знает и чувствует мать? Фарадей отводит глаза от Миши. Присутствие матери волнует и раздражает. Она как мать никогда не поверит, что, кроме отца, есть еще кто-то другой. Кому нужно это безмолвие. Особенно он, Фарадей. Когда он уйдет. А я не хочу уходить. Это мое. И снова мать отнимает мое. Снова и снова она. Узнаю. Мое право прекратить бытие.

Все они защищают жизнь. Больше свою. Любою ценой. Или младенца. Пока он младенец. А потом. Вот он. И я был таким. А потом. Он уйдет раньше их. Раньше нас. Я это знаю. Мне кто-то шепнул. И будет шептать по ночам. Почему он уйдет? И какие страдания вынесет. Матери надо спросить у меня. А она защищает и хочет, чтобы я ушел поскорей. И увел Меркурия. А вот он. Главный враг бытия. Но желает, чтобы оно оставалось. Эра. Послебытийная эра. Друг мой. Нам и правда лучше уйти. Но я бы остался. Гляжу. Не могу наглядеться. Пристрастие? Нарушение? Что это? Не могу. Мне хорошо. И ему хорошо. Без матери. И без отца. Как это разрушить? Надо ждать. Всеобщего единения. Перед смертью. Надо успеть. Чтобы он не погиб. От близких и ближних. Надо предупредить его неизбежную смерть. Он станет одним из тех, кто со мной согласится.

Меркурий. Друг мой. Ревнуй. А учитель... Он что-то задумал. Он что-то знает. И потому не отпускает меня. Мысленно. Без единого слова. Не отпускает. Я бы стоял и стоял. Я бы жил рядом с младенцем. Вот здесь в

уголку. Я бы следил. За тем, как он растет. Я бы его удержал от ошибок. Я бы ему объяснил, что значит близкие, ближние. Он уже сейчас. Похож на меня. Видна порода. Откуда. Губы такие. Носик будет прямым. А не таким, как у матери. И у отца. Все расправится. И придет соразмерность. И он также возненавидит ее. Если не он, кто? Объясните. «Любовь цыплячья. Любвишка-наседок». У Маяковского. Точно. А как он любил маму, отца. Сестричек своих. Не было брата. А он и его бы любил. И что же? Получается. Нет богоматери? Или вот она. Рядом со мной. И младенец под ее неверной защитой. Потянулся к ней. И прижался. Он сам.

Уходим. Это уже мы видели. Год назад. Сквозь дверное стекло. Меркурий не видел. Для него впервые. А я? Дай оглянись. Учитель спокоен. А он понимает, что происходит. Откуда спокойствие. Богоматерь кладет младенца в кроватку. А он кричит от восторга. Смеется. И тянет ручонки. Ничего. Мы увидимся после. А пока. Спи. Ты устал. Дяди уходят. За окнами вечер. Темнеют мансарды. На той стороне. Большого проспекта. Там наш с Меркурием дом. Сейчас уйдем, как домой. А тут у окна – письменный стол. И машинка. И зеленая лампа. И книги. И наши тетради. И вот. Исчирканный томик. Раскрытый. На каких страницах. А! Вера, надежда, Любовь. А вот мои листки. За два года. Отдельною стопкой. А рядом вот они – два белых листка. Узнаю. Надежда. И Вера.

Белые. Почему узнаю? Потому что отдельно. У него на столе. Только два. Мой и ее, Катерины. Вот в уголку дата. На том и другом. Кажется, вижу оба имени. Обе фамилии. Нет. Белизна. Всмотрись и вчитайся в нее. В белизну. Сначала она. Катерина. Потом я. Спустя целый год. А может, и больше. Надо вчитаться. Вот настоящий учитель. Отдельно хранит. И всегда. Перед глазами. Каждый вечер. И каждую ночь. Вот где наша любовь. И кто ее угадал. И поверил. Он знает про это. Просить не буду. Вижу. Она есть. Любовь, подобная смерти. Ушедшая в белизну. Но оттуда. Она является вновь и вновь. Каждый вечер. На этом столе. Под зеленою лампой. Где учитель? Он замечает. Что я увидел. Оба листка. Но почему он медлит? И не отдает? Меркурий? Здесь твое. Не только мое. Понимаешь? Ну что ты – просто глядишь на меня. Туда посмотри. Вижу. Еще немного, и станешь медведем.

Фарадей и медведь-Меркурий проходят мимо стола. Видят они то, что им надо. Видят и ждут. А я твердо знаю. Нельзя отдавать. И не отдаю. И пока не отдам. Потом буду локти себе кусать. А сейчас не отдам. Что-то еще не случилось. А что может быть? Неужели я надеюсь и верю в спасение. И неужели он когда-нибудь вздрогнет и откажется от себя? Очень плохая надежда. Наташа права. Ничего не изменится. Тут моя жена впервые замечает выправку Фарадея. Спокойный поворот головы. Он смотрит на оба листка и не сгибается над столом. Прямой, как всегда. Но она это раньше не замечала. И то, что это всегда. Видеть листочки с той же своей высоты. Скосив глаза несколько вниз. А на губах то выражение, с каким он давал Мишеньке трогать свое лицо. В той комнате. Посредине. А не там, где он сейчас. А Меркурий подался вперед и действительно похож на медведя.

Наташа права. Надо сделать последний рывок. Отдать ему то, что на столе. Он не берет. И ему никто не дает. Отдай. Ведь я уже посмотрелась на эти стопки. Что в них? Не знаю. Но пусть он почитает немного. И тогда, может быть, остановится. Его гениальная мысль. Нет, не остановится. Но все равно. Это последнее, что можно сделать сегодня. Отдай. Знаю, ты не сделаешь так. Вот где граница. Между матерью и отцом. Между мной и тобой. Между Мишей и мной. Между младенцем и той, кого зовут богоматерью. Что же, учитель всегда такой или только сегодня. Да, он всегда такой. Он любит своего Фарадея. Как этот медведь. Или кто он такой. Меркурий. Не могу. Что-то будет со мной, если они не уйдут. Вообще ребята красивы. Но этот. Пусть он уйдет поскорей. Он уже все прочитал на столе. Какая прямая спина. Тоже такая. Будет у Миши. А поворот головы.

Нет. Не уходят. Стоят у стола. Ожидают. А ты садишься за этот стол и как будто не видишь учеников. Надо отдать. Вот уже потянулась рука. О чем ты сейчас? Что бы ни было, ошибки не будет. А он решает. И не может решить. Нет. Он решил. Ты не можешь. Ты не согласен. Отдашь. И все кончится бесповоротно. Учитель так не умеет кончать. А отец? Ты же чувствуешь. Мишенька спит. Как будто ничего не случилось. Он уснул. А дяди еще остаются. Спи спокойно. Каждый из нас тебя охраняет, как может. И неужели – даже тот Фарадей? Ты говорил мне, что это все поединок «смертельной любви». Так сказал Маяковский. Но я сама перечла. Ужасно. Да. Смертельной любви. Неразрывно. Ну, так отдай им то, что им принадлежит. Пусть они сами решают. Они взрослые. И у них это серьезно. Но ты не можешь. Пока они еще чего-то. Ждут от тебя.

Вдруг Фарадей вновь открывает стеклянную дверь. И из той комнаты, где стол и зеленая лампа, входит в нашу с тобой, где Мишенька спит. Он прямо стоит передо мной. За моей спиной кроватка ребенка. И тут мне кажется, что это Миша входит оттуда. Такой, как этот. Большеглазый. Смелый. Да. Он уже что-то решил. Он обходит меня и смотрит на Мишу в кроватке. Подается вперед и вновь выпрямляется. И смотрит издалека. А потом опять он делает шаг. Поближе к нему. И я не могу и не хочу ему запретить. А он делает жест левой рукой. Чтобы на всякий случай остановить меня. Уголок его красивого рта вдруг задрожал. И я подхожу к Фарадею. И кладу руку ему на плечо. И он вздрагивает. И наконец падает мне головою на грудь. И сразу отскакивает, выпрямляется и отступает назад. Его большие глаза неподвижны. Губы сжаты. Уголок справа дрожит.

Это не я. Это она положила руку ему на плечо. Это к ней он упал головою на грудь. И я спокоен и счастлив. А вот когда он одумался и отскочил, я вновь испугался. Но на одно мгновение. Все равно. Это случилось. Над моим спящим сыном. Невероятное. Или то, во что невозможно поверить, когда оно происходит. Потом поверят. А это сейчас. Только что. Прямо передо мной. И перед Меркурием. И он сам, я вижу, не верит. Когда-нибудь. Разберемся. Но уже сейчас ясно. Произошло. Серая



форма школьников. И на том, и на другом. Фарадей уже отступил. Но прикосновение остается. Что такое? Ей показалось, что она ощутила чье-то понятное ей уходящее счастье. Она сейчас могла бы сказать. Но ведь все молчат. И никому не нужно. Да я и сам смог бы что-то ответить. Только зачем. Да. Что-то другое. И оно уходит. Но оно только что было.

Я иду в нашу малую комнату. Вечер уже стемнел за окнами. Зажигаю свет и не боюсь, что Миша проснется. Он трется лобиком о подушку. И ни звука. Ну а в комнате можно всех разглядеть. То, что казалось, на самом деле произошло. С каждым из них. И со мной. То, что в комнате Миша и Фарадей. Одновременно, вдруг явно представило всю нашу дальнейшую жизнь. Всю до конца. До секунды, когда уже не будет самого бытия. Так ощутимо наше краткое счастье. Каждый вздох сейчас – приближение к концу. Оно уходит. Но пока. Вот оно. Здесь. У Фарадея и в самом деле сжаты губы и неподвижны глаза. Сбилась прическа. Возвращается внешность. Как? Не важно. И невозможно понять. Наташа еще раз шагнула к нему и при мне берет его голову в руки. Нагибает. И прижимает к груди. И долго не отпускает. А сама глядит на меня.

Меркурий, медведь, Маяковский осторожно подходит и берет Фарадея за руку. Тот выпрямляется. Прячет глаза. Губы дрожат. Готов заплакать. Выражение сразу меняется. Что-то медвежье мелькнуло в его искаженном лице. Меркурий не видит. А я могу их сравнить. В чем-то похожи. Как два близнеца. Только один – слегка увеличенный образ другого. И Меркурий стыдится роста и сгорблен слегка. Последний раз. Больше они уже не придут. Кто говорит? Наташа? Меркурий? Или я сам? Не дай бог, Миша проснется. Тогда минута станет еще труднее. Наташа их на расстоянии отстраняет жестом и сама – прямо к белой кровати. Оглядывается и ласково отсылает их, одного и другого. Ладонь ее. Прямо перед собой. Обращенная к ним. Фарадей мгновенно поворачивается и – в соседнюю комнату. Меркурий за ним. Быстро. Но у моего стола вдруг останавливаются и стоят, ожидая меня.

Надо успеть. Уйдут – уже не догонишь. Но Фарадей не торопится. Меркурий постоял и исчез. Нет его рядом. Не вижу в дверное окно. Это плохо. Но что поделаешь? Получилось. Впрочем, только так и могло. Все правильно. Вот мы как будто совсем один на один. У стола с зеленым сукном. Вновь как будто. А на самом деле. Абажур зеленой лампы изменяет цвет наших лиц. Занятно и символично. Учитель и ученик. Почти одного роста. Наташа видит нас в дверное стекло, но к нам не выходит. А я вижу со стороны. Умею. Пользуюсь иногда. А теперь. Легко и знакомо. Зеленый отсвет. Мама. Еще две недели. Прикосновения. Собери свою силу воли. Она тебе еще пригодится. Вот постановка «Про это». Надо ее еще пережить. А потом. Поединок. С каким-нибудь иным Фарадеем. Или с Меркурием. Которого я так люблю. И который ревнует. И ушел ревновать. Где-нибудь опять на мосту. Через Неву.

Это все впереди. Целый роман. А сейчас. Учитель. Отдай мне два этих

белых листка. Вы прочитали? Ну, скажите мне. Ну почему, скажите, мы так устроены. Вот я, например. Уж если я такое несчастье для бытия, пусть бы я не родился. Вот я родился еще раз. В вашем счастье и в вашей судьбе. Ну и довольно. И хватит. А теперь? Прикосновение. Запах матери. Тот запах, который помню и забыть не могу. Что? Это все меня остановит. Если бы вы попросили. Или как-нибудь. Вы же меня создаете. Так уничтожьте меня. Но и вы устроены так. Вы не попросите. И никто не попросит. Себя самого. Отступить от себя. И я дойду до конца. А вот что будет в конце. На последней минуте. Мы доживем. И это будет самое горькое в нашей жизни. Миша уснул. Хорошо. Он очень похож на меня. И я его закрою от всех. А вы. Отдайте мне эти два белых листка. И забудьте о них.

## 21.

Серьезно. Два слова. Только сейчас понимаю. Ипостасная вера их, слова, гонит за черту и ограничения любой бесконечности. И даже за простор самого бытия. Ладно. Не философствуй. Отсутствие и присутствие. Только это. И больше не говори ничего. И не думай. У тебя в твоей жизни – самые простые обязанности. А встреча с небывалым священником... Не влиет. Забудь. И его слова. Не для тебя. В двадцать шесть лет. Заниматься рекламой. И пока ничего не добиться. Даже зарплаты. Что делать? Есть малый процент. Подобных обитателей. Ничтожный. В пределах погрешности. Вот я такой. А священник. Пришел и исчез. И даже неизвестно – он был или нет. Сдвиг в психике. На пару секунд. А остальное в норме.

Два слова. Целая жизнь. Она. Целая. Вся. И задача одна. У тебя границы. И не вздумай их потерять. Оставайся в них. И преврати твое знание. Сразу. Ты умеешь. Две секунды. Погрешность. Оказывается, не так-то легко. Интуиция. Или что-то иное. Базон в психологии. Когда разгонишь воображение. Создает картины. И предметы на ощупь. И даже тепло прикосновения. К собаке. И к человеку. И к тем, кого нет и кто недоступен. А из небытия. Создает бытие. Ай да священник. А то, что не успел его разглядеть, могу поправить. И та же погрешность. В ту же пару секунд. Самое опасное. Такие занятия выдавливают куда-то от меня далеко жалкую современность. И тех, кто близко. И вот я уже не знаю, что делать и как говорить. И с кем? Слово – тому и слово – другому. Новая психика. Вчера еще отклонение. А завтра – прекрасная норма. Психолог – хозяин.

Удивительно. У меня – своя комната. В ней все, что я хочу. Но теперь – не так уж и много. Остальное – выявляй оттуда, отсюда. И отправляй обратно. Если что неудачно. Оказывается, возможно. Священник сказал. Невероятно. И никому никакого зла. Ни там, ни здесь. Они возникают и понимают, что могут исчезнуть. Боль и страдания. Все понятно. Полсекунды. Потерпи. А кто явился, тот согласен. Да и вопроса нет. Не было – появился. И

сразу ушел. Границы – игра. А если ты реально и верно, то в награду – целая жизнь. У меня – пара секунд. А в них... Вот мой компьютер. Сканер. Видео. Аудио. И еще один аппарат. Кто его изобрел, неважно. Потом объясню. Себе самому. Изобрел. Только не отец мой. Он филолог. И у него никаких аппаратов. Даже компьютер излишен. Ничего не смотрит. Пишет. Воображает. А мама в своей комнате молится богу. Так живем.

Пара секунд. И я почему-то понял – папа священника знает. Когда-нибудь поговорим и об этом. Но как объяснить? Граница. Или надо еще подождать. Всего двадцать шесть. Это немного. Да и священник еще нестарый. А уже появился. Исчез. И готов был исчезнуть. Воображение отца. Передается мне через стену. Это мы уже научились... И не надо никаких объяснений. Ведь я уже объяснил. И доказал, что такое возможно. Отец не поверил. Не признается. На самом деле – он счастлив. Еще бы. Каждое утро мы за столом. В его кабинете. А он не верит. И проверяет. Каждое утро. А мама втайне от нас молится богу. Сообщить ему? Два слова? Целую жизнь?

Почему-то жду. Моих двадцати шести. Дождался. И снова жду. Какой-то встречи. Могу вызвать. И не знаю, кого. Священник вышел сам. И сразу исчез. Научил и пропал. Придет или нет опять? Не знаю. Скорее всего – воображение. Как у отца. К тому же, я тогда еще не проснулся. Вот как сейчас. Вполне готов. Жду. А он не приходит. Материализация. Так называли раньше. А я. Не видел. Только один раз. В две секунды. Много ли можно увидеть. И все-таки. Ты психолог. Напряги свою память. Попробуй. Где? Было вот здесь. Комната в два окна. У этажерки. Напротив меня. Я у этого окна. Он у другого. Четко. Вот он делает знак. Благословляет как будто. Высокий. Чуть пониже меня. Прямой. В черном. Потому и священник. У него красивая черная борода. Небольшая. Глаза громадные. Не помню, у кого еще видел такие. Они карие. Красивый мужик. Два слова. И сразу пропал.

Конечно, интуиция. Воображение. Поутру. И всего вернее – отец передал мне через стену. Я уже знаю. Передается. Но почему-то спросить опасно. Все равно. Сядем утром за стол. Спрошу непременно. Воображал, видимо, что-то. И писал для себя. Он видел мысленным взором. А я всего лишь, вот, материализовал. Потому что знал – от отца. А теперь не могу и не знаю. Нет, неправильно. Я не знаю. И потому не могу. У отца это все мимолетно. Мелькнуло. Две секунды. Не больше. А мне с чернобородым нужен большой разговор. Проверить. Отец не поймет. И не поможет. Я сам. По памяти. Постараюсь. Вот я у окна. То же место. А передо мной. За этажеркой. Пусто и ясно. Прозрачный воздух. Вижу насквозь. Мой стол. Компьютер. Сканер. Справа. Принтер. Слева. А на этажерке – мобильный. Горит и крутится. Играет Моцарта. А я не слышу. Оборвалось.

Вот он, слава богу, лежит. Не пропадает. А я трогаю. Убеждаюсь. Пока все материально. Это мне удастся. Умею. Но за этажеркой – та же прозрачная пустота. А вокруг меня. Целая жизнь. И я не знаю, какая. Не думай, что можно любое выявить. У отца воображение попадает в точку. Это я знаю.

Надо уметь. От опыта. У него там кое-какой опыт. А у меня. Тоже есть. Но вот я до сих пор его не знаю. И не могу понять, почему. Память хорошая. Запоминаю предметы. И то состояние... Каждый раз. Полагаю – довольно. И все-таки нет. Ничего не знаю. И почему священник? Отец не может вообразить. Ну, конечно. Это влияние мамы. Это она. Вообразила. Придумала. Вымолила. И чувствую. Она не хотела. Это все пришло невольно. И вот я уловил. И вывел на свет. Ну и что? Хорошо. Выводи опять.

Вот он. Опять стоит. По ту сторону этажерки. Заслонил компьютер и принтер. Не вижу. Вместо него – черная ряса. Просторная. Черные складки. Борода и глаза. Вот уже теперь. Не уйдет. Пока захочу. И не суетись. И не торопись. Он ждет. У него, конечно, все свое. Но мы взаимно готовы. Собери мысли. Чувствую – он подождет. Наша встреча ему тоже нужна. Вот я подумал. А он кивнул головой. И снова поднял ее. И держит прямо. И в эту минуту он самому себе отвечает. На какой-то свой и очень важный вопрос. Мы еще не взгляделись друг в друга. А уже отвечаем. Сами себе. И вдруг. Мгновенно все, чего я не знаю о нем, явилось в мысли и воплотилось. И отец, и мама не ведают. Вот он опять кивнул. Большеглазый. Да, началось.

Чеховский черный монах. Описание сдвига. Врач и психолог. Он, тот, кто лечит. А психолог, базон, выявляет. Это я ему говорю. Слова не те, другие. Ошибка психолога. Ведь вот уже все началось. И целая жизнь перед глазами. Ну, замри. И не делай лишних движений. Было оно или будет. У отца моего. Неужели еще впереди. А сейчас. Кто замер? Я или чернобородый? Они ведь, наверно, согласны. Остаться и замереть. И если долго не начинаешь, меркнут и уходят опять. А дело в том, что у них своя целая жизнь. Предполагаю. А пока большеглазый еще ожидает. Потому что и в самом деле – уже началось. Вот мне открывается, что этот священник – одно отражение. Того, кто и в самом деле живой – ожидает встречи со мной. Отражение – особый феномен. Что-то подобное образу. Он ждет, пока автор его не тронет опять. Вот и сейчас. неподвижный. Замер. Тот приближается.

Ну что же, поговорим. Вот. Ранним утром. Вместо молитвы. И воображения. Признайся. Ты дождался моих двадцати шести. А это зачем? Смешной вопрос. Выявляй. Вот. Выявляю. Ты что-то задумал. Идет, приближается время. И все так, точно, как ты предсказал. Все уже состоялось. И все совершилось. А ты все откладывал. Нужно было, чтобы я дожил до срока. А дальше уже невозможно. Целая жизнь, а все упирается в меня одного. Так было задумано очень давно. И я тогда только родился. Кое-что вспоминаю. Прикосновение помню. И то, что касался тогда лица твоего. А ты меня держал на руках. В малой комнате. Там, где сейчас мама. Отец между нами. Тем, кто был тогда, и тем, кто сейчас. И его воображение мешает нам. А может быть, помогает. Передает через эту стену. Или стоит, как стена, между нами. Все. Дальше – прозрачный воздух. За этажеркой.

Серое утро. Очень тепло. Но облака налегли. Приглядись. Двигаются медленно. А вот, кажется, их нет. И никаких очертаний. Все небо – ровная серая пелена. Крыши блестят. На той стороне. Большого проспекта. И как будто серая дымка. Между мной и теми домами. Они близко и далеко. Люблю смотреть. Поутру. Час такого молчания. И, как говорят, созерцания. Обычно. И все-таки сегодня что-то особое. Потому что началось. Всматриваюсь в эту серую дымку. Разряженный свет охватил всю облачную бесконечность. И вот сходит на землю. Мешает видеть. Перед глазами за окном – белая пелена. Дождь. Туман. Все равно. Ровное. Белое. В комнате никого. Упустил. Нет. Ничего лишнего. Отправил туда. Спасибо. Весь я в каком-то белом тумане. Комната в нем. И все предметы. Окно как будто исчезло. То, что за этажеркой. И то, у которого я замер на месте. Занятно.

Он жив. И скоро ко мне придет. Прежде всего ко мне. А потом – к отцу. И к маме. Спустия полвека. Трудно узнать. Еще бы. Уже прошла целая жизнь. Это для них. А для меня. И для таких, как я. Что-то новое. А что если этот священник недаром открыл для меня. Светлую бесконечность. И ушел в белый туман. Он ушел. А оттуда. Придет живой. Но они разные. Тот, живой, и он, другой, он, его отражение. Вот почему явился раньше. Предупредил. А встреча с живым. Очень серьезно. Но мне как-то легче. Кажется, я ничего не боюсь. Очень смешно. Кажется. Да. Показалось. Туман понемногу расходитя. Вот он слоится. Деревья. Крыши вдали. Дорисовано.

## 22.

Передо мной. Точно такой. Ведь мы виделись на той неделе. Мысленно. И все совпадает. Взаимно. Святой отец. Вы дождались. И я тоже. Двадцать шесть лет. А вам? Сорок один? Нет. Уже сорок два. Сюда. За шахматный столик. Похожи квартиры? Мы с вами на одной стороне Большого проспекта. Солнечная сторона. Как удалось отыскать? Ведь мы переехали. Или... Да, вы правы – не переехали, а перешли Большой проспект. Отсюда виден дом, где мы жили. Хотите взглянуть? Впрочем, вы наш дом видели всю свою жизнь. Из своего окна. А сейчас. К отцу? Или ко мне? Знаю – ко мне. Отец – потом. Поговорим. Слава богу, на пороге – девятое десятилетие. Как будем считать? От нуля? Или от единицы? Мне все равно. Вижу сейчас, каким оно будет. А вы это знали уже тогда. В 64-м. Итак, совпадает?

Все совпало. Но, простите, вам отец ничего про меня не рассказывал? Я-то про вас все знаю интуитивно. А вы? Откуда? Что? Видели мое отражение? Где? У того окна? У этажерки? Шахматный столик мне очень даже знаком. И этот ваш письменный стол с зеленым сукном. И эта зеленая лампа. Она вечером дает на потолок такой же отсвет, как и моя. По этому отсвету я вычислил, где вы живете. Кажется, кто-то придумал. А на самом деле все очень просто. Технарь и психолог найдут общий язык. Точнее – психолог и физик. А! Видите – не догадались. Черное одеяние священнослужителя. Крест

на цепочке. Метаморфоза? Внешность моя обманула? Она и прежде обманывала. Внешность. Не эта. Другая. Она и сейчас остается при мне. А я постарался прикрыть ее. Видите? Получилось. Разумеется, вас не обманешь. Это я так.

Что-то отец говорил. Физик? Технар? Программист? Священнослужитель. Сейчас они попадают часто. А скоро и вовсе настанет время настоящего культа. У нас это уже будет, кажется, третий культ. От Ленина – к Христу. От физики – тоже. Закономерно. И все-таки я удивлен. С вами такое случилось. Невероятно. Судя по отражению. Ряса. Черная борода. Но креста я не заметил. Очень уж внешне. Вы совсем другой, необыкновенный священник. Вижу насквозь. И не одобряю. Прямо какой-то Паскаль. Простите. Это я сам себе говорю. Борода скрывает улыбку. А, может быть, все правильно – веру нужно прикрыть? Должен сказать, вера – это очень серьезно. Хочешь – не хочешь, а уже веришь или не веришь. Непроизвольно. И в этом вопросе не может быть никакого греха. От вас ничего не зависит. Сверхлично. Я как раз об этом ждал разговора с вами. И вот, получается, внешность меня обманула. Так или не так? Впрочем, разве можно ответить. Но одно верно – отец что-то мне говорил...

Да, но, видимо, главного он вам не сказал. Неужели забыл? Если да, то это к лучшему. Понимаю. Да. Я ведь просил его забыть обо мне. И все-таки сомневаюсь. Такое не забывается. Правда, жить с этим знанием невыносимо. Ладно. Вы оба – сильные люди. Так. А вы догадались. Я видел вас годовалым младенцем. И тогда же представил себе, каким вы станете, когда вам исполнится пятнадцать и двадцать шесть. Все точно. Все совпадает. Удивительно. Мне казалось тогда, что мы будем похожи. Оправдалось. Но как-то совсем по-другому. Я гляжу на вас и не узнаю сам себя. Вглядываюсь. Подождите. Что-то иначе. Вот. Едва уловимо. Но я думал тогда о внешнем сходстве. Оправдалось другое. Отец ваш сам изменился немного. А вы такой, каким он вас хотел видеть тогда. Но я недаром скрыл свою внешность. Мы часто встречались. Могли встречаться... Проклятая внешность. И я избегал. И довольно удачно. А потом... решил вообще скрыться от себя самого.

Подождите еще. Вас прерываю. Простите. Но лучше прямо. Все-таки. Кто вы такой? Что же? Вы от себя отказались... Вот, наконец, вспоминаю все, что он, отец, говорил мне о вас. Ну конечно. Он рассказывал много. И все это я знаю. Иначе бы и вспомнить не мог. Да, он придумывал сказку о том, как его ученик стал священником. И как он позабыл все, что заготовил и знал.

Опасная сказка. Потому что на самом деле не так. Вот уже почти полвека рядом живем. Избегая друг друга. Я выжидал и откладывал. А ваш отец до сих пор изгоняет из души страшную память. Ну вот, я посмотрел на вас, и кажется – мне довольно. Можно уйти и приняться за дело. Но, во-первых, я

сам уже немного другой. А кроме того... Я должен решить, надо ли вам сообщать о том, что задумано. Вам и отцу... Напомнить о том, что реально. К тому же, сама реальность уже подтвердила все, что задумано и решено. Верно? Что? Еще, может быть, отложим на десять-пятнадцать лет. Чтобы вы поняли и проверили. И уж тогда мы с вами решим согласно. Одинаково. Сходно. Хотя бы в главном. Или хотя бы в чем-то одном.

А эта ряса? Да еще удивительный крест? И еще, как вы сказали, проклятая видимость? Постойте, постойте. Положите руки на шахматный столик. Обе руки. Вот я тоже кладу. На лиловый, зеленый кафель. Нет. Это не знак согласия. Что-то иное. Я психолог. Могу судить по рукам. Длинные пальцы. Продолговатые ногти. Сюда бы еще – руки отца моего. Но это потом. А теперь. Не надо ладоней. Потому что я не цыганка. И не гадалка. Определяю точно. Интуитивно. И у меня особенный способ. Одно дело – знать и предвидеть. И совсем другое – определять по рукам. По длине пальцев. И ногти у вас как розоватые драгоценные камни. А это значит – видимость по-прежнему та же. Она сущность и существо.

Ну, этот способ я знаю. И сам очень часто к нему прибегал. Скажу – для священника небезопасно. Прибегал – перед молитвой. И после нее. И даже во время богослужения. Мельком. Никому не заметно. А мне достаточно. Ренессанс в эпоху непомерно глубокого средневековья. Хуже. В эпоху апофатической тьмы. У вас тоже такие же руки. Ну, почти такие. Пальцы слегка изогнуты. Это от деда и от отца. А у меня... Все-таки мать и отец музыканты. И для них пальцы – призвание. Физику такие руки уже ни к чему. Священнику тоже. Вы правы. Для нас обоих видимость – очевидность. Мое священство. И ваша реклама. Нет. Ваша способность...

Вот интересно. Мы никак не можем перейти к настоящему делу. У вас все готово. Ну, так вам начинать. Говорите. Догадываюсь. И все-таки надо услышать. Почему-то кажется – мы никогда не начнем. Приступить невозможно. Кто-то и что-то держит вас и меня. Я знаю. Вы сейчас попробуете еще и еще раз проверить предчувствия. Они содержательнее формулы Фарадея. Так вас отец называл почти полвека назад. Проверяйте. Я тоже обдумал. Могу поделиться. Но священнику открыто свыше. И психологу тоже. Вы обо всем. А я – о спасении вашей души. Ну что? Рокировка? Отец сквозь стену давно уже, с первой минуты, почувствовал, что сказке его приходит конец. Говорите.

Нужно согласие. Отец ваш тогда укорил меня в том, что я решаю за всех – насчет бытия – и не прихожу к нему за советом. Я тогда отвечал, что это верно – так справедливо. Зачем советоваться с тем, кто заранее знает и не будет согласен. И я спросил себя самого – а вот с этим младенцем, с вами, тоже нужно советоваться? И с каждым. Кто родился? И так бесконечно? А

ведь любому ясно: так ничего не сделаешь никогда. Но я еще вас не видел. И вот решил посмотреть. И посмотрел. И подумал, что только с вами будет мой разговор. А для этого нужно дождаться, когда вам исполнится пятнадцать или, может быть, двадцать шесть. И вот я выждал. И вот, взамен сказки, время пришло.

Ну что ж? Все верно. Точно так я и предполагал. Говорите. Впрочем, не надо. Все известно, и все подтвердилось. А я, слушая сказку, уже тогда понимал, что будет взамен. Что ж? Неплохое начало в мои двадцать шесть. Или еще, может быть, вы мне даете семь лет. Для понимания и согласия? Интересный у вас путь к богу – Небытию. Прямой. И по собственной воле. И без откровенности и откровения. Вы полагаете – людям лучше не знать. Кроме того – они сами себе подготовили подобный финал. Вы так решили. А через семь лет будет еще очевиднее. Будет. Ну, хорошо. Семь лет или семь дней. Как в примитивной притче. Да. Вы сделали сегодня то, что хотели. Оповестили. Объявили мне вашу благую весть.

Оповестил. Объявил. А у вас вдруг промелькнула одна радикальная мысль. Насчет моего прямого пути к богу – Небытию. Получается, мы антиподы. Я к богу. А вы – от него. Потому что оно само ежесекундно отменяет себя. И становится бытием. Так? Значит, уничтожить бытие невозможно? А как же моя формула Фарадея? Неужели вы думаете, что я еще в школе не предвидел таких возражений? Божество может и ничего не творить. В этом все дело. Мое божество всегда и во всем сохраняет себя. Понимаете? Все сотворенное вбирает в себя и ничего не творит. Вот почему оно абсолютно. А тот, кто поставит эксперимент Фарадея, и впрямь, кроме шуток, придет к моему божеству. И вот почему я священник. Тайный. Особый. А вы...

Значит, по-вашему, люди придумали то, что бог, как и все живое, тоже творец. Придумали. А на самом деле... Он попробовал. И возвращается к себе. Абсолютному. Да, мы антиподы. Какое же вам нужно согласие? И зачем этот крест? И зачем вы так долго ждали? Пятнадцать. Двадцать шесть... И еще готовы ждать и терпеть? Я вам говорю. Эксперимент не получится. Нет вашей формулы. Психолог заметил ошибку. А вы ее проглядели. Уже тогда, в школе. А потом поняли и вот стали обыкновенным священником. Так? И забыли себя. Забыли. Как отец мой – ученика, с которым у него был поединок. Так вы жили несколько лет. Пятнадцать. А потом уже двадцать шесть. И вдруг в душе забеспокоилось что-то. Вы стали искать нашу квартиру. По ответу зеленой лампы на потолке. Простая задача.

Нет, было непросто. Адрес ваш есть у меня. А я бродил темными вечерами по Большому проспекту. Представляете? Священнослужитель бродит по тротуару – туда и сюда. Вспоминает и ждет в себе, в памяти, в



совести своей то состояние, когда можно прийти. Зеленый отсвет помог поначалу. А потом. Самое трудное. И вот я бродил, я воображал своего антипода. И слышал его слова. И его детские возражения. И отвечал. То, что вам сейчас не отвечу. Потому что вам нужен, видимо, новый срок. И я его назначаю. Новых семь лет. Будет время подумать. А мой бог уже все сотворил. Вы не верите. Но перечитайте писание. Страшный суд – прекращение бытия. А Новый Иерусалим – небытиен. Здесь моя тайна. И священство мое.

Семь лет... А простите, где ваш кшатрий? Меркурий, как его отец называл? Он, я надеюсь, оправдал свое имя. И неужели вы потеряли друг друга? А где Минерва? Аристократ? Об остальном и, может быть, самом важном для вас, молчу. Вы знаете, и только вы решитесь когда-нибудь. За эти семь лет. Отец молчит и не скажет. Уж если до сих пор не сказал. А ведь было бы так легко. Целая жизнь. Или отсутствие жизни. Тут уж у вас, я думаю, полный порядок. И потому вы священник. А у меня все впереди. Год и два года решили все для отца. А семь лет мои – трижды могут решить. Говорю, потому что проверил. Предвижу. Психолог. Восстанавливаю по моей руке. И по вашей. Ну вот. Кажется, обо всем успели сказать. И я сохранил вашу тайну.

Она, тайна, для тех, кто не хочет знать. А я ничего не скрываю. Прикрытие веры – это ваша идея. Моя религия – откровение. А не приоткровение. Кшатрий, Меркурий, медведь Маяковский – в моем приходе, как был. Аристократ и Минерва – не знаю. Думаю, и вы в конечном счете придете ко мне. Все подсказывает нам внутренний голос. Пройдет семь лет. А после них – новых пятнадцать. Ну, уж семь лет наверняка. Вы поняли или поймете. Вам угрожает опасность. Иначе бы я вас не искал. Тревога – вот что разбудило меня и мою уснувшую память. Вы правы. Было все именно так. Я стал обыкновенным священнослужителем. Верно. И отец ваш, мой учитель, хотел так завершить сказку, ту, что он рассказывал вам. Но тревога. Нет, здесь другое слово. Поймете потом.

Что? Вы уходите. Подождите еще. Нет, отражение – другое. Вот я опять у окна. Сюда, сюда. Этажерка. За ней пустота. Подойдите. Как интересно разглядывать там, где вас не было. Вот мы вышли из тени. Солнце мне прямо в глаза сквозь окно. А я хорошо вижу лицо. Наружный крест. Черное одеяние. Каждая складка. Что? Вы хотите благословить? Рановато. Боже. Как ужасна в основе своей ваша благая весть. Почему так ужасна? И почему до сих пор никто ее не услышал. Опасность. Это отец говорил мне тысячу раз. Повторяет и еще повторит. Подождите. Наружный крест. А у меня другой. Натальный. Мама надела. Никто не видит. И если что случится, отец наденет его.

## 23.

Стремительно. Был, и нет. Исчез. И даже не попрощался. Предупредил. Надо быть осторожным. Особенно, когда останусь один. Отец уезжает. Мама не хочет меня оставлять, но тоже, конечно, уедет. Промелькнуло семь лет. Назначенный срок. Притча. Как это может быть? Семь лет ушли, а возраст мой не изменился. Мне по-прежнему двадцать шесть. Воображение. Мое или отца моего? А может быть, еще пятнадцать годов, тоже назначенных мне? Все это, как отец называет, проба Небытия. Творчество. Священник больше не приходил. И не попадался. И я отцу ничего не рассказывал. Детские попытки скрыть от него. И напрасно. Он ведь сам все это придумывает. У себя. Там. За машинкой.

Опасность как была, так и осталась. Произвольно откладывал ее до сих пор. Что получится, если назначенный срок отодвинут? Вызвал и отправил назад. Произвольно. Стремительно. Сразу. Отец вызывает меня ежеминутно. Сопрогивляюсь. Как только могу. Но вот. Люблю. И потому не ухожу никуда. Фарадей. Священнослужитель. Отдельно. Чувствую. Он заботится обо мне. Если уж говорить откровенно, он и священником сделался из-за меня. Жестоко с моей стороны. Помнить об отце и не думать о Фарадее. Откладывает применение формулы. Назначает новые сроки. Выдерживает. И считает возможным день за днем жить и служить как обычный священник. И даже не видеть меня и не спорить со мной.

А за это время Россия рухнула в бездну. Так считает отец. А уж мне доподлинно все известно. И что же? Знаешь ответ, а хочется жить. И вот живешь. А лишнюю память отправляешь обратно. Ну, так все-таки – что же такое божество, которое отказывается творить? И когда оно отказалось? Ведь вот посмотри. Страшного суда ждут второе тысячелетие. Скоро наступит рубеж, и уже отошел давно, а суда все нет. Значит, бог тоже откладывает. Хочет посмотреть, чем все кончится – как выйдет само по себе. Он отсутствует, созерцает и не творит. А может быть, Фарадей имитирует все то, во что верует сам. И потому не хочет встречаться. Ему интересно уподобление божеству. И не будь меня, он бы скоро закончил. А теперь...

Ну что ж? Надо жить. Он еще раз отложит. Как и сам Господь, тот, кому папин ученик служит в церкви своей. Честно говоря, вот он опасается за мою жизнь. А на самом деле я должен за него опасаться. Покушение, нападение, устранение священнослужителя. У нас в России такое возможно. И было уже. Конечно. Церковь – произведение рук человеческих. Там своя структура слезки. И надо сказать, как в партийных рядах, там обладают чутьем. В общем, не ошибаются. Такой обыкновенный святой отец не может быть не замечен. Уже заметили. Поэтому встречи со мной нежелательны. И для него, и для меня. Все очень просто. И неужели он дожидается, когда его достанут из-за угла. Зайдут со спины. Сзади. И ударом по голове.

Дождется. Да. Семь лет или семь дней и часов. Отсылаю назад. Эти семь лет. А священник еще в коридоре. Стоит и колеблется. Нужна ли встреча с отцом. И, может быть, хочет вернуться. Я жду его у этажерки и не верю, что он уйдет. Очень полезно вызывать бытийные годы и отсылать их обратно. Узнаешь предназначенное и отсылаешь. Только сумеи очень верно – вызвать и отослать. Моя способность. Уж если бы Фарадей открыл этот способ, он бы не ждал так долго. И все бы уже совершилось. Вот он понял, о чем я думаю, и возвращается, чтобы спросить. А что я отвечу. А он спрашивает, и я отвечаю. Мне бы сейчас видеть его лицо. Прикрытие раздражает. Оно затем и придумано у священников, чтобы утаить выражение.

Ну что? Продолжаем? Или дождемся отца? Понимаю. Продолжим. Ну, так что же? Кто откладывает? Бог или вы? И кто кого должен предостеречь? У каждого из нас – особенный способ. Мы умеем. Вы – прекратить. А я – предвидеть. Ипостасная вера и ваша любовь. Значит, бог тоже любит? Разумеется, у меня свой бог. А у вас? Вы же священник. Служитель организации. А я считаю, что после глупого доверия партии, любая такая вера уже неприлична. Вот через семь дней рухнет Россия. И что же? Вы тогда вольетесь в общий поток. Потому что надо во что-нибудь верить. А вы просто вызовите будущее и отправьте назад. Как я. Помните «Прометей», которого ставили в школе? Отец рассказывал. А вы? Юпитер. Гете. Как ваше имя?

Нет. Ни единого звука. Молчит. И будет молчать. Он затем и вернулся. Он спросил. И вот я отвечаю. Один. Поневоле. Чувствую. Отец мне доверяет. А! Он хочет, чтобы я исповедовал ему всю мою жизнь? Не благословить, так исповедать? Ничего не получится. Вас убьют. Понимаете? Речь о вас, а не обо мне. Шестидесятники раскололись. На меркуриев и христиан. Но и там, и там – корпорации и одинаковые разборки. Да, да. Это все точно. Вас убьют и меня. Вопрос один. Кого раньше из нас. А вообще. И этот вопрос не имеет значения. Нынешние христиане освящают насилие. А вы как? Вам бы Толстого поставить в школе. Впрочем, и Маяковский тоже – про это. Ладно. Голгофа была. В кабинете истории.

Голгофа была. Тогда, видимо, вы и повернули к Христу. И переломили себя. Нет? Не верно? А если исповедоваться? Ну, посмотрите внимательно. Вот я вам открываю мой способ. А вы примените формулу Фарадея. Что? Получается, что и после конца бытия можно его, бытие, вернуть и потом отправить обратно? У вас не получилось – обратно. Вернули, и вот уже расстаться не можете. Пандора. Мать. Богоматерь. Младенец. Ну, смелее. Меняйте знак перед формулой. Тот и другой. А то, что ваш бог все уже сотворил... Вариант любопытный. И все же такая вера обидна. И не надо. Не надо. Где оно – это все? Вот оно кончает само себя. И это предел?

Я вас представлял совсем по-другому. Вы что-то недоговариваете. А я откровенно. Психолог физику нужен. И священнику. Вот вы чего дожидались. Вы поняли, что кто-то вам сможет ответить. Да вы уже давно ответили сами. А все-таки из других уст. Кончайте. Снимите крест. И смените черное

одеяние на что-то иное. Я вам помогу. И мы станем друзьями. Порадуйтесь. Отец мой выиграл поединок. Но я допускаю. Он утратит обоих нас. Одного за другим. И это участь всех, кто любит Россию. Их миллионы. А мы те, в ком неизвестно зачем живет эта любовь. Не наша. Отца. Я плохо говорю. Но вы понимаете. И еще вернее. Он знает, что если один погибнет, убьют и другого. А не все ли равно. Кто первый и кто второй? И еще. Помните, когда вы назначаете срок, это не только мне, но и себе. Оно. Семилетие.

Я не боюсь. Ни за себя, ни за вас. Вы больше боитесь. И за себя. И за меня. Боитесь и называете это любовью. Вот какую голгофу вы пережили тогда. В постановке. Разве не так? Молчите. И долго еще мы будем стоять и молчать? Прямо друг против друга. Или, может быть, происходит скрытое что-то? Надеюсь. Но все-таки продолжу. Я не боюсь. Мы предупредили друг друга. Но это пока. Только начало. Seriously. Вернитесь к физике. А я останусь психологом. И вместе мы усовершенствуем ту вашу формулу. А прихожане. Пандора – тоже у вас?.. А у меня еще нет никого. Ну, так у вас? Нет? Вы не знаете, где. Все вернется, если мы вдвоем будем живы. Вот о чем сейчас думает мой отец у себя в кабинете.

Позвать? Не надо. Сам выйдет, когда настанет минута. Прихожане все равно будут к вам приходить. Найдут. Если я поверю. А вы смените веру. Да, я серьезно вам предлагаю. Первый раз в моем опыте. Могу благословить как психолог. А что? На хорошее дело можно благословить. Вера нужна. Другая. Мы не успеем. События развернутся через несколько дней. И все будет здесь. В этой квартире. Отец никуда не отпустит меня. Приходите. Будем вместе смотреть «Лебединое озеро». Взамен иных телевизионных программ. Событие самое страшное. И недаром вы пришли. Почти накануне. Август. Вообще-то мой любимый месяц. У меня отпуск. И я провожу его в городе. Отец уедет и сразу вернется. Из-за меня.

Опять молчите? Вы, может быть, и по правде уже все сказали. Предвидели все. Эксперимент пойдет полным ходом. И без вас. А вы оказались рядом со мной. И уж на этот раз мы друг друга убереем. Но частицы разогнаны лишь в начале. Нарастает мгновенное ускорение. А мы. Давайте, подготовим здесь и себя, и отца к тому, как пережить стратегию действия. У отца будет смена работы. С вами тоже что-то произойдет. Если вы молчите, значит, я не ошибаюсь. Произойдет. Не разводите руками. По-прежнему. У этажерки. Постойте немного. И я помолчу. Да, у всех настанет новый этап нашего нового бытия. Более страшного, чем война и блокада. Я уже решил. И начну преобразование города. Замысел есть. И в нем я найду место и вам, и отцу моему.

Вот уж теперь и в самом деле молчание. Потому что святой отец Василий не знает, исповедовать ему или смеяться. Вера то, что не может быть поколеблено. И как? Неужели нельзя ее колебать? Он, я думаю, тоже вспоминает все пережитое за эти полвека. И удивляется тому, что нечего вспомнить. Да. Служение. Служение. Родители умерли. Сначала мать. А потом неутешный отец-пианист. Он стал непомерно знаменит в последние

годы. Прежде царили музыка и ненависть к правопорядкам совковой России. А после смерти любимой жены появилось в игре прощальное примирение. Все, что он играл, звучало по-новому. К моему священству он отнесся печально и благоговейно. Вот вы спрашивали, кто я такой. А он это понимал и выразил гениально. Мама осталась безразлична ко мне. Умерла.

Ну а Пандора. Катерина... Как ее звали. Я обмолвился, что ничего не знаю о ней. Так и не так. Знаю. Мы даже виделись несколько раз. После школы. Но я отстранился и, как сказано, ушел от себя самого. Нет. Она не вернется. Она была не согласна с тем, что я стану священником. Тоже молча. Но я видел. Она, как вы, хотела поколебать мою веру. Да, она христианка. Православная. Из тех, кого глубокая вера лишает любви. Или счастья. Лиза Калитина. А вот я, с моим истинным православием, люблю до сих пор. Но тут нужно полное единодушие. Архангел Михаил слышит молчание мое. Да. Отец Василий молчит. Бог, который ничего не творит, умеет любить. А тот, кто сотворил, видите, потерпел поражение. Оба эти бога – одно для меня. И это надо понять. Но она далеко.

Ладно. Вот вам первое слово. После такой изнурительной паузы. Вера не поколеблена. Нет. Но она стала другой. И я изменился. И до сих пор до этого нет никому никакого дела. Никто не спрашивал. А ведь я втайне продолжаю занятия физикой. Та же зеленая лампа. Те же бессонные ночи. Только рядом в комнатах – пустота. И не горит окно там, та той стороне Большого проспекта. Вы понимаете. Я один. Как вы. Колайдер. Базон. Дело ближайшего будущего. Я Фарадей. Да, я обхожусь без формул и лабораторий. И я ничего не творю. Открываю. Молюсь. Да, я в физике священнослужитель. Истинно православный. Без подмены. Без формул и ритуалов. Я служу, потому что люблю. Понимаете? Безнадежно. Так бы сказали в 19-м веке. И в нашем 20-м. А вы и я – 21-й. Тут – особая вера.

Иные скажут – я погубил свою жизнь. Сорок два года. Смешно. Тот, кто задумал отменить бытие, - обыкновенный священник. Тот, кого так любили, один. С прихожанами. И с Меркурием. Притча. Внешность уже не та. А я ничего не сделал. И не жалею. Дождался. Думаете, проиграл поединок? Ветхозаветный бог требовал к себе любви – полной и бескорыстной. Видите? Не получилось. Потому что в начале он дал бытие. Уже корыстно. И с его стороны. Ждать благодарной ответной любви. Помните? Прометей не дождался. И Яхве осознал, наконец. Уяснил. А я это понял. Тогда. Уже на своей голгофе. А что? Прекратить бытие – крестная мука. «Пусть во что хотите жданыя удлиннятся». Во что хотите – пара секунд.

Вот и второе слово. Оно меня повернуло к Христу. Спаситель готов ждать, но предназначен кончить свои ожидания. И свои. И бога-отца. И последнее испытание. И две тысячи лет. И тогда я решил: уподоблюсь ему. Могу сейчас, но буду откладывать. И откладывал. До нашего разговора с вами. И еще отложу. Пока вы сами придете ко мне. А вы придете. Не сомневаюсь. И уже никто не посмеет меня упрекнуть, что я решаю за всех.

Никто не придет. На мой феерический мост. А это значит – придете ко мне вы один. И вот уж тогда жизнь будет целой. Ваша. Моя. И всех на земле. Их просили. Их спрашивали. Тысячелетия ждали. Теперь вы и будете жить и решать. А я потерплю. Посмотрел на вас. И от души отлегло. Пойдите еще. Вижу каждую черточку. Не опоздайте.

Вот какой крест я ношу. Могу вам его передать и приму натальный. Серебряный. Тот, что наденет ваш отец, мой учитель, если что случится. И произойдет со мной или с вами. Только не опоздайте. Что? Вы не согласны. Глаза стали совсем неподвижны. От ужаса. Понимаю. Вы не придете. И все останется, как сейчас. Пандора. Пандора. Одаренная Прометеем. А ведь ее судьба схожа с моей. Безнадёжно одна. Молчу. И вообще я молчал это время. И сейчас не я говорил. И не вы.

И в самом деле – отец Василий молчит. Облик его проступает все резче и резче. Усмешка спряталась в бороде. Он дает мне последний совет. По поводу «Лебединого озера». Ну. Семь дней. И все прояснится. А дальше семь лет. А потом... Ну еще бы. Рукопожатие. Было? Нет? Мы расстаемся. Мирно. Спокойно. И вот я один, без него, ощупываю подоконник и отхожу от окна.

#### 24.

Вот. Семь дней и семь лет. Вновь совместились. Как? Я понять не могу. Мы с отцом у него в кабинете. Включен телевизор. «Лебединое озеро». А за окном переворот. Начало событий. Но музыка увертюры звучит в холодной ледяной тишине. Мама на даче. Отец приехал в Ленинград из-за меня. Рано утром. А я был один. Бессонная ночь. Приехал. Ничего не рассказывал. Целый день был рядом. Никуда не пускал. Работал у себя за машинкой. Но через каждые полчаса ко мне заглядывал и отрывал меня от занятий. А я сочиняю десятый проект. Преобразования города. Фантастика. Потому что он рассчитан уже сейчас на то, что будет после переворота. А после него уже мелькнуло семь лет. Оба срока вполне сошлись. Одновременно.

Смотрим «Лебединое озеро». И я молчу. Знаю, что будет. Прокручиваю заново годы всей моей жизни. А отец – то же самое. И поневоле. День в день. Совпадают. Начало и конец семилетия. Совмещены в один единственный день. Мой способ известен папе. Он овладел, как и я. Договорились. Оба хотим попробовать. И вот сегодня. Первый раз получилось. Мы сидим в его кабинете. Молчим. Осваиваем. Без конца. Удвоение бытия. Или что-то иное. Психологический опыт. Отец посвящен. И не удивляется. А только взволнован правотой всех своих семилетних предвидений. Он спорил со мной и предупреждал. А я заранее знал. И потому возражал, как ребенок. Да. Взрослые правы. И все равно возражал.

Но еще не привык. Никаких повторов. Все заново. И все, как было. Только не так. Отец это сделал своим особым способом воображения. И не догадывается, что это я ему подсказал. Ну, что делать. У меня такая способность. А для него – творчество, опыт, эксперимент. И во время путча –

самое верное. Только я не пойму, зачем он так тревожится. Почему приехал? Почему никуда не отпускает меня. Он ведь знает, как разовьются эти события. Но ведь можно попробовать их изменить как-нибудь. Интересно за ним наблюдать. Сидит в кресле. Брови сдвинул. Складка на лбу, как у деда. Пальцы сжал. И костяшки совсем побелели. То, что он предвидел целое семилетие, заставляет его напряженно молчать.

Да, он не любит повторять. То, что сказано. А пришлось бы. И я не возражаю. Молчу, чтобы не выдать себя. Смех разбирает. А вообще – не до смеха. Пытаемся что-нибудь изменить. И ничего не выходит. Надо еще постараться. И улучшить мой способ. А потом я отцу помогу. Незаметно. Психология достигает искусства моделировать мир. Может и повлиять на ход истории. И даже после конца бытия. И это я уже говорил. Но пока не испытывал. И вот смотрю «Лебединое озеро», а сам обдумываю невозможные повороты. Проект преобразования города – один из десяти – уже подготовлен. Мысленно. И в компьютере. И на бумаге. И его положения и пункты совпадают с тактами тревожной обреченно-печальной музыки. И с ритмами точных балетных движений.

А о священнике мы с папой не говорили ни разу. Не пора ли напомнить? Семь дней назад. И объявить продолжение. Пока за окнами – начало конца.

Напоминаю. Оказывается, мы думаем одновременно. Об одном. Опять совпадение. Отец говорит, а сам неотрывно смотрит на экран телевизора. Детские воспоминания. Когда в самом конце войны он с отцом и с матерью вернулся в родной Ленинград, и отец привел его, семилетнего, на балет в Мариинский театр и он первый раз услышал музыку «Лебединого озера». И вот сейчас почему-то опять оно. Постановка другая. Принц – коротышка. Ротбард – мохнатый. Забавный. Одетта великовата. Музыка та же. Только она. А уже и здесь что-то иное. Было таинственно. Грустно. И очень просторно. В зеленоватой ночной полутьме. На сцене. Было как надо. А здесь, на экране. Все ясно. Освещено. Различно. Резко. Чужая подмена.

Отец говорит. Было тогда для меня в этой музыке начало всего. А теперь – завершение. Тогда я каждую минуту ожидал и радовался. И все было для меня. Вокруг и во мне. Медленно. И совсем невидимо. И я замедлял прыжки балерины. И движения принца. А что же теперь? Музыка спешит. Или тянет время. Нет. Все не так. Закрываю глаза. И чувствую – вот замкнется мелодия. И не хочется ничего замедлять. Музыка умирает. А прыгуны в трико оживились. И не думают никуда улететь. Они скачут на месте. Открываю глаза. То же самое. Там – победа. Здесь – поражение. Там – надо запомнить скрипичную тему. Здесь – она торжествует и замыкает пространство и память. А у тебя? Неужели совсем по-иному? Другое. Как в первый раз?

Не отвечай. И так остается немного. Твой священник. Мой ученик. Тоже был тогда началом какой-то мелодии. Что бы ни думал он, что бы ни замыслил, я тревожился и ожидал продолжения. И вполне верил, что справлюсь. И сам продолжал. Это очень серьезно. Открывался новый рубеж.

И были новые ученики. Много. Выпуск за выпуском. Событие за событием. И все от меня уклонялось куда-то в иную сторону. Куда я не хотел. Понимаешь? И только он оставался. Таким же, как был. Он оставался. А ты рос. И все отодвинул. И мы с мамой твоей жили тобой. А он уходил, уходил. И пропал. И от него зависело. И я продолжал поединок. И однажды я понял, что он станет священником. Тогда я придумал сказку. А ты слушал ее.

Мне было горько. Не за меня. И не за тебя. И не за маму. И не за все бытие. Оно в безопасности. Так я считал. А вот что было печально. Его священство и борода предвещали крушение целой эпохи. Уже неизбежно. То, что она погибнет сама. Без его усилий и формул. Все-таки очень плохо то, что она погибает. Я вдруг почувствовал, что я ничего не могу. А ведь он обещал тебя уберечь от чего-то. От всех. От всего. Даже мама твоя обняла Фарадея. Она спасала нас всех. И его самого. И вдруг он отдал нас жизни. И стало так больно. Потому что где-то, высоко-высоко, далеко-далеко. И глубоко-глубоко. Следит за всеми другой Фарадей. И я не знаю, где он. Безмерное что-то. А ты рос и рос. И все отодвинул. И я забыл о притче моей.

Кто может прекратить бытие, тот сумеет его сохранить. А пока оно само себя сохраняет, как может. Он приходил. Я это чувствовал на нашем небольшом расстоянии. Да, я хочу увидеть его. Но я не сделаю шага. Такая натура. Вот я опять открываю глаза. Тот же экран. Та же музыка. Боже мой. Какое жуткое состояние. Ты его не отдаляй, чтобы снова не возвращать.

Вижу отца. А сам прислушиваюсь к тому, что за окном. В сумерках Ленинграда. Но вот он уже Петербург. И отец пропадает. Я один. Он уехал, оставив меня. Впереди – ночь. Нет, отправляю обратно. Вот он вновь. И тот же экран. И та же музыка. Но меня интересует иное. Вот священник выходит из дома. Вот идет в темном своем облачении. Опять смотрю на отца. Неужели он видит и думает одновременно со мною и то же, что я. Говорит и не слышит. Прислушивается. Помимо музыки. К шагам по вечернему тротуару. Людей немного. Все почему-то сидят по домам. Себе не верят. И еще ничего не осознали. Только он, черный священнослужитель, уже полвека назад все решил. И прогуливается. Мимо окон. Взад и вперед. И, если видеть его одного, непонятно, исполнен или нет новый назначенный срок. Потому что и через семь лет, он все так же будет ходить тут, под нашими окнами.

Еще бы. И сейчас, и через семилетие он посетит нас и явиться к нам напоследок. Но семь лет спустя я буду один. И он тогда не придет. А сейчас. Для нас и для него – самый удобный случай. Но ведь мы договаривались о том, что я сам выйду к нему. Просто открою дверь. Быть может, он уже поднялся на четвертый этаж, ступил на площадку и ожидает у лифта. Ему нужно только одно мое движение – изнутри. А взамен пока – мои шаги и раздумья. А, кроме того, отец. Мой отец. Они так и не повидались. Почти полвека спустя. По недавнему договору – еще семилетие. Но ведь у него и с отцом договор. Пуганица. Было бы очень удобно. Да, я твердо знаю – он



стоит перед нашей дверью. И отец умолкает на полуслове, потому что у него та же догадка. Но ничего не поделаешь. Договор с сыном - превыше всего. Ниточка, на которой держится все на свете. Или много чего. Замри. Он тут.

И снова перед глазами проходит целая жизнь. Что ж получается? Радость ее – ожидание? У отца. И у меня. По-разному. Он представлял себе, как все будет. Любая мелочь говорила ему, как прекрасна жизнь и как сладко воображение. То, что выходит ему навстречу, - подарок природы и времени. Главное – сын. Вот я вижу его сейчас и пытаюсь понять, что может прервать минуту счастья, которое я предвидел всегда, и даже в детстве, когда я еще ни о чем не догадывался. Я не мог объяснить словами. И потом не умел. И только сейчас понимаю. Музыка «Лебединого озера» - совсем о другом. Но даже в ней что-то живет, созвучное моему вечному ожиданию. И то, что Фарадей остановился у двери. И не подымет руку. И не коснется звонка. Долго он будет стоять, не знаю. Но это, может быть, самое большое мгновение всей моей жизни. То, ради чего стоило жить. Кто прервет его?

Но почему-то я воображаю себя далеким отсюда. Проверю. Да, я сижу. Вечер. Кресло. Экран телевизора. Сын. И вот – никого. Только он один. Миша. И я еще раз поражаюсь, как он похож. На того моего сына. Вернее, ученика. Тогда он был радостью ожидания. А теперь я всматриваюсь. Как будто я забыл и вспоминаю, глядя на сына. И узнаю – черту за чертой. Чужой – предвестие. Родной, кровный – прозрение. Кто прервет? Кто остановит? Через семь лет я уехал. Неужели впрямь уеду опять, когда пройдет назначенный срок. Надо встать и встретить. Миша не подойдет. Это мое предназначение. опередить. И открыть священнику дверь.

Открываю. И узнаю сразу. Прежняя стать. Рост. И глаза. Почему-то очень трудно увидеть его здесь. В моем кабинете. «Лебединое озеро» кончилось. Экран погас. Пока никаких передач. Выключаю. Но Миша продолжает смотреть и как будто не видит моего Фарадея. И я невольно хочу, чтобы он так сидел и смотрел и не вставал навстречу гостю и не здоровался с ним. Но он здоровается и встает. И переводит взгляд к нему от меня и обратно. В такие минуты я все могу прочитать в его душе и даже как будто вижу его глазами. Вижу и себя и его, священнослужителя, и только никак не могу их представить вдвоем, рядом друг с другом. Вижу, конечно, и не представляю. Мешают черное одеяние. И черная борода. То, что Миша другой. И чем дольше смотрю, тем горше исчезает прежняя память о Фарадее. О том, как я когда-то высматривал в нем родные черты моего пятнадцатилетнего сына.

Ошибся. Да. Мой сын победил. Он разрешил поединок. Он все знает. А об этом догадаться не может. Глаза того и другого. По-разному. У Фарадея прежний спокойно-испуганный взгляд. Он останавливает их на чем-то одном и долго испытующе смотрит. Кажется – неподвижны. Предмет исчерпан, и вот он плавно отводит их, эти глаза. Особенно тяжело, когда он всматривается в тебя. Вот сейчас, например. Это надолго. Отхожу. Плавно переводит глаза. И не отпускает. А Миша глядит независимо. И как будто не

видит. А на самом деле – вбирает все. Уже вобрал. И теперь остается найти слова, чтобы выразить прямо все то, что он думает. А решение уже созрело. И он обрадован и удивлен такому решению. В такие минуты очень трудно поймать его взгляд. А зачем? Сказано без единого слова. И вот вокруг тишина. И только сдержанное дыханье двоих.

Как в предпоследней сцене постановки «Про это». Меня тогда поразило - все замолчали. Голгофа уже завершилась. Поэтовы ключья разбежались по сцене. Большая медведица в небе стала над головой. Никто не смотрит. Но я ее вижу. Потому что все опустили головы. Даже он, Фарадей. Голос отсюда. Неслышный. Безмолвие наизусть. И в такой тишине, кто-то сказал. Подумал. Проговорил. Прерывисто. Как будто прощально. Кто это был? Не ты ли сам – Фарадей? Вот я не уследил за твоими губами. Как теперь уследить? Миша знакомит нас. Мы говорим, что знаем друг друга давно. Вот Фарадей. А вот он – годовалый младенец. А где остальные? Разбрелись. Их отделяет от нас черный экран телевизора. И тишина, которая не снилась, но была на той сцене и в зале. Благословлять никого не надо. Исповедь будет потом. Кому? Пространству и времени. А теперь. Я согласен. Кто? Мое отражение?

Тихо-тихо. Мы с Мишей вдвоем. Только мы. Он не пришел. Но и я не сделал ни шагу. И вообще. Где он? Бог, который все вбирает в себя и отказывается творить? Как сделать, чтобы он захотел? Я у стола. Гашу и вновь зажигаю зеленую лампу. На улице – чернота. В облаках темно-синий просвет. И одно за другим на той стороне Большого проспекта загораются разноцветные окна. Они горят и не гаснут. А я в комнате Миши. Вот я сжимаю пальцами каменную плиту подоконника. Трогаю этажерку. Зову. Зову еще раз. И никто не входит ко мне. И никого нет за стеной. И там, внизу, под моими окнами, никто не бродит по тротуару.

-----

## МИША

Я проверяю там и здесь,  
Подобно маленькому Будде,  
Отсутствие того, что есть,  
Того, что было и что будет.

И с этой стороны и с той  
Не обнаруживая Бога,  
За недоступною чертой  
Мне удалось побыть немного.

Там не бывает ничего,  
Что только может быть на свете.  
Там вместо сына моего  
Его отсутствие я встретил.

Там сразу происходит то,  
Что будет поздно или рано.  
Там превращается в ничто  
Его невольная нирвана.

Рванулся по его следам  
Туда, где все мы скоро будем,  
Одну минуту побыл там -  
И - видите - вернулся к людям.

Не знаю, трепет или страх,  
Но видел я и помню даже,  
Что горечь на его губах  
И там и здесь одна и та же.

И эту горечь, как ответ,  
Я вынес все-таки оттуда  
Покуда все, чего уж нет,  
Очеловечивает Будда.

## 2

Здесь опустился арматурный прут  
И голову пробил ему в подъезде.  
Я опоздал на двадцать пять минут,  
Иначе мы бы оказались вместе.

Его последний жест необъясним,  
Как предсказание или молитва...  
Я по ступеням шел бы рядом с ним,  
И мы вдвоем стояли бы у лифта.

Я думаю, что трое молодых  
Наемников соображают быстро,  
И, не рискуя убивать двоих,  
Убийцы отложили бы убийство.

Предвидеть и предотвратить удар  
Я смог бы с быстротою запредельной.  
И уж во всяком случае тогда  
Я первым принял бы удар смертельный.

Я подходил, когда уже намок  
Подножный коврик, прижимаясь к ране.  
Зачем выдумывать, что я не мог  
И миг и место вычислить заране?

И почему мне было не дано  
Переглянуться с киллерами теми?  
Не надо говорить, что все равно  
Его убили бы в другое время.

Раскрыта дверь на первом этаже,  
Где он упал у самого порога.  
Он здесь лежал и не дышал уже,  
Нет, все-таки еще хрипел немного.

В тот вечер я читал о Льве Толстом  
Ребятам в рекреационном зале,  
Что происходит, я не знал о том,  
Тем более ученики не знали.

Я отвергал насилие и суд,  
Я проповедовал и медлил снова,  
Ребятам истолковывая суть  
Нагорной проповеди Льва Толстого.

Всех проходящих мимо я не звал  
Учениками сделаться моими,  
А проходящие входили в зал  
И, не дослушав, проходили мимо.

Но очень важно было остальным  
Проверить истину в ее основе.  
Я отвечал на все вопросы им  
И не прервал себя на полуслове.

Напрасно я не понимал сперва,  
Что возражения не убывают,  
Что надо лекцию мою прервать  
И поспешить туда, где убивают.

У нашего подъезда впереди  
С крестом кровавым белая машина.  
И я, когда к подъезду подходил,  
Не догадался, что увозят сына.

И вот, когда уже дышал мой сын  
В машине той искусственным дыханьем,  
Я шел, поглядывая на часы,  
К его кресту - с обычным опозданием.

Здесь опустился арматурный прут  
И голову пробил ему в подъезде.  
Я опоздал на двадцать пять минут,  
Иначе мы бы оказались — вместе.

## 3

Не знаю, с помощью каких начал  
Небытие припоминает Мишу.  
Он говорит со мною по ночам,  
Его полночные шаги я слышу.

А иногда и в середине дня,  
Скользнув рукой по книгам и бумагам,  
Он весело проходит сквозь меня  
Своим размашистым и твердым шагом.

Порою он невидим, потому  
Что временами не бывает узнан.  
А может, просто хочется ему  
Остаться духом, письменным и устным.

Я понемногу разгадал вполне,  
Что хочет он сказать упрямым взглядом:  
Ты, папа, только думай обо мне,  
И я, невидимый, останусь рядом.

А чтобы в этой комнате пустой  
Он далеко в небытие не отбыл  
И не растаял за чертою той,  
Мы ту черту переступаем оба.

И я его на ощупь узнаю  
И по-отцовски ожидаю кротко,  
Что он взьерошит седину мою  
И на плечо мне ляжет подбородком.

И в то же время пустота вокруг,  
Едва попробую через мгновенье  
Его сыновних юношеских рук  
Опять почувствовать прикосновенье.

Он уходит куда-то собрался,  
И вот уже из безнадежной глубины  
Мерцают разноцветные глаза,  
Высокий лоб, насмешливые губы.

И я теперь обожествляю то,  
Что раньше ничего не означало, -  
Неисповедуемое Ничто  
Как неисповедимое Начало.

## 4

Небытие творит из Ничего,  
И это уникальное доселе  
Предполагаемое божество  
Когда-нибудь своей достигнет цели.

Я вижу пустоту со всех сторон,  
Но мне она спасение готовит.  
А то, что мир еще не сотворен,  
Для сотворения прекрасный повод!

Мои соображения просты:  
Я предлагаю очень осторожно  
Проверить переход от пустоты  
К тому, что прямо противоположно.

Мы самообладанье сохраним,  
Запреты некоторые нарушим,  
И переходный этот механизм  
В конечном счете будет обнаружен.

И все-таки полезнее сейчас  
Неторопливо, как велит природа,  
И непременно каждому из нас  
Понять непостижимость перехода.

И если мы действительно пойдем,  
Что механизма нету и в помине,  
Я, может быть, в отчаянье моем  
Смогу Небытие спросить о сыне.

О том, когда же наконец его,  
Невоскрешаемого по идее,  
Небытие создаст из Ничего  
И мне отдаст его на самом деле?

## 5

Что буду отвечать, не понимаю сам  
В какой-то разговор я незаметно втянут,  
Чтоб отвечать ее глазам, ее слезам,  
Губам, которые дрожать не перестанут.

А на вопросы глаз, и слов, и губ, и слез  
Нельзя не отвечать или ответить позже.  
Короче говоря, мне видеть довелось  
Недоумение или банкротство Божье.

Создатель с совестью своей наедине  
Не то чтобы в моем нуждался переводе,  
А просто замолкал, предоставляя мне  
Отыскивать ответ, которого нет в природе.

А я, уверенный, что оправдания нет,  
Что губы матери дрожать не перестанут,  
Отыскивал слова и находил ответ  
И тут же был опять в беседу эту втянут.

## б

Какой-то гул стоял над головой  
Без нарастания и интервала,  
Когда, как если бы он был живой,  
Моя Наташа сына целовала.

Губами трогала его всего  
И беспорядочно, и неумело,  
И было окончательно мертво  
Его неузнаваемое тело.

Он был, когда мы подняли покров,  
Неописуемо красив и молод.  
И неужели мы положим в гроб  
Его последний безответный холод?

Когда я сбоку на него взглянул  
И мать его всего исцеловала,  
Мы поняли, что значит этот гул  
Без нарастания и интервала.

Теперь уже не из дешевых книг,  
Мы точно угадали в звуке этом  
Понятный матери ответный крик  
С каким-то важным для отца ответом.



## 7

Путь к оправданию закрыт,  
С того момента месяц прожит.  
Дитя заплачет и простит,  
И только мать простить не может.

Я вижу, первая у ней  
Сегодня проступила проседь.  
Она молчит и у друзей,  
Конечно, помощи не просит.

Не мстит, не требует суда,  
Но и не заживает рана.  
Обида раз и навсегда  
Беспомощна и постоянна.

Усилена сама собой,  
Пока на месте не убита,  
Растет и собирает боль  
Непоправимая обида.

Ну, что там вызрело внутри  
О мире и миропорядке?  
Всех Достоевских собери -  
Их аргументы будут шатки.

Христа никто не оскорбит,  
Простят и старики и дети.  
Но за обиду из обид  
Какой убийца мне ответит?

Так, если вы убеждены,  
Чертите план и в основанье  
Кладите боль моей жены  
И возводите ваше зданье!

Исследуя себя самих  
Рассудком или предрассудком,  
Живите вечность или миг  
На этом основанье жутком.

## 8

В небытие обрушась тяжело  
И сразу где-то снова обнаружась,  
Его сознание от нас ушло  
И позабыло пережитый ужас.

Теперь оно свободно, и сейчас  
Когда вся жизнь его совсем иная,  
Оно живет, не вспоминая нас  
И самоё себя не вспоминая.

Я это смутно чувствовал всегда -  
Иначе мир уже давно бы вымер.  
Конечно, Миша отошел туда,  
Где каждый делает свободный выбор.

Природа только для отцов сложна,  
А ты ее оценишь благодарно.  
Ведь ты же мать, и ты понять должна,  
Что в материнском не бывает кармы.

Свободный выбор неисповедим:  
Не ограниченный ничем нимало,  
Собой останься или стань другим,  
Повремени или начни сначала.

Одержит Миша множество побед  
Или заснет в бессрочной летаргии,  
Он выполнит единственный запрет -  
Забудет все, что сделали другие.

А чтобы этот выполнить закон  
И жить, свободе не противореча,  
Предсмертие свое забудет он  
И то, что с нами невозможна встреча.

Наверно, он давно уже с людьми,  
Неузнаваем и не узнан в роде.  
Ведь ты же мать, поэтому прими  
Природу-мать в ее простой природе.

## 9

Что ты такое говоришь? Постой!  
Когда единства нету - все едино...  
Ведь ты отца и сына дух святой,  
Но как возможен дух с отцом без сына?

Мы составляем троицу живьем,  
Но почему-то, жители земли, мы,  
Отец, и мать, и сын, поврозь живем  
И потому для смерти уязвимы.

Ведь мы бессмертны были столько раз,  
И дальше так же продолжать могли бы,  
И дух святой объединял бы нас,  
Когда бы сын из троицы не выбыл.

Себя на место Господа поставь,  
Когда он сына потерял и встретил.  
Куда уйдешь, вторая ипостась,  
На бездорожии оставив третью?

Скажи, при распадении таком  
Куда себя, оставленного, дену?  
В ответ Нагорной проповеди - в ком  
Небесной троице найду замену?

Пока, Небытием утверждена,  
Непобедима троица земная,  
Невоскрешенный среди нас, жена...  
Не знаю как, но он воскреснет, знаю.

## 10

Я поминутно собираюсь в путь,  
А ты не хочешь следовать за мною.  
"Не уходи... Скажи мне что-нибудь...  
Пиши о нем, отбросив остальное..."

А я как раз иду за остальным,  
Готовый умирать или молиться,  
И, чтобы обнаружить сходство с ним,  
Один в чужие вглядываюсь лица.

Как хорошо увидеть и достать  
И взять в рифмованное пятистопье  
Чужую поступь и чужую стать,  
Его живые образ и подобье...

Мне кажется, что я не ослеплен  
И вообще весь мир иначе вижу.  
Похож на Мишу тот высокий клен,  
И яблоневый лист похож на Мишу.

Но ты опять готова унимать  
Мою иллюзию одну и ту же.  
Ты в сходство вглядываешься как мать  
И непохожесть отстраняешь туг же.

По-своему, конечно, ты права,  
Любое отступление видя тотчас ж,  
На этот мир глазами божества  
Ты посмотреть не можешь и не хочешь.

Но я уверен в том, что мир иной -  
Все тот же мир из холода и зноя.  
Ты все-таки последуешь за мной,  
Чтоб полюбить в чужом свое родное.

## 11

Десятилетний Миша был забыт.  
Он бегал в курточке, вот в этой точно.  
С тех пор в кармане курточки лежит  
Улитка и какой-то пух цветочный.

И вот сейчас, через шестнадцать лет,  
Когда чуть больше чем наполовину  
Исполнен год, как Миши с нами нет,  
Я эти вещи из кармашка вынул.

Неутолимо близок и далек  
В густом тумане умершего лета  
Мальчишка, тоненький, как стебелек,  
И домовитый, как улитка эта.

Мы оба видели, как собралась  
У речки Ящеры в лиловом поле  
Под хитрой зоркостью упрямых глаз  
Родная горстка трогательной воли!

Мы смотрим в прошлое, мы шлем туда  
Свою тоску, отчаянье и жалость  
Вдогон минуте умершей, когда,  
Быть может, вся судьба его решалась.

Нет, мы не ждем с тобой, чтоб он сейчас  
Явился к нам и слезы наши вытер,  
Поведав, что не в тот конкретный раз,  
А незаметно в нем рождался лидер.

Он в кулачок собрал немало сил  
И умной волей прирастал в избытке,  
А на поверку беззащитен был,  
Как пух цветка и завиток улитки.

## 12

В тебе, как в каждой матери, живет  
Непререкаемый любви апостол.  
Творец все время что-то создает  
И сам уничтожает все, что создал.

Всему живущему один конец...  
Когда серьезно что-нибудь творится,  
Естественно, что истинный творец  
Ничем не может удовлетвориться.

Вот мы, поэты, к собственным словам  
Бываем тоже иногда жестоки.  
Чтоб нечто лучшее поведать вам,  
Вычеркиваем созданные строки.

Но каждая подобная строка  
Поистине живая, может стать...  
Противоречь Создателю, пока  
Любовь и творчество не совместятся.

А если страшная беда стряслась,  
Пусть будет каждой матери известно,  
Что это Бог уже в который раз  
Для творчества себе расчистил место.

Но ведь живых и мертвых сыновей  
Твоею правдою Создатель создал.  
Поэтому всей правдою твоей  
Противоречь ему, любви апостол!

## 13

Первопричина - только и всего,  
Единственная в папе или маме...  
Целуешь ты не мужа своего,  
Мое и сына кровное родство  
И наше сходство трогаешь губами.

И я целую не жену, а мать,  
Когда отчаянно хочу опять я  
Возобновить и, может быть, поймать  
Мгновенье первое его зачатья.

А он стоит между тобой и мной,  
Не умирая и не существуя,  
И делает нас мужем и женой  
В момент родительского поцелуя.

Пока присутствует погибший сын,  
Оказывается, мы стали сами  
Первопричиною первопричин,  
Которую сегодня он один  
Являет нам и разделяет с нами.

## 14

Сквозь утреннюю тишь и неба синеву,  
Молитвенно самой природе уподобясь,  
Я вижу странный сон, когда, как наяву,  
Возможно разглядеть малейшую подробность.

За миром нынешним нездешний мир возник,  
И он на нынешний нисколько не влияет.  
Есть две реальности, и сквозь одну из них  
Вторую разглядеть труда не составляет.

Но грань прозрачную пройти не может звук.  
Не слыша отклика, я спрашиваю снова  
Молитвою моей или движеньем рук  
И по движенью губ угадываю слово.

Мы оба чувствуем, что это не игра.  
Угадывая смысл в любом моем вопросе,  
Пока я сплю, мой сын уже сквозь эту грань  
Мне очень важные ответы перебросил.

Еще немного, и неслыханную суть  
Неслышные слова подробно обозначат.  
Его задача — две реальности сомкнуть.  
Не утратить одну из них - моя задача.

Я вижу, он хитро подмигивает мне,  
Мол, для таких, как мы, запрет не сохранится.  
Природа бытия - и в жизни, и во сне  
Тайком от Божества раскачивать границы.

Мешая двух миров листву и синеву,  
Несбыточная явь оттуда нарастает...  
Поэтому скорей - во сне и наяву  
Войди в мой сон, жена, пока он не растает.

## 15

Теперь мою судьбу перепроверил я  
От первого и до последнего абзаца.  
Напомню, что отец - единственный судья,  
Которого судьба обязана бояться.

Легко вообразить негодование тех,  
Кто понимал судьбу от века и доньше  
Как окончательный и бесконечный текст,  
Прочитываемый без гнева и гордыни.

Я все от корки и до корки прочитал,  
Не залетая ввысь и не срываясь в пропасть.  
И что же, прочитав, я обнаружил там -  
Какую истину или какую пропись?

Известье краткое о том, что я неправ,  
Что лучшие мои усилия излишни,  
Содержится в одной из предпоследних глав,  
Прочитанной как текст вселенской формы Кришны.

Я окончательно предполагаю впасть  
В противоречие с определеньем этим.  
Как некий Аржуна, осматриваю пасть,  
В которой суждено погибнуть нашим детям.

В конце столетия она еще страшней  
Альтернативами креста и вымиранья.  
Но наиболее невыносимы в ней  
Доброжелателей знакомые старанья.

Я вижу, эти ждут и негодуют те:  
"Твоя любовь, - кричат, - отцовская повинна  
В том, что она укор всей нашей правоте  
И не намерена отдать нам в жертву сына!

Подумай о других, любой пример возьми-  
И сразу эту жизнь в ином увидишь свете.  
Куда ни оглянись, все жертвуют детьми,  
Оберегая их и отдавая смерти.

Ведь самого Творца авторитет возрос  
Тогда, когда прибег он к жертвенному жесту.  
Поэтому реши единственный вопрос:  
Кому или чему приносишь сына в жертву?

Мы подготовили большой переворот:  
Разрушили страну и пляшем на руинах!  
Еще раз говорим: пускай твой сын умрет,  
Зато ему взамен восторжествует рынок!



С твоею помощью мы растащить могли б  
Тоталитарности российской пирамиду.  
Случайно под одной из глыб твой сын погиб.  
Смирись и замолчи, не подавая виду!

Ты знаешь, ничего не происходит вдруг,  
И получается, что мы не виноваты,  
Предав и распродав родимый Петербург,  
И новый триколор, и старые "виваты"!

В любой истории всегда один сюжет -  
Не ограниченный страной или квартирой.  
Твой сын случайно пал в числе невинных жертв,  
И ты не трогай нас и не дискредитируй!

Победу мафии остановить нет сил.  
Пора предсказывать неандертальский голод!  
Все это понимал наивный Михаил.  
И Петербург его немедленно убил  
За то, что он решил облагородить город.

Конечно, этот миф не выяснен еще,  
Но истина должна остаться под запретом.  
Ведь к сыну твоему у нас особый счет,  
И ты не помогай ему узнать об этом.

Ведь он поверил нам, он выбрал этот путь,  
Но он ушел к тебе из нашей камарильи.  
Так пусть не знает он и не узнает пусть  
О том, что это мы его приговорили.

Твой сын - холодный труп, и в ожиданье тьмы  
Не вспоминай о нем настойчиво и тупо!  
Как в прежние года от страха лгали мы,  
Так ради нас и ты солги над этим трупом.

Отец-предатель нам сейчас необходим.  
Что мы наделали, мы понимаем сами.  
Мы все разрушили, но мы ведь жить хотим  
И заглушим тебя своими голосами.

Ну почему, скажи, мы будем всякий раз  
Оправдывать себя заботами о благе?  
Нам безразлично то, как дети мрут сейчас,  
Нам важно отомстить за прежние гулаги!

На всякий случай мы восстановили храм,  
Которым наша фальшь везде распространится.  
А библию судьбы ты истолкуешь сам:  
Вот "Махабхарата" - листай ее страницы!

Подумай, посмотри и самоуглубись,  
Но угаи от всех, что, если углубиться,  
Огромная страна торговцев и убийц  
Сама становится торговцем и убийцей!"

Мне эти выкрики не закрывают рот.  
Вы, разрушители, не будете забыты.  
От моего суда ничто вас не спасет -  
Ни храм Спасителя, ни текст "Бхагаватгиты"!

Я созидаю мир, а кто его хранит?  
Одно Небытие мне говорит о сыне.  
И даже Кришна сам когда-то был убит -  
Не сохранивший мир красавец темно-синий.

Теперь по существу остались вы одни,  
Вселенской формою играя безвозмездно.  
Сегодня вы - клыки, вы - пасти, вы — огни,  
Которыми детей уничтожает бездна.

Мы как-нибудь без вас проблемы разрешим.  
Убитый и живой, таинственно условясь,  
Мы выйдем на рубеж, и кончится режим,  
Который душит мысль и подменяет совесть.

А что касается вселенских этих форм  
И убиений всех, определенных свыше,  
Я поведу о том непримиримый спор -  
Ведь "Махабхарата" прочитана в упор,  
Ее читали мы вдвоем, и мы с тех пор,  
Убитый и живой, другую книгу пишем.

-----

## ИСПОВЕДЬ

### 1.

Та же самая? Нет, иная. Пока могу и не боюсь в себя погружаться. Настанет время, и все мы не побоимся так же погружаться друг в друга. Тогда всем все обо всех станет известно. Приближается такое время. Но пока еще не настало. Слава богу, скажете вы. А я помолчу и ничего не отвечу. Приближается – вот мой ответ себе самому. Мираж? Не думаю. Но вернемся к нашим делам.

Кое-что запишем. Записанное отпадет и не будет мешать погружению. Вот хороший способ. Но я не догадывался о нем столько лет. А теперь понимаю, почему бывало мне – без причины – так легко. Радостно, при всех моих бедах и потрясениях. Вот сейчас вполне хорошо и легко.

Над окном вечного моего чердака, прямо над окном в верхнем углу фронтона – ласточкино гнездо. Птенчики вывелись, пока не было меня. Теперь – новые. Окно открыто. Когда ласточка молниеносно и плавно взлетает под самый угол крыши, кажется – вот-вот она залетит в окошко, прямо ко мне на чердак. Знаю – дурная примета. Пока еще не хочу. Вот опять плавно взлетела над самым окном в свое гнездо. Но взлетала как будто снизу – вполне могла ошибиться. Скоро перестанет меня бояться и – залетит.

Записываю. Нет, не надо записывать... Пусть остается и не отпадает. Не испугается. И не залетит. Новое шевеление в ласточкином гнезде. Все в порядке. Я готов задержаться. Ради птички – за то, что она до сих пор оберегает меня и мое гнездо и не боится шума и голоса моего, когда я почему-то разговариваю сам с собой. Разговариваю, а не записываю. Вот как сейчас, например.

Солнечный день впереди. Яблони чуть покачивают ветками. Ветер не помешал весной. И вот к концу лета все они осыпаны яблоками. Второе урожайное лето. А то – первое – почему я не записал тогда? – оно совпало... С тех пор я знаю: такой урожай – тоже дурная примета. Но теперь уже ничего не может случиться. Все уже было. Опоздала примета. Подожду, созреют. Буду сравнивать вкус. Вспомню... Терпкий и сладкий. Прошло десять лет. Сочные, твердые. Сколько их было. Вспомню, а то иначе не вспомнится.

Вот. Тишина. Та, о которой я так много мечтал. Только здесь. Только в этом домике на моем чердаке.

А что было вчера? Почему на душе так спокойно?

Уехала внучка. Это я записал. Как такое могло случиться? Она выросла. У нее своя жизнь. Но ведь она не отпала. Как же я мог записать? И почему так все спокойно? Вот уж где надо молиться Небытию или какому угодно богу, чтобы все обошлось. Нет. Чувствую – тихо, спокойно. Только растет боль и тоска о том, кто уехал. Знакомая боль. И звучит в моей тишине тоскливый

народный мотив из первой симфонии Сибеллиуса. А сам-то он знал, что этот мотив выражает? Или так – процитировал... Было, что-то было подобное моему. Не отвязывается. Не отпадает. И у него не отпало. Потому что никто, кроме нас, не почувствовал так. У каждого свои горести и обиды. Своя тоска. И у меня уж никак не получится выразить словом. Горькая, красивая мелодия. Кажется, что никому нельзя уезжать. Будет плохо ему и мне. Даже если тому, кто уехал, станет без меня хорошо. Вот как сейчас. А, понимаю. Тихо и спокойно, потому что я поправлять не стану. Такой уж характер. Так надо. И так будет.

Вчера под вечер, у того же окна, под гнездом на фронтоне, когда я сидел за тем же столом, в той же тоскливой тишине, с той же мелодией, мне шепнул незнакомый голос о том, что еще целая жизнь впереди. Много, много лет. Если бы ты знал, что предстоит, если бы знал, ты бы успокоился и не торопился. Все, кто от тебя уходит сейчас, все вернутся к тебе. Но будет поздно. И тогда в тишине так же взлетит ласточка. И ты примешь их всех в душу свою. Не веришь? Поверь и узнай. Это случится поздно. Яблони. Ласточка. Тот же стол. То же окно. То же спокойствие погружения. Много, много лет.

Голос шепчет уже не первый раз. И всегда разное. Голос не повторяет себя. Он прерывает мою тоску и вновь пропадает. И вновь тяжесть в груди и в слове. И не надо записывать все, что он прошептал. Ничего не надо записывать. Это особое. И всегда – независимо от меня. Кто-то меня ведет. Кто-то со мной говорит. Но редко. И не по моей воле. Независимо.

Сначала я удивлялся – и только. А потом стал прислушиваться и верить. Еще ничего не сбилось – из того, что нашептано. Потому что сбиться должно лет через пять. Через десять. Пока проверить нельзя. Да и зачем проверять. Благодарю и запоминаю. А вчера я заметил, что благодарю тоже тихим шепотом – еле слышно. Как будто иначе голос не услышит меня. А так – слышит. Я в это верю.

Голос всех, кто вернется ко мне. Так понял я сейчас – после вчерашнего дня. Тогда был вечер. А сейчас вот – раннее утро. Погружение приостановлено. Мягко и незаметно. Впервые за последние две недели. Событие или – так, показалось?.. Мягко и незаметно. И вот опять мелодия зазвучала. Та же, но другая. Как это может быть? Трудно поймать ее. Вот – исчезла совсем... Острая ласточка почти залетела в окно. Осторожно. Так. Нет. Все хорошо. Зеленое светлое утро.

Когда это началось? Первые признаки?.. Надо очень долго быть в одном и том же месте и внимательно вглядываться. Если долго смотришь на то, что привычно, увидишь тайные сдвиги. Вот сейчас... по дороге за нашим участком люди шли как всегда, но я очень долго смотрел, и вдруг вижу: все дрогнуло, и люди пошли немного быстрее, и дальше ничего не менялось; значит, как все убыстрилось, так и осталось более быстрым. Я подсмотрел и знаю, а так – никто ничего не заметил. Еще бы! Кто может, как я, сидеть неподвижно и, повторяя меня, долго-долго смотреть из окна в одну точку?

Некому подсматривать мгновенные изменения в мире. Быть может, они очень важны и когда-то, в какую-то долю секунды, вдруг все началось, и никто не заметил. А кругом уже все другое. Время пошло быстрее, что-то еще изменилось, а пространство кажется неизменным, картина как будто бы та же самая. Но это обман чувств – не больше того. Всматриваюсь. И вот уже почти забываю то, что видел своими глазами. Но память моя при мне. Всматриваюсь еще и еще раз. И вот кое-что замечаю. Нет, опять потерял. Все как было. Те же люди. Та же дорога. Та же яблоня. И никто не поверит, если я скажу, что время стало быстрее и движенья людей, и все мы, даже неподвижная яблоня, и я сам, и все во мне напряглось в ожидании нового сдвига.

Так придет конец, и никто не заметит. Когда же это все началось?

Первый раз это было очень давно. В детстве. И потом повторялось. Каждый раз по-новому. Как будто впервые. А на самом деле – я возвращался к тому дню и часу, к той минуте, секунде, с которой все началось. Моя молодая мама. Где-то в деревне. В белом платье и в красном платке на голове. Прямой пробор – чуть виден из-под платка. Загорелая – так, что лицо кажется черным. Смеется. А я без конца гляжу на нее. Мне не смешно. Я думаю – хорошо, что мама у меня такая. А за спиной у нее дом, бревенчатая изба. И я думаю – вот хорошо, что изба такая. Она кажется мне очень большой. И я – первый раз думаю, что это неправда. Наверно, я еще маленький. Вот мама у меня тоже большая. Первый раз тогда я подумал так. И удивился. И продолжал смотреть на маму мою, на ее черное от загара лицо. А она смеялась и глядела куда-то в сторону и думала о чем-то своем. Это я прошептал тогда. И для меня такое тоже было тогда непонятным, потому что раньше этого не было. Но мама оставалась прежней. Я знал, что она прежняя и что она лучше всех других, кого я видел и помнил.

И вдруг у меня на глазах – что-то в ней изменилось. Я испугался и ждал – вот что-то изменится вновь и она перестанет смеяться и взглянет на меня другими глазами. Но больше она не менялась и была по-прежнему лучше всех. И изба за ее спиной чуть-чуть подвинулась и потом оставалась такой же и как будто чего-то ждала – вместе с мамой. Но мы не дождались. Появились люди. Много людей. И все разноцветные. И всем стало весело. И мама смеялась и смотрела на них и думала о своем. А я видел только ее. У мамы изменилось ее милое, родное лицо. Оно как будто вытянулось, и глаза еще больше запали. И она как будто боялась на меня оглянуться и даже смеялась, чтобы не так бояться. А я не успел испугаться и чувствовал, что это она – такая же родная, хотя и немного другая.

И тут мама взглянула на меня и перестала смеяться. Понятно. Теперь долго ничего не изменится. Я успокоился. Потом, уже после войны, что-то подобное несколько раз повторялось. Но я все меньше и меньше боялся таких минут и секунд и все больше и больше всматривался, чтобы успеть разглядеть и потом еще всмотреться получше в то, что происходит.

Потом я понял, что не надо ждать ничего. Так происходит всегда, в любую секунду, если долго-долго смотреть.

Мамы давно уже нет в живых. Я могу вглядываться в любого – во все, что вокруг: в дерево, в камень, даже в чистое голубое небо, когда на нем нет ни облачка, в такое, например, как сейчас. Неважно. Я знаю, что происходит, и вспомнил, когда все началось для меня. И потому, что случилось оно тогда, еще до войны, все теперь, что вокруг меня, кажется мне родным и нестрашным. А это значит – я никого не держу при себе. Я никогда не бываю один. Все мне сродни. Остается сделать немного. Прожить новые десять лет. Голос меня не обманывает. И, если прислушаться, он шепчет всегда. И, оказывается, я ему всегда отвечаю. Тем же родным шепотом. Чтобы он услышал.

В окно повеял вкусный дымок от соседской бани. Пропустим это мгновение. Так приятно знать и даже не всматриваться. Горькая тоскливая мелодия неизменна. Она напоминает о том, что я почти позабыл. Преодолеl. Нет, моя тоска остается прежней. Но вот она еще горше, неутолимее, чем была. Новая, моя мелодия. Вот я, кажется, ее поймал и пропел. Стало еще горше в груди. Да, это она. Запомни. Останови ее. Удержи. Мелодия погружения.

Слова пошли. Одно за другим. Легко. То, что казалось невозможным, теперь вот – вполне доступно. Молодец. Выдержал. Не отступил. Так надо пройти через и сквозь всю толщу препятствий. Чувствуешь сопротивление? Сколько раз ты отступал перед ним? Сегодня все получится. Выдерживай. Там, где не можешь вспомнить, вспоминай. Заметил? Вот оно – когда-то забытое навсегда. Вспомнил и обрадовался. Вспомнил горькое и страшное, и вздрогнул, но все равно обрадовался чему-то. Боже мой! Какая, однако, сила в том, чего нет, если в него всмотреться и не отступить.

А теперь – передвинь внимание. Преодолей страх. Сейчас ты увидишь. Пользуйся возможностью. Она пропадет. Не упускай. Вот кое-что показалось. При желании можно вглядеться. Но где желание? Только что было. А теперь – хоть смейся, хоть плачь. Могу, но не хочу. И с этим уже ничего не сделаешь. Страх? Да... А что же еще? Ну, чего бояться?.. Нет, не буду заглядывать. Хотя кое-что я помню – то, что увидел, сам того не желая. Я увидел, как горит деревня Луги, нет, не отдельный дом, а вся деревня – такая, какой она еще недавно была, а потом ее вывезли по бревнышку, и там, пять лет назад, оказалось только две новых избы. И вот я увидел, как деревня, которая опять разрослась на прежнем прекрасном месте, как вся эта вновь отстроенная деревня горит, а над ней серое небо с низкими тучами, и кажется, – они отражают этот громадный костер пожара. Деревня горит, а людей нет. Все куда-то пропали, бросили новые избы, и только я один вижу, и я догадываюсь, что где-то здесь горит и моя изба. Вот что я видел краем глаза. Но ведь, слава богу, – этого нет. И Луги еще стоят на прежнем прекрасном месте. И неплохо бы туда сходить и проверить, сколько там выстроено хороших новых изб. Идти далеко. Дорога туда заросла. Но десять лет впереди. Все возможно сегодня.

В Лугах я никогда не жил и жить не буду. Но вот почему-то увидел. Дальше знать ничего не нужно. Отпадает возможность. Жалко. Все это мое родное. Уйду и так всего не увижу. Напрасно. Ну, так и есть – новая боль. Она может усилиться. Не надо. Не хочу. Записываю. Наступает самый важный момент утра. Из-за него, ради него я сегодня проснулся. Что-то было вчера. Не только то, но другое. Что-то еще. То, что я никогда не забуду. Знаю. Никогда. Если только вспомню сейчас. Нет, я и в самом деле не могу вспомнить... Так же трудно, как поймать мелодию. Но ведь я поймал ее и даже спел ее – без голоса, неслышным свистом. Так я любил насвистывать, не умея свистеть. Нет ни свиста, ни голоса. Но мелодия поймана. Вот сейчас вспомню и сразу пойму, почему позабылось во сне. Ведь я попросту еще не проснулся. Нет, я в том состоянии, когда во сне видишь и помнишь больше, чем наяву. Но забываешь смысл, связующий сегодняшний день. Тот смысл, который помнил вчера.

А вчера действительно кое-что сдвинулось. Но не во мне. Я в себя не успел погрузиться. Нет, изменилось в самом воздухе – во всем, что вокруг. Стало ясно, что жизнь идет на поправку. Я подсмотрел вчера самый момент, когда можно было сказать, что это не выдумка, а то, что и впрямь началось. И скоро все заметят, но пока только я один подсмотрел. Да, изменение важное. Столь неожиданное, что это – по правде – заметят нескоро. Вот что случилось вчера. Вот почему на душе спокойно и хорошо... Не во мне, а вокруг. Наконец-то. Я давно ожидаю. Надоело мечтать. Заранее радоваться тому, чего еще нет. И особенно видеть, как радуются другие. По-моему, не только я, но все кругом сыты этим по горло. И вот, представьте себе, я подсмотрел. И теперь, проснувшись, надо подсмотреть еще раз. Потом опять. Еще и еще.

Но что, собственно, было вчера? Надо ли вспоминать? И даже записывать? Такое не отпадет все равно. Такое надо прихватывать, погружаясь. Прихватывать и не отпускать от себя. А вот я уже забыл, почти отпустил. Хорошо. Все восстановится. И не надо усилий. Такое происходит само собой. И возвращается тоже. Мелодия. Отпади от меня. Нужна абсолютная тишина. Спасибо. Ты помогла мне сосредоточиться и вернуться. И вот я неслышным шепотом вновь поймаю тебя. Точно. Я тебя не забыл. И вот – можешь вновь раствориться, отзвучать и остаться неслышно. И тогда я вспомню то, что было вчера.

Удивительно. Рассказать – никто не поймет. Ласточка хотела влететь в окно, увидела меня и изо всех сил, трепыхаясь крыльями, задержалась в воздухе, как будто повисла прямо передо мной. Потом свободно и плавно метнулась в сторону и пропала. Редкий случай. Такое было уже один раз. Очень давно. У того же окна. И тогда жизнь пошла на поправку. Но то была моя жизнь. А все остальное вокруг болело и не поправлялось. А вчера – первый раз... И я понял. Я подсмотрел. Почему она улетела в сторону, а не в свое гнездо на фронтоне? Потому что... Но зачем объяснять? В прошлый раз

она, та же – другая – влетела в свое гнездо. И там не было ни писка, ни шевеления.. А сейчас... Нет ни писка, ни шевеления – в моем гнезде. Оно уже не под крышей фронтона. Оно везде – в пространстве и времени...

Что-то вчера я не успел сказать жене. Но она поняла, что слова не успели, но важное произошло. И вот я догадываюсь: она не спала целую ночь, и наконец она научилась видеть мои тревожные, беспокойные сны. Чтобы видеть их, надо бодрствовать рядом. И вот она не спала, читала. Надо ей все объяснить. Спустись с чердака. Все вокруг не так уж плохо. Жизнь идет на поправку.

А случилось вчера то, чего я ждал столько лет. Идя вот по этой дороге, я встретил чужую женщину с черным загорелым лицом. Она была в красном платке, из-под него был виден прямой пробор. Она смеялась, смотрела немного в сторону и думала о чем-то своем. Я прошел мимо и даже не замедлил свой шаг. Но я увидел, и на душе стало легко и спокойно. Хорошо. Все поправляется. Как объяснить?

Я объясняю. Сначала самому себе. Понятое и понятное тоже требует объяснений. Вот – все просто. Я встретил, совсем случайно встретил чужую незнакомую женщину, которая вызвала во мне те же чувства, что были когда-то в детстве, еще до войны. И мне показалась она такой же родной и лучшей на свете, как мама, которой давно уже нет. И я эту женщину теперь никогда не увижу. Она прошла по дороге и скрылась, думая о своем. Она нездешняя. Она проходила мимо и больше никогда не вернется и не пройдет по этой дороге, между рядами заборов, мимо нашего дома. Ее нет и не будет совсем для меня. А если я ее встречу еще раз – так же случайно – окажется, что я ее теперь не узнаю, потому что я заметил – в лице ее что-то уже изменилось. А что? – я так и не успел разглядеть. Она ушла, но чувство мое осталось.

И вот я, кому впереди от силы пять или десять лет жизни, - вновь такой же маленький, такой же, как был до войны. Детское возобновилось во мне. Но случилось это сейчас, в нашем сегодняшнем мире. И я в нем остаюсь. А ведь в нем такого быть не могло. Но вот видишь – случилось. И то, с чего началась вся моя долгая жизнь, сейчас где-то живет. И только я бы мог догадаться, что это оно, а не что-то другое. Родное мое где-то рядом или вдали от меня. Какая разница – рядом или вдали. Оно есть. И я так хорошо это знаю, что не пойду по следам исчезнувшей матери с надеждой узнать в незнакомой женщине родную мою. Ее увидят все, кто встретится по дороге. Для них она будет совсем другой. А то ни один и не взглянет. Пусть уходит в чужую необъятно громадную жизнь. А я буду знать, что она тоже вернется ко мне. Конечно, вернется, когда будет поздно. И что бы с нею ни произошло, я все равно узнаю ее.

Вот достаточно такого простого случая, чтобы понять и почувствовать – жизнь стала другой. И теперь нужно все это рассказать жене. Ей сразу станет понятно. Она ведь не спала целую ночь, потому что ей шептал тот же голос. Она читала, но книга не помогла ей ответить. А голос, как мне, что-то



нашептывал ей. То же самое. Теперь я это знаю. Мне будет легко объяснить. Даже то, что никому не понятно. То, что я разглядел, не желая того, - горящую деревянную Лугу, в которой я никогда не жил, не буду жить, но в которой когда-то сгорит и моя изба. Тому, кто знает, легко объяснить. Но вчера почему-то я не решился ей рассказывать о том, что увидел. Так нельзя. Не рассказал – и вот бессонная ночь.

А что со мной было этой ночью – на моем чердаке? Я ведь спал и не догадывался, что она не спит. Сны мои не имеют значения. Достаточно яви. Как избавиться от способности видеть сны своего мужа и все разглядывать в них? Я вот не помню, что видел сегодня во сне. А она, бодрствуя, читала их лучше, чем книгу. И вот в итоге она знает обо мне многое такое, что мне самому неизвестно. Я не боюсь. Я легко отсекаю ненужные сны. Они становятся слишком подробны. Порою они вполне уподобляются яви. Я заметил давно. Явь, да еще какая! Но только нет в ней неожиданных сдвигов. Там можно смотреть, но не во что всматриваться. Как быть? Надо не спать. И без сна в избытке то, во что нужно всматриваться ночью и днем. Это что-то большое и многоцветное. Как объяснить? Много-много людей. Много лет. Хочешь, не хочешь – смотри. И только ничего не утаивай.

Зеленое светлое утро. Вот опять шепот. И я отвечаю ему. Он повторяет все то же. Это хороший знак. Это весть о том, что все поправляется. Но записать невозможно. Повторяй, повторяй. Это главный признак. Я верю ему. Опустело мое гнездо. Хочется плакать. Так, беспричинно.

Все они вернутся ко мне. Жена знает о том, что вернутся, когда будет поздно. Что повторяется, то верно. Шепот в ответ. Я не один. Надо идти, спускаться с моего чердака. Закрываю окно. Вдруг – сильный удар в стекло. Оборачиваюсь. Нет никого. Да и кто мог бы с той стороны так страшно стукнуть в стекло? Жду повторения. Жду. Нет. Все спокойно. Мелодия погружения замерла. Оборвалась внезапно. Исчезла из памяти.

## 2.

Я счастлив. Потому что знаю, как из ничего рождается нечто. А из него, из этого нечто, если всмотреться, появляется все. Все, что нужно для жизни твоей. И не только твоей. Все. Что нужно для всей жизни, для всего Бытия. Если знаешь свое начало начал, жизнь еще не погибла. Все становится родным. Все можно узнать, и ничего не нужно бояться. И есть только одно зло. И его я попытаюсь, вот сейчас попытаюсь объяснить себе самому. Его тоже не нужно бояться. Это очень просто. Нужно знать одно – бытия всегда *мало*. Кажется только, что много его. И вот это «кажется» - это и есть главное зло. Его легко победить. Его нельзя допускать – вот и все. Тот, кто делает зло, допускает его. Нет, этого пока еще никому не понять. Я сам с трудом понимаю. Но я счастлив – сегодня утром я понял то, что видел вчера. И то, что заметил сейчас. Время убыстрилось. Люди стали расторопнее двигаться и

идти. Но дело не в этом. Нет, они подвинулись к тому, чтобывсемвсе стало понятно. И это случилось, потому что кто-то один подсмотрел и разгадал... Зачем я записываю такое? Чтобы оно отпало? Нет, я счастлив, бытия мало, мало. Еще вчера казалось, что много. Но я победил это зло. Ты поняла? Ты со мною согласна? Ты не спала, потому что знала, что я это вижу во сне? Посмотри мне в глаза. Я не утомляю тебя? Забудь мои глупости. Есть куда более важные вещи. Ты о них читала всю ночь. Ты страдала, пока я был счастлив. Жена, я понимаю тебя - это зло.

Странно. Мой путаный монолог я не говорю, а шепчу. Она слышит каждое слово. Потому что я шепчу очень четко. Жена не боится таких минут. Я сам их боюсь. Лучше полный покой, чем шепот подобного незваного счастья. В мире плохо, а становится еще хуже. То, что ты подсмотрел, это убыстрение пути к катастрофе. Это я тебе говорю. Ты не думай. Говорю и знаю – дальше невозможно терпеть. У многих поехала крыша. Твое выражение. Нет, не думай, что я всю ночь не спала. Вся моя бессонная ночь – невообразимый кошмар. А читала я, оттого что сплю ночью и днем. Сплю до сих пор. Надо как-то проснуться. Взять и сказать, о чем я молчу. Вот подходящее утро. Но ты уже догадался. Иначе не стал бы шептать. Не возражай. Ты правильно понял. Счастливый видит какие-то сны. Потом утром их забывает. А я по ночам вижу и помню их. Он их отсекает. А я обязана помнить. Почему? Сны ужасные. Хочешь – тебе расскажу. Нет. Счастье не терпит противоречий. Что? Что такое? Это не я сказала. Ты прошептал за меня. Вместо меня. Зачем? Как ты не можешь понять? Если кто-то находит слова, другим остается молчать – все за них уже сказано. Ладно твоё идет все быстрее. А ты счастлив оттого, что время убыстрилось. Ладно. Будь счастлив пока, если можешь. А я... Что же ты так долго спускаешься с чердака и еще не спустился?

Да, я задержался на металлической лестнице. Я опять во власти моих грешных, приблизительных слов. Быть может, верно: если что-то исключительно важное удастся выразить словом – не я, кто-то другой выразил – мир погружается в немоту. Нет, не могу согласиться. И не могу заглушить, забыть мое счастье. Вот слышу, опять кто-то стукнул в окно чердака. Уже без меня. Но звук тот же самый. Что? Неужели надо вернуться? Что это значит? Но как она могла ошибиться – дважды за одно только утро? Стекло выдержит. Окно от вагона – закругления на углах. Ермолаич поставил мне на чердак, взяв его готовым из своих давних запасов. Стекло органическое – клюв ласточки его не пробьет. Но что значит сегодня двойная ошибка? И почему без меня? Ведь раньше ласточка не ошибалась. Наверно, такое впервые. Значит, счастье мое неслучайно. Есть подтверждение. Особенное – так, чтобы я запомнил. Надо жене рассказать.

Каждый шаг по металлической лестнице – бесконечность, из которой, кажется, нет никакого выхода. Опять это «кажется» - главное зло. Ну, не впервой. Апория Зенона о том, что нельзя дойти до конца отрезка пути и даже нельзя сделать первый шаг, ибо надо пройти половину, потом еще половину, и так без конца. А мне всего лишь предстоит спуститься с моего чердака.

Спуститься в зеленый мир утра, когда оно просыпается без меня. Голос не все прошептал: жизнь впереди – это значит жизнь после того, как я завершил свое бытие. Я ушел - и вот возвращаюсь. Невыносимо трудно. Вот почему я замер на верхней ступени металлической лестницы. Чтобы спуститься вниз, нужно пройти половину, потом еще половину. Как же так? На самом деле – еще труднее: чтобы пройти половину, придется пройти до конца, потом вернуться к началу, а тогда уже будешь знать, что значит пройти половину и дальше делить этот путь, и так – до первого шага. Вот – понимаю сына и то, как он возвращался. Теперь попробую сам.

Пропадает пространство и время. Но для меня одного. А вокруг все живет как ни в чем не бывало. Вот передо мной внизу черноплодка свесила спелые гроздья. Как быстро они потемнели. Целая вечность, чтобы дойти до куста, потом тронуть ветку и потом сорвать хотя бы один ее черный плод – ягодку, полную вишнево-лилового сока. А надо мною березы – живые, озаренные солнцем на фоне бледного синего неба. Оно еще выше. Березы готовы ждать целую вечность. Им времени хватит, пока вечность пройдет. Они готовы помедлить, чтобы я успел. Милые, родные... Разве можно успеть. Вам хорошо. А для меня пропало пространство и время. Сделать первый шаг невозможно. Придется все вернуть, все, всю мою жизнь. Когда возвращаются – ее повторно проходят. Миша это сделал заранее – когда той ночью был один в Петербурге. Ему было проще. Но и в момент перехода, на пути возвращения он тоже оставался один. Конечно, он в состоянии мне помочь, но так делать не станет. Он знает, что я тоже, как он, мой первый шаг сумею сделать один. Только один. Потом будет видно. А теперь... Заново. Могу или не могу шагнуть? Без его знакомого голоса, без его шепота? Самое интересное – кажется, не могу. Дай оглянусь. Не надо бояться. Ты еще там. Оглянись и выйди оттуда.

Неузнаваемы дом, сарай и маленький домик. Раньше веранду его закрывали ствол и ветки самой большой елки. Теперь ее нет. Да, она засохла в позапрошлом году. Такая большая, и сразу она засохла зимой. Стала сиреневой, серой, красной, и ни единой зеленой веточки. Мы два года назад спилили и свалили ее. Теперь там огромный пенёк и над ним простор. Деревья при жизни ее посторонились и вот без нее не могут сомкнуться. Для них елка, живая, как всегда, незримо продолжает стоять. Не только деревья чувствуют, но я вижу ее прозрачные очертания. Сегодня они выступили особенно заметно и по-прежнему закрывают стекла веранды, крыльцо и черную дверь. Еще немного, и вроде бы все восстановится: расступившиеся кроны, стволы – изогнутая береза налево и две высокие елки поменьше – справа – ждут и помнят. Я тоже впервые утром вижу то, что помнят они. Гляжу неотрывно – прозрачные контуры тают, и новый, знакомый уже два года вид становится неузнаваем. Так будет всегда, если все возвращать для того, чтобы сделать один-единственный шаг по металлической лестнице, единственный шаг вниз, на землю с моего чердака.

Только так я могу очистить себя и вернуть мое пространство и время. Все, что было, я теперь увижу впервые, и совесть моя будет чиста. Если бы так я начинал каждый мой день, тогда не нужно было бы возвращать целую жизнь для первого шага. Но это какое-то наваждение... Быстро спускаюсь по лестнице вниз. И что же? Я ничего не достиг. Придется опять возвращаться. Мысленно – как угодно. Иначе я не сумею чисто, как в детстве, поглядеть маме в глаза. Жена стоит на крыльце веранды большого нашего домика. Она дождалась меня – после бессонной ночи. Она не заметила даже, что я не просто пришел, а вернулся. Ладно. Тайну открою потом. А сейчас надо успеть.

Нет, она заметила. И не во мне, а в себе. Это очень трудно. Теперь нужно уже не смотреть, а очень долго думать об одном и том же. Ночью мысли перескакивают от одного на другое. Сразу думаешь обо всем. Как остановить мысль? На чем ее останавливать? У жены получилось без особых стараний. Само собой. Ночью она несколько раз пыталась обдумать мой сон – тот, который утром ушел от меня и растаял. Она проснулась в ужасе, потому что почувствовала – надо мой сон обдумать и разгадать. Иначе я не смогу вернуться к нему и его повторить. Сон был ужасный. В нем я совершил поступок, после которого жить нельзя. Она проснулась, а я продолжал спать, но жизнь моя кончилась, и поэтому я спал крепко, без пробуждений, когда опять засыпаешь, и мог вообще не проснуться. Но утро настало, и вот я вернулся. Память осталась. Но рассказывать страшно и невозможно. Так же невозможно не знать о том, что случилось во сне. Говорят, во сне человек другой, он делает то, чего никогда бы не совершил наяву. Но если он помнил себя, когда спал, если был собою, то сделанное там переходит в явь. Там совершилось непоправимое, значит нельзя поправить и наяву.

Или, наоборот: надо радоваться тому, что все было только во сне. Живи и забудь свой страшный поступок.

Например, ты спал и тебе объяснили во сне, что нужно отравить своего любимого друга – собаку: ведь она, как тебе говорят, больна и может заразить других собак и даже людей. Сама она останется жить, но все зараженные умрут, кроме хозяина. И вот, объясняют тебе, есть порошок. Его нужно немного распылить и посыпать над спящей собакой. Она тихо уснет навсегда. И все останутся живы. Такое сделать может хозяин, и никто другой не решится. Это нужно сделать, нужно. Вот порошок. И человек почему-то берет его, зная, что не сделает никогда, а потом думает, думает, и вот во сне почему-то решается. Он входит в комнату. Собака спит, свернувшись в кресле, и он, помня, что спасает других собак и людей, разворачивает бумажку и сдувает с нее над спящей собакой тот порошок, выходит из комнаты, не знает, куда бросить бумажку, спрашивает об этом того, кто его научил, а тот, пораженный событием, в которое сам не верил, ничего не может ответить, растерянно разводит руками и смотрит с участием и состраданием в глаза хозяину, как будто хочет спросить: так ты все-таки это

сделал?.. Хозяин замер у двери комнаты, боится открыть эту дверь и понемногу начинает понимать весь ужас того, что он сделал. Он сам не верит себе. За дверью тихо. Как будто ничего не случилось. Наконец ясно – все теряет смысл, если он это сделал. Может быть, почудилось? Может быть, он придумал? Чувствуя, что приходит конец, хозяин приотворяет дверь и входит в комнату. Сначала он ничего не видит. Потом натывается на кресло, размыкает зажмуренные глаза. И вот видит: она лежит, свернувшись, осыпана чем-то белым. Но это уже не собака, а кошка. Она поднимает голову, медленно поднимает и как будто спросонья глядит, видит на себе пыль порошка, видит еще раз – ведь она уже видела - и вот готова лизнуть на себе порошок, лизнуть еще раз, потому что она уже слизнула, и вот не может проснуться и глядит такими глазами, каких не бывает у кошек и у собак. Хозяин сдувает с нее порошок. Но порошок белой пылью поднимается в воздух и вот-вот осядет опять. Голова держится прямо, но кошка уже не может встать. Она не хочет вставать, потому что не может. Но она глядит хозяину прямо в глаза, глядит засыпающим взглядом. Вот-вот голова ее упадет, но еще не упала. Хозяин берет ее на руки, безнадежно сдувает с нее белую пыль и выносит из белого облака за порог этой комнаты. Тут сон прерывается, но хозяин в полной памяти о том, что случилось. Жить ему больше нельзя после такого поступка. Он вскакивает с постели и спрашивает себя: неужели, если такое приснилось, я могу думать, что я этого поступка не совершал. Вот передо мной в кресле спит моя собака – живая, здоровая. Но то, что я видел во сне, от меня никуда не уйдет. Я уже другой человек. А тот просто умер. И теперь мне до себя никогда не дойти. Забыть? Такой, как я, не забудет. Что же остается? То, что этого не было наяву. Но во сне это было, я это сделал. Я, никто другой. Жена глядит мне в глаза. Тут я вспоминаю мои ночные видения. Другие. Не это. Не было этого сна!

Нет, все-таки было. Зачем? За что?

Собака встречает меня. Она легко прыгает, хочет, чтобы я взял ее на руки. Я беру. Как будто не нужно никакого первого шага. Жена дождалась. Теперь она успокоилась и могла бы уснуть, чтобы, для полного счастья, увидеть свой собственный сон обо мне и себе и о нашей собаке, но утро настало давно, а вопрос еще не решен – тот, который был задан во сне. Причастен ты или нет греху, невозможному для тебя? Ведь ради жизни совершенно грехопадение твое. Ты ли был тот, кто сделал такое, а если нет – неужели ты сделал бы это, вернувшись оттуда? Вот – все были бы живы, но только жизнь тогда уже не могла бы пойти на поправку. Притча – почище кафкианских и евангельских притч. Сам себе отвечаю шепотом вслух: нет, это был не я. Нет, я никогда бы не сделал такое. А то, что я себя создавал, - загадка ипостасности бытия. Другие это сделают непременно. Для них вопроса не будет. Он только во сне. А ты не причастен. Увы. Никто не согласится с моими ответами. Ни одно из божеств не решило, как отвечать. А вот мы живем – боги, люди, собаки. И не надо лгать. Я совершил. И еще совершу. Нет, невозможно...

Мы с женой молча кушаем пшеничную кашу. Норный песик, такса хрукает корм на той же нашей веранде. Вилли. Трехгодовалый. Поджарый. Густокофейный окрас. Лоснится шелковой шерсткой. Наш красавец. «Красивчик». Наше последнее счастье. Как и мне, ему отмеряно десять лет жизни. Быть может, мы вместе уйдем. Если успею. Он все чувствует и многого не желает знать. Он всегда вместе с Наташей и ее охраняет. Но дальние прогулки в лес и в поле – только со мной. Мы одиноки. Все наши близкие – далеко. Мы – втроем. Все хорошо. Пусть будут вдали от нас. Слава богу – они живы, с ними ничего не случилось. А вот со мною, пожалуй, произошло кое-что. Кушаем, подкладываем варенье и ни слова не говорим. Вилли прыгнул ко мне. Сидит на коленях у меня. Тянет голову, шею – прямо к моим губам и глазам. Как я могу ему объяснить? Что объяснять? Разве Наташа поможет. Или Миша прошепчет. Нет, никто не ответит. «А ты не спи и не смотри таких снов» – так однажды сказал мне – кто-то, не помню. Он-то уж точно таких снов не видал. Его уже нет в живых – он перешел в царство моих ипостасей. Сколько их в нем – в царстве Небытия? И все, что связано с ними, нужно мне повторить, чтобы сделать мой первый шаг. Нет, он не будет первым, пока я не решил проклятый вопрос. Пока мы не решили втроем. Другие – пусть подругому. Сам я уже другой в это зеленое светлое утро. Заколдованный круг. И кто его разорвет?

– Вилли тоже вернулся, – говорит мне жена.

Я с удивлением всматриваюсь, ничего не видя перед собой.

– Как вернулся? Неужели это разгадка?

– Он вернулся вслед за тобой. Сон прервался, и вот он вышел оттуда. Я почувствовала, когда он спал у меня на кровати. Он вздрогнул и поднял голову. Я позвала тебя. Ты не слышал? Нет, конечно – ты видел другие сны. Глупости я говорю. Ты ведь проснулся тогда, сел там, у себя. Руками оперся о кровать. И тебе стало плохо. Ты понял, что ничего поправить нельзя. Ты стал другим. Но ты не хотел другим становиться. Почему, за что это случилось? Вот что ты чувствовал. И это меня разбудило. А потом надо было вернуться. И тогда Вилли вздрогнул и поднял голову, и вот – положил ее поудобнее, заснул и во сне пошел за тобой. А я не спала. Не могла заснуть. И подумала, что никакая книга мне не ответит. Жуткая бессонная ночь.

– Подожди. Неужели это разгадка? Вилли вернулся оттуда? Но ведь нужно столько пройти, чтобы вернуться. Прости. Это я о себе. Притча осталась неразрешенной. И все же – заколдованный круг разорван. Если только ты верно все поняла.

Да, надо что-то сделать. И так всегда. В любое мгновение. Если согласишься или остановишь мысль на чем-то одном. Видимо, надо сделать не только мне. Где они – другие? Бытие? Но как его заново посмотреть. Как заметить, что оно изменилось?

– Это нетрудно. Я тебе говорю.

– Да, это нетрудно.

Вопрос простой. Продолжать ли мне жизнь того, кто рассыпал порошок

над собакой, того, кто во сне решился на это. Или продолжить бытие того, кто наяву ни за что бы не сделал такого. Кем, каким я вернулся вместе с живой собакой моей? Сейчас я должен решить, и это все в моих силах, вполне от меня зависит. Возможно любое. Никто не вмешается, никто не остановит меня. И то, и другое – вполне справедливо. Но все равно прежнего меня больше нет. А уж если впереди целая жизнь, приходится возвращаться оттуда. Так вот еще раз: каким оттуда мне возвращаться? Третьим? Ни тем, ни другим? Тогда не будет возврата. Будет просто новая жизнь. Как будто бы не было той. Но ведь в таком сознании и скрыто главное зло. Нужно понять: любое рождение – это возвращение оттуда. Бытия мало. Пойми. Нужно умножить его. Ипостасно. Пойми. Каждый другой – твоя ипостась. И тот, что во сне посыпал порошок. И тот, кто хотел его сдуть с засыпающей кошки. И тот, кто взял ее на руки и вынес из комнаты через порог и проснулся и в ужасе вдруг вскочил и сел на кровати. Пойми. Это была твоя ипостась. Ты не освободился от того, что сделал во сне, ты не освободился, а только проснулся. И все сознание твое – пробуждение от других твоих ипостасей. От всего, что живет и хочет жить. От всего Бытия. Вот видишь, как быстро и нетрудно ты все просмотрел.

Жена как будто слышала мою немую бессловную речь. А собака все тоже знала заранее. Как безумие кончить – хотя бы на том, что продумано. И все-таки я не могу. Любому ясно. Кончить это нельзя. Не получится. Отвлекись. Жизнь продолжается. Видишь? Но такая жизнь – без меня. А ведь я возвратился.

Да. Завидую всем. Завидую Прусту. Он всего лишь искал утраченное время свое. Господи! Как это просто. А у меня еще проще. Оно легче простого. Ясно? Потому Пруст и не занимался такими вещами. Возвращал необратимое время и отсекал неугодные сны. Завидую памяти в ее прозрачных границах. Завидую тем, кто возвращает, а сам не может и не хочет вернуться оттуда.

– Что дальше? – спрашивает жена.

Спрашивай. Спрашивай. Собака ответит. Вилли неотрывно глядит прямо в мои глаза, ловит мой взгляд. Я научился читать в этом взгляде. Вопросы. Ответы. Недоумения. Настороженность. Готовность защитить Наташу от кого угодно – и от меня. Теперь Наташа спросила: «Что дальше?» – ясно ответ может быть и такой, что нужно от него жену защитить. Он готов. Но заодно подсказывает мне другой, вполне понятный ответ. Надо пересматривать жизнь? – Что же, начнем. Путь через лесок в поле – совсем близкий. Проще простого. А там осмотрим каждую травинку, любую кочку и неровность поля, пока не выйдем на берег нашей реки, там, где большие елки и растет молодая сосна. Там, на крутом берегу, кто-то поставил, врыл в землю столик и скамейку углом, покрасил это все золотой олифой. Там кострище и много веток. Раньше были одни только пни. Ты сидел на самый большой из них и кидал мне сухие палочки, они остались, когда срубили другие елки. Там хорошо бегать за ними, приносить их, грызть и рычать, а потом лаять, чтобы ты снова мне бросил. Теперь ты будешь сидеть за столиком, а я бегать по

берегу. Сидя можно тоже просматривать жизнь. А на том берегу березовая роща окаймляет лужок. Ты ни разу там не был, но все глядишь и глядишь и забываешь бросать, так что лаять уже бесполезно. Я лягу над самым обрывом, положу голову и буду ждать, когда ты осмотришь все, что там есть. Но ты никогда не осмотришь. А я уже осмотрел. Или кидай палочку, или пойдем. Я тебе поведу. Если осмотрим с тобой, что надо, больше нечего будет смотреть. И тебе станет легко. И мы вернемся домой. К Наташе. И я стану ее охранять. А ты пойдешь к себе на чердак. И мы тебя подождем. Будет все как надо. Если только ты услышишь меня – после того, что случилось с тобой. Ты ошибся немного, и нет никого, кто мог бы тебя поправить и повести. Да, нет никого. Но если нужно, то сегодня уже начнем. Я ведь знаю, как: из ничего – нечто, а потом из нечто – необъятное все.

### 3.

Нужен особый взгляд – он вполне возможен, свойствен любому. Видеть, как ушедшее бытие возвращается – прямо у тебя на глазах. Не ты один, прежний, – всё, что было, может вернуться. И вот смотри: там, где нет его, – именно там ты можешь обнаружить его возвращение. Собака ведет прямо к неизвестной точке в утреннем поле. Как будто бы знает. По этой дорожке она никогда не ходила со мной. Прежняя тропа к моему красивому берегу Ящеры давно заросла. Никаких следов и примет. Почему Вилли свернул туда? Оглядывается. И, не дождавшись ответа, всеми четырьмя лапами тянет в ту сторону. В густую высокую траву. Мокрую от росы. Я сворачиваю. Согласен. Предвижу колочки и заросли там, где была когда-то мною проложена милая тропка. Да, путь через поле далекий. Можно успеть. Зеленое море травы. Чуть-чуть лиловатое. Нет никого. Поле заброшено. Здесь никому ничего не нужно. Там, влево, кто-то косит. Чьи-то кони пасутся. Белые пятнышки. А здесь – ничего. Вот неровность поля скрывает лошадей и людей. Одни мы вдвоем. Боюсь – кто-то появится там. Не вглядывайся. Так легко разглядеть. Появится, узнает, и уже не отпустит. Вилли встретится с ней. Вот я даже остановился. Не отвлекайся. Появится – значит, так надо. Вилли вновь тянет поводок, пропадает в траве. Я невольно по его незримым следам продолжаю мой путь. Она должна появиться. Через двадцать лет, после того как ее не стало. Такая любовь.

Вот я теперь понимаю, почему приснился мне этой ночью тот единственный сон. Как же иначе... Вспомни – здесь, в поле, собака еще могла бегать свободно. А потом... Вспомни, как она уже почувствовала свою смерть. Это было в городе... А тут... Вилли, ну куда ты рвешься? Там нет никого. Тебе не видно. Я вижу поверх травы. Гляжу и не хочу всматриваться... Никого. Зеленый лиловый простор... Что же? Вот так мы будем с тобой? Господи... Нет. Вдали кто-то есть. Она... Я вижу тем особым взглядом – она скачет навстречу. Вот над травой ее черные уши. Вилли, остановись. Тут дело серьезное. Вот – все ближе и ближе. Ты сам готов к этой встрече?



Вспоминаю: Биче исполнялось шесть месяцев. Мы с нею шли через это поле вдвоем. Тогда еще здесь пахали, засевали в разные годы горохом, овсом. Вот вижу, как сейчас. Поле только что вспаханно. Или нет, было не так. Перед тем как пахать, его засыпали чем-то. Черная собака идет рядом со мной, без поводка – по оставшимся с прошлого года сухим пожелтевшим стеблям, по оттаявшим комьям земли. И вдруг вижу – она из черной, глубоко чепрачной, стала седой. Смотрю – и сапоги у меня побелели. Боже мой. Да ведь это белый отравленный порошок, тот, которым осыпано поле. Тогда осыпали – против вредителей. Что это? Яд? Я не знаю. Я, неопытный. Я ничего не знаю. Но вот собака остановилась. Она сама заметила на себе что-то белое. Вот-вот слизнет его с груди – там, где оно незаметно, где у черной Биче белая горжетка. Вот уже готова слизнуть. Я бросаюсь к ней и беру ее на руки. Собака. Не щенок. Тяжеловато. Но я рад, что могу ее поднять и нести – повыше, над белыми стеблями и моими белыми сапогами. Я сдуваю порошок, но он подымается вокруг маленьким белым облачком. И, еле удерживая равновесие, по комьям земли я несу мою Биче, несу долго, через все поле, благо оно не такое большое, каким кажется мне сейчас. Но даже, если было бы оно бесконечным, я бы нес ее без конца. Забавно, если бы кто-то увидел со стороны. Быть может, порошок и не так ядовит. Но откуда мне знать? Я несу ее, несу и, только выкарабкавшись на большую дорогу, ставлю собаку на землю, еще раз отряхаю. Теперь уже облака нет. Вынес. Биче бежит рядом со мной. А когда потом, через восемь лет ее короткой собачьей жизни, у нее перед смертью почти отнялись ноги, я готов был ее, большую овчарку, так же выносить на руках на улицу в городе. Наверно, она помнила, как я ее прижимал к груди и спасал. Нет, Вилли, я не могу – остановимся. Раздвигаю траву. Он оборачивается. Вот его карие, нечеловечески красивые собачьи глаза. Они – как у Биче.

Я полагаю, ноги собачьи отнялись не от порошка, а от того, что я сделал выбор. У Миши – астма. И причина – собака. Надо отдать овчарку другим хозяевам в хорошие руки. Или сын задохнется. Тогда я долго не мог выбрать. Не потому что мало сына любил, а потому что знал – собаку придется отдать. Людям покажется дико, но я долго, долго не мог сделать мой выбор. А потом... А потом – два года Биче меня каждый день ждала у своих новых хозяев. Я иногда приходил. Чаще – нельзя, мы все за собаку боялись. Она уже на ноги встать не могла. Потом – смерть, о которой мне сообщили не сразу. Вилли, это не ты. Это она. Вот откуда мой сон. А кошка... Да, была у меня такая в детстве – она шла за мною в воду и плавала рядом, пока не выйду на берег. Как я мог оставить ее. Нет, я сам так захотел, и я ее оставил в деревне. И уехал в город – с ее пушистым котенком. А потом сказали... Она тоже долго не прожила. Вот что было. Уже не во сне, а в жизни моей. Нечего ссылаться на то, что сон – это сон. Вот почему Вилли повел меня в поле. Не знаю, видит ли он Биче так же, как я. Она бежит, бежит нам навстречу. Там, уже близко – черные уши, белая горжетка на чепрачной груди. Овчарка выпрыгивает из травы. И все ясней. И вдруг – пропала, не добежав.

Казалось бы, все объяснимо. Ребенок... Отец... О чем говорить? Кого упрекать? И в чем? Но сон видел уже не ребенок. Миша, сын мой, уже не доступен для астмы. Или нет? Она и сейчас опасна ему? Все равно, как можно взять и сделать выбор там, где нельзя выбирать? Без каждой из моих ипостасей – нет всего бытия. И никогда не будет всего.

Всматриваюсь – Биче не видно. Она ведь не бежала прочь от меня. Она подбегала ко мне. Вилли, как это понять?

Он больше не рвется вперед. Он присел на задние лапы, сидит и смотрит прямо перед собой. Трава почти в мой рост – выше его головы. Стебли, стебли. Кольшутся ветром. А ветер тоже поверх колосков и колючек репейника. Собака чувствует, но не видит. Здесь, в пустоте, Биче прервала свой бег. Встречи не может быть. Но Вилли остановился, как будто она добежала и тоже остановилась – прямо передо мной. Вот первый шаг, и его не могу сделать. И никто не поможет. Что же дальше? Вилли привел. Хозяин, куда идти? Обратно? Попробуй. Пробовать нечего. Ты хочешь вернуться? Вот граница, сквозь которую возвращаются. Шагни туда и обратно. Выведи Биче. Она до тебя добежала. Ты не можешь сделать первого шага. Трава шепчет: здесь невозможно. Только там встреча. Видишь, Вилли готов. Он оглянулся и снова замер, глядя перед собой.

Шагнуть и вывести оттуда. Ее... Вдвоем... Только это. А для меня?. Безумие? Стебли движутся и шумят. Шепчут. И неплохо бы распознать, кто в них живет и почему я не могу увидеть того, кто шепчет и шелестит. Хозяин стоит и ожидает чего-то. Вот, кажется, он понял. Ногой, а потом и рукой раздвигает передо мною траву. Там тоже трава. Он опять раздвигает. Не за мной, а передо мной. Вилли, вперед. Я тоже пойду за тобой. Тот, кто спешил навстречу, пойдет вместе с нами. С ним легко – не могу понять, почему. Дойдем до конца, а потом вернемся назад. Очень просто. Он встретил кого-то. Сам не знаю, кого. Нужно ему или мне? Вот, наконец, он засмеялся. Он понял меня... Он не ошибся. Да, здесь, в этом месте, ты все осмотрел. Мы проводим тебя. Пойдешь до конца, а потом скажешь о том, что ты увидел. Себе самому скажешь. Мы почувствуем сразу.

В поле, где бежала Биче, трава чуть примята. Собачьи следы. Человек таких не оставит. И вот мы втроем пробираемся. По этим следам, чтобы потом вернуться. Получится наша дорожка – туда и обратно. Только так можно исправить то, что я видел сегодня во сне, и то наяву, что породило мой сон.

Собаки почуяли друг друга. Вилли косится влево. Биче – вправо. Но они друг друга видят больше чутьем, чем глазами. Им довольно вполне. А я иногда вижу одного только Вилли. Чутье мне пока бессильно помочь. Пока. Но я удивляюсь такому соседству. Посмотрим, как будет, когда мы вернемся назад и вновь переступим черту. Вилли знает, какую. А вот Биче – загадка. Но мы идем по ее следам. Их она узнает. Недаром она слегка впереди. Впрочем, без поводка. Я отпускаю Вилли. Он прыгает в высокой траве. Вовремя

останавливается. Ждет нас обоих. Биче слева, как и положено – рядом со мной. Не тянет вперед. Не обгоняет. Вот сейчас кончатся лиловые колючки репейника и стебли, серые, многоцветные, стебли злака и начнется зеленый простор, непроходимая, почти синяя чаща сочной травы и верхушек – не будь следов, трудно пройти. Слева следы от большой собаки, стволы синей осоки примяты вправо и влево, а у корней все так же плотно – приходится прыгать, но так все равно устаешь, четырех ног не хватает. Вилли не видно. Трава как трава. Запоминай, где шевельнулось, а то стебли и верхушки смыкаются тотчас. Но след овчарки заметен и здесь. Вилли сбивается иногда, но тотчас выходит, видит сверху просветы, на них держит и повторяет путь овчарки, только наоборот – с конца к началу. Я поспеваю за Вилли, Биче не отстает. Куда и зачем пробираемся мы? До какого предела? Неужели туда, где она сегодня явилась вдали. Черные уши стоят. Она знает, что возвращается, но не торопит меня.

Вилли вошел в раж. Биче – привычно. А я, как всегда, в невольном смятении. Где же мое спокойствие? Не пора ли назад повернуть? А то будет поздно, и уже никто не поможет. Овчарка пока у себя – за чертой, которую мы перешли. Она оглядывается и как будто спрашивает: «Я прибежала к тебе, а ты идешь по моим следам туда, откуда я прибежала. Все правильно? А эта собачка, та, что вместо меня, сама не зная зачем, прыгает в траве, потому что ведь ты этого хочешь. Остановись, и она повернется и пойдет за тобой, сначала по моим следам, а затем уже и по нашей общей тропе. Нужно ли дальше идти, я не знаю». Нет. Овчарка все знает прекрасно. А я заприметил точку, ту, где вдалеке желтеет пятно созревшего злака. Там показались впервые черные уши. Дотуда нужно дойти. Будь что будет. А уж тогда повернем. Я не сказал ни слова, но Биче сразу меня поняла. И я успокоился. Пропало смятение. Стало хорошо и легко. Еще не все. Рано, слишком рано ты успокоился. Биче не отвечает.

И вдруг поводок ослабел, из травы появляется Вилли. Он решил повернуть, не допрыгав до желтого пятнышка. Оно еще далеко. Да он и не видит его. Не обращая внимания ни на меня, ни на Биче, Вилли рванул по готовому следу назад. Мы с Биче не успели посмотреть друг другу в глаза, только заметили, как мелькнул его хвост, и повернули покорно. Что-то случилось. Мы не успели. Я предчувствовал, что случится именно так. Да, уж понятно. Такса не ошибется, пора выходить. Но я вдруг теряю силы – настолько, что готов рухнуть прямо в траву, и она скрыла бы меня с головой. Что с тобой? Ведь ты не один. И ты это знаешь. Вспомни что-нибудь из того, что тебе всегда помогало. Вилли тянет, не обращая внимания. Почему он спешит? Биче, не отставай. Не оглядывайся на меня. Мы не дошли немного. Это не страшно. А вот что ожидает нас там, где ты исчезла и прекратила свой бег?

Я вспоминаю. Что я видел вчера? Как же я не заметил? Дрогнуло время. А пространство как будто бы не изменилось. Так что же? Оно дрогнуло, или вот-вот оно дрогнет и убыстрит свой ход? Вот уж теперь в самом деле надо успеть. Вилли почувствовал. Пока еще все в порядке. Но теперь надо пройти

половину пути, потом еще половину. Первый шаг уже сделан. Я спешу, путаюсь в траве, падаю, поднимаюсь. Рядом со мной – она. Все уже ясно и так. Тем более надо успеть. Она... Где она? Биче куда-то пропала. Оглядываюсь. Потом зову и кричу. Нигде не вижу ее. Куда ж мы выходим? Зачем? Безумие или спасение? Я замедляю движение, но чувствую – сил у меня на это уж нет.

Мы возвращаемся вдвоем. Биче осталась там. Но все подтверждает мое чувство, что она никуда не скрылась от нас. Она всегда на страже и всегда выбежит нам навстречу. К чему теперь сведена вся небьгтийная жизнь овчарки? Об этом никто не может сказать. Загадка! Тайна любого – древнего ли, нового божества. Как ни странно, разрешить подобную тайну легко, нужно испытать ожидание и не покидать этого чувства хотя бы десять оставшихся лет. Мне легко: я уж прожил такое десятилетие. Вилли почувствовал мое состояние и вот увел меня в поле, туда, где она, дождавшись меня, появилась вдали и на здоровых ногах, без боли, рванулась навстречу. Я ждал сына, а Биче стерегла там и ожидала меня. И вот стало ясно, что десять лет уже, сам не зная того, я ее звал, как и сына. Значит, я так и не сделал тот выбор. Небытие позаботилось. Чудо мое состоялось. Теперь овчарка будет ждать сколько угодно. Время убыстрилось от ее и моего ожидания. К тому же там легче. Вот она и не захотела перешагнуть или перепрыгнуть черту. Память о том, как ноги ее огнялись. Другие хозяева. А любовь та же самая. Только одна.

Вилли все это знает. Идет спокойно и не натягивает поводок. Ни разу не оглянулся. Он перебирает лапами и вроде бы спит на ходу. Так у собак бывает. Он все осмотрел на нашем пути. Спит, не закрывая глаза, и видит что-то свое. Стебли, стебли. Они несутся навстречу сами. Раздвигаются и смыкаются сзади. И так легко. Как будто летишь. Быстро. Быстро. Так никогда не бывало. Лаять нет сил – до того хорошо. Все ближе и ближе. То, что нужно увидеть, нагнать, увести от себя, он него и от той непонятной собаки. Она не умеет лаять и не может себя защитить. Вот. Еще немного. Только бы никто не позвал. Но где же стебли? Дорога. Глубокая колея. Одна и другая. Я все это видел. Но надо бежать и прыгать в траве. А собака – рядом. Вот она. Нет. Это снится. Я иду, как она. А ее все-таки нет. Что-то меня испугало во сне. Еще бы. Просвет в зеленой траве. А там только поле. И до конца еще далеко. Оно убежало. Искать надо не там. Оно везде. Надо скорей уходить оттуда, где его нет. И вот мы вышли. Где же большая собака? Что-то чужое окружает и скоро сожмется – так что мы не успеем выпрыгнуть. Быстрее. Быстрее! Что такое? Сплю или иду по дороге?

Не надо появляться и выбегать. Лучше ожидать и помнить: рано, рано еще. Так и всегда – до того, как почувствуешь голод и боль. И с тех пор все время что-то чувствуешь. Вот вроде бы хорошо – догнала, поела, он тебя приласкал. И опять – голод, погоня, ласка, любовь. Боль, так что бегать нельзя. Жду, жду, когда он придет. А потом – облегчение. Так бы остаться. Но

вот все пропадает, и уже не к чему радоваться. Легче, больше – не все ли равно. Спишь, и лапы не загребают во сне, и под тобою нет ничего, и потому зачем эти лапы. Только он остается. Он где-то. Можно его не искать. Но вместо меня – что-то другое, кто-то другой. Они стараются. Растут, бегают, ловят. Они любят, как я продолжаю любить. Вот беда. Вот новая боль. Где-то надо его дожидаться, подстеречь, появиться и добежать до него. Он догадается сразу. Он тоже любит. И тот, кто вместо меня, – это его любовь ко мне. Вместо моих больших ног – малые ножки. Такие ж быстрые. Но еще быстрее, чем были мои. А мои черные стоячие уши упали, стали коричневыми. Остались только глаза. Вот сегодня я впервые увидела, какие они, и сразу пропала. Не потому что мне так легко. Нет, они уже есть. Выбежала и вот узнала то, чего знать не надо.

Теперь подожду. Сколько – не знаю. Он меня отдал тогда. Я поняла и пошла за другим. Я люблю не только его. Миша рядом со мной. Кто знает об этом? Там не болит его горло и не отнимаются лапы мои. Там, еще в забытьи, мы сразу узнали друг друга. Там все спокойно. Там надо всегда просыпаться. Там не отдыхает никто. Некому отдыхать. Некому бегать во сне. Вот я иду рядом с тем, кто вместо меня. Он любит. Он ждал меня в поле. И вот я выбежала и стала такой, как была. Он отдал меня. Отдал. Отдал. И вот я выбежала навстречу ему.

Время дрогнуло, когда мы вернулись. Надо же было так успеть. Я почувствовал себя освобожденным от ночи и сна. А ведь ничего не решилось. Время подгоняет меня. Лучше не замечать. Никто ведь ничего не заметил. Общая жизнь устремилась куда-то. Я знаю, куда. Уже забыть не могу. Вилли понял, что случилось. Биче рядом со мной.

Они возвращаются. Неужели так быстро. А я думал, что у меня в запасе пять или десять лет. Нет, вот Биче вернулась. И не опоздала. Мать вернулась вчера и ушла, не заметив меня. Ласточка больше не стукнет клювом в стекло и не залетит на чердак. Она законопатила доверху свое гнездо. Не знаю, зачем. Видимо, все-таки испугалась того, что я по утрам говорю сам с собой. Шепот уже не прозвучит в моей тишине. Он чуть слышно раздался в последний раз, и я ответил ему. А вот и мелодия погружения. Могу пропеть ее шепотом и в голос. Оказывается, ее вполне выражают слова. Оно случилось. Произошло. А это значит – времени у меня совсем не осталось. Все успели. Только я ничего не решил.

Зеленое утро кончилось – быстрее, чем нужно. Замедлять время умеет мой сын, которого нет. Больше он помогать мне не станет. Пока не сделаю выбор. Приходит время быть честным – я больше не увижу его никогда. Он все успел и все довершил. Я свободен. Я, наконец, родился. А то, что он рядом где-то, – о том откровение уже состоялось. Всматривайся в лица. Ищи. Узнавай.

Итак, последнее утро. Начинается взрослая жизнь. Она может оборваться в любую минуту. Я всегда буду ждать, что вот, как божество из облака, выйдет он. Кажется, вижу облако. Или это воздух сгустился. Но он не выходит. Чувствую, как ему тяжело. Но он выдержит и не выйдет.

Сказать об этом Наташе? Но ведь она не поверит. Подумает: я не в себе. Такое невероятно. Чтобы ей объяснить, надо сделать выбор. Теперь, когда я свободен, сделать его самому. Пусть мне останется день или два. Но они должны быть мои.

Жена встречает нас, видит овчарку, узнает ее и относится к ней спокойно. Никаких возгласов и недоумений. Узнала, значит, все поняла с первого взгляда. Собаку нужно кормить отдельно от Вилли. Спать она будет на чердаке. Ясно: теперь я гуляю с двоими. Вилли не ревнуетнисколько. Он живет прежней жизнью своей. Только движения стали быстрее. Он смотрит сквозь контур и тень большой собаки. Для него ее нет. Наташа видит и ту и другую.

– Так вот кого ты привел.

Я жду, что она спросит опять: «Что же дальше?» Но зачем спрашивать? Биче легла рядом с диваном и положила мне голову на колени. Я нагибаюсь и узнаю белую грудку и бельевые носочки на лапах. Глубоко-чепрачная Биче, а рядом на диване – шоколадный Вилли – как ни в чем не бывало.

– Да, она выбежала нам навстречу. Смотри внимательнее. А то исчезнет, как Миша. Но теперь очевидно – она рядом с нами, как он. Спасибо Вилли. Это он мне помог. Он повел меня в поле. В самую гущу травы.

Наташа разглядывает собаку. Ее красивая черная голова и уши возвышаются над столом. Горжетки и носочков не видно. Я протягиваю руку и боюсь прикоснуться.

– Вот Миша ушел и подарил тебе целый мир.

– Но только поздно, – вырвалось у меня. Почему-то шепотом. Вижу, Наташа не услышала этот шепот. Но она знает и так. Поздно? Вилли вздрогнул и поднял голову. Нет, не залаял. Надо прислушаться. Надо посмотреться.

Я не думал и не думаю, что такое возможно. Фантазия? Нет, все вижу отчетливо. А если проснусь? Нет, не просыпаюсь. И сам я не верю себе. Опять и опять. Приходится верить. Прощание – такое, какого еще не бывало. Тут ничего не сделаешь. Не поправишь. Сказать об этом Наташе?

Но она знает. Она тоже видит мой сон и делает выбор.

Биче вернулась. Впереди – целый день и целая ночь.

#### 4.

Вот теперь и в самом деле надо успеть. То, что сын послал вместо себя Биче, Наташа поняла раньше меня. Целый день и целая ночь – это очень мало. Я должен сделать, что положено мне. Жена ищет и находит карабин для овчарки. Оказывается, он ждал за буфетом – завалился туда и ждал двадцать пять лет. А я тогда искал его и не мог найти. Вдруг он сразу нашелся. Короткий поводок и ошейник я почему-то хранил на память. А вот карабин... Без него невозможно. Чудо какое-то. Впрочем, таких чудес много. И это вполне обычное, в порядке вещей.

Уже один раз карабин с поводком был потерян и найден. И произошло такое здесь тридцать лет тому назад. Тридцать лет. Мы в тот день уезжали, но перед отъездом я отправился с Биче прогуляться в лес. Я и Биче. На прощанье. Уезжать не хотелось. Я отпустил собаку и держал поводок и карабин с шейником в руках. Мы вдвоем пробирались вдоль Ящеры по заливным береговым лужкам, о которых теперь боюсь даже подумать – так они заросли и уже никому не нужны. Сколько таких лужков мы открыли вдвоем с собакой. Один красивей другого. А как удивительно там видна река, валуны в воде и корни по обрывистым коричневым берегам. О чем я мог думать, сидя на бревнышке, единственном в нетронutom лесу, а черная Биче исчезала в зарослях над самым обрывом, появлялась внезапно совсем с другой стороны, потом легла прямо у моих ног в береговой траве. Без шейника. Легла, положила поверх лап голову и смотрела тоже на валуны, корни и прозрачную торфяную воду реки. Настала та особая тишина, когда слышно беззвучное, медленное течение – как оно подвигает сучок или гонит голубой камень. Биче слышала – слышал и я.

Помнится, я ничего не предчувствовал, но один из корней на том берегу, свисая над валуном, напоминал распятие, наклонно вонзенное в камень, мимо которого, охватывая его с двух сторон, медленно течет речная вода. И я подумал: вот, почти два тысячелетия, люди верят, что можно спастись, приняв мир, основанный на страданиях и смерти одного человека, пусть он, хотя бы и временно, вочеловеченный божий сын. Разве можно спастись в таком мире? Как же люди приняли этот невероятный способ спасения? Вопрос очевидный, столь ясно выраженный, что, казалось бы, в той тишине его нетрудно услышать. Собака спокойна, как будто бы знала ответ. Нет, никто из нас обоих ничего не знал, но совмещение корня и валуна напоминало о том, что двухтысячелетняя вера не только не изменяла и не спасала все, что вокруг, предлагая лучшее, иное, то, что от бога, а, напротив, подтверждала уже известный мировой порядок, тот, когда «целый мир существований», а не одна лишь слезинка невинного ребенка или беззащитного старика, приносится в жертву торжествующей жизни. Я немного подвинулся, пересел на бревнышке, и тут же камень и крест отошли друг от друга, и глупый вопрос как будто бы распался и растаял в воздухе над рекой.

Биче подняла голову и огляделась. Я еще раз поразился красотой ее головы и шеи. Надо решиться. Пора самому себе сказать: я не двинусь от этого места и никуда не уеду. Именно здесь что-то мне приоткрылось. Вот солнце сквозь ветки ослепило меня. Пора сказать, что есть другая, лучшая вера. Сколько дней нужно еще принести в жертву, чтобы новую, лучшую веру объявить именно здесь, громко провозгласить на месте моего откровения. Вот я готов очнуться и встать, а собака лежит и удерживает меня. Солнце невыносимо, но я остаюсь и закрываю глаза. Чувствую, знаю: вера моя возникает. Еще не созрела. опередить ее пока нельзя. Уж если она приходит, пусть и в самом деле будет спасением от того, что предстоит. А что предстоит? Что? Кто ответит? Пора подыматься с бревнышка. Впереди еще целый круг по лесу. А надо успеть на поезд.

Я встаю. Собака лежит. Она долго смотрит мне в глаза и не отпускает.

Наконец, мы идем. Сейчас могу точно вспомнить, о чем я думал тогда. Молодые мысли. Нигде не записаны. Потому и вспомнить легко. Не отпали.

Я тогда всматривался в себя, видел свое лицо и, даже отодвигая ветки, продолжал ощущать на себе свой взгляд, неподвижный и ждущий ответа. Биче пропадала и возвращалась. Она угадывала путь, по которому надо идти, хотя мы петляли без дороги, не отступая от Ящеры, по самому берегу. Вот лужок. Вот новый лужок. Вот густая чаща. Березки, молодые осинки тесно преграждают нам путь, но Биче опережает меня там, где мне самому хотелось пройти. Убегает и возвращается, и я продолжаю думать о новой религии, о той, которая вот-вот возникает. И вдруг я догадываюсь, что готовится нечто страшное для меня, и только после того, как оно случится, религия придет и осознает себя. И тут я замечаю – Биче куда-то пропала, а я раздвигаю тонкие стволы берез и осин где-то уже в стороне от Ящеры, там, где я не хотел продираться. Биче нагоняет – она уже сделала круг назад и возвратилась ко мне. А под ногами в траве чередуются поперечные углубления и подъемы, как будто кто-то здесь выровнял длинные грядки, и вот они заросли травой и деревьями, но остались, и теперь мы, спустя много-много лет, впервые идем по ним, когда-то высоким и одинаковым, и, значит, берег недалеко.

Я продолжаю обдумывать версии новой религии, но мне страшно от моей догадки, что вере предшествует событие, какого еще не бывало. «Неужели мало войн, революций, горя...» Но тут же я успокаиваю себя. Ведь боль и страдание предназначены мне. Одному. А все ужасы опыта человеческого – голод, кровь, насилия, жертвы, это все произошло с другими, надеюсь, не повторится, а я сейчас иду, перешагиваю палые ветки и размышляю об этом. Нет, созерцатель, гром грянет, и тогда, из боли и муки, родится твоя новая религия. И будет она только твоя. И никто не станет верить, как ты.

Да, аккуратные грядки, совсем заросли. Наверно, здесь кто-то жил, в тогдашнем густом лесу, недалеко от реки. Здесь был хутор. Вообще, по берегу во многих красивых местах стояли тогда хутора. А может быть, это было во время войны, ведь Ящера наша – река партизанская, немцы по железной дороге дошли до Низовской и стояли в поселке. Вот мы идем по заросшим грядкам вдвоем, и нас еще ждет кое-что страшное, то, что пока не случилось.

Мы не первые, спустя столько лет. Здесь кто-то ходил. Вон просвечивает новый лужок. Он ровно выкошен, и даже стог желтеет, а вот и берег реки. Оглядываемся, а за нами – сплошная стена деревьев, а перед ней кусты, кусты, и уже не видно, откуда мы вышли. Биче пробежалась по лугу свободно, ей надоело прыгать сквозь чащу, и я не заметил, занятый своими молодыми глупыми мыслями, так и не заметал на память, где именно мы выходили на луг. Я невольно чувствовал радость от того, что со мной, слава богу, все хорошо. И собака, свесив язык, могла бы то же сказать. Не о себе – обо мне. Я позвал Биче, обнял ее. В глазах ее мелькнула тревога. Что-то у меня за спиной. Кто из нас двоих прежде почувствовал горе? Оно будет нашим – не только моим и собачьим. Религия неизбежна.



Я посмотрел на часы. Мы опаздывали. Нас ждут в поселке – жена, Алеша, маленький Миша. Через полтора часа электричка. Надо выбираться на проторенную лесную дорогу. Да вот она, рядом. Хутор стоял где-то здесь. Трава на заливном лугу хороша. А лесные грядки уже никому не нужны. Пусть остаются у нас за спиной. Молодые мысли меня не отпускают. Сажу на травяной горке. И собака прижалась ко мне, положила голову мне на плечо. Тут бы остаться. Нельзя. Мы встаем и уходим от берега по колеям торной дороги. Дальше все ясно. Но что-то важное осталось в лесу. Где – неизвестно. Подымаю руки – нет поводка, нет ошейника с карабином. Без них Биче – нельзя в электричке. Ну, конечно. Собака сразу поймала мой взгляд. «Биче, ищи...». Дождалась. Рванула назад. Вот он, лужок со стогом. Вот здесь мы вышли. Биче медленно ведет меня в чащу. Грядки. Лужки. Заросли. Вот бревнышко, валун и распятие. Сажусь – как тогда. Совместились корень и камень. У ног моих в траве – карабин.

Мы успели. Уехали. Прошло тридцать лет. А теперь торопиться некуда. Время за нас решило поторопиться. Ведро кукурузной каши. Вот еда для овчарки. Она подходит к ведру, нюхает и вопросительно глядит на хозяина. Вилли рядом с ней. У него свой ошейник и свой карабин, маленький, черненький, пластмассовый, и с ним соединена красная ленточка, намотанная на вертушку в красной оправе. Держу ее в правой руке вместе с коротким кожаным поводком – а на нем тот утерянный и найденный карабин. Все как-то не вполне реально. Проверяю. Нет, я не сплю. Забытое и необходимое найдено вовремя.

Биче, догадавшись, что я поднимаюсь на чердак, привычно впереди меня карабкается по металлической лестнице, а Вилли останавливается и готов залаять. Я беру его на руки. Сам не знаю, как работать с двумя собаками. Но их нельзя разлучать. Вили молчалив. Биче безмолвна.

Лаять не нужно. Она хочет, чтобы здесь, на чердаке, повторилось то, что происходило тогда, в городе, в нашей старой квартире, в большой комнате? Вижу, как сейчас. Мы тогда вывезли из квартиры все наши вещи, потому что переехали в дом напротив, на ту сторону Большого проспекта. Совсем рядом. Но взять собаку туда мы не могли. Ведь Миша задыхался от астмы. И вот собака жила в тех двух комнатах. Пока можно было там жить. Она еще могла ходить и бегать. И вот жила одна в пустой квартире. Там осталось только наше красное кресло, а перед ним раскладушка – для меня. Я в ней спал по ночам, чтобы моя Биче не была одна. Коврик и одеяло – ее собачье место, посреди комнаты. Почему-то не помню цвета обоев. Кажется, тоже красные... Целый день собака ждала. Она бросалась на белую дверь, лаяла и звала меня. А я вынужден был днем уходить на работу. Зато мы вместе всю ночь. Утром я вставал, мы гуляли вдвоем, потом я кормил ее и уходил до вечера. Возвращался. Опять кормил ее из белой эмалированной миски. Опять уходил. И так до позднего вечера. Потом мы снова гуляли. Она кушала. А я садился в красное кресло и смотрел на то, как она ест. Потом мы с ней ложились – она

посреди комнаты на коврик и одеяло, а я – на свою раскладушку. И так мы жили несколько дней. Биче лаяла и кидалась на дверь, пока ожидала меня. Где бы я ни был у себя на работе, я слышал голос ее. Так же, как в тишине слышу его и сейчас.

На третий день вечером прихожу – обнаруживаю: у Биче на правой лапе нет одного когтя... Что случилось? Наверно, она, бросаясь на дверь, защемила свой коготь... И, оставив его в щели, вырвала назад лапу свою. Бросаюсь к двери. Ищу. Нет ничего. Помнится, я завыл тогда не своим голосом. Биче молчала и только от радости была хвостом. Я повалился на кресло и долго лежал в нем, не отнимая ладоней от глаз. Я действительно и уже навсегда ничего не хотел видеть. Еще немного, и я вдавил бы мои ладони прямо в глаза. Вдруг чувствую – что-то сильно и мягко рухнуло мне на плечи, легло на грудь – вот тепло, милый собачий запах, дыханье. Став на задние лапы, Биче обнимала меня, и тяжелая голова ее лежала у меня на правом плече, и я ничего не видел, только целыми и здоровыми руками и пальцами своими обнимал ее сильное тело, а оно дрожало и прижималось ко мне. Так мы долго обнимали друг друга. И она не хотела от меня отрываться. И я сжимал ее. И чем дальше, тем больше дрожала она. И наконец я открыл глаза и увидел ее шею и спину. Я гладил ее и не отпускал. И опять, оскалив рот, изо всех сил зажмурил веки. Чтобы ничего не видеть, а только чувствовать и слышать ее.

Дальше началось что-то ужасное. Биче оторвалась от меня, отошла назад, легла на подстилку и глядела мне прямо в лицо. Голову положила на передние лапы. Ее большие прекрасные черные уши стояли, как будто слышали то, что будет сейчас. А я сидел и ждал и точно знал, что она слышит. И чем больше мы так смотрели друг другу в глаза, тем страшнее приближался новый порыв. Но теперь я мог увидеть его. Биче снова бросалась ко мне. И так же схватывала и обнимала меня передними лапами. И я судорожно сжимал ее и не отпускал. А потом я понял, что, если не встану с кресла, мы вообще не отпустим друг друга.

Тогда я обеими ладонями отвел от себя ее голову и впервые увидел собачьи слезы. Они уже много раз жгли мою шею. И вот я увидел, как они сбегают из глаз. Шерсть намокла, и я целовал эту мокрую черную шерсть.

Я грешник. Но грехи мои не похожи на то, что обычно считают грехом. Это грех перед Небытием, а не перед Богом. Как понять? Как объяснить? Кто-то скажет, что Биче первая научила меня любить. Нет, я просто впервые понял тогда, что такое моя любовь. Да, я любил, но не понимал. А тут понял впервые. И теперь уже до конца. Но зачем повторять? Неужели нужно вернуться? Я не хотел, я не возвращался, и вот оно вернулось ко мне. Грех в том, что я не хотел. Ты ведь остался там, где был тогда, остался таким, каким был в те минуты, но ты остался там все равно. Так зачем ты все тридцать лет от себя уходил? Вот Биче не выдержала, догнала тебя и взобралась к тебе на чердак.

Поздно? И ты сейчас ей скажешь об этом? Вилли у тебя на руках. Ты еще не спустил его на пол. Ты не можешь отвести глаз от взгляда черной овчарки. Белая грудка ее и носочки лап как будто светят в полутьме чердака. А Вилли тоже, не отрываясь, глядит на тебя. Поглядел, поглядел, успокоился и положил голову тебе на плечо. Он уверен в том, что все происходит, как надо. Мы вместе. Чего же еще? А Биче села передо мной и тоже глядит неотрывно. Как будто ждет и еще не чувствует, что новый порыв наготове. Прощанье и встреча – похожи? Нет, что-то другое. Встреча – более сильное, чем расставанье. Надо броситься. Прямо на грудь. Садись в это кресло. Оно другого цвета, чем то. Вилли у тебя на руках. Это неважно. Садись. Почему ты стоишь?

Видишь, я села перед тобой. Где мое место? А вот здесь – у шкафчика. Отодвинь этот стул. Вот так. Ты хорошо отодвинул. Там уютное место. Перед спинкой желтой кровати. Постели мне старую куртку свою. Она висит на спинке стула, который ты отодвинул. Узнаю эту куртку. Ведь я здесь жила. Это мое. Думала тогда о твоём чердаке. Но была здесь только один раз. И куртка висела на стуле. Я запомнила. Она тебе не нужна. Постели ее здесь. А Вилли пусть будет пока у тебя на руках. Потом ты спустишь его на пол. И тогда я брошусь к тебе. И встреча будет как расставанье. Но еще сильнее и горше. Потому что это было когда-то. И теперь возвращается то, что было тогда.

Господи, Вилли, почему ты спокоен? Иди, погуляй рядом со мной, пока я хожу взад и вперед. От окна до двери. От кровати – опять до окна. Машинка открыта. Вставлен в нее новый лист. Солнце падает прямо на раскрытую рукопись. Перепечатай хотя бы страницу. Сел. Вилли у тебя на коленях. Окно распахнуто. Не оглядывайся в глубь чердака. Не вставай. Не садись в это кресло. Грешник. Почему ты снова вскочил. Ходишь взад и вперед. Обе собаки спокойно следят за тобой. Ходи, сколько хочешь. От себя не уйдешь. Вот – что-то схватило тебя. Остановись. А то упадешь. Прямо тут. Между столом и кроватью. Не дойдя до кресла. Понял? Тебе нужно дойти.

Вилли не охраняет меня от Биче. Но ее присутствие знает и чувствует, видит и слышит. Это одна из его загадок. Не надо ее разгадывать. Не все будет явно из того, что скрыто. Вилли охраняет мою тайну тайн. Охраняет ее от меня. И от Наташи? Но ей и так все известно. Тайна в том, что Вилли, такой непохожий на Биче, признает, что она была до него. Она и теперь такая, но по-другому: до него, но рядом с ним. Все в ней другое. Но запах ее Вилли не отличает от своего. Первый раз. Каждая вещь и любая собака имеют свой запах. Даже во сне. А тут... Что-то чудное. Что-то не для собаки.

Но так приятно, как будто кто-то гладит по голове и спине. Веки дрожат и смыкаются. Тепло хозяина. Солнце падает из окна. Заметно, как солнечный сноп движется по ушам и шее. Двигается чуть быстрее, чем прежде. Хозяин занят. А черная собака тоже заснула.

Да, надо взглянуть, все ли когти есть на передней лапе. А чтобы разглядеть, отодвинь стул и встань из-за стола. Вилли мешает. Он спит у тебя

на коленях – подвернул голову набок. Сейчас поднимет желтые короткие лапки, опрокинется на спину. Хозяин, вставать не надо. Сиди и пиши. Все в порядке. Все хорошо. Я проверяю коготочки у Вилли. Вдруг обнаруживаю, что нет одного коготка. Протираю глаза. Нет... Показалось. Вилли приоткрывает прижмуренные глаза. А солнце и тишина убаюкивают его на моих коленях. Нет никаких порывов. Биче спит и чувствую, она упирает мне в спину взгляд своих зажмуренных глаз. Видимо, так. Знаю, хотя и не вижу. Боюсь повернуться на стуле. Довольно. Если не смогу, не запишу единственное, что мне осталось и чего нет в этих бумагах, если помедлю, все нарушится. Обе собаки встрепенутся, поставят уши, вздернут головы, и явь пойдет по-другому.

Грех мой первый и грех последний. Преодолею? Нет, я не согласен с тем, что жизнь – это грех. Но вот – я сделал выбор тогда. И все ко мне возвратилось. Пишу и спрашиваю себя: неужели ничто никуда не уходит? Нет никакого Аида – царства теней. Как легко удалялись от жизни тогда, «плачась на участь свою, покидая и юность и крепость». Это было очень давно. Почему возвращается то, что рассказано в песнях Гомера? Весь Аид возродился, и его не стало в Небытии. Вот что происходит сегодня. Вот почему дрогнуло и двинулось время. Это начало. Хорошо, что мы смогли заметить его. Мы увидим скоро еще не такие события.

Надо выдержать. Ни одного неверного жеста. Каждый вздох – осторожен как единственно точное слово. Ни один звук поправить нельзя. Время сжимается. Глаза, уши, чутье беспощадны. А сейчас ты все делаешь верно. И не торопись. Тебе дано счастье точного слова. Но только попробуй сбиться и уйти от себя. Мы тебя не отпустим. Тут мы, рядом с тобой. Уши, нос и глаза. Лапы готовы. Они вздрагивают и перебирают во сне. А такой сон больше, чем явь.

Ты это понял? Пиши! Любую глупость. Только точно. Мы узнаем ее и поправим. Тихо. Осторожно. Смотри. Мы вдвоем – твой мучительный выбор. Ты чуть не упал между нами. А мы спокойны рядом с тобой. Пробуй – как мы. И не говори, что нельзя. Не пиши такое. Будет больно, если напишешь. Тихо. Мы спим.

Временное спасение. Освобождение от грехов. Прообраз того, что готовится. Не отпадает. Записывай. Но почему не продиктовано? Миша молчит и не скажет ни слова. Жду. Вслушиваюсь и всматриваюсь еще и еще раз. Никогда не было такой тишины. Воздух прозрачен и пронизаем. Сноп солнца из окна. Тень моя на коричневых половицах. Все прозрачно и пусто. Хоть бы одна пылинка в косых лучах. Так не бывает. Воздух ли это? Полное отсутствие тайн. В этой прозрачной пустоте моего чердака нет ничего. И нет никого. Только две собаки. Одна лежит на моих коленях. Другая – на полу. Вилли на солнце. Биче в тени.

Я снимаю с себя рубаху. Я загораю. Пора успокоиться и привыкнуть. И уж потом что-то прошептать или пропеть. Понемногу становится жарко. Ни

одного неточного слова. Ни одного, потому что нет никаких слов. Но так не может продолжаться и длиться. Вот наступает момент, когда молчание смерти подобно. Я трогаю камни – те, что на столе рядом с машинкой. Они еще теплы от солнца, а теперь уже остывают. Передо мной стол мой в тени. Скоро солнце уйдет от меня. Вилли проснется. Надо успеть. Успевай быстрее, чем обычно. Он где-то возле. Но я не узнаю, где. Никогда не узнаю. Как можно понять и привыкнуть? Я протягиваю руки. Ловлю пустоту.

В этом надо еще разобраться. Возвращается обычное мое состояние. То, которое было в другой жизни – до того, как это случилось. До того, как Миша ушел и еще не вернулся. Оно возвращается. Нет, оно не может вернуться. Не могу. Все, что угодно. Только не это. Вот почему пустота. Вот почему так прозрачно в тени. Вижу стол, камни, машинку, вправленный в нее белый, нетронутый лист. Он такой белый, что на него даже не упала тень от моей руки, от моих обеих рук, и я зря над ним ловлю пустоту. Хотя бы одно слово. Хотя бы неслышный, прерывистый, прерванный звук дыханья. Аллергия и астма. Тот знакомый свист из гортани. Ведь Биче рядом совсем. Даже я чувствую, что в моем горле что-то начинает свистеть, а потом клокотать.

Нет. Пустота. Абсолютная, прозрачная тишина. Выбор сделан. Биче встает и подходит ко мне. Вилли спит как ни в чем не бывало. Солнце ушло от него, а он продолжает спать у меня на коленях. Я почему-то боюсь его разбудить. Мне кажется – если вдруг он проснется, будет плохо мне, ему и вдвое плохо тому, кого я никогда не увижу.

Биче свободна. Черный лоб морщится. Карие глаза всматриваются, вдумываются, решают. Вот-вот она рывком станет на задние лапы, упрется передними прямо в плечо мне. Я повернусь к ней. Нет. Ничего такого. Биче спокойно отходит в сторону. Как непривычно слышать ее шаги. Все когти касаются пола. Особые звуки. У Вилли другие.

Собака осматривает чердак. Неужели только такое счастье возможно? Молчание. Да, конечно, конечно. Молчание – в нем я слышу, то, что нужно поймать, кроме прерывистого дыхания моего. Слышу отсутствие. Слышу, как Вилли спит и как Биче осматривает чердак.

## 5.

Итак, новая религия – бродит повсюду. Здесь и там. Вот они – тяжелые неторопливые шаги четырех лап в белых носочках, приятные звуки всех когтей, задевающих пол. Даже половицы слегка прогибаются. Хвост опущен саблеобразно. Громадные черные уши – на страже. Язык свешен. Жарко в тени. Когда она выходит на солнце, черная шерсть блестит и силуэтом движется по полу почти прозрачная тень от собаки. Религия. Удивительно достоверно. Сама подтверждает себя. Звуком и цветом. Вера и откровение – разные вещи. Откровение делает веру ненужной. Надо смотреть и слушать. А главное – исповедоваться перед тем, что очевидно. Бродит по чердаку. Не знаю, когда еще было такое. То, из чего рождается вера, произошло.

Десятилетие за плечами. Проверь и порадуйся. Вместо апокалипсиса конца – откровение бытия, которого много. Вообще-то его мало. Но по нашей вине. А если вина исправлена – все поправимо.

Спрашивать Биче о том, виноват я перед ней или нет, было бы странно. Уж если она здесь и все когти на месте – а я это слышу и вижу – вернулось преодоленное. То, что было во сне, поправила явь. И так будет со всем, что я вспомню и встречу, вживаясь в годы, которые добавлены мне. Конечно, время само помогает. Недаром оно быстрее пошло, оно торопится, чтобы можно было успеть. Мне это нужно. Заметил и буду его обгонять. А другим все равно пока незаметно. Предупреждать их не надо... Убыстрение времени касается только меня одного. А происходит со всеми. Как хорошо. Весело даже. Нет, не весело – радостно. В любой религии страшные знания преодолимы радостью изначального откровения. Ладно... Философ... Твои софизмы. А дело очень простое. Закономерно. То, что прервано было на берегу Ящеры – а я тогда выпустил из рук ошейник и поводок с карабином, потеряли, потом снова нашли, – теперь оно само явилось ко мне. Вера, молитва – упразднены.

Так ли? Нет, они тоже вернулись. Но без экстазов и выдумок. Даже там, где нет ничего, я вижу храм. Даже в полном безмолвии слышу молитву из глубины. Могу записать слова этой молитвы. Записываю и чувствую, как душе уже не нужен подвиг преодоления, потому что неверие не грозит. А ведь о чем молитва молит прежде всего? Она молит о вере. А уж потом говорит с божеством.

Как все изменяется на глазах! Та же чердачная комната. Черная лампа. Кресло, до которого я не дошел. Пол, где я мог упасть между креслом и спинкой кровати. Лиловая куртка у стены посередине, за шкафчиком, там еще недавно лежала собака. А у противоположной стены прямо тут на полу ваза кирпичного цвета, вокруг нее декоративные пестрые камни. Белые, серые, подобные валунам на Ящере. Только нет корня, а вместо него – отодвинутый стул.

Биче этот мой берег исследует заново. И вот все обновилось. Религия не требует веры. Вилли проснулся. Он прыгнул с моих колен. Потянулся, ожидая прогулки. Биче к нему подошла и легла перед ним.

Такое невероятно. Оказывается, не хватало только этого. И неважно, где произошло – на берегу Ящеры или здесь на моем чердаке. То, что вернулось в душе как явь, – уже перестало быть памятью, соединенной с тем, что происходит сейчас, и с тем, что предстоит. Нет, это не память. И не самообман. Воображение. Творчество. Все, что угодно. Любые слова и образы, любые мысли, молитвы – любое, к чему я привык, по сравнению с этим – детская игра, а происходит совсем не то. Мне кажется, я о таком томился и мечтал в моем детстве. Тогда я болезненно и тревожно отпуская от себя каждую минуту – было жалко, что я отпущу ее навсегда. Как же так? Все, что я люблю сейчас, куда-то уйдет. Хочется плакать. Но я сжимал губы и сдерживал слезы. Потому что видел – сам я во всем виноват. Ни папа, ни мама помочь не могли. Зачем им знать о таких минутах? Я надеялся, что

когда-нибудь кто-то прервет, успокоит боль расставанья. Многое уходило совсем, а то, что оставалось, было уже совсем другим – не тем, что я любил минуту назад. Внешнее сходство уже не могло обмануть. Люди, книги, эрмитажные залы, ступени каменной лестницы в нашем старом доме, там, где мы жили до войны и в блокаду и куда потом вернулись, удивительный запах той каменной лестницы и тайны самых темных и страшных ее углов, мимо которых я проходил, держась за перила и зажмутив глаза, – все это, страшное и радостное кто-то у меня отнимает – напрасно я замираю на месте и пытаюсь не двигаться и не дышать. Кто у меня отнимал все это? Кто? Когда оно возвратится?

И вот я страдал тогда и был один на один с этим страхом. И даже не думал просить о помощи никого. Даже Бога, в которого верил вопреки всему, что вокруг меня было тогда современно. А потом вера моя изменилась. И я знал, что просить о помощи бесполезно. Все божества и религии для меня – как мать и отец. Родили меня и не понимают самого главного, ради чего я родился. Да и как понять? Думая, думая непрерывно, я всегда брел к одному и тому же горькому тупику. Но я не отдавал то, что от меня уходило. Я не просто помнил, я держал в руках то, что уходит. Не могу объяснить. И зачем объяснять? Ведь все теперь изменилось. Теперь все уже не уходит, а может вернуться ко мне. И я, как Вилли, встречаю это спокойно – как будто потягиваясь перед прогулкой. Неужели поздно?

Вздрагиваю. Хватаюсь за край стола. Ощупываю себя. Надеваю рубашку. Вот удивительно. Только что лист, вставленный в машинку, был пуст. А теперь смотрю: он уже весь покрыт абзацами текста. Смутно вспоминаю, что я ведь что-то писал, пробивал непослушные буквы на этом листе. А сейчас даже не помню, что это было. Нет, не надо. Мое от меня теперь уже никуда не уйдет. Потом прочитаю. Но, однако, именно там, кажется, написано, что ушедшее вернется ко мне слишком поздно. И что же? Вот – вернулось оно. А я не чувствую, что оно запоздало. Выдергиваю лист из машинки. Читаю. Перечитываю. Да. Тут или ошибка, или я в себе не заметил утренних изменений. А то ведь надо было упасть между кроватью и креслом или дойти до кресла. А я не сделал ни того, ни другого.

Шоколадный Вилли всматривается в большую собаку, чепрачную Биче. Всматривается, как в меня. Что он сделает? Он долго-долго смотрит. Он решает. И это у него часто. Он думает, думает, а потом, подумав, рывком или медленно выходит навстречу тому, кто перед ним. Вот и теперь. Как он поступит? Я замираю – он что-то решит за меня и вместо меня. Биче спокойна. Язык свесился. Выражение доброе. Ждет. Горжетка почти незаметна. Как и носочки на лапах. Все когти на месте. Легко разглядеть. Вили подумал, решил и смело рванулся к ней, стал на задние лапы и вот облизывает холодный нос черной овчарки. Трудно поверить. Лижет все выше и выше. Вот Биче перестала дышать открытой пастью и лизнула Вили в его шоколадный лобик. Он удивился. Помедлил. И снова принялся за работу. Лижет горло, щеки. До ушей дотянуться не может. Снова облизывает горжетку. Потом всю грудь. Громадные черные лапы. Носочки. Но когти не трогает. Заходит с правого боку. Лижет ей черную шею.

В самом деле, невероятно. Ведь надо лизать сверху вниз, чтобы не было против шерсти. Биче в ответ своим громадным языком вдоль от головы к хвосту причесывает Виллину спину. Медленно, как движение времени. Я все это вижу своими глазами. Для меня такое не просто чудо, а подтверждение того, что время течет убыстренно. Понятна причина. Оно порой возвращается, прихватывает что-то и потом продолжает бежать вперед – быстрее обычного, догоняя себя. Не могу выразить, описать радость, охватившую душу. Только бы смотреть. И только бы видеть. Виллины коготки скребут половицы, упираются в щель. Солнце освещает собачьи лапки. Тень моя отодвигается вместе со мной. Я осторожно, оглябая собак, прохожу к двери, опять возвращаюсь к окну. Заодно оглядываюсь на пишущую машинку. Я забыл в нее вставить новый листок. И такое предчувствие, что, если вставлю, сразу появится текст. Вот вставляю и вновь хожу взад и вперед. Нет, мой новый лист – белый, как прежде. Упрямо хожу – туда и сюда – от кровати – к столу и обратно. Правильно. Со мной и с предметами на чердаке – никаких изменений.

А почему я ожидаю чего-то? Вернулось, и вот я как в детстве. Ни папа, ни мама... А Миша мой глядит откуда-то и тоже на помощь ко мне уже не придет. Известно. Без изменений. Чего же я жду? Собаки рады помочь, но не догадываются, как, – а у них уже своя жизнь: Вилли бросается на овчаркину шею, а Биче – для удобства – положила между лап голову прямо на теплый коричневый пол и только изредка вздыхает, как человек. Вспоминаю и узнаю этот человеческий вздох.

Вот понемногу они успокоились и заснули рядом, пока солнце еще падает из окна и от них не ушло. Надо работать. Они все сделали для меня. Больше нечего ждать. Почему так хорошо, и откуда моя тихая затаенная радость? Она в груди загорается и нарастает. Еще бы немного помочь. И помощь тут нужна, как дыханье собак. Почти невозможно малая. И она уже оказана мне. Еще немного, и узнаю, зачем так началось для меня сегодня зеленое утро. И зачем на меня обрушится оглушительной мощью все, что вернулось ко мне.

Когда оттуда приходит кто-то один, – это понятно. А когда возвращается вдруг не один, а все, что когда-то ушло, – это совсем другое. Как оно может вписаться? Время как будто убегает от страха, убегает вперед, но потом быстро возвращается вспять и снова спешит, убегая. Оно прихватывает все, что вернулось, и так же мгновенно тащит его за собой. Какой-то шквал. И главное, чувствуешь ты, что иначе нельзя. Этот шквал совпадает с твоим желанием, но он больше, неизмеримо больше любых порывов. Так хочешь не только ты. И, кроме того, уже тебя никто не спрашивает и не спросит – о тебе помнят, и, если ты ускользаешь, прихватывают, швыряют, гонят и не дают ускользнуть. Как удержаться? Как устоять в этом шквале? Как уцепиться хоть за что-нибудь – вот хотя бы за этот письменный стол и чердак? Ничего не выходит. А между тем я стою почти неподвижно, и собаки спят – Вилли между Бичиных лап, свернулся клубком, а Биче положила голову рядом и в чутком тихом сне охраняет нового друга. И, кажется, именно этот покой двух



собак порождает шквал, который гонит и не отпускает меня. Я не могу понять, а они спят и не знают, что происходит. Они видят во сне какой-то свой и единственный сон.

Первое, что оглушает меня, это удивительное и совершенно, по-моему, нереальное переселение в миры, где я никогда не жил и где, оказывается, я самый живой участник. И происходит мгновенное переселение каким-то совсем особенным способом, родным для меня, как если бы я проснулся утром, но такого утра никогда не бывало и быть не может, а вместе с тем это просто – оно давно-давно готовилось, откладывалось и теперь наверстывает упущенное. Это все, что мы приносили в жертву ради жизни своей, все, над чем посыпали белый отравленный порошок. И оно уходило, давая нам жить, уходило, ушло и, казалось бы, ушло навсегда – как вдруг сразу вернулось назад. И еще вернется, а мы его не узнаем. И сейчас трудно узнать то, что вернулось. Но вот оно – прямо передо мной. Боже! Как велики жертвы. Мы даже не можем представить себе. Да что – мы? Оно само бессильно себя увидеть и собрать воедино. Оказывается, мы всю жизнь, все бытие принесли в жертву ради своей собственной жизни. И только потому и живем, покуда сами не станем жертвой.

И вот не приходило мне в голову, что самое милое на свете – жертва, и нужно понять: мы любим то, что согласились отдать ради себя. И сами себя отдаем – тоже ради себя. И все как будто естественно, природно, оправданно и неизбежно, таинственно божеской недостижимой правдой и мудростью. А на самом деле – той мудрости нет. Оказывается, мы соглашались жить самообманом. И тысячелетиями подтверждали его – этот самообман. И мы страдали, страдали, но обеими руками вцепились в горькую ложь, как в спасение. А теперь время возвращается вспять и прихватывает все, принесенное в жертву. И возвращается к нам, как если бы жертвы не было никогда. И вот вижу – только это природно и верно. Да, скоро бытия станет много. Развеван миф. Неужели на смену приходит иной?

А вот желтая книжка с профилем Данте. Лежит на столе. Сверху накрыта большим синим камнем. А поверх камня – часы. Я снял их с руки и давно положил на этот синий пюпитр, принесенный с поля сюда. Часы красиво лежат. Я их завожу каждое утро. А сегодня забыл. Ну и что? Остановились? Нет, они идут вчерашним заводом. Идут и не отстают.

Желтая книжка – мой Данте. Я писал его здесь, вот за этим столом. Все, что в ней, тоже должно вернуться, а вместе с книжкой вернется очень многое. Там нет выдумок, но много намеков и предчувствий. И, если они верны, вернется то, на что я намекал. А книжка само по себе – вот она передо мной. Возвращать ее незачем. Ей уже тринадцать лет. Не так уж и много. Но я часто ее совсем забываю. А ведь в ней мой Данте вернулся оттуда. Он и сам об этом сказал в свое время. А у меня он вернулся в нашу Россию – в последние годы второго тысячелетия. В те дни, когда Биче еще недавно жила рядом со мной. Вот писал я тогда и не думал, что это значит. Ну а теперь книжка вернулась, и можно вдуматься в каждый намек.

Намки мне тогда подсказывала собака – во время наших блужданий по лесу и вдоль Ящеры. Почему-то она одна могла подсказать, и мы сюда возвращались, проверив то, что подсказано по дороге. Я даже помню, где и когда, при какой погоде, на каком повороте реки, я ловил нужное слово, и собака, обернувшись и взглянув на меня, подтверждала, что найдено то, что нужно, и теперь она запомнит найденное и подскажет, а я уже могу думать совсем о другом. И я забывал. Я забывал по дороге, но, взглянув на Биче, сразу и безошибочно вспоминал и записывал дома, здесь, на клочке бумаги, отодвинув машинку. Сколько было таких слов, строф и случаев. А теперь – гляди в текст и вспоминай. Но ты не вспомнишь. Погляди на собаку. Пусть она проснется и подумает. В ее глазах, а не в этой книжке живет память твоя, – все, чем ты пожертвовал, чтобы завершить и сладить зарифмованный текст. И чтобы то, что в нем, было записано и отпало.

Теперь – возмездие. Прихватывай и возвращай. Выволакивай вместе с собой. Ничего не сказано и не выражено, как надо. Пока собака спит, пробую сам, без нее. Ничего не выходит. Без языка. Было бы легко остановиться на том. Нет. Падает. Накатывает. Оглушает. Много. Очень много. Но это капля. Канва. Рифмованный текст. Почему я слышу за ним совсем другое? Не так уж он хорош – этот текст. А оно... волна возвращения. Оно подхватит и унесет любого, не только меня.

Собака лижет шоколадную шелковую голову моего Виргилия, а я в него впиваюсь глазами. И от моего взгляда Вилли просыпается, и теперь понятно: он тоже кое-что может мне подсказать. И подскажет, если Биче будет с ним рядом. Вот они вдвоем что-то знают.

Возмездие непосильно. Листаю книжку, потому что боюсь моего ясновидения и хочу его потерять. Спаси меня, рифмованный текст. Я ведь столько раз читал тебя и ничего не видел за твоими буквами и строфами. Помогите мне сегодня. Уведи от меня то, что нахлынуло. Вот. Я вижу – книжка вполне помогает. Шквала нет. Я хожу взад и вперед. Беру часы. Но только завел – стрелки дрогнули сами собой. И все нахлынуло снова.

Новое состояние. Если не противиться шквалу, то через какое-то время все успокаивается, но видимое и осязаемое становится прозрачным и сквозь него спокойно проступает что-то совсем другое, столь же знакомое и давно обжитое. И не сразу признаешь его. И, главное, никакой фантастики. Реальность. Хочешь – не хочешь. Рад бы вернуться, а теперь уже, действительно, поздно. Что же? Выходит – я не понимал раньше простое значение этого слова? Поздно. Я думал, поздно в том смысле, что все вернется, а мне предстоит сразу уйти туда, откуда это вернулось, и мы не встретимся. Так думал я, но, оказывается все по-другому. Поздно в том смысле, что уже нельзя избежать этой встречи. А избежать очень хотелось бы. Непосильно. Привык. И вдруг – шквал. А когда он уляжется, новая реальность. Обживай необъятный прибыток. И все разговоры напрасны.

Обживаю. И вот вижу, как одно входит в другое. То, что прибыло, входит в то, что еще не ушло – догоняет его и становится им. И его уже не узнать. А

оно спешит и само себя догоняет. И ты успеваешь, и тебе кажется, что ничего такого не происходит. Но «кажется» – это главное зло. Помнишь? Биче не забывает. Посмотри, как она встретила Вилли и как Вилли встретил ее. Посмотри, как они лежат вместе. Нет. Уж ты себя не дашь обмануть. Пиши быстрее. Так быстро ты никогда не писал. Машинка печатает сама. Ты успеваешь. Нажимай на клавиши. Пробивай по бумаге упрямые буквы.

Но тут Вилличка просыпается, встает на передние лапки, вытягивается и уходит от Биче. Она остается одна и глядит ему вслед. А он уже прыгнул ко мне на колени. Я отрываюсь от дела, поддерживаю его, беру подмышки, чтобы он не упал, подтягиваю повыше и прижимаю к груди. Он не оглядывается и прямо тянет ко мне голову на длинной шее, смотрит в оба глаза и хочет лизнуть меня в нос, а потом устраивает свою шелковую голову, поерзав подбородком, на моем плече. А я глажу его и вспоминаю то же прикосновение – оно уже не вернется. Вместо него шея и подбородок Вилли. Почему сейчас? Почему в эту минуту? Подымаю глаза. Биче видела все.

У края топчана пустое кресло. А рядом с ним черные уши, голова и те же коричневые глаза. Биче не понимает, что происходит. А я начинаю догадываться. Только бы удержаться. Только бы не сделать лишних движений. Только бы не подумать о том, что сейчас нужно забыть. Только бы не вспомнить. Прижимай к себе Вилли. Отведи глаза.

Теплый собачий запах. Другой. Подожди. Подожди. Не трогай рукою стол. Не трогай черные клавиши. Забудь обо всем. Тогда забудешь о том. А! Так значит, все-таки ты вспомнил? Разве не знаешь? Собака читает на твоём лице. А лицо не спрятать. Ну вот – сейчас она догадается и поймет. Вот сейчас она встанет. И что будет? Что повторится и что вернется?

Биче подымается. А я сижу и не могу шевельнуться. Единственная моя надежда на то, что собака в тени. Боже. Тень слишком прозрачна. Половица прогнулась под черной лапой в белом носочке. Нет, не прогнулась, но скрипнула... Еще и еще раз. Господи, это тот же самый звук. Тот, который... Но дальше все тихо. Биче остановилась, не дойдя до меня. Села. Она все понимает и ждет.

Неужели я снова ради жизни пожертвую черной овчаркой? Вот оно – мое предпочтение. Вилли прижался ко мне. Я не вижу его глаз, но знаю – они открыты. А то, что у него за спиной, он видит особым чутьем. И он тоже все понимает и ждет. Он закрывает меня собачим телом, теплом, прикосновением, вздохом. Нос, подбородок пошевелится, поерзает и поудобней устроится на плече. А ведь напоминание: он не спит, он понимает и ждет. Решение все равно только мое. Решал тогда, и вот вернулось. Но в любом случае – он со мной. Даже если Биче бросится и, стоя на задних лапах, обнимет меня передними и, дрожа всем телом, положит свою черную голову мне на плечо поверх его головы, он будет меня закрывать.

Вот что может случиться. Но я ничего не делаю, ни о чем не думаю – замер и жду, как они, жду, но по-своему. Жду как тот, кому надо решать. Мы трое ждем, а время и не думает останавливаться. Оно подхватило нас. Мы не мешаем ему, и вот оно побежало еще быстрее. Профиль Данте на обложечке

желтой книжки пошевелился. Как и должно было быть. Все неподвижное оживает. Все безмолвное готово заговорить. Так я писал все эти дни. Так всегда в моем мире. Я привык. Но теперь любое движение – знак ожидания. А еще больше – то, что я замер. Чего же ты ждешь, Биче? Строки промолвят вслух. Строфы закричат. Им нельзя умолкать. А ты?

Большая собака рядом. Слышу ее дыхание. Вилли закрывает меня. Я жду и зову – без слов. Теперь я хочу, чтобы она вместо меня... И понимаю: нет, она не сделает ничего. Где мой выбор? Вернулось, и я снова должен решать. Какое счастье! Обе собаки ждут, когда я поправлю непоправимое. Тогда будет ясно, легко... Но почему я замер. Все готово. И только я один мешаю всему. Вот как оно повернулось. Вроде бы ты был впереди в мире твоём. А сегодня – выпадаю из времени. Знаю – выбора никакого не будет. Я не способен. Милые мои. Вы ждете напрасно. И сам я хочу встать и прекратить это безумие. Ни одной строфы, ни одной строчки за целый день. Вот уже на часах – вижу издалека – день приближается к полдню. А для меня замедление стоит целого дня. Смерти подобно.

Большая собака видит, что я безнадежен. Она встает и снова идет на свое место. Но что-то не так. Биче легла, положила голову и закрыла глаза. Голова ее как будто повалилась набок. А вот и вся она уже лежит на боку. Лапы вытянула вперед. И вот вижу – они вздрагивают и загребают во сне. Да, ей снится: она бежит в зеленом поле, в густой траве, где стебли в человеческий рост, бежит по свежему следу. Она спешит. Ей надо успеть. Ей надо быстрее, быстрее добежать.

Я не могу. Это свыше сил. Только что все было в моих руках. Ну, выбирай. Собаки ждут. И вот я замер и упустил. Биче бежит во сне. Я гляжу на нее сверху, прижимаю к себе Вилличку, а сам вижу зеленый цветной сон овчарки. Мне ее не догнать. И она не оглянется. Она тонет в траве. И даже след ее исчезает. А там, вдали, где она пропала, синяя кромка леса. Красивая лиловая даль. Неужели я любил Биче мою больше Миши? Остановись. Ничего этого нет. Вот на полу и на лиловой куртке перед тобой спит овчарка твоя. Проснись и выведи ее из этого сна.

## 6.

Испытываю и переживаю то, что не могло пригрезиться прежде. Прижимаю к себе. Тепло и тяжесть на груди и плече, шелковое прикосновение к шее, холодный нос прямо за ухом, и его собачий острый вытянутый подбородок, и губа его чуть-чуть загнулась кверху, из-под нее влажный зубок, такой же теплый, как дыхание в самое ухо мое – все это скрывает в себе что-то большее, чем просто короткую жизнь собаки. Родное тепло, родное прикосновение. Чем дальше, тем больше угадываю и узнаю. Нет, этого никто и никогда не поймет. Невозвращенное чудо скрывает в себе возвращение. Да, да. У Вилли тоже длинная шея, тоже такой порыв, так же долго он может прижиматься ко мне. А когда он подымет голову и оглянется на того, кто передо мной, вижу – он еще больше напоминает... Он держит

шею ровно, как человек, и у него тот же упрямый затылок и так же собираются брови над карими глазами его. Нет. Мешаются мысли. Если бы кто их подслушал. Безумие. Вот уж настоящий самообман. Впадаешь в детство? Пожалуй, тогда все было во мне куда понятнее взрослым. А теперь только малые дети сумеют вытерпеть и принять эту исповедь.

А между тем Биче явилась такой, как была. Ничего не погибло в ней с тех пор, как я сделал выбор. И теперь вот оно – повторение. Все по-прежнему, но вместо сына моего, Миши – Вилли прижался ко мне. Вздрагиваю. Руки дрожат. Прежнее, зачем ты вернулось. Прижался и ладно. Выбор делать не нужно. Собаки. Ведь вы так хорошо и мирно лежали друг с другом. Вилли. Послушай. Ты можешь услышать? Да, слышу, слышу. Но я делаю то, что могу. Ты видишь. Вот я прыгнул к тебе. Как будто кто-то бросил меня. Зачем? Не знаю. Трудно понять, что вы делаете, люди, и что происходит. Собачьего ума не хватает. Но то, что я делаю, – знаю, что так и надо. Я не ошибся. Нужно взять в себя твоё тепло. Нужно чувствовать всей спиной, что за тобой большая собака. За тобой и перед хозяином. Она та же самая. Но она вернулась издалека. А я – вот он. Я ведь был до того, как она появилась. Помнишь? Было хорошо. Но теперь еще лучше. Если бы можно было так оставаться. Так лежать рядом на этом солнце и на этом полу. Но почему-то нельзя. Ты знаешь. Ты разберись. Ты реши. Но что ты решишь? Боюсь – начну дрожать. Вот уже лапы дрожат и грудка моя. Чувствуешь? Или тебе все равно?.. Думаешь о другом и не слышишь меня?..

Кто-то во мне живет. И я не могу догадаться. Ты знаешь, кто. Но ты не скажешь. А я пойму. Только ты крепче прижимай меня к себе, когда гладишь от головы до хвоста. Я знаю, что один ты можешь так гладить меня и ту большую собаку. Она ведь тоже бросалась к тебе. И ты ее крепко обхватывал. А теперь ты боишься. Вот почему, наверно, нам так нельзя оставаться. Ты испугался. И вот я прыгнул к тебе. Будем бояться вместе. А она пусть отдохнет. Я знаю, что она видит во сне. И ты знаешь. Не надо бояться. Мы ее не отпустим. Она не убежит, если ты одолеешь мой страх.

Довольно. Вот «История государства Российского».малиновый томик лежит на крае стола. Я уже давно возвращаюсь и прихватываю то, что записано. Мой «Данте» и вот эта «История государства Российского» для меня дополняют себя и друг друга. Нужен мгновенный возврат и резкий рывок вперед. Я это знаю. Ничего из того, что было, никто не может простить. Исповедуйся. Но как сделать, чтобы исповедь одновременно стала прощением. Надеяться не на кого. Ты сам себе должен отпустить былые грехи. И тот непоправимый, непростительный грех. Ты сам и никто другой. И вот легко понять, что сам себя не прощаешь. Невытие давно простило. А ты – нет, никогда. Биче, Вилли, вы не дождетесь. И я не дождусь.

Вилли спрыгивает на пол. Подумав, подходит к Биче. Овчарка спит. Она устала. Ей, по-моему, удалось позабыть все, что было, есть и будет в обоих

мирах. И вдруг я подумал, что в них никто никогда себя не прощает. И потому они согласны полностью исчезнуть, не быть так же, как спит Биче. Ее лапы уже не бегут, не загребают воздух во сне. И нет судорожных толчков дыхания, перед тем как проснуться и залаять уже наяву. Ничего нет. Вилли стоит над ней и морщит свой шелковый лоб. Вот вижу – даже лепестки широких висячих ушей слегка приподнялись в стороны. Он хочет услышать. Но там, во сне, абсолютная тишина, какой для собак не бывает. Сон Биче для него недоступен. Вилли попятился и даже слегка зарычал. Я успокаиваю. Не надо слушать – ничего не услышишь. Не нужно тревожиться. Она пока спит безопасно – для себя и для нас. Хочешь, я лягу прямо на куртку рядом с овчаркой? Попробую так же задремать и заснуть. Или просто подумать о том, что еще не успел записать? Хочешь? Вилли продолжает пялиться. Потом рычит. Потом громко влзаивает на весь чердак.

Вилли, Вилли, спокойно. Хорошо. Хорошо. Я не лягу. Мы будем с тобой. Думай. Думай. На четвереньках тебе легко. Присядь на задние лапки. Ты очень хорош. Как на краснофигурной античной вазе. Думай. А я тебе доверяю узнать все, что овчарка решит, как только проснется и обнаружит, что мы вдвоем глядим на нее. Новое откровение. Оказывается, важно, чтобы то, что вернулось, не исчезало – а любой ценой задержалось бы здесь. Вот, родная моя Биче, ты случайно заснула, и заснула не по-собачьи, ты ничего не видела во сне и не лаяла и не пыталась бежать от нас. Понимаешь? Ты задержалась. Пока ты спала, я сделал выбор. Тот – невозможный. Он совсем другой. Спасибо тебе. Вилли, ты понял? Я объясню. Только не лай. Разбудишь овчарку.

Выбор не для нас одних. Нет, он для всей Российской истории. И сделал его не я, а мой Данте. Недаром дрогнул его профиль на желтой обложке тоненькой книги. Теперь что-то изменится там – в тексте ее. Потом прочитаю. Не торопись. Я вполне уверен. Такое решение уже не забудется. Чувствую, знаю. Вергилий четверолапый, краснофигурный, шелковый. Шерсть блестит. Язычок свесился. Ты счастлив. Ты успокоился. Ты готов мне сообщить и сам оглядываешься на меня. Какой ты красивый. Понятно. Понятно без слов. Биче моя убежала. Мы ее упустили. Но это во сне. А на самом деле она задержалась. И ты ее охранял.

Что же я решил? Что выбрал? Все жертвы, принесенные когда-то ради жизни детей, матерей, отцов, целых народов, любых, а не только избранных, и вообще всех людей, ради жизни как таковой, ради самого бытия, – должны быть возмещены, восстановлены, оживлены, подхвачены убегающим временем и не потеряны по дороге. Все зло должно быть исправлено. Пока набежало, пока сдвинулось что-то. Любой ребенок поймет. И ведь нужно, чтобы ребенок понял – раньше нас. Любой ребенок. Все мы, в ком ребенок еще остается. Игрушка не сломана. Кто-то ее раскрутил. Недаром ты заметил – всемирное убыстрение времени. Ты заметил сегодня. Подожди. Подожди. Все вернется. И все надо исправить. И ничего не терять.

Попробуй исправить «Историю государства Российского». Нет, ты не понимаешь. Дело такое. Начни попроще. Исправь своего «Данте». Листаю желтую книжку. Все как было. Текст остался без перемен. Впереди еще столько работы. А лиловая книга – тем более. Она ведь, к тому же и не моя. Автор ее возвращаться не хочет. Я это знаю. Чувствую. Ну и что. Придется поправить. Не то, как написано. А то, о чем два столетия назад автор этот слагал божественный текст. Что? Неужели нужно возвращать кого-то? Не хочет – не надо. История изменится. И поправки в лиловой книге произойдут сами собой. Недаром она божественна и кровотоцит, как мой грешный «Данте». Я даже высматриваю – нет ли на столе пятен крови. Быть может, я не заметил.

Впрочем, кровь есть везде. Мелочи побоку. Софизмы – тоже. Главное прояснилось. Вот если мы сейчас поправим и сделаем что-то в настоящем, прошлое наше изменится. Как хорошо. Вот о какой игрушке надо помнить и знать. Вот где спасение. Вот почему овчарка моя задержалась, а Вилли ее охранял, чтобы она во сне вдруг не пришла в отчаянье и не потеряла меня. Да, прошлое надо менять в настоящем. Что я такое делаю? Повторяю одну и ту же фразу. Ту, которую я только что записал. Повторяю, как будто уговариваю себя. Такого со мной никогда не случилось. Говорю вслух над спящей овчаркой. Она спит, а я говорю и очень хочу, чтобы ухо ее дрогнуло и она бы сама, без моих усилий открыла глаза.

Нет, она потрясена тем, что пережила здесь, на чердаке, она отключилась надолго. Вилли, не лай. Все ведь понятно. Я тебе объяснил. Тебе и себе. Ты ребенок. Ты понял... Что же ты лаешь? Ну?.. Ведь ее сейчас разбудить невозможно. По крайней мере, ты не разбудишь. А я подожду вместе с тобой. Все хорошо. Но ты не спокоен.

Что-то случилось? Где? Там или здесь? Там, где она сейчас? Или здесь, где она задержалась? Вообще бы, неплохо так задерживаться всем, туда уходящим. Правда, теперь не так уж и важно. Ты понимаешь. Она просто пользуется последней возможностью. Отключиться на время. Вилли, а почему ты вдруг замолчал? Ведь все равно здесь или там непорядок.

Вслушайся. Всматривайся. Моя тишина для тебя. Для твоего лая. Тебя никто и ничто не обманет. Чердак поглощает звук. Но вот как будто какое-то эхо. Гулко. Или мне кажется. Так нужно было бы для моей исповеди. Для моего отпущения грехов. Облегчение. Вилли снова залаял.

Теоретически ясно. Прошлое можно исправить в момент его возвращения. А где же ты видел, чтобы все, что было, сразу вернулось, и ты бы смог это охватить чутьем, интуицией, мыслью и своей ипостасной любовью? Где ты видел такое? У тебя один аргумент – собака. Вернее, обе твои собаки. Их непонятная встреча. Допустим, это реальность. Но вот уже твой сын опять возвращаться не будет. Он есть, но он не покажется больше. А ведь без него что можно поправить? Теперь у тебя только одна собака вместо него. А другая – рядом. И между ними двумя надо решать. Вот исправляй

свой грех. Я уже исправил как будто. Не знаю, как... Биче спит, а Вилли снова залаял. Только что было все решено. Вилли подсказывает.

Сейчас, сейчас постараюсь понять... Авторучка. Заменен мой неудачный стих. Появляется какой-то абзац на белом листе. Машинка отшумела и замолчала. Лиловая книга закрыта. Подожди, когда в ней самой дрогнет фраза-другая. Фраза – основа основ. Дрогнула. Открывай книгу и читай обновленный текст. Но так уже было. Потом прочитаю. Тоже было такое. Вот авторучка опять. Вот уже строфа звучит по-иному. Проще. Легче. Страшнее. Вот сейчас мною совершена очередная ошибка в прошлом. Оказывается, так легко. Не лучше ли Данте оставить в покое? Что было, то было. Нет. Неосторожный стих меняет все, что ушло. Остерегись и подумай. Есть надежда. Новое прошлое долго не уходит в небытие. Оно еще должно поработать в мире.

Главное – добро и зло ипостасны. Это невыносимо. Всю жизнь Данте потратил, чтобы их разделить. И что же? Они, такие разные, оказывается, переходят друг в друга и потому составляют одно. И что же выходит? Самое гнусное преступление – ипостасно святости? Наивный семидесятилетний ребенок. Софизмы, софизмы... Отделяй одно от другого. В себе самом отдели. Да ведь я не преступник. Но – странно – любое зло понятно мне. Почему? За что? Молчание. Видимо, потому что я замолчал. И все-таки я меняю строфу, где совсем напрасно утешал себя, когда был помоложе на двадцать лет. Миша тогда иронически улыбался, предвидя мои мучения. Он читал эту строфу, случайно раскрыв желтую книжку. Прочел и отложил всю поэму до лучших времен. А когда вернулся... Пропустил мимо самоутешение мое. Другие строфы. Другие ошибки. Ну почему я так и не успел выспросить у него все, что он думал? Я откладывал, откладывал, ждал, что он сам начнет разговор. Вот и дождался. Молчание. Молчи и слушай Вилличкин лай.

Люди не понимают самое сокровенное. А оно в том, как звучит голос, как блестят черные зрачки моих карих глаз, как я тяну мой нос к тому, что опасно, чтобы защитить лучшее, то, что люблю. Моя шоколадная шерстка блестит, как давно не блестела. Вот что ему нужно понять прежде всего. Зачем слова о том, на что есть ответ? Лаю, потому что большая собака скоро проснется. Хорошо, если бы она еще поспала. Я бы тоже свернулся клубком с ней рядом. Но она проснется, и мне нельзя засыпать. Ей не удалось во сне убежать от нас. И наяву не уйдет. Сил ей не хватит. Как и ему. – Он стоит надо мною. То сядет за стол, то встанет. Уж если он сейчас упадет, я не знаю, что будет. Узнаю скоро. Спи, моя большая собака, и подольше не просьпайся.

Скоро три часа. А потом четыре. Солнце давно ушло. Не попадает в окно. Греет крышу. Чувствую, как становится жарко. Трудно выдержать. В маленьком домике – спасение от такой жары. Я забыл о собаках. Если о них можно забыть. Здесь ли они? Да. Вилли прижался к Биче. И обе спят. Как



будто видят один сон, общий для них. Забавно при этом, как шевелятся их лапы. У Вилли – чаще. У Биче – изредка: и дергается только та лапа, на которой тогда пропал коготь. Но теперь коготь – на месте. Что это? Память? Или знак – предупреждение хозяину. Дескать, не забывай – все остается по-прежнему.

А я чувствую перемены в себе. Что если мои собаки проснутся и не узнают меня? Шучу. Они бы давно проснулись. Все остается без перемен. Для них. Но не для меня. Варианты истории. Варианты пресуществлений. Все могло быть не так. И у меня все получается по-иному. Если что-то вернется, вариант готов. Я исправлю, и оно перестанет болеть. Отчего я раньше не думал так? Не потому ли, что прежде это было бы глупым занятием? А теперь – дело серьезное. Его делаем только мы вдвоем. Ничего страшного. Есть что объяснять и рассказывать. Я уже давно говорю вслух. Надо ясней и понятней. Кому? Всем, кто не может понять. Я их всех почему-то вижу и чувствую рядом с собой. И в итоге они понимают.

А как на самом деле? Что за вопрос? Это и есть – на самом деле. В моем варианте. Вот единственное, что предстоит разъяснить. А пока им ничего не ясно. Вот – происходит многое, а слова не те. И вдруг я понимаю, что ничего этого нет. Никаких вариантов истории. Никаких возвращений и пресуществлений. И никаких поправок. Ничего такого, что бы могло изменить мой текст. Миша вернуться не может. Пойми, наконец. Я привык видеть его возвращение. Он мог бы вернуться. Но он уже не придет. Я гляжу немного вверх, как если бы он стоял над моим столом. Прозрачная тень. Желтая крашенная олифой темная вагонка узкого потолка. Вижу каждый сучок. Обои, закрепленные кнопками. Больше нет ничего. Боюсь опустить глаза к полу, где спят собаки.

Если он не появится, ничего не буду менять. Останусь грешником. Отложу мою исповедь. Отложу до лучших времен. А эти времена уже никогда не наступят. Вот. Не я объяснил. А мне объяснили. Выздоровливай. То, что было, измениться не может. Прямо текст святого писания. Читай готовые строки и постигай их непознанный смысл.

И тут я вспоминаю, что еще в детстве, устав от поправок на непослушном черновике, я однажды решил отказаться от своей воли, от своих снов и желаний. От того, что любил тогда и люблю сейчас. Мне стало легко, я даже обрадовался, почувствовал что-то новое. Но какая это была горькая радость. Я решил тогда больше ничего не писать, чтобы ничего никогда не править. Я засмеялся. И мне показалось, что я как будто родился вновь. Тогда я не знал, что такая минута может еще раз повториться. Если он не появится – ничего не надо. Я перестану замечать. Я забуду. Я не скажу. Я поправлюсь. Мои собаки подняли головы. Не сводят с меня свой настроенный взгляд. Вилли зарычал. Биче лизнула его.

Не уйдешь. От собак не уйдешь никуда. Исповедь моя продолжается. Перед ними. Перед собой. Но оказывается, уж если я принимаю сейчас от себя мою исповедь, я обречен принимать ее и от всего, что вернулось. Оно

исповедуется и себе, и мне, и этим собакам. Так мы все должны исповедоваться. А ведь это и есть единственно возможное возвращение того, что ушло. Тот, кем я был, вернулся и говорит мне все о себе. Одна только Биче невинна. Ее никому не нужно прощать. И теперь невинный Вилли охраняет ее. От кого? От меня – того, кто вернулся. А где он – я, тот, кто еще не успел отступить от себя самого? Где он? А где он может быть? Он только здесь. Но вот ищущего в себе и не могу найти. А кто ищет? Он или я?

Какое страшное открытие. Ну, куда он девался? Только что был во мне и вот куда-то пропал. Ничего. Поищем вместе. Вернем. Из любого пространства и времени. В поле, в городе, в мире. Все ипостасно. Даже пространство и время. Такое труднее всего исповедовать и принимать исповедь от него. Ну да. Конечно. Тожество. Разделенность. И взаимный переход одного в другое и наоборот – и все это в любое мгновение. Попробуй, используй открытие. Кажется, никто никогда не овладевал этой возможностью. В ней ответ ответов. В ней главное откровение – мне и друг другу, и этим собакам. Обе на страже. Вилли продолжает оберегать овчарку. Она его собственности. Как еще недавно принадлежали ему я и Наташа.

Удивительно. Легко. Легче легкого. И вспоминается прошлое. Помню, как я первый раз молился бабушкиной иконе. Мне тогда едва исполнилось восемь лет. Помню, даже в те минуты первой молитвы, обращенной к настоящей иконе, подаренной мне моей не знакомой мне бабушкой, когда она еще была жива, помню, даже в те минуты не было мне так хорошо на душе, как сейчас. Нет храмов и куполов, сотворенных из прозрачных теней и воздуха, пронизанных светом. Ничего этого нет надо мной. Но так хорошо, как будто бы и впрямь я вернулся и встретил, наконец, того, кто услышит меня как себя самого, потому что ищет меня. Пространство и время – единая радость, вот они разделяются, не совпадают и вдруг легко переходят друг в друга прямо у меня на глазах. И собаки поворачивают головы, ловят их разницу, не упускают их божественную игру. Все так быстро, что уследить невозможно. Еще труднее поверить в то, что видишь. Вот где надо успеть. И не в поле, а тут же. Сидя рядом. Прямо передо мной. Никуда не надо бежать. Все на моем чердаке. Биче, не отрываясь, водит головой и туда и сюда. Ловит и то, и другое. А Вилли не отстает от нее.

Один я ничего не вижу. Но чувствую, невозможное происходит сейчас. Мне уже не поспеть. Игра убыстряется. И вот удивительно. Откровение глупо и никому не понятно. А все-таки я скажу. Твердое, неподвижное, неизменное вдруг само становится движением и быстротой. Как это? Ведь оно потому и твердое, что отстает. Неужели? Вот. Стол. Машинка. Вагонка. Обои. Крашенные доски теплого пола. Да, да, это они. Радость. Оттого, что открыта спрятанная тайная и самая изначальная сила жизни. Она смывает мой грех. Она примет мою страшную исповедь. Она прервет мой сон, который отныне всегда и всюду один и тот же вокруг меня и во мне. Белый порошок над собакой. А наяву – клочкотание астмы в горле сына. Желтая книжка «Данте» и лиловая «История государства Российского».

Радость обманчива. На самом деле вовсе не радость, а невыносимая боль искупления. Ведь все перемены, оказывается, происходят во мне – и только во мне. Прежде никогда я не умел так собрать все, что возможно и невозможно, собрать где-то в себе самом и теперь сам себя узнать не могу. Боль, невыносимая боль. Все убыстрения, которые ты замечал, переместились в тебя. Вытерпишь? Не беспокойся. Тебя не будет, и все возвратится в пространство и время. Оттуда пришло к тебе – туда и вернется. Потерпи и порадуйся искуплению. Все, что скажешь и все, что напишешь, будет иным. Вот увидишь. А боль – потому и невыносима, что ее нужно вытерпеть – любой ценой – в этот золотой день – до вечера, до минуты, когда в поле погаснет закат. А потом – что случится, никто не знает. Наляжет синяя ночь – ты потерпишь и дальше. А может быть...

Вот Биче встает на четыре лапы. Такая большая. Чепрачная. Она уже не водит глазами. Не двигает головой. – вправо и влево. Она уследила. Она поняла. Ей хочется вновь рвануться ко мне. Биче, не надо. Она сдерживает себя и остается на месте. Вилли обходит ее кругом. Я тоже к ней подхожу. Протягиваю руку. Зачем? Остановись. Одумайся. Ты не знаешь, что делаешь. Она знает.

Вилли потягивается. Пора идти на прогулку. Я что-то записываю на машинке, чтобы хоть немного отвлечься. Окно чердака открыто. Ближняя яблоня в тени. Остальные кроны заливают золотой предвечерний свет. Мы еще не пообедали. До вечера далеко. Слава богу. Боль можно вынести, если знаешь предел, за которым начнется что-то другое. Ночь с двумя собаками. Подожди. Это потом. Наташа стучит в стену. Сначала обедать, потом выводить собак. Если обед запоздал, значит все хорошо. Все как надо.

Я пристегиваю карабин к ошейнику, стараясь не касаться черной шеи овчарки. Страшно. Если коснусь, не выдержу. Нет, это не то, что можно подумать. Надо выдержать и дожждаться вечернего часа. Наташа вновь стучит в стенку внизу, приглашая обедать. Беру Вилличку на руки. Оглядываюсь. Окно по-прежнему распахнуто в сад. Я его закрываю свободной рукой, потом поднимаю с пола короткий кожаный поводок. Биче идет вперед. Вдруг останавливается и оглядывается на меня. Да, я здесь. Никуда не ушел. Она зевает. А меня схватывает спазм. Я чуть не роняю Вилли. Что дальше?

Тут Биче, затаив дыхание, совсем поворачивается ко мне и на самом пороге вдруг знакомым рывком взлетает передо мной, встает на задние лапы и передними упирается прямо мне в грудь, так что я с непривычки едва не падаю навзничь. Громадная голова собаки вровень с Вилли, который у меня на руках. Я выдерживаю. А Вилли молчит. И вот Биче сильно лижет его раз и другой. Шумно дышит. Мы стоим и не знаем, что делать. Жарко под крышею чердака. Все хорошо.

## 7.

Наташа выбрала для Биче красный пластмассовый тазик – в нем сегодня кукурузная каша – как раз на одну еду. По-моему, у нас такого

тазика не было. Ну что ж? Пока мы работали, жена съездила на велосипеде в магазин и купила. Наташа как будто давным-давно ждала появления Биче. Молчит. Меня ни о чем не расспрашивает. Не плачет и не радуется. А я почему-то боюсь у нее спросить. Как будто жена знает о чем-то и думает, что я тоже знаю. Спрашивать неловко. Но я ни о чем не могу догадаться. Делаю вид, что все хорошо. Вилли рядом с Биче опустошает желтую мисочку с сухим кормом, хрустит как никогда прежде, пьет воду и снова хрустит. Для Биче мы почему-то не поставили эмалированную миску с водой. Наливаю. Ставлю. Биче доедает кашу, вылизывает все дочиста. А потом, подумав немного, непривычно громко лакает и выпивает всю воду. Я подливаю. Жду. Нет. Биче насытилась и напилась. Вилли тоже готов к прогулке.

Что это? Чудо? Наташа? Спрашиваю. А сам еле сдерживаю себя. Голос на шепот срывается. Так же, сегодня утром. Но в этом новом шепоте больше ожидания, больше страха. Все-таки последнее слово за тобой. Жду. А у тебя нет никакого слова. Ты знаешь и не хочешь ни о чем говорить. Ты забыла уже о том, что знала? Наташа? Нет, не забыла. Пусть все длится и не прерывается. Ладно. Буду молчать. Никогда еще мы здесь, в Низовской, не обедали так – без единого слова. Неловко, нехорошо нарушать безмолвие наших собак. И так много звуков. Рядом живое дыхание. Все, чего нам недоставало. Нет прежней моей тишины. Солнце торопится к вечеру. Понятно. Собачий ритм быстрее, чем наш. Время убыстрилось. Но еще далеко до заката. Пора идти. Два поводка в руках. Сворачиваю на то же самое поле. Вилли тянет вправо. Биче согласна. Идем, ожидая чего-то.

Сосед встречает меня по дороге и не удивляется вовсе. Надо спросить у него. Спрашиваю. Молчит. Показываю поводок с найденным карабином. Он узнает карабин, помнит собаку. Ну, так вот она – спустя тридцать лет. Вилли очень любит нашего соседа. Кидается к нему – по привычке. Прямо на руки. Моет ему лицо языком. Коля отвлекся. И зачем ему отвечать на мои вопросы? Да и что ответишь? Биче он узнает. Сразу. И слов никаких не надо. Коля моложе меня. Такса ему интересна. Охотничья. Норная. Хоть сейчас на охоту. Сомнения только на мой счет. Ладно. Прихватишь лопату. Откапывать Вилли вместе с лисой. Там, на главной канаве, на крутом скате, в густой чаще есть норы. Коля, а мы возьмем с собой нашу Биче? Не отвечает. Овчарка – иная, другая охота. Привычная с детства. Биче – воспоминания. Об отце, о прошлом. Да. Отец на кладбище. Сын ходил туда сам. Только что от него. А что? Биче как Биче. Сходство полное. Откуда взялась? Та же самая? Ну да, конечно. Вилли, ты согласен со мной? Та же самая. Ладно. Пойду. Что-то грустно. И тебе грустно. А пить нельзя – по здоровью. Гуляйте. В поле еще светло.

Он верно сказал. Ермолаич все время в памяти. С собаками на кладбище нельзя. Поклонимся издали. Грустно. Та же самая мелодия, с которой началось утро сегодня. Проходим лесок. Выбираемся в поле. Оно совсем другое. Трава не кажется высокой. Вот наша утренняя дорожка. Простор такой, что идти бесполезно. Я отстегиваю два карабина и отпускаю собак. Они как будто ждали этого счастья. Биче поспекает за Вилли, потом обе собаки сворачивают влево и пропадают в траве. Только Биче заметна. Вот она все дальше и дальше. Пропала совсем. Но я знаю, что Вилли там, где она. Легкий туман подымается от Ящеры, далеко, и в низинах. Голубые и желтые пятна травы теряют свой цвет. Где мои собаки? И кто кого уведет от меня? Когда они возвратятся? Но я свободен. Еще далеко до заката. Иду, нарочно замедляя свой шаг. Если Вильям и Биче вместе, беспокоиться нечего. Они мои – и все поле мое.

Вдруг вижу – по проторенной дорожке, по которой обычно ходят к поселку Сорочкино, оттуда, из самой туманной дали, от кромки леса кто-то идет. Как я увидел? Ведь у горизонта густой туман и солнце сквозь него светит прямо в глаза. Но я заметил – кто-то как будто бы движется, идет мне навстречу. Всматриваюсь. Нет, вроде бы нет никого. И вдруг понимаю: до меня долетает из далекой дали еле слышный собачий лай. Конечно, Виллин. Биче молчит. Ее не слышно. А Виллин голос узнать нетрудно. Значит, и впрямь кто-то идет, но еще далеко. Туман скрывает идущего.

Биче отпущена. Без намордника и поводка. Почему я спокоен? А ничего не случится – Вилли рядом. Когда они вместе – никто их не будет пугаться. Вот я вижу – в тумане заметна фигурка. Идет женщина. Скоро смогу разглядеть. Белая. Господи. Сейчас произойдет новое чудо, о чем я подумать не мог. Да. На голове у женщины красный платок. Вот она прямо выходит ко мне. Остается зажмурить глаза и надеяться на то, что время вернется, прежде чем оно еще быстрее ринется и успеет к закату. И, как ни странно, я не хочу этой встречи. Сразу. Внезапно. А я целый день только и думал о ней. Видимо, женщина возвращается из Сорочкино – к себе домой, куда-то, быть может, в деревню Луги? Но почему так поздно? Впрочем, вчера, когда она проходила мимо нашего дома, солнце тоже клонилось к вечеру. И все-таки очень странно. Может быть, она живет где-то в нашем поселке, а не у себя – в деревне Луги? Ну что ты придумываешь? Зажмурь глаза поскорее. Пусть она пройдет мимо и останется такой, как вчера. Лай собаки приближался, но становился все тише и тише, спокойнее. Вот Вилли совсем замолчал.

Что со мною? Почему круг замыкается? Куда и зачем я погружаюсь? Недаром опасалась моя Наташа – она последнее время боится отпускать меня далеко. Чувствует – я могу не вернуться. Но одно дело – деревня Луги или Низовка, а другое – наше ближнее поле. И потом все-таки Вилли рядом. Он охранит и меня, и Биче. Оказывается, не так-то просто. Вот женщина прямо передо мной. Вот я слышу – проходит рядом. Открываю глаза. Оглядываюсь. Да, белое платье. Красный платок. Загорелые руки. Страшно было посмотреть

ей в глаза. Но я, даже зажмурясь, вижу это лицо, как вчера. Мама. Что происходит? Обе собаки больше нигде не бегут.

Вдруг – что это? – я в середине поля, а вовсе не на обочине, той, что ближе к нашему дому. Да. Я в середине и на самом высоком подъеме выпуклого, как щит, огромного ровного поля. И туман уже вокруг меня. Так что я с трудом различаю собак в облаках, пронизанных теплым золотым светом заката. Солнца почти не видно, и даже земля прямо подо мной в золотой как будто бы живой дымке. Если бы не белое пятно заката, можно было бы заблудиться. Но как я оказался на середине пути, на этой знакомой тропе? Неужели потому что вышел навстречу? Долго шел, а не просто ждал. Теперь догоняй солнце или возвращайся домой. Расстояние одинаковое. Мама. Ты ведь сейчас была рядом? Ты, ничего не сказав, прошла мимо. Я зажмурил глаза... И вот – середина поля. Туман – как будто специально чтобы я видел только то, что вернулось. Вижу. И вспоминаю. Мама тогда скончалась внезапно. И я никогда не говорил себе, что скончалась она по моей вине. В тумане так хорошо вспоминать. Самое страшное можно увидеть. И как будто бы мое божество светло и спокойно выслушивает все, что я шепчу себе самому.

Она умирала, и всего лишь кислородная подушка была ей нужна...Ее последняя просьба ко мне – слова, которые я услышал от мамы. Я побежал, но не успел. Тогда я только что вернулся с работы из вечерней школы. Дверь в нашу квартиру была распахнута. В большой комнате у кровати стояла соседка и еще кто-то. Мама лежала. Она узнала меня и без всякого стона, быстро и ясно произнесла: «Беги в аптеку за кислородной подушкой...» И я побежал. Одна аптека на Среднем – закрыта. Бегу на седьмую линию. Надо было сразу туда. Возвращаюсь бегом. И все-таки медленно. Время быстрее. Поздно. Вот я дома. Те же соседи. Мама еще за секунду видела, как я вбежал. И вот голова ее падает набок. Ненужная кислородная подушка валится у меня из рук. Мамы нет. Мы разминувшись. Я опоздал. От меня зависело. С той минуты я всегда это знал, но не говорил себе. И только здесь, только в оранжевом, белом тумане, перед моими собаками, одна из которых сегодня утром вернулась, только перед ними двумя я смог себе прошептать то, что и так знал всю мою жизнь.

Вот почему я зажмурился, но, стоя с закрытыми глазами, все равно видел ее молодое лицо. Мама по-прежнему смотрела мимо меня и думала о чем-то своем. И смеялась по-прежнему. Я чувствую, как пронизанный солнцем туман клубится над полем и обволакивает собак. Ничего не вижу, но различаю ласковое прикосновение тумана. Прикосновение к травам, собакам, а не ко мне. Туман собирает и растворяет в себе прощальный солнечный свет. Хочется крикнуть на все поле. Но быть может, в этой густой оранжевой дымке поле ничего не услышит. А Вилли и Биче знают и потому неотрывно глядят. Они видны сквозь эту золотую и теплую дымку. А я на них одних могу смотреть, не закрывая глаза.

И вот во мне повернулось и заболело последнее мгновение жизни мамы моей. Она еще могла увидеть меня. Дождалась. Не чувствует боли. Подушка уже не нужна. Все равно. Сынок мой. Какая-то сила держит меня. Что-то, пока тебе непонятное. Он роняет подушку. Нет, еще не роняет. Уронит сейчас. А я так боялась. Напрасно. Легко. Боль отпустила. Туман. Из рук моих выпадают оба мои поводка.

Подушка тогда опоздала. Я все время опаздываю. Почему? Не пора ли ответить. Солнце заходит. Уже дымка становится белой, как белая ночь. Но ведь сейчас любые ночи темны. Одно только белое светит. Ощупываю ногами. Тропа вполне различима. Стежка. Стега. Скоро не будет видно ни стьги. Не видно ни зги. Пора домой. По следам женщины в красном платке. Поднимаю оба утеранных поводка. Собаки не убежали. Куда повернем? Конечно, к дому. Куда еще? Мимо кладбища, где лежит Ермолаич. Если всмотреться – островок леса темнеет. Остров мертвых. Я кланяюсь молча. Биче залаяла. Она поняла. И не удержала свой голос. А я вздрагиваю. Узнаю. Тридцать лет минуло. Здесь, впервые – тот ее незабываемый лай.

Мы повернули. Под ногами тропа, а ты идешь – ничего не видишь. Вот небольшая дорожка. Вправо. Пристегиваю ошейники. Потемнело. Быстрей. Наташа нас ждет не дождется. Почему так долго? Что случилось? По лицу видит: было что-то еще более страшное, чем ночью во сне. Лицо мое побелело. Но собаки спокойны. Значит, опять все хорошо. Только очень трудно и больно. Как будем спать? Надо бы вместе. На одном этаже. Нас много. Никогда еще ничего подобного не бывало. А я думаю, мы сегодня снимем границу между явью и сном. И теперь наладим совсем другой распорядок ночи и дня. Какой? Не знаю. А вообще, говорит Наташа, мы сегодня уснем как убитые. Согласен? Попробуй, усни. Подымись на чердак. Собаки останутся здесь. Биче могла бы лечь между столом и кроватью в маленькой комнатке, там, где беленая печка. Место есть. Но она привыкла к другому. Не надо ее сбивать. Вот подстилка в ее прежнем углу. Помнишь, Биче? Ты здесь спала. Да и подстилка все та же. Биче ложится. Вилли прыгает на кровать. Собаки устроены.

Мы с Наташей долго сидим и молчим. Пора вслух читать «Илиаду». На сон грядущий. Пробую. Нет, невозможно. У него, у Гомера, чудес не бывает. Но даже великий старец не выдержал. Конь Ахиллеса повернулся головой к хозяину и заговорил. Предвещает смерть. Ахиллес его прерывает. Откладываю книгу с недочитанной песней. Как много стало чудес на земле. Я рассуждаю вслух, а сам хочу, чтобы спящая Биче заговорила. Ну, подними свою голову. Ну, погляди на меня сквозь полутьму нашей комнаты. А за окнами... черное побелело. Туман окружает весь дом. Поселок уходит в густое облако. Только в нашей комнате нет ничего.

Итак, я осознал новое горе. А что будет после полуночи? А что прояснится поутру на чердаке и в саду? Спи спокойно. Здесь никто ни в чем не повинен. Дай бог, чтобы я шагами своими никого не мог разбудить.

Боюсь выйти на улицу. Но как же добраться до лестницы на чердак. Только зажмурив глаза. И вдруг – все отлегло от души. Ну, конечно. Никаких снов. Ночное время пролетит быстрее, чем я думаю. Да, пролетит. Потому что завтра – как можно раньше – мы пойдем с собаками далеко-далеко, по ту сторону железной дороги, по лесу, по речке – до самой деревни Луги.

Я давно бы ушел. Наташа не отпускает меня. Отпусти. Если я там, наверху, не побуду один, то наше утреннее путешествие не состоится. Я должен перетерпеть эту ночь. Я не засну. Явь без моих засыпаний и снов.

Оказывается, труднее всего бродить, как утром, взад и вперед от двери к столу. За окном, если отодвинуть кружево занавески, тьма и туман. Сквозь него даже фонарь на столбе еле светит. Избы растворились во мраке. Больше за окном нет ничего. И вот, кажется, – белая дымка проникла даже в мою чердачную комнату. Шум и стук пишущей машинки не успокаивает меня. Лампа настольная под металлическим абажуром нагнулась над белым листом. Я еще больше ее нагибаю, так что она почти не светит.

Космическая бесконечность – под стропилами и вагонкой чердачного потолка. Задергиваю занавеску окна. И куда ни взгляну, отовсюду невидимое лицо мамы повернулось ко мне и смотрит на меня. Вот такая бессонная ночь. Самое верное. Куда страшнее годы и десятилетия одиночества без тебя. Нет, одиноким я не был. Но ты все это время думала о своем. Наконец ты ко мне повернулась. Но почему глядишь отовсюду? Я не зажмуриваю глаза и никуда не скроюсь. А потом настанет утро, и я пойду за тобой, где бы ты ни была. Собаки спят. Они поработали днем. А я только сейчас понимаю, что они сделали для меня. Самое страшное стало спасением.

А ты сейчас пробираешься где-то по берегу Ящеры. Одна. В белом тумане. Ты знаешь тропу. И я хорошо помню ее. Мысленно иду за тобой. Рядом с тобой. В чужую деревню. Поздно. А что остается? Нужно дойти. А там есть изба. Она станет моей. Как этот мой дом. Собаки, запоминайте дорогу. Завтра мы повторим этот путь. А теперь дальше иди без меня. Мы догоним. Шепот успокаивает углы. Невидимое лицо по-прежнему смотрит. Четыре лица. А я опять один, сам с собою на моем чердаке.

Погружение – главный подвиг жизни, завещанный матерью. Сколько пустых дней, месяцев, лет и десятилетий. Мама оттуда мне говорит. Почему оттуда? Вот она. Здесь я слышу и вижу ее. Тогда, при жизни, она обдумывала одну затаенную мысль. И эта мысль помогала ей преодолеть материнскую боль, не только предсмертную. Пока мама живет, ей больно, и в том состоит ее материнская жизнь. Она привыкает к боли и как будто уже не замечает ее. А вообще страдание нарастает. Освободиться нельзя.

Мой сын занят своими делами. Подвигом погружения. Я сама сказала ему. Еще маленькому. Шестилетнему. Я не угаила. И с тех пор началась наша особая жизнь. Он забыл о том, как мне больно. Помимо болезни. Помимо смерти. Но он делает единственное, что завещано мной. А боль так сильна, что продолжает болеть без меня. Он забывает об этом. Но к вечеру ему



становится тяжело. Как объяснить? Как понять? Это я смотрю отовсюду. Это меня он никак не может увидеть. И все-таки, наконец, он видит меня.

А та женщина в красном платке... Не буду о ней говорить и шептать. В ней скрыта главная тайна моя. Страшная – даже мне. Разгадка ее неизбежна. Мелодия погружения. Она помогла бы. Но он почему-то не слышит ее этой ночью. Да и как услышать. Белый туман поглощает звук. Но и он скоро перестанет быть белым. Вот он за окном – обыкновенный полночный туман.

Ритмы истории ощутимы. Ее тайные сдвиги совершаются ночью, когда никто не мешает. История наша не дремлет. И вот что поразительно. У тех, кто страдает бессонницей, – особенная белая пелена на глазах, сквозь которую не видно, как происходит ночное движение. И даже слух у них ограничен. Я бы сейчас охотно отключился. Потому что все вижу и слышу. Мама не дает мне уснуть. Я не могу избежать ее взгляда. Мама смотрит. И ничего. Напротив, мне так хорошо и приятно. Она давно поняла, как спасение совершается ночью.

Помню, такое бывало и прежде, когда мама еще жила рядом со мной. В большой комнате нашей старой ленинградской квартиры. Я трудился в малой комнате – один по ночам. У мамы погашен свет. А у меня горит моя любимая настольная лампа. У мамы бессонница. А я принуждаю себя. Хожу и не сплю. Потому что вижу и слышу. Кое-что приоткрыто. Воображай. Думай. Запоминай. Тогдашние повороты истории предупреждали о многом. Я знал и целую ночь ходил вокруг стола и ничего не записывал. Я воображал, думал, и забывал. Господи, ведь мне уже тогда исполнилось двадцать четыре года. Я все откладывал и откладывал. Разумеется, никто бы не поверил тому, что я знал. И уж точно: я не единственный с этим знанием. Прошло больше полвека. Понемногу история подтверждала наши предвидения. И еще подтвердит. Исполнилась малая часть. И опять – никто не поверит.

Мама тогда болела рядом, но я не видел ее лица. А теперь, под конец жизни, такая же ночь. На этот раз уберегу себя от молчания. Откладывать некуда. Мама тогда не просто мучалась отсутствием сна. Ее боль означала другое. Мама по-своему думала о том же, о чем думал и я. О том, что приоткрывалось. Она видела эти ночные сдвиги. Утром остается принять то, что свершилось. А изменения происходят сейчас. И это всего лишь начало. Надо оповестить. Тот, кто не делает ничего по следам угаанных знаний, тот совершает непоправимое.

Вот сын мой не спит. Бродит взад и вперед в своей комнате. Он должен записывать. А я бы ему прошептала открытые мне единственные слова. Но у меня, у матери, нет этих слов. Они открыты, но не отданы мне. Вот почему боль моя нарастает. А сын ходит и ходит и не может и не умеет помочь. Когда-нибудь ему самому станет больно. Как мне сейчас. И с ним что-то случится. То, что я уже испытала однажды. А сейчас вновь – темная комната. Шаги. Шаги. Сквозь стекла двери падает свет. И каждый шаг – ошибка и непоправимый поступок. Надо бы сына попросить о том, чтобы он не шумел. Но сил моих уже нет. Я засыпаю.

Заснула. И что это? Снова шаги. Уже другие. Тяжелые. И лампа другая. И я из углов моих все могу разглядеть. Почему я не чувствую боли? Успокойся. Ты все делаешь правильно. Только поздно. Ты опоздал на целую жизнь. И не только твою. Подожди. Не подходи к машинке и не нарушай тишину. И не нужно особых усилий. Та ночь и эта сомкнулись в одну. Вот она. Чувствуешь, как все идет неуклонно к одному и тому же? Ускорение. Утро. Акварельные контуры деревьев и крыш в белом тумане.

Предвидение проверяют. А я не люблю проверять. От моих проверок ничего не зависит. Ночные бдения тоже не обязательны. Грехи мои, прошлые и будущие, обнаруживаются, и число их растет. Объясните, что делать. Мама тут не поможет. И вот оказывается, единственный выход – проверить предвидения последних ночей. Там, где меньше всего заметны движения времени. Там, где, может быть, нет ничего. Там, как ночью, можно среди белого дня заметить важные изменения. А если их нет и все в порядке, маме моей станет легче. Она по-прежнему устает. Ведь это не первая ее бессонная ночь. Сколько их прошло без ответа. Отзыва нет – вот что тяжелее всего. Ждать уже невозможно. А небытие ждет чего-то и от себя, и от нас.

Вилли залаял вниз. Неуверенно. Как будто бы он проверяет – а вдруг я куда-нибудь ушел без него. Биче молчит. Она хорошо помнит, что уйти нигде нельзя. Она знает заранее все места, где мы еще не были. Она готова к походу. Вилли, я здесь. Я не один. А ты... Будешь меня охранять? Как вы спали? Хорошо? Перед нашим походом.

Я исповедуюсь утренней исповедью каждому из углов чердака. Надо быть чистым. Надо что-то решить. Надо на что-то ответить. Но материнская тишина меня успокаивает. Непроглядный туман – хороший признак. Ответишь себе самому. Кое в чем ты уже и не так виноват. Помнишь такое же утро, когда ты впервые решил дойти до деревни Луги?

Ты шел один, и никто тебе ничего тогда не объяснял. По твоей вине. Ведь на берегу Ящеры в тумане встречались какие-то люди. Можно было спросить, почему река сразу со всех сторон окружила тебя. Вот берег справа и слева одновременно. А впереди тоже Ящера поперек твоего пути. И позади – тоже река. Сколько их – этих Ящер? Люди в тумане знали, а ты стеснялся спросить.

Вечное твое прегрешение. Ты все хочешь сделать сам. Ну, делай, делай. В итоге в то утро, поплутав туда и сюда, вправо и влево, ты ничего не распугал и вернулся обратно. Целый день был потерян. Зато загадка осталась. Ты еще раз обрадовался тому, как много жизни у тебя впереди. А я ждала и не дождалась. Но я была где-то рядом. В тумане проступали прозрачные пятна деревьев. Красота и тайна. И еще тайна и красота. Вот все, что без меня ты изведal в то утро. И ты вернулся домой счастливый как никогда. И тебе мерещились образы – наподобие тех, которые до войны где-то здесь ты видел в окно вагона, когда мы ехали с папой твоим как раз мимо этих мест.

В те годы на сто первом километре не останавливались поезда. А мы возвращались откуда-то с юга. И за окном в тумане мелькали голубые пятна деревьев. Быстро, быстро. По ходу поезда. И ты хорошо запомнил... Однако – постой. И сейчас на чердаке у тебя в окно вставлена вагонная рама, совсем как та. Ермолаич поставил. А он ведь и до войны работал в этом поселке на железной дороге. Пощелкай пальцем, стекло отзывается глухо. Органичное и непробиваемое. Таких тогда еще быть не могло. А за окном туман. Все неподвижно. Выдумки. Вот закругления на углах. Стекло другое. Но рама та же. Почему я раньше не догадался? Вот покрашенные белилами знакомые щели. Вот мама рядом со мной.

## 8.

Не отговаривай. И не бойся. Да, я тебя понимаю. Уже два года я не делал таких переходов. По берегу до порогов и в деревню Луги.

Ну вот, конечно. Два года. Десять километров не шутка. А если что случится, как мне догадаться, где ты. А вдруг ты заблудился в лесу. Ты знаешь: там отойди от Ящеры, и очень легко заблудиться. Ну, допустим, ты проложил путь сквозь чашу вдоль берега и вышел к реке, туда, где еще лежат обугленные бревна и груды камней, все, что осталось от деревянного моста, который зачем-то сожгли, – ты перебрался через эти груды и бревна и течение реки на порогах тебя не сбilo, – что ты будешь делать вдали от дома, зачем пойдешь к деревне, которой, может быть, нет?

Пойми, она исчезла, как все теперь исчезает у нас, города, музеи, песни, язык, память и души людей. Нет, я не ошиблась, теперь уже душа едва ли бессмертна – ты не заметил, исчезают они, еще недавно живые. Да, исчезают. Они уже не умирают, как прежде. Они пропадают неизвестно куда. И ты погибнешь на этом пути. Ты не выдержишь.

А когда придешь на пустое место, где была деревня Луги, и вспомнишь, как мы до нее добивались вдвоем в последний раз и видели двух последних стариков у их опустелого дома и как сидели с ними на лавочке рядом и попросили напиток, а потом уже без меня ты еще раз туда пришел и увидел – деревню разбирают и увозят по бревнышку, а потом в самый последний раз вдвоем с внуком ты явился туда, и вы обнаружили только два дома и одного безумного жителя, – и вот если ты все это вспомнишь, и тебе станет плохо, и ты упадешь в траву на заросшей тропе, кого ты позовешь, кто поможет и кто тебя поднимет с земли?

А ты ведь знаешь, даже если бы я услышала твой голос, я бы уже не смогла дойти до тебя. Я буду звать, и никто не поверит мне. И никто не пойдет со мной. А я одна не дойду. Вместе с Вилли я бы тебя отпустила. Но что может он сделать? Такой маленький... Ну что ты смеешься? Тебе все смешно. Такое не говорят. Но ведь и о том, что исчезают живые души, нельзя говорить. А я это знаю точно. И ты это знаешь. И до сих пор никому не сказал. Потому что – нельзя. Но вот я говорю, как на исповеди – перед собой

и тобой. Нам остается только такая исповедь. Боже мой, до чего мы дожили. Только такая. Смейся.

У меня плохое предчувствие. Белый туман растает еще нескоро. А потом поздно будет идти. Может быть, ты еще не все мне сказал? Вилли, не лай! Ты видишь, собака волнуется. Детские выдумки, да, но они уже на грани жизни и смерти. Вспомни, Ермолаич в последние годы не ходил так далеко. И Коля не ходит. А он моложе тебя. Ну, вот хлеб на дорогу. Тут еще кое-что – на всякий случай. Что? Повтори. Знаю – ты хочешь мне объяснить.

Да, хочу, ты угадала. Я ведь иду – с двумя собаками. Вилли тоже теперь не один. Погляди – Биче молчит. Вытянула передние лапы в белых носочках, положила на них черную голову, смотрит и ждет. Не отговаривай и не бойся.

Очень смешной разговор. Правда, есть причины... Последнее время я часто, когда иду, теряю землю под ногами. Нет опоры. Молчу. Никому не рассказываю. Но бывает. Особенно после сна. Кружится голова. Еще немного, и упаду. Возраст и утомление. Сознания пока не терял ни разу. Но чувствую – в мои годы легко в какой-то момент поплыву и нырну. И тогда надо лежать подольше там, где упал. Думаю, когда-нибудь это случится. Лучше далеко не ходить. Однажды я в лесу чуть не упал. Но вовремя обнял сосновый ствол. А Вилли залаял. Все это глупости. Пока жена не узнала и пока ничего не случилось, пора идти в дальний поход. Километрами – по десяти в обе стороны. Туда и обратно. Мне ведь больше лет, чем на самом деле. Но прежде я ходил с одной собакой. А то и вовсе один. И если бы сейчас пошел без них двоих, то наверно бы выдержал. Но у жены – суеверие. Думает, они помогут. Обе что-нибудь сделают. Но если они рядом, значит, мы решили, что помощь непременно понадобится. Вот смешной разговор.

Конечно, силы уходят. Но время убыстрилось, и я прихватываю то, что ушло. Очень важный и до сих пор никем не открытый способ. Энергию из водорода, из воды. Уже научились. Или научатся. А силы – из ничего. Так просто. Я ведь уже давно мог догадаться, что действие происходит в будущем. Я значительно старше. Бытие забежало вперед. Можно вернуться. Но лучше не оглядываться назад. Осторожно. Там Эвридика. Выдержу. Недаром две собаки со мной. Они оглядываются на меня. Им это можно. Вот. Стал думать разумно. И сразу – прилив неожиданных сил. Да, неожиданных. Потому что их оказалось больше, чем я ожидал. Голова не кружится. И не надо следить за собой. Мне ведь на самом деле еще семьдесят лет. Но об этом не думай. Оглядка опасна. Прихватывай силы. На всякий случай. Все. Больше не надо.

Мы выходим на главную улицу. Дальше – налево к платформе, где останавливаются электрички. Или направо. Там переход и прямая дорога – через поселок и в лес. Воображаю, сейчас вдоль дороги лес будет еще красивей в тумане, ведь время далеко забежало вперед. Где однообразно тянулись кусты и невысокая роща справа и слева, теперь дорога пойдет по

аллее. Каждый год она все выше и выше. А тут уже несколько лет, опережающих нынешний год, прожиты всеми. Конечно, люди не замечают. Но мы втроем все видим и знаем. Туман клубится и движется медленно. Вот, наконец, он остановился и застыл перед нами ровною пеленой. А по бокам – дома или деревья? Дома не растут, значит, мы легко, незаметно миновали поселок. Последний подпертый плетень позади.

Дорога ровная. Значит, лес уже не рубят и не вывозят. Как хорошо. Где буксовала машина, теперь твердые приятные колеи. Природа и время поправляют все, что нарушено в этом красивом лесу. Чувствую – в нем что-то есть. А раньше он был пуст и неинтересен. Как все изменяется. Добротный запах накопленных сил. Биче готова свернуть. Но еще рано. Забыла. Надо пройти небольшой подъем по дороге, а там сосняк, малая просека, и по ней прямо к Ящере. Тут самое красивое место. Вижу, туман редет. Вилли, захватывая передними лапами, рвется вперед. Он знает.

Не успели мы оглянуться, туман улетел. Солнце прямо над нашей дорогой. Трудно смотреть. Собаки остановились. Гляди направо, налево. Канавы по обочинам, и тут же кусты и высокий лес. Такой высокий, что справа и слева кроны хотят сомкнуться над нами. Тогда, может быть, они закроют солнце. Но мы не доживем до такого чуда. Биче косится и оглядывается на меня. Вилли пристроился вслед за нею, так чтобы утренний свет не слепил собачьи глаза. Дальше, дальше. Я на каждом шагу разглядываю дорогу. Припекает. Левая колея освещена, а правая незаметно уходит в тень. Иди, вспоминай, думай. Лесной коридор не мешает. А главное, мы делаем сейчас то, что нужно. Впервые чувствую – местность понижается все больше и больше. А я прежде воображал здесь какой-то подъем. Было трудно, а теперь идти очень легко – потому что под гору. Незаметно. А вообще-то горы никакой нет, а Низовская уже далеко.

Мы погружаемся. В довоенном детстве я, наверно, боялся такого леса и все это знал в тот памятный день, когда мы проезжали из Луги в Ленинград мимо бесконечных лесных просторов, мимо Ящеры и станции Низовская. Тогда мы проехали мимо. А теперь я возвращаюсь в тот день, мысленно выхожу из вагона и как будто путешествую сам в местах, которых боялся. На самом деле ведь я здесь потом ходил много раз. Счастливый и молодой, то с вдвоем с Наташей, то с одной только Биче или с кем-то из наших гостей. Не важно. Одно с другим совместилось. До сих пор это страна отсутствия моего. Здесь по правде я появляюсь впервые. Путешествие неизбежно, и я начинаю многое понимать. Именно здесь, там, где ясно, что мы скоро свернем на левую просеку. Именно там, где остальное за нашей спиной. Железная дорога, Луга и Петербург – а впереди одна деревня Луги, о которой мы даже не знаем, есть она или нет. Мы идем, значит, она будет. И уже сейчас она есть. Все ниже и ниже. Все больше и больше путешествие похоже на правду.

И, как будто подтверждая мои откровения, там, где я ожидал, где у левой обочины солнце особенно припекает, вижу – змея свернулась и греется прямо

на самой дороге. Доверчиво. Нет никого. И никто не придет. Греется и не спит. Она, конечно, увидела нас втроем – и ничего. Продолжает лежать. Она черно-синяя. Красивый царственный цвет. Удерживаю собак. Узнаю.

Вилличка онемел. Обычно, он лает перед странным предметом. А здесь – и без моего поводка, сам притормозил свой ход передними лапами. И не лает, и не пытается подойти. Биче, по-моему, что-то вспомнила и замахала хвостом. Тут Вилличка взвыл тоненьким голосом и сразу притих. Но хвост его ходит – осторожно и вдруг бешено-радостно. Вилли узнает кого-то и не верит себе. Люблю такие минуты. Овчарка садится и готова долго сидеть. Я не знаю, что делать. Потом говорю, как в сказке, обращаясь к змее. Чтоб все было понятно собакам. Узнать – это еще недостаточно. Нужно найти в себе что-то особое. В память о том, что было. Змея поднимает голову Доверчиво и спокойно. Подумав, оборачивается, разворачивает клубок и медленно уползает. Господи. Это она. Та самая. Или она, или тень от сучка, и солнце

поплыло так быстро. Нет, никаких подобий и аллегорий. Черно-синий хвост исчезает в траве.

Все понятно. Мы встретимся там, в лесу. Просека в двух шагах. Но как это? Колея ускользает у меня из-под ног. Легко. Приятно. Сам не знаю. Стоял. Стоял. И вот – лежу на земле. Сознание полное. Тела не чувствую. Вижу. Слышу. Лежу. Думаю. Возвращаю себя. И вдруг – новые силы. Много, много молодых неожиданных сил.

Хорошо. Я здесь. Теперь надо прервать путешествие. Понятно. По той же дороге назад. Но откуда новые силы? Они поднимают меня с земли. Встаю, как во сне. Кто-то невидимый помогает. Вот я уже на ногах. То, что случилось, больше не повторится. Вот и собаки – вида не подают. Ничего не было. Обе глядят в сторону. Вот место, где только что исчезла гадюка. Они даже не услышали, как я упал. Кожаный поводок с карабином лежит на дороге. Подымаю, пока Вилличка не заметил.

Что это было? Землю как будто бы выдернули у меня из-под ног. А собаки спокойны. Жаль, что я не могу их спросить. Здесь граница человеческого ума. Невероятно. Вот реальность. И уж от нее, действительно, уйти невозможно. Хорошо, если бы одна Биче, я бы еще мог догадаться. Но оказывается, Вилли поправляет меня. Ладно. По пути в Луги попробую разрешить эту загадку. Она не самая важная. Тем более, тайны везде.

Царственная гадюка – тоже одна из тайн. Мы ведь с этой змеей встречались четыре года тому назад. Здесь, в лесу. Дважды встречались. Один раз – у левой обочины. Она, как сегодня, грелась на солнце. Но тогда я обошел ее, и царица осталась на месте. А потом я еще раз увидел ее на земляничной полянке у черного ручья в глубине леса на пути к Ящере.

Помню, она обвила старый гнилой пенёк и подняла голову мне навстречу. И еще показалось, что у нее прямо на лбу золотая корона. Маленькая. Но зубцы длинные. Вспыхнула и пропала. Я постоял и запел. Мои любимые арии. Долго пел. А потом собирал землянику. И пока собирал, черные извивы змеи куда-то пропали. Никого не было рядом. Некому было спугнуть черно-

синюю царицу мою. Замшелый гнилой пенёк. Куда она скрылась? Ведь я не просто пел, но о чем-то ее просил. И мне тогда показалось, что она выполнит просьбу. Неужели четыре года спустя она разыскала меня?

Чем больше мы думаем, тем живее наше намерение дойти до Лугов. Но как теперь пробираться? Влево по просеке – к земляничному берегу и ручью в густой непролазной чаще или дальше по дороге, вспоминая, куда свернуть, чтобы наугад выйти к большой Ящере, минуя заливные луга и узенькие тропинки.

Зменя пригласила туда, к ручью. Но собаки идти не хотят. Они тянут вниз по дороге. Я останавливаю их и спрашиваю вслух ту и другую. Они отвечают молча. Единодушно. Вилли рванул вперед. Мимо левой просеки. Биче – за ним, как большая тень. А я третий. Он, маленький, ведет нас обоих.

Нет, нет, мы не разминулись. Мы встретились и разошлись в ожидании новой встречи. А может быть, это последняя? Где она – твоя золотая корона? Где вспыхивает и пропадает? Буду рассказывать Биче и Вилли. То, что я говорил на земляничной полянке. Все – от слова до слова. Тогда состоялась моя главная исповедь.

Вот она. Много сказано. Зачем повторять? Но я повторяю. Никто не слышит, кроме собак. Елки, березы, осины, кусты справа и слева тоже прислушались. Они другие. Выросли. Расправили кроны. В полной силе. У них совсем особая жизнь. Можно послушать. Позади годы юного равнодушия. Тогда нужно было тянуться вверх. А теперь простор завоеван. Говорите друг с другом и узнавайте любого из тех, кто идет по дороге. Любого из нас. А человеческий голос – это не ветер. Мы в ответ ему говорим на своем языке. Молчанием и чуть заметным движением веток. Пусть этот голос один раздастся и уходит куда-то. Надо жить и молиться так, чтобы не было нужды исповедоваться. Или быть как ветер. Скажет и пропадет.

Она могла пройти только здесь. Вчера, когда к вечеру быстро темнело. Белье колеи видны в темноте. Она шла и молчала. И те же деревья неподвижно и безмолвно провожали ее. Ничего. Мы дойдем. У нас впереди целый день. Я говорю и сам не слышу себя. Но слова приходят легко. И так же легко пропадают. Но они остаются там, где я их сказал. Не забывай, чтобы не возвращаться назад. Вилли тянет. Откуда в нем столько силы? Он учит – нельзя ничего забывать. Мы возвращаться не будем. Главное впереди. А ты говори. Становится легче. А будет еще лучше и веселей. По следам. По следам. Ночь была теплая и безлюдная. Вот следы сохранились. Ты не видишь? Напрасно. Мой нюх вернее глаз и отвечает словам. Говори. Говори.

Я перечисляю те случаи, поступки и мысли и многие, многие сны, после которых жизнь кажется конченной. Как их много. У исповеди необъятная память. Если не прерывать. Да, их много. Двум собакам трудно вместить. Я себя оставляю березам, елкам, осинам. Они спокойно принимают слова. А собаки рвутся вперед. И теперь уже Биче соревнуется с Вилли. И, к моей

радости, не может его обогнать. Потому что я сдерживаю. Биче оглядывается недоуменно. Она вспоминает. Самое время ее отпустить. Именно так было когда-то. Почему я не отстегиваю карабин? Ведь вот и Вилли знает, куда идти. Чего хозяин боится? Нет никого. А, наверно, он думает – мы не услышим его долгие речи. Ладно. Если нужно, пусть будет, как он хочет сейчас. Легче. Легче. Он почти бежит с поводками в руках. Если даже он упадет, мы его вынесем вместе. Потащим. И он встанет и побежит.

Все повороты вправо и влево уже промелькнули. Сейчас начнется чуть заметный подъем. Белая дорога становится желтой. Песок под ногами. А вот ручей, из которого я обычно пил, возвращаясь назад. Поперек дороги закопана в землю труба. Ручей по трубе вытекает на правую сторону. А перед этим мостиком приятная песчаная ямка, и в ней всегда хорошая, прозрачная питьевая вода. Собаки пьют. Я замолкаю и тоже спускаюсь к ямке, зачерпываю ладошкой. Мы натрое делим кусочек хлеба.

Вот я сажусь на бетонный выступ и отпускаю собак. Они пропадают и возвращаются. На дороге нет никого. Горькое что-то собирается у меня в груди. Я глотаю напрасно. Горечь и воду. Заедаю кусочком ржаного пахучего хлеба. Невозможно причастие. Оглядываюсь. Кажется, я один. Можно плакать. Если бы я умел. Опускаю голову. Отгоняю спазму. Ничего нельзя отогнать. Зачем я оставлял на дороге слова? Они собрались во мне.

Песчаный подъем. Справа сосняк. Самый лучший в этом лесу. Все-таки что-то удалось выразить в слове. А может быть, по другой причине полегчало. А ведь я так и не сумел разрыдаться. Мне казалось, что кто-то может услышать. Кто-то, кроме собак, елок, берез и осин. Сосны меня смугили. Выглядывают из-за густой лиственной чащи, которая тянется, как стена, вдоль дороги. Нет, сосны требуют, а не сочувствуют, как березы и ели. Слабость моя никому не нужна. Тем более, назрело что-то странное справа. Там дикий лес, в который я никогда не заглядывал. Все было темно и ровно. Вдруг. Что это? Вроде бы стволы поредели. Просветы неба. Вырубки нет. Но здесь, далеко от Лугов и железной дороги, кто-то построил избу. Подходим. И впрямь – небольшая изба. Перед ней загородочка из тонких стволов. А за избой – малый участок, вырубленный в лесу для огорода. Хозяйство. Откуда? Здесь его не было никогда. Одно. Кто может строиться в таком одиночестве? Лесник? У него другой хутор – ближе к поселку. Нет, здесь что-то не то.

Новая тайна? Собаки не лают. Для них ничего удивительного. Но вот Вилли остановился и посмотрел на меня. Как будто бы он довел до цели и дальше не знает, куда идти. Обогнуть избу, постучаться в дверь и спросить? О чем? Я уже приготовился и решился. Только не в дверь, а в окно, которое выходит на лесную дорогу. Да. Я уже хотел перепрыгнуть через канавку. И вдруг меня охватила тоска. Неужели нашел? Неужели все, и больше уже не надо путешествовать и идти по следам. Если все найдено, то кончена жизнь – это я понимаю прекрасно. Что же такое? Постучать в стекло и зажмурить глаза, чтобы теперь уже всерьез ничего не увидеть? Продлить хоть ненадолго



то, что вроде бы не имеет конца? Это смешно. Стучишь в стекло и не хочешь видеть. Поздно. Ты уже увидел. И теперь ничего поправить нельзя. Тебя видели тоже.

Да. За стеклом – лицо, женская голова в красном платке. На этот раз мама глядит мне прямо в глаза. Что со мной происходит? За стеклом темно. Мама глядит сквозь тьму. В стекле отражается яркая зелень, освещенная солнцем. Отражение спит, но сквозь него я все-таки вижу лицо. И этот красный платок и овалный вырез белого платья. Вот-вот лицо пропадет. А зеленое отраженье деревьев останется и закроет все, что можно увидеть. Радость или тоска – не пойму? Неужели тоска сильнее? Женщина пропадает. И теперь трудно сказать, была она или только привиделась мне. Что же? Постучать в стекло. Но я не могу. Если никто не смотрит, значит, не все кончено для меня. Жду. Она сейчас опять подойдет. Глянет оттуда, и тогда постучу. Иначе уже нельзя. Жду. Всматриваюсь сквозь яркое отражение во тьму за стеклом окна. Появись. Посмотри оттуда.

Горечь все больше и больше. Трудно дышать. Но понемногу я понимаю: да, это конец – и уже не боюсь моей радости. Как ясно и просто. Надо всего лишь не побояться. Той радости, для которой живешь. Достижение и горечь – одно и то же. Ты не мог догадаться. Ну, вот она. И все-таки подожду. Пусть подойдет к окну. Пусть посмотрит оттуда. Нет, не подходит. И, видимо, не подойдет и не глянет. Она есть, но она там – за изумрудным черным стеклом.

Мама выходит на лесную дорогу и окликает меня. Окликает, не называя по имени. Вилли медленно подходит к ней. Биче остается со мной. А я как вкопанный. Женщина окликает меня еще раз. И я тут же забываю слова, с которыми она ко мне обратилась. Что мне ответить? Голос ее узнаю. А ведь я не слышал его больше полвека. Узнаю тот голос, каким он был для меня, пятилетнего, еще до войны. Зачем она вышла из дома? Не потому что узнала. Нет, я не узнаваем. А она узнаваема. Она, такая, уже была. А меня, взрослого, седого, не было и быть не могло. Двадцатидвухлетний был для нее, но с тех пор я тоже на себя уже не похож. И все-таки она меня узнает. Вот сейчас поймает мой взгляд. А потом позовет по имени. И что тогда? Я разучился быть ребенком. Я забыл себя, пятилетнего. Но это легко. Вспоминаю. Быстро и весело. Почему я раньше так не умел? Что? Об этом спросить мою маму? Потом. Потом. Не сейчас.

Стою. Говорю. Отвечаю. Что? Не помню. Мы говорим о другом. Я к ней обращаюсь на вы. Она узнает, но боится прямо сказать. Вот, чтобы скрыть волнение, посмотрела в сторону. Молчит. Потом объясняет, зачем изба так далеко в лесу. Я ее не могу понять и спрашиваю, сколько еще идти до деревни Луги, а, кроме того, есть ли она сама – эта деревня. Женщина смотрит, как мама, когда я говорил ей неправду. Я не выдерживал, опускал глаза и сейчас опускаю. Мама вышла, чтобы повернуть назад, к нашему дому. Вилличка весело оглядывается на меня. Что? Возвращаемся вместе? Нет, она вернется одна. Легко понять.

Ну, скажи, скажи... Останови свою маму. У нее дела где-то в Сорочкино. За Низовской. Далеко. До Лугов оттуда полдня пешего хода. Какие дела? Откуда я знаю? Даже о них спросить не могу. И вот я произношу, наконец, нужное слово. И почему-то вновь зажмуриваю глаза. По тому, как Биче прижалась к моей ноге, понимаю – женщина остановилась. Она раздумывает. Она не может решиться. Наконец, подходит ко мне.

Дальше – выпадение памяти. Ничего не помню и не вспоминаю. Она обнимает меня и ведет в свой дом. Какое Сорочкино? Вилли бежит впереди – по ступеням крыльца. Биче плетется сзади. Не хочу ничего видеть и только слышу дыхание овчарки. Не оборачиваюсь. Крыльцо. Оно совсем еще новое. Новый порог. Он окрашен в тот же цвет, что и половицы на моем чердаке. Та же по цвету новая краска. Запах. Сени. Темно. Знаю. Здесь двери – одна против другой. В две разные комнаты.

Входим в ту, что направо. Отсюда окно глядит на лесную дорогу. Окно большое. Но света в комнате мало. Бревенчатые стены забиты вагонкой. Такой же, как на моем чердаке. Нет никаких обоев. Стол у окна. Маленький легкий стол. Мама отодвигает его. Свет падает слева. Садись и пиши. Но мы за столом напротив друг друга. Биче – рядом. Вилли у меня на коленях. Сейчас я должен открыть матери то, что она знает сама. Шепотом или в голос. Нужны слова. Такие, чтобы она приняла их. Любое верное слово. Одно. И все будет кончено.

## 9.

Слово никак не вспоминается. Нет его. А то, что надо выразить, мама ни разу не вызывала из памяти. Но самое невероятное – она меня узнает и не может понять, что она моя мама. Что за чудо? Кивает головой. Снова обнимает. Ставит на стол какое-то угощение. Улыбается, вспоминая детали еще довоенной давности. На голове красный платок. Помнит отца моего. До сих пор он ее единственная любовь. Он ее муж. И вся моя жизнь до двадцати двух лет – вся ей известна. Впрочем, верно ли? Я ей напоминаю – она соглашается. И не больше того. А то, что она моя мама – ей неизвестно. Удивляется, но не считает меня сумасшедшим. Напротив, готова еще и еще раз обнять.

Обнимает. Господи... То же прикосновение. Родное, как жизнь. И все равно – сомнение. Она как будто успокаивает меня. Кивает головой, но повторяет знакомым шепотом: «Нет, я не знаю, что я твоя мама». Ну, теперь ты узнала? Да, – отвечает. Чувствую – ты не обманываешь. Но я бы никогда не подумала. Ну, хорошо, хорошо. А все-таки... Ты ведь вдвое старше меня. Правда? Подумай, мне только сорок. А тебе... Не говори. Знаю. Непонятно, откуда. Сообрази, такого не может быть. Что? Имеет значение? Ладно. Будем считать, что все – как ты говоришь. А хочешь – я тебе объясню. Ты как будто совсем незнакомый. Вижу тебя второй раз. Позавчера и сегодня. Но я, как увидела из окна, сразу вышла к тебе.

Да, вышла к тебе. Это я придумала, что мне что-то нужно в Сорочкино. Придумала и пошла бы, если бы ты не сказал то самое слово. Не помню, какое. Ты сказал, и я поняла, что уже давно тебя ожидаю. Как сына, которого потеряла. Ты мне родной, но я думала, что ты все-таки для меня кто-то другой. И вот оказалось – я твоя мама. Ну, пусть так и будет. А я расскажу, если хочешь, все о себе. Ты узнаешь. Потом. Сейчас не до этого. Наверно, ты прав. Надо привыкнуть к мысли. Я слишком долго ждала. Боже, сколько пришлось пережить. Я потеряла... мужа и сына. Какого мужа? Моего отца? Нет, у меня был другой муж. Тоже как твой отец. Поэтому я соглашаюсь. Помню. Признаю все, что ты говоришь. И чем дальше, тем больше.

Я ждала, что кто-то вот так же придет ко мне, и мы сядем за этот столик. И я угощу родного гостя – чем бог послал. И мне станет легче, полегчает, как нам сейчас. Как тебе полегчало. Счастья много, если его не отталкивать и не гнать от себя. Я жила для него, для такого счастья. Хочешь, я тебе скажу, и кончим наш разговор. Я ведь ошиблась всего несколько раз. Но совесть моя спокойна. Я не виновата в том, что потеряла мужа и сына. Так было и с твоей матерью. Ты согласен, потому что я для тебя это она. Может быть. Но ты чувствуешь свою вину перед ней? Да? Чувствуешь? Буду говорить по-твоему. Ладно. Ты прав, наверно. Расскажи мне все... Или прервем разговор? Чуть было не сказала: «сын»... Ты прав. Я чего-то не знаю. Давай не будем об этом. Расскажи мне все. Нет, не надо. Я знаю и так.

Ты, как был в детстве, так и остался человеком большого труда. Не смейся и не качай головой. Остался. Но ты знаешь, насколько жутко и больно тому, кто трудится подобно тебе. Надо жить, а жить это значит видеть все и на все отвечать любовью. В тебе это было всегда. Но труд отвлекает от жизни. Люди перестают видеть и слышать то, что происходит с теми, кто ближе всего на свете. То, что вокруг, обгоняет их. Так и с тобой. Мне было больно, и ты не почувствовал мою боль в ту минуту. Потому и побежал не туда. И даже не побежал, а пошел. А потом испугался. Побежал еще быстрее, как надо. Но было уже поздно. Тебя мучает память о кислородной подушке. В ней была моя жизнь. И я знала, что ты опоздаешь. Боль отпустила меня. Я словно видела, как ты бежишь. Ты повторял себе, что все обойдется. А на самом деле во мне уже что-то оборвалось. Боль отпустила, потому что я привыкала к новому состоянию наступающей смерти. Она уже наступила, но я еще могла видеть и слышать. Надо было, чтобы только ты успел добежать до меня с этой подушкой. Ты мог меня застать и застал. И тут голова моя повалилась набок. Я знала, но уже не видела и не слышала. Или нет, я уже видела и слышала совсем другое, а знала, что ты стоишь рядом со мной. Подушка упала у тебя из рук. Ты опоздал и потом в конце-концов понял все, что случилось. Ты, сынок, не добежал до меня. Ты и тогда трудился над какой-то фразой, сам не зная об этом. А я уходила все дальше и дальше.

Почему у тебя две собаки? Не могу объяснить, как мне приятно, что они

рядом с тобой. У меня своя жизнь, и то, что я тебе рассказала, это всего лишь твои слова, которые ты хочешь мне сказать и скажешь, если успеешь добежать и догонишь меня. Делать это надо сейчас. И тогда ты поправишь то, что пока поправить могут они. Вот они смотрят. Уж они, поверь, не упустят меня. Черная думает о другом. Как я, когда проходила мимо тебя. А шоколадный дышит близкой любовью. Ну, положи голову, закрой свои карие глазки, подремли хоть немного. Нет, он сторожит меня. И скоро догадается, что надо сделать. У меня ведь была собака. Большая овчарка – такая, как эта. Я тогда жила в деревне Луги. В избе, самой дальней от песчаной дороги. Ты ни разу не дошел до меня. А я тебя ожидала. Эта избушка совсем другая. Но там был такой столик и такое окно. Ты мотаешь головой. Собаки насторожились. Постарайся, чтобы та и другая не покидали тебя. Тогда мы сможем, хотя бы изредка, видеть друг друга. Ты узнаешь все о моей жизни. Покушай. Твой любимый стакан сметаны и кусок черного хлеба. Я знаю, что тебе нужно. Подожди – овчарке дам кукурузной каши. А шоколадному Вилли то, что он любит. Прямо здесь. В сени они не пойдут. Не только Вилли, но и Биче.

В комнате мало света. Но отсюда я хорошо вижу всех, кто идет по дороге. Ты посиди. Подумай. Не огорчайся. Почему Биче оглядывается на дверь? Там нет никого. Ты уже здесь. А та моя собака пропала. Как? Не надо рассказывать. Тогда я решила переехать в Сорочкино. Подальше. Дом прямо на берегу Ящеры. Там, далеко. Я и теперь в нем живу. А эта избушка – совсем другое. Собака пропала. Давно. Вот она вернулась ко мне.

Зачем ты удивляешься, что я все это знаю. Ты ведь мне объяснил. Ты что? – не заметил? Остальное – совсем нетрудно понять. Кушай. Кушай. Бери пример с Вилли и Биче. Ты так их назвал? Смотри, как они едят. А я будто нарочно сварила целую кастрюлю кукурузной каши. Зачем – не знаю. Она остыла. Но она еще теплая. Собаке хватит. Последнее время – я делаю что-то – не знаю зачем. Вот хотела идти в Сорочкино. А по правде – ждала тебя. Хожу из дома в дом, по этой дороге. Третий день я хожу. А что ты все спрашиваешь о Лугах? Я там не была много лет. И больше туда не пойду. И ты успокойся. То, чем ты виноват перед мамой, еще повторится не раз. Почему ты решил, что кто-то отпустит вину? Нет, она останется, и с ней надо жить. Вот я живу – без вины. И твоя мама ни в чем не была виновата. Я все знаю о ней. Можешь верить. Говорю, как на исповеди. Но жизнь – это сплошная боль – для тех, кто способен чувствовать боль. Мы с тобой – чувствуем. И боль наша – одна. Как получилось – не знаю. Твоя и моя.

Кто-то построил в лесу избу для меня. Сказка. Все здесь есть. Продукты ношу из Сорочкино. Кто-то любит меня. А может быть, нет. Изба появилась. Этот кто-то меня позвал. А сам он здесь, когда я ухожу. Неужели тебе интересно все это слушать? Возвращаюсь – дрова нарублены. Сложены в нашем сарайчике. Ладно. Пока больше не прибавлю ни слова. Новая та же

самая боль. Ты вспоминаешь, как один старый художник, после смерти отца твоего, полюбил твою маму, а ты помешал. Ты сделал так, что они из-за тебя не стали жить вместе. Почему так случилось? Ты виноват. Ладно. Ладно. Мама решила. Сама. Ты ей помог. Ты был доволен, почувствовал силу свою. Мама в душе благодарила тебя. Нет, у меня жизнь другая. Не надо сравнивать. Но я почему-то ждала, когда вы придете – втроем. И вот мы встретились в поле вчера. Помнишь? Я шла из Сорочкино. Увидела вас. Поспешила сюда. И стала ждать. И дождалась.

Ты спрашиваешь меня, что было ночью? А почему ты об этом спросил? А... Ты опять объясняешь. А я уже поняла. Без твоих слов. Там, где вы живете. На чердаке. Целую ночь. Вот почему я ждала, что вы придете сегодня. Вот почему сварила кашу. Приготовила корм. Понемногу все станет понятно. Вы не спешите. Вот шоколадный куда не хочет идти. Вот он прыгнул к тебе на колени. Свернулся. А за окном тишина. Мама твоя любила такое загибать в лесу. Да, да. Конечно. Я твоя мама. А до войны в Лугах была церковь. Мне говорили. Кажется иногда, что она и сейчас там стоит. Посредине. Вы тогда проезжали в поезде мимо станции и мимо дальних Лугов. Мимо того поселка, где забытая церковь стояла.

Ее забыли разрушить. Сто пятый километр. Там текла особая жизнь. Меня тогда еще не было. Храм разрушили после войны. Вы ничего не знали. И я не могла знать. Но мама твоя догадывалась. Точно так же, как я сейчас. И было ей горько и больно. Горько не за себя. А за то, чего мы не знаем. Она думала о первом погибшем сыне. А ты, второй, сидел рядом с ней у окна. И смотрел в ту сторону, где за лесною глушью, в тумане, за извидами Ящеры, жил неизвестный поселок. Поезд летел мимо. И ей было горько и больно.

Ты спрашиваешь, как я потеряла мужа и сына. Ты все хочешь знать о своей маме. Спроси о сто пятом километре. Как мы здесь оказались. А лучше подумай сам. Вы проскочили. А нам уже давно выпала судьба поселиться в этих местах. Я еще не родилась. А потом война. Здесь были немцы. Они доехали до Лугов. По большой дороге. Они стояли в Низовской и в Лугах. А по болотам и лесам вдоль Ящеры и в глуши – партизаны, целое партизанское царство. Немцы боялись Ящеры, болот и лесов. И вот здесь, этого места они боялись. Тропка узкая. А вправо и влево – опасно. То, что происходило там, на лесной речке, не знает никто. А теперь в еловой чаще на горке ты видишь остатки замшелой партизанской землянки. Но это все ты знаешь и сам. Я это знаю, как ты, как знала бы мама твоя. Но вы проскочили мимо. А вот моя мама жила здесь. И только. Вся разница. Остальное похоже, как если бы это была одна судьба. А потом я училась и была учительницей. Ты сам учитель всю жизнь. В Лугах строили школу. Меня послали сюда. Потом укрупнили школу в Низовской. Я работала там, пока ее не сожгли. Два года назад. А еще раньше сгорел мост через Ящеру – почти прямо перед Лугами. Я уже тогда не ходила этой дорогой. Я тогда жила в Сорочкино. Ты знаешь. Не нужно об этом. Ведь мы понимаем друг друга.

Нужны иные слова. Тебе кажется, что нет ни этой избы, ни меня. В красном платке. Нет меня. Твоей мамы. А ты не сидишь у окна за столиком напротив меня, а стоишь с двумя собаками на лесной дороге. Вполне возможно. Думай, как хочешь. Но ты не станешь так думать. Лесное затишье. Крыша над головой. Запах жилья, дерева, краски. Запах каши. Той, которой уже не осталось. Миска вылизана до конца. Можешь потрогать. Овчарку нельзя обмануть. Хочешь – спроси у нее. А твой шоколадный Вилли не мог бы заснуть, покушав любимого корма. Я припасла еду, ожидая тебя. Вот он спит у тебя на коленях. Как дома. Да это и есть твой дом. Только ты не ищи его в далеких Лугах, где я уже не живу давно. Приходи сюда завтра. А сейчас – взгляни поскорее в окно. Погода меняется. Было такое прекрасное утро. Небо стало густым, непроглядным. Или гроза или дождь. Успеешь вернуться домой. Из дома в дом. А в Луги не надо идти. Что? Почему? Не надо. Не надо. Овчарка дышит прерывисто. И даже свистит и стонет в голос. И если ты встанешь – она сорвется с места. Не смотри на нее. Так хорошо и уютно. Переждать любой дождь и грозу. Но я знаю – теперь она поведет тебя и Вилли в самую глушь. Ей легко, а вы пострадаете оба. Здесь, в глуши и в низине, особенно по берегу Ящеры, там, далеко, ужасные грозы. Там почему-то бродят и сгущаются тучи. Там, если попадете под ливень, – страшно подумать. Пережди здесь. Ты еще не все сказал. Если раздумаешь, сворачивай назад и постучи в это окно. Я никуда не уйду.

Знаю – ты не свернешь. Собака тебя не отпустит. Что-то случилось в глуши, в лесу, у ручья, на земляничной полянке. Что-то сейчас происходит. Нет, еще не произошло. Успокойся. Видишь – собака легла. Миновало. Овчарка закрыла глаза. Сиди. Слушай и не говори. Люблю затишье перед грозой. И твоя мама любила. И сын мой любил.

Мама тебе еще во время войны, когда вы жили в Киргизии, рассказывала о том, как погиб твой брат и как через два года после смерти его родился ты. Она все говорила тебе – шестилетнему. Вспомни, что было с тобой, когда ты слышал ее рассказ. Вот еще одна тайна. И еще одна большая вина. Ты слушал тихий голос мамы – такой же, как у меня сейчас – и ты боялся взглянуть на нее, ты ничего не хотел видеть, ты думал, что она что-нибудь скажет о тебе. Скажет о том, чего ты боялся. Ведь если бы не погиб твой брат, быть может, и ты бы не мог родиться. Мальчик погиб, когда ему исполнилось одиннадцать лет. А тебе шесть, и ты живешь вместо него. Ты другой, но для мамы ты... Кто может понять? Никто на свете... Одна только я. И твоя Наташа. Она понимает.

Помнишь, мама что-то шила, а ты сидел рядом с ней. Отец твой писал этюд на веранде. Погода портилась. Вот как сейчас. Отец кончит работу и выйдет в комнату. Надо спешить и кое-что еще досказать шестилетнему сыну. Вот он слушает. Притих. Что будет в его душе, если мальчик поймет? И ты понял не до конца, и только сейчас можешь утолить свою вольную или

невольную вину за то, что тогда не понял. А перед кем вина? Я не знаю. Наверно, передо мной. Мама страдала, и я страдаю той же болью и той же тоской. И она любила тебя, как даже мама любить не может. А ты чувствовал ее любовь и был счастлив и радовался, как может радоваться шестилетний ребенок. Но ты знал о страдании матери. Вот вы вернулись в Ленинград после Победы. И вырос ты и ни разу не сказал маме то, что нужно было сказать. Ты откладывал. Ты опоздал.

А сейчас, в этой избушке, можешь исправить свой грех, искупить вину. Ты уже исправил. Потому что я все за тебя сказала. Ты молчишь и молчал, пока я говорила с тобой. Ну, конечно. Я простила... Но ты правильно понял, что никакому греху искупленья не будет. Я отпустила. Но ты не принял. Не покачивай головой. Не улыбайся. От мамы не скроешь. Давай о другом. Ты виноват. Но ты ведь ни разу не говорил маме ни об одном из своих грехов перед ней. Даже когда признавался и просил прощенья. Было несколько раз. Такой характер. А со мною легко. Ты молчишь, потому что я говорю и рассказываю все о тебе. Твоими словами. Соглашайся. Кивай головой. Собаки следят за каждым твоим движеньем. И повторяют его движением глаз. Давай о другом. О твоём брате. О моем сыне.

Мама ни разу не заплакала при тебе о нем. До твоего рождения два года прошло. Все выплакала. И я не заплачу. Тоже два года. А может быть, еще больше двух лет. Не приведи бог... Но, как видишь, мы встретились. Овчарка подходит ко мне. Кладет мне голову на колени. Что? Признала? Нет, еще не настала минута. Не надо смотреть ей в глаза. Признает...

А ты не боишься?.. Ну, давай... Прошепчи то, что не произносил целую жизнь. Биче твоя говорит глазами. Но она не признала... Что это? Ресницы блестят, как будто в них набегают слезы. Ты помнишь? Тихо. В комнате – полутьма. Стакан со сметаной так и не тронут. Лиловый мрак за окном. Дождя долго не будет. Хлеб на столе. Поешь и возьми в дорогу.

Ты по-прежнему думаешь много?.. Больше, чем нужно для дела. Мама твоя тоже любила так думать. Ты сидишь рядом. Она размышляет вслух. Ты удивительно долго, почти без времени, слушал ее. И думал сам. И был с нею согласен во всем. Таких сыновей мало. Это я тебе говорю. Но мама твоя думала так же. А ты слушал и размышлял о ней. И о том, что таких матерей больше нет. Как видишь, ты ошибался. Вот сейчас происходит все то, что было тогда. Я говорю. Ты молчишь. И ты согласен со мной. Но думаешь – такого не может быть. Никто никогда не поверит, если расскажешь об этом. Наташа поверит. Она уже знает. И потому отпустила тебя. И дала вам троим хлеб на дорогу.

Она ведь – помнишь? – видела маму твою. Больную. Незадолго до смерти. Мама догадывалась, как дальше пойдет вся твоя жизнь вместе с молодой и красивой женой. Как вы будете счастливы. Она успела ее полюбить. А Наташа во всем понимала маму твою. Ничего или почти ничего не зная о ней. Мама ей что-то передала. В последние минуты, когда ты бежал за

кислородной подушкой, а боль отпустила, она подумала, что Наташа стоит рядом и, душой повторяя мою смерть, ждет, когда ты придешь. Врач закрывает свой чемоданчик, он уже ничего сделать не может. Он долго ждал и смотрел на часы. На самом деле рядом Наташи не было. Но мама, закрыв глаза, вообразила ее и что-то мысленно ей прошептала. Тихим шепотом, как я прошептала сейчас.

Неужели мы не увидимся больше? Ты все-таки прибежал из аптеки. Мама еще могла разглядеть лицо и руки твои. А у меня впереди годы и годы жизни. Кто знает, что будет со мной? Кто проводит меня? Я вас провожаю. Но ты Наташе не говори. Хорошо, что она знает не все. У нее много забот. Помнишь, мама тебе признавалась, что, когда ты женишься, она будет жить от тебя отдельно, чтобы вам не мешать? Вы даже хотели в вашей старой квартире, там, в Ленинграде, разгородить комнату надвое. Чтобы в большой разгороженной комнате был узкий проход в малую комнату. Помнишь? Нет, забыл и вспомнить не можешь.

Смешные. Разве вы могли так отгораживать себя друг от друга? Надо было по-моему. Посмотри на мою избу. У меня есть еще одна комната. Мы туда не пойдем. Это комната сына. Того, которого нет. Собаки оглядываются. Тихо. Спокойно. Я туда захожу одна. Мой сын в той комнате не жил. Ведь и домика этого не было. Посидим здесь немного. Собаки уснули. Биче спит, положив голову мне на колени. Черные веки закрыты. Ресницы еще мокрые, полные слез.

Темнеет. Я знаю, ты будешь сюда приходить. Быть может, когда-нибудь мы зайдем и в комнату сына. Когда-нибудь. Я молода, счастлива и свободна для новой жизни. А ты проводишь меня. И больше сюда не заглянешь. Так надо. Появится тот, кто любит меня. И начнется долгая жизнь. Та, что мы считаем нормальной. А люди станут вновь незнакомы друг другу. Мы не раз встретимся и не узнаем о том. Я уже не буду ходить в Сорочкино. А ты, на лесной дорожке, никого не увидишь за этим окном.

Исповедь затянулась. Пора собираться. Не сказано многое. А то, что ты прошепчешь в пути, я не услышу. Боже мой... Почему нельзя подождать? Я не хочу, чтобы вы уходили. Дождалась. Остальное неважно. Когда-то Наташа, с которой, помнишь, вы на два года расстались, при случайной встрече, сообщила тебе в ответ на вопрос, «как дела», что у нее все хорошо и что все так и будет, она, может быть, выйдет замуж, наверное, выйдет. И это для нее так же неважно, как мне сейчас. Могу напомнить место на улице, где вы стояли. Не надо? Конечно, ты знаешь его, это место. А Наташа – забыла. Не уходите. Тогда можно было поправить. И вы поправили. Новая случайная встреча. Но если вы уйдете сейчас, в эту минуту, боюсь, уже никто ничего не изменит. И то, что неважно, произойдет.

Хочешь, я расскажу, открою – иначе ты никогда не узнаешь, если оставишь сейчас маму свою. То, что она тебе прошептать не успела и унесла с собой за черту, которую мы перешагнули сегодня. Если одним словом,



произошло великое чудо. Самое важное в жизни людей. Ради него стоит жить. Все остальные события и чудеса печальны, и лучше бы не было их. Я знаю, почему вы уходите. Чтобы чудо не кончилось. Чтобы ты не увидел, как я уйду навсегда. И будет одна эта чужая лесная избушка. Без меня и без вас. А вы продолжите путь в Луги, оставив за собой пустоту. Вот о чем ты подумал... Ты не можешь вновь пережить прощание с матерью. Лучше поторопитесь раньше страшной минуты. Глупый. Не делай новой ошибки.

Мрак за окном все гуще. Удивительно, почему дождя нет и не будет. Гроза-поджигатель медлит. В лесу темно и тепло. Недаром всю ночь до утра стоял непроглядный туман. Как будто небо спустилось на землю. Или как будто белое хотело унести землю с собой. Теперь не так. Целый день впереди. Ты, читатель Гомера и Данте: Андромаха, рыдая, молвила Гектору, что он ей и мать, и отец, и брат и супруг. То же самое в своей молитве повторяет Наташа, ожидая тебя. А я буду сидеть одна в полутьме этой комнаты и думать о том, что тебе сказать не успела. Улыбаешься моим неловким словам? Улыбайся. А ведь это последняя мысль мамы твоей, когда ее отпустила боль. Содрогнись и успокойся. Ты не тронул стакан со сметаной. Подожди, посиди и покушай.

Проснулась овчарка. Поставила уши. Наконец-то она признала меня. Ведь она сбежала два года назад. Еще из Сорочкино. Потом вернулась и вновь убежала позавчера. А потом, когда я в поле шла мимо вас, она сделала вид, что не знает меня. И здесь, в моей новой избушке, она продолжает быть незнакомой, чужой. И я терплю и тоже делаю вид. А сейчас, когда вы уходите, смотри, смотри – что с ней такое? Что делается и что будет сейчас? А ну – собери все свои силы.

Я знаю ее. Ты не пытайся ей помешать. Она хочет проститься. А ты закрой глаза и вспомни, как тогда в городе, в старой квартире, она бросалась к тебе. Ты помнишь? Не надо смотреть. Не надо вслушиваться. Все происходит в той комнате. Биче расстается и со мной, и с сыном моим, которого не видела никогда. Подожди. Еще подожди. Остальное она доскажет вам обоим потом. Скоро. Сегодня.

## 10.

Мама ошиблась. Я не спешу. Мне хочется еще побыть в ее доме. Но Биче рванулась к порогу, не дождавшись меня. И вот мы втроем на той же дороге. Избушка уже за спиной. Пропала. Биче ведет. А я понять не могу, в какую сторону – к железной дороге или к Лугам. Как будто идем назад. Но вот потянула вправо. А, наконец понимаю. Просека. Здесь по краям тропинки ровные высокие сосны. Теперь их вырубил. Страшно смотреть. Одиноко стоят самые тоненькие. А кругом желтые щепки, опилки. Что со мной? Никаких опилок и щепок. Они уже заросли. Синие сосенки. Чуть выше меня. Белый мох. Нет, щепки все же остались. Поскорей бы пройти это место. Биче спешит. Вилли весело догоняет ее. А я попеваю бегом.

Погружение. Вот оно. Осматривай Ад, Чистилище, Рай. Собирай в душе всю нашу историю. Пока еще время есть. Лиловое небо касается верхушек деревьев. Как будто опирается прямо на них. Ветра нет. Сухо и тепло. Черничник шумит под ногами. Ягод много. Черная россыпь зрелой черники. Обычно срываю хоть ягодку, чтобы, как в сказке, поблагодарить и уважить лесное богатство. Теперь на бегу долго не удастся. Но вот, наконец, полная горсть. Пробую. Никогда еще не было так вкусно и сладко. Вспоминаю. Ведь я не покушал у мамы. Почему? Наверно, время тогда задерживалось, а потом рвануло, чтобы себя перегнать. Не до того. Ладно. Может быть, на обратном пути... Хлеб забыл на столе. Мама сидит и ждет.

Чувствую, что возврата не будет. Круги Ада мелькают, как стволы тоненьких сосен. Вот потемнело. Кончилась вырубка. Здесь пока еще одни молодые сосны. В самом деле, я теряю счет кругам нисхождения в бездну. В каждом из миров своя воронка и свой проводник. Он ведет единственный раз. Оглядывайся. Наблюдай и запоминай. Винават. Винават. А теперь не моя вина. Это уже что-то чужое. Кого ты смешишь? Сегодня ты потерял границы. Кончилось твое и мое. Мама тебе объяснила. Вот еловая чаща. Дальше ниже и ниже. А кусты разрослись. Они сомкнулись и закрывают знакомую тропку. Биче не замечает. Вилли красивыми затянными прыжками поспекает за ней. Поводки разрывают сплетение веток. Бегу, согнувшись. Нырью и продаираюсь. Вот он, черный ручей. Как странно. Вода куда-то ушла. Черно-синий цвет вязкого дна. Сейчас раздвину последний куст и выберусь на бережок земляничной полянки.

Поводок провисает. Биче остановилась. Вилли еще рвется вперед. Я сразу теряю зрение. Под ногами твердый подъем. Сбилось дыхание. Подожди. Подожди. Еще подожди. Успеешь открыть глаза. Открываю. Так темно... Почти на ощупь различаю желтые, зеленые пятна земляничных кустов, замшелые старые кочки, пни, а налево – самый высокий, развалившийся пень, его обвивают извивы черно-синей змеи. Той самой. Биче стоит над ней, потом садится рядом. Спиной ко мне. Дышит прерывисто. Громко. Вилли заплакал и замолчал. Мы долго, очень долго стоим. Петь незачем. Кто-то убил нашу лесную царицу.

Я ведь ее просил четыре года назад, чтобы она вернула оттуда моего убитого сына. Она была ближе к подземным кругам погружения. А я стоял на поверхности земляничного берега над черным ручьем. Она лежала на пне, обвивая его, как сейчас. И мне показалось, мелькнула тогда золотая корона. Это слезы мои мешали мне видеть. Но царица приподняла тогда свою голову, и я по-детски поверил, что она исполнит просьбу мою. Так и случилось. Он приходил. Потом стал пропадать и вновь появляться. Потом вовсе пропал, но остался где-то рядом со мной.

Надо было опять попросить. Она сама вышла навстречу. Она звала. Я опоздал, как десять лет назад, когда убили его в Петербурге, в нашем

подъезде. Двадцать пять минут опоздания. А предчувствие было такое, как и сейчас. Теперь уже некого попросить. Только его самого. Я прошу. А он не выходит. Вот и сейчас он где-то здесь. Но мы его не увидим. Я понимаю. Он хочет, чтобы я жил без его появления. Зачем? Не знаю. Царица могла объяснить.

Ну, хватит. Мне простительно верить в эту лесную сказку. Но вот собаки. Они поверили тоже. Тишина, какой никогда не бывало. Нет ни ближнего, ни дальнего шума. Уже не поправишь. Надо нести этот образ в себе. Разгадку тайны. Погружение отсюда сюда. Господи, вот оно – откровение. Мертвая царица все-таки выполнила свое обещание. Тогда – живая, с бусинками глаз, и теперь – не глядя в ответ, черная, с разбитой головой, без короны.

Я нарушаю тишину, собираю охапками палые ветки, мох, траву, земляничные листья и насыпаю холмик над убитой змеей. Никто не подумает, что это могила. Только мы втроем знаем о том, что случилось. Вилли снова заплакал. Биче молчит. Что-то кончилось. Первое, что завершилось. Но я вдруг чувствую, что мне как будто какой-то голос что-то говорит, повторяет в той же лесной тишине. Терпеливо. Одно и то же. И вот я слышу и узнаю. Царица поступила по-царски. А я? Надо идти. Собаки вдруг срываются с места. Надо снова бежать.

Нет, мы идем спокойно. Как будто вновь куда-то опаздываем. Мы трое устали от опозданий. Сил много. Больше, чем было. Но так сразу – не можем. Не только я, но и они. Обе мои собаки. Биче ведет по-прежнему. С каждым шагом все более мощно и быстро. Иду, как будто бы осененный моим новым нездешним знанием. Даже приговоренный успокаивается на таком пути.

Конечно, мы заглянули сейчас в самый последний круг погружения. Теперь выходим куда-то. Оттуда сюда. Вот ее последний царский завет. В жизни, в путешествии по загробному миру и в нашей истории наступает черта, за которой – всеобщее возвращение. Трудно понять. И не нужно. Потому что уже понято все. Спешу – не спешу. Ты все равно не опоздаешь. Ты придешь и увидишь, наконец, то, к чему так долго спешил.

Там кончится исповедь. Там собаки твои отдохнут. А ты упадешь на землю. И заснешь – после дня и бессонной ночи. Ты упадешь прямо в траву. В синюю густую траву. И она скроет всего тебя.

Кто он – тот, кто убил? Где его след? Мне кажется, он везде. Биче след потеряла. Я отпускаю собаку. Она стоит на месте. Потом возвращается к ручью. Понимает, что не могла раньше поймать его след, ибо не знала, что он убил. Поняла это и догоняет нас. Идет впереди спокойно, без всякой мысли.

Но вдруг догадка. А потом – озарение. Вот он – след. По нему надо спешить. Тот, кто убил, уже далеко. Но он обнаружен. И теперь не уйдет. Вилли согласен. Рвется туда же. Может быть, снять с поводка? Биче свободна. Он догонит ее. И поведет за собой безоглядно. А я собьюсь. И буду ждать, когда они возвратятся. Нет, Вилли, веди меня вслед за Биче. Я крепко держу вертушку и не освобождаю красную ленточку поводка. Бегу, как только умею.

И, словно в погоне за кислородной подушкой, вот я снова уже без сил. Останавливаюсь и задыхаюсь. Сострадательный Вилли садится передо мной там, где чуть видные тропки перепутаны в темном и низкорослом еловом лесу. Нужно угадывать. Биче уже угадала. Вилли ждет, пока я отдохну, и сразу берет ее след. Какой молодец. Можно было бы по-собачьи прямо ломить сквозь непролазную чащу кустов по давно заросшей дорожке на Ящеру. Нет, он жалеет меня, огибаает кусты и угадывает нужную тропку в обход. Из-за меня мы теряем время. Но как же обойтись без меня.

Большой крюк. Вот прекрасное черничное место. Сказочная полянка, там росли молодые добрые елочки, и можно было спокойно лечь на давно заросшую кочку, мягкую, моховую и пригоршнями собирать черную от спелости ягоду. Но теперь полянку уже не узнать. Елочки разрослись и перестали быть добрыми. Ни лечь, ни пройти. Путаюсь и спотыкаюсь. Вилли красиво прыгает через ветки. Меня продирает сквозь них красная ленточка поводка. Вот и Биче нас ждет. Мы отдышались и входим в старый еловый бор. Здесь тоже много черники, но людей нет, Низовская недалеко.

Никогда еще не было в этом лесу так темно и мрачно среди белого дня. Погода. Люди сидят по домам, а дождя все нет и грома не слышно. Вот справа чуть приметная горка, остатки партизанской землянки. Я сворачиваю. Пробираюсь к ней. Стою. Бревна сгнили. Мхом обозначена яма, заваленная от времени и усеянная до краев желтыми еловыми иглами. Немцы сюда не дошли. Но тот, кто убил змею, прошел где-то здесь. Обе собаки знают. След не потерян.

Почему я раньше боялся этой землянки и разглядывал ее чуть-чуть издали? Вилли и Биче ждут. Пора. Мы идем и уже не бежим. Препятствий нет. Еловый бор. Земля немного подымается в сторону поселка. Дальше надо пересечь большую просеку и вовремя повернуть назад прямо к Ящере и там вдоль речки, петляя вправо и влево, долго, весь день, путешествовать мимо заливных лугов и сквозь чащи, наблюдая, как на глазах расширяется русло реки, пока не услышим справа шум порогов и пока не выйдем к остаткам деревянных быков, прежде начиненных камнями. Там река шумит, как в горах. Там переправа по дну и булыжникам в бурной воде. Тот, кто убил змею, сжег мост через Ящеру. На том берегу его след.

Погромыхивает. Гроза оттуда, куда мы идем. Но мы уже у реки. Ящера уводит к дальней деревне. В небо я не смотрю. Оно страшно. В синей толще – никакого просвета. Речка совсем почернела. Душно и сухо. Течение мелкой и глубокой воды провожает нас. Мы обгоняем его. Красивые места. Но листва словно черно-белая. Зелень пропала. Скоро заливные луга. И какого они будут цвета? Вилли – впервые. Биче узнает этот путь. Овчарка свободна. Забегает вперед. Нет, все-таки мир остается темно-зеленым, а река темно-синей. Благодаря собаке. Боже, как она красива, когда вполборота оглядывается и поджидает нас.

Не выдерживаю. Отпускаю Вилли. Пока не страшно. Речка рядом. Вон

вдали на зеленом лугу черное пятно и шоколадное пятнышко. На каком берегу? До сих пор можно идти и по тому берегу Ящеры. Однажды мы пробовали. Вот здесь поворот. Мостика нет. Вода черная и глубокая. Мы сняли с себя всю одежду и по грудку, нащупывая дно, выбрали вброд. Я, Наташа и Миша. Перебрались и какое-то время пребывали в раю. У мамы купальник. А мы сделали опоясания. Долго не одевались. Разводили костер. Бежали по кромке луга. Биче прыгала вместе с нами. Пока не высохла.

Справа стена кустов и лес. Ищу следы того, что было пятнадцать лет назад. Где-то здесь ископаемые остатки потушенного костра. Черный водоворот реки. В нем, только в нем, в этой маленькой черной воронке, в том, как она крутит воду, запись голосов прежнего нашего счастья. Биче тогда не была опасна Мише. Никакой аллергии. Собака не виновата в том, что она собака. Да, мы были счастливы где угодно. И счастливы здесь. Биче узнала. Остановилась. Постояла на берегу. Потом пробежалась туда и обратно. Все в памяти. Память о счастье. Вилли прижался ко мне. Попросился на руки. Вот я его поднял. Он лижет мне губы, глаза, нос. Чтобы я не смотрел или чтобы поймать мой взгляд.

Возврат и рывок вперед. В этом все дело. Тогда одна собака, а теперь две. Разного цвета. Обе рядом. Счастье? Да. Но мы одни. Наташа дома. Ждет и плачет. Мама в избушке. Миши нет и не будет сегодня. И завтра. И никогда. Гром далеко и понемногу стихает. Надо идти. Дальше и дальше. Глубже и глубже. Кусты и березы, осины, стоя, плывут нам навстречу. Земля бежит под ногами. А мы не замечаем ее и уже остановиться не можем.

Вот влево большая сосна, у которой когда-то я простоял целую ночь над самой рекой, над обрывом. Наверно, такое приснилось. Но я не придумал. Сейчас и она проплывает мимо и остается одна. Тогда мы с ней были вдвоем. А теперь трое. И не надо стоять. В этом все дело. Утра мы не дождемся. И когда наступит оно? Прежде, проходя мимо, я хотел здесь у ее ствола просидеть всю ночь до рассвета. Оглядываюсь на прощанье.

Собаки пропали. Исчезли обе. Впереди кустарник-бурелом. По берегу давно никто не ходил. Кусты лежат поперек скользкой дорожки. Лежат, не пускают. Где глубокий ручей, втекающий в Ящеру? Не вижу. Как его перепрыгнуть? Забыл. Попадаю ногой прямо в глубокую воду. Холодная. Долго в чаще иду один. Вот открытый простор. Пути никакого. Все заросло.

На том берегу вдали прежние сухие деревья. Подымают голые сучья, как вставшие из земли гоголевские мертвецы. А передо мной простор, поросший репейником. Когда он успел вырасти? Как продираться? Где след убийцы? Куда исчезли собаки? Жду. И – вот удивительно! – выглядывают, раздвигая толстые колкие стебли, порознь и вовсе из разных мест. Черная Биче и шоколадный Вилли. Да, тот, кто убил, везде. Попробуй найди. Обе собаки запугались и возвратились. Иду моим, третьим путем. Вилли и Биче – за мной.

Иду наугад. Натянул рукава на кисти рук. Раздвигаю колочки. Вот,

наконец, овраг. Вниз и вверх. А там неожиданно, если поглядеть между стволов знакомых берез, покатый обрыв и во всю черную ширину – глубокое, древнее русло Ящеры. Там никакой зелени. Прямо на дне мелькает вода, и под крышей деревьев расходятся темные берега. После внезапного поворота – Ящера наша – совсем другая. Была речка. Теперь это река.

Вода начинает шуметь по камням. Скоро пороги. А по берегу – твердые колеи тележных колес. Покрыты мхом. А слева зеленые холмики над обрывом. Там бывают грибы. Кроны старых осин высоко в небе над головой. Ни одной березы и елки. Почему-то раньше чудилось преодоление. Земной рай в Чистище на гравюре Доре. Глупая сказка. Полагаю – во время грозы тут особенно страшно. Последнее испытание. Почему нет никаких следов присутствия человека? Покинутый всеми просторный путь. На лужах зеленая ряска. Не видно воды. Там, где прежде красиво отражались деревья.

Какой-то голос шепчет. А что – непонятно. Вилли, Биче, вы слышите? Нет, не слышат. Еще страшнее. Чудится только мне. Зачем? Не хочу. То место, о котором я так мечтал, – неприветливо. Невольно произношу: неужели я здесь? Вилли устал. Потому что не знает, что дальше. Аллея высоких деревьев, прямая, как берег. И вот уже просвет подернут сиреновой дымкой. Дождь или предвесье дождя. Сильный удар грома над головой. Но это случайно. Больше такого не будет, пока песчаный подъем не выведет нас к тому, что осталось от моста, который сожгли.

Биче знает, куда бежит, но след совсем потеряла. А я думаю, думаю без конца о том, как зарастает наша земля. Откровение? Или сокрытие? Нет никого. Но именно здесь любая история совершает свое течение. Особенно история государства Российского. История – без государства. Какая разница? Откровение – здесь, а не там, в поселке. Там видимость. А тут очевидность. Мы идем навстречу и не боимся. Мы еще не все увидели. Река шумит. Скоро увидим. Опаздываем или нет? Чувствую – пора говорить с Вилли и Биче на моем языке. Мы слишком долго молчали. Обе собаки ждут человеческих слов. О государстве. Об истории. О России.

Говорю с трудом. Задыхаюсь. Оказывается, мы вновь побежали. Боимся новых ударов грома. А их нет и не будет. Господи, если бы там вдали показалась лошадь, а за нею бричка, а в ней – кто-нибудь. Кто-нибудь. Нет. Откровение без людей. Вилли напоминает лошадку. А впереди Биче нетерпеливо перебирает ногами, не оглядываясь на нас.

Обе собаки думают об одном и том же. Вот первый и последний хозяин. Трудно ему. Конечно, мы обе из разных миров. Если такое случилось, мы вдвоем становимся главной опорой жизни. Мы, а не он, тот, кто говорит на бегу. В человеческом царстве все дрогнуло. Он исповедуется. Мы понимаем. Но почему хозяин бежит и никак не может поверить в то, что разгадка здесь перед ним – на этой дороге. Разгадка в том, что мы вместе. Двое и трое. Добежим. Узнаем. Успеем. Он виноват. Сильнее других или меньше. Он преодолеет. И ничего себе не простит. Очень трудно жить, собирая в душе исповедь преодоления. Он собирает. Ему надо сказать. И он говорит.

Мы не виновны, – мы ошибаемся. В этом вся разница. Ошибается тот, кого кто-то может поправить. А если кто-то уже не может? И вот мы все виноваты. Осталось немного. Ну, хозяин. Беги – не спотыкайся, не падай. Не теряй мой поводок. Подожди. Он пригодится. Что в воздухе? Темнеет ровно. Синяя туча. Понемногу день уходит от нас. Поспешим. Дело не в том, чтобы знать ответ и разгадку. Все ответы уже брошены с неба. Они под ногами. Как хорошо это знать и чувствовать. Мы это знаем. Он чувствует. Потому и бежит. А уж если ум шире, чем наш, это здесь не имеет значения. Мы запутались. Мы потеряли след. Но бежим, как будто есть что-то еще более важное. Даже мы догадаться не можем. Ответ под ногами. Как хорошо.

Биче, ты почуяла? Нет? Я тоже. Но почему так и хочется отталкиваться от земли далекими затяжными прыжками. Что? Песчаный подъем? Биче не замечает. Ей не впервые. А я должен. Здесь мое назначение. Вот, конечно, я уже давно взял неизвестный след и бегу по нему. Нет, не тот. Он перекрыт иным. Биче знает его. Но она что-то ловит в воздухе. А мне давно пора не упускать этот новый неведомый след. Внизу шум воды на камнях. Пороги. Мы выбегаем из леса. Небо над нами. Но оно еще темнее, чем кроны деревьев. Так сказал наш хозяин вслух. Остановился. Еле-еле дышит. Пожалеем. Нет у него человеческих сил. Биче тоже помедлила и стала на месте. Вышли. Вокруг полевые цветы. Влево спуск. Нам туда.

Глядим, и даже нам страшно все, что мы видим. Сначала край обрыва. Пока ничего такого. Но берег особый. Хозяин выходит вперед. Седина. Синяя куртка. В правой руке два поводка. Мы сели. Я за спиной Биче. Сидеть не умею. Ложусь. Выглядываю из-за спины. Хозяин уже давно стоит над обрывом. Почему-то страшнее всего видеть, как он стоит. Хочется плакать. Плачу, но шум такой, что никто не услышит. Грохот воды – ровный и постоянный. Переправа там, где был мост. Меня зовут. Надо идти. Еле-еле перебираю ногами. Биче опять впереди. Обрыв. Глянул сверху. Все черно. Камни, бревна. Перекаты воды. Прыгает белая пена. И вновь набегают. Пожалуй, такая вода любого собьет.

Ничего страшного. Показалось. Хозяин берет меня на руки. Камни гремят, пока мы спускаемся. Он падает. Скользит на спине. Биче взбирается по камням на помощь ему. Ничего. Он встает. Прижимает меня. Что-то шепчет. Я разбираю слова. Он говорит: «Мой добрый, смотри – вот Биче уже в воде. Она может плыть, но идет по камням».

Дальше все как во сне. Мы на том берегу. Вода не сбила. Идем по темно-зеленому лугу. Вот белая дорога от киевского шоссе до деревни Луги. Она длинная, скучная. До Лугов – два километра. Но зато путешествие кончилось. Приключений больше не будет. Биче смотрит в небо. Туда. Синяя туча там покраснела. Неужели закат? Нет, в воздухе что-то неладно. Чудятся мне красные отсветы на дороге и на верхушках деревьев. Собаки вновь рванули, как будто почуяли след. Один или два? Что это? Прямо на дороге – брошен красный платок. Биче не замечает. Вилли остановился, притормозил грудью и передними лапами. Оглянулся. Поднимаю платок. Он мокрый. Начинается дождь. Он темнеет у меня на глазах.

А на горизонте красное под синей тучей все ярче и ярче. Теперь понятно. Лес горит или что-то другое. Откуда красный платок? Неужели мама пошла прямо, не сворачивая назад, перебралась через Ящеру и опередила нас по дороге в Луги. Тут что-то случилось. Она сорвала с головы красный платок и побежала. Все может быть. Надо бежать. Силы откуда-то появились, как тогда на тропинке. Но я почему-то останавливаю овчарку и пристегиваю к ошейнику поводок, зашелкиваю карабин. Она останавливается, как по команде. Что ее держит? Я в полутьме не вижу то, как она глядит на меня.

Дорога сворачивает. Здесь начинались Луги. Пусто. Я так и знал. Зато вддали, у самого леса, горит единственная изба. Дыма уже не видно. Яркое желтое пламя. Последний костер. Мама должна быть там. Но вот ее нет. Вилли плачет. Я сдерживаю овчарку. Зачем? Пламя ближе и ближе. Плывет навстречу. Где она? Шум оттуда. Как будто люди, много людей – бегут все вместе, и топот их все громче и громче. Нарастает, как ливень, которого нет. Мы опять опоздали. Какие люди? Все безлюдно вокруг. Топот – не топот. Рев света и жара, пока догорает изба.

Дальше нельзя. Море огня. Обжигает. Слепит. Мама! Где ты? Красный платок выпадает из рук. Трава багровеет и сворачивается от жары. Нет, мне показалось. Нет никакого платка. Вот его нет под ногами. Кто может вставить эту мысль? Мы обходим ее со всех сторон. Овчарка рвется, но я из последних сил держу ее и крепко стою на ногах. Небо сгорает вместе с избой. Где черная синева? Конечно, мамы здесь не было. Убийца тоже куда-то пропал. Вилли пятится к лесу. Мы будем здесь целую ночь.

## 11.

Вокруг пожара – двадцатый раз. В алой траве – круговая тропка. На большом расстоянии. Так, чтобы жар выдержать и глядеть прямо в огонь. Глядеть и не слепнуть. Вот изба. Ее бревна светят ярче огненного шквала. Совсем, как в терцине Дантова «Рая»: тела и прах земной будут гореть в последний час ослепительнее нынешнего пламени, заменившего прах и плоть, созданную из праха. Я это хорошо понимаю. Ноги подкашиваются. У меня и у двух моих неутомимых собак. Но мы никак не можем остановиться и упасть. Круг. Еще круг. Еще и еще. Рев огня и одновременно – абсолютная тишина. Потому что гул непрерывен – и никаких новых звуков. Изба крепкая. Слепит белыми контурами сквозь красный огонь и не рушится. Каждое бревнышко видно. Стропила и крыша. И чем больше глядишь, тем ярче. А ведь сначала все тонуло в огне.

Падаю. Больше ходить не могу. Биче стоит. Я ей закрываю глаза ладонью, другая ладонь упирается в горячую землю. Глаза надо беречь. Нет, мы ослепли. Видим только пламя. Вилли засовывает голову мне подмышку. И все равно вокруг разноцветный ревуший вихрь. У Вилли цветное зрение. Как у меня. У овчарки – тоже. Мамы здесь не было. Красный платок – загадка. Он



чернел у меня на глазах, а потом куда-то пропал. Сквозь веки вижу – пламя пожара меняет наклон. Огонь стелется по земле. Почему никто из нас не чувствует ветра. Но ведь и дождь идет, а мы не замечаем его. В небе, если присмотреться, молнии – одна и другая. Но мы не слышим грома. А молнии кажутся длинными искрами пламени. Биче долго стоит. Наконец, ложится рядом со мною. Тепло на расстоянии от пожара. Можно уснуть. Никого нет. И никто не придет.

Мы втроем как одно существо. Думаем об одном. Видим одно. Пламя взмывает опять. Далеко от нас и высоко над нами. Постойте, что это? Все одинаково. Нет. Что-то другое. Порывы огня то быстрее, то медленнее. И, кажется, изба внутри золотого костра неравномерно горит. Вот-вот она рухнет. Уже стропила подвинулись. И все застывает. Как будто она еще крепче. Костер ее валит. Но падает сам. Падает и встает, а она неподвижна. Господи. Да ведь это мерцает время. По языкам огня легко понять, как мечутся быстрота и замедление последнего часа.

Это плохой знак. Собаки еще не поняли. Я снова приподнимаюсь. Неужели сейчас увижу самое страшное. Да, изо всех сил стараюсь не видеть, не слышать. Вернее, видеть и слышать одно. Черное-черное небо. Вспышки молний. Дальних и ближних. Гром, покрывающий рев огня. Как? Неужели? Ничего этого нет? Небо мерцает, как пламя. Низкие тучи отражают пожар. Дождь прекратился. Кто-то мне шепчет, что это разрыв между мгновеньями. И вдруг я вижу прямо перед собой – красный платок. Откуда он взялся опять? Откуда? Мы вскакиваем поневоле. Еще один круг. Еще и еще. Платок у меня в руках. Я кричу, и я понимаю – даже собаки не слышат меня. Биче на месте. Ни шага вперед. И тут я угадываю тайну платка.

Никакой особенной тайны. Все очень просто, когда угадаешь. Но об этом потом. Времени мало. Моих последних минут. Мало. Шепчу сам все, что нужно успеть вымолвить в пустоту – огню и горящей избе. Говори, наконец. Хочешь, не хочешь. Чтобы успеть, я закрываю глаза горячим платком. И все становится красным. И вот – непрерывный рассказ. Я начинаю с начала. Шепчу и почему-то узнаю мой громкий голос. И не тороплюсь. Впереди целая ночь. Только бы знать, где мама. Но я как будто бы знаю. И теперь уже не она говорит, а я исповедуюсь ей. И не важно – слышит она или нет. Мама здесь – в этом костре. Огонь снова меняет наклон – туда, к дальнему лесу. Он сам по себе. Он сжигает себя. Этот пожар – самосожжение. Вот в чем разгадка и тайна платка.

Видимо, я уже не смогу возвратиться. Видимо, так. Чувствую: горячий бок прижался ко мне. Он черный, живой, родной. А его родное тепло спасает от жара. Прохладный Вилли просовывает голову между мной и милой овчаркой. Все мы дышим, пока еще можно дышать. Мама здесь. Платок – прикосновение к ней. Ни одного лишнего слова. Успео – поправлю всю мою жизнь. Вот он – храм, знакомый ночной горячей земле. Она под нами дрожит

от огня. Когда же, в конце-концов, прозвучит здесь, под сводами ночи, единственная и уже невозможная верная исповедь? Откуда и почему наступает конец? Для меня одного. Время исчерпано. Оно помеддило, притащило меня сюда и теперь догоняет, наверстывает. Пауза кончена.

Оказывается, конец не имеет конца. Не имеет. Прекратилось одно время, и наступает иное. Вот чего я никак не умел постигнуть при жизни. И уже не постигну. А ведь я еще жив, и вот – постигаю. Вилли зашевелился, выдернул свою голову и смело глядит, как огненная мощь прорывается к земле и как добирается прямо до нас. Мы на расстоянии, а искры осыпают круговую тропу, то место, где мы упали. Отодвинуться некуда. Вилли дрожит. Или это всполохи пламени. Биче как будто застыла, но и по ее спине бегут красные отсветы. Я уже не лежу на земле. В левой руке зажаты вертушка и короткий ремень поводка.

Обе собаки в одинаковой позе. Одинаково подняли головы. Но Биче кажется тенью, увеличенным Вилли, только черные уши ее стоят, а не свесились темными лепестками. Забавная разница. Она подает мне мысль о том, что Вилли остался в том времени, а Биче уже в другом. Но я на грани и сумею удержать обеих собак. Да их и удерживать нечего. Они вместе со мной и друг с другом единое целое. Вилли – ожившие блики на теле овчарки. Биче – тень, которую от Вилли не оторвать. И только я один затерялся рядом. Вокруг меня красное движется и колеблет меня. Кружится голова.

Почти падают справа стропила избы. Жерди вспыхнули особенно ярко. Собаки услышали шум от подвижки угла стропил. Свежий треск и облегченная вспышка взорванных в пламени белых ослепительных искр. Собаки не изменяют позы. Как будто ничего не случилось. Подвинутый угол еще не рухнул, он запрокинулся внутрь чердака и так и остался наклонно. Я жду, но жерди трещат и никак не могут сгореть. Издалека не видно. Там нет никого, но под стропилами движется кто-то. Горит, горит мой чердак.

Сгорают мои кроткие замыслы. Мои слабые опыты, мои попытки расщепить себя и остановить общий распад. Я все откладывал их. По времени. Все мне казалось – они еще не дозрели. Я и сейчас надеюсь: кто-то после, в ближайшие дни, завтра или когда-нибудь их договорит за меня. Кто? Кому? Откуда я знаю? Надо или не надо успевать ради себя и других? Если бы хоть кто-то на это решился, он был бы уже здесь, и мы нашли бы друг друга. Нет никого. Значит, все эти годы избранником был ты, а не кто-то другой. Слово «избранник» мелькнуло сейчас, когда угол стропил рухнул на дно чердака. Света становится меньше. И сразу ясно, какая тьма сгустилась вокруг. Тьмы темнее. Подожди. Не надо сразу.

Вилли молчит. А Биче завывала протяжно. Звука нет. Но она подымает голову навстречу огню. Пасть открыта, и язык не свисает. В горле что-то дрожит. Биче, не забывай. Мы возле тебя. Протягиваю свободную руку. Шея собаки. Трогаю и почти обжигаюсь – горяча ее черная шерсть. Почему я не слышу тебя? Никогда прежде ты не выла при мне, подняв голову к небу и

ничего не замечая вокруг... Без меня, думаю, было такое не раз. Там, в нашей старой квартире. Но тогда я на расстоянии слышал твой голос. И мне было не по себе. Я не мог работать, писать, говорить. Я спешил к тебе. И ты кидалась навстречу. А теперь мы вместе. Видишь меня?..

Ты услышала? Вилли прижался ко мне. И вот я, обжигаясь, припадаю к тебе грешной моей головой. Твоя пасть вровень со мной. И горло твое дрожит, как у нас. Черная шея, белая грудка, под самый твой подбородок, слышу плач – долгий, пока у тебя и у меня хватает дыхания. Потом голос опять срывается в долгую ноту. И вот я тоже плачу вместе с тобой. И только Вилли молчит и наблюдает за нами. Потом лает неслышно и трется головой о белую грудь черной овчарки. Вот опять взмыло золотое красное пламя. Бревна избы опять ослепляют белым огнем. Изба незыблема. Только чердак рухнул. Я не заметил, как это случилось. Теперь уже никаких иллюзий. Никаких придуманных игр. Простор, где я ходил взад и вперед, заполнен свободным огнем.

Собака заворожила меня. Плач ее заглушает любые слова и порывы. Я даже боюсь ее обнимать. Да она и не нуждается в этом. Тем более, я, наконец, начинаю слышать ее узнаваемый голос. Поразительно – вот непрерывный неровный вопль. Новое дыхание, и новый такой же пронзительный вой. Откуда я чувствую в нем слова, понятные мне? Слова другие, не человеческие. Почему я не разобрал их прежде? Их можно вырвать из вопля. Можно в душе повторить. И потом, когда-нибудь, рассказать своими словами. Я даже знаю, какие это слова. Долгие и бесконечные. А в ответ им понятные мне порывы огня. Одни и те же и каждый раз неожиданные. Биче вспомнила то, что вроде бы уже давно позабыла. Она вспомнила, как ей пришлось умереть. Тогда не было хозяина рядом. Одна, одна с чужими людьми.

Биче, родная моя, это прошло. Этого нет. Это уже не может случиться. Вот я обнимаю тебя, как никогда прежде не обнимал. Опusti голову. Я объясню, почему нам страшно то, что мы видим. Только мы – одни. Если бы здесь кто-то был, никому бы из нас не было страшно. Мамы здесь нет. А он, кого мы искали, он ушел, поджигая другие дома.

Мои слова собаки слышали. Мы втроем понимаем: он везде, а это значит, нигде его нет. Он везде, и дома горят по ночам сами собой. Тайна. Самосожжение. Мы сумеем его разгадать и остановим самосожжение плачем собаки, словом исповеди. Но почему-то Вилли молчит. А изба отдала себя, так что в огонь смотреть невозможно. Белый ослепительный свет. Вновь пропали контуры бревен. Сруб утонул в белом замедленном взрыве. Трава сразу позеленела и перестала быть красной. Елки дальнего леса тоже темно-зеленые. А неровная местность прежней деревни Луги заколебалась. Вижу: волны ее движутся и застывают на месте. Опять движутся и вновь застывают. А вокруг светло и безопасно, как днем.

Тучи над головой меняют свой цвет. Ревет, набирает силу белое пламя, а в небе ровный трепетный отсвет, и слои этих туч кажутся неподвижными,

красные бледные молнии – выглядывают из них и прячутся от ровного света. Вот откровение вместо моих запоздалых признаний. И я понимаю, что слово божье – это стыдливая форма исповеди самого божества. Перед кем ему исповедоваться? Кому объяснять сотворенное и несотворенное? Что, что предписано людям? Учиться откровению и придержать свое исповедальное слово. А все, что горит вокруг, знает заранее каждый стих, готовый слететь с языка. «Знаю, знаю!» – вот одно, только одно, что я слышу в ответ. Биче протяжным воем поправляет меня. Вилли молчит.

Новый порыв многих моих слов как будто бы раздувает пожар. Вот как он вспыхнул! Изба излучает могучий взрыв белого света. Мы ничего не боимся. В конце-концов мы остановим ночное пламя. Если можно управлять огнем с помощью слова. А если нет – откровение сменит исповедь нашу. Вот уже сменило как будто. И вдруг я чувствую, что это правильно – потребовать ответа от самого божества. Оно ждет слов нашей воли. Будет перед кем говорить, и оно скажет себе самому. И мы услышим его откровения. И оправдания. Тогда станет ясно, что оно себе ничего не простит. И это самое верное. Об этом кто-то мне все время шептал. Оно ничего не простит. Ни себе, ни другим. А мы сможем и сумеем отпустить грехи божества.

Изба раскалывается в огне. А я ничего не вижу. Но что-то должно случиться. Что-то рухнет сейчас. И тогда будет сказано последнее слово. Что? Началось? Ничего не понять. Белая вспышка застыла, как волны поля, где недавно стояла деревня Луги. Уже никаких полыханий. Неба не видно. Тучи пропали. И все же нельзя отворачиваться от источника света. Мы глядим, а он, источник, слепит и не думает рушиться. Неужели это и есть полный и внезапный ответ?

Вдруг я чувствую, кто-то взял меня за плечо. Держит крепко и не отпускает. А я не могу оглянуться. Биче плачет, глядя в огонь. Вилли оборачивается и лает, но тут же вновь успокаивается и продолжает лежать между нами. Я перестаю замечать прикосновение чьей-то руки. Плечо как будто освобождается от пожатия, но память о нем остается. Не хочу оглядываться. Что-то более важное происходит сейчас.

Я вспоминаю другие пожары у нас, в Низовской. Оба случились давно. Один – летом, глубокой ночью. Другой среди белого дня – зимой. Оба эти пожара видела Биче. Она лаяла. Но вокруг нее толпились и мелькали тени людей. Ночью – золотые и красные. А зимой – черные. Почему-то ночью люди пытались, кто в чем одет, перебрасывать воду и заливать этот пожар. Цепочкой – от пруда и до раскаленной сетки забора. Предавали ведра с водой. Беспольное дело. А другие бегом тащили воду к соседним домам. Срубы могли загореться. Особенно ближний сарай. Другие, сочувствуя, молча стояли и грелись. Биче лаяла. А огонь ревел. И тогда, по звуку, действительно, могло показаться, что вся деревня бежит и сбегается к ночному огню. И было особое чувство – вот, наконец-то, все поднялись и составили силу.

Я из тех, кто у самой сетки, ведром выбрасывал воду в огонь. Нас, тех, кто пытался тушить водой, оставалось уже немного. И вот, наконец, мы, только трое бегали к пруду и, добравшись обратно, попадали водой в самую середину ближнего пламени. Потом я остался один. И все равно, бегая, слышал центростремительный топот людей. А люди уже стояли недвижно, и одно только пламя делало их живыми. Биче лаяла, и я один слышал ее отчаянный лай. Небольшой прудик иссяк. Там, глубоко, почти на самом дне осталось немного воды. Не дотянуться. Надо бросить ведро. Кто-то вспомнил, что хозяевам было бы выгодно, чтобы как можно больше сгорело. Страховка. Тем более они уехали в город уже давно – за час до пожара. Кто поджег – неизвестно. Темное дело.

А зимой все получилось иначе. Мы шли по бровке. И там, где ее пересекала дорога от поля в деревню, увидели горящий дом. Он дымился, пламя еще не вышло наружу. Маленький прудик замерз. Люди бегали с ведрами. Кто-то кричал: «дети на чердаке»! Хозяйка уехала и оставила их. Нет, всего вернее, дети где-то в поселке. Чердак сгорит, а воп соединенный с домом коровник... что делать с ним... Дверь уже отворить нельзя – пламя рвануло. Все. Теперь вода не поможет. Остается одно. Бензопилой распилить глухо сложенный сруб. А Биче рвалась и видела, как разрезали пилой плотные бревна. Вынули половину стены. А черно-белая корова не хотела оттуда пролезать сквозь широкий распил. Ее хватили за рога и тащили двое. Она упиралась, не шла. Наконец, ее вывернули. И она так жалко, переваливаясь боками, прыгала прочь, а потом замедлила бег и у самого пруда остановилась. И было так жалко, что Биче рванулась и потащила меня к этой корове. Но рогатая животиная, увидев нас, потрусила дальше. И никто не смог тогда к ней подойти. Она отбегала. Биче, увидев это, заплакала таким же звуком ей вслед, как сейчас – в пустоту.

Боже, конечно, овчарка все это помнит, спустя годы, после смерти своей. Она вынесла эту память с собой. А здесь тоже огонь, изба. Но почему-то нет никого, кроме нас. Мы одни. Вот что значит ее отчаяний плач, вот о чем ее постоянно ровная, та же самая нота, которую люди не слышат, потому что их нет. И даже если бы и были они, если бы они сбежались к моей избе, что бы тогда изменилось.

Да, родной мой хозяин, ты один. Остановился. Падаешь рядом со мной. Оперся одной рукой, а в другой держишь мой кожаный поводок. Почему держишь его?.. А почему так долго мы спешили сюда? Кто стоял за спиной? Куда он пропал? Где он сейчас? Почему никто из нас не обернулся? А ведь след его еще не остыл? Отчего наш Вилли спокоен? Потому что он до сих пор ничего не знает? Или, нет, нет, он знает, но что-то другое. А мне рядом с хозяином – больше нечего знать.

Я понимаю, к нам подошел кто-то неизбежный и необходимый. Если бы не он, то, видимо, кто-то иной убил бы в лесу нашу царицу-змею. Кто-то иной сжег бы много лет назад мост через Ящеру. Кто-то иной увез бы в другое место всю деревню Луги. Старые, новые избы. Кто-то иной поджег бы эту

избу. Все равно кто-то когда-то сделает это. Ну, так вот. Получается, он как раз и необходим. А мы искали его. Мы шли по его свежему следу. И вот он сам незаметно стал за нашей спиной и тронул плечо хозяина. Вон он я, – поглядите. Что вы сделаете со мной?.. Что объявите мне? Я вообще ничего не боюсь. Не только собак и людей. Я неизбежный и необходимый. Я пришел помогать всем, кого нет сейчас в этой деревне Луги. Я сам отсюда и знаю деревню больше, чем вы. Я избавляю отсутствующих от лишних забот. От того, что они совершают сами. Или еще не успели доделать. Вот овчарка меня понимает. Она бы кинулась. Повалила бы. Если бы ее хозяин обернулся ко мне.

А я ему пожал плечо и отошел незаметно. У вас переживания, а у меня мое неизбежное и необходимое дело. Прощайте. Больше нам видется незачем. Бедный хозяин. И в самом деле – что бы он сделал, увидав того, кто убил и поджег? Он бы вступил с ним в разговор. Долгий и безнадежный. Он бы его понял и пожалел. А тот посмеялся бы, а потом посидел бы немного и погрелся у разожженного сегодня костра, помолчал бы, опечалился бы и покачал головой. А потом еще раз пожал бы плечо хозяину и скрылся, обходя по нашей тропе веселый костер – самосожжение последней избы. Ну вот, кажется, он опять появился. Нет, почудилось. Вилли увидел бы лучше меня. А он спокойно лежит между мной и хозяином.

И я это все понимаю, но что происходит со мной? Кажется, я не смогу встать на передние лапы. И не надо садиться. Лапы страшно болят. Когда меня уводили чужие добрые люди, которые легко принимают решение, а мой милый хозяин, тот, который сейчас рядом со мной, тогда был далеко, я все понимала. И я знала, что мне уже не докричаться. И никто меня не спасет. И никто не вырвет из добрых чужих рук мой поводок. И никто не будет носить меня на руках, если ноги мои вовсе отнимутся. Да, я до него уже не могла докричаться. Но я все-таки завывала тогда, и чужой хозяин остановился и стал передо мной на колени. Он даже заглядывал мне в глаза. А я выла, потому что ожидала конца. И он выпрямился и повел меня дальше. А его сынишка проводил обоих нас до порога. Мальчик и его сестренка. Они плакали и глядели нам вслед. А яковыляла к смерти своей и последний раз оглянулась на них. Ты, мой близкий, ты рядом со мной. А я плачу и не могу до тебя докричаться.

Нет, я понимала, что с такой болью жить невозможно. А что делать? Я очень хотела жить. Только он, тот, кто рядом со мной теперь, только он мог тогда появиться и увести меня от людей. Почему он был далеко? Он не знал, что вот-вот, и все кончится для меня. А потом ему скажут, когда меня уже не будет в живых. И в самом деле – ему сказали об этом. И он, я знаю, плакал, как я. Он тянул бы мою тоскливую ногу. Ему помешали слова. И он что-то говорил сквозь рыдания, вспоминая, как все было тогда в красной комнате на старой квартире, когда я бросалась к нему.

Тогда Миша был жив. Но хозяин мой знал, что я одна не уйду. И я тоже изо всех сил хотела, чтобы добрые люди поняли и оставили меня и вернули меня тому, кто один мог бы меня защитить. Он до сих пор догадаться не

может, почему тогда с такой болью он отдавал меня добрым чужим незнакомым людям. Почему он так со мной расставался. Вот сейчас он рядом, а я ему не могу объяснить. Он все мне сказал. Он что-то хочет поправить. Но он не знает, что нужно было делать в тот вечер, когда чужие люди взяли и уводили меня.

А если бы он догадался, он понял бы, что теперь я одна могу вывести Мишу оттуда. Уж если я появилась. Уж если я прижалась к тому, кто не может без сына. Как я не могла уйти от хозяина, так Миша, после меня, долго не может уйти от матери и отца. Я ведь, после того как мне ввели шприц, очень долго не засыпала. А Миша потом целых три дня там, в больнице, никак не мог умереть. Он ушел ко мне. И никто не знает, что мы вдвоем, только вдвоем смогли бы оттуда вернуться.

А тут изба. Зачем она загорелась?.. Я знаю, что есть граница всему, что можно понять. Почему, почему так болят мои лапы?. Та же моя боль, что была перед концом. И вот изба горит, но скоро и она обрушится в пламя. А пока еще можно терпеть. Да и вся моя жизнь – терпение, о котором никто из людей не догадался. Боли не было целых семь лет, а я ожидала ее. Ожидала и терпела, спешила набегаться. Потом на восьмом году вдруг не выдержала и стала хромать. Хозяин предчувствовал. А я хромала, и была очень спокойна, видя его. Я берегла мою лапу, а потом решила, что нужно терпеть и бегать, как положено здоровой овчарке.

Да, я терпела. И мне удалось обмануть всех, кто смотрел на меня. Всех – кроме хозяина. А его не обманешь, и он тоже, как я, терпел, невыносимую боль. А Миша меня очень любил. И он догадывался, что мы скоро уйдем друг от друга. А потом будем вместе. Я помню его лицо.

Хозяин! Изба закачалась. Вот-вот повалится набок. Чем заметнее она валится в пламя, тем острее моя новая боль. Нет, изба еще не упала. Опять задержка надолго. Странно, когда я вернулась и побежала в низовском поле, мои ноги легко летели в траве, и я обрадовалась и подумала, что не надо ничего ожидать. И я ничего не ждала. Но по дороге в лес вдруг что-то напомнило мне о том, что знает хозяин. Чего не ведает Вилли – мой друг.

То, самое тайное... Послушайте оба мой вопль. Да. Я могла бы вам показать, где Миша сейчас. Хозяин, будь осторожным. Вот он, Миша. Я вижу его.

## 12.

Нет, нет, не надо спешить. Сожми веки. Отгони все, что видишь. И пусть пока так и будет. Пусть он почти отсутствует. Я очень боюсь. Я изо всех сил зажмуриваюсь. Потом срываю очки. И еще вдобавок зажимаю глазницы ладонью. Все равно. Все становится абсолютно черным и только вспыхивает внутри в крошечной тьме что-то лиловое, а в нем набегают зеленые искры. Выжидаю: они теряют силу и гаснут. И передо мной в глазах полночная переправа через Ящеру – гнилые бревна и камни разрушенного моста. Аспидно-черная вода кипит, видна белая пена. Могу разглядеть. Нет, нет, все пропадает.

Если он здесь, он сам подойдет. Ко мне и к моим собакам. Вот уже, наверное, подошел. Не знаю. Молчит. Но что я теперь сумею ему ответить? Собаки – вот моя исповедь. Он это знает лучше меня. А наша встреча с ним – как будто впервые. Там, в домике, в Низовской – холодным весенним утром, после бессонной ночи. Там он пришел ко мне. А теперь – осень. И, кроме того... – мой сон. Порошок над собакой. Да, теперь я не тот. И теперь мы увидимся как будто впервые. Не надо. Боюсь. Потому что я до сих пор не готов. До сих пор, здесь, в последний час, когда сгорает изба.

Вилли пошевелился. Дернулся. Вскочил на ноги и рванулся влево. Какой-то миг его нет между мной и Биче. И вот кажется, что Биче не сидит рядом со мной. И я сразу возвращаюсь к реальности. Пожар почему-то уже не так ослепляет меня. Верхние бревна распались. Но где основание сруба?.. Золотая лиловая грудa вместо него. Там нижние бревна долго будут гореть. Отрываю глаза от огня. Где собаки? Рядом, но как будто пропали... Незаметны. Я успокаиваюсь. Глаза привыкнут, и я увижу ту и другую.

Долго стою спиной к огню. Проще простого проверить. Потяни поводки. Но я забываю об этом. Я всматриваюсь в пространство и вижу только оставшийся в глазах – изменчивый отпечаток пламени. Он сжимается, меркнет. Он еще не погас. Поле, где была деревня, и там, вдали, кромка леса – все они призрачны, как будто их нет. Вот, наконец, вижу собак. Сдерживаю в кулаке вертушку Вилли. Он тянет куда-то. Идет в сторону по тропе. Оторвался от Биче. А она по-прежнему вглядывается в огонь. Биче – опора моя. А он мои уши, мои глаза. Вилли, что ты увидел? Там нет никого. И в самом деле – кроме нас никого больше нет.

Как будто впервые, судорожно и внимательно, осматриваю знакомую местность. Любое пятно – живой человек. Это понятно: все движется в отсветах пламени. И, конечно, дальние пятна разглядеть невозможно. Вилли, ты никого не увидел. Почему ты рванулся? Почему стал на тропе? Оглянись. Биче спокойна. Узнала она или нет? Как будто узнала и отвернулась. Почему Вилли ходит и вертится? Я ведь все осмотрел. Тут дело в другом. Наконец-то я понимаю. Сейчас будет что-то – никогда не бывалое. Кто-то невидимый становится рядом.

Он, как и мы, явился интуитивно. Он обогнул пожар по нашей тропе. Теперь он возле нас. Вот он стоит. Вот садится. Около Биче. Вилли протискивается на прежнее место – между мной и овчаркой. Сын остается невидимым. А я его узнаю. И мне хорошо. И я не умею сказать – как и почему хорошо. Как будто кем-то понято и выполнено мое самое глубокое и неосознанное желание. Кто-то предугадал и ответил мне. Кто? Скажите, Вилли и Биче. Но кто же – кроме него?.. Милое безмолвие. Ради такого молчания стоит жить. И не торопиться. В отсветах пламени. В тепле от пожара. Каждое мгновение – это счастье. Да, мой страх проходит. Пауза – тоже небывалая радость. И я исповедуюсь, как никогда.

Неужели трава остывает? Собаки лежат. А за ними – прозрачная близость и родное дыхание. Даже не надо протягивать руку. Прикосновения все уже



были. Голос в ответ может и не звучать. Кто-то заранее все услышал, но хорошо, что я пытаюсь выразить, и не спрашиваю себя – зачем? Да, я не спрашиваю. Потому что какая-то сила тепло и ласково принимает меня. А сын мой сидит рядом с овчаркой. Давай, говори, говори, мой отец. Я знаю – тебе хорошо. Это большое событие, и я слышу только твой голос. Ты говоришь то, что я знаю и так. Но мне хорошо потому, что впервые словами, да, словами, а не как-то иначе произнесено все, уже известное мне. Слово никогда не бывает в начале. Оно подготовлено болью. Исповедь глубока.

А собаки слушают и запоминают – сами не зная, зачем. Они ловят речь и понимают, отец, твое состояние. А ведь и в самом деле – тут есть что запомнить. Обе собаки поймали в словах твое небывалое чувство. Сейчас, сейчас объясню. Как бы это сказать? А вот – очень просто и хорошо. Ты, отец, в том состоянии, когда не надо прощать. Да, да, ты себе не простил и никогда не простишь, но ведь и не надо прощать. Кажется, это высшая радость, подаренная человеку. Странно. Изба горит, а прощать ничего не надо. Верно ли это? Вот собаки разом головы повели в мою сторону. А он, прозрачный, подвинулся и сел поудобнее. Но я не заметил, как он взглянул на меня. Что? Что? Верно ли это?.. Неужели верно только для нас четверых?

Мир, божество, трава и тропы – всё, что над нами, в нас и вокруг, – все это наше невольное счастье. Потому, что он пришел и сел рядом с нами. Невидимый и прозрачный. Он где-то все понял и согласился прийти, сесть и послушать. Он чувствует сам тепло моих милых собак. А они – радуются тому, что он есть, и тому, что нам четверым ничего не надо прощать. Ему, пришедшему, и тому, кто один во всем виноват.

Изба горит по моей вине. Да, я знаю, да, я еще не признался в этом. Горит вся земля по ночам. Люди не видят. Но мы обнаружили. Из нас четверых виноват лишь один. Тот, кто говорит, а не тот, кто сжигает. Поджигатель ушел и теперь уже сюда не вернется. Бог с ним. Когда-нибудь люди его обнаружат. А мы уже догнали его. Это все позади. Ладно. Дело за вами.

Я не выдерживаю. Протягиваю руку. Ощупываю спину и шею овчарки, потом трогаю Виллину шею. А потом опять веду руку дальше, чтобы коснуться его. Рука проходит сквозь воздух, но ощущение такое, как будто бы я тронул теплое тело сына. И он никуда не исчез, но остался невидим.

Ничего не проходит бесследно. И никто не может отстранить от себя вину за этот пожар. Мы вполне допускаем его возможность. И я допускал – сидя там, на своем чердаке. Я видел какие-то сны. А вот она – явь – прямо перед глазами. Только моего спокойствия и не хватало, чтобы загорелась эта изба. Внучка уехала – не потому что с нами поссорилась, а просто уехала. Время настало. Горькая мелодия расставания. Сибелиус. Ласточка трижды залетала ко мне и клювом ударяла в стекло. Наконец, Биче выбежала ко мне в низовском поле. Там, по ту сторону железной дороги. Далеко от деревни Луги. А теперь я понимаю – это мама моя меня сюда привела. Она отговаривала. А я не послушал. И правильно сделал. Поздно мама пришла ко

мне. Или нет... Вовремя. Это я опоздал. И ко мне, опоздавшему, будут еще являться все, кто ушел – здесь и там. Здесь и там. До и после пожара.

Внучка вернется, когда уже не будет меня. И мелодия расставания дойдет до нее. И она заплачет. Как я – у этой родной и незнакомой избы, далеко от матери и от Наташи... Может быть, и мое грешное слово дойдет. Кто его передаст? Обе собаки и невидимый Миша? Только те, кто здесь, кто со мною сейчас.

Я вслушиваюсь. Я жду ответного откровения. Кажется, отдаленное пламя говорит со мной на своем языке. Я вполне понимаю эту странную речь. Но как выделить в ней слова и как перевести все остальное на язык этих слов. Собаки молчат, и сын отвечает молчанием. И поджигатель молчит. Потому что он ушел далеко. Пламя договаривает мне свою исповедь. В ответ на все, что сказано мной. Дальше будет молчание. К нему привыкать не надо. Все привыкли давно. Остается немного. Нет, мы ошиблись. Пожар вспыхнул с новой силой. Как будто кто-то подбросил в него свежих сухих бревен и поставил новую крышу.

Или – наоборот. Время рвануло вспять и подняло, восстановило все, что успело сгореть. Нет, здесь что-то другое. Мы, четверо, вглядываемся в огонь. А он растет и растет. Время возвращается, но такого пожара не было никогда. Зачем же оно вернулось? Ради нового пламени? И в этом разгадка?

Люди ушли от тебя, от тебя одного? Почему? Ты ошибся, ты виноват. Но в чем непонятная эта вина? Как исповедаться дальше? Я ведь не знаю, за что все это обрушилось на меня одного. Только что я был счастлив... Оказывается, пожар – новое искушение? Новый грех и новая боль.

Напрасно я пытаюсь опять прикоснуться к Мише. Трепетный воздух испепеляет. И уж теперь он вовсе не так прозрачен, как был. Все в нем дрожит. Искры сыплются прямо на головы. Это не шутка. Собаки вскочили. Кажется, если по-прежнему сидеть неподвижно и не отряхивать с себя горькие, пахучие, горячие искры, что-то явится и что-то станет понятно.

А сидеть и лежать больше нельзя. Это какое-то наваждение. Вот удивительно. Малейшего страха больше нет и не будет. Мы втроем переступили черту. Миша невидимый вновь подходит ко мне – теперь уже с другой стороны. Собаки оглядываются на него. Они как будто бы видят. И вот я впервые знаю ответ ответов на всю мою исповедь.

Что вам еще неясно? Необъятная страна сгорает в огне. А вы мучаетесь, молитесь, исповедуетесь. О какой чистоте души вы озаботились вдруг? Был грех, и Небытие поглотило его. И вот время дает вам новый и чистый миг. Нет, вам этого мало. Вам нужно вернуть ушедшее время, чтобы избежать в прошлом того, что вы уже совершили. Там его избежать нельзя, если это не была пустая ошибка и злая воля. И это все затем, чтобы вновь исповедоваться? И так без конца? Но вот конец наступает. Признак один: мечется время туда и сюда. И не затем, чтобы вы, наконец, добились прощения или поняли, что вас никто не простит и вы сами к себе останетесь беспощадны. Время ваше мечется – перед тем как исчезнуть.

Впрочем, то, что ясно мне и таким, как я, вам никогда не будет подарено. А ты, отец, ты почему впал в этот всеобщий, быть может, всечеловеческий грех? Кто тебе отпустит его и простит? Ладно. Ты опять шепчешь себе самому о том, что мне легко рассуждать. Нет, мне совсем нелегко. И всем нам, ушедшим, тем из нас, кто всегда рядом с вами. А эти собаки. В них разгадка и ответ – не только тебе, но и мне... Заранее знаю и все-таки жду разгадки. Знаю и жду. И ты, слава богу, не разбираешь за оглушительным ревом огня мои молодые слова. Они сами по себе. Их вроде бы нет. Они – в другом измерении. Собаки чувствуют их. Но сами по себе слова ничего не значат.

Собаки... Ну кто бы мог догадаться, что в них, именно в них – несогласие с тем, что поневоле знакомо ушедшим и вернувшимся вновь? Они отрицают всю нашу правду. Отрицают, потому что они рядом друг с другом. Особенно Биче. Я почувствовал ее там как что-то, что не дает мне уйти. Нет ничего, и вдруг я чувствую что-то. Оно передо мной и во мне. Такого не было прежде. Ни там, ни здесь. Это что-то новое. И вот незачем такому, как я, там оставаться или возвращаться оттуда. Пора полюбить мир, как любят они. Это я смутно понял и вот увидел отсветы пламени. Потом они куда-то пропали, как будто растворились в тумане, и остался один красный платок. А где он теперь? Вот он лежит на траве – прямо перед тобой.

Он лежит. Возьми его в правую руку. Не забывай о том, что держишь его. А то он снова исчезнет. Мама твоя там, а не здесь. А моя мама ждет нас обоих. Она знает, что я не приду. Наши с тобой состояния, папа, очень похожи. Ты понимаешь – рождается что-то новое. Не бойся. Мы друг друга снова найдем. Если только собаки наши окажутся рядом. Это условие. Не забывай. Это не только твои, но и мои собаки. Будешь верен их встрече, и все, что ты хочешь, я тебе дам. Любое совмещение и перемещение времен. Любое прощение. И то, что прощать ничего не надо. И то, что родится вновь, когда кончатся все времена. Люди ждут, когда же это случится. Но ждут без всякой надежды.

А все происходит здесь. И только здесь я еще могу с тобой говорить. Но слова мои тонут в порывах пламени. Ты не слышишь. Тебе кажется, что это сам ты с собой говоришь. Биче слышит. Вилли тоже услышал. Не отпускай их. Пусть будут вместе. В них ответ на всю твою боль. А я отойду осторожно. Ты не увидишь, но я возьму и унесу туда красный платок.

Невероятно. А Впрочем – кто объяснит мне, что где-то есть более вероятное? Вся ушедшая и даже недавняя наша история – это затишье перед исповедальной окончательной вспышкой. Что это? Я мысленно и лихорадочно перелистываю страницы лучших книг – тех, которые я никогда уже не раскрою. Мелькают абзацы, терцины, октавы, любимые мной гравюры, цветные репродукции дрожат, сворачиваются и растворяются в воздухе. А за ними – счастливые дни и мгновения жизни. Все то, что

прекраснее любых на свете книг и гравюр. Но ты не пугайся. Растворится только твое. Слава богу, все остальное останется и остается.

Нет, не надо себя утешать. И ты ведь прекрасно знаешь о том, что происходит сегодня. Там, где ты ничего не видишь. А не только здесь, где ты все уже увидел давно. Заранее – в лихорадке времени. Смене времен. Убыстрений и замедлений. Ты подсмотрел, как они много раз уже отменили друг друга. Вчера и сегодня. Ты уходишь. Но ведь и с теми, кто останется после тебя, все то же, как и с тобой. Не потому ли ты не готов отойти. Да, тебя ожидают мама, жена, сын, внучка и все другие, и все, кто ушел. А ты еще повторял недавно, что жизнь идет на поправку. И только что был счастлив. И не ты один, а вы все – вчетвером. И вот... Послушай. Вдумайся, Постарайся понять. Вот. Невероятна вся твоя жизнь. И не только твоя.

Они тебе исповедуются. Кто? Лихорадочно перелистывай книги. Вглядывайся в глаза тех, кто смотрит из тьмы и огня. Все, что видишь, вспыхивает и сворачивается в пламени. Сгорают или рождаются вновь? Принимай любую, самую страшную исповедь. У каждого – по-иному. Но все именно так. Ты очень боялся, что сила твоя кончится, когда ты дойдешь до конца. Ребенком, еще до войны, ты очень боялся того, что происходит сейчас. Того, что невероятно, – а ты почему-то предвидел, что это невероятное случится. Вот сегодня это сбылось, а ты уже ничего не боишься. Твоя лихорадка – это не страх. Это что-то другое. Это когда всеобщая исповедь принята. Мелькают глаза и страницы. Как будто бы ты, убыстрив течение времени, повторяешь еще раз для себя самого все, что видел и слышал.

Да, да, понимаю. Сознание – это способность предвидеть. Мы сознаем себя, только если предчувствуем то, что случится. Вот я предугадывал страшное и еще не верил себе самому. Казалось, что жизнь идет по-иному, и ужас нужно еще постигать. Хорошо, что я думал так. На всякий случай. Чтобы не быть заложником собственных выдумок. И вот под конец ясно – предвидения и предчувствия оправдались. Конец и начало жизни сомкнулись. Теперь можно ходить по кругу, бродить без конца, как по этой проложенной нами тропе. Но ведь когда-то надо ее разомкнуть. Или остаться здесь.

Вилли бросается ко мне и целует меня точными собачьими прикосновениями – в губы, в глаза. Биче медленно поворачивает голову. Она видит, как Вилли целует меня. И ее спокойствие могло бы меня напугать, если бы я был способен бояться.

Ладно. Она останавливает мою лихорадку. Потому что скоро наступит конец. А уход из жизни – это реальность. Такая же, как то, что мы все-таки здесь, в деревне Луги. Все возможно – в любую минуту пожара. Помню, как еще в сорок третьем году, когда мне исполнилось шесть с половиной, я грелся у печки, в хозяйской комнате, и спать не хотелось, а уже стемнело, и за окном на веранду, и за кронами черных яблонь и дальше за бугром и за опытным полем в полнеба подымался над нами близкий Тянь-Шань, и хозяйская злая собака рычала, услышав чьи-то шаги, и зевала на ступенях крыльца. В печке, в огне, среди золотых кизяков, охваченных пламенем,

грезились мне образы будущего. Но война ведь не кончилась. Вот я и дождался. Будущее передо мной. Тропа замкнулась опять. Но мы втроем, вчетвером. Вместе. И мы сумеем разорвать заколдованный круг.

Странные образы. Догорает все, что загорелось тогда. Мне трудно выразить, но я понимаю. Гроза миновала. Тучи остановились. Польшанье пожара и отсветы его в облаках еле заметны. А может быть, их и нету совсем. Тогда у печки рядом со мной была моя мама. Она меня обнимала и что-то рассказывала о мирной жизни, которая была до войны и будет после победы. Я не вслушивался тогда в то, что она говорила. Но слушал, слушал и только хотел, чтобы печка не догорала. Это я помню, а то, как она догорела, – забыл. Наверно, заснул, глядя в огонь. И меня, сонного, мама увела в соседнюю комнату. Вот, вспоминаю. На маме тогда было холщовое белое платье. И оно казалось красным от польхающих отблесков пламени.

И такую мама приснилась мне, и я во сне слышал ее тихий задумчивый голос. И он мне напоминал, какой мама моя была до войны, в тот день, как за ней покачнулась изба. Да, передо мной во сне была мама, черная от загара, молодая, в красном платке, и она глядела в сторону и смеялась, а потом перестала смеяться, и лицо дрогнуло и изменилось. Да, это снилось мне, точно. А теперь – неужели все то же самое? После всего, что случилось. После всей этой невероятной жизни моей. Нет, мамы сейчас нет рядом с нами. Но она близко. До нее можно дойти.

Биче, взгляни на меня. Ты согласна вернуться? Ну, иди – поближе ко мне. Видишь, Вилли хватает мне руку цепкими сильными лапками и целует, целует в губы, в глаза, в уши, в лоб, в шею и снова в самые губы. Иди ко мне, Биче, иди и так же меня поцелуй. Ты с трудом встаешь и подходишь. Я сам целую тебя много и часто. А ты дышишь мне прямо в лицо чистым прохладным дыханием и вдруг, чувствую, начинаешь дрожать. Так же, как Вилли. Он тоже дрожит. Что мне делать? Как вас успокоить? Понимаете? Все объясняется, наконец. Нет, не все. Не надо меня успокаивать. Видимо, только я сейчас могу что-то сделать такое, чтобы они успокоились и перестали дрожать.

Мне самому становится страшно. Жизнь восполнена, а ты один, и у тебя еще время осталось. Обе собаки пойдут за тобой. Но ты и только ты один можешь решить. На самом деле – не так. Они обе тебя поведут. Изба догорает последним пламенем. Что ты увидел в нем? Что в нем осталось? Что еще можно сделать? Никаких образов нет. Чистый последний огонь.

История государства Российского. Ад, Чистилище, Рай. Мой Данте. Я сам, который уже не принадлежит себе самому. Оказывается, в такую минуту, в такое мгновение ухода от всех – и от Биче, и от мамы твоей – ты не один, уходящий, какая-то необъятная сила хватает и за собой тащит тебя. И это сила родная, теплая и прозрачная, как и всякая сила, но она совсем по-особому нежно и мягко уводит всего тебя за собой. Не только то, что

называли душой. Всего тебя. И ты уходишь спокойно и смело, как будто по своей собственной воле. Но ты еще можешь противиться. Остановить эту силу. Пока еще ты можешь такое. Огненная и незримая мощь пока еще уступает воле твоей. Красный платок в правой руке. Кто-то незаметными рывками дергает его или это ночной ветер понемногу раздувает костер. Лиловый оттенок огня тонет в золотом ревушем порыве.

Благая весть о том, что здесь все начнется и будет заново, именно здесь, там, где последняя изба догорает, эта благая весть может повременить. Видимо, само бытие исповедуется мне красным пожаром. А я хочу прервать, остановить волей своей исповедь бытия. Но мои усилия бесполезны. Откровение состоялось. Ночная исповедь принята. Мы можем уйти, не дослушать. Она все равно уже доведена до конца. Если мы не услышим – тем хуже для нас. А ведь бытие надо спасать. От всех, кто не слышит. И вот я чувствую, что платок и в самом деле кто-то потянул из плотно сжатых пальцев моей правой руки. Я еще крепче сжимаю пальцы. Но платок выскальзывает. Я невольно отпускаю его. Он какое-то время повисает в воздухе, и ветер треплет его невесомые складки. Он как будто задерживается в воздухе передо мною. Так, чтобы я мог рассмотреть. И вот пропадает.

Как? Сначала вижу траву сквозь него, а затем – только траву. Я спокоен. Платок никуда не исчезнет. Я улыбаюсь. Еще одно доказательство правоты моей веры. Собаки рядом со мной. Вилли прижался к Биче, и она его лижет. Биче спокойно легла. А он стоит перед ней – спиной к огню. Так было вчера, на чердаке. Только без пламени. Мы победили. Ничего не надо прощать. Все изменилось. Время убыстрилось вновь. Чувствую. Как будто земля стала другой. Но все, что на ней, без изменений. Трава. Дальний лес. Прощальная замедленная вспышка пожара. Полночные сиреневые облака. Нет, они тоже движутся. Незаметно. Присмотрись и порадуйся. Облачная пелена как будто охраняет нас от ночного простора. Но вот вижу в облаках первый разрыв.

И тут в какой-то момент я ослабляю сжатие правой руки. Биче привалилась к моей ноге и дрожит. Я сажусь. Обхватываю ее. Прячу нос и глаза в ее шерсти. Черная голова рядом с моей. Закрывает огонь. Вдруг сильный рывок. Я не успеваю. Падаю вслед за нею в траву. А она уже далеко от меня и кидается в пламя. Рев огня. И вот Биче моей больше нет. Я тут же вскакиваю, кричу и падаю снова.

Сознание никуда не уходит. А пламя горячей избы удаляется и пропадает в ночном безлюдном пространстве. И теперь только один Вилли тянет меня по дороге, сворачивает к переправе, где в черной тьме по камням и бревнам шумит и клокочет вода.

-----

## П Р А В И Т Е Л Ь

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### НИРВАНА

##### 1.

Народ предпочел нирвану. Хороший афоризм. Чьи слова? Приснилось. Я ведь проспал мой собственный пленарный доклад. Увы. Говорил, говорил и одновременно спал. Все чаще и чаще такие случаи. На занятиях. На заседаниях конференций. Нирвана – конец. А что будет после конца? Что за вопросы? Теперь я уже засыпаю, возвращаясь домой? Опасно. Много неверных движений. А может быть, наоборот. Все верны в таком полусне.

Бобров очнулся посреди улицы. И как только очнулся, понял, что опоздал ее перейти. Движение возобновилось. Перед ним и за его спиной в разные стороны рванули машины. Прямо на него поехал трамвай. Сон пропал. В сторону. Теперь надо следить за собой. Пожалуйста, проезжайте. Видите – я в нирване. Стою и не двигаюсь. Жаль. Не следовало просыпаться. Уже давно был бы на противоположном углу. Неужели всем нам отныне предназначено существование – после конца?

Да ведь я об этом же говорил. Слушали хорошо. Усыпляющая тишина. Досадно. Проспал. Не расслышал себя самого. Теперь начинай работу мысли сначала. О том, что народ предпочел нирвану. А потом – что же? Она обернулась нашей реальностью? Нет, на самом деле, кто-то сказал по следам доклада (проходя в толпе, кивая головой налево и направо, я услышал), сказано было: народ вымирает, и, вымирая, предпочитает конец обновлению.

Вот что в действительности. А нирвана – это уже моя выдумка, а может быть, отзвук того, что я говорил, произнося мой пленарный доклад.

Черт возьми, охватывает чувство полной моей безысходности. И не только я проспал, но и все остальные проспали. И так же, точно в таком состоянии полусна в перерыве меня спрашивали о чем-то. И я отвечал на вопросы. А в мире, оказывается, в эти минуты восторжествовало то, что пришло после преодоления всех наших желаний. А мы не заметили и называем новое миром и бытием.

Ну, теперь уж я и впрямь чуть-чуть не угодил под машину. Великолепная иномарка. Слава богу, проснулся на той стороне улицы. А если бы раньше очнулся, она бы сбила меня.

Жизнь после конца. Да, ею нужно заняться всерьез. Бобров с удовольствием подумал, что вот, наконец, вроде бы подтверждается его давняя мысль о том, что самое важное – подслушать себя самого и что это самое трудное, ибо говоришь то, что надо подслушать, и в это время спишь и не слышишь. А проснулся – одни отголоски и отзвуки. Пора изловчиться. Игорь спит, Игорь бдит.

Сам того не заметив, Бобров оказался в Летнем саду и уже забрел в глухую аллею и сел на скамью перед каким-то мраморным бюстом. Барокко. Серый мрамор. Искаженные и сдвинутые черты лица. Неподвижный, наполовину прерванный сон. Здесь Игорь Бобров так часто любил сидеть в разные годы жизни. И каждый раз по-новому было грустно. И сегодня по-новому. Ну, как же – мысль о конце, и жизни после конца. Народ на пороге нового бытия и ничего не знает об этом.

А умным людям кажется, что мы, россияне, готовы умереть, чтобы не принять условий цивилизации и всего, что реформаторы предписывают большинству. Ну, господь с вами! Вы, специалисты... Жизнь уже кончилась. А сейчас новый день Брахмы и без перерыва. Тут Бобров, глядя на мраморный бюст с его искаженным лицом, стал вспоминать, когда же начался переход, исторический перехват. Лично для него давно и недавно.

Он потерял последнего сына, жену. Есть от чего забыться и жить в полусне. Он абсолютно один. А сегодня он произнес вероятно последний в жизни пленарный доклад и сам не знает, о чем говорил и что он такое людям сказал в состоянии сна. О какой такой новой жизни. О какой нирване, которую предпочитает народ.

Нет разницы между счастьем и горем. И тянется, тянется день за днем. И хорошо, что он спит и не слышит себя. Его жизнь – это конец, без всякой нирваны, а то, что он говорит – отзвуки, неуловимые знаки того, что случилось. И неужели, помимо него, многие в таком тупике?

Ладно. Теперь, после всего, что с ним было, ему уже ничего не страшно. Одни и те же мысли. Одни и те же безнадежные горькие ночи. Радость – всего лишь подтверждение печальных итогов познания. Горе и безнадежность. Болит в душе все, что обрушилось на тебя. И как будто это вчера. А ведь на самом деле прошло много лет. И он уже научился говорить и спать наяву, и не думать, не чувствовать и не слышать ни себя самого, ни других. И это нирвана?

Игорь Александрович Бобров – известный философ. К народу имеет прямое отношение. Отец и мать – из крестьян. Учителя. Он их потерял в пятидесятые годы. Люди, на ком держится жизнь. Семья хорошая, бедная. Отец внутри большой коммуналки сумел и не побоялся выделить себе двухкомнатную квартиру, с узкой темной прихожей-кухней и без удобств. Мать не была против, но все тридцатые годы жила в ожидании чего-то плохого. Оно случилось уже в сорок первом. Первый любимый сын ушел на войну и сразу погиб. А второго спасли в блокаду. Потом школа, университет. И вот стал он философом. Родители умерли в начале пятидесятых. Сначала отец. А через год и мать. Оставили его одного.

Бобров крепкий и тихий – себе на уме. Не идеолог. Не ортодокс. Философ–историк. Специалист по античным классикам. Древняя диалектика. Свои трактовки. Ссылки и опора на Маркса. Он занимался тем, что нравилось Марксу. Поэтому рядом с таким советским философом любой дурак был обезврежен. Мудро и просто.



И все это Бобров сейчас говорит себе самому, сидя на скамье один в Летнем саду. Вообще он часто разговаривает сам с собою, называя себя в третьем лице. Так объективней. Он спорит с собой. Он критиковал сам себя в пятидесятые и семидесятые годы. Искренно и потому убедительно. И делал это лучше и основательнее, чем могли бы сделать другие. Поэтому с ним никогда нет повода полемизировать. А он остается верен себе.

Еще одно: он всегда говорил и писал тоже в своей манере. И его манеру признали. Бобров подумал. Бобров считал, Бобров выдвинул. Бобров ошибался. Вот сейчас он, пожалуй, не ошибается. Конечно, его интересовали глубинные связи буддизма и поздней античности. Он изучил санскрит и стал неплохим филологом. А время работало на Боброва. К его книгам привыкли. А к его пристрастиям тоже. Вот и сегодня. Вытерпели и даже проспали нирвану. Ай да Бобров. Крестьянин-язычник. Диалектик-античник. Буддист. И в прошлом – не ахти какой коммунист. Постмодернист. Но это в душе. А так он сам по себе. Нашел для себя сферу свободы. И все же не смог себя уберечь. Горе – одно и другое и третье.

Можно думать, думать и думать и не заметить, как бегут недели, месяцы, годы и десятилетия. Уже вечер. Пора бы домой. Пора бы ему в его пустую квартиру. Другую. Не ту, где прошло его детство. Трехкомнатную. Там ничего нет, кроме книг. Там, в пустоте, живет его диалектика безысходности и то, что будет после конца.

Глухая аллея Летнего сада под вечер становится теплой, уютной – как на сумеречных темных картинах Сомова. Остров мертвых Бёклина и Рахманинова, осмеянный Маяковским. Нет, сегодня речь идет о нирване и о том, как в современной России большинство жителей вступили в нее. Народ безмолвствует или предпочитает? Что вы? Бобров немножко знаком с тем, что такое российский народ. У него есть друзья, которые разделяют его интуитивное ощущение того, что народ еще существует и еще долго будет безмолвствовать и предпочитать. Есть и враги. Но с ними уже давно идет разговор. Полемика в состоянии полусна. Проспал свои аргументы за и против. Но кого-то вроде бы убедил. Все равно. Доклад прощания.

Барочный бюст вовсе пропал в зеленом коричневом полусумраке темной аллеи. Нет, еще заметно его померкшее голубое пятно. Почему-то в саду нет никого. И не нужно. Заря нового тысячелетия, погруженная в сумрак. Вечерняя заря. В самом начале второго десятилетия новой эры. Для меня – конец. И для Боброва – конец. Но для нас обоих – еще и еще раз: что будет после. С чего начнется новый день Брахмы? Эра не обозначилась никакой новой идеей. Христианство. Язычество. Бобров утверждает: нирвана. Бобров ему возражает. Язычество. Православие в нынешнем бескультурном изводе. Безразличие к тем, кто сегодня грабит и убивает. Все вы обречены. Апокалипсис был. Страшный суд состоялся. Его никто не заметил. Вечер.

Пойдем, Бобров. По крайней мере, ты не безразличен к тому, как умирает новая эра. Политических бурь нет, но у тебя в душе никакой нирваны. И неужели ты утаил замысел того, что совершишь напоследок? Ну, конечно, «совершишь» – громкое слово. Ты привык прятать глубоко такие слова.

Диалектика – способ сдерживать и погружать в тайну самые решительные и смелые мысли. Нет, лучше сказать идеи, эйдосы. Вот они притаились в вечернем сумраке Летнего сада. Главная аллея пуста. Видимо, я засиделся. Фантастика. Воистину – остров мертвых. Пора отчаливать оттуда, куда все приплывают. Бобров, ты можешь заплакать, расставаясь с этими силуэтами деревьев и статуй. Правильно.

Всю жизнь мне жалко с чем-нибудь расставаться. Но вот одно за другим то, что нельзя пережить. Одно за другим. И вот уже... Плакать не надо. Эра, наверное, будет иной. И если хотя бы один человек нарушит нирвану... Предвестие. И сам ты уже после конца.

Последний афоризм – уж это полная правда, Бобров... А сейчас выйдем из Летнего сада. Пока после конца только ты сам. Узок твой круг. Слишком далек от народа. А народ предпочитает иное. Странно. Как ты мог до ночи задержаться в Летнем саду. Вот уже полночь. Летний сад вечером закрывают. А ты, Бобров, прошел ворота и не заметил. И в саду, когда ты сидел на скамейке, не было ни души. Фантастика. Не вернуться ли вновь на остров мертвых, где живут после конца. Кто живет? Маяковский ведь иронизировал с ужасом: «а за полями тополя возносятся в небо мертвость». Нет, не пойду. Жить так жить. А если удастся доказать, что живу я как все, значит и остальные живут «после». Просто.

Нева – ультрамарин с акварарином. Ослепительна, как никогда. А где же народ? И здесь – никого. Береговой гранит еще теплый. А тот берег теряется в дымке. Или просто мои глаза никого и ничего не желают видеть. Как мог ночной Петербург обезлюдеть? Что-то случилось? Что бы ни было, узнаешь последним. До дому долго и странно идти. Все мы на островах. А мой континент жизни так и называется – Васильевский остров. «Не то леса, не то поля...». Вот иномарка. Вроде бы, та самая, под колеса которой я чуть-чуть не попал. Мчится мне навстречу по набережной. Всматриваюсь. Ну, так и есть. Показалось, что за рулем нет никого. Да и вообще пустота внутри. Никто не сидит. Останавливаюсь невольно. Промчалась. Та же самая пустота.

Ничего. Такое бывает. Как сон во время доклада. Вдруг все пропадает. И всегда – в связи с тем, что проспал. У меня даже есть мой доморощенный термин. Недостающие аргументы. Говоришь о чем-то, а аргументов, как всегда, не хватает. И вдруг видишь – вот они. Заполняют все пространство и время. Можно было бы сослаться на них, да уже время прошло, и обстановка меняется. И давно пора просыпаться от своих построений, теорий, идей. Время такое, что мне, Боброву, можно уже о чем угодно вслух рассуждать. Будут слушать и подтверждать, подбрасывая философу недостающие аргументы. Но такого сегодня, Бобров, ты не ожидал. Весь ночной Петербург – подтверждение. А там – «не то леса, не то поля».

Что? Уже Зимний дворец? Конечно, пустой. Все приносится в жертву идее. Даже бессмертные полотна и мраморы. Весь первый этаж. Туда ты часто сбегашь – только чтобы не возвращаться домой. А дома – компьютер, зеленое сукно дубового письменного стола и шкафы с твоими любимыми книгами. Дома нет никого. А теперь и ты в последний раз возвращаешься. В последний.

Уж если компьютер не выключен, значит все верно. Вздохаю по лестнице. Как молодой. Волнуюсь. Долго не могу обнаружить ключа. Портфель я ведь тоже оставил дома. Но вот они в правом кармане. Там, где бумажник и паспорт на всякий случай. Вынимаю ключи. Спазма сжимает горло. Сейчас у меня лицо, как у того греческого героя в Летнем саду. Наверно, такое же бледное. Открываю. Снимаю с охраны. Врубаю свет в кабинете. Компьютер включен. Правильно. Я сам себя убедил. А это уже кое-что. И тут вдруг все становится ясно. Я прислушиваюсь, и мне кажется – в соседней комнате опять кто-то есть. И в другой комнате – шевеление. Присутствие. Вздор. Такого не может быть. Подобные сдвиги не для меня.

Сажусь за включенный компьютер и продолжаю работу, брошенную вчера. На экране вижу, что я уже отработал четыре часа. За окнами – тишина ночного безлюдного Петербурга. А в соседних комнатах – то же присутствие, дыхание, шевеление. Но я неимоверным усилием воли заставляю себя работать, как будто все, как и прежде. Уже скоро – пятнадцать лет. Разве я могу позволить себе – встать, выйти в темный пустой коридор и распахнуть обе закрытые наглухо соседние двери. Нет, я еще жив и работаю, как обычно. Книга, которая должна все объяснить. Прежде всего – мне самому. Но, чтобы ее закончить сегодня... Дыхание, шевеление, присутствие. Там два брата, а тут – жена. Возраст не имеет значения. Спят они. Дышат. Живут.

Еще вчера и позавчера мне удавалось. Утром зазвонит в кармане мобильный. И сразу все пропадет. Но сегодня... Я тороплюсь и пишу. А в соседней комнате звуки присутствия все отчетливей. И если сейчас встать и проверить... Но я должен выдержать. И все-таки не выдерживаю. И вот я встаю из-за стола и чуть слышно, чтоб не спугнуть себя самого, делаю шаг за шагом к двери моего кабинета. Медленно. Останавливаюсь. Вынимаю книгу за книгой и, не раскрыв, бесшумно ставлю на место. Вот шкаф с моими трудами. Как их много. Не надо притрагиваться к дверце. Не надо проворачивать ключ. Пусть они сами думают о том, что я куда-то пропал и ушел. Ведь если все подтвердится, мы можем увидеть друг друга. Ну и что? Ведь каждую ночь... все эти годы. И я ждал и молчал.

Вот я вновь за компьютером. Книга моя готова. И в ней любая страница насыщена жизнью – после конца. Вчера я понял, в чем состоит эта жизнь. Теперь нужно вслушаться и посмотреть получше. Недостающие аргументы – вокруг. Новая эра, несмотря на то, что народ предпочитает нирвану.

## 2.

Второй день конференции. Неужели пойду? После того как закончил итоговый труд? Но ведь там люди, люди и люди. Пусть книга с ними поговорит. Нашелся бы один, кто прочтет и услышит. Кто, читая, ответит мне или спросит, как я сам этой ночью. Впрочем, одного такого я, пожалуй, заметил вчера. Мне показалось, что, когда я дремал во время доклада, он, слушая меня, ловил каждое слово. Мы чужие, хотя часто видим друг друга на таких конференциях. Ладно. Вздор. Сегодня он сам на заседание не придет.

Вообще-то я кое-что слышал о нем. Филолог. Судьбы наши очень похожи. Книги его мне знакомы. Бобров даже где-то однажды полемизировал с ним. Он не ответил. Правильно. Двойник мне не нужен.

Ладно. Забуду. Прошла бессонная ночь. Вторая подряд. Похоже, заболелаю. Бессонницей никогда не страдал. Даже наши квартиры похожи. Такой же изогнутый коридор. Но у меня – две закрытые двери. А у него – три. Фантазирую. Если встретимся как-нибудь, первым делом спрошу и проверю. Не надо никаких повторов «Улисса». В прошлой эре, которая только что кончилась, люди были подобны листикам дерева. Ветки оставались, а листья опадали. Теперь – наоборот. Мы все друг о друге знаем заранее. Сосредоточься и получишь любое досье. Люди перепугались и предпочитают не знать. Так и будет. Новый Джойс обязателен. Тот, с кем я сегодня уж никак не хотел бы встречаться. Тот, чья судьба схожа с моей.

Что это? Новый шум за дверью?

Ну, уж теперь надо смело войти и проверить. Книга завершена. Я сделал свое. Город проснулся. Где мой Улисс, мой Телемак? В малой комнате? Прежде всего моя Пенелопа. А как же они? До их двери – всего десять шагов. Безумие. Нет. Новая эра – новая норма. Если мы все друг о друге знаем, значит, все времена совместились в одно единое время. И в нем возможен любой переход. Весь вопрос, какую дверь первой открыть. Ту, перед которой стою. Там был особый шум. Там и сейчас кто-то есть. Чувствую. Знаю. Догадываюсь. Это уже не философия. Это какой-то Гофман. Или фантастика будущего. Нет, философия. Сосредоточься. Наберись мужества и войди.

Делаю то, что не надо. Стучу в закрытую дверь. Тихо. Осторожно. Как было когда-то. Ну вот. Присутствия там – как не бывало. На всякий случай приоткрываю дверь. Вхожу. Боком. Чуть слышно. Зажмурил глаза. Напрасно. Все равно ничего не вижу. Открываю глаза. Какой-то момент – все как было. Когда я входил по утрам. Какой-то момент. И вот – нет ничего. Полный порядок. Но она здесь была. Постаралась, чтобы не осталось никаких изменений, следов. К сыновьям даже нечего и заглядывать. Как же так? Вспугнул самого себя. Данте когда-то находил утешение в философии. Он был прав. На самом деле философия – это ясновидение. Это любовь к высшему знанию. Теперь – только такая.

София. Как похоже. Все, как у моего Джойса. Ему удалось. Он все сделал правильно. Такое же утро. И ни одной ошибки. В итоге – иная, новая жизнь, о которой он уже написал. Но только я еще пока не прочел ни страницы. Вот почему он так слушал мой пленарный доклад... Но ведь он не философ. И вообще – он совсем другой человек. Недаром я с ним до сих пор не желаю встречаться. Нам не о чем говорить. Просто он мой заочный свидетель. Он может все подтвердить. А я не хочу никаких внешних свидетелей. Никого не хочу вмешивать в мою философию. Пусть она меня утешает. А я напишу еще одну – и впрямь последнюю, а может быть вовсе первую книгу. Мы не встретимся, нет. Я не поеду на этот второй сегодняшний пленум.

Почему-то мне кажется, что он когда-нибудь сам позвонит. И тогда я отвечу. А что, в самом деле... Он ведь нуждается в философии или нет? По-моему, до сих пор не нуждался. Думал, что сам он философ. Наверно, я бы ему пригодился. Но он уже пятнадцать лет обходится без меня. Пятнадцать лет. Вот, посмотри, Бобров. Даже в сроках мы с ним совпадаем.

Иду спокойно по коридору. Открываю дверь к моим сыновьям. Возраст их не имеет значения. Тогда они еще жили вдвоем в этой комнате. Открываю дверь. И, конечно, пусто. Кровати заправлены. Большая кровать и раскладушка. Вещи по-прежнему лежат в нужном порядке. Только одна книга раскрыта. Не помню. По-моему, я сам ее раскрывал. Гамсун. Это не Гофман. Я не хочу его обреченной печали. О чем бы он ни писал. Все равно сразу тоска и безысходная грусть. Листочек, обреченный упасть. Он согласен. Он знает предназначенье свое. Как это Пришвин заметил: «героическое смирение, удобряющее почву творческой природы». Он прав. Я человек и такого смирения до сих пор не знаю и знать не хочу. Философ.

А, может быть, это сигнал. Откуда? Новая эра дает иные сигналы. Слышишь какой-то шепот. Он просит о помощи. Отзовись. Кто из братьев открыл эту книгу? Они погодки. Очень похожи. Им хорошо было вместе. Когда один погиб, другой тут же пошел по его пути. И тоже погиб через год. Оба сговорились – не принимать моих скрытых идей. А я их предупредил. Больше. Я для них писал мои книги. Все напрасно. Гамсун и Пришвин. Я эти томики специально положил на стол. Положил три года назад. Когда все началось. Положил и серьезно радовался, что ни одна из них без меня уже не раскрыта. И вот вхожу и вижу. Как это понять? Упрямство или попытка снова поспорить со мной?

Нет, Бобров, ты плохой философ. Ты не предусмотрел. Не предвидел. А философия – сплошное предвидение. Нынешняя философия должна изменить формы. Диалога с самим собой уже недостаточно. Почему я говорю это вслух? Они ведь отучили меня. С тех пор я стал спать на своих докладах. И боялся возвращаться домой. Не потому что квартира пуста. Боялся их присутствия. Боялся того, чему поверить не мог. А теперь вот сигнал. Гамсун. Какая страница открыта? А! Драматическая поэма. Ненавистный мне «Мункен Венд». Его монолог – решительный момент – поединок с Богом осознан. Ребята, поверьте, сейчас уже не нужны поединки. Бог глядится в нас, как в зеркало. И ужасается он себе самому.

Бобров, опять? Ну что ж, надо закрыть эту дверь. Читайте, что хотите. Давайте любые сигналы. Но зачем? Ведь спорите не со мной, а сами с собой.

Она проходит по коридору. Так прямо и просто. Включаю электрический свет. Не обязательно видеть, если присутствие ощутимо. Пока только прошла. Рядом. Как будто я услышал дыханье. Как было. Но тогда она меня обнимала. А сейчас. Побоялась немного. Побоялась... Потому что ведь я уже кончил мой труд. И теперь я немножко другой. То, как было, уже невозможно. Заново, заново. Но, если так, невозможен возврат. Все должно быть несхоже с

тем, что было когда-то. Прежний материализм? Нет, жена. Все иное. И почему-то все может вернуться. Вот уже ты вышла из комнаты. Прошла, как тогда. Не надо было мне включать электричество. Проще – посторониться и ждать. Но почему до сих пор ты не умешь дожидаться?

Да, она прошла к сыновьям. А я только что вернулся из комнаты в коридор. Ну ладно. Прошла и прошла. Я счастлив, что мы не потеряли друг друга. Теперь между нами уже не стоит моя книга. В ней отныне я не буду менять ни абзаца, ни строчки. Она отпала и не возвращается к себе. Теперь присутствие там, где они вместе. Они знают, что я не войду. Вот когда мне понадобится товарищ и собеседник. Посвященный в то, что происходит сейчас. Понадобится, а он там, на конференции. Там, где мы незнакомы. Там, куда я больше не возвращусь. И не только сегодня. Лучше постоять в коридоре. Послушать и помолчать. Вот уж точно – умирают желания. Так было все эти годы. А сейчас – небывалое чувство. Начинается. Не торопись.

Проходит время. А я не могу вернуться в мой кабинет. Здесь тоже стеллажи. Книги. С автографами и пометами. Не знаю, зачем я собрал их именно здесь. Книга с пометой для меня больше, чем книга. Я цепляюсь за почерк, исследую скоропись. И разговариваю с тем, кто оставил на страницах свой след. Вон сколько у меня собеседников. «Анна Каренина» – с подчеркиваниями художника, пока он еще вживается в книгу и пока не сделал еще свои иллюстрации. А два тома с цветными картинками – в той комнате, куда прошла она и где они втроем собрались и что-то тихим шепотом говорят обо мне. Листаю исчерканную книгу, думаю о художнике и не разрешаю себе подслушивать. Никогда не слушал. А сейчас не разрешаю.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга...» Это я бы сейчас подчеркнул. Художник пропустил, не сделал пометы. Естественно. Проиллюстрировать невозможно. Здесь надо говорить с тем, кто испытал все, что я переживаю сейчас. Надо сверить наши чувства и состояния.

А! Вот она выходит и опять – мимо меня, в свою комнату. Хочется прошептать или крикнуть: «Остановись! Ты видишь меня? Сделай усилие. Не надо бояться. Уж теперь я никуда не уйду». Нет, Бобров, она проходит, не оглянувшись. Едва не сказал – «проплывает». Но она ведь не призрак и не симулякр. Нет, я почти что слышу ее шаги. Дверь в ее комнату я оставил открытой. И вот сама собой она закрывается. Осталась малая щелка. Но и она исчезает. Я в темноте. Выключен электрический свет. Или он сам погас. Томик в руках. Тяжелый. Но те два тома еще тяжелее. Больше не делай ошибок. Иди в кабинет. Читай и прислушивайся к тишине. Глаза слипаются. Компьютер погас. Откидываю шторы. Утренний свет.

Падаю на диван и засыпаю. Совсем теряю себя и уже наблюдаю откуда-то со стороны. Все, что происходит. Еще один аргумент. Но как это проиллюстрировать? Как рассказать и кому? Те, кто это уже открыл, не нуждаются в иллюстрациях. Они тоже пытаются рассказать. Хотя бы самим себе. Но слова путаются. И я засыпаю. Понятно без слов. Успокаивается. Вижу веселую дорогу в горах. Белые камешки

прозрачного кварца. Поднимаю один и хочу сохранить. Нет, лучше отбросить. А то проснусь у себя в кабинете. Белый полупрозрачный кварц говорит со мной молчаливо и вечно. Утреннее солнце в горах не так припекает на прохладном ветру. А вокруг белая тишина, доступная мне. «Дхаммапада» камней Гьян-Саровара.

Наблюдаю со стороны и понимаю, что уже пятнадцать лет я не могу забыть таким благодатным сном. Дзен-буддизм всегда вызывал у меня тревогу и внутреннее отторжение. Внезапность ради мгновенного озарения – самообман умирающей эры. А взамен поутру – непрерывность и постоянство полупрозрачного кварца. Вглядись пронизанный светом другого солнца в тот камень, который ты привез из страны «Дхаммапады». Но петербургский твой кабинет – на теневой стороне. Иди в ту комнату, где проснулись ребята. Почему-то они в белых одеждах. Почти близнецы. Друг на друга похожи. Но старший готов подчиниться младшему. Поглядывает на него. И в самом деле, младший как будто яснее для меня и для брата.

Он мне отвечает. А старший молчит. И я его понимаю. И шепчу мой главный вопрос. Ответ обволакивает меня белым прозрачным туманом. И туман останавливается. Он уже не клубится. Он застывает надолго. Но я взмахиваю рукой, выхожу из него и вывожу за собой из нирваны моих сыновей.

Самое главное – не утратить при переходе из сна в реальность то, что реальнее всякой действительности. Разбуженное сознание – вполне переходит оттуда. Сохраняется образ того, что тебя озарило, очень долго с тобой неизъяснимое чувство – не только новая горечь утраченного, но и радость приобщения к высокой недостижимой правде. Философия остается. А что исчезает? Прикосновение, шаги перехода, несовпадающие шаги обоих, когда сразу чувствуешь, что оба они вышли вслед за тобой. А этот белый застывший туман и то, что раздвинуть его уже невозможно. Тебе все-таки удастся во сне поколебать прозрачную вязкость вечно камня, придать ему жизнь и оставить его за спиной усилием воли.

Все вполне доступно. И я чувствую облегчение. То же самое постараемся воплотить наяву. Это еще одна особенность новой эры – уводить из лобного сна в реальность все недоступное прежде. Эра добровольных и невольных жертв завершилась. А ведь в том и заключались беды нашего прежнего существования. Все, что в библейской мифологии называется последствием грехопадения. Все наши беды, боли, утраты, преступления, все вызвано заветом о необходимости искупительных жертв. Теперь силам небытия жертвы уже не нужны. Все начинаем заново и по-новому. Как рассказать об этом и кому рассказать. Но те, кто присутствует, знают, они затем и вернулись. Надо поведать о том незнакомому Джойсу.

Вот бы он сейчас позвонил. Так мы проверим действительность внезапно рожденного дня. Бобров, ты очень рискуешь. Но тебе еще никогда не удавалось проснуться и почти ничего не утратить. Этим надо воспользоваться. Если он слушал внимательно каждое слово и бодрствовал

одновременно, значит, он должен сейчас позвонить. Ему это нужно. Он один, пожалуй, нуждается в помощи. С ним что-то подобное уже было. Но он остается неозаренным. Он жертва неведения. И он не знает – жертвы отменены. Послать ему импульс? Бобров, ты сумеешь. Если еще не до конца вышел из своего белого сна. Прихвати в нем такое умение. Возвратись ненадолго и сразу – назад. Философский волшебный камень. Кварц.

Ну вот, наконец, первый звонок. Мобильный заговорил. Бобров, не спеши. Да, это он. Здравствуйте. Приезжайте немедленно. Что-то мне шепчет, что мы не увидимся. Но уже хорошо то, что вы позвонили. Мы попробуем поговорить. Как еще никогда и никто. И я поделюсь моим счастьем. Вы уже знаете, что оно пришло ко мне этой ночью.

### 3.

Тот, кто приехал, – не тот, кто слушал и ловил каждое слово. Он мне вовсе незнаком, и я о нем никогда не думал. Но ведь я проспал на диване всего какой-нибудь час или два. Сейчас одиннадцать. Обычно я в эти часы работаю. А сегодня сам позвал незнакомого гостя. Да еще как! Приезжайте немедленно. Вот он приехал. На пороге сразу вижу – не тот. Но я, приглашая, уже сказал ему очень много. Придется впустить. Продолжить наш разговор. Ну что ж, я продолжу. И буду рад, как тому, кто слушал и не позвонил.

Хорошо, что этот визит состоялся утром. Последние годы вечера для меня – самое тяжелое время суток. Я даже приучаюсь работать по вечерам и ночами. Чтобы отвлечь себя. Бобров, ты это говоришь вслух своему новому гостю. Не удивляйтесь, что я так начинаю. Состояние очень тяжелое.

Попробую описать. Представьте себе – тело ваше уходит. Оно свое отработало. Оно болит. Оно умирает. А вы в поединке с ним. И вы понимаете, что вызвали на поединок силу, которая посильнее вас. Нет, не этот бранный организм, а всю природу вещей. Вам непонятно. Вы крепьш. А сколько вам лет? Я думаю, так – двадцать пять, двадцать шесть. Верно.

Прямо скажу. Я принял вас за другого. Не удивляйтесь. Да, вот мой кабинет. Вот мой круглый стол. Садитесь. Вы пришли вовремя. И я вам рад больше, чем тому, за кого я вас принял. Да, состояние тяжелое. Особенно потому, что вы понимаете – машина уже отработала. Ее нужно менять. А она, по сути, незаменима. Уходя, она уговаривает. Не упорствуй, ты это я. Отвлекись. А я не хочу. Но вечерняя победа радости не приносит. Вам непонятно. Вы приехали потому, что я обещал поделиться вестью о счастье, которое ко мне пришло этой ночью. Я поделюсь благодарно. Вы очень похожи на моего младшего сына. Сидите так. Я вас долго не задержу.

В самом деле – он очень похож. Только не надо ему рассказывать сон. Дети не любят, когда их ведут за собою. Листики дерева. Надо ему объяснить, что все превратилось и преобразилось, когда настал новый день юного Брахмы. Чувства иные. Поступки совсем непохожи. Вот я уже так поступил. Я послал вам импульс, не зная, что это вы. И вы отозвались.



Как он сразу все понимает. Не надо ничего объяснять. Как приятно видеть молодость, полную силы. Вы продолжение счастья, которое ко мне пришло этой ночью. Потому что вы похожи на того, кого я вывел утром из моего белого сна. Вы ничего не почувствовали? Вас никто ни откуда не выводил? Что-то было. Я так и знал. Мысль о том, что делать, когда народ предпочитает нирвану. И не просто большинство, а все, кто живет. И если одного кого-то удалось увести, значит, все понемногу выходят. И это и есть новый день. Что? Вы что-то хотели сказать? Нет, я вижу, вы запретили себе говорить. И правильно сделали. Первые утренние минуты нового дня беззащитны и незаметны. Да, я ночью кончил последнюю-первую книгу.

Вы тоже философ? Нет, вы гуманитарий, замешанный в бизнесе. Так? Я угадал? Недвижимость? Нет, как раз то, что передвигается. И сами вы двигаетесь – туда и сюда. Очень успешно. Студент? Физик или художник? Правильно. Я угадал. Не надо о нынешнем положении. Мы знаем это все наизусть. И мы совпадаем в выводах и оценках. А! В отличие от многих, вы человек совести. У вас все хорошо. Вы даже уделили внимание пленуму конференции. Но индивидуальные судьбы не решают проблемы.

Ну, я догадываюсь. Вопрос ваш в том, как относиться к фону, к тому, на котором так ярко разгорается ваша судьба. Радоваться или не радоваться тому, что он черный. Не будет фона, погаснет и ваше дело. Так или не так? Элементарный вопрос. А вчера вы услышали, что народ предпочитает нирвану. И вы хотите понять, что это значит.

Ну вот. А я думал, что мы с вами одинаково мыслим. И обрадовался, что вы к тому же очень похожи... Ну ладно. Попробую объяснить.

Объясняю. И происходит что-то совсем неожиданное. Бобров, не теряя последней надежды. Чем дальше, тем сходство становится больше. Быть может, это и в самом деле продолжение сна. Встаю. Где мой обломок белого кварца? Вот он лежит на шкафу. Слегка розоватый. И он значительно меньше, чем я видел во сне. Дотягиваюсь. Беру его и кладу на стол между мною и гостем. Дальше все просто. Объясняю, глядя на этот обломок, привезенный из Индии. Гость обращает внимание. Перестает слушать и повторяет вопрос. Бобров, лучшие твои озарения пропали. Ты сам ничего не понял. Нирвана – хороший фон.

Коллективная ферма. Вложенный в нее капитал. Народ безмолвствует и умирает. Все в порядке вещей. Если последуют примеру – спасение и, действительно, утро нового дня. Но они не последуют. Они предпочитают нирвану. И только философ из нее выводит погибших своих сыновей. А я похож на кого-то. Слава богу, не очень похож. Зачем он принес и положил передо мной этот камень? Видимо, символ нового дня. В сущности, утро еще не наступило. Пора кончать разговор. Но философ продолжает свою медитацию. Кое-что интересно. Бобров, что написано у него на лице? Странно. Я не хочу его отпускать. Признак Софии. Да, надо радоваться тому, что черный фон становится белым. И я пытаюсь обрадовать гостя.

Он кивает головой и встает. Белый так белый. Сам он готов уйти в нирвану, если потребует конъюнктура. Или произойдет в России давно ожидаемый перелом. А я все жду – вот он заговорит, как мой сын. Через пятнадцать лет. А потом появится кто-нибудь, похожий на старшего. Как две капли воды, похожий. Сказать об этом или смолчать? Правильно. Я запрещаю себе говорить. Мы долго стоим и молчим. Он ожидает моего последнего слова. Когда определится счастье. То, какое так внезапно явилось и вызвало нежданного гостя. Он пришел. Готов уйти. Опускаю глаза. Невозможно. Утро наступило. Многие, очень многие еще не проснулись. Когда?

Что? Что такое? Он просит, чтобы я подарил ему этот кусочек белого индийского кварца? Чтобы я ему отдал мой сон? Значит, он ничего не понял и не может понять. Но я ему отдам этот камень. И сам ужасаюсь тому, что делаю. Нет, надо камень отдать. Верно и неизбежно. Возьмите на память. Когда-нибудь вы разгадаете, как в него войти и выйти назад. Больше мы не увидимся. Это ясно. А сейчас как его проводить до порога? Что случится со мной в коридоре, где только что проходила она? Присутствие возобновилось. Я чувствую, если гость переступит порог и уйдет, никого не встретив, значит, все кончится благополучно – и для меня, и для него.

Он идет передо мной – такой статный, высокий. А мне становится плохо. Я прислоняюсь к стеллажу, у которого утром стоял. Этого слишком уж много для меня одного. Но гость оборачивается и замечает мое состояние. Он колеблется – уходить или нет. И вдруг отворяется дверь из комнаты братьев. Сама собой отворяется. Из комнаты бьет солнечный свет. Гость на этом свете – силуэтом. Знакомым. Родным. А за ним как будто встает еще один силуэт. Невыносимо. Делаю вид, что я ничего не заметил. Гость называет имя свое – Михаил. Фамилия совпадает с чьей-то другой. Неважно вспомню потом. Совпадает. Он подает мне руку. И я вспоминаю ощущение сна.

Да, он заглянет еще раз и подумает о том, что услышал. Я тоже подумаю. Солнце слепит. Я закрываю глаза. И жду, когда его рука улетит из моей. И останется то, что осталось.

Почему отворилась дверь? Видимо, я притворил неплотно, а гость задел ее, уходя. Все в порядке вещей. Теперь надо отключать мой телефон. Так я обычно делаю по утрам. Но ведь я кончил дела. Ради чего сегодня его отключать? Или не кончил? Нужна особая тишина для раздумий над новой книгой. Той, ради которой приходил ко мне мой Михаил. Он мне напомнил о том, что я уже стал забывать. Черты лица младшего сына вспоминаются каждое утро. И все-таки я кое-что сейчас вспомнил, вглядываясь в это лицо. Радуйся, отче. Хорошо, что он есть по эту сторону подвижной границы. Хорошо, что он взял с собой мой белый памятный камень. Приди в себя. Вспоминаю подробности, обстоятельства бизнеса, о котором гость мне рассказал.

Капитал чужой, зарубежный. Церковь и при ней большое хозяйство. Коровы, птицы. Обеспеченный элитарный приход и дом престарелых. Прикидываю. Нет. Братьям это вряд ли бы подошло. Впрочем, все идет очень

успешно. Здесь особая психология исполнителей и хозяев. Большие зарплаты. Много работы. Ячейка настоящей и наступающей России. Впрочем, здесь философу нечего делать. А вот он пришел и задал вопрос. А я не ответил, потому что ответ – целая новая книга. Дай бог, чтобы он еще раз ко мне заглянул. Я думаю, он тревожится, что успех ненадежен. Подольше бы остальные предпочитали нирвану. А может быть, надо предугадать и сомкнуться вовремя с теми, кто будет из нее выходить? Тогда мои сыновья придутся. И на этот раз поведут меня за собой. Лишь бы только старший и младший не разлучались.

Ну что ж, вырублю телефон. А то ненароком он зазвонит. Мобильный отключен. А тот, в моем кабинете... Второй день пленарного уже начался. Ничего. Без меня обойдетесь. Чувствую – Сергей Булгаков где-то в небытии возвращается к учению, от которого он отказался. Неужели так просто? Целый век заблуждения тех, кто остался в небытии. Там они заблуждались. А мы здесь повторяли их заблуждения. Тоже на протяжении века. Пора вернуться к истокам. Но при одном условии... Вот как у меня с неожиданным гостем. Впрочем, он еще вернется и возвратит мне мой камень. Тогда у меня уже будут готовы первые главы. Подольше не приходи. Боброву есть что писать. Бобров не откажется и не возвратится. Бобров ошибался. Бобров поправил себя. Бобров ушел из тупика и вывел других.

Мой старший... Он где-то рядом. Он еще не пришел. С ним у меня разговор особый. Он тоже Бобров, как и младший. Но он подвержен влияниям всех, кто с ним встречается и говорит. А чтобы ему ничто не мешало, он пытается не появляться. И это сразу после его ухода. Продолжается до сих пор. Одна надежда на младшего. А в этом госте что-то такое... Когда он ушел, как будто оба они тоже ушли. В ту открытую дверь. Удивительно все устроено... Даже теперь мне удастся все довести до конца. А здесь начало всей моей философии. Если так жить – преодолешь порядок вещей. Смерть придет незаметно. Мгновенно. И я, наконец, узнаю. Проверю. И, может быть, научусь возвращаться. Хотя бы отчасти и ненадолго. Но книга должна отразить это мое верное знание.

Вот вдруг я понимаю, что с тобой, Бобров, происходит. С тобой и с Джойсом твоим. У него по-другому. Но по сути – одно. Вот сейчас происходит. Надо бы мне ему позвонить. Боюсь опять ошибиться. А вообще сегодняшняя ошибка спасительна для меня. Что если так будет и впредь? Мое незнание безгранично. Интуиция отодвинута. Время проверять апории, постулаты. Вот, слышу, зазвонил телефон в кабинете. Я его забыл отключить. Бобров, говори осторожно. Приглашай на вечер, когда снова тоска охватит всю душу. Кого пригласить? Сергея Булгакова? Да, я слушаю. Это вы. Я вас называю мой Джойс. Мне кажется, мы так и не увидимся с вами. Это я уже говорил. Что ж, приезжайте. В течение дня. Когда хотите. Постмодернист после вас. Модерниста. Кажется, я не ошибся на этот раз. Приезжайте.

## 4.

Когда завязывается новая книга, никто не нужен. Кроме тех, кто живет в ней. А у меня таких – необозримое множество. Вся жизнь моя, начиная «Ведами» и «Дхаммападой», войдет в новую книгу. Нет, начиная минутой, когда мне уже не нужен никто. Сколько раз я измерял мир этой минутой. Сегодня так не получится. Помогите мне, Сократ и Платон. Атлантида наша уходит под воду прямо у нас на глазах. Есть, по-моему, у Мелвилла страшный образ – штгиль посреди океана. Человек тонет и высоко подымает крест над собой. Он в центре водоворота. Воронка втягивает его. Секунда. Еще секунда. Круговая нирвана и крест в середине. А вот и он потонул.

Все это слишком похоже на правду. И если мировой океан превратится в такую воронку и если в жуткой тишине посреди зеркальной поверхности Атлантиду втянет и скроет круговорот, мой крест еще долго будет бороться и долго останется выше воды в центре Дантова зеркального Ада. Умирает эпоха. И чуда не происходит. А ведь мировой океан – это множество, совокупность всех, кто добровольно гасит желания. Остаются – энергия, тяжесть и низменные законы природы. Вода – мировой океан. Та бездна, в которой отражался паривший над нею творческий дух. Тютчев это предвидел. Крест – последняя насмешка Творца. Бобров, что намерен ты делать с этим громовым аргументом? Он подброшен историей, а крест уже давно утонул. Взбесившийся Ницше утонул еще прежде.

Архаические скульптуры античности улыбаются. А что если такая архаика – знак бытия после конца? Вообще вся радость жизни, универсальное либидо, улыбка Будды – все это после, после... Все бытие – после утонувшего бытия. Вот где секрет спасения. Бобров, ты уже столько раз возвращал эту мысль и никак не решался обрадоваться ей улыбкой архаической статуи. Фидий, Мирон, Пракситель и даже Лиссип сохраняли улыбку даже на мраморных лицах страдающих и умирающих людей и богов. А потом европейское человечество улыбалось памятью об архаике. Теперь память угасла. Ну что ж, пора вновь улыбнуться. Любая радость – признак выхода из нирваны. Бобров, по-моему, ты приблизился к черте, за которой первая страница задуманной книги. Потряси крестом и с улыбкой уйди в глубину. Ты всплываешь.

Встаю. Приоткрываю дверь кабинета. Я выпускаю всех, кто хочет войти. Никто не желает. Потому что нет никого. Что вы? Не верьте моим заклинаниям. Завязалась целая книга. Вы помогли. Проходите. Постмодернизм тут не при чем. Не бойтесь. Освобождаю вас от него. Бобров, сегодня очень уж весело проходит обычная для тебя разминка перед первой страницей. Ну и что ж что нет никого. Ты готов с любым вести разговор. Потому что свежие, незнакомые силы рвутся наружу. А улыбка – веселое воспоминание о том, кем ты был до того, как ты стал новым и абсолютно другим. Ты отчалил от барочных скульптур острова мертвых. Но все-таки почему в коридоре нет никого? Нет никакого присутствия. Двери комнат

открыты. Кто их открыл? Почему я не слышал ни голосов, ни шагов. Ладно. Ушли – значит, придут.

И тут вдруг я теряю сознание. Бобров, такого еще никогда не бывало. Освобождение от себя самого. Сознание потеряно. Можно вернуть. Что для этого нужно? Трудно понять. Но все отлично связалось. Улыбнись и запомни. Такое может произойти, когда ты абсолютно один. Неважно, кто думает и кто радуется освобождению. Это самая чистая и самая первая радость. Осознает память... Сейчас она растворится, и ничего не придет вместо нее. Нужна последняя мысль, но такая, чтобы она остановила и вернула меня. Все. Память утрачена. Захлебнулся. Как просто. Однако... в этот момент оборвалась чья-то жизнь. Нет меня. И я не могу подумать, кто это был. Но жизнь оборвалась, и это меня возвращает. Меня – другого, того, который что-то запомнил. Скорей вспоминай.

Оказывается, я, потеряв сознание, устоял на ногах. И даже не опирался на книжный стеллаж. Такого со мной, действительно, еще не было. Добрый знак, несмотря на то, что чья-то жизнь оборвалась. Философия не только утешает – спасает. Все дело в установлении связи между собой – тем, который мгновенно возник, и тобой, другим, тем, каким ты был до этой секунды. Прерванное сознание оказывается непрерывным. Так просто. Жаль, что об этом не знал тот, кто погиб. Могу ли я, желая, продолжить его сознание? Даже если смогу, он уже не в состоянии пожелать. Надо сделать иначе. Об этом, Бобров, садись и пиши. Просветители правы. Новое философское знание окажет влияние на ход нашей истории. Может быть... Посмотрим. Пока оставим в подтексте. Но самого себя я вправе оповестить.

Ну, хорошо. Слава богу. По-моему, конспективно записать удалось. Компьютер выдержал. Не завис. Конспект первой страницы. И тут вдруг меня осеняет. Джойс не звонит. И до сих пор не приходит. А ведь сейчас уже полдень. И живет он где-то поблизости. Он ведь сам мне об этом уже сказал. Неужели – с ним что-то случилось. Оборвалась чья-то жизнь. А может быть, это его сознание оборвалось навсегда? Многие умирают, но только эта смерть меня возвратила назад. Зачем я ему сказал, что, очевидно, мы так и не встретимся? Подобные фразы всегда что-то значат. А тут о нем – дважды. Сначала первый мой гость вместо него. А потом и сам он уже не может прийти. Но ведь это мои домыслы. А на самом деле – вот он сейчас позвонит. Вот придет.

Все. Неужели закончился мой рабочий день? Или нет, я сейчас опять потеряю сознание. Этот чужой человек мне дороже меня самого. «Мы не встретимся...» Не надо было так говорить. Он услышал и, уходя, отдал мне свою жизнь. Теперь, если всмотреться и вслушаться в себя, я могу все узнать об ушедшем. И, может быть, философия даст мне средство связать, соединить наши сознания? И, уж конечно, желания таких, как мы, совпадут. Значит, еще не все потеряно. Поспешите. Собери всю свою волю. И не говори себе, что это фантазия. В какой-то момент надо верить, не сомневаясь. Тогда философия действенна и даже становится физической силой. Не сомневайся. Не сходи с

того места, где с тобой это случилось. Двери комнат открыты. В квартире нет никого. Мне уже помогли. Теперь ты сам должен помочь.

Время идет. Время уходит. Я ничего не сумел. Я бессилен. Я только и смог отстоять себя самого. Самое худшее, что могло со мною случиться. Но ведь я старался. Он видит и слышит оттуда. Жалкое оправдание. Один философ сказал: в начале было событие. И поправил себя: в начале было бытие. Фауст ошибся в переводе евангелия. Со-Бытие. Когда твое бытие воля твоя соединяет с другим. И мы со-бытийствуем вместе. Вот чего я лишился. Потому что не сумел. Не сумел. Теперь вера уже ни к чему. Могу допустить, что я все придумал, – и только. А он сейчас позвонит и придет. Но это уже не философия – в том, античном ее понимании. Эмпедокл. Сократ. Диоген. Признаю, что диалог со смертью – самый лучший из диалогов Сократа. Где уж нам. Философия, которой мы держимся, консервативна. Но если он жив, я еще не все потерял. Итак, молчание и ожидание – вместо первой страницы.

Есть возможность повторить всю мою жизнь. Как в последнюю минуту существования. Но здесь уже не минута – впереди целый день. Пока я жду и, всего верней, ничего не дождусь. Профессия, призвание – под сомнением. Придет человек или нет. Бобров, от этого зависит финал. Если он придет, он спасет меня еще раз. А если не придет, возможны другие пути. Замедленная маёвтика. Выпита чаша с цикутой, но дан еще неопределенный дополнительный срок. Возврат к реальности. Вот, кажется, я себя излечил от безумия. Могу ходить. Открывать и закрывать открытые двери. Могу вернуться в мой кабинет. Могу ждать и не ждать. Ожидать и не ожидать. Событие продолжается. Но идет иными путями. Иными. Теми, какими шла вся моя прежняя жизнь. Но ведь на прежних путях – нечто иное. То, что я добыл сегодня. Софист. Постмодернист.

Не правда ли, смешно? Второй день пленарного заседания университетской конференции, всероссийской и международной, второй день пленума – в минуты погружения Атлантиды. Поистине философия гасит любые желания выжить и выплыть. Опускаются в глубину Летний сад и дворцы Петербурга. Академия наук – бывший Пушкинский дом. Площадь Сената. Медный всадник. Все – под водой. А поверхность воды стремительно возносится вверх – над Атлантидой. Нирвана – способность не видеть медленное стремительное погружение. Оттуда приходят гости, раздаются звонки телефона и домофона. А мои три комнаты – островок спасения. На Васильевском острове. Над нами – настоящее надводное утро. Мы всплываем. Даже те, кто ушел от меня и пока еще не вернулся. Пожелайте, и вы сразу окажетесь рядом со мной.

Звонки телефона один за другим. Но я почему-то не снимаю трубку. Я жду гудков домофона. Я уже написал первые десять страниц. А домофон мой молчит, как будто охраняет мое время и дает мне писать. Пожелайте. Нужны встречи, а не телефонные разговоры. Как вы ушли от меня, так возвращайтесь. Места хватит. Возвращайтесь даже те, кто погиб, или тот, чья

жизнь только что оборвалась. Прошло уже много времени. И каждую секунду – миллионы погибших и миллионы родившихся под водой. А в коридоре – только один домофон... Все равно. Тоните сами, но не дайте утонуть вашим желаниям. Пожелайте, уходя и рождаясь. Мое любимое состояние духа. Почему оно до сих пор было бесплодным? А сейчас... Десять страниц – ничто. Если в соседней комнате нет присутствия. И если два брата ушли за единственным гостем.

Ушли за единственным живым человеком. А что если его молодая жизнь только что оборвалась. А я еще жив с моими страницами и моим домофоном. Впрочем, в нынешнем Петербурге все возможно. Да, все возможно в опустевшей вымирающей нашей стране. В этом невыносимом молчании. Когда все желания погасли и утонули. Все возможно. Удивительно, как я вновь и вновь не теряю сознания. Насмешка над собой – тоже улыбка. Взбесившийся Ницше вновь и всегда возвращается. Он создан для своего вечного возвращения. И вновь он открывает все ту же античность. Но все это уже давно под водой. Сколько раз повторять? Он возвращается и не всплывает. Дионис не улыбается. И чем дальше, тем иступленнее мука на его женоподобном лице. Боги тонут, как люди. Народы погружаются в бездонную глубину. Парень погиб. Это ясно.

Я не выдерживаю. Надо куда-то бежать. Что-то делать. А я не знаю ни адреса, ни маршрута. Приехать на пленум. И там – по спискам, по фамилии, по имени, а дальше уже – по белому камню, по кварцу найти следы того, кто ушел. Не выдерживаю. Подхожу к двери на лестницу. Пленум закончился, но списки остались. Распахиваю единственную закрытую дверь. На пороге стоит человек. Нет, не тот молодой, а другой. Джойс – мой ровесник. Я сразу его узнаю. По силуэту. И по тому, как он долго стоит, прижав ко лбу ладонь правой руки. Правой? Да, все-таки правой. Он ведь стоит лицом ко мне. И уже, я думаю, долго стоит на темной лестнице, и еще бы стоял, если бы я не распахнул дверь навстречу ему. Первое желание – пусть посторонится и даст мне пройти. Бобров, опомнись. Джойс жив. Значит, и парень еще не погиб.

Гость мой проходит и сразу идет в кабинет. Без единого слова. Без рукопожатия. Но я, посторонившись, успеваю его разглядеть. И сразу все понимаю. Он пришел, как обещал. Когда захотел. В течение дня. По окончании пленума. Или просто потому, что почувствовал – надо прийти. Скорей всего именно так. Он высокого роста. Немножко похож на меня. В очках, как я. Движения уверенные и откровенные. Как ладонь, прижатая ко лбу, когда он стоял перед моей закрытой дверью на лестнице. Увидев меня, человек не отнял свою ладонь ото лба. Прошел в комнату и сразу сел в кресло перед моим круглым столом. Как раз против того места, где я утром положил белый камень. Сидит, облокотившись о стол, держит руку у лба, как будто не дает, запрещает себе поднять глаза и взглянуть на меня. Но сквозь ладонь все равно – смотрит и видит.

## 5.

Честно говоря, не ждал я такого поведения от моего долгожданного гостя. Он в синем новом костюме, точно таком, как вчера на пленарном заседании в зале. Тогда он сидел в самом первом ряду и слушал очень внимательно. Даже сквозь сон я видел его худое лицо, и очки не отсвечивали, и глаза его, которые на самом деле, за линзами для близоруких, были еще больше, прямо встречали мой взгляд. Вот как было. А теперь лицо как будто исчезло, а широкоплечая фигура замерла, и кажется, что это воспоминание о нем, а на самом деле его нет за столом. Сидит и не думает вступать в разговор, и не потому что лучше молчать, а просто он отключен от меня и даже забыл, что он в гостях у незнакомого, по сути, совсем чужого для него человека.

Я не начну первым. Молчит. Стою над ним и тоже молчу. Сколько это продолжится, я не знаю. Наконец он пошевелил плечом, открывает свое лицо и прямо, в упор глядит на меня. Странное чувство. Как будто я давно его знаю и как будто он только что пережил то, что случилось со мной, и потому, сразу, не здороваясь, прошел в кабинет и сел на отодвинутый стул. Ему трудно стоять. Мне легче, а ему совсем невозможно. И вот неловко. И недаром он лицо закрывал. А теперь вроде, когда он меня увидел, все прошло и можно поздороваться и даже слегка улыбнуться. Улыбка в усах и в бороде вполне различима. И вообще маски нет на лице, той, какая бывает от бороды и усов (почему я всю взрослую жизнь брился). А у него все открыто, и любой оттенок выражения не пропадает. Хорошее и вроде бы хорошо знакомое лицо.

Я вижу – он осматривает мой кабинет. Мне интересно, и я замечаю, на что он обращает внимание. Для меня это определит человека и даже то, какие будут у нас отношения. По книгам он скользит опытным взглядом, как будто у него дома такие же корешки и тома за стеклами старых музейных шкафов. Я убеждаюсь, что его радуют корешки, особенно для меня дорогие (это кстати сейчас!). Потом он замечает майолику на стеллажах – у него точно в его кабинете таких нет и не может быть. Наши взгляды встречаются – все понятно, одна и та же улыбка пробегает по его и по моим губам. И вот мы уже все друг о друге помним и легко вспоминаем. Пора бы начать разговор.

Но мы продолжаем молчать и чувствуем, что нечего друг другу передавать на словах – ведь все совпадает: и мысли и даже слова. Бобров, не увлекайся. Впечатление очень обманчиво. Разговор не идет по другой причине. Мы боимся, что вот откроется разница и разность в чувствах и мыслях – и каждый замкнется в себе. И долгожданная для нас встреча будет напрасна. Мы боимся и все-таки все дольше и дольше смотрим друг другу в глаза, и он все реже и реже отводит их, чтоб осматривать комнату. Сейчас я проверю. У меня в жизни было несколько случаев, когда я надеялся, что чудо уже состоялось и даже незачем испытывать, и каждый раз проверка разрушала иллюзию. Так было два или три раза в жизни, и я уже перестал проверять. А сейчас жизнь подходит к концу, и все-таки я рискну.



Что с вами было час назад? Что-то случилось? Вы не теряли память? Ах, даже сознание ушло? А как вы его возвращали? Или кто-то вам его возвратил? Признаюсь, тогда я подумал о вас, и вы помогли мне вернуться. У вас, конечно, такого быть не могло. Да, вы не помните. Но вы сразу, как только вернулись, поспешили ко мне. Что? Христианство – это степень любви? Степень? У меня бывала такая формулировка. И я согласен. Я не спорю насчет христианства. Но крест, как бы мы его ни тянули к небу, не вызовет нас из водоворота. Воронка – опрокинутый купол. Крест ваш уходит под воду, и все-таки он еще над водой. Мелвилл – точно. Мы думали об одном, и одно и то же с нами случилось. Как хорошо. И теперь непонятно – монолог? Диалог? Два старца или один?

Столь разные внешне и по судьбе люди при встрече оказываются одним человеком. И здесь нет ни черта, ни Ивана Карамазова. И это реальность, а все остальное выглядит выдумкой. Вы согласны? Все остальное – внешность и судьба. Всего лишь. Не выдумка, а бесконечная дробь случайных шагов. Ладно. Вы филолог, я философ. Но ведь и вы философ, и я незаметно стал филологом. Классическая филология. Потому что в античности – раз и навсегда – все словесное признавалось искусством. А в нашей современности – вы правильно подкашиваете – все призвано стать философией. Если мы хотим спастись от полной и окончательной гибели. И даже выплыв из водоворота. Это в равной мере ваша и моя формулировка. Философия после конца ради спасения жизни. Мы пришли к одному и все-таки не стали одним человеком.

Я часто говорю сам с собою вслух. Вы – тоже. Только в одном – я чувствую – мы разойдемся. Нет? Вы считаете – и здесь мы едины? А это не страшно – во всем совпадать? Как вы сказали? Не надо бояться? Мы не совпадаем, а тонем друг в друге. Совпадения быть не может. Я пришел к вам, чтобы вы знали, насколько мы разные. Мое счастье и ваши несчастья не должны совпадать. Простите. Но когда-нибудь я все равно спрошу вас. Где сейчас они? Где оба? Куда ушли? За кем? Ведь они еще утром были здесь – рядом с вами? Простите. Спрашиваю, потому что знаю ответ. Вы тоже знаете. Но боитесь прямо ответить? Они ушли от вас, ушли вслед за молодым посетителем. Который сегодня явился. Вместо меня. Вы не знаете, кто он и куда увел ваших двух сыновей. Они пятнадцать лет назад погибли. Один за другим. Я знаю. Посетитель – мой сын. Он прислал меня возвратить вам кварцевый камень. Но я оставил его при себе. Вот в чем различие наше. Не надо бояться.

Молчание. Теперь потерять себя уже невозможно. Теперь знаю: в комнате братьев уже не услышит никто из нас никакого присутствия. Того, чем я жил все эти годы. Вот сейчас мой гость исчезнет. И с чем я останусь? Мне плохо. А гость неотрывно глядит на меня. И тоже безмолвствует. Ждет продолжения нашего монолога. Нет, лучше бы это был какой-нибудь черт – Карамазова,

Левверкюна. Любого из них. Я смотрю на гостя. Губы его сомкнуты. Усы, борода не движутся. А я слышу голос. Он только что звучал в кабинете. Я не разбираю слов, но улавливаю баритональное, мерное звучание чьей-то речи. Я сам никогда не говорю так ровно и так спокойно. Что? Смешно? Увы, не очень-то и смешно.

Монолог перешел к нему. Я хожу, схватившись руками за голову. Хожу взад и вперед. Все быстрее и быстрее. Сейчас надо вернуться. Но я не могу. А он все молчит. Понимает. Кто-то за него монотонно продолжает свой монолог. Не остановишь. Остается только всматриваться, всматриваться в меня. Дополнительные аргументы. Откуда они берутся? Они сами за себя говорят. Усилий не нужно. Россия тонет. Атлантида – всплывает. Дети мои не вернутся. А его единственный сын... Подождите. Еще круг. Туда и сюда. За окном кабинета темнеет. Питерская погода. Не то что вчера. Дождь стучит по стеклам эркера. Дождь льет по стеклам. Оборачиваюсь. А в комнате как будто нет никого. Я протираю глаза. Нет, мой счастливый гость продолжает сидеть ко мне спиной и, видимо, смотрит на то место, где я только что был.

Монолог затих в полутьме кабинета. Я прислушиваюсь к моим шагам в коридоре. Нет, все тихо и там. Только дождь бьет и стекает по стеклам. Силуэт бродит по комнате. Что я могу ответить молчанию моему? Это самый страшный ответ. Я догадываюсь. Он счастлив. Семья. Жена ждет его дома. Переждем петербургский дождь. И тогда он покинет меня. Он понимает. Не только дождь. Еще что-то его удерживает здесь, рядом со мной. Видимо, я уже не смогу без него. Сейчас нельзя меня одного оставлять. Это ясно. Придется оставить. Ничего. Не волнуйтесь. Я выдержу. Я сумею. Только бы не заснуть. Только бы не утратить желаний. И тут я спрашиваю о ней. Кто она? Как бы ее увидеть. Оставьте. Трудно выдержать. Вы беспощадны к себе. Успокойтесь. Она есть. Она вчера слушала вас. Она послала меня. И вот я пришел. Дождь утихает.

Сгущается ночь за окном. Гость ушел. Я мечусь по всем обителям пустоты. Спешу из комнаты в комнату. Схватившись за голову и зажмурив глаза. Опоминаюсь. Вижу – забыл включить электрический свет. И снова ошупываю стены, предметы. Бегу, не чувствуя ног под собою. Как будто плыву, болтая ногами, плыву неизвестно куда. Вот наткнулся на что-то. Открываю глаза. Полная тьма. Первый раз в жизни. Придется поверить в то, во что верить нельзя. Но я никогда ни во что не верил. Я все испытывал и знал, что можно дойти до конца. И эта ночь – последнее испытание. Гость ушел и как будто увел от меня мою последнюю жизнь. А я продолжаю метаться по одним и тем же обителям пустоты.

Видимо, так завершается любая жизнь человека. Я все вспоминаю сразу. Так надо уметь. Попробуйте. Вот – когда все ушло, я умею. Вспоминаю то, что могло бы случиться. Но не случилось. Вспоминаю всех. Помимо себя. Тоже надо уметь. Вот – вспомнил. Опять открываю глаза. Включаю свет в коридоре. Еще одна бессонная ночь. Спрашиваю себя – неужели все это было? Весь мой прожитый день. Посетители? Кварцевый камень. Тогда

почему я мечусь? И вновь зажимаю глаза и продолжаю метаться. Но я уже не бегаю. Стою неподвижно. И тут понимаю. Все эти пляски Шивы и нирваны Готамы. Погружение Атлантиды. И то, что Россия всплывает. Это все происходит со мной – после того, как он увел от меня всю мою жизнь. Я включаю свет во всех комнатах. И теперь уже не мечусь, а брожу по ним взад и вперед.

Что произошло? Жизнь была во мне. А теперь она – рядом со мной. Так просто. И так невозможно понять. Невыносимая боль. Это лучший подарок небытия. Потому что это оно болит и страдает. А мне поручено взять в себя и нести в себе это страдание божества. В самом деле – Христос не страдал. Он нам поручил страдать за себя. А мы отвергли это призвание. И только сейчас предпочитаем нирвану. Оказывается, улыбка Будды – разгадка той, крестной муки Христа. Мы никуда не ушли. И ни от чего не спаслись. Мы лишь прекратили метания из крайности в крайность. Из пустоты в пустоту. Жизнь ушла. И вот она рядом – в другом. И надо стать этим Другим. И быть собой, как и прежде.

Утешение философией. Спасение мира. Мой счастливый дневной посетитель. У него есть все – и жена, и сын. А теперь и двое моих. Филология. Ну и что ж, что он увел за собой присутствие тех, кто спасал меня. Думаю, он не вернется. И сын его – тоже. Но почему он не хотел, чтобы я мог увидеть ее? Наверно, он прав. Она ведь послала его. Чтобы он всегда был между нами. А я бы знал только одно. То, что она есть, и в ней живут черты моего невозвратного счастья. Присутствие ушло из этих комнат. Но оно живет где-то рядом со мной. Привыкнуть нельзя. И с этим жить невозможно.

Ты подумай. Нет. Тут нечего думать. Она не придет. Она – другая. Но ведь он, мой посетитель, и его сын тоже теперь будут жить по-другому. И я сумею вызвать в себе эту жизнь. И тогда, если только я сумею, они все, уходя, не покинут меня. Да. Нирвана и крест. Нужно третье. И вот оно собралось во мне. Я никогда не страдал так. Я любил. Теперь пострадаю. Только это мне остается. Неподвижная боль. Пока Россия будет всплывать, я напишу мою книгу. А, может быть, она сама напишет себя. Уже без меня. Те одиннадцать первых страниц потонули. Рождаются новые. Но я их не буду записывать. Сами всплывайте. Сами улыбайтесь новому дню. Я только знаю, что он наступает. Отсутствие, дай мне пережить эту ночь.

За окнами – тьма. И вдруг осторожный удар в стекло. Еще и еще. И вот хлынул сплошной питерский ливень. Вижу, как с той стороны струи текут по стеклу. А теперь уже не струи – потоки воды. Петроград омрачен больше, чем этой полуночной тьмой. Стекла не выдержат. Выдержу я. Чувствую – выдержу. Но почему-то я, как слепой, вытягиваю руки вперед и на ощупь иду, рассчитывая каждый шаг, хотя в кабинете электрический свет. Происходит произвольно. Что-то меня привлекает. То, что я вижу всегда, но перестаю замечать. Отодвинутый стул. Отсюда гость поднялся и вышел. Нет. Не то. На круглом столе – обломок белого кварца.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## С Л О В О

## 1.

Бобров кажется мне очень сдержанным и лаконичным. По сути, он так ничего мне и не сказал. Современный философ. Пожалуй, слишком современный. Мы ровесники. Надо вчитаться получше в его последнюю книгу. Судя по всему, сейчас он закончил еще одну и начал новую. Это я понял, когда вчера возвращался домой. Он по-своему понимает нирвану. Я пытался ему возразить, но он ничего не слышит. Я целый час ему толковал, но философу безразличны мои рассуждения. Хорошо, что я ему оставил его кварцевый камень. Паша легко отделался. А мне было трудно. Сын обязал меня камень вернуть. Надо было всмотреться в туманную белизну кварца. Я не успел. И хотел приберечь у себя этот камень. И все-таки, уходя, выложил ему прямо на стол. И сейчас жалею. Ну, филолог всегда чего-нибудь недосмотрит. Это философ обязан все читать и все знать.

В моем романе он уже давно один из многочисленных персонажей. Я присмотрелся к нему. Кабинеты наши очень похожи. Но у меня попросторней. Зато у него на стеллаже чудесная тонированная майолика. Завидую. Где бы такую достать. Впрочем, Катя моя – искусствовед. Она мне поможет. В Академии художеств смогу заказать. И все же такой, наверно, уже не найду. Люблю Майоля. Стал бы скульптором... Катя ежедневно была бы моей моделью. Сокровенной. Ладно. Деталь для большого романа. Ее как раз недостает на первой странице. В белом камушке – тайна. Что ж? Пусть она остается философу. Это его тайна. И все же приятно, что я, не разгадав, ее вернул, хотя мог бы долго разгадывать ее с помощью слов. Это особый способ. Слова для меня живые. Они собираются – по приглашению. И каждое несет в себе универсальный образ. Найди слово – и тайна раскрыта.

Очень забавно размышление философа о том, что народ предпочитает нирвану. Он как-то странно говорил на пленуме конференции. Заметили многие. Говорит, а сам как будто бы думает о другом. И вот получилось – народ безмолвствует и бездействует. И почему-то он долго рассказывал, что такое народ. Я знаю одно: сейчас никакого народа нет. Настал период небытия для человеческих множеств. Не только у нас – на всех континентах, во всех, в том числе и в неразвитых, странах. Период пройдет. Но пока – что говорить о народе?.. Небытие и нирвана – два слова, которые несовместны друг с другом. Они кричат, если только их рядом поставить. Я пытался ему намекнуть. Но даже не стал говорить. Он не слушает. Он спит, не закрывает глаза и что-то бормочет. Он не чувствует слова. Впрочем, термины – уже не слова. И так же он читал свой доклад.

Я бы даже не пошел с ним разговаривать, но Катя меня попросила. Я отказался. И тогда Паша к нему первым пошел. Позвонил, встретился, принес этот камень. Посоветовал мне у профессора побывать и уехал на своем мерседесе. Он еще сказал, что вчера чуть не сбил его на перекрестке. У Паши таких случаев еще не бывало. Видит он хорошо. И вот рассказывает – пешеход какой-то совсем непонятный. Идет – останавливается и снова идет. Когда идет – все предсказуемо. А вот останавливается внезапно. И внезапно испуган – так что может и других напугать. Не дай бог с таким столкнуться на перекрестке. Паша позвонил и по голосу его сразу узнал. Точно. Это был он. У сына тоже сложилось такое же впечатление, как у меня. А тот по телефону попросил его сразу приехать. Очень странно. Мы посоветовались. И вот сын поехал. А мне стало не по себе.

Ладно. Загадку эту мы разгадаем. Поможет слово и сочетание слов. У него хорошо. Он один. И все-таки чувствуется чье-то присутствие. Не могу объяснить. Катя спрашивает. А я пожимаю плечами. Приятно было у него посидеть. Я разговаривал не с ним, а с кем-то другим. Но никого не было. Почему-то он долго не хотел меня отпускать. Хлынул вечером страшный ливень. Потом перестал. И я незаметно ушел. Он снова спал, стоя на ногах, когда провожал меня. Вот почему – незаметно. Нужно подробно все рассказать. Катя спрашивает. А я, как и он, не спал сегодня целую ночь.

Вот уже интересно. Кто мне сказал, что у него сегодня была бессонница? Понятно по одному его внешнему виду. И неужели мы, как вчера, думали об одном? Беда в том, что он никогда не слышит своего собеседника. Монолог, монолог. В художественном тексте нет настоящего монолога. А у философов диалог – только внешняя форма. Разговор с самим собой – это не диалог. Но мы все-таки думали об одном. О том, на что ушли полвека нашей истории. Я полагаю – на то, чтобы постепенно разрушить самое понятие «народ». Рассыпать его. Разбить. На главы, страницы, абзацы, слова. Так и я дошел до обожествления отдельного слова. Что делать с отдельным? Процесс неизбежный. Надо себя отделять, по возможности, от любых связей с любыми такими же единицами. Будет больно и горько. Но зато – какая свобода! Какая свежая сила! В стихе и фразе каждое слово само по себе. Тогда рождается новый неожиданный текст. Индивид еще не исчерпан. Только не надо его расщеплять. Вот я как будто бы уже тоже философ.

Здесь мы не сходимся. У каждого – своя бессонная ночь. Бобров, насколько я понимаю, полвека потратил на то, чтобы все разделенное собрать воедино. Итак, снова – народ, человечество. И слова для него – термины. Знаки соединения. Образы исчезают. И вместо них – симулякры. И что такое нирвана? Абсолютное соединение всех. Он прав. Такую нирвану предпочитает народ, если он есть. Но теперь это пустое понятие. Я с интересом слушал то, что он говорил. По сравнению с книгами что-то новое появилось. Я ловил каждое слово. Отдельно. И влагал в него собственный смысл. А вчера из его бормотания понял только одно. Ему показалось, что мы друг без друга не сможем. Для этого надо слышать друг друга.

Разрыв отношений. Предельное одиночество. Он хочет выбраться из него, как из нирваны. И впрямь – соединенный народ – одинок. Тем более все люди земли, сбитые воедино. Он спрашивал меня о ней. О ком? Кто она? Я поспешил его успокоить. Остановить. Чувствую – он из тех, кто любит жизнь после конца. Он потерял жену, обоих своих сыновей. А у меня до сих пор – все в порядке. Но вновь и вновь – о ком он спрашивал? Катя... Нельзя ли увидеться?.. А ведь они уже виделись. Там, в зале, на пленуме. Там он ее не заметил. Но ведь она слушала его странный доклад лучше, чем все остальные. Самое важное – монолог его не показался ей странным. Паша уехал на своем мерседесе. А мы еще долго спорили – по дороге домой. И, между прочим, живем-то мы почти рядом с ним. В его старой квартире. Бобров не знает об этом. И пусть не знает.

Ну что ж, пора за работу. Бессонная ночь для меня – отступление от распорядка. Но какая несказанная радость – опять включиться в обособленный мир независимых слов. Нет. Мой Державин сегодня пускай подождет. Я понял. Варианты к первому тому придется выстраивать в той же системе. А система уже налажена. Мой стихотворный «Данте» закончен. Осталось несколько строк. Сегодня лучше не начинать. А то заболелю на месяц, другой. Роман – вот что Джойс предпочтет. Кстати, почему Бобров меня называет Джойсом? Не вслух, а в своем обычном разговоре с самим собой. В диалоге. А! Потому что Улисс возвращается к Пенелопе. Да, у меня есть и сын, и жена. Может быть, так и назвать мой роман. Эпизод разрастается. Вновь придется бродить и блуждать по лабиринту сцеплений. Ну и что ж? Ради этого Державин и Данте пусть подождут.

У него – компьютер. А у меня – любимая старая «Континенталь». Шрифт пришлось поменять еще тогда. Катя помнит об этом. Тогда я по просьбе двоюродной сестры перепечатал одну страницу из книги, за которую полагалась статья уголовного кодекса. И вот поменяли шрифт. На всякий случай. Благоразумно. В семидесятые годы. Тогда все возвращалось к послевоенным годам. К тому времени. Ладно. Такое лучше писать, чем говорить. «Континенталь» – напоминание о прошлом. А я о моем сегодняшнем пробуждении от сна. От бессонницы. С кем-то еще было такое. Такая же машинка. Такое же утро. И та же комната. И те же пейзажи и натюрморты отца на стенах.

С кем-то было. С другим. Не со мной. Опомнись. Этим другим был я. Но ведь я нынешний – это совсем другой. И я сам это сделал с собой. Память памятью. Но суть моя в основе иная всегда. Мой особый способ. Гете сказал, что смерть – уловка природы, чтоб иметь много жизни. А я говорю: не смерть, а творчество. Всегда быть иным. И не только помнить, но и забывать иного, другого себя. Вот где источник образности. Вот что значит и впрямь иметь много жизни. Если умеешь так – смерть становится незаметной. Ежеминутное обилие жизни поглощает ее. Только что был, и вот уже ты совсем другой. Словно родился. Где она – смерть? Была и вот затерялась. Исчезла от своего непрерывного появления, когда мгновенно приходит новая жизнь. Без перерыва. По твоей собственной воле. Она, смерть, не успевает прийти.

Я никогда не понимал, как это все происходит. И сейчас не понимаю, но делать умею. И вот вместо философского вневременного термина – образ. Дробить бытие мгновениями, каждое из которых – живое. Да, именно так – помнить и забывать. Неделимое живо, но должно жить отдельно от иных неделимых. Каждый раз – думаю так и путаюсь. Не поймать никак эту мысль. Это чувство. Это умение. Эту главную мою – тайну тайн. Слово. Живое. А не разъятое. То же самое в человеческих отношениях, когда пишешь роман, где так много сцеплений, судеб, деталей. И все живы. И ничто не убито. И ты каждую секунду рождаешься. И потому смерти нет никакой. Пока ты жив. А умрешь – природа сделает все, как ты делал при жизни. Весело. Хорошо. Приятно работать. Он потому философ, что всю жизнь признавал смерть, допускал и боялся ее. Единение – смерть.

Надо же иметь человеку, мыслителю, такой страшный характер. Без конца говорит сам с собой и боится себя самого. И все годы, по сути своей не меняется. Вот уж пятнадцать лет живет без жены и детей и всегда один и тот же. И вот уже спит на пленуме, делая свой доклад. Мне нужно это оживить – в романе. В моем романе. А в жизни его не изменишь. Это я понял вчера хорошо. Надо его – в романе – как-нибудь соединить с моим главным героем. А мой герой – политический деятель. Тот, какого еще не было никогда. Он сейчас приходит к власти. Получает необъятную власть. Паша не догадывается о таком повороте. Джойс, ничего не говори сыну. А еще вернее – научись не говорить себе самому. Вот сейчас ты сказал – и забудь. Ты уже не тот, кто задумал такое. Только философу грозит вечное возвращение. А для меня и для сына...

Правитель – другой. И власть в России – другая. Вот что важно представить живым, а не в терминах философии... Что это – я задремываю после бессонной ночи. Вообще-то можно и задремать. Катя уходит в Русский музей. А потом в Академию. Честно говоря, я даже забыл, где она работает постоянно. Это неважно. И не просто, а даже совсем хорошо. В Академии, в музее – как это здорово. Мысли путаются. И что-то мне снится. Да, пока философы ищут в России выхода из нирваны, пока бездействует один и тот же народ, у меня уже другая власть и другой строй и порядок.

Мне снится, при другом строе, – большая книжная лавка. Там на всех полках – дорогие книги в красных переплетках с золотым тиснением на корешках. Я хочу выбрать, но для этого нужно бегло просмотреть все корешки. Я захожу за прилавок. А строй в России – другой. Книги небывалые. И таких никогда не будет. Но мне приятно – в них разгадка многих вопросов. И это уже не я смотрю, а Бобров – быстро так, быстро – выхватывает с полки книгу за книгой, глянет и сразу ставит на место. Что-то бормочет. И что-то очень хорошее. Правильно. И вдруг я, Бобров, оборачиваюсь, а у прилавка с другой стороны – приятный парень в черном и со шрамом у подбородка. Он автор каких-то песен, которые тут же, в книжной лавке, исполняют, и хороших певцов, молодых, снимают на пленку. Проектора. Много народу. Я, Бобров, отрываюсь от книг и даю ему свой номер мобильного телефона. Он кем-то был избит и даже убит. Но он знаменитость. Он добрый, хороший. У него целая группа. Но это неважно. Он позвонит. И этот парень – мой сын. И я, наконец, понимаю. Бобров несчастлив. А я готов пострадать.

## 2.

Красные книги. Что это значит? Однако я проспал полдня. Хорошо, что сегодня уже никуда не надо идти. Редкий день. Завтра занятия в университете. В другом. Не в том. Где Бобров. Джойс – тоже профессор. В том, большом университете, там, где и учился. Все у него правильно. И все это я отдал другим. А меня просто не было. Да, не было у меня ничего – ни детства, ни юности, ни диссертаций. Были Катя и сын. Почему-то я назвал его Павлом. Паша научил меня, как быть свободным. Он сам такой. С первых лет жизни. Вот о нем я все помню. А он меня учил забывать. Я посмотрю на него и забуду. Обо всех и даже о нем. И все-таки я все помню. И о нем, и о Кате. А о других – помню и забываю. Но вот в романе придется подробно писать о забытых. О тех, кого не было. Здесь не нужно уже ни забывать, ни помнить. Но вот красные книги...

Сон мой – со мной. Значит, он зернышко, из которого вырастет весь роман. В нем что-то мучительно страшное. То, чего не было ни со мною, ни с Павлом. То, что Бобров пережил. Только иначе. В красных книгах с золотым тиснением и золотым дореволюционным обрезом – готовый ответ. И из таких книг целая книжная лавка. Ответа не может быть, но он есть в этих томах за красными переплетами. Их быстро просматривает и как будто глотает Бобров. А я страдаю и готов страдать, потому что мне нужно забыть любые истины и ответы. Но они уже есть в книгах. И Бобров прочел и включил их в свою философию. А тут еще мой сын. Вот главный повод и причина – отчего сонный образ остается со мной. Все, что связано с ним, я забывать не умею. Помню и не трогаю творческой волей. Он студент, бизнесмен. Откуда шрам на его подбородке? Почему он в черном? Почему знаменит? Забудь поскорее.

Он отвлек Боброва от книг. Значит ли это, что в нем главный ответ? И для Боброва, и для меня. И для меня? Здесь все без вопросов и комментариев. Он свободен, и я счастлив. Я, слава богу, не знаю, в чем состоит его жизнь и свобода. Я научился разрывать с ним всякую связь. И вот он рядом и никуда не уходит. Катя любит его иначе. Она все усложняет. Но это совсем особая тайна. Катя благодарит меня за то, что я все правильно делаю. Благодарит молчаливо. Но я понимаю. А ведь на самом деле я страдаю давно. Потому и пишу. Красные книги с золотым обрезом – символ чего-то. Не знаю. Плохо то, что уже целое утро я не могу забыть этот сон. Когда просыпался, то знал – больше его не увижу. Бобров успел заглянуть. А я... Остался образ. Его придется разгадывать. Интрига. Надо спросить у Паши. Когда он вернется. А когда? И куда он уехал?

А что если Бобров беспокоится о нем больше, чем я. Кровный отец? Мое страдание загнано внутрь и оттуда шлет множество смыслов. А он видит в Павле погибших своих сыновей. Он хочет его спасти в этом сне. А книги молчат. Проектора. Съемка. Много народу. Красивые страшные песни. Порядок в России уже другой. Но это, увы, не имеет значения. Все уже



случилось. В будущем, как и в прошлом. Ой, что-то мне тяжело. Не пишется на машинке. «Континенталь» помнит все мои статьи, романы и книги. Но сегодня шрифт ее не поможет. На самом деле, не было дня, чтобы я не ждал катастрофы. Со всеми, кого придумал, и со всеми, кто рядом и вдальеке. Хочешь, не хочешь – они обступают меня. В мире моем, придуманном, воображенном, кое-что от меня зависит. А здесь... Тут философ любит сильнее, чем художник. На него надежда. Мой персонаж.

Нет, он другой. Надо писать так, чтобы что-то вокруг меня изменилось. Так никогда не будет. Но так надо писать. Я повторяю это себе всю жизнь. И страдаю. Паша догадывается об этом. А Катя уже давно догадалась. Еще до того, как мы поженились. Она любит мое страдание. И не читает, не любит мои красные книги. В которые я не успел заглянуть. И проснулся. И больше их никогда не увижу. А Бобров успел. И дал телефон свой моему убитому сыну. Что такое? Что? Почему «убитому»? Он жив. Я еще не проснулся? Нет, я уже давно пишу на машинке. И совсем забыл о том, что пишу. Для романа моего хорошо, если так. А для меня? А для Боброва? Чем он занят сейчас? Мой персонаж? Или мой собеседник? Или мы вновь думаем и говорим об одном? А! Вот в шкафу моем стоит похожая красная книга. Звонок телефона.

Красная книга? Да, с золотым тиснением на обложке и золотым обрезом страниц. Микеланджело. А вот Рафаэль, Тициан, Рубенс и Дюрер. Целая полка в шкафу красных книг об искусстве. Вот разгадка моего необъяснимого сна. Немецкое издание. Серия. Начало двадцатого века. Ровно сто лет назад. Черно-белые иллюстрации. Зато здесь по возможности все произведения мастеров. Я покупаю красные книги для себя, попевая за моей Катей. Она тоже нередко заглядывает в это собрание. А у меня особое пристрастие к началу столетия. Минувшего. Летний сад почему-то ассоциируется с серебряным веком. Барокко. Сомов. Его версальские вечерние стилизации. Александр Бенуа. Иллюстрации к «Пиковой даме». Вот когда издавались эти альбомы. Я их люблю. А приснилась мне целая лавка подобных книг. Почему я сразу их не узнал? А! У Боброва их нет.

Я ведь тогда внимательно осмотрел корешки его книг в дубовых резных шкафах. Нет, все равно сон разгадать не могу. Нужен роман. Может быть, то, что Катя заглядывает в эти книги? Все может быть. Он что-то искал и не находил. Если я тоже буду искать, на это уйдет весь вечер – до самого сна. Когда-нибудь. Не сейчас. Но придется. Крест романиста. Крест. Он поминал Мелвилла. Штиль и водоворот в океане. Петербург-Атлантида уходит под воду. Россия всплывает. Крест над водой. Воронка – вдавленный вниз тонущий купол. В центре водоворота последний поднятый крест. Нет, ничего такого не найти в этих книгах. И все-таки я беру из шкафа одну из них наугад. Открываю. Попался Вагто. «Отплытие на остров Цитеру». Издание предвоенных лет. Первая мировая. Бумага и печать коричневатой окраски. Сомов. Летний сад. Кажется, понял.

Катя любит эту картину. Вот книга и открылась на странице, которая открывается часто. Придет, надо спросить и объяснить, почему. Вечерние теплые краски. Тихо. Лиловые банты на ногах кавалеров. Изящные женские головки. И парус отплытия. А над ними коричневые деревья. И кроны, как пудрой, осыпаны розовыми отблесками заката. Все погружается в тень. И все-таки почему? Надо спросить. Катя не сможет ответить. А мне пора объяснить, самому себе объяснить, почему я на коричнево-белой иллюстрации вижу все эти цвета. Как будто я сам писал эту вещь. Повторный звонок телефона. Тогда я трубку снял и повесил. Зачем? Это Катя звонит. Что? Просто соскучилась. Так у нас уже повелось. Или я, или она. Звоним друг другу всю жизнь. Спрашиваю про «Остров Цитеру». Молчит и ждет. Но я не могу всего рассказать. Приходи скорее. Что там случилось? Хорошо. Буду ждать.

Мой правитель России в романе должен обладать подобной коллекцией книг. Всей фантастической серией. Ее как раз хватит на большую книжную лавку. Представляю себе его кабинет. Красные корешки за стеклами книжных шкафов. Сразу видно. Строй в России совсем не тот – по сравнению с нашим. Тут не один Ватто. Все, что создано и могло быть создано к нашему времени. Могло быть создано. И на красных обложках выгеснены золотом неизвестные мне имена. Что там внутри? Боюсь подумать. А дух захватывает от радости ожидания. И все так просто и так знакомо. Вот чем нужно отвлекать от политических острых вопросов. Отвлекать самого себя. А то иначе их не решить. Он политик-философ. А не то, что нынешние сценаристы гибели. Практики погружения в бездну. Он читает на языке репродукций ответ по любому вопросу. Отвлекая, подержал книгу в руках и решил.

Неужели – это Павел. Мой сын? Или кто-то другой, тот же самый? Он куда-то уехал. Может быть, это он звонил в первый раз? Надо следить за собой. Надо чувствовать, иметь интуицию. А то какой же я романист? Нет, нельзя допустить. Я суверен, хотя и все забываю на свете. То, что написано, обычно повторяется в жизни. Но такого нельзя допустить. Что делать, если книга сама пишет себя?.. Я никогда, создавая, не делал запретов. Это самое гиблое. Уж лучше ошибка, чем добровольный запрет. Но сегодня случилось что-то ужасное. Уж если я об этом подумал. Никакой запрет не поможет. А что если философ предотвратит безумный замысел. «Отплытие на остров Цитеру»... И весь роман. Отвлекись и забудь. Но Бобров недаром заглядывал в книги и чего-то искал. Философ нашел – уже после моего пробуждения от сна. Предчувствие. Предсказание. Помощь. Любовь.

Катя вернулась. Из Русского музея? Из Академии? Покинула остров Киферу. Почему ты молчишь? Что? Я сегодня еще не выспался днем? Да, ты ведь знаешь – была бессонная ночь. Раскрытая красная книга. Ты узнала? Почему отворачиваешься? Ты не знаешь, как объяснить. И я не знаю. Ладно. Пусть это останется нашей общей тайной. Ты говорила как-то: Ватто – метод жизни. Той, которая уже была и откуда мы возвращаемся. А тогда в нее отплывали. Мне почему-то страшно в нее отплывать. А ты говоришь: надо решиться в последнее мгновение современной жизни. Все в человеческих

силах. Все, что мы в состоянии вообразить. Что вообразил, на то и решился. Ты часто мне говорила так. А я повторял за тобой. Да, но почему именно эта красная книга? Я никогда не спрашивал. Верно. Что случилось? Не знаю. Ты ведь не любишь разгадывать мои странные сны.

Остров любви или остров смерти? Что современнее. Нет ни того, ни другого. Мы отплываем на остров отсутствия? Ладно. Пожалуйста, не отвечай. Мне приснился Бобров. Угадала. А книгу эту я нашел в шкафу наяву. Что? Ничего не понятно? Что ж, теперь я не хочу объяснять. Видимо, так и отплывем, не сказав друг другу. Ты устала? Сегодня я ничего не смогу тебе прочитать из написанных слов. Хемингуэй считал на слова. И современный компьютер считает слова, а не строки. Сегодня кто-то другой написал одиннадцать полных страниц. А я – ни одного слова. Могу только рассказывать. И ты поняла – я уже все рассказал. Современные страшные песни. Шрам на подбородке. А сам он весь в черном. Он ему дал номер своего телефона. Жив или убит? Куда он уехал на своем мерседесе. Мы ничего не знаем и так отплывем?

Катя готова слушать. Как в юности. Как в молодые годы. Весь день готовил нас к этому вечеру. А то, что приснился Бобров... Не говори и не слушай. Я не говорю и не слушаю сам себя. Эпизод из романа. Пройдет. Вот, слава богу, Павел вернулся. Наша любовь. Мы втроем. Больше нет никого. Снова петербургский дождь за окном. Как вчера за окном его кабинета. Да, я был. Я отдал ему его белый кварцевый камень. Да, состоялся большой разговор. Только он совсем не слушал меня. О себе – ни слова. А о тебе, Катя, всего несколько слов. Нельзя ли встретиться? Я сказал, что не надо. Но пусть он знает, что ты есть. И что вы уже встретились во время его доклада. Он странный. Он одинокий. Ты для него ответ и разгадка. У него убили двух сыновей. Одного за другим. И его жена не выдержала и умерла тогда – у него на глазах. А мы живы. Мы не виноваты.

А ты откуда, Павел, знаешь об этом? Ведь с тех пор прошло уже в нашей жизни пятнадцать лет. В романе все будет не так. Паша все понимает. Ему удалось отвязаться. А мы с Катей целый день заняты этим. Что? И ты тоже? Хватит. Поговорим за чаем о чем-то другом. Напрасно волнуешься. У меня от тебя нет никаких тайн. Ты свободен. А я... Замыслы не рассказывают. Прости за вопрос. У тебя никогда не было шрама на подбородке? Хорош отец. До чего дожили. Задает сыну такие вопросы. И все-таки скажи – не было шрама? Покажи подбородок. Что я, в самом деле – сошел с ума с этим сном? Не понимаешь – не надо. Катя. Спокойно, спокойно. Все. Все хорошо. Ничего пока еще не случилось. Что значит «пока еще»? И не случится, конечно. И в романе, и в жизни. Будь спокойна. В жизни – точно. А вот в романе. Но ведь он сам пишет себя.

Павел, самое больное – начало. Тут «пока еще» все от тебя зависит. В полной мере. От первого слова. Оно только твое. Но чем больше сказано и написано слов, тем больше воля твоя исчезает. Слово сильнее. Оно диктует. Оно отбирает остальные слова. И когда последнее слово найдено, воля твоя

отплыла на Цитеру, на остров любви. По-моему, об этом еще никто не писал. Поэтому, Паша, не заставляй меня рассказывать замысел. Порадуйся, за эту бессонную ночь и за утро, и за целый день сегодня у меня для тебя и о тебе – ни единого слова. Я могу, пока еще все могу. И мне страшно было без вас. Да, телефон звонил. Но я брал и вешал трубку от страха. Мобильник не признаю. Там я бы увидел, кто звонит. Вы знаете, происходит самое страшное. Послушайте, я уже не могу забывать. И к тому же – я еще не записал мое первое слово.

### 3.

Правитель в моем романе уже это первое слово сказал. Теперь он продолжает – с оглядкой на то, что сказано прежде. Он из тех, кто вынужден себя продолжать. Нет, не себя, а самое первое слово свое. Оно было сказано в этой семье – на Васильевском острове. Он точно помнит, когда. Здесь, но лишь мысленно – втайне от матери и отца. Партию надо было создать. И он ее создал. Волей случая. Тогда он был студентом-филологом (по стопам отца), но уже силы свои пробовал в бизнесе. Вот университет за плечами. Филология дремлет. Бизнес по-прежнему на подъеме. Успех. Родилась идея. Растворенная в воздухе Петербурга. Так. Ничего особого. Но приспел момент. И все началось.

Отец тревожился. Предчувствовал. Остерегал. Все напрасно. Продолжай, как начал. Дальше их пути с отцом разошлись. Они перестали видаться. Отец ничего не ведал. Воображал, но еще не верил голосу интуиции. Пришлось поверить, когда сын уже был далеко и с другими людьми. Тайные встречи с матерью. Она молчала. Она ведь ему слово дала. Она знала – ситуация смертельно опасна. Приходилось молчать. Она и сейчас молчит. А уже все состоялось. Она объяснила мужу – лучше не возникать. Пришлось разорвать все связи. Характеры изменились. Ни дружбы, ни общения. Отдельно от всех. Люди поняли и оставили их в покое. Способ хоть как-то их уберечь. А тут государственный переворот, которого ждали давно. Москва недоступна. Событие за событием. Жизнь изменилась. Говорили о сыне. А о матери и об отце как будто забыли совсем.

Все это надо обдумать. Я ничего не знаю пока. Порядок в России другой, а какой – автору неизвестно. И чем дольше не будет известно, тем лучше. Не все нужно уточнять в жизни героев. Надо сделать все так, чтобы читатели уточняли. Попробуй, сделай. Самое трудное. И зачем откровенно лгать. Я ведь все знаю давно. В деталях, в подробностях. Боже мой, как тяжело всезнание романиста. Ему тяжело, а читателю нет работы. И вот я разыгрываю мое неведение. Разыгрываю наивность. Если сумею – до примитива, все будет, как надо. Пусть читатель не верит и ждет. А на самом деле он уже не поверит. Это прекрасно чувствует – этот автор ничего не открывает, а знает немало. Как родители моего персонажа. Вот они у меня уже получились. Тут в том, как они задуманы, правда прорвалась. А в остальном...

Будущий правитель хорошо подготовил переворот. И он совершен легко. И все одобрили эту легкость. Что делать? Давно накопилось. Само собой родилось единодушие большинства. Без насилия и без особых трудов. В истории России такого еще не бывало. Видимо, перетерпели и не пропали, как у Некрасова. Россия моя удивила мир еще раз. Все планы Запада рухнули. Третий мир поддержал. Быстро-быстро создали новую армию. Какую – верьте не верьте, не знаю пока. Не бойтесь. Все получилось, как надо. Пока правитель все удастся. Еще бы! Три десятилетия распада. На грани тысячелетий. Жизнь сама поправляет себя. Враги поспешно признали свое поражение. Но и с ними обошлось без крови и тюрем. Без процессов и демагогии. Дураки заняли подходящую нишу и успокоились там. Верьте – не верьте. Конечно, автор знает еще кое-что.

Мысли правителя дошли до Боброва. Там у него другая фамилия. Но это не важно. По сути, Бобров тогда еще будет жить. Совсем забытый, но уважаемый старец. Он с помощью философии научился продлевать свою жизнь. И делал это один, потому что никто не разделял его взглядов. Психологически это очень страшно. Можно было бы спасти многих. От болезней, от смерти. Но тех, кто поверит. А как убедить? И вот – интуитивно, особым путем – до Боброва дошли сокровенные мысли правителя. И тогда он, за свой счет, выпустил в свет свою последнюю книгу. Правитель прочел. Но он хорошо помнил опыт героя Германа Гессе. Никакой игры в бисер. И вот он приехал к Боброву. Тайно. И тут решилось главное. Переворот состоялся вполне. Тут Бобров заметил у правителя шрам на его подбородке. Дальше – понятно.

Господи, как все это страшно. В действительности и в романе. Чем больше всматриваюсь в лицо правителя, тем яснее вижу черты моего сына. И теперь уже, когда первое слово сказано и скреплено моим сном, я вынужден продолжать. К политике я всегда испытывал отвращение. А сейчас – ее ненавижу. У меня была мысль о снятии внешних границ России при условии таких же усилий со стороны других государств. Интеграция. Планетарный союз. Весь опыт науки вложить в этот процесс. Весь опыт культуры. Политики за последние двадцать лет разрушили мой проект. Опять государства. А самый статус государств и держав – знак позиционной войны. В лучшем случае. Сын мой пока еще ни к кому не ушел. Но если я продолжу роман, он отдалится, и будет все, как написано. А Бобров молча предупреждает меня гибелью своих сыновей.

Еще ничего не случилось. Но я уже вижу Павлушу иными глазами. Его красивые, слегка заостренные черты лица. Когда смотришь, становится не по себе. Он похож на Катю, но по-особому. Такое лицо вполне сохраняет свое выражение, когда смотришь издали. Тот же образ. И мгновенно выделишь и запомнишь. Что-то родное, приятное и строгое вместе. Как правило, не улыбается. И глядит исподлобья. В глаза лучше не заглядывать – потеряешь всякую волю. Асимметрия бровей усиливает впечатление. Вдали и вблизи. Это очень опасная особенность внешности. Потому что уже не внешность.

Что-то сокровенное, открытое взглядом каждому, кто видит его. Обычно я опускаю глаза. А он никогда не отводит свой взгляд. Предупреждаю – тоже опасно. Однажды я ему прямо об этом сказал. Попросил изменить манеру. Напрасно.

Я никогда не видел фотографии сыновей Боброва. А как иначе? Мы ведь с ним познакомились только вчера. Но мне кажется почему-то – младший его сынишка, тот, каким он был в те годы, и мой Павел очень похожи. Совпадение – возраст. Представляю, что он чувствовал, когда Павлуша к нему пришел и сидел у него в кабинете. То же самое чувствую я. Но ведь наши судьбы не совпадают. Зачем, откуда такое сходство? Что оно значит? Вблизи как вдали. И наоборот. Номер своего телефона. Бобров очень сдержан и хорошо владеет собой. Я, когда шел к нему, пребывал в страшной тревоге. Я не хотел, чтобы он видел мои глаза. Я закрывал лицо ладонью. А он первую минуту всматривался в меня. А потом перестал. И сразу тогда заснул, стоя передо мной, но и во сне заметил во мне все, что было нужно ему. Он понял, что его утренний гость...

Остановись. Ты продолжаешь писать страницы романа. А они приближают предсказанную тебе катастрофу. Сейчас вот Павел с тобой прощается перед сном. Не отводи свой взгляд. Не опускай глаза. Мы обнимаемся. И долго стоим, не выпуская друг друга. Я ощупываю руками его сильные, немного узкие плечи. Он касается подбородком моего плеча, и так мы стоим, не глядя друг другу в глаза. Я ощупываю всю его спину, проверяю лопатки, пересчитываю позвонки, все ли на месте. Он любит мои отцовские прикосновения и сам похлопывает меня по спине. Мы это любим и делаем каждый раз. Все в порядке. Павел продолжает расти. Каждый раз крепче. Или мне кажется. Нет ничего лучше таких минут. И вдруг я нахожу отцовским чутьем в его юношеском теле, во всем его существе что-то совсем незнакомое, новое для меня.

Кажется, это было с кем-то. Но не со мной. Вздрагиваю и спрашиваю себя – неужели ты можешь удержать такие мгновения. У кого-то было такое. Но ведь это сейчас твое и только твое. Все в порядке. Все на месте. Не допускай ничего иного. Останови свою мысль и свой образ. Останови слово свое. Слушай, как на груди, над плечом твоим дышит сын. Сожми его крепче и не отпускай. Он сейчас думает о том же и точно так же. Можешь не переспрашивать. Потому ведь нельзя разнимать наших рук. Но я невольно, воображая, вижу его глаза, которые он скрыл от меня, положив подбородок мне на плечо. В этом взгляде его появилось нечто горькое и страшное для меня, то, что было с другим, не со мной и не с ним, то, чего я не хочу. Сын мягко отталкивает меня, и я вижу, как дрожат его губы. Он пока еще мой.

Катя молчит в романе. А в жизни... Мы еще о том не сказали ни слова. Как же о том говорить? Замысел мой неизвестен. А сейчас ферма и мерседес. Политику она вообще изгоняет из нашего обихода. Но я тревожусь – в чем-то она опережает меня. О ее любви к сыну уже не скажут никакие слова. Поздно.

Ее любовь растет и взрослеет, как Павел. Они никогда не обнимаются перед сном. И вообще я не видел, чтобы они когда-нибудь обнимались. Потому что он сам приходит к матери в комнату, садится в кресло и целует ей руку. И так они долго сидят. А потом он прижимается лбом и виском к ее руке. И оба они забывают о времени. Перед сном. А иногда засыживаются много за полночь. Говорят шепотом, а то и просто молчат. Я не должен входить и не вхожу к ним в такие минуты. Кто-то мне шепчет – все это было с кем-то еще. Мать, сын, отец...

Катя как будто всегда ему повинуется. А он знает, что делает. Сегодня она видит, как мы прощаемся, и не уходит в свою малую комнату. Она долго стоит, смотрит и не уходит. И мы трое – мать, сын, отец – не торопим время. Как будто что-то открылось внезапно. Всем троим. Но каждый по-особому переживает и ждет. Для меня это, как всякое расставание, горько и непоправимо. Я вынужден расставаться, пока досмотрю все, что осталось в жизни моей, даже если многого не увижу ни разу. Период расставания с миром для меня уже наступил. Долго будет, но уже наступило. С миром, но не с моим сыном. Тут никакого периода. И все-таки мы расстаемся. Павлуша уходит от меня овладевать бытием. Он властитель, и он уходит владеть. Но долго не отпускает и не отталкивает отца. И губы дрожат. А Катя ждет, что мы оба сделаем с ней.

Невыносимо. Сегодня она поняла, что нам предстоит. Ее давно мучает предчувствие. Кто-то знает наверное. Или добирается мыслью. Теперь уже многие могут мыслью добраться. Но есть кто-то один. Надо послать мужа к этому человеку, но муж боится чего-то. Павел согласен пойти и спросить. А на самом деле – только она. Опять только она. Чего они ждут? Совершается нечто громадное. И ей, Кате, нельзя. Будет непоправимо. Потому что есть смертельно опасное знание. Бобров им владеет и не скрывает его. Но никто не способен понять весь его ужас. Видимо, только она. От сына и мужа не скроешь. И только от себя попытается скрыть и всех уберечь. Насколько возможно. Уберечь. Нет, ей с ним встречаться нельзя. Павел пока еще ничего не может понять, слава богу. Пусть они что-то решают. Пусть прощаются перед сном. А я подожду. Одна, как всегда.

Павел откинул голову, он выпрямился, и сейчас видно, что он уже ростом почти перегоняет отца. Пока еще не перегнал. Я не могу смотреть, как отец отпускает сына. Вот он прячет глаза и вдруг прямо падает головой Павлу на грудь. Что-то решается. Что-то будет со мной. А за окнами – страшный питерский ливень. Вот я догадалась. Неужели он в своем романе пошлет Павла на смерть? Неужели допустит? Я, как и он, верю, слово обладает невиданной силой. Замысел тоже. Не надо задумывать то, что может случиться. А теперь все возможно. По любому сильному слову. Он не знает, что я догадалась. Нет, вот он приходит в себя. Видит, что я стою, и отпускает Павлушу. За окнами настоящая буря. Или мне показалось. Шум какой-то. И окна темны. Так думает Катя и ждет. А я проклиная себя и продолжаю писать мой роман.

Мысленно продолжаю. Вот я уже сам правитель. Разумеется, это фантазия. Реальность передо мною, а замысел – краткая передышка. Если я ее прерву и вернусь, я не выдержу. Почему я не взгляделся в тот камень? Слушай нарастание ливня и только не смей спрашивать сына. Прячь глаза – Павел догадается, как она. И тогда будет плохо. Сейчас непоправимое – замысел. Успокойся. Каждый листик отдельно. Правитель на этом строит новый режим. И все получается. Потому что Атлантида всплывает. Слышишь? Это шум великого всплытия. Континенты живые. Дно океана шевелится. Ожгло дно. Править во время всплытия легко и опасно. Все остальное знает он, другой, настоящий правитель. Катя, уйди вслед за Павлом. Он у тебя. Вы долго еще не уснете. А я буду всю ночь, всю эту вторую бессонную ночь ловить шепот ваш и слушать ваше молчание.

#### 4.

Я слишком взволнован. Воображение увело меня далеко. Все спят. Ничего не случилось. А это было тогда. Пятнадцать лет назад было с ним и его сыновьями. Такое повторяется только в романе. Повторяется тенью. Отзвуком в слове. Не больше. Но почему, откуда, за что мне моя вторая бессонная ночь? Они спят. А я слышу их шевеление, шепоты, слышу их бодрствование в малой комнате, там, где Катя уснула. Нет, они еще там. Пойти проверить? Но ведь это безумие. Нельзя так жить. Катя измучена. Павел устал от моих фантазий. Не прислушивайся. Отпусти их обоих. Нет, все-таки шепчут. Вот замолчали. Ждут, когда я перестану ходить. Но тишина и молчание уже невыносимы. Вхожу. Сначала в одну, потом в другую комнаты. Проверяю. Спят.

Опять хожу. И опять не могу успокоиться. Что-то не так. Вновь открываю дверь в малую комнату. Приближаюсь. Боюсь напугать. Громко дышу. Наклоняюсь. Темно. И все-таки вижу. Катя не спит. Глаза как будто открыты. И смотрит мимо меня. Целую ее осторожно. Она отвечает и продолжает смотреть. Я целую ей руку и отхожу чуть слышно. Так бывало и раньше. Но тогда в темноте она не смотрела мимо меня. Или мне показалось. Ни слова. Что же? Заглядываю еще раз в комнату сына. В ней два окна. Посветлее, чем в той. Спит. Его дыхание ровное. И все же, когда присматриваюсь поближе... Глаза открыты. И тоже смотрит мимо меня. Как будто не видит, что я вошел. Чтобы не было очень страшно, сажусь у него в ногах и делаю знак во тьме, что не хочу говорить. Он принимает мой знак, подвигается и молчит. Мы сидим. Такого еще не бывало.

Я неотрывно смотрю Павлу в глаза. В темноте выдерживаю и не боюсь ответного взгляда. Он дышит спокойно. Он спит. Или мне кажется. Встаю. Неслышно иду к двери. Шепот. Он во сне окликает меня. «Папа...» Слава богу, заснул. Теперь и Катя уснула. Ну вот, как хорошо. Я, наконец, их усыпил. Нет, они сами заснули. Будто поговорили друг с другом и меня будто позвали послушать их немой разговор. Вот я их успокоил. Такого еще не



было никогда. Или было с кем-то другим. И совсем по-другому. Ладно. Два часа ночи. Пора начинать. А стук машинки уже никого не разбудит. Пора. Молния где-то рядом. Красная. Сразу грохот. Как будто бы дом провалился. Но все на месте. Гром никого не разбудит. Запоминаю то, что успел продумать. Но странно. Первый раз я не чувствую, что слова отдельно от того, что вокруг. Смыкаются. Так оживают мифы и притчи.

Правитель переживет однажды во сне и наяву – точно такую бессонную ночь. Не отвлекайся. Пиши. А это будет потом. Не опережай события ночи. Он любит утро и ненавидит утреннюю грозу. А сейчас все как надо. Все идет постепенно. Единодушие землян стабильно. Оно продолжится много десятилетий. Надо слышать, как дышит единство множеств. По ночам все можно услышать. Достоевский со своими «Записками из подполья» – бред ушедших страшных эпох. Но почему я перечитываю по ночам апокалипсисы ушедшего мира? Потому что я так убеждаюсь один еженощно – выздоровление наступило. Политических партий много, но они – ритуал. Память о прошлом. Ежедневный, веселый, беспомощный карнавал. Что-то меня ожидает. Если я ошибусь. Правитель не ошибается. Поэтому хороша ночная гроза. Только бы не заснуть. И только бы она кончилась утром.

Отец далеко. Маму я увижу завтра в Москве. Теперь можно открыто. Нет, еще рано. Знаю, как надо устроить свидание. Никому до этого дела нет. И все же я постараюсь. Дел становится меньше. Люди сами справляются. Но правитель им нужен. Единственное условие безопасности и покоя. С инквизитором было наоборот. Они думали, что свободны. «Бунтовщики», «слабосильные», «жаждущие преклонения». И только он один знал. А теперь они думают, что существует правитель. И только я один знаю в эту бурную московскую ночь... Не надо Москвы. Ночь Петербурга. Ночь окраин, где все прошлое в небытии. Кто-то ходит по коридору. Кто-то приоткрыл дверь в мою комнату. Я не сплю. Я подвигаюсь. Пусть он сядет на край моего одра. Какое ненужное слово. Не бойся. Ты видишь – я не боюсь. Папа, не уходи, если можешь. В коридоре затихают шаги.

Имя правителя? Пока не придумал. Время подскажет. Светлое имя всплывет. А пока будет он просто правитель. Так лучше. Ему самому. Так он сам себя называет. В третьем лице. Поневоле. Так люди хотят. Похоже на фантастику и утопию. И уж конечно, предвещает антиутопию. Но лишь для меня. Потому что антиутопии сейчас несовременны. А «утопия» – забытое слово. Я один вспоминаю такие слова. Не только по ночам, как сейчас, но и в моем государственном обиходе. За мною признано право помнить и вспоминать иногда эти слова. Потому что право имеет правитель. Не думайте, что право это отнято у других. Но никто не пользуется и не вспоминает. Мне положено. Я обязан. Подтверждаю свою особую привилегию. Что ожидает меня? Если я ошибусь? Правитель не ошибается. Ошибки других незаметны. Это единственное условие. Не ошибаться.

Только ночью, втайне могу. Даже не в тайне. Открыто. Но когда люди уснули. У правителя целая ночь для ошибок. Такую ночь можно проспять. Но

для правителя это неправильно. Он человек. Точнее сказать – я человек. Но у меня только ночь. Сплю урывками. Тревожно. Чутко. Просыпаюсь мгновенно. Что? Неужели уснул? Почудилось. Показалось. Иллюзия непрерывного бодрствования по ночам. Иногда поневоле засыпаю днем. Тоже минутами. Незаметно. Порой во время доклада – на пленуме или на съезде. Очень опасно. Ни разу никто не заметил. В общении – просто исключено. Живу на износ. Люди понимают. Сочувствуют. И одобряют. Вот и вся разница между нами. Режим без проб и без ошибок. А на самом деле – свобода, какой еще не бывало в истории. Но кто измерит опыт моих ночных ошибок и проб. Мне кажется, я становлюсь подобным Небытию. Оно тоже пробует и отменяет себя.

Ладно. Пиши и не смущай сон спящего сына. Он пошевелится – Катя проснется. Гром такой, что пол задрожал. Фиолетовая вспышка. И как будто она так и осталась за окнами. Но сгустилась до черноты. Красивый темно-опаловый цвет. Хочется отключить электричество. Отключаю. Действительно. Любая ночь светлей комнатной тьмы. Тем более – холодные белые вспышки. «Демоны глухонемые». Тютчев увидел и предугадал их совещание в небе сегодня, в самом начале нового дня. Он рождается ночью. А сейчас классическая настоящая ночь. Всплываем куда-то. Бобров знает, куда. И правитель мой знает. Пророческая ночь. Его окно тоже погасло. Но чувствую – он продолжает смотреть и думает сходно. С ним уже все совершилось. А мне оно еще предстоит. Вот бы сейчас поговорить и послушать. Он там смотрит в темно-опаловые окна свои и тоже хочет нашего разговора.

В темноте кабинет раздвигает стены и кажется ночным бескрайним простором. Опять повторяю – с кем-то все это было уже, но не со мной. Видимо, существует кто-то еще. Третий или четвертый. Наверно, существует. И окно его тоже погасло. Довольно. Поспал незаметно. Включаю вновь электрический свет. И сразу вспыхнули еще окна в двух других домах Петербурга. Или Москвы. Или еще где-нибудь. Мысли поплыли. Но это не сон. Вот. Ночные предметы страшны при электрическом свете. Но они вернули меня. Ощупываю каждый предмет. Люди видят сны и не ошибаются ночью. Ошибки только во сне. Впрочем, есть один человек. Он знает, что это не так. Слава богу, не я. Сострадаю. Но знать не хочу. Правитель тоже сочувствует. Оглядываясь в наше прошлое. В то, что сегодня. Вот я вижу его. Такая же ночь. Такие же молнии. Но свет в комнате нельзя погасить.

Люди религиозны. Атеистов не стало. Атеизм – атавизм. Но и конфессии остаются условно. И никого не смущает межконфессиональная рознь. Даже розни такой не существует больше ни днем, ни ночью. Разница, а не рознь. Разница принята всеми. Все разные – каждый свободен. И от себя, и от общества. И это возможно. Люди хотят и долго еще будут желать, чтобы в этой свободе ничего не менялось. Только для меня по ночам разница превращается в рознь. И я прокручиваю в душе опыт новых и новых ошибок. И к утру, не доспав, устаю от него. И не скрываю того, что устал. Сын

проснулся и входит ко мне. «Папа, зачем ты ушел. Я люблю, когда ты сидишь у меня в ногах. Ты ушел, и я спал очень тревожно. Видишь, проснулся. А ты вроде бы и не засыпал». Я смотрю на него спокойно и вновь не боюсь поймать его взгляд. Нет, никаких разговоров. Ночь еще не прошла.

Приснилось, конечно. Смотрю в пустоту кабинета. Но чувствую, знаю, что я не один в этой комнате. Блаженная передышка. Пора опять за работу. По мере того как пишу, все возвращается в нормальное состояние. В норму. Как хорошо. Выздоровление неизбежно. Важен кризис. А его, как правило, стараются не допустить. И вот она продолжает себя. Наша действительность. Больная смертельно. Все равно. Роман – последняя капля. Нет, не последняя. И все же чаша переполняется. Вижу в близком будущем – переливается через край. В романе уже получилось. А философия опередила роман. Бобров допустил, опередил и за все расплатился. А у моего правителя своя философия. Он победитель, пока не ошибся. А если это будет ошибка моя? И расплатится он – вместе со мной? Сын приходил говорить. А ты отказался. О чем он хотел? О чем? Даже если приснился? Мой роман – это ночь ошибок.

Я записал все, что случилось. Правитель продолжает мысленно разговаривать с матерью. Свидания происходят у них по ночам. Под утро. Когда гроза утихает. Мать приходит к нему. Он это устроил. Обезопасил ее приход. Впрочем, все знают, что такое случается иногда. Никому дела нет. Личная жизнь правителя никого не тревожит. Людям нравится помнить о том, что такие свидания разрешены. Это серьезно. Правитель у них настоящий. Мать по утрам всегда рядом с ним. А порой – не только мысленно. Приезжает. Присутствует молча. Она ждет четырех часов утра. Но сегодня он проговорил с нею всю ночь. Он предполагал. Фантазировал. Она отвечала. Успокаивала его. Обнимала. Плакала вместе с ним. А иногда – одна. Незаметно. А он оставался тверд и спокоен. И доводил ошибку свою до конца. И только потом подходил к ней, садился рядом и долго смотрел ей в глаза, полные слез.

Я из тех, кто будет жить в эпоху правителя. В романе, во всяком случае. Но я от него далеко. При всем желании, трудно вообразить его ночную голгофу. Воображение – отблеск реальности. А реальность грядет. Чаша переливается через край. Подобен небытию. Ничего себе. А может быть, в реальности правитель и есть великое небытие. Оно все берет в себя и все из себя рождает. Но ведь любой человек ежесекундно вступает в небытие и выходит из него как победитель. Мать все это видит и живет рядом с ним. А я далеко. Но кое-что от меня зависит. И вот сегодня он хотел говорить прямо со мной. Но я правильно сделал, что этот сон успокоил. Пусть побудет с матерью наедине – без меня. Он мое дитя. Пусть он будет свободен. Пусть они решают, как быть свободным среди свободных людей. Без утопий и антиутопий. В реальности, которая заполняет роман. У меня на глазах.

Он все делает, чтобы стать незаметным. Как мать рядом с ним. Все дело в том, что Россия, по крайней мере, уже может жить без правителя. Но как

объявить об этом? Как решиться на такое признание? Будет ошибка, и все начнется по новому кругу. Мысленно. Потому что подобных признаний делать нельзя. Он скажет – никто не услышит. Но так оставаться он тоже не может. Сегодня боль уже невозможно терпеть. Повторяются мысли. Бродят по кругу. Уже без всяких выдумок романиста. Вот она, боль, какой еще не бывало. Попробуй, опиши эту боль. Найди точное слово. Слезы? Моление о чаше? Перед кем? Перед матерью? Перед отцом? Такое служение – расплата за десятилетия свободы. Надо, чтобы хотя немного продолжилась эта ночь. Но она подходит к концу. Опал за окном светлеет. Гроза утихла давно. И как только она утихла, я не выдержал, встал с одра и вошел.

Да, я вошел к тому, кто не спит. Он махает руками. Но я не уйду. Еще остались часы, минуты, мгновения. Что ты пишешь, отец. То, за чем я пришел, не выразить словом. Здесь граница, которую не переступить никому. Найди самое общее определение божества, оно, божество, все равно остается. Неужели точно так же правитель, который не ошибается. Подожди, Павлуша, это роман. Остановись. Не пиши. Ты погибнешь и погубишь меня. Видишь, я пришел. Еще немного, и кончится ночь. Боль пройдет. Мама проснется. Разбудим ее. Но ведь она так и не засыпала. А ты заболел настоящей болезнью правителя. Ты родил единственно важный вопрос. Как остановить всплытие Атлантиды? Кто остановит его? И не говори – она всплывает ночами, а днем погружается вновь. Остановить надо ночью. Поздно. Кончилась ночь. В окно глядит светло-зеленое небо. И на нем черные силуэты соседних домов.

## 5.

Остановить всплытие? Расшифровываю то, что написано перед рассветом. Сын еще не проснулся. Но ведь он только что был в моей комнате. Он или правитель? Кто? Правитель или мой сын прямо передо мной? То, что было понятно, теперь зашифровано. Ошибка была. Какая? Надо понять. Никто не поможет. Понимай и расшифровывай сам. Остановить всплытие Атлантиды – крик современности нашей. Мы ведь еще погружаемся. Рыночная экономика провалилась. Приятно сознавать, что она увязла в российских болотах, как армии Наполеона и Гитлера. В снегах и болотах. В том, что и есть наше Ничто. Небытие – божество и опора. Наша нирвана. Ее наш народ предпочел всему остальному. Всему, что нам предлагали. Погружение продолжается.

А может быть, прав Бобров. Оно остановилось и замерло в неподвижности. И что же, мой сын просит меня, чтобы все так оставалось? Лучше небытие, чем смерть, гибель правителя. Сын просит отца о себе самом. В романе – ошибка, а в действительности – возможность ее избежать. Он думает, что все от меня зависит в том, что я пишу по ночам. Вопрос жизни и смерти. Родного сына. Об этом сын просит отца. А ведь я хозяин в своем романе, а не какой-нибудь Авраам, призванный к жертве.

Павел не понимает, что я бессилён что-нибудь изменить. И в романе, и в жизни. Погружение завершится, а всплытие в будущем уже состоялось. Его мольбы и страхи – ошибка правителя. Утро настало. Время ошибок прошло. Истекло. И теперь я уже ничего не могу. Нет, не я. Он не может. Потому что в романе день уже наступил. Он, тот, кто ко мне приходил. А не тот, кто еще не проснулся.

Расшифровано. Рукопись лежит на столе. «Континенталь» потрудились. Бесчеловечна голгофа отца. Тем более – я никогда не буду правителем. Для Боброва со-бытие, а для меня событие – Слово. Оно ипостасно судьбе. Оно как этот предмет на столе – хрустальная чернильница с бронзовой крышкой. Или как этот этюд моего отца в позолоченной рамке, тот, что висит в простенке между окнами. Слово как дыхание сына, который жив и пока еще не погиб. Слово как утренний сон матери в комнате рядом. Ты устала, и ты во сне все видишь по-своему. Ты ненавидишь Слово – за то, что оно ипостасно жизни и смерти. Но ты, как и я, ничего не можешь сделать ни наяву, ни во сне. Господи! Куда убежать? Как прекратить боль ожидания? Слово становится божеством и требует искупительной жертвы. Уже теперь непрерывно. И, кажется, я сам уже ненавижу мое божество.

Пора готовиться к лекции. В два часа дня. Потом встреча с редактором. Потом телевидение. Участие в дискуссии. Предвыборная кампания. Куда убежишь от нее? И главное – все это шаги в сюжете романа. Завязка, после которой уже ничего нельзя изменить. Все идет как положено. И все приближает развязку. В том-то и ужас. Безнадёжно разрывать звенья цепи, созданной словом. Но в жизни ведь кое-что можно остановить и поправить. Вот хотя бы на сегодняшней лекции в университете. Или в разговоре с редактором. Или... Откажись от всего. Как Бобров. Он ведь позавчера читал свой последний доклад. Я думаю, это известно и ведомо не только мне, но и ему. Давно пора и мне разорвать мой заколдованный круг. Я ведь не персонаж того, что написано. Пробегаю глазами рукопись еще раз. И опять всю грудь схватывает знакомая боль. Неужели я тоже попался?

Что такое со мной происходит? Вспомнил! И опять почему-то вспомнил только сейчас. Бобров – тоже участник телевизионной дискуссии. Ведь я потому и пошел на конференцию и слушал его пленарный доклад. Нет, не только поэтому. И все же иначе бы я не пошел... Вот разгадка моих двух бессонных ночей. Вот чем объясняются мои замыслы, предчувствия и предсказания. День, как всегда, источник всего. Я предчувствовал и предсказывал. И вот – лекция, редактирование – обычная подготовка, разгон мысли перед кульминацией дня. А в ней – замысел мой и завязка. Ну, как же можно такую цепь разорвать? На этот раз Бобров будет бодрствовать. Я его знаю. Держись, мое слово. Это страшная встреча. Никакой политики. Никаких ритуалов. Невозможно определить жанр, который вечером, перед всеми, кто видит и слушает, я ему предложу.

Суть сегодняшней ситуации – безразличие к своей и всей остальной российской судьбе. Павел спит, но он слышит мое без слов к нему

обращенное слово. Свобода в нынешней семейной жизни – умение молчать и не спорить о том, что может разорвать отношения. Еще и по этой причине я избегаю смотреть сыну в глаза. Он в такие минуты благодарно улыбается мне. В самом деле, архаическая улыбка – признак жизни, воля, предвестье акмэ на лице мраморной статуи. Катя любит архаику древней Греции. Недаром в одном из шкафов нашей домашней библиотеки – роскошная французская книга в красном переплете с золотым тиснением, посвященная ранней скульптуре Эллады. В человеческом опыте современности сын мой – ранняя архаика будущего расцвета. Проще сказать – он, кто вообще не улыбается никогда, благодарит меня этой улыбкой за то, что я не тороплю неизбежный расцвет.

Но это опять – мои нелепые мысли. Каждый живет отдельно, как слова в поэтическом тексте. Они отдельно и составляют неделимое целое. Так думает папа, а на самом деле он знает, что такая свобода – самостоянье распада. Все естественно. Если можешь, не уходи. Потому что я отдаляюсь куда-то. Как будто что-то уже случилось. На лице моем – улыбка прощания. Ты понимаешь? Неужели мы порываем с тобой? Выдумывай что-нибудь. Фантазируй. Пока я сплю и еще не проснулся. Посмотри внимательно. Во сне я улыбаюсь тебе. И когда я уйду и ты уже не сможешь меня разбудить, когда я погибну, эта улыбка останется на лице. В ней горечь невыносимой последней боли. Горечь страдания, последний привет. И ты запомнишь ее. Эту улыбку. Но она уже сейчас открыта тебе. А ты не можешь понять. Защити меня. Слышишь? Не уходи, если можешь.

Стой. Что же ты хочешь? Чтобы я полюбил эту нашу судьбу? Чтобы я согласился? Нет, не с Бобровым сегодня мой поединок – с тобой. Ты пойми. Ты сам приносишь в жертву себя. Кому? Зачем? Какому-то бизнесу? Так ты называешь реальность? Будь она проклята! Сейчас созревает великое страшное знание. Прокляты будут все, кто старается это знание утопить. Будьте свободны, но не приносите человеческих жертв. Ты погибнешь не оттого, что изменится жизнь, а потому что уже сейчас ты служишь гибельной силе. Слова мои не доходят. И не дойдут. Нужно одно, единое слово. Только оно пробьет эту грань, этот положенный человеку предел. Бобров скажет сегодня: заклинания ваши знакомы. Так было со мной. И еще с одним человеком. И с миллионами тех, кто посрамил библейского Авраама. Но ваш сын еще улыбается. А мои оба...

Подожди. Подожди. Будет не так. Или так, но я сумею ответить. Вот самое страшное, что предстоит. Я скажу ему. А что ужаснее? Свершение или ожидание того, что должно совершиться. Да, вы ждали развязки. Но для вас она уже наступила. А для меня еще нет. И для многих, кто сейчас видит и слушает нас. Они ждут. А развязка не наступает. Вот они и есть то, что вы назвали народом, а я называю самостояньем распада. Будем точны, философ. Мы отцы своих сыновей. Никакого народа нет. Что ж? Ожидайте конца. Предпочитайте нирвану. Мой сын против всплытия Атлантиды. Он, еще живой, против. Понимаете? Чувствую – нас никто не услышит. Притворное

непонимание. Вижу насквозь. И тут философ заплачет. Во всяком случае улыбнуться мне в ответ он не посмеет. И вот самое жуткое – то, что Павел прервет наш разговор. Молчанием. Отсутствием. Бессловной мольбой о спасении.

Ну, конечно, я говорю вслух, я кричу, махаю руками. Кто имеет уши вблизи, уже услышал меня. И даже Бобров. На расстоянии – в своем кабинете. Клиника. Нам подадут карету. Прервут передачу. Словесно. С той гнусной усмешкой. Она сейчас на лицах всех говорящих. И даже у тех, кто посылает ей последний привет. Немая страна. Ладно. Как обычно, выговорился вместо молитвы. А в жизни будет все по-иному. Надеюсь. Чувствую. Предсказываю – так и будет. Не знаю как. Я подготовился. Больше не надо. Чем хуже при подготовке, тем лучше, когда настанет момент. Лекция ныне – о Германе Гессе. Кнехт, Фамулус, Даса. Вы служили, потому что было кому послужить. А если некому? Даже Слову. Моему божеству. Испытанье – замена. Да, испытай все, что ты создал сегодня утром. Не подходи к телефону.

Завтрак. Павел уходит на лекцию. Катя – в Русский музей. Обычно оба они уходят вместе. А иногда мы втроем. По моему расписанию. Сегодня у меня еще свободны утром четыре часа. Пока сидим. Кушаем наскоро приготовленную вкусную пшеничную кашу с оливковым маслом. Привезено из Италии – после нашего путешествия. Мы поехали трое. Неужели это было в последний раз. Ловлю на лице сына выражение – след событий минувшей ночи. Никаких событий. Все крепко спали. Один отец по-прежнему что-то скрывает. Молчит и поминутно заглядывает сыну в глаза. Ничего не снилось? Катя напоминает. Рим. Капитолий. На холме нет никого. Я одна и чего-то жду. А ты где-то в России. Далеко от меня. Павел один бродит по Риму. Сейчас придет и поднимется к статуе Марка Аврелия. А ты как будто уже здесь побывал и быстро уехал. Так вот мы разбрелись по миру. Павлуша, где ты бродил?

Я бродил по коридору во сне. Один в темноте коридора. Сквозь щель под папиной дверью электрический свет. Брожу и знаю, что сплю. И мне хорошо. Мама рядом. Отец работает. Что может быть лучше? Такие сны мне часто снятся под утро. Я не устаю от таких сновидений. Обычное забытие и покой. Но сегодня болит голова, и я как будто не выспался. А было так хорошо. А ты не заглядывал ко мне в кабинет? А ты ни о чем не просил? Что? А о чем я мог спрашивать или просить? Во сне все было хорошо и спокойно. А наяву? Папа, ты что-то знаешь? Скажи. По-моему, я вполне здоров и вижу нормальные сны. И все, что наяву, помню отлично. Ты что-нибудь видел, отец? Что с тобой? Не волнуйся, Павлуша. Я тоже здоров. Но ты меня своими ответами ставишь в трудное положение. Получается, я еще не очень готов к вечерней дискуссии. А мне казалось, я вполне подготовлен. Катя? Да, я готов.

Летом в Риме пока еще мы не разбредались. Я готов сегодня вечером говорить, но не имею права сказать. Ожидание замедлилось. Погружение продолжается. Павлуша, Бобров тебе ничего не говорил о погружении

Атлантиды? Ты ведь знаешь, Бобров сегодня тоже участник дискуссии. Как? Ты не знал? Вот я сообщаю тебе. А ты знала и ничего не напомнила мне? Можешь представить – я догадался под утро. Когда мой рабочий день вроде бы кончился. Каша вкусная. Можно еще? Маленькую добавку. Золотая. С оливковым маслом. Полезно. Я ничего не скрываю. Пока надо молчать. Не пришел час говорить откровенно. Как было ночью сегодня. Да, было. И не во сне. Было в реальности, как ты говоришь. Не допущу иных откровений. Предел. На сегодня довольно. Вспоминайте. Очень боюсь. Но торопиться не будем. Вот уже ты вновь мне улыбнулся. Объясни. Архаическая улыбка – большая редкость.

Катя? Что ты скажешь на это? Ладно. Молчим. Не припело время. А так – все в вашей памяти. Что? Почему я побледнел? Не может быть. В кухне еще не повешены шторы. Нет. И в самом деле, мне становится плохо. Обычное. Справлюсь. Не беспокойтесь. Идите. Кофе остыл. Ничего. Осталось четыре часа. Придумаю помаленьку. Даса. Фамулус. Кнехт. По-русски – слуга современного гуру. Которого нет. Причем здесь мансийский поэт? А, он прислал свою новую книгу. Ту, где мое предисловие. Ту, где он ссылается на меня. Вероучитель. Шаман. Катя? Неужели ты прочитала? Раньше меня? Павлу не интересно? Ты считаешь? Да, это великий шаман. Вот у кого настоящее слово. Но он признает и за мной право на такую же проповедь. Преувеличивает. Гуру? Стой. Это я говорю вслух себе самому. Привыкли? Не пугаетесь больше? Стой. Стой. И все-таки я ничего не скрываю.

Павел встает из-за стола. Какой он стройный, высокий. Он не будет сутулиться. И плечи его за эту ночь, кажется, стали пошире. Архаическая улыбка. Улыбка страдания. Прекрати, останови слово свое. Я никогда не был таким, как Павел. Но до чего же он похож на меня? Как отражение во временном зеркале, когда оно возвращает сказанное когда-то. Зеркало колеблется и растворяется в воздухе. Катя, ты утром подошла к телефону. А я себе запретил. Ты подошла. Кто звонил? Не имеет значения? Или это был он? Ты с ним говорила? Что ж? Я догадался. Или это звонил мансийский поэт. Но тогда бы ты позвала меня к телефону. О чем был разговор? Тайна? Пусть остается тайной. Мы увидимся – на дискуссии. Прямой эфир. Но я прошу вас. Вы не смотрите. Пока не вспомните о том, что случилось ночью сегодня. Павлуша обнимает меня. Катя бежит в Русский музей.



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## ЛЮБОВЬ

## 1.

Запасник. Знакомые картины. Жалко авторов. Их уж нет. Экспозиции – однодневки. Больно, когда запасник – музей шедевров. Кое-что из шедевров есть у нас дома. Сабуров старший ушел из жизни уже полвека назад. Здесь его крестьянки начала той ушедшей эпохи. А вот его самый лучший этюд. Я не говорила Сергею, что именно этот этюд – самый лучший. Он считает иначе. Лучший – тот, что висит у него в кабинете. Надо сказать. А то остается какая-то вроде бы тайна. Лучших этюдов у Сабурова нет. Все они лучшие. Просто мне кажется. Всегда забегу в отдел – посмотрю. Но это важно. Там дерево, расщепленное молнией. А здесь, в отделе, изба на взгорке холма. К ней вьется дорожка. А за ней – ничего. Изба с самого края.

Мы не спорим с Сергеем. Он разведет руками, узнав, что я молюсь на эту избу. Почему-то боюсь, как бы она не сгорела. В ней уже никто не живет. Зеленая тропа зарастает в густой высокой траве. Прохудилась крыша. Разрушен сарай. В общем, получается – плачь или молись. Я в душе и молюсь, и плачу. Скажешь Сергею – он заболит этой последней избой. Так было уже. Только с другим этюдом. Он снял со стены и спрятал его. Повесил расщепленный ствол. Острый желтый расщеп над поверженным деревом. И ослепительно изумрудная зелень вокруг. Николая Сабурова нет. Без него запасник осиротеет. А ведь здесь такие шедевры. Его учителя и коллеги. Знаменитые и забытые. Надо сказать Сергею. Пусть он болеет. А я буду молиться. Поплачу и помолюсь. Уже неизвестно – кому и чему. Он исключил молитву. Потому что молитва – оглядка на прошлое. А для него каждый миг рождается вновь.

Да, да. Здравствуйте. Папка писем. И здесь же воспоминание о Врубеле. И о Сабурове старшем. Как ни странно. Рука Сергея. Записанный им устный рассказ одной старой художницы. Он неплохо ее описал. Нет, не здесь. Это известная Смирнова-Иванова, жена автора «Стереоскопа». Она помнила Врубеля и рассказывала маме Сергея. А вот запись о неизвестной художнице. Она не была знакома с Врубелем, зато слышала юного Блока. И предрекала мальчику Сергею хорошее будущее. Да, это другой устный рассказ. Но записан той же рукой. Пойдите... Но как наша папка попала в архив? Я ее не приносила сюда. Наверно, еще тогда. При жизни матери. Почерк Сергея детский. Но все-таки он записал. Он тогда себя пробовал в прозе. Его поразило красивое напоминание старушки о том, как она помогла Николаю в отчаянную минуту и подарила ему серебряный рубль. Вот все – как было.

Не хочу разбирать бумаги, даже те, что в нашей папке. Старушка разбередила меня. Слышу ее тихий голос. На слух Сергею почудилось, что она придумала этот красивый рассказ. Молодой художник отчаялся. И она, тоже в те годы еще молодая, подарила ему рубль и взяла с него слово, что он не бросит искусство и, как станет мастером, они обязательно встретятся и он вернет ей этот серебряный рубль. Он стал известным художником. Но при его жизни они больше не виделись. И вот теперь, обиженная временем и эпохой, старая и никому не ведомая художница пришла к его вдове и к его сыну. Разумеется, тогдашний серебряный рубль куда-то пропал. Сергею отец его никогда не показывал. Но мальчик, слушая художницу, понял, что прежняя старушка любила его отца. Вот он прямо пишет об этом. Дай-ка перечитаю. Да, так и написано. Весь рассказ о любви.

Здравствуйте. Нет, я не плачу. Нет, ничего особенного. Папка попалась. А в ней рубль. Так, я шучу. Нет, я не плачу. Я молюсь неизвестно кому и чему. Папка о Врубеле, но есть в ней и еще кое-что. А молитва – не обращайтесь внимание... Старушка низенькая, маленькая, бедно одетая. В чем-то темном. Как будто в трауре. Говорит с улыбкой. Безнадежно и грустно. Ей больше некому рассказать. Мальчик плакал потом. Мама его утешала. А сама смотрела ревниво и горько. Я еще застала маму в живых. Помню ее взгляд. Как будто слышу ее утешения.

Крестьянка на зеленом фоне – это она. Мама Сергея. Потом она исчезает. Остаются чистые пейзажи. Но мама живет и в них. Особый способ. Не разгаданный до сих пор. Думать о ней и писать пейзажи. Душа его творчества пережила самого творца. А о той, когда-то молодой художнице Николае Сабуров забыл. Старушка не роптала. Она была по-своему счастлива. Я вижу, как она всматривалась в маленького Сережу. Говорила о мальчике Блоке, а сама пыталась поймать в детском лице черты Николая. И еще она чувствовала, что мальчик будет плакать о ней. А потом она умерла. И как будто бы с той же грустной улыбкой. Сережа был способен понять. Он поправил отца. И вот от этих листочков началось его настоящее творчество. Старушки его любили. Недаром. Смирнова-Иванова. Она тоже знала, что он запишет ее рассказ. Врубель был с детства близок Сереже. Но та, в черном, любила Сережиного отца.

И все-таки... Жить нам осталось уже недолго. Мама бессмертна. Она ему все больней и больней. Это ради нее он придумал теорию о том, что в творчестве главное – умение забывать. Способность забыть. То, что забыто, живет и согревает внезапно рожденное слово. Если ушедшие помнят себя, когда мы здесь говорим о них, мама Сергея не знает покоя. Состояние тяжелое, а может, счастливое. Он, чтобы ее успокоить, придумывает какой-то роман. А в романе я и Паша, а на самом деле – она. Мама оберегает его лучше меня. Вот я плачу, молюсь, а она приходит отсюда. Он все время усилием воли ее отсылает назад и ждет. А почему я вдруг подумала, что я моложе его? Странно. Я никогда не думала так. Нет, мы одногодки. Мы родились вместе. А потом оказалось, что я немного моложе. Это из-за Павла, которого я боюсь потерять. Сережу мама не потеряла.

Вот, наконец, понимаю, понимаю, кому я молюсь. Павлуша, ты слышал сегодня? Я ждала, что ты заглянешь, как всегда, поговорить перед сном. Отец хорошо чувствует, что происходит. Я видела, как он прощался с тобой. Невозможная, жуткая ночь. Я не спала и ждала. Вместо сына Сережа ко мне подходил, целовал в темноте мою руку. Целовал меня в лоб и в губы. А я все ждала и стала мысленно говорить. Не дождалась. Но он, Паша, все-таки мне отвечал. Я не плакала и не молилась. Что-то готовится. Я не могла разобрать шепот сына и только приятный звук машинки в том кабинете. Сергею тоже было невыносимо трудно сегодня. Он что-то еще задумал в романе. Как он не может понять, что любая мысль приближает развязку. Павел уходит. Уйдет и не вернется. Отец виноват. Но я понимаю. Он ничего не может сделать с собой. А мне кажется, что как только Павел уйдет, я тоже за ним. А мы не должны уходить.

Мы уйдем, если он не прекратит свой роман. Я хочу сказать, если он не бросит его писать. Как он сумеет? Вот мансийский поэт в своей новой книге сумел. Не надо Сергею давать эту книгу. Там его предисловие. Но Сережа писал вступление, а книга еще не была прочитана. И не надо вдумываться в нее. Там есть что-то страшное. Сергей с ним тоже ведет разговор. Пусть ведет, не читая. Оба они предчувствуют спасительную катастрофу. А тут еще этот Бобров. Нет, мне уже нельзя... Что будет, не знаю. Но кто-то берет и берет мои силы. А их уж нет. Павел сегодня перед лекцией не пошел меня провожать. Но он меня встретит в конце рабочего дня. На своем мерседесе. Повезет куда-то. Сережа просил не смотреть передачу. Надо забыть. Забыться. Павел. Павел. Он мне скажет, что он шептал ночью и что я не расслышала. Он что-то мне сообщит.

Дай-ка еще раз перечту про серебряный рубль. Нет, и папку разобрать не успела. Спасибо. Спасибо. Пусть еще полежит у меня на столе. Спасибо. Да, видите, я успокоилась. Глупости. Нет никакого рубля. Не верите. И правильно делаете. Он был и пропал. Давно. Давно. И об этом забыли. Все забыли. И это я обнаружила только сейчас. Прочитайте листочки. Рука Сабурова младшего. Как я узнала? Да, это детский почерк. Но я помню его хорошо. Ну, как? Прочитали? Вы бы заплакали, услышав этот рассказ? Женские слезы. А это о Врубеле. О том, что два нарцисса не могут ужиться вместе. Но Врубель не был нарциссом. Он все положил к ее ногам. Что? Об этом тоже можно заплакать. Два нарцисса. Не потому ли так страшны и тревожны все образы Врубеля? Сабуров спокоен? Ошибаетесь. Нет спокойных людей. И вот я тоже плачу или молюсь.

Не подходи к телефону. А я подошла. Что ж? Я виновата. Зачем придумала посылать мужа к нему? Зачем отпустила Павлушу? Ведь я согласилась? Нет, он все равно пошел бы утром вместо отца. Бобров тогда перепутал. А на самом деле не было никакой ошибки. Павел все равно решил бы заслонить отца от этого человека. Родители хороши. А я лучше всех. Теперь Бобров хочет со мной повидаться. Он сразу по телефону голос мой распознал. И сразу о сыне и обо мне. После того, как увидел сына, хочет

увидеть меня. И это после предупреждений Сергея. Он сам напомнил о том. Да, мне сказано было, что видеться нам не нужно. Что мы уже виделись, и я вас тогда не заметил. Простите тысячу раз. Простите... Сын ваш... Он попросил у меня на память кусок белого кварца. А потом муж ваш его мне возвратил. Надо поговорить.

Я ничего не ответила. Молчание – знак согласия. Наверно, он хочет увидеть мое лицо. После того, как увидел сына. О, я все хорошо понимаю. Сережа прав. Но уже ничего остановить невозможно. Тут что-то, перед чем слово бессильно. Нет, не это. Я могу самой себе объяснить. Все очень просто. И страшно. Откуда я знаю? Тайное становится явным. И я сама думаю только о том. Ведь он потерял двух сыновей и свою еще совсем молодую жену. Павлуша напомнил ему погибших. Особенно одного. Младшего. Теперь он хочет увидеть меня. Только увидеть. Только посмотреть мне в лицо. Только взглянуть... Я понимаю его состояние. Об этом не пишут в романах. Один Сережа сумел бы. Он что-то задумал. А женщина знает все о романах и жизни. Тут небывалый узел в сплетении судеб. Тут разгадка его и нашей страшной судьбы.

Я ничего не ответила. Я боюсь, он придет. Прямо сюда. Искусствовед и философ... На тему о древней архаике. О погружении Атлантиды. О нирване, которую предпочитает народ. А на самом деле ему важно взглядеться в меня. Как та старушка вглядывалась в Сережу. Но ведь я в его лице ничего не увижу. А почему я так слушала его странный доклад. И сегодня. Его узнаваемый голос по телефону. То же самое состояние. Мы старики. Мы уходим. Но мы страдаем все больше и больше. Я немного моложе. Я не чувствую лет. Что же, он хочет видеть меня, видеть сына, видеть мужа. Видеть и только. Пятнадцать страшных лет никуда не уходят из жизни его. Но до сих пор он слышал отсутствие тех, без кого он не может жить. Отсутствие. И как будто они где-то есть. Где-то рядом. И вдруг оказывается – их можно встретить. Увидеть. И понять, что они есть и никуда не ушли.

Но ведь мы и в самом деле не ушли никуда. Нет, нам нельзя встречаться. Мы еще здесь. Мы будем. Паша придет за мной. В конце рабочего дня. И все-таки что он шептал мне в два часа ночи?.. Когда я не спала и ждала, и знала, что он не придет. И вместо него заглянул Сережа. Спасибо ему. А Павел шептал. Что он шептал? У него своя молодая жизнь. Он что-то скрыл от меня? Что-то еще не сказал? Конечно, я не такая наивная, чтобы думать, что он все мне говорит. Но вот – вспоминаю. Шепот среди белого дня. Да, я услышала. Правильно. Так он шептал. Не повторю ни слова. Да, обещаю тебе. Тайна. Нет, никому не скажу. И себе... Шепот останется шепотом. Господи. Я уже сама начинаю вслух говорить. Могут услышать. Не надо. Услышали. Еще бы. В голос. Лучше молиться и плакать. Лучше уйти. Куда? Только бы он не приехал. Бобров. Паша. Скорей. Вот лекция кончилась. Брось дела. Я разгадала твой шепот.

Любовь – это когда все полюбили тебя. А ты бежишь к сыну и почему-то не знаешь, где он. А я уже два года не знаю. Но все равно я счастлива,

счастлива. Только бы тот не приехал. Только бы хоть кто-то один понял меня. И только бы это был он. Сергей далеко. Лекция получилась. Мобильный? Сережа не любит мобильных. Сколько раз ему говорила. Не слушает. Отключаю. Простите. Больше не будет звонить. Вы правы. Я сегодня совсем не работаю. Что вам? Еще раз перечитать воспоминания о Врубеле? Или что-то еще, что есть в этой папке? Почитайте. Один на один. А о старушке я потом расскажу. Пойду посмотреть в запаснике. Лучший этюд Сабурова. Знаете? Этюд пророческий. Он что-то предсказывает. Пойду. Не говорите, где я. Два нарцисса не уживаются. Вот Забелла и Врубель. Но Врубель не был нарциссом. Он все положил к ее ногам. А Николай потерял серебряный рубль.

## 2.

Паша, где твой мерседес? Обгони. Опереди. Сорви нашу встречу с ним. Ты понимаешь. Не жди конца рабочего дня. Молитва моя не состоялась. Лучшего этюда в запаснике нет. Он, оказывается, в экспозиции за рубежом. Я ведь сама его туда оформляла. Теперь поехать бы с тобою прямо туда. И там помолиться. Пойми на расстоянии. Защити себя и меня. Ему нужно для вечерней дискуссии. А потом он вмешается в нашу жизнь. Нет, не вмешается, а уподобит своей судьбе нашу судьбу. Все эгоисты. Философы тоже. У них свой, философический эгоизм. А я... Чем больше думаю, тем больше его понимаю. И вот, кажется, уже убежать никуда не могу. Все опоздали. С ним случились несчастья. Одно за другим. И как будто одно. Ты и есть это одно.

Я не хочу видеть несчастного человека. И все равно вижу его. Он с каждой секундой все ближе и ближе. Мой телефон молчит. Отключен. Как же ты хочешь, чтобы Паша приехал? Как он узнает, что нужно спешить, обгонять и опережать? Вот уже ты не в запаснике, а в залах музея. Идешь и боишься взглянуть в лица тех, кто вокруг. Везде чудится он. Хоть ты его тогда разглядеть не успела. Пугает меня этот приглушенный шум голосов. Вот кто-то остановит меня. И раздастся его теперь уже узнаваемый голос. Узнаю. Слушала тогда и по нашему телефону. Кому и как молиться, если все люди страшны. Паша не понимает и не найдет меня в этих залах. А как же философ найдет? Он ведь еще не видел пока лица моего. А если и видел тогда, не запомнил. Интуитивно. Я уверена. Сумеет найти. Узнает. Безошибочно. Точно. И неотвратимо. А тот, кто мог бы узнать, не ищет меня и ничего не может понять. Паша, приди, появись.

Врубель. Опять Врубель и его напряженные лица. Вот он, со своей бородкой, уже меня распознал. Те, кого нет, возвращаются. Вот он стоит рядом перед своим шестикрылым. Оглядывается, увидел меня и приглашает взглядом к себе. Раньше было бы счастье. А сейчас это лишнее и что-то чужое. Подхожу. Да, это Врубель. Но он уже отвлекся и позабыл про меня. Или нет. Он вспомнил своего сына в коляске. Заячья губка и те же, но совсем

другие глаза. Боже мой, глаза моего сына. Помню. Совпадение страшное. Врубель вдруг неожиданно повернулся ко мне. Посмотри в толпу. Отойди. Ноги приросли. Отвожу глаза. Из последних сил. Ну, слава богу. Встреча не состоялась. Врубель подождал, подождал и скрылся в толпе. Кто-то проталкивается ко мне. Кто-то быстро берет меня за руку. Паша! Какое счастье. Ты, наконец. Ты, мой родной, догадался. Ты меня отыскал. Ты мой серафим.

Обморок. Что-то вроде. Припадок эпилепсии. Но я здорова. Просто глаза чернее, пронзительнее, чем у шестикрылого и того, кто ушел и смешался с толпой. Он рядом стоял, Паша. Ты спас меня от него. Но ты сам не смотри так. Все хорошо. Все в порядке. Что? Ты увозишь меня. Куда? На ферму? К себе? А ты знаешь, коровьи глаза пострашней человеческих. Пострашней, чем у Пана его голубые глаза. Я говорю понятно? Вполне. Вот снова обморок. Держи. Не отпускай. Спина уходящего бога. Кто-то еще Гамсуна любит, как ты. Любит или когда-то любил. Подведи меня к бархатной красной скамье. Почему ты стоишь и не садишься рядом со мной? Может быть, ты кого-то еще ожидаешь, кого-то еще глазами ищешь в толпе? Да, увези, увези меня поскорее. Ферма теплой, безопасней. Ты спасаешь меня и отца.

Мы сидим. Я не могу подняться. Мне хорошо. Рядом с тобой молюсь моему божеству. Мой бог не такой, как у отца твоего. А твой? Поговорим с тобой где-нибудь в тишине. Только не дома. Там другая религия. Ты считаешь себя свободным от вер, надежд и молитв. Ты почему не пришел ко мне перед сном? Я ждала. Я не могла уснуть. Папа пришел, поцеловал меня и удалился в мир своих неожиданных слов. Он и к тебе заглядывал. Помнишь? Почему ты не пришел? Мы думаем об одном и расходимся. И живем в разных мирах. А тут еще ферма и этот Бобров. Удивляешься? Он может сейчас подойти, выглянуть из толпы. Кто кого защитит? Паша, не отвечай ничего. Не думай. Не слушай. И не спеши меня увозить. Маме страшно везде. И, может быть, страшней всего на ферме твоей. А ты что-то хотел мне сообщить. То, что у тебя будет жена, или то, что в романе отца ты станешь правителем.

Мы странные люди. Вы оба, сын и отец, не хотите послушать меня. Ты прав, но ведь и отец тоже прав. Он предвидит последствия, итоги того, что происходит сейчас. А тебя разрывает на части вся твоя молодая современная жизнь. Ты кого-то ждешь? Ты случайно увидел меня? Ты с кем-то условился? Подожди. Правитель? Конспиративная встреча? С мамой? Или с ней? Или с кем-то другим? Ты молчишь? Или опять что-то шепчешь? Не отвечай... Да, я знаю, что я не помешаю тебе. В любом случае. Не помешаю. Отец говорит о том, что мы все погружаемся. Тонет в незримых волнах питерская Атлантида. Ферма – окраина Питера. Тоже тонет. И вся Россия. Тонет или горит. Правитель. Время твое пока еще не пришло. Ты смеешься как-то невесело. А я... Так боюсь тебя потерять. Сразу все вместе. Так нельзя. Ты не выдержишь. Ты видишь? Люди обречены. Ты спасешься. Или...

Она подходит. Садится рядом с тобой. Ты между нами. Так я и знала. Горькая участь матери. Нет, я счастлива. Только что говорила себе. Я сижу и

не вижу, кто она. Молчу. Не спрашиваю. Может быть, ошибаюсь. Надо хотя бы увидеть ее лицо. Ты крепко сжимаешь мне руку. Вот она встала. Ушла. Это была она? Я ничего не придумала. Ты остался. Ты смеешься. Правитель. Я тоже смеюсь. Ну, объясни. Что ты шептал? Я тоже тебе объясню. Молчанием и слезами. Правильно. Ты не обременяй себя тоской по тому, что уходит. Мы отплываем на остров Цитеру. Атлантида всплывает. И ты будешь правителем. И уже сейчас наша первая конспиративная встреча. Остров Цитера – то, что всплывет. Ватто или Врубель? То и другое? Ты не побежал за нею. Значит, это была не она. Я ошиблась. Первый раз в жизни. Но ты понимаешь мое состояние. Ты остался. Ты меня разыскал. Все-таки Врубель. Место свидания.

Павел говорит, говорит. Не то, что нужно. Подымаю глаза и хорошо вижу профиль его. Да, именно тот. Лучше любого другого. Такой был у отца. У Сережи. Точно такой. Почему ты не то говоришь? Какие финансы? Какие съезды фермеров? Ты молодой и не хочешь понять, что это все виртуально. Что? Рядом с церковью? А еще дом престарелых в том же приходе? Прекрасная ферма. Современный остров Цитера. Остров спасения. Православные праздники? Чистота и порядок. Огорожена территория. Добрый милый священник. Молодой. С черной бородкой. Так легко все это устроить и править. Но почему ты искал меня именно в зале Врубеля. Там, где он только что был и вдруг затерялся в толпе? Был и стоял у своего «Шестикрылого серафима». На остров Цитеру всплывет этот зал. Не слушай. Болтаю глупости. Я болтаю. А ты говоришь что-то разумное. Нет, не поедем. Сил моих нет.

Вот, наконец, предчувствую. Мое состояние молитвы. Здесь. Вместо храма. Среди шумной толпы. На скамье. Сын жертвует ради меня. Свиданием и временем. Честно говоря, все, что мне нужно. Пока Сережа там, вдалеке. Сейчас он с редактором. Правит корректуру Державина. У себя в кабинете. Молодая редакторша. Похожа на ту, что села рядом с тобой. Лицо ее не могу запомнить. Оно безразлично – это лицо. Молось. И что-то мне ласково подсказывает, что я молось преждевременно. И вообще что-то другое. Молитва такой не бывает. Кто-то другой молится так. Там, в моем собственном небытии. А здесь – мой серафим. Здесь мой храм. Здесь безумие невозможно. Здесь только любовь. Сын понимает и молится вместе со мною. Как хорошо. Победила наша молитва. Мы сумели вдвоем вернуться оттуда. Из того нашего небытия. Сын мой вернулся. Радуйся мгновению счастья.

Дома нельзя. Только здесь. В эти часы. Вот мы приходим в себя. Сколько времени мы сидели? Такое впервые. Молитва унесла меня и его на такую заоблачную высоту, где мы совсем иначе знаем друг друга. При желании можем увидеть предметы. Совсем иные. Но мы не хотим. Я не хочу и знаю – он тоже не хочет. Иные предметы. Их нет. И не нужно. Посматриваю. Сбоку – его шестикрылый. А рядом – без меча и без крыльев он. Мой заступник и ангел. Какие глаза. Повернись в профиль. Узнаю. Вот – кончается. Ты снова что-то увидел. Та, что ушла, не придет. Как все просто решилось. Без единого

слова. Она решила сама. Опять ошибаюсь. Второй раз. Ты остался. Но вот с другого боку, чувствую, кто-то стоит. Все ходят, смотрят картины Врубеля. А он – надо мной. Та же бородка и тот же черный пронзительный взгляд. Нет никакой бородки. Стоит. Кто? Неужели Бобров?

Нет, я тогда рассмотрела его хорошо. Вблизи он такой же. Стоит, и ни слова. Только зеницы открыты. Их я тогда из большого зала не могла разглядеть. Он искал меня. Видит Павла. Узнает. Рядом, конечно, я. Догадаться нетрудно. Стоит, чтобы лучше видеть и его, и меня. Павел должен встать, но он сидит рядом со мной. Понимает. Наконец-то он увидел обоих нас вместе. А мы продолжаем сидеть. Сейчас лучше всего не подымать головы и не встречать его взгляд. Здесь граница. Он ее переступает легко. Подыму голову, и случится непоправимое. Как его оттолкнуть. Он не уйдет. Он спасается нами. То, что пятнадцать лет чудилось по ночам, совершилось тут наяву. Но не только с ним одним, с нами тоже... это произошло. Нет, произойдет, если я одна подыму свою голову. А это значит... Паша. Не смотри.

Зал шумит. Мы сидим. Он не уходит. Вот мы уже в его власти. Не важно, что я не взглянула. Мы ему даем смотреть на себя. Он видит погибших и узнает их все больше и больше. Я не хочу, чтобы сын мой напоминал его погибшего сына. Паша становится тем, кого видит Бобров. А я... той самой... Господи. Убереги меня от этой встречи с собою и с ним. Я не хочу. Я живая. Сережа. Еще немного, и все будет кончено. Я буду уже другая. И Паша будет другой. Где-то, когда-то все уже совершилось. Но почему сейчас, вот здесь то же – со мною и с сыном моим. Ты, шестикрылый. Рассеки мечом то, что спутало нас. Лицо дрогнуло. Черты двинулись. Глаза оживают. Сейчас прозвучит какое-то слово. И остановится время. Но вот самое страшное. Чувствую, будет невыносимая боль. Паша не выдержит. А я выдержу и не захочу, чтобы это случилось. Шестикрылый бессилен. Он только и смог нанести свой удар.

Продолжается. И я не заметила, как эта граница жизни и смерти между нами растаяла. Боль его стала моей. Паша встает. Правитель. Он сейчас меня уведет. Он может. Он сильнее. Он погиб, но он продолжает править моей материнской судьбой. В нем проснулся отец. О, этот профиль. Павел сильнее отца. Он погиб и вернулся. А мы уйдем и не возвратимся уже никогда. Но пусть Павел меня уведет. Я готова не возвращаться. И тут вдруг снова спасительный обморок. Сын держит меня. Я это знаю. Но не чувствую. Точно. Потеряла сознание. Буквально. Хорошее сочетание слов. Потеряла сознание. Но точно знаю – сын мой держит меня. Держит и уведит куда-то. А тот стоит и смотрит на бархатную скамью. Где нас уже нет. И приходит в себя. И возвращает себе свою прежнюю боль. Нет, что-то в ней изменилось. К нему приближается Врубель. Тот, кто затерялся в толпе. Это я тоже знаю. И не чувствую.

Какой он сильный. Мой Паша. Теперь мы посвящены в новую жизнь. Как только я тоже сделаю шаг. И ко мне возвратится новая боль. Почему-то руки



сына ее не снимают. И не облегчают ее. Но я продолжаю идти. Только бы не сидеть. И только бы выйти отсюда. Но мы идем, а выхода нет. Все те же залы. Все то же. Люди. Рамы. Картины. Приглушенный шум голосов. Но страшнее всего – нет ожидания. Я не жду и не вглядываюсь в людей. Вроде бы облегчение. И какое счастье. Сын уводит. Но я вдруг теряю ощущение, что он держит меня. Ощущение – это обман сознания. А сознание потеряно. Если помню об этом, значит оно еще есть. Он стоит, и сам Врубель беседует с ним. Вот сейчас он его разбудит и вернет к современности. Да, шестикрылый современнее всего, что случится на свете. Бобров не отвечает ему. Он уже понял, кто перед ним. Он видел нас. Он счастлив. А я...

Правитель. Паша. Ты ослеп? Где твои сильные руки? Выхода нет. Вокруг те же самые залы. Было. Было. А вот и тот единственный зал. Мы снова рядом. Близко. Мы видим их. Лицо шестикрылого движется. Жаровня поколебалась. Колорит изменился. Он отвлекает меня. Паша не останавливается. Долго мы будем ходить по кругу и видеть одно и то же? Паша, не надо. Я счастлива. Произнеси какое-то слово. То, что ищет отец и поручает сыну сказать. Он тебе поручил, ты и скажи. Ты говоришь, но мама не слышит. Слово не разобрать. Вот мы вновь сидим. Кто оберегает меня? Кто повторяет много, много ненужных и верных слов? Кто? А тогда... А ты тогда так же ее уводил и не мог увести? Никому не рассказывай, как это было. Мы сидим на той же скамье. Паша рассказывает. Бобров продолжает стоять. Видит нас. Но как будто не узнает. Вдруг поворачивается и уходит. А Врубеля нет.

### 3.

Папка разобрана. Осталось немного времени до конца присутствия. Павел уже не заедет за мной. Мерседес не нужен. Я пешком пойду от павильона Бенуа – на Васильевский остров. Домой. Теперь я одна. Как вчера Бобров – после доклада. Он сидел в Летнем саду, а я посижу в уголке Соловьевского сквера. Я устала. А сын мой легко меня отпустил. Он почувствовал – встреча произошла. Бобров увидел меня и вернулся к себе. Что он переживает – Павлу не интересно. Я понимаю. Мне открыто предсмертное состояние Врубеля. И теперь всегда будет открыто. Но я почему-то сижу в углу сада, перед чугунной решеткой, за которой вдали набережная сфинксов, а справа – моя Академия. Видно, как по тротуару проходят незнакомые люди. Никто не обернется и не заметит меня.

Здесь давно-давно, после двух лет разлуки, нашел меня Сережа. Я сидела одна и никого не ждала. Я смирилась тогда с тем, что уже ничего не случится. Душа забыла обиду и боль. И вдруг он появился. Увидел меня сквозь решетку, вернулся, вошел в сад. И началась моя жизнь. А потом родился Паша. И больше я уже не хотела никаких перемен. Занималась искусством. Писала статьи. Даже сочинила две книги. О Сабурове старшем. И не потому, что младший стал моим единственным на всю мою жизнь. Люблю мир его

отца. Но теперь младший Сабуров еще больше мой муж. Сейчас я его ожидаю. И возобновилось, родилось то самое чувство, когда он подошел и сел рядом со мной. Осторожно. Рядом, и все же – на расстоянии. Тоненький. Сейчас на себя не похожий. Но я по-прежнему узнаю только его молодость. Ее вижу, а старость люблю.

Нет, он не появится. Он ждет меня дома. Редакторша ушла. Почему я до сих пор не вернулась? Он все чувствует. А я уже сорок лет не сидела на этой скамье. Сорок лет. Смешно. Буду сидеть, пока он не вспомнит. Все-все. И нашу разлуку. И то, что болело тогда в моей спокойной душе. Я понимаю людей, кто переживает сильно и горько. Сегодня спокойствие мое куда-то ушло. Можно всю жизнь прожить в состоянии видимого покоя. И ничего-ничего не желать – помимо того, что уже есть. И вдруг что-то случается. Вот как сейчас. И позавчера. Тогда началось. А сегодня – случилось. Мне трудно. А он – что? Неужели Сережа не догадается? Конечно. Ведь прошло много лет. Невообразимая боль и тревога. Там. А здесь я – одна.

Любовь – долгое переживание. Женщина думает. У нее больше времени – при всей каторге нашей судьбы. Каторга добровольна. Значит, мыслей много. Их никто не записывает и не пытается выразить. Пожалуй, один только Врубель и мой любимый Ватто. Один от раздумий сошел с ума, а второй удержался. Только мы в состоянии владеть собой и уберечь себя. Наши раздумья – нирвана и не погружают в безумие. Что же я поняла? То, что я обречена помогать – художнику и писателю. В их искусстве и в слове. Помочь. Благословить и одобрить все, что сотворено. Все – и хорошее и плохое, и шедевры и неудачи. Нет, если мы начинаем любить, то любовь уже есть. Никому не понятно. Мысли – добровольные жертвы. Хорошие мысли.

Вспоминаю, перебираю их, как листы написанных книг. Они есть и пускай остаются. Один Павел умеет им отвечать. Уже много лет. А раньше он ничего не мог разгадывать, а только чувствовал их. Мне было спокойно. Он все принимал. А потом стал смотреть своим взрослым взглядом. У Сережи такого не было никогда. Вот почему я люблю их по-разному. И мысли не совпадают. Оставь. Посмотри вокруг. Люди красивы. Никто не оглянется. Чугунная решетка отделяет их от меня. Проходят медленно. Вечерет. Соловьевский сад в глубокой тени от здания Академии. А тот берег Невы горит красным золотом. За Невой сплошная багровая полоса. Я не различаю далеких фасадов и окон. Я люблю значительно больше, чем думаю. Вечер Сережиной жизни.

Павел ушел от меня. Куда? В свое одиночество? Я внезапно подумала и поняла. Я люблю, а он отодвинул это особое чувство. Как они сейчас называют его? Другое, не похожее на мое. Расстался. И где он сейчас? Расстался, когда был рядом со мной. Ради меня. Ради того, чтобы мне было хорошо и не одиноко. Чтобы я могла в прежнем саду сидеть и думать по-прежнему. Одна. А ему тоже нужно подумать. Правитель. Он, слава богу, еще не понял, кто он такой. Плачу. Паша не понял. Он отдалается. И теперь у него будет бессонная ночь. Он все равно вернется домой. Какая сила воли. Только

не надо трогать и беспокоить. Однако... вот он за чугунной решеткой. Остановился. Возвращается. Входит в сад.

Сейчас, по-моему, я обогнала мыслью и мужа, и сына. Я почувствовала, наконец, как это станет, когда они совсем уйдут от меня. Как, в каком одиночестве они вынуждены от меня уходить. Сережа – насыщенный днями. А Паша – внезапно. В последнюю минуту он благословит свой внезапный уход. Я поняла сейчас, что оба конца – это один и тот же миг пересоздания, когда ты вдруг оказался невообразимо больше себя самого. Как просто. И как ужасно после такого открытия вновь вернуться к себе самому. Это не мои мысли. Это он, Бобров. Мне ведь мгновениями знакомо, как думает он. И что чувствует. И что с ним. Господи. А ведь именно этого я и боялась. Мой сын вовремя подходит ко мне. Вот подойдет. Он опять спасает меня. А я? Скорей. Скорей. Помоги изгнать из души... из памяти, из воображения. Это не шутка.

Нет, не удастся. Паша рядом. А я по-прежнему... Вот сейчас кончится. Паша, если б ты знал. Ты мог бы прогнать, или оно само уйдет, когда кончится проклятый миг ясновидения. А я не могу тебе рассказать. Мать не может. Потому и ты не сумеешь ответить. Не дай бог догадаешься. Нет, мама посильнее всего на свете. Недаром она знает заранее то, что никому не положено знать. Но пока не спрашивай. А мы так не привыкли. Что остается? Это и есть новая жизнь? Пронзительный взгляд его как будто бы отдалится. Как будто не верит. И я не могу удержаться. Посмеемся вместе над этими философскими бреднями? Чужими? Нет? Еще немного, и ты поймешь. Ты всегда понимаешь больше, чем я. Вот почему я боюсь твоих глаз. Кажется, это произошло. Это случилось.

Паша радуется открытию. Он еще не понял, в сознание вмешался Бобров. Сыну моему все равно. Без возраста. И без комментариев. Он успокаивает. Я не должна бояться ничего, даже самого страшного. Ты думаешь – такое возможно. Ты понимаешь, о чем говоришь? Еще бы! Подожди. Отвлечемся. Вернемся. Вот Соловьевский сад. Решетка. Люди за ней. Тот золотой берег Невы догорает. Он уже темно-красный. Он погаснет. Будет синяя полоса. Отец ждет. Мы ему скажем? Уж если сын разгадал... Отец одним только словом оторвет и отодвинет нас друг от друга. Художник. Жизнь вернется и сумеет себя защитить. Но любовь сильнее. Молчи. Молчи.

Нет ничего более жуткого, чем возвращение в детство. Это возможно. В один миг становишься меньше себя самого. Но ты знаешь, что это мгновенная вспышка. И надо быстро, пока не поздно, осмотреть все, что сумеешь увидеть. Паша, мама твоя сошла с ума, но ты слушаешь добровольно, пока мы почему-то, вместо того чтобы выйти из сада, сворачиваем к фонтану и дальше – к обелиску Румянцева. Ты меня ведешь – тут, вокруг обелиска, остается твое самое любимое воспоминание, о котором ты никогда не рассказывал мне. Что? Первая тайна? А у меня от тебя никаких тайн. А ты не можешь, не умеешь сказать. Мало того. Уже сейчас ясно. Ты человек, никогда не порывающий с настоящим. Что-то повело тебя к этим ступеням и гранитному цоколю.

Что повело? Первая тайна правителя? Так? Можешь не признаваться. Но я ведь, кажется, раньше в наши минуты не употребляла такое страшное слово. Оно от отца. Его не пропустишь. И вдруг сорвалось. А ты не заметил. Как будто слышал его много раз. Правитель. Правитель. Зачем я его повторяю? Ты догадался. Наконец, догадался. Тут, и в самом деле, нужен был обелиск. Ты к нему свернул или ко мне? Ты опять случайно увидел меня, подошел, сел рядом, чтобы встать и увести меня к обелиску. Здесь все ясно. Здесь мы играли в прятки – бегали вокруг широкого и высокого цоколя и неожиданно, держась за холодный гранит, заглядывая за угол, искали и ловили друг друга, а над нами уходил высоко в небо ствол обелиска, а на нем золотой орел. Твое любимое место. Мы играли. И тогда ты смеялся. Я слышу.

Да, я слышу твой детский смех. Ты уже в пять лет взглядывал на меня умными детскими глазками. Я никак не могла тебя поймать за гранитом. За каким углом ты притаился? Куда умно и расчетливо повернул? А я всегда попадалась. Однажды решила, уже не в шутку, выследить твой умысел и точно свернуть за тот угол цоколя, где ты затаил дыхание. А взгляд мой скользил вверх, к золотому орлу. Я замирала и выжидала. Но ты не поддавался. И так и остался неуловимым. Здесь твоя тайна? Скажи, наконец. Темно. Теперь уже мы другие. Но мы играем. Стою. Замираю. Выжидаю. Ловлю. Нас никто не увидит. Вот самое непоправимое за сегодняшний вечер. Ты увлек меня в свое детство. А ум твой не изменился. Он прежний. Где ты? Или я одна обнимаю цоколь? Где ты? Где? Ты есть или нет? Я сошла с ума? Или ты – по-прежнему за гранитным углом?

На какой-то миг я одна без тебя. И я замираю по-новому. Я, безумная. Прижавшись к серому, темному гранитному цоколю. Найди меня. Выйди оттуда. Но ты выдерживаешь. И вот я начинаю кричать. От страха. Особенность цоколя – он скрывает звук. И правый и левый углы безответны. Между нами толща гранита. И я сползаю, сажусь на ступени и плачу. Ты не выходишь. Надо встать и уйти. Но я не могу. Проходит время. Недолго. Но кажется – бесконечно. Вот встану. Не могу отойти. Больно. Холодный камень держит мою ладонь. Отрываю. Чуть не падаю, сходя по ступеням. Шатаясь, иду мимо фонтана. Ты мне навстречу. Значит, все же тебя не было там? И ты спрятался где-то в саду? Вот и все, что прибавили годы. А в остальном – как было тогда. Взрослый ум и беспощадная воля.

Молча идем по линии. Слева – академический сад. По вечерам лучше туда не заглядывать. Вокруг стеклянной мастерской Водкина и гранитной колонны бродит совсем иное, то, что настанет, когда я уйду. Там ты будешь уже без меня. Что? Что ты сказал? Я не слышала. И никогда не услышу. Помоему, ты сказал... Нет, не надо. Не повторяй. В саду, у колонны ты, которого нет. Внезапный. Ты, кто больше тебя и себя. Ты говоришь тихо, отчетливо. Нельзя не услышать. Мозаичная мастерская, мой любимый архив, здание закрывает собою вечерний сад. За ним – тишина. Обычно там крики, молодые пьяные вопли. Страшно подумать, что творится у скульптурного портика. А сейчас как будто все замерло. Притаилось. Все для тебя. Уж если ты появился – полный порядок. Сам собой. Сам по себе. Страшно.

Мы подходим к дому. Невыносимый день. Уж не дай бог – такой повторится. Окна Сережи горят. А у тебя меняется отношение к отцу или нет. Почему оно должно измениться? Ты приближаешься... Нет, не буду говорить. Опять какие-то чужие мысли и чужие слова. Ты не допустишь. Остается несколько шагов до порога. Здесь уже совершилась другая трагедия. Какая другая? Ведь эта еще не случилась. Почему другая? Перекресток. Много машин. Где твой мерседес? По-моему, ты им слишком увлекся. Где ты оставил его? Когда? Почему? Не надо. Не отвечай. Ты догадался, что я все поняла. Когда сегодня утром смотрела папку и видела почерк отца твоего. Догадался. Ты сегодня ушел не от любви. И не она ушла от тебя. Ты вместе со мной, потому что... Зачем окна Сережи горят? В черной раме стены. Пусть погаснут. Пусть он, как ты... выйдет навстречу.

Нет, навстречу выходит она. Теперь я могу, наконец, увидеть и разглядеть. Вот что значит любовь. Она берет свое даже у матери и отца. Она встает между ними. Я сразу узнаю современный стереотип человеческих лиц. Я ненавижу его. Стереотип. Но Паша не из тех, кто поддается. Недаром он со мной поиграл сегодня в прятки у цоколя. А сейчас он замедляет шаги. Я выхожу вперед и вижу ее. Совсем другая. Она как будто идет ко мне, а не к нему. А я останавливаюсь и выжидаю. Мы стоим друг против друга. Она не смеет меня обойти. А я как будто сына от нее заслоняю. Смешно. Нет, не смешно. Мне жалко ее. Уж я-то знаю, как повернется ее судьба – без меня. Наизусть. Но она не спешит. И не выглядит жертвой. Спокойна. Лицо мне знакомо. Я видела раньше и не понимала. Стоит. Не пускает меня домой.

Любовь сильнее. А есть ли что-нибудь посильнее любви? Может быть, так и спросить ее прямо и с этого начать разговор? Нет, разговора не будет. Павел не даст и поступит по-своему. Как? Мы обе не знаем. Пока он замер и думает о своем. Вот сильная воля. Я удивлялась раньше. Гордилась. Такого сына иметь. Попробуй. Гордилась. Но что моя гордость – перед этой смешной минутой. Ведь все решено. И не какой-то судьбой и, как говорят, стечением обстоятельств. А только им одним. Тем, кто стоит у меня за спиной. И так все просто и окончательно. И вдруг я понимаю, что он еще ничего не решил. Он догадался и все же не знает, кто он такой. Он испытывает меня. А я ничего не решаю. Все, что подарил мне этот невыносимо жуткий прожитый день, все вечером отнято у меня.

Сын может стоять бесконечно долго. И теперь я вижу – она тоже очень долго может стоять. Оба они выдержат. А у меня ощущение – как будто мы опускаемся. Тротуар подо мной. Садик. Фасад нашего дома. И его, Сережины, окна. Мне кажется, он видит нас из окна. И тоже стоит неподвижно. И долго-долго будет стоять. Мне легко понять, что он чувствует. Но я не хочу понимать. Я уже все разглядела, но продолжаю всматриваться в ее лицо. А в это время Павел, наконец, узнает, кто он такой. И она раньше меня узнает и невольно первая делает шаг. И снова навстречу. И опять останавливается. Нет, она уже остановиться не может. И если я сейчас не выйду из моего столбняка, она пройдет мимо меня. Мы не всплываем, а погружаемся.

Неловкий толчок погружения. Мы приходим в себя.

## 4.

Дальше все пропадает надолго. Павла нет. Я возвращаюсь одна. Сережа и впрямь видел меня в окно. Видел только меня одну. И не вышел навстречу. Он ждал. Он разглядел, как я ждала. И дождался. А ведь сегодня была дискуссия. Почему я забыла о ней? Выполняла его просьбу – отвлечься от телевидения? И Павел бродил пешком, чтобы не включать наш телеэкран. Большое событие или обычное шоу. Все они одинаковы. Потому что... Приведи Христа в студию накануне голгофы. А то и воскресшего. Начни с ним дискуссию. Он произнесет новую нагорную проповедь. Посади перед ним Льва Толстого. Или Врубеля. Который ненавидел Толстого. И все равно будет шоу.

Ну, Сергей... Рассказывай. Как это прошло. Выглядишь – плохо. Ты говорил о будущем или о сыне? И ты не был готов? И это разговор о грядущем правителе? Накануне постыдных выборов? Люди смеялись и аплодировали. А потом еще больше аплодировали и смеялись. А зрители голосовали. Вы – друг против друга? Спорили? Соревновались? Кто победил? Философ? Писатель? Сабуров? Бобров? Что? Голосование отменили? Ты шутишь? Такое сейчас невозможно. А если у вас вечные разногласия? И потому «за» и «против» – поровну? Шутишь опять. На самом деле – каждый голосовал одинаково – и за тебя, и за него. Грустно. Я угадала. Нет, не так? Или случилось то, что знают все, а мне одной нельзя рассказать? Мне и Паше? Он целый вечер ходил пешком.

Правитель грядущего. Ты говоришь, вам удалось поспорить и определить, кто он такой. И даже выдать, что он уже появился. Что он есть. И что об этом не знает никто. А после – вы сообщили, что он в Петербурге и что легко вычислить, где он сейчас. Но в итоге теледебатов об этом знают еще меньше, чем прежде. По данным статистики, шоу смотрело огромное большинство россиян. И все под конец оказались разочарованы. У них вдруг отняли то, во что они поверили сразу. Голосование аннулировано. Потому что оно не по правилам. Итог испугал ведущих. И они объявили – распределение голосов недействительно. Фантазирую? Все состоялось вовсе не так? Ну, скажи, наконец, как это было. Я очень жалею, что не видела. Впрочем, нет... Пусть так останется. Для меня одной. И для Паши.

Вообще надо проповедовать и дискутировать осторожно. Существуют реалии. Публика их помнит и ценит. Фантазии не имеют успеха. Беспроигрышно только одно публичное мифотворчество. Кто из вас мастер? Философ? Художник? По-моему, любая философия – развернутый миф. Сережа, ты не согласен? Женская точка зрения? Продиктованная любовью? Это я говорю. Вам рядом со мной выгодно казаться и оказаться философами. Ты оказался? Или опять соревновались образ и термин? Я не о том. Павел сегодня вечером догадался. А мы фантазируем, приближая развязку. Правитель тот, о ком думают остальные. А где же он сам? Бродит пешком, когда за него уже все решено. Кто из вас лучше раскрутит опасный, убийственный миф? А Петербург погружается глубже и глубже.

То, что не имеет социального смысла, происходит в небытии. Может быть, это неплохо – в очередной раз попусту кончилось популярное шоу. Да, да, я не спорю – вы сегодня вдвоем создали миф. Но имени правителя не назвали. Миф уходит в небытие. И вот уже, выйдя оттуда, он застывает в памяти. Безмянный и пока безвредный. И только мы вдвоем знаем, как он опасен. Миф и мы вдвоем. Ну, вот поговорили. Забросали словами событие. Оно похоронено. Слава богу. Ты опять не согласен? Что-то шевелится под вашими телеэффektenми? Оживает? В помощь утопиям найдено одно могучее слово? Ты серьезно? Думаешь, оно прорастает в современной борьбе политиков? Останавливает погружение? Овладевает электоратом? Нет, сына я вам не отдам.

Это я поняла, когда сидела одна в Соловьевском саду. А потом вернулся Павел, и я поняла вторично. Ревность моя отступила перед порывом уберечь его от ваших фантазий. Отступила перед любовью. Ты в окно разглядел только меня. Слава богу. Спасибо вам, отцам, за то, что вы ограничены. Я утаю мое запредельное знание. Иногда и чужая любовь – спасение от утопий. Сабуров. Бобров. И вдруг приходит она. Обе мы породнились. Родная, чужая. Плохо то, что правитель сильнее любви. А я знаю, где он сейчас. Ты не разглядел. Мы долго стояли. Что? Рыдания мои не имеют значения. Такие же глупые, как прикосновение к серому гранитному цоколю. Что внутри? Монолитный камень? Его не сдвинешь любовью. Такой обелиск. А ты не смотри с удивлением. Там, в саду, я воображала... Дом. Тепло. А теперь... Ладно. Событие состоялось. Большое событие. Оно – само по себе.

Ты говоришь, напряжение нарастает. Люди понемногу просыпаются от нирваны. Они догадываются, что разногласиям скоро конец. Вот иная, новая эра. «Без проб и ошибок». Думаешь, я забыла. Во мне подсудно шевелится ваша дискуссия. И так целый день. Ты смеешься. А вот объясни, почему там утром в музее вдруг явился мне Врубель. А потом Врубель-Бобров помедлил, постоял и ушел. Ты на лекции. А он меня отыскивал и узнал. Нет, не Врубель. Похожий. Он быстро и жадно разглядел меня и мое лицо. Паша ему помог, но он и без Паши узнал бы меня. Лицо. Неужели оно похоже на то, которое он видит все эти годы. Видит везде. Тогда почему он ушел? Вот тут я вспомнила о ваших теледебатах. Вы такие разные. А на самом деле. Вы с каждой секундой ближе друг другу.

И опять во всем я виновата. Я или мое необъяснимое сходство. Уже там, в зале пленума, когда он делал доклад, он заметил меня. Вот почему случилось все остальное. И только поэтому. Наконец, я догадалась. Отсюда – безумие. И суть его в том, что дискуссия не состоялась. Не было разногласий. Кончилась эра детской игры в подозрения. Исчезает всякая почва для ревнивой конкурентной борьбы. Конец политикам и телеведущим. Они отыграли свое. А у философа и писателя разногласий нет. Ну, Сереженька, ты присмотришься к себе. Загляни поглубже. Соверши погружение. В тебе самом нет разногласий. Причина – мое лицо. Проверь. Погляди на меня. Ты ведь художник слова. Стань Бобровым. Одну секунду. В нашем домашнем Русском музее. В кабинете твоём. Перед невидимым серафимом.

Ахматова – начало холодной войны. Выдумка. Миф. А я – причина срыва дискуссии. И это реальность. И я думала о ней прямо с утра, целый день. И тогда над папкой с твоими листочками. И в запаснике, и в зале, где мне почудился Врубель. Он не был нарциссом. Он все положил к ее ногам. Вот и вы положили к моим ногам ваш поединок. А там грядет спасение и просветление двадцать первого века. Ты слушаешь, а я говорю. Ты согласен? Правда? Сережа? Или это все выдумка – да? Мой свидетель – правитель, о котором вы говорили. Дискуссия не состоялась. И выборы тоже. Политическое событие. Россияне почувствовали и проголосовали. Телеведущие содрогнулись. Новая эра. Кончилась третья власть. Аннулировать голосование уже невозможно. Они сделали глупость. Попытались отменить и отменили то, что уже нельзя отменять.

Ты можешь и должен выспаться. Наступает моя бессонная ночь. Если Павел не спит, я не засну. А ты не тревожься. Я обо всем позабочусь. Ты заслужил. Да, верно. И Бобров будет спать. Он думает обо мне. А ты видишь меня. Как интересно оказаться в гуще событий. Миф Анны Ахматовой. Бог с нею. Мой не придуманный миф. Новое тысячелетие. Некалендарное. Вот – наступило. Это уже не я говорю. Твои слова. Интуиция. Он меня узнал на своем пленарном докладе. Я сидела рядом с тобой. И как только он разглядел мое лицо, так сразу уснул. И продолжал во сне говорить. Он очень сильный человек. Ты сильнее. А я тогда испугалась. Что мне делать, если я знаю, что все это правда? Вы ночью не спали. А теперь я буду бодрствовать. Рядом и на расстоянии. Да, и на расстоянии...

Врубель тебе чужой. Ты хочешь, чтобы я повторила, что они с Бобровым похожи. Немного. Мне мешала борода. На автопортретах кажется, что у него была борода. А на самом деле... Но я точно видела – это он. Конечно, глупость. Философ и Врубель – чужие друг другу. Но и тот почему-то в зале музея заметил мое лицо и поманил к своему серафиму. И мне было так тяжело. А он постоял-постоял и затерялся в толпе. А потом опять появился и исчез вместе с Бобровым. Как его звать?.. Игорь. А тот – Михаил. Господи. Голова идет кругом. Так звали по меньшей мере еще двух, ушедших из жизни. Михаил, Михаил... Нет, искусствоведом быть мне уже нельзя. Историки вообще безумны – лгут, придумывают. А потом верят в то, что сами вообразили. А для меня теперь наступила черта, когда это уже не профессия. Утром, над папками, в архиве. Да и вообще весь день. Только Павел возвращал меня к жизни. А ты готовился и был далеко.

Все это ясно. Я бы тоже заснула. Но... Помешает она. Серьезно. Ты ведь ничего не знаешь о ней. И в окно ты ее не увидел. Паша стоял за моей спиной. А вот ее, Сережа мой, ты проглядел. Это я говорю сама себе. Вот где причина бессонницы. Вот что меня ожидает ночью. Об этом пока лучше молчать. А я хочу? Я и в самом деле хочу – чтобы она победила? Скорее сдвину гранитный цоколь. Скорее Врубель полюбит. Правитель остается правителем. Ведь что сегодня произошло? Он, опережая нирвану и погружение, впервые, безмянный и невидимый, но уже объявленный всенародно, сам не зная того, сделал первый незримый властительный жест. И все подчинилось. Я жду. А Сережа спит. Что видит во сне? Мой Врубель.



Завтра я выходная. Буду бодрствовать над вами. Вместе с Пашей. Хорошо – на расстоянии. Даже когда сын ушел от меня. Ушел ненадолго. Нужно побыть одному. Полночь. Уже не вечер. Он перед сном обычно приходит ко мне. И теперь он рядом. Впервые. Оттуда. Издалека. Простится там и тихо, спокойно войдет в подъезд. Кнопка лифта. Четвертый этаж. Вот он уже на площадке. Вот повернется ключ в нашем замке. Нет. Ни звука. Ни шума лифта. Ни прикосновения к двери. Ни поворота ключа. Ни осторожных шагов. Она тоже так ждала своего младшего сына. Вот и мне теперь приходится пережить эту ночь. Пока ожидание. Только оно. И никакого предчувствия. Или оно совсем незаметно, как воздух. Чем дальше, тем больше сходства. Криком не выразить. Ждать и даже не плакать.

Вот минута, ради которой живет человек. У матери тоже обязательна эта минута. Мы знаем боль рождения и разлуки. А теперь – такая же боль ожидания. Все, самые близкие, спят. Может быть, оттого что не вынесли. Поняли, ожидая, что будет, и отключились. Нет, они видят сны. Пострашнее моей пустоты. У них тоже своя бессонница. Они забылись, и видят. Как будто оттуда. Во сне доступно. А наяву, понимаю, последняя жуть. Только мать умеет. Вот ее и бросили все. Даже Павел не очень спешит. Клавиш машинки не слышно. Он меня всегда успокаивал – этот стук. Он металлический, и на его фоне дверные ключи звенят хорошо. Уже дверь открыта. А я не заметила. Но теперь звенящая тишина. Да, правильно сказано. Звонит – отсутствие. Что я такое болтаю? Опомнись. Вот зашевелилось. В душе и надо мной. То, что сильнее меня. Уведет. Одурманит. Спасет на время. Когда нужно бодрствовать. Нет, невыносимо.

Он простился. Точно. Он уже прошел мимо семи поворотов. Линии вбок от Большого проспекта. Он уже целый час как должен был подняться на лифте. Я бы услышала. Но вот опять что-то пошевелилось. Вижу сон и знаю, что это сон. Белое. Неподвижное. В нем уснули желания. И осталось только одно. Поднять обе руки и пошевелить вокруг это густое и белое. Оно раздвинется, и там – то, что обещано. Все в тишине. И звуков не будет. И вместо них что-то и вправду мое. Шаги в коридоре. Но их не слышно. Потому что их нет. И не нужно. Ты проспала. Они уже отзвучали. Переборы цепочки дверных ключей. Ты их не дождалась, а они уже были. Значит – больше не прозвучат. И шаги, и ключи. Звенящая белая тишина. А за нею боль и бессонница.

И теперь я, как Сережа, брожу одна в коридоре. Электричество не включаю. Замираю у книжного стеллажа. При желании могу восстановить, что было ночью в душе у Сергея. Или у того, у философа. Да, скорее у того. Вот он почти осязает. Она проходит мимо в комнату сыновей. К своему старшему и младшему. А это я сегодня прошла. Но не добралась до двери. Остановилась там, где он потерял сознание. И не упала, удержалась, как он в ту первую ночь. И теперь эта последняя моя ночь будет первой. И никто не услышит. Почему последняя. Потому что я не делаю то, что должна. Бежать, кричать, осматривать улицы. А я стою в коридоре и боюсь разбудить их обоих. Как понять? Они своими дискуссиями подставили Пашу. Теперь только и остается проверить улицы, найти и убить.

Граница между старой и новой эрой смертельно опасна. А я стою, опираюсь о полку и рассуждаю. Он сейчас должен так рассуждать. А я замерла и боюсь его разбудить. Это хуже самого страшного сна. Раздвинуть камень как белый воздух. Поколебать гранитный цоколь. Пробежать одной все линии сразу. Весь этот страшный Большой проспект. И Средний и Малый. И остальные улицы, лестницы и квартиры. Или стоять, как я, в коридоре и чувствовать отсутствие сына. И не будить никого. И знать – что-то меня держит на месте, но это что-то – уловка, миф, самообман – для ограниченных, но не для матери. Я кричу, а звука не слышно. Отзывается один Соловьевский сад. Запоздалый отзвук. А там кто-то кричит еще. Там шум черной листвы. Он поглощает мой крик. Отсутствие... Там или здесь?

Отрываюсь от стеллажа. Да. Шаги на ощупь в черной тьме коридора. Повторяю движения тех, кто уснул. Черное легко раздвигать. Одно черное светлее другого. Вот я вхожу в комнату сына. Дышу неровно и шумно. Просветы между синими шторами. Кто их опустил? Кто уходил? Когда? Здесь нет ни души. Можно поплакать. Сережа не слышит оттуда. Я говорю самой себе – шепотом – все, что надо сказать. И о чем я никогда в жизни сказать не могла. Шепотом. Значит, еще осталась надежда. Значит, я еще не все испытала. Вот что удерживает меня в этой комнате. Подожди. Не шепчи. Остановись. Не дыши. Вот, не дышу. И не дышит никто. Мы затаили дыхание. Первым не выдерживает он. Вот он пошевелится. Вот он сядет на кровати своей. Чтобы прогнать сон, вновь начинаю шептать. Вот опять звенящая тишина. Он слышит все, что я прошептала.

## 5.

Павел здесь. Отодвинулась катастрофа. Он проснулся. Он чувствует себя виноватым. Или я придумала. Он все равно рядом со мной. Он сидит на кровати. Сын мой. Вот он. А я стою в темноте и не знаю, о чем говорить. Когда он возвращается ночью, мы не знаем, с чего начать, и молчим. Его молодые мысли – в нем. А во мне то, что сейчас. Какая бездна между тем и другим. Только мама одна может легко стать в его положение. И вот я стою, а он в темноте. Сидит, прикрыв одеялом голые ноги. Кого-то из нас в комнате нет. Но мы бодрствуем оба. Ты почему не зашел ко мне? С тобой что-то случилось? Да. Она случилась – небывалая наша бессонная ночь.

Павел прогоняет свои молодые мысли. Он это умеет. Он безумно философствует о том, что ожидает мать и отца. Он сам не знает, что происходит, но по всем признакам, что-то уже внезапно изменилось вокруг. Он почувствовал, бродя по ночным улицам Петербурга. Почти никого он не встретил. Дурной признак. А линии освещены. И Большой проспект будто приглашает выйти из дома. Пусто. Обманчиво. Разноцветные окна гаснут одно за другим. Едут пустые машины. Кто-то уже видел такое. Родителей нужно задерживать и не отпускать от себя. Нет, молодые мысли уходят назад. Возвращают его к себе самому. И вдруг я чувствую в нем тот молодой прежний порыв. У отца и у матери скоро не хватит сил. Павел по-прежнему жив и свободен.

Горе тому, чей взгляд не насытится зрением. Ему тяжело уходить. А у кого взгляд вообще ненасытен? Отец уйдет. Мама бессмертна. Это я сама себе говорю. А Сережа спит и ничего не подскажет. Еще есть возможность: разбуди, разбуди отца своего. А того отца уже никто не разбудит. В такую ночь. Пятнадцать лет назад. Несчастье совершается каждый день. Знаем. Город ночью притих. Вот Паша молчит и не встает мне навстречу. А за окнами те же освещенные улицы. Шторы не пропускают желтый свет фонарей. Пора начать со мной разговор. А на самом деле надо отца пригласить. Вырвать его из тяжелого сна. Или в молчании ждать до утра. Стою. Боюсь двинуться. Только бы не коснуться его. Не выдержу. Мой правитель. Выдумка поэта, философа. Нет, он уже не просто мой сын.

Мы не сказали друг другу ни слова. Не помню, как я ушла в свою комнату. Ушла и уснула. А во сне, уже без слов и видений, разговор совершился. Вот я просыпаюсь утром – и за моим окном первое солнце на крышах домов. А в остатках сна – итог того разговора. Да, мы все обсудили сполна и к чему-то пришли. И это легко и тепло, как прикосновение головы сына к моей материнской руке. Лбом и виском. Сонная память и ощущение долго еще не отпустит руку. Я могу закрыть глаза и снова уснуть. Так бывало. Но всегда мы успевали много друг другу сказать. Шепотом. А теперь я не вспоминаю уже ни единого слова. Даже то, что шептала в его комнате. Он отвечает молчанием. Я не спрашиваю. Мне хорошо. Наверно, он согласен во всем и со всем, что услышал. Может быть... Но это не важно. Надсознание. То, что было до нас.

Отец и сын. У них по-другому. Они договориться не могут. Но им и не обязательно. А я знаю итог. Хочется кого-то обрадовать. Осчастливить. И все равно – поймут, не поймут. Просто моя душа переполнена. И то, что во мне, уголило бы всех. Даже любых моих коллег – по музею. Даже ту, что утром вчера взяла у меня папку из рук и осталась перечитывать о Врубеле и воспоминание о старушке, с ее заветным серебряным рублем для художника Николая. Но вот сейчас я одна. Бессонница, поглощенная сном, открывает мне глаза в мое счастливое утро. Забыть или за-бытие? Философия. Жалко тех, кто любит иначе. Мне жалко и Сергея за то, как он во сне жалеет меня. Жалеет и забывает. Нет, оно забывает меня. Оно – за-бытие. А он истерзан, измучен. Он осознает мою возможную гибель. И ведь это не я подумала так. Это Бобров.

Надо понять мое счастливое пробуждение. Мы не погибнем. И Павел останется жив. Кто-то сказал нам об этом. Не знаю. Не помню. Но осталось надежное слово правителя. Глупо, наивно. А я почему-то верю ему. Верю моей бессонной, моей невидимой силе. Тому, что она растаяла и освободила от всего, что мучает их. Пусть они любят. Это им облегчит мою боль и бессонницу. Павел что-то шепнул напоследок. В моем сне. Уж наяву он такого не скажет. А теперь удалось. Он промолвил. Он и в это уже посвящен. Попробуй, реши то, что невозможно решить. А он промолвил и успокоил. Нет, он полюбил мою любовью. Он полюбил, как сын мой не мог полюбить. Вот оно – счастье. Утра. Минуты. Мгновения. Меньше того. И вот оно здесь. Милое, верное счастье. Он жив и никогда не погибнет.

Я сейчас могла бы сказать, что такое любовь. Но зачем говорить. Я это знаю одна. Кто-то еще не понял. А я поняла. Это когда нераздельно чувствуешь – сын полюбил. Признал, согласился. И отпустил. И ушел в свою взрослую жизнь. Жаль, нет философа рядом. Художник свое возьмет. А философ... Мы те, кого он ищет сейчас. И не находит. А вот они – мы. Вот мы поняли, что никого не надо искать. Найдено этой ночью. Кто нашел, кто согласился, тот правит. Окно мое выходит во двор. Силуэт крыши соседнего дома. А за ним золотое небо. Кирпичная труба вспыхнула на утреннем солнце. Это не то, что было вчера. В Соловьевском саду. Не то, что светило на том берегу Невы. А сейчас почему-то я вижу горящие золотом крыши. Силуэт заслоняет золото крыш.

А в моей маленькой комнате пейзажи Сабурова-старшего. Прямо надо мной в тоненькой рамке его давний автопортрет. Рамка тех двадцатых годов. Он писал его, когда все было плохо. Но ведь кто-то любил. Всмотриваюсь и вижу – он знает об этом. Павел похож на него. Минуя меня и отца. Родные черты. И я не заметила прежде. Вижу сейчас. Надежда на то, что кто-то подумает о нем в такую минуту. Отвожу глаза. Думаю. А он смотрит и ждет. Силуэт за окном исчезает. Стена остается на месте, но раздвигается двор. Крыша горит в теплых лучах. Чужое несчастье. И его ничем не поправишь. Глядит глазами автопортрета. Его глазами. И я не одна. Золотое небо восхода становится голубым. Стена и зеленая крыша в теплой гамме оранжевых пятен. И ничего не надо искать.

Любовь – отовсюду. Не было бы меня, и она бы куда-то ушла. Кто я? Сын мой смеется. Там, у себя. Он слышит мой шепот. Он раздвигает шторы. Противоположная сторона Большого проспекта. Мы пережили ночь. Какое красное утро. Правитель потягивается и встает. Ходит по комнате. Понемногу прикидывает, что надо сделать. Оказывается, только сейчас пропадает ужас бессонной ночи. Он смеется. Он вспоминает, где он вчера оставил свой мерседес. Бросил. Бродил. Отгонял молодые мысли. А потом прокрался тихонько. Так, чтобы мама не слышала. Как смешно. Все позади. Мать испугалась. Но я-то знаю, в чем дело. Вот я думаю, а она следит из той комнаты. Буду ходить. И не надо ничего узнавать. Правитель никуда не денется. Мать победила. Правитель и управитель. Позабудь университет, ферму, любовь и все, что ты бросил. Позабудь и живи моею любовью.

Назревает переворот. Они философствуют, воображают. А мне открыто. Все то, что Павлу нужно было узнать этой ночью. Открыто мне и недоступно ему. Как это странно. И ведь я шептала об этом. Он слышал и слышать не захотел. Перевороты ему не нужны. Оно должно произойти незаметно. Оно. Состояние духа. Состояние всех. Он ловит и не чувствует никакого переворота. Будет иначе, и ясновидец уже не станет правителем. А переворот назревает. У кого-то бессонные петербургские ночи. А вокруг тишина. Солнце слепит. Комната Павла – на солнечной стороне. Мы видим лучше. Плавного перехода не будет. Взрывы. Кровь. Насилие. Мои вчерашние сны. Кто-то любит Скрыбина. А кто-то – Боброва. Рождество – преодоление боли. Павел прав, как всегда.

Есть в нем что-то особенное. Мать видит и не верит утренней тишине. А

он прав, потому что не замечает. Если никто не заметит, не будет переворота. Никто не успеет понять, что изменилось. Только я одна почувствую боль. И никому не скажу. Мы ведь не любим рассказывать о таких страданиях рождества. И потому все евангелия – от Марии и от меня. Нет ни одного – от Иисуса. Кроме лживых, придуманных книг. Утром заметна их ложь. Но люди устали от обольщений. Они знают и не замечают. И вот родовые муки исчезли на утреннем солнце. Даже я не чувствую их. А ведь переворот – еще впереди. Заранее. Что происходит? Люди устали, но им открыто, как мне, спокойное утро. Боль незаметна. Лишнее знание отброшено прочь. Мы уже не легковверны, как прежде.

Теледебаты кажутся последней тенью вчерашнего дня. И нет ни Врубеля, ни Ватто. Бобров, подольше не просыпайся. Кто-то играет Скрябина. Торжествует. Откуда прозрачные звуки? Так было в детстве. Волшебное утро. Во время войны. Там, в Киргизии. Радио или память. Переселение из одного дома в другой. И самое раннее, самое счастливое детство. Оно предвещает того, что сейчас. Переселение в новую эру. Под звуки светлого Скрябина. Я их не слышу. Они уже угасли в моей полутьме. А комната все больше и больше озаряется отблесками от золота крыши и от незримой стены и окон соседнего дома. А за моим окном двор – бесконечность. Вот чье-то предвесье для меня оправдалось. Он жив – тот ребенок? Но где он сейчас? Как ему рассказать? А если он сам теперь услышит прозрачные звуки переселения. Ты, неведомый и счастливый, другой.

Нет, я их понимаю. Они видят небесную Розу и пытаются разгадать, как три круга соединились в одном. И как в одном из кругов появляется человеческий образ. Последняя песня Рая. Данте. Паша еще не знает. Не дочитал. Это мужское видение. Но я понимаю по-своему. Они созерцают. А мне открыто. Я изнутри. Только им непонятно. И Паша обречен созерцать и не понимать. Мужчины мои не верят, что такое возможно здесь, на земле. А все очень просто. Три круга не один в другом, как видит Сережа, а рядом, накладываясь друг на друга. И в среднем из трех кругов – мой человек. Рождество. Тайна рождения. А они никак не умеют соединить первый и третий. Только я одна их соединяю в себе. Паша рожден. Поэтому он еще не дорос. Он ходит по комнате и не знает.

Увы, ни одна женщина еще не способна думать, как я. Потому что у всех продумано в пред-бытии. Никакой квадратуры круга. Никакого насилия, войн и крови. Детское счастливое утро. Солнце разгоняет серебряный век за-бытия. Прекрати. Слишком умно. Абсолютная правда. Но восстанови женскую память. Бессмертное счастье. Оно здесь. Переселяйся в него. Переселяюсь. Вот мое зеркало. Как странно. Молодое лицо. Никаких признаков лет. Или просто я не хочу их обнаружить. Женский способ – ничего не видеть из того, что не хочешь. Это они способны легко разглядеть. А мы в зеркале видим себя. И только себя. А не то, что видят они. Кому рассказать, не поверят. Какой веселый день – я выходная. Рассказывать некому. Еще раз. В зеркале прежняя Катя. Еще бы. Я моложе Сергея.

Павел уходит. Надо найти мерседес. А мне дописать о Врубеле. Пару абзацев третьей главы. Как я буду писать. Откуда смотрит автопортрет.

Возвращение из безумия. Где-то он есть. Бродит по Петербургу. Почему-то я не боюсь, что Павел встретит его на улице. Вот он глядит. А на него смотрит со стенки сабуровский автопортрет. Почти из того же века. Нет, все поменялось. Двадцатые годы. Глядите пока друг на друга. Стенка. Тонкая рамка. И монография Александра Иванова. С его почти прощальным автографом. Тоже двадцатые годы. Пером и черною тушью. Надо всмотреться в подлинник автопортрета. В музее. Краткое возвращение. Теперь все иначе. Страдания и безумие пропадают как тени минувшего дня. Подожди. Проснется Бобров и вспомнит о младшем сыне и обо мне. Он тоже не знает, что наступила новая эра. Громко сказано. Повторяю шепотом и дописываю последний абзац.

Я могла бы сказать, что такое любовь. Сережа спит, а я, как Гомункул, читаю его утренний сон. Он видит меня как будто впервые. Сын уже есть. Юный, как Павел. Но это не Павел, а тот, кого уже нет. Вот они рядом. Впервые встречаются и знакомятся. Нет сомнений. Оба из плоти и крови. Оба готовы к тому, чтобы друг друга узнать. Это видит Сергей. И точно такой сон переживает Бобров. У себя – далеко. Переживает, подозревает, что это видение. И очень хочет его досмотреть. Но подозрение разрушает волю отца. И тот же сон и то же страдание, а подозрение вовсе другое. Он понимает, как больно Сергею, когда оба круга входят в один. Образ, который сильнее любого сна. Братья знакомятся и расстаются. Неуверенные улыбки. Рукопожатия. И снова тяжелое за-бытие.

Как их разбудить. Прежде всего нужно звонить Боброву. Тому Врубелю, кому я еще не сказала ни слова. Сам Врубель не спит. Он бродит по утренним улицам Петербурга. Останавливается у незнакомого мерседеса. Чужая грубая форма. Но он вглядывается, как безумный и распознает ее красоту. Нет, я его уже разбудила. Постой у машины. Подожди. Он придет. И я уже не боюсь вашей встречи. И пока он стоит, я иду к телефону. В первый раз набираю чужой незнакомый номер. И вдруг забываю последнюю цифру. И вспоминаю, что я никогда не знала о ней. Нажимай быстрее. Не останавливайся. Или буди Сергея и спрашивай у него. Телефон переносный. Вхожу в кабинет. И вижу, как на диване мечется муж. Подушка упала. А он продолжает метаться. Головою о локотник.

Бужу осторожно. И нажимаю невольно ту самую цифру. Почему она? Откуда я знаю. Поздно. Я слышу, как раздаются гудки. Слышу и ожидаю чего-то. Сергей никак не может проснуться. Губы сжаты. Головой бьется о спинку дивана. Кончай. Ведь я уже досмотрела твой сон. Вот – спокойно. Гудки в телефоне. Оба они услышат, и гудки разбудят обоих. Нет, оба спят. Я одна в кабинете. Одна. И вдруг – на середине гудок прерывается. Голос. Я узнаю Боброва. Молодой и очень знакомый голос. Но я молчу. И Бобров меня узнает. Называет по имени. Ждет. Пора отвечать. Откуда силы – стоять, слышать и не ответить. Вроде бы все в порядке. Я разбудила. Утренняя тишина. Он ожидает. И не торопит меня. Все состоялось и совершилось. Вот Сережа проснулся. А виновник события бродит по улицам Петербурга. Отъезжает свой золотой мерседес. Он, ослепленный утренним солнцем. Он, выздоравливая от ночи, бродит, ищет и узнает.

---

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### П РА В И Т Е Л Ь

#### 1.

На утреннем солнце моя машина стала совсем золотой. И я разглядываю, кто стоит рядом с ней. Нет никого. Это мама смотрит моими глазами. Я твердо знаю. Чудес не бывает. Некому рядом стоять. Но я разглядываю прозрачный воздух вокруг моего мерседеса. Да, если мама видит, может увидеть любой. Легкое сгущение воздуха. Напоминает мужскую фигуру. Золотой силуэт, прозрачный, как мой мерседес. Подхожу. Трогаю дверцу. И вдруг силуэт пропадает. Врубель исчез.

В политике все точно так. Виртуальная партия власти. На утреннем солнце пора бы тебе раствориться в воздухе. Самое интересное: догадываюсь – она уже растворилась. Поздравляю. Об этом не знают мать и отец. Они проснулись. И тот, Бобров, тоже проснулся. Легко. Садись в золотую машину и тихонько поезжай по спокойным улицам. Нигде нет никого. Только Врубель сидит рядом со мной и поглядывает на меня, как на сына. Тень. И мое присутствие кажется тенью. Он мешает мне сидеть за рулем. Стоп. Чуть было не помял крыло припаркованной белой машины. Чужой. Вот засигналила. Но я звука не слышу. Остановился. Не торопись. Так ехать нельзя.

Нарушаю правила. Стою посредине. Буду стоять, пока он рядом. Пока посматривает взглядом отца. Мамина фантазия не будет моей. Спокойно. Спокойно. Вы опасны вдвоем для пустой улицы и для виртуальной городской пустоты. О политических партиях нужно мыслить образно. Так лучше всего. Образ легко исчезает. Партия пропала сегодня. Вот в чем дело. Но ее видимость еще долго останется в политической жизни и будет играть в ней прежнюю роль. Но я знаю, что ее не существует на утреннем солнце. Надо жить по-другому. Стоять, парковать посреди мостовой и думать о близком будущем. Думать, думать на пороге рождения.

Осторожно. Я трогаюсь, еду и не гляжу на того, кто рядом со мной. Твердо удерживаю руль и веду мерседес на самой, насколько возможно, медленной скорости. Машина петляет, пустынная улица понемногу подвигается мне навстречу. Ровно. Уверенно.

Еду и все больше и больше вспоминаю себя. Знакомое чувство. В детстве сны мои отличались тем, что я себя терял на протяжении ночи. Сознание сохранялось, но это было не мое, а совсем другое, чужое сознание. И вдруг я просыпался и быстро-быстро возвращал себя в себя самого. Молодо, сладко, весело и потягивался так хорошо. Удовольствие. Впереди целая жизнь. Только что был другим. И как будто все начинаешь сначала. Давно уже не испытывал. Я соскучился по себе. И вот сегодня утром, наконец,

возвращаюсь. Да. Прихожу в себя. Сказано точно. Сам я новый и прежний. Так приятно войти. Радует все, из чего я состою. А, может быть, это последний раз перед уходом. Надо уйти, а ты возвращаешься. Почему-то мне кажется – я не буду стареть. Уйду молодым.

Чувствую – Врубель очень любит меня. Мы незнакомы. И вообще-то его нет рядом со мной. Но он остается. И я не хочу, чтобы он вовсе пропал. Приобретение очень полезное. Все видишь глазами художника. Включаю автоматический путеводитель. Навигатор. Он загорается, как драгоценный камень. И остальные светящиеся указатели горят разноцветно. Сиреневая и зеленая гамма. Самоцветы. Руль выглядит огненным и прозрачным. И на мне, обнаруживаю, нет никакой одежды. Красиво. Художник мысленно рисует меня. И сам я – врубелевская акварель. Ничего демонического. И ничего сексуального. Серафим шестикрылый без крыльев. Этуд. Рисунок. И вот вновь одежда на мне. И вся она как будто из серебряных перьев и воздушных камней. Вижу мое лицо. Акварель – шедевр. Зеркало.

Машина летит прямо по воздуху. Мостовая – ровные сиреневые облака. А кто ведет – я или он? И куда? Прямо в новую эру. Которая уже наступила. И просит, и ждет знакомых красок и звуков. Слов. И только прозвучит первое слово, исчезнет красота акварели. И больше уже никто не сможет взглянуть в лобовое стекло такими глазами. Даже она. Сейчас он ее впишет в мою акварель. Она смысл всего и моя любовь. А я молодость. И вот Врубеля уже нет. А она рядом. И вот я кажусь тенью и отблеском света. И вот солнце переливается в ней. И как будто я сам пишу прозрачными красками. Выздоровление Врубеля. Мое рождение. Ровный полет машины. Опаловый руль. Россыпь драгоценных камней. Солнце любви и родное властительное сознание счастья.

Она рядом. И незачем ехать за ней. Она и мама. Все решено.

Если бы эти фантазии были реальностью. Я могу остаться в их мире и быть за рулем. Нет, опасно. Волевым движением. Все пропадает. Остаюсь только я, машина, ее медленный ровный ход и улицы Петербурга. Мимо. Кто-то навстречу. Форд. Кто-то вышел из дома и стоит у подъезда. Мимо. Кто-то спешит. Ничего. Обойдемся роскошью невиданных красок нового утра. Что-то особенное. Больно. Хочется зажмуриться или закрыть ладонью глаза. Не могу. Я за рулем. Дивное сочетание красок. Непроявленный колорит. Преобладание зеленого. Аквамарин. И пестрота, пестрота. Парад фасадов. Девятнадцатый век. Ни одной коробки новой архитектуры. Почему она бездарна всегда? Ничего не умеют. Надо ехать утром и проявлять, проявлять колорит. И уже потом строить особняки.

Вижу другой Петербург. Тот, который сейчас. Он тоже приходит в себя. Кажется, незаметно. Это лучше всего. Надежней. Хочешь, не хочешь, все поворачивается ко мне. Как эта улица, в конце которой, где-то в немислимой дали, в глубине, – шпиль адмиралтейской иглы. Медленно приближается. И вдруг замечаю – Врубель вновь на переднем сидении. Вижу – всматривается вдаль. Еду медленно, а он торопит меня. Без единого слова. Чувствую



освобождение. Краски мелькают. Проскакиваю светофоры. Навигатор меркнет и загорается как от присутствия моей собственной творческой силы. Неважно, есть это сейчас или нет. Никаких наваждений. Сила все больше и больше. Она переливается всеми цветами. И снова любовь. И мне понятно, куда и зачем несет меня мой золотой мерседес.

Как только понял. Вновь размышления о политике. И в самом деле – я не ошибаюсь. Утро и день – уже не время ошибок. Машина летит как будто поверх других фольксвагенов и рено. Правила скомканы и отброшены. И ни одного наезда. Проскакиваю, как положено. Людей немного. Стронются. Отступают. Любовь приходит в себя. А в политике – редкий случай. Все идет правильно и без ошибок. Врубель одевает меня всеми цветами своей акварельной палитры. Теперь очевидно – он уже никуда не уйдет. Мама знала, как любить и как вернуть меня себе самому. Вот он – стремительный полет возвращения. Зажмурю глаза. Он видит. Он глядит в лобовое стекло. А оно тоже меняет свой цвет. И обостряет нужное зрение. Вот Нева, Благовещенский мост. И вдруг – развилка. Никто не знает, куда мне свернуть. Скорость приподымает машину, и она повисает в воздухе неподвижно. И, помедлив, я поворачиваю туда, где не будет ошибок.

Любовь, молочная пригородная ферма или создание партии. Везде будут ошибки. Но машина свернула. И теперь нужно понять – куда. Пути такого не существует, но Врубель-отец открывает его и включает свой, аквамаиновый путеводитель. «Через двести метров поверните направо. А через десять – крутой поворот». Мимо. Руки сами собой поворачивают опаловый руль. Вот и разгадка в политике. Партию мою создавать не нужно. Она уже создана. И это не партия. Это целое. Останови машину. Выйди. Поговори с любим. С молодым или старым. С любой наглой девчонкой. Поговори смело – все с тобой согласится. Потому что сразу догадаются – что у тебя на душе и почему ты поехал в сторону, где не будет ошибок. Поймут, согласятся и не пожалеют о встрече. А остальные знают заранее.

Как ни странно, такое происходит сейчас. Некоторые успевают заглянуть в стекло моего мерседеса. Нагибаются. Узнают. Машут руками. А я их совсем не знаю. Привет. Спасибо. И вновь быстро поворачиваюсь. Лобовое стекло. В зеркале вижу: сзади на тротуаре собираются группы. Обмениваются вестью. Показывают мне вслед. Вот еще тротуар. Группы. Группы. И всего этого нет. Но это уже нельзя отменить. Поневоле поворачиваю голову. Пустое сидение. Вспугнул или ошибся. Вот – восстановлено. Так и не знаю, что думать и как поступать. Но думаю и поступаю. И опять без ошибок. Не поворачивая головы, спрашиваю Врубеля. Чувствую – он сидит по-прежнему на первом сидении. Он следит за полетом. Он отвечает. Слов не слышно. И все равно я согласен с каждым новым ответом.

Навигатор горит и предупреждает. Он ведет. Уже без меня. Отдыхаю. А на самом деле – вступаю в должность правителя. Кто это сказал? Ответ неизвестно откуда: целое утро держишь руль, и ни единой ошибки. Доведешь до цели – уже правитель. А дальше увидишь – все пойдет без тебя. Только правь. Этого никто не умеет и уже не хочет. Правь, безотказный. Правь,

единственный. Понимаю, что это неслышимый голос Врубеля. Сиди, неотвязный. Поздравляю с выздоровлением. Крутой поворот. Почему я прокладываю какой-то новый небывалый маршрут по Петербургу? Огни циферблатов опять красиво мерцают. Сиреневые прозрачные камни. Понимаю. Надо остановиться. И дальше пешком добираться домой. Мама снимет с меня свой оберег. Стоп. Врубель выходит первым и благословляет меня. Оставляю. Ухожу. Он счастлив. Как хорошо.

Иду. Оживают улицы. Групп все больше и больше. Пропускают. Расступаются. У меня за спиной собираются вновь. Ровный городской шум не дает расслышать слов, разговоров. Как правило, говорят по мобильным телефонам, которых не видно. Будто сами с собой. Вполне могу вслух размышлять о том, что волнует меня. А я молчу. Люди заглядывают мне в глаза. Не снимая наушников. Узнают. Как в золотой машине. Понимают, что я занят, и не останавливают правителя. То же самое. Но, по крайней мере – никто не задет. Вижу – я не один такой. Происходит отбор. Вот настоящие выборы. Мы кандидаты в правители. Мы друг друга замечаем и не узнаем. Забавно. Как вышел из машины, вижу их много. Но, пока иду, – меньше и меньше. Вот, наконец, я один. Выборы состоялись. И теперь люди не видят избранника.

Что ж, победа всегда незаметна. Если она всерьез и надолго. Слава богу, я тоже перестаю замечать. Вопрос отпал. Кое-где расклеены цветные газеты. Новые заголовки. Знаю их наизусть. Почитать? Зачем? Тоже знаю. Ни одной моей фотографии. Проверяю. Ничего обо мне. Вот лучшее доказательство незаметной победы. Еще бы. Она состоялась, пока я шел по улицам Петербурга и убывало число кандидатов. Газеты не успевают. А ты... думай о чем угодно. И только не о том, как править Россией. Не надо быть Гамлетом и Дон-Кихотом. Они мелькают вокруг меня. Без наушников и невидимых телефонов. Мелькают, но это не важно. Вот прошел Иисус Га Ноцри. Красный хитон. Лазурно-синий плащ. Поворачивается. Возвращается. Обгоняет. Он. Мелькнул и пропал.

Что же такое? Поистине вокруг новая эра. Одиночество нестрашно и незаметно. Людей все больше и больше. Кажется, вот соберутся в группы. Нет, распадаются. И ничего. Так допустил Господь и устроил. Каждый сам по себе. Но друг о друге все узнали заранее. Толпа как на акварели Сабурова. Моего прекрасного деда. В прошлом такое мгновение было. И он обрадовался и в праздник из окна Академии нарисовал и красками тронул слегка праздничную толпу. Каждую фигурку отдельно. И всех вместе. Шумно и спокойно. Прямо накануне войны. Очень похоже. Но заранее людям ясно. Война так война. Смерть, гибель... Мелочи, если мир ипостасен. Был бы сейчас рядом Бобров. Где он? Философ ждет моего подтверждения. Вот оно. Вокруг и во мне. И так было всегда. Но мы отвлекались, толпились, и даже теперь, в новую эру, нужен правитель.

В Петербурге был страшный суд. Его никто не заметил. И вот все преобразилось. Люди стали другими. Кто-то этот суд совершил. Догадываюсь. Но это уже не моя проблема. Слава богу, все состоялось и

прошло. «Кого-то нет...» – сказано у Есенина. Пора сообщить Боброву, что это не так. И еще кому-то. Одному. Тому, кого нет. Он тоже еще не понял и не заметил. Надо сказать. И только подумал, сразу мне так хорошо на душе – благая весть уже знакома заранее. Всем, кого вижу. Идут, не мешают мне думать. Уже продумано все. Чудес не нужно, потому что все вокруг ипостасно. Как объяснить? Бобров что-то говорил позавчера и вчера, когда я сидел у него в кабинете. Говорил. Тогда мне было неинтересно. Ферма, отец, политика. А теперь – слово созрело. И любовь. Золотая майолика.

Люди не узнают меня, потому что свидание состоялось. Мы уже узнали друг друга. Это прошло. С каждым я мог бы заговорить, как с самим собой. Стоит сказать – снимите наушники, отключите мобильные телефоны, остановите свои мерседесы. И люди мгновенно выполняют волю правителя. И никого не ущемит мое слово. И моя золотая любовь. Но так повелеть – неправильно. Ошибок не надо. Чудес и ошибок. Все идет само по себе. Хорошо, когда новое входит во все прежнее и не меняет его. Как я в детстве обнаруживал себя по утрам. И главное – люди знают, что я ничего лишнего делать не буду. Они спокойно и молодо просыпаются от нирваны. Значит, был смысл, когда народ ее предпочел. Бобров говорил на пленуме, засыпая, и потом, при свидании говорил. Сбылось. А он, бедный, остается философом. Стоп. Кто это? Чье лицо мелькнуло в толпе?

Стоило мне помедлить, и сразу такой же ответ. Остановка. Внимание. Индусское дришти. Впрочем, говорить не приходится. Известно заранее. Чье-то лицо. Быстрей вспоминай. Он уже вспомнил. Нет, не Бобров и не Врубель. Он есть и был все эти годы. Я знаю, он есть, и боюсь подумать о нем. Какое дело, сколько нам лет. Мы ровесники. Он, как я, не стареет. Встретились. Посланник. От мамы. Она захотела. Мы близнецы. Но совсем разные. Из разных времен. Антагонисты. Он тоже прошел нирвану? О политике сказано. И о страшном суде. Атлантида всплыла. Надо осчастливить Боброва. Оповестить. Пришел, наконец, – тот, кого милый философ увидел во мне. Сгущение воздуха? Нет, никаких чудес. Он зовет меня, ведет, узнает и сажает в мой золотой мерседес. А там за рулем давно и нетерпеливо дожидается нас его старший брат.

## 2.

Ничего особенного. Дверца моей машины была открыта. И вот братья решили меня отыскать и вернуть. Один за рулем. А другой бродит и всматривается в толпу. Вместо Врубеля – двое. Он отпустил, а они вернули. Младшему определить меня в толпе оказалось нетрудно. Он уже понял, кто я такой. Старший тоже признал меня и уступил мне мое место. Вышел из машины и пересел на сидение сзади. Поедем нормально по утреннему Петербургу. Все приходит в себя, и понемногу небывалое становится прежним. Растворяется в воздухе новая эра. У меня только одно доказательство. Братья – старший и младший. Как они появились, и как сделать, чтобы они вдруг не попросили остановить мерседес.

Везу их прямо к Боброву. Адрес в памяти. Представляю, как это будет. Нет, вообразить невозможно. Опасаюсь ограниченности философа. Молодость видит зорко. А философия творит и не верит в то, что сама создала. Кстати, экзамен в университете. Придется преподавателю объяснить, что Гегель не верил. И доказать очевидностью – существованием тех, кого я везу. Бобров мне поможет. Главное – он. Пятнадцать лет ждет невозможного. Какое счастье оказаться неверующим Фомой и поверить. Как далеко я заехал, однако. Вот уже пригороды. Развязки над головой. Повернуть, чтобы сразу, в тот же миг оказаться у дома на Васильевском острове. Мы были там, и вот смотри – одна только мысль о философе отбросила нас на окраину города. Увлёкся и не заметил.

В салоне тишина и ни единого слова. Как будто братья пропали, не выходя из машины. Проверяю взглядом. На месте. Но младший не пристегнулся ремнем. Еще одно доказательство достоверности. Он волнуется. Он ждет встречи с отцом. Проверить? Нет. Лучше молча. Спросить? Заговорить о Боброве? Боюсь. Оказывается, я его так мало знаю. А ведь он почти мой профессор. В том же университете. Врубель куда ближе, но о нем нельзя... Потому что нельзя в это дело вмешивать маму. Она не выдержит. И она еще так и не сняла с меня свой оберег. Не отвлекайся. Думай о том, что происходит. Разумеется, все не так, это не его сыновья. Незнакомые. Чужие. Нет, не чужие. Они чужие, но те же самые. Вот мой отец бы их сразу признал. А я, слава богу, вновь еду по Благовещенскому мосту. По мосту лейтенанта Шмидта. А вот и Большой проспект.

Пора объяснить спутникам, кто они и куда мы приехали. Как? Попробуйте. Психологическая граница реальности. Не перейти. Надо не объяснять. А прямо втроем. А там будь что будет. У подъезда. Набираю номер квартиры. Простите. Кто? Я тот, кто попросил у вас кусочек белого кварца. Помните. Все. Входим. Лифт. Но я не сказал, что со мной – двое. Старший и младший. Те, кого он слышит пятнадцать лет. В коридоре и в комнате братьев. Его сыновья. Они со мной. Вот я их привез. Опять психологическая граница. На том наш порядок. И в политике так. Проще. Трусость. Да, самое стыдное. Трусость взрослых людей. Слава богу, мы еще молодые. Пятнадцать лет отсутствия мы не считаем. Кто это мы? Пока только я один. Подъезжаем. Пятый этаж. Выходим из лифта. Дверь Боброва открыта.

Он ждет. Он стоит на пороге. Вижу его силуэт. Братья у меня за спиной. Он пропускает меня. А потом – их двоих. Не вижу. А надо бы видеть. В прихожей не включено электричество. Одно только присутствие и силуэты. Свет падает из комнаты братьев. Куда он пригласит нас? В кабинет или к ним? Боже! В кабинет он приглашает меня одного. А им оставляет возможность войти в свою комнату. Они в коридоре – как тени. Пятнадцать лет ожидания. Трусость. А я ведь чувствую – он уже их узнал. А они? Старший и младший. Они вполне узнаваемы. Что они? Что они думают обо мне и об этом чужом для них человеке? Что если... Все, все может быть. А я –

третий. Кого он ждал на пороге. Мы все не знаем, что делать. Я зову их за собой. А они стоят в коридоре, не идут за мной и не входят в комнату братьев.

Да, мы все понимаем правильно. Осталось немного. Прозрачная граница ничтожна. Стоим. Боимся. Все, кроме одного. Да, недаром уже меня прозвали правителем. Я не испытываю ни малейшего страха. Не знаю границ. Могу, наконец, громко сказать. И произойдет невозможное. А ведь я выбрал сторону, где не бывает ошибок. Да, я тот, в ком он хотел узнать своих сыновей. Но вот они рядом со мной. У меня за спиной. А он, войдя в кабинет и обернувшись, продолжает их видеть во мне. Я в белом, и фигура моя хорошо видна в полутьме, на фоне темноты коридора. И в то же время я силуэт. Утреннее солнце бьет в открытую дверь из комнаты братьев. А они там – тоже два силуэта. Ошибок не будет. Я воздерживаюсь. Молчу. Пусть они. Это их дело. Я свое выполнил. Могу, но не ошибусь.

Бобров оставляет меня в кабинете. А сам, дрожа, идет в коридор.

В этот момент я перескакиваю в сознание братьев. Так забавно. Я то в одном, то в другом. То я младший, то старший. Они такие разные. А мне легко перескакивать. Не чувствую никаких прозрачных границ. Труднее вернуться к себе. Перескочил и теперь не знаю, как возвратиться. Ну, запоминать это невозможное состояние. Когда перескочишь назад, уже не вспомнишь, как было. Вот я старший. Мы у чужого, но мне интересно. Когда я проходил в дверь, чужой прикоснулся к моей спине теплой отцовской ладонью. Так меня касается мой отец, на него не похожий. Касается так, и еще больше. Ну что ж? Мне интересно чужое, как свое. Любопытно. Вот я младший. Он, чужой, чего-то боится. И я сам боюсь. Да, я боюсь узнавания. Мой настоящий отец – там, и в этом чужом.

Думаю так, и вот легко возвращаюсь к себе. Оказывается, младший, именно он, позволяет мне перепрыгивать и возвращаться. Он все-таки больше похож на меня. Его состояние ближе. Он последним погиб – в этом все дело. У него даже внешнее сходство. Что? Возвращайся назад. Мгновенно – в себя. В кабинет. И все-таки не могу. Снова я старший. Не понимаю – кто он, чужой, бородатый, невысокого роста. Я ведь был самой первой любовью отца. А сейчас между нами – провал, и перейти невозможно. А почему теплая большая ладонь чужого меня возвращает в самое детство. И этот в белом, владелец машины, прямо как брат мне. Похожи. Но все-таки разные. Как во всем разобраться? Он в кабинете, а чужой выходит прямо ко мне. Берет меня за руку. Чувствую, как он дрожит. Плохо.

Здороваясь. И с одним, и с другим. Гости они или дети мои. А тот, кто за спиной в кабинете. От него что-то зависит. Рука младшего остается в моей ладони. И я узнаю – братья. А что я подумал, когда впервые увидел их у порога? Почему старший и младший. Кто спрашивает – я или тот, в белом, третий из них? Он спрашивает себя самого. А я знаю ответ. Это они. То же разное тепло рук и ладоней. Младший не отнимает руки. Он всматривается в меня. И все эти всматривания бессильны. Я прихожу в себя постепенно.

Быстро, мгновенно и основательно. Лево́й руко́й дотягиваю́сь до выключателя. Вдруг яркий и невыносимый, как приговор, электрический свет. Мгновение. Лица. Дыхание. То, что я слышал. Вижу. Чувствую. Могучие спины. Как вас много. Я постарел. Родные. И почему он, младший, так долго держит руку в ладони моей?

Узнают или не узнают? Разбредаются по квартире. Заглядывают в комнату матери. Чужие бы не стали узнавать и заглядывать. Я, например, ничего не хочу. Знаю заранее все, что есть в этих комнатах. Видел, забыл, но знаю прекрасно. Бобров прислушивается и сравнивает с тем, что слышал все эти пятнадцать лет. Философия и ночные шаги. Шевеления. А вот еще немного, и зазвучат голоса. Пятнадцать лет. А теперь... Похоже, но все немного не так. Заново или впервые? А я опять сижу в его кабинете за круглым столом и на том же месте. Даже стул не был придвинут к столу. Тогда я встал и его отодвинул. Бобров так и не обнял своих сыновей. Побоялся. И теперь сидит напротив меня. И между нами, как прежде, на столе кристалл белого кварца. Мой отец положил и оставил.

И вдруг я чувствую – он понимает, что за это время, за эти дни мир изменился и меня почему-то признали правителем. Работает мысль. Он видит, что мне это вовсе не нужно. Какая сильная личность. Он в такую минуту остается философом. Понимает и прислушивается к шагам в коридоре. Он ловит здесь какую-то мне совсем не известную связь. Между мной и шагами. Другими, впервые такими за все эти годы. Одно и другое. Бобров остается Бобровым. И теперь я тоже прислушиваюсь и пытаюсь понять. Уйти не могу – Бобров не пускает молча, одним только взглядом. Братья или не братья? Как мы оказались втроем? Это расскажут они, когда я уйду. А пока. Да, да. Говорю глазами, отвечаю себе самому – правитель не правит, а поправляет. Вот они все осмотрели, входят в комнату братьев и прикрывают за собой белую дверь.

Теперь все как было последние годы, пятнадцать лет. А за дверью тихо. И туда мы не входим. Кажется, там нет никого. Бобров спокоен. Привычно. Возвращается в прежнее свое состояние. Вот вернулся. Но мы оба знаем, что уже все изменилось. Может быть, так лучше. Иначе старое сердце не выдержит. Возможно. А я не подумал об этом. Если что, после такой ошибки жить невозможно. Сиди. И не двигайся и не мешай. Ты молодой. А то есть вещи, которые уже поправить нельзя. Братья откроют белую дверь и выйдут. Они совещаются. Они тоже молодые и не знают, как поступить. Вообще-то они старше меня. Или мы ровесники. Не имеет значения. Как видите, мое присутствие необходимо. Но мы здесь, они там. Думаем одинаково. Редкий случай. Тихо. Такая минута. Здесь замешана смерть.

Бедный Бобров. Белый. Седой. Погибли, ушли один за другим старший и младший, и вот сразу вернулись. Перескакиваю. Вот я Бобров. Скорей бы они кончили совеща́ться. Но ясно: их трогать нельзя. Им сейчас нужно решить, как получилось, что они пошли искать владельца машины. Как они вообще оказались вместе. Ведь отцы у них разные. А они почему-то – братья. Вот

они говорят. Может быть, мы случайные люди в толпе. Наши родители живы. И они другие. Совсем другие. Но сейчас об этом нехорошо вспоминать. Мы познакомились, когда ты отыскал владельца машины. Ты догадался. И не ошибся. Кто же его не знает? Он правитель. Он только что проехал тогда мимо нас, и мы ему помахали вслед. И вдруг видим: тот же золотой мерседес. И дверца распахнута. Надо искать.

Бедный Бобров. Он все это слышит из своего кабинета. Воображает, ждет и по-прежнему всматривается в меня. Да, с сердцем у него не в порядке. Это не я, это он замер, не двигается и слушает и как будто бы слышит. Приступа нет. Но вот-вот он схватит, сожмет. Первый раз. Когда первый раз – это страшнее всего. А они чувствуют, что происходит со мною. Тут нужен кто-то, кто мог бы остановить и предотвратить. Нужен правитель. Природа бессильна. Тот, кто собирает людей. Всегда и везде. По счастью, вижу, он сидит прямо передо мной. Белый кварц. И сам он в белом. Как тогда. В наш первый день. Он скажет слово, и все разрешится. Одно только слово. Быстро и сразу. Больше, чем выздоровленье. В них двоих перейдут мои двое. Как? Никто не знает. Приступ уже начался.

Теперь меня спасет усилие воли. Удар. Не дай бог с ним согласиться, признать и впустить в себя непереносимую боль. Не признаю. Моя привычка мыслить и философствовать. Последнее средство. И если сразу. Одновременно с ударом. За миг до него. Поздно. Правитель понял, что поздно. Резкий невольный жест. Они вздрогнули и прекратили. Здесь боль, а там тишина. И это начало. Разрыв набирает силу и нарастает. От младшего к старшему. Вот она. Медленно и мгновенно. Знакома. Знакома. Как хорошо. Боль не переходит к другому. Секунда. И вот все. Боль. Крик. Не слышу. Дверь. Бегут. Нет. Не было. Правитель предотвратил. Опадает вниз. Оставляет меня. Выпускает. Можно еще немного. И я понимаю. Она. Она. Потому что оттуда. И поправляет правитель. Оба чужие сына по коридору вбегают в мой кабинет.

Боль прошла. Приступ не состоялся. Теперь мы все четверо за моим круглым столом. Вбежали, – почувствовали то, что я испытал тогда один в ночном коридоре. В эту секунду на расстоянии, там, далеко, умирал еще один человек. Они рванули, а он уже умер. Думали – я. Нет, он, далекий, спас мою жизнь. Правитель правителем, а все происходит по иным, объективным законам. Вижу их троих, а он, тот, кто ушел, четвертый. Мой ровесник. Случайно мы разминулись. Встреча моя с двумя сыновьями подсказала тебе, что ты уйдешь раньше меня. А теперь ты мгновенно – здесь. Но ты прозрачный. Сквозь тебя вижу корешки Брокгауза в книжном шкафу. А мои сыновья и белый правитель непроницаемы. Каждый из них расширяет ауру, излучает присутствие и тепло. Ауры проникают взаимно.

А тот, кто отдал мне жизнь, улыбается по-прежнему весело. Черные волосы, озорные глаза, длинные тонкие губы. Мы здоровались лбами. Осторожно бодались. Как дети. Трижды. Теперь он возник и стоит за моими детьми. Сразу. Потому что хотел увидеть меня. Думал о том. И теперь черты

его лица дрожат и смеются. Дети как на одной фотографии. Никогда не любил такие. А теперь... они отдают боль и не знают, кто стоит у них за плечами. Правитель в середине. А братья – справа и слева. Они вбежали, а он ведь уже сидел напротив меня. Мансийский поэт прямо за спиной у правителя. Еще немного и положит руку ему на плечо. Белый почувствовал и оборачивается. Нет никого. Младший тоже оглядывается назад. Старший – самый большой из них. Богатырь. Не обернется.

Сравниваю два лица. Младшего и того, кто в белом. Один к одному. И вдруг правитель перескакивает в меня. И я то же самое, их троих и его самого, разглядываю уже иными глазами. Я вижу того, кто у меня за спиной, и понимаю – он отдал мне жизнь и приходит за мной, но увидел всех нас и смеется и пропадает. Белый решает, что делать, и мы опять без него не умеем. Но он во мне, и вот я знаю, что он решает, знаю раньше его. Опережаю. Легкая боль. Нам надо расстаться. побыстрее всем разойтись. И бояться не надо. Мы друг друга найдем. А если даже не встретим, правитель, Павел, поможет. Я называю по именам сыновей. Они смеются. Несовпадение. И я смеюсь вместе с ними. Имена друг друга. Впервые. В кабинете странная тишина. И никто не встает. Я закрываю глаза. Тихая, легкая боль передается правителю. И тот, кто ушел, появляется вновь.

### 3.

Утомительно быть и в себе, и в другом. А то и одновременно – во многих других. Во всех, кого знаешь и кого еще не узнал. Утомительно. Может быть, это и есть формула смерти. Но для нее в будущем свое время. И вот она уже сейчас – формула – переброшена мне. Почему-то воображаешь, и оказывается – точно. Оно так и есть. Но сразу не охватить. Впиваюсь пальцами в круговой выступ темно-лилового полированного стола. Почему нет скатерти. Белый кварц отражен полировкой. И чем больше я впиваюсь в дерево пальцами, тем яснее становится кварц. Он слегка розоват и непроницаем, как тело мое. Обломок. Белый сон. Холодный. Густой.

Согреваю камень в руках. Пытаюсь. Нет, он греет меня. Вернее, прохлада камня вбирает мое тепло. И мне показалось. Включаю пузатую лампу на круглом столе. Через проволочную основу и кисею абажура достаточно света, чтобы насквозь видеть этот синеватый розовый кварц, который кажется белым. Он из Индии. Он для Боброва – нирвана. И даже не смывая внешняя пыль горной дороги, откуда он взят, греет южным теплом. Неужели там и горы и скалы состоят из этой не озаренной зернистой породы. Наверно. А может быть, нет. Край обломка – непроглядная жила розового гранита или другого, уже драгоценного камня. От него теплый ответ, а сам он – затемнение для нездешних сияний, которые пронизывают белый зернистый кварц там, на горной дороге.

Дети Боброва, каждый, берут и недолго держат камень в руках. Младший – поднимет его к лампе на уровень глаз. А старший – разглядывает, склонив



голову набок, и потом осторожно кладет камень туда, где он лежал. Наконец, Бобров подвигает его к свету и всматривается в нирвану. Обманчиво. Неподвижно. А по существу – в том и состоит бытие Готамы. Нет, не люди – бог создал нирвану. Какой бог? Живое Ничто сотворило свое подобие в бытии. Люди поверили и придумали майю. А на самом деле все и всё переходит друг в друга. Небытие беспокойно. Вот я набрался мужества, непонятого молодым. Сейчас, в эту минуту, я понял и разгадал. Но ведь им, троим, далеко до этого счастья. Пожалуй, только он, мой белый, он, мой правитель, в себе собирает и заранее испытывает подаренный мне остаток жизни. Спасибо, дети. Мои сыновья.

Идет разговор. Философский. Утренний. Прерванный пятнадцатилетием раньше. А я как будто подслушиваю. Дети поддерживают его. Схватывают налету. Новые термины. Последнее слово. Прощальный доклад. Что? Неужели они тоже были на пленуме. Вот преимущество пресуществления. Было бы иначе, если бы они возвратились. Пришлось бы удивляться и догонять ушедшее время. А теперь за нашим круглым столом оно как будто бы не прерывалось. Время. Он мысленно все эти годы говорил со своими детьми. И теперь продолжает. Но ведь они живые. Отвечают ему. Для него – как будто не уходили. А для них и в самом деле – не было перерыва. Речь идет о нирване, которую предпочитает народ. О погружении и всплытии Атлантиды. Знакомо. Но без повторений. Присутствию. Вставляю слова. Незаметно. Младший ревниво поглядывает на меня.

Кто они – братья? Философы? Бизнесмены? По годам чувствую – ровесники мне. Старший – постарше. Младший моложе. А сложить и поделить пополам, получается мой, никому из них не известный возраст. Откуда у них философские знания. Читали книги Боброва. Но, кроме того, специалисты или просто умелые собеседники. Сомневаясь, Бобров поглядывает на меня. Еще и еще раз – какая сильная личность. Вести такой разговор и не взорваться ни разу. И не сорваться. Пытка из Достоевского. Жить между верой и неверием – уже целый час. Не только весь этот немислимый срок. А я? Что я могу удостоверить – моим присутствием или отсутствием. Какой здесь возможен ответ? Бобров знает и без меня. Ответ верен? Вот почему я здесь, вот зачем я за этим круглым столом.

Младший все больше и больше раздражается и страдает. Он проговаривается. Он технарь. Такого не может быть. До перерыва, пятнадцать лет назад, все обстояло иначе. Итак, ни одного дня не прибавилось, и все изменилось? Бобров, отвыкай. Пользуйся подаренной жизнью. Она реальность, и все по законам реальности. Младший единственный хочет, чтобы я встал и ушел. Не беспокойся. Уйду. Но как же они – сын и отец? Вот старший тоже проговорился. Он композитор. Он ради консерватории бросил аспирантуру по физике. Только что. Но судьба его уже не изменится. Бобров прерывает разговор о нирване и об Атлантиде. Молчание. Братья. Вы друг друга не знаете? И не узнали сегодня утром? И не станете узнавать? Как великодушно. Помолчим. Еще помолчим. В кабинете светло.

Кабинет Боброва тоже выходит во двор. Напоминает комнату моего отца. Вообще все друг друга напоминает. Все недвижимое, и неподвижное, и живое. Сказать или нет, что мы, Сабуровы, ныне в старой квартире Боброва? Неподалеку. В двух шагах от него. Зачем волновать? Мы пришли. А почему – сами не знаем. Все трое невольно думают обо мне. Как понять наш утренний замысел? Я бы не мог ответить. Благословение Врубеля. Музыка. Программирование. Загородная ферма. Коровы. Птицы. Дом престарелых. Золотой мерседес. Говори только об этом. А не о том, как Атлантида всплывает. Уже всплыла. Но в замысле – тайна, и ее легко разгадать. Утренний отраженный свет бьет в большое окно. Один из братьев может меня заменить. Младший. Открытие для меня.

Замысел в том, чтобы люди перестали бояться друг друга. Пространство и расстояние между ними растут. И ничего страшного. Такова тайна. В одно прекрасное утро, внезапно, как сегодня, сесть вот за этот круглый полированный стол. С желтой пузатой лампой и абажуром. И подержать в руках обломок белого розоватого с гранитным затемнением кварца. Подержать и погреть. А потом опять положить его на середину стола. Я, в сущности, привез их сюда – за этим камнем. В нем одном разгадка и тайна правления. В нем, а не во мне. И пусть она останется тайной. Даже для младшего, который уже вроде бы ее разгадал. Он моя первая радость и победа моя сегодня. Вот я уйду незаметно, а он заменит меня. Он раздражается. Правильно. Он уже нашел однажды меня. Хорошо. Найдет еще раз.

И вдруг я чувствую, что в меня проникает незримо тот, кто умер внезапно утром и отдал философу остаток жизни. Отдал – значит надо войти. В кого? Он избирает меня. И я согласен его принять и согласен, чтобы он притаился во мне. И немногие знают, что, если такое случается, всю душу охватывает непонятная радость. Младший пока еще не испытал. Ревнует, раздражается и чувствует, что со мной происходит. Как хорошо согреть в себе сознание жизни, только что отданной чужому на расстоянии. Вот она, отданная жизнь. А он сам по себе. Он входит, и я его принимаю. А потом он уйдет, и мне будет больно. Перетерплю. Потому что в душе останется добрый след. Кто принял, найден природой. А тот еще в белом камне. Избирает и переходит в меня. Проникает незримо. Потому что я тронул его. Раньше других. Участь правителя – утром и днем жить без ошибок.

У Боброва еще никогда не было такого семейного круга. Трое взамен двоих. А она? Другая, но где-то рядом. Тоже взамен. Когда-то Иову, испытав его, бог подарил других детей – взамен тех, кого, по договору с Господом, погубил Сатана. Он, Иов, умер – насыщенный днями. И вроде бы не проклинал мир и не хулил Творца за то, что погибли его первые дети. Бобров не такой. Он уже ничего не прощает и не должен прощать. Его право. Потому он философ. И я как правитель, признаю право его никому не прощать гибель детей и страшную, в муках, смерть любимой жены. Господь и не ждет от Боброва прощения. И все-таки посылает ему нас – четверых. И еще одному великому разрешает отдать Боброву остаток жизни. И трогает мир красками Врубеля. И держит на расстоянии трех незнакомых друг другу отцов. Матери тоже еще друг друга не знают.

Книгу Иова я читал и многое помню почти наизусть. Вот поправляю то, что о нем рассказал Ветхий Завет. И то, что мой предпочитаемый Карл Юнг за Господа ответил Иову. Отцовское горе – поправка и подсказка всему бытию. Мать моя не теряла сына. Она всего лишь боится меня потерять. Но горе отца ей знакомо. Откуда? От Врубеля? Или от Скрябина? Старшего надо спросить. Вот он за нашим круглым столом. Исполнитель Скрябина и продолжатель его в космическом житнетворении. Как Юлиан, сын моего любимого Скрябина, погибший уже после смерти отца. Но он жив и мог бы ответить, откуда моя мама знает отцовское горе. Я теряюсь. Но сразу одолеваю себя. Я тот, о ком напрасно тревожатся. Я не погибну.

И только подумал, все они сразу на меня посмотрели. Даже младший, которого зовут Михаил. Тезка другого. О том, другом, я тоже могу вспомнить и рассказать, но о нем уже написаны книги. Он сейчас раздвигает и одолевает нирвану. Он тоже где-то здесь в кабинете. Почему братья вдруг одновременно вздрогнули и повернулись ко мне. Тезка – технарь – в эту минуту понял, кто он такой. Ну что ж, программирование поможет правителю. Нет, не поможет. Михаил заменит меня, когда я, спасая других, избегну преждевременного перехода. А может быть, не избегну. Вот почему взглянули. И все подумали так. Но Игорь Бобров опять почувствовал приближение, шевеление и шаги в коридоре. В таком семейном кругу она, смерть, вновь подступала к нему. Философ почти физически видел. Она не имела образа и подступала. А он все равно смотрел – на меня.

Бывают минуты, когда нужно тронуть особый, неприкосновенный запас человеческих сил. Он есть в любом человеке. Благодаря ему, ты живешь и обладаешь сознанием. Это серьезно. Он – бессознательное. Но вот он есть, и ты сознаешь. Пересилить этот источник сил невозможно. Трудно его обнаружить. Потому он, как правило, остается нетронут. Но ты сознаешь себя, и это знак того, что он есть. Чаще всего искренняя молитва приближает к нему. К его белой полупрозрачной поверхности. А внутри что-то мерцает. Вбирает в себя твое живое тепло. Еще немного, и раздвинется плоть минерала. И ты почерпнешь оттуда любое количество сил. По-моему, такое не удавалось еще никому. Но бывают минуты, когда это сделать очень легко. Обычно сознание отступает. А могло бы отважиться.

Вот минута настала. Выхода нет. И отвага уже не нужна. Легко и доступно. Никаких шевелений и коридорных шагов. Зачерпни и перебрось ему эту силу. Вот зачерпываю и не знаю, как удержаться. Как взять оттуда самую ничтожную долю. Не больше – не меньше. Как не ошибиться. Правильно. Точно. Первый раз в жизни. Перебрасываю. И, оказывается, умею. И не надо учиться. Все есть. Бобров оживает. Взгляд его меняется понемногу. Оказывается, мы смотрим друг другу в глаза. Без отрыва. Ты понял, философ? Это самая ничтожная доля. Дальше – беспредельный простор. Понадобится – еще зачерпну. И не только сила – сознание переходит. Чувствуешь? Как прикосновеенье руки. Отцовской ладони. Вот как мы породнились. В одну минуту спасения. Точно. Легко.

Братья смотрят на меня со страхом и недоумением. Как я решился на такое безумие. Привезти их с собой. Поставить отца убитых детей на самом пороге. Открыть ему тайну, о которой он, философ, и думать не мог. И в отчаянную минуту сразу рвануть невозможные силы. Родить в себе и перебросить ему. Вот младший уже вроде бы не может меня ревновать. Он заменит меня, когда я отойду. Это его дело – спасти моего родного отца и Боброва. Да, и его. В иную минуту. Когда не будет меня. А его отец и мать, о которых мы ничего не знаем. А могли бы узнать прямо тут, за нашим круглым столом. И так – бесконечно. И это возможно. Вот очевидно. Прямо у нас на глазах. Нетронутые силы мои не имеют конца. И теперь. Когда они обнаружены, все станет совсем по-другому. И прежде всего – со мною самим. Все. Хватит. Случилось. Произошло. Падаю – головою на стол.

Поток сознания, безумный поток, ясен тому, кто плывет в этом потоке. Воля шамана, того, кто умер и отдал остаток жизни Боброву, хотя другом поэта-шамана был мой отец. Шаман побыл во мне и теперь уходит незримо к своему другу, моему родному отцу. Там он останется долго. И по каким-то приметам отец его опознает. Вот уже, чувствую, опознает. Мой отец и моя мать любили шамана. Когда они поймут, что его нет, они поневоле впадут в нирвану. Вот впадают. А я здесь, неподалеку от них, вывел Боброва из погружения, и его чужие дети понимают и одобряют меня. Они знают, и старший и младший, и Федор, и Михаил, и технарь, и композитор, понимают и знают, что они, совсем чужие, становятся в эту минуту его кровными родными детьми до конца дней. И после конца.

Вот мы сидим. Уже давно пора уходить. Но мы остаемся. Боброву надо работать. Он никого не задерживает. Никого не просит остаться. Но мы осознаем, что нельзя нарушить счастливое самочувствие того, к кому подступала смерть. Она подступит, если он усомнится. А теперь, после того, как он вернулся, любое сомнение уже невозможно и философия не нужна. То, чему он отдал всю свою жизнь, уходит, а он счастлив. Дети вернулись иначе. Я возвратил их. Теперь Боброву надо понять и объяснить, как все это произошло. Само счастье работает в нем и гонит прочь его философию. Сомнение. Логика. А он в потоке сознания. Поток становится все яснее. Удержать его не может никто. Нужно плыть и поправлять себя в этом потоке. Философия новой эры. Не уходите. Побудьте еще. И мы остаемся.

Счастье молодости в знании и в незнании. Как это – формулой? Вот юность могла бы знать, но она отказывается. И я тоже должен сейчас отказаться. Но я не могу. И это внешне делает что-то со мной. А на самом деле – Михаил, попробуй коснуться меня. Бобров, однако, протягивает мне дрожащую руку. Тянет мимо белого кварца, прямо ко мне. Дрожь не от страха, а от чего-то другого. Я не спешу ответить. Что это? Неужели сомнение? Хочешь почувствовать сгусток силы правителя? Но ведь уже ты все испытал. Больше нельзя. И большего не дано. И все-таки, тут же, за столом, глядя мне прямо в глаза, тянешь ладонь. Ошибка – пожатие. Ошибка – отказ. Я встаю и вдруг опираюсь на плечо Михаила. Да, он совсем иной. Он преобразился. Он как будто со сейчас больше похож... Прекрати. Замри. Забудь. Миша, протяни ему в ответ свою руку.

## 4.

Я на ферме. Один. Без Михаила и Федора. Я должен решить важный вопрос. Не относящийся к ферме. А, по правде, основной для моего предприятия. Здесь я правлю три года. И уже такие успехи. Думается, что из ячеек, подобных этой, мы могли бы составить новую страну. Все меня узнают. Здороваются. На ходу обсуждаем кое-какие дела. Ловлю себя на том, что принимаю решения, совсем не вникая. Все приходит само. Но почему-то без меня за последние сутки ни в чем не могли разобраться. Говорю то, что никому в голову не взбрело. Просто и примитивно. Почему я? Почему никак нельзя без меня? Полдень. Уже два дня в такой ситуации. Плохо.

Захожу в коровник. Надо немного побыть одному. Особый приятный запах навоза и отборного корма. Чистота безупречная. Надпись над каждой коровой. Все хорошо. Но меня поражает сегодня единообразие. Каждой корове есть место, где можно стоять и лежать. Кто-то лежит, но большинство – на ногах. Стоят и жуют. А в помещении светло и просторно. Все правильно. Попробуй, однако, постоять и полежать с вывеской над головой и перед желобом, полным свежего корма. Вдруг чувствую, что я не разбираюсь во всем этом деле. Коровы терпят. А я бы не смог. А если я не могу, так делать нельзя. Ничего не придумали нового. А они, глазастые, все понимают. И глядят они отчужденно. Покорно и безнадежно. Протягиваю руку. И вот моя любимая Суламифь мотает головой и гневно переступает. Вижу – не отвечает любовью.

Но я так люблю шумное травяное молочное дыханье коров. Особенно задержанный выдох. Мокрое зеркальце носа. Как у теленка, только большое. Медленный пахучий язык. Огромные черные ноздри. А над ними глаза Герыбогини. Свобода. Поле. Трава. Стоило – не только отдых. Оно должно быть как поле. А мы завели порядок. Ясно, чего мы хотим от коров. И рогатым тоже понятно. И они презируют коровник. Даже на время ночного сна и дневного покоя. Вынуждены стоять и ложиться в отведенной ячейке. Вынуждены слушать симфонии Моцарта и «Времена года» Вивальди. Шумно вздыхают и отводят в сторону головы, глаза и рога. Суламифь не прощает легко. Два дня сюда не заглядывал и, как видно, пока еще ничего не придумал. Но что говорю? Правитель. Здесь не бывает надежд. Приходится пережевывать. И отворачивать голову.

Заболоцкий. «Торжество земледелия». Моя любимая вещь. Есенин. «Песнь о хлебе». Она, по замыслу, еще сильнее, чем «Песнь о собаке». Везде одно и то же. Коровы – наши сестры. Нам помогают. Молоко – любовь. Стадо – необходимость. А человек – изначально греховен. Коровы прощают его иногда. Но сегодня все они – как моя Суламифь. Чтобы они простили, надо с ними побыть у кормушек. Стоя с другой стороны. И выключить Моцарта. Я научился уже давно смотреть вокруг себя – к самому себе недоверчиво. Такое понятно. Постоишь целый час. Коровы с удивлением посматривают. А потом привыкают и ложатся одна за другой. Пережеывают и, проглатывая,

отправляют обратно. И вот подают себе новую жвачку. Новый обратный глоток полевой травы. Мирно вспомнили и простили.

Я не жалею времени. Стою. И пока мысленно повторяю особые коровьи молитвы, никто из людей уже не подходит ко мне. Знают, где я, и не подходят. Все дела потом. А теперь то, что нельзя отложить. Безмолвие храма. Вот, кажется, восстановлено то, что невольно разрушено без меня за последние четверо суток. Никто не стоит в коровнике и не просит прощения. Только правитель. Один. Стоит. Ждет. Но им, рогатым, сегодня в храме достаточно меня одного. И я не священник. Они – божества. Они предвидят события. И, если ты бескорыстен, пожалуй, поделятся пророческим знанием. Попробуешь молока – победишь, а иначе погибнешь. Сказка. Языческий новый завет. Ипостасный. Сюда бы Федора и Михаила. В чистоту храма. Но так получают прощение в одиночку. Суламифь, Суламифь...

Братья расстались. Прощанье со мной и друг с другом. Я их приглашал. Они отказались. Пошли пешком – каждый к себе. Каждый – сам по себе. Я успел им сказать про ферму, когда мы спускались по лестнице. Тоже пешком, а не на лифте. Потому что у парадной пожали друг другу руки и разошлись. Хотели объяться, но не решились. Объятие связывает – на минуту, а потом надолго. Но Михаил, опять ревниво, на пороге сказал: «Поспеши. Коровы тобой недовольны. А я снова тебя отыщу. Не говори где. Догадаюсь». Так он сказал. И оттолкнул меня от себя. Знакомым прикосновением сильной руки. Я сел в мерседес. Они помахали мне не прощанье и разошлись в разные стороны. А я долго сидел и не мог завести машину. Молчал, как сейчас перед моими коровами. Продолжаю молчание. Почему-то уверен: Бобров работает. А я? Суламифь, белая с красным, богиня с белой звездой на лбу.

Дело ширится. Уже сейчас небольшая империя. Нет, не империя. Возобновленный потерянный рай. В разных местах-филиалах. Милтон рассказывал, как Христос победил Сатану. Искушение хлебом. Искушение чудом. Властью. Правлением. Я отнюдь не Христос. Но последнее искушение, как ему, выпало мне. Он победил. И я побеждаю. Христу предложено было поклониться Противоречащему. А мне всего лишь принять особую роль, без которой люди не могут. И я соглашаюсь. Но так, что, получив эту роль, свободен, как прежде. И не правлю, а поправляю. Коровы по-своему чувствуют, что это значит. Немецких черно-белых уже разрезают красные, которых давно хозяева уничтожили, зарезали в те, хрущевские времена. Вот они снова. Их больше и больше.

Красных буренок любил на этюдах писать мой дед, художник Сабуров. Делаю понемногу так, чтобы мой коровник мог стать его незримым этюдом. Уже сейчас, несмотря ни на что, здесь тепло и уютно. Черно-белых сменяют красные. Вон их сколько. Унылую ночь побеждает заря. Вижу, как он пишет потерянный рай в моем интерьере. Он согласился бы здесь поставить мольберт и на меня бы взглянул благодарно. Почему отец мой редко заходит сюда? Мама вчера отказалась поехать. Краски Врубеля здесь не нужны. А вот звуки Скрябина, фортепьянная музыка, были бы лучше Моцарта и Вивальди.

Мысленно включаю прелюдии в исполнении Софроницкого. И вот разбужена психология моих рогатых красавиц. Федора нужно сюда. Теплое живое исполнение собственных поэм и прелюдий.

Вижу: кормушки исчезли. Пропало однообразие рядов. Свободное лежбище-отдых. Давно пора в поле. Припозднились. Тот, кто меня сменяет, укоризненно покачивает головой. Догадывается там, пока идет по одной из улиц утреннего Петербурга. Оттуда видит меня и мою Суламифь. Черно-белые облака. И красный восход. Михаил узнает живописную гамму возвращенного рая. Впивает, приглушая уличный шум, сонаты Скрябина и фортепьянные откровения брата, запредельно точные и короткие. Он грезит, раздумывая и погружаясь, нирвана побеждена. И мы друг от друга никуда не уходим и не отдаляемся от первобытного, от языческого и того, изначального счастья. Враг повержен. Бери предложенное и превращай в торжество сознания и сыновнего управления жизнью. Многое нужно понять, но главное сделано. Суламифь тянет зеркало в ладошку мою.

Читать ее мысли – великое наслаждение. Воистину рай. Ничего не делаешь, а занят, как никогда: открываешь какую-то невозможную книгу, тонешь в темно-синем океане зрачка. Божественный глаз, прикрытый недвижными черными, человеческими ресницами. Глаз – огромный зрачок. И когда он доверчив, душа ликует, не умею сказать, радуется исчезновению всяких границ, потому что есть глубина и черный, темно-синий покой. И по ту сторону головы – такой же глаз. А вот они оба направлены прямо к тебе. Ничего не делай, уж если тебя так полюбили. Восстановлено все. Целый роман пережит и уже не тревожит изменами и непостоянством. Трава не древо познания. И, слава богу, ничего не грозит. Потому что все испытано и молодое, и в тебе самом – счастливо и любимое.

Вот куда бы я хотел увезти мою маму. От Врубеля и от шестикрылого серафима. К моему деду. И вслед за нею сюда бы согласился явиться и снизить мой отец. Да, снизить. Потому что он снисходит ко всему, чего не знает. Об отце – несправедливо. Неправда, но я так думаю иногда. И не ошибаюсь. В том, что надо так думать. Отцу это нужно. Рай существует. Отцу и писателю в равной степени пора это знать. Рай существует всегда, его не обязательно возвращать. Надо вернуться в него. Так просто. И это в запасе. Люди знают. Потому и бродят вокруг. И не возвращаются. Нужно поправить. Забыли дорогу. Не спеши уходить. Суламифь поднимает подбородок и дышит любовью. И все религии ничто перед этой. И ты, если даже потянет куда-то, не отходи далеко.

Я люблю эту незримую книгу первого откровения. Второе, третье уже неточны и содержат большие ошибки. И чем позднее, тем больше. И вдруг чувствую – какой-то комок подступает к горлу. Как у того, кто ждет последнего часа. Моя Суламифь, ты уже простила. А теперь уйду. Прощай ненадолго. Она переступает копытами и не может лечь. Грузно и невозможно. Многие легли, а она на ногах и вытягивает шею и голову. Я не слышу звука, но она замычала. Со стороны посмотреть – безумие, трагедия времени. И все-

таки я возвращаюсь к ней, боюсь подойти. Она понимает. И уже, переступая, кричит в полный голос. Предупреждает. А я знаю все, но комок отходит от горла. Не бойся. Ты видишь, и я не боюсь. Кто-то не может вернуться к началу. А я – готов, нежно и как всегда. Но мы почему-то – простились. Мычит. Зажимаю уши ладонями и ухожу.

Четверо суток. Почему? Я ведь не был два дня. Перепутал? Но как я мог позабыть? Не в моем характере. Мой Рабле ни разу ничего не утратил из памяти. А Сервантес ошибся, по крайней мере – однажды. Потом затерил. И не исправил. Санчо у него до сих пор едет на отсутствующем осле. Нет, мне уже легко разобраться. Четверо суток, потому что я готовился, а оно произошло в эти дни. Два дня ожидал, а потом случилось. Мерседес мне нужен только затем, чтобы сюда приезжать каждый день – после университета и других, уже политических дел. А в эти два дня политики тоже хватало. Братья и посещение Боброва. Не будь политики, никогда бы такое чудо не совершилось. Они узнали правителя. И потому легко отыскали. Слышу, плачет моя Суламифь. Голос любви, какой не было никогда.

О той, другой, которая любит, – ни слова. Суламифь не ревнует. Потому что это совсем другая любовь. Не первая и не вторая, а вовсе другая. Молчу. Не говорю даже мысленно. Рабле одобряет меня. «Пантагрюэль» – роман о любви. Знакомый ответ. Центр везде, а окружность нигде. Вот он – совет, жениться Панургу или совсем не жениться. Понимаю. Отвечают глаза. Два дня отсутствовал, а прошло четверо суток. И сейчас мычит, потому что я ухожу. Не ревнует. Предупреждает. Будет измена. Жениться не надо. Но я ведь люблю. Нет, какая любовь. Тебе не изменят. А ты уже изменил. Думаю об этом целое утро. Мама вмешалась. Отец ничего не знает. Потому и пишет свою Атлантиду. А где же она? Центр везде, а окружность нигде. Она ушла от меня или нет? Не знаю. Безумие.

Иду. Иду. А коровник – не удаляется. На самом деле – стою. Как? Почему? Люди вокруг. Идут к церкви. Праздник сегодня. Много детей. Колокола перекрывают плач Суламифи. Удивительный колокольный звон останавливает меня и не дает мне уйти. По-моему, ясно. Вот, не нужно правителя. Но тут – все меня знают и узнают. А я забыл, что теперь и везде, повсюду обнаруживают и находят меня. Ферма. Тут, по крайней мере, не собираются группами и не смотрят мне вслед. А в Петербурге моем... Голгофа. Гибель. Очень серьезно. Если бы все оказалось выдумкой, сном или метафорой из романа. Закрыть. Уйти. Понемногу. Шаг за шагом. Стоя на месте. Осознаю. Гибель моя длится уже четверо суток. И два дня, как я догадался об этом. Суламифь. Подожди. Подожди. Колокола приговаривают меня к новой голгофе. И я согласен. И я готов, как всегда.

Ладно. Успокоился. То, что вокруг, не влияет. Все дело в характере. Как бы не так. Голгофа не просто любовь к тому, что нужно спасти. И не только одно спасение. Другое, совсем другое. Больше, чем это. Понимаю. Никогда из таких ферм, как моя, даже если они займут и покроют всю землю, все пустыри, не получится новой страны. Что-то в ней самой непонятно. Коровы



тревожатся. Не понимают. И я сам лишь делаю вид, что разобрался во всем. Безошибочно – это не значит: понятно. Измерение или намерение? Что я хочу и что делаю? Все решено за меня. Происходит внезапное и незаметное преодоление. В Петербурге, на фермах и на всех никем неизмеренных пустырях и болотах. Пространство не замечает, а время трудится и уже потрудилось.

Ко мне подходят и что-то мне сообщают. Прямо здесь. На дороге. Недалеко от коровника. И на расстоянии от заброшенных деревень и полей. Что-то важное. Произошло. Не вникаю. Заранее знаю. Предусмотрел. Удивляются. Безошибочно. Просто, как дважды два. И никаких усилий, долгих расчетов. Мы независимы. Исчезла основа. Не надо никого принуждать. Напрасно ждать инвестиций. Люди другие. Распределятся как надо по всем просторам заброшенной, проданной и непроданной российской земли. Вот исходя из этого я предвидел и обезвредил наше банкротство. Большие запасы. Ферма уже понемногу стала другой. Не заметили. Все в порядке. Но мои коровы тревожатся, потому что чувствуют изменение к лучшему. Как его пережить. Переждать и пережевать. Без меня.

Суламифь, если я сейчас вернусь и мы простимся, как надо, и все так и будет, мы не увидимся больше. Не зови меня. Колокола торопят. И я слышу и возвращаюсь. Медленно. В мой изначальный храм. Согласен. Поправляю отсюда. А Суламифь, меня увидев, успокаивается и ложится. Если она спокойна, все наладится. И все предусмотренное будет в порядке. Можете не сомневаться. Если решение принято, паника отменяется. Политики смехотворны. Газеты. Плакаты. Лидеры. Суетитесь, доигрывайте последние роли. Теперь, когда я вернулся, я могу пропасть на два и четыре дня и на сорок дней. Могу не вернуться. У каждого своя роль. Моя – в самом начале. Коровник – последний храм, где об этом не знают. Но в мире, слава богу, спокойно. Минута, когда я услышал, и не ушел. Она решила. Минута. Она решала. Бывают минуты, когда нельзя уходить.

## 5.

Политическая ситуация – апокалипсис. Хуже и хуже. И чем более незаметно, тем ужаснее. Выход из нирваны и неотвратимое всплытие Атлантиды – это и есть окончательный крах надежд и мечтаний отца. Объясняю, пока веду мой золотой мерседес. Объясняю себе самому, пока на улицах Петербурга, там, за машинным стеклом, люди все понимают иначе. Правителя нет. Инвестиции кончились. Дефолт. Запад взбесился. Армия изменила нынешней власти. Перешла на мою сторону и пока не знает, кто я и где. Россия распадается глыбами здесь и там, и в Европе, и за Уральским хребтом. Четыре дня. События незаметны.

Объясняю. Аналогия. Мне грезится, что я только что родился. И вот я младенец. Еще не вижу, не слышу. Но сохраняю мое нынешнее сознание. То, которым обладаю теперь – за рулем. Ничего более страшного. Поверь, лучше

очнуться живым и зарытым в землю. Там хотя бы можно совсем не дышать и себя задушить. Кончить, потому что все кончено. А тут – впереди целая жизнь. И не прервать. Нет сил и решимости. Обречен терпеть эту муку. Мгновенья. Часы. Дни. Годы. И десятилетия. Целых два. Пока не сровняется двадцать шесть моих ныне прожитых лет. Все понимаешь и терпишь. Ужас. Вот мы в таком положении. И пока еще не догадались понять, что происходит. Однако... По сравнению с этим голгофа – легко переносимая боль. Вот к чему предназначен тот, кто побеждает нирвану.

Если тебе удалось отключить сознание – слава богу. А не удалось – плохо. Пытка. И нет ей конца. Потому что это всего лишь начало. Но оно повторяется. Группы на улице. Улыбки. Узнавания и надежды. Отец работает. И я не знаю – может быть, это все воображенье отца. И стоит мне сделать крутой поворот, – уже записано там, на бумаге. Непонятно. Что прежде, а что потом. Я или он. Пишущая машинка или машина и улица. Вижу. С ужасом вижу – папа не поспевает. А в это время от России отваливается очередной континент. Граница воображаема. Люди. Люди... Что с ними? Ликуют. Приветствуют. Еще немного – запрыгают, как в Египте и в Ливии. Как в Нью-Йорке, Лондоне и Берлине. Достаточно одного жеста. Кивка головы. Из машины. Ответной улыбки. Отключай сознание. Поправляй. Не тормози. Не выходи навстречу Михаилу и Федору.

Как же – не выходи. Вот один. А вот и другой. Мелькнули в толпе. Далеко друг от друга. Почему я проехал мимо? Почему не успел? Останавливаю машину. Приоткрываю дверцу и жду. Люди сторонятся. Перед машиной пространство. Правильный полукруг. За ним собирается много народу. Порядок – сам собой. Никаких полицейских. Центр тишины. Ожидают, что я скажу. Молчу. Потом говорю. Объясняю. Вы меня перепутали с кем-то иным. Ошибка. Не верят. Молчание. А тишина вокруг нарастает. Ошибка. Ошибка. Еще и еще. Напрасно. Теперь нужны другие слова. А эти мои – тонут, и никто их не слышит. Ошибка ваша. Вот услышали. Приняли. Только одно. То, что я не могу ошибиться. Остальное – вновь потонуло. Ждут. Правильно. Видимо, я скрываю себя. Конечно. Согласны.

Я открыл дверцу машины. Как я ее закрою теперь? Ну, прямо-таки слова из «Песни песней». Тоже о любви, о свидании. Ожидая двух братьев. А вон их сколько. Вы что? Братья и сестры мои? Все равно. По преимуществу молодые. Пропускают вперед пожилых. Уважительно и легко. Я кое-кого узнаю. Ну, еще и еще раз. Откуда я возникаю для них? Почему и зачем? И как мне закрыть опять полуоткрытую дверцу машины? Выйти нельзя. Ничего не сказать – невозможно. Где Федор и Михаил? Они бы явились и что-то сказали. Здесь они. Где-то в толпе. Но это и не толпа. Люди стоят просторно и тесно. Пробраться можно. Зову их по именам. Пожилые оглядываются. Кого пропустить? Повторяю вполголоса. Громче не надо. Уж если все началось, ни единого неверного жеста. Жду.

Шум понемногу слышнее. Гудки. Отдельные возгласы. Кто-то не понимает. Пробка. С той и с другой стороны. Уж такой Невский проспект. На

той стороне заметили. Присоединились, перекрывая движение. Очень похоже. Предполагаю. Ничего не могу поделать. Шум отдаляется. Гудки затихают. Опасно. Малейший ненужный звук или слово. И все взорвется. Но тишина заразительна. И она спасение для меня и для всех. И для Михаила и Федора. Где они – в какой тишине? В моей или в той, что настала? Михаил не выдержит. Федор его не найдет. И не удержит. Гремучая смесь тишины. Понемногу назрела. Вот политика. В древних Афинах так замолкали. Или в поле перед началом сражения. Михаил. Да, Михаил. Подходит к машине. Открывает заднюю дверцу. Безмолвие. Он садится. Дверной хлопок. Федор огибает машину и влезает ко мне с другой стороны.

Теперь можно отъехать. Куда? К матери и к отцу. Моему. Похоже на сказку. Выдумка да и только. Мама должна разобраться. Но это политика. Чувствую. Понимаю и признаю. Михаил – моя партия. Федор – искусство. Музыка – в нем. Пейзажи моего деда – со мной. Роскошные краски Врубеля вновь мелькают за стеклами. Руль опять кажется прозрачным опалом. Да и сам он, Врубель, уже много раз показывается в толпе. Справа. Почудится и опять. Бобров постигает новое счастье. Пишет книгу о том. Отец все это воображает и создает понемногу. Мама одна предчувствует что-то ужасное. К ней бы надо заехать и себя показать. Вот я. А вот мои братья. Но руль сам собой повернул по другому пути. Михаил и Федор не говорят ничего. Значит, их воля. А я выруливаю. Окраины Петербурга. Мимо фермы. Простор.

Дорога свободна. Пробок нет ни одной. Киевское шоссе. Какое-то чудо. Утро над ровной до горизонта распахнутой и нераспаханной пустотой. Как во сне иногда справа и слева мелькнет одинокая церковь. Ни одной коровы. Избы разваливаются на глазах. Как будто неощутимое землетрясение или невидимый смерч. Братья мои переговариваются о чем-то. Федор, обернувшись назад, спрашивает Михаила. Он отвечает. Меня как будто бы нет. Но мерседес приближается к цели. Медленно. Править не нужно. И нечего поправлять. И кажется, можно оставить руль и безопасно лететь по этой ровной дороге. Но братья надеются на меня. И я делаю свое дело. Чуть вправо, чуть влево. Куда? Зачем? Почему с такой быстротой? Знают они. И я могу подумать и понять, что это значит.

Редкие встречные. Грузовые. Полсекунды. Никто не успевает взглянуть. Обнаружить. Узнать. Мгновение. Снова простор. Пешеходы попрятались. Видимо, ничем не покрыть и не одолеть равнину, ее неоглядную даль без леса и деревень. То, что есть, просто не замечается. Мы летим навстречу какой-то особой, невидимой шири. Вот-вот покажется. Но она убегает за горизонт. Братья нашли общий язык. Договорились. Посматривают на меня. Обмениваются улыбками. Отвечаю глупой усмешкой. Не понимая, в чем дело. Неважно. Иногда правильно ответить усмешкой, не выясняя вопрос до конца. Поворот. Как будто знакомый. И Михаил и Федор согласны. И я почему-то знаю. Киевское шоссе у меня за спиной. Мы как будто бы приземлились. Каждая кочка, неровность новой дороги отдается в машине. Пустота. Горизонт вокруг. Вот мы у цели.

Дорога исчезает. Она становится ровной землей. Ориентиры потеряны. Только солнце над головой. Останавливаю. Странно и страшно, когда мы все трое, нагибаясь, выбираемся из машины одновременно. Прямо Кафка, если бы не было страшно каждому из троих. Глядим друг другу в глаза. Узнаем и смеемся. Что узнаем? Ситуация требует слов. Да. Опять я. Да. Она. Даже здесь. Та же самая. Уж если и впрямь все проясняется, нужны поистине крепкие нервы. У меня одного. Нет. У музыканта и математика – тоже. Они уже много дней, как вошли в мою партию. Но партии нет. Потому что все, обнаружив меня, готовы без лишних формальностей влиться в нее. Где угодно. Мы это видели. Там, но только не здесь. Вот наш первый совет. Никто не услышит. Никто не примет участие.

Еще раз обменялись улыбками. Взглянули друг другу в глаза. Поняли. Они в моей, в единственной партии, воображаемой, виртуальной, только затем, чтобы найти, обнаружить и обезвредить меня. Тут самое место. Видно, что на поверхности и просторе вокруг нет никого. Обезвредить меня, и вот оказывается – я не такой уж и вредный. Мы даже побратались и побывали у воображаемого отца. Ничего такого. И никто не узнает. И они, родные, близкие, догадаться не могут. Пишут. Воображают. И не знают, где я. А эти – мои побратимы... Политические. А вы знаете? Я открою вам тайну. Я заранее понял, откуда вы появились. Как вы друг друга нашли и как отыскиали меня. Знаю. Такому, как я, легко догадаться. И теперь вам труднее, чем я ожидал. Новая эра. Напрасно. Все по-другому.

Я всматриваюсь в зеленоватый необозримый простор. Небо ровное, без облаков. Но синева незаметно белеет. Пока еще синева. Голубизна. Солнце выше и выше – над невидимой далекой последней изгой, до которой мы не доехали. В груди и в душе – спокойно. Вот оно – длится, длится, и может еще и еще, пока не оборвется внезапно. И это все просто. Я мог бы объяснить отцу моему – Сабурову – и Боброву. Просто, потому что ничего нельзя изменить. Политика – время, и тут ничего не поделаешь. Но вот загвоздка. Время прошло. И я ничего не боюсь. Как младенец, который усыпляет в себе сознание взрослого. Оказывается, такое возможно. Оно засыпает и может совсем заснуть. И все произойдет незаметно. Как эти смерчи и распады. Смерть хорошо устроена. Естественно и природно. Даже если вдруг обрывается жизнь. Мгновение боли. От рук побратимов.

Сколько мне остается? Не знаю. Будет еще разговор. Или сразу. Не все ли равно. Прежде было бы горько и больно, потому что не все увидел, не все пережил. А теперь – по желанию открыто любое. И ближнее, и далекое будущее. И с тобой, и с другими. Горечь и боль для такого, как я... Виртуальная тень. А тут, где мы втроем, нет предметов, которые порождали бы тень. Кроме нас и машины. Предметы. Один из них пропадет. Неживой ляжет на землю. А два других исчезнут мгновенно вместе с машиной моей. И не останется ничего. Никого. Недвижное тело. И только. Предвидел. Знал. И все-таки на что-то надеялся. Не хотел. Но другие хотели. Хотят. Ожидают сейчас. В тайне от них мои побратимы оставят меня здесь одного, на этом просторе. Михаил заменит меня. Для них. А Федор...

Вот я сравнялся, уподобился моему отцу и Боброву. Больше. Смерть ко мне подошла ближе, чем к ним. Даже Бобров не может ее поймать по ночам. А я вижу наглядно. И она видит меня. Двумя парами глаз. Что смотрит она? О чем ее последние мысли? Она есть, пока происходит. Она совершится. И вот не будет ее. Федор по памяти сочинит свои двенадцать прелюдий. Михаил займется политикой. Нужен правитель. И никто не заметит подмены, замены. Вот новая эра поглотит моих побратимов. А теперь. Стоят и думают обо мне. Как начать. Как приступить. Продумано. И все-таки... Невозможно. И никто из нас троих не двигается, не говорит и не дышит как будто. На самом деле я свободен. И смотрю им прямо в глаза. И тому и другому. Они затаились. Недвижны. Порознь выдыхают. Потом опять.

Ладно. Я забываю о них. Время – перебросить матери все, что осталось. Кажется, она поняла, что происходит. Что может произойти. Поняла, что нельзя добраться ко мне. Предусмотрено и продумано. Шепотом сообщает отцу. Он как раз пишет об этом. И вдруг узнает, понимает сейчас, что это не выдумка. Останавливает руку над клавишей. Верит, что остановит событие. Но ему ли не знать, что политика иногда превыше всего. Замер, как мои побратимы. Бобров... Лучше не думать о нем. Он не чувствует своего тела. Мечется в кабинете и в коридоре. Он понял, кто его сыновья. Не надо. Не надо. И только Врубель гуляет в толпе. Пропадает и появляется. В глазах – безумие. Краски его пригодились. Он легко раздвигает людей и бежит неизвестно куда. Вижу, вижу, куда он бежит. Он ведь благословил. Где я? Он безнадежно ищет моего и своего шестикрылого серафима.

Федор и Михаил вплотную подходят ко мне. В руках – ничего. В глазах – решимость. Разница есть? У математика и у музыканта. Одна и та же? Одна или разные? Да или нет? Решимость одна, если она такая. Всегда и у всех. Кто на это решился. Ну, интересно – что они будут делать. Кто первый подымет руку? Один подымет, а другой станет у меня за спиной? Согласовано или стихийно? Спросить? Но ведь все через малую долю секунды. Слово не нужно. Любовь не поможет. Правитель бессилён, когда он один на один. Против двоих. Братьев – друг другу и мне. Побратимов. Сыновей тому, кто ждал их пятнадцать лет и дождался. После того, как один за другим они уходили туда. И кто-то им тогда помогал, как они сейчас помогают. Господи. Все мы одной крови. И легко переходим друг в друга.

Михаил, правитель, не может пошевелиться. Кто-то другой рядом с ним. Такого же имени. Мы чувствуем одинаково. Тот, невидимый, подымает руку и кладет мне ее на плечо. Усмехаюсь и ощущаю прикосновение. Михаил это видит. И пропускает мгновение. Миша ему помешал? Откуда я знаю? Почему спрашиваю? Кто он такой? Нет никого. Но прикосновение остается. Неужели преграда силе, которая не знает преград? Миша и Михаил. Федор – свидетель. Мелодия. То, что почти невозможно. Запоминай – композитор. Но Михаил вспоминает право живого. И опять не знает, как начинать. Приготовленное – мелко, ничтожно. И к тому же Павел глядит не моргая. Тот, у кого нужно и можно взять его непонятную власть. Он дышит легко и свободно. Он усмехается. Он чувствует прикосновение.

Да, я и в самом деле забыл, что я Павел. Они оба никак не умеют помочь. Михаил подымает руку. Я гляжу ему прямо в глаза. И в эту минуту готов избавить его от страданий. Но как? Если я ничего не боюсь. Как избавить? Помочь? И вдруг чувствую – не хочу умирать. Не хочу, да и только. Но ведь это не шутка. Ничего не боюсь, коснуться его плеча. Миша тронул меня. И я откуда-то ощутил. Почему бы и мне... Второе мгновение проходит. Удара нет. Федор у меня за спиной. По тени вижу – протягивает обе руки. Надо решать. Кому? Решайте. Порог перейден. И не важно – был удар или нет. Но я поворачиваюсь боком и отбрасываю в стороны одного и другого. Две тени отшатываются вправо и влево. А я стою. Раскинув руки, стою. Зеленый простор. Прозрачный воздух. Все то же. Горизонт. Рядом со мной тень от машины. Мы вдвоем. Нет никого. Миша тоже исчез.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### А Т Л А Н Т И Д А

#### 1.

Говорят, был священник. Не знаю. Не видела. Павел тоже с ним встречался всего один раз. Там. У Боброва. Катерина Ивановна тогда увела сына. И не подымалась на пятый этаж. Священник и восточный богатырь так и не могли увидеть ее. А потом оба вышли вместе и пропали. Куда – неизвестно. Где-то есть. Может быть, встретимся. Но почему мой Павел подчинился матери? Знаю – он подвез ее к дому и потом уехал один. Откуда подробности? Не все ли равно? Воображаю. Должна догадаться. А кроме того... Не помню – говорили на улице. Правитель все-таки. Писали о нем в Интернете.

Перечитываю Платона. «Критий». Описание Атлантиды. Экзамен по философии. Боброву. Павел, наверно, тоже читает. Сказка. Но ведь он практик. Правитель. Его придумал священник. Ладно, вообразил. И Павла, и Катерину Ивановну, и побратимов. Но меня-то уж во всяком случае никто не придумал. Надо прислушаться к себе самой. Обыкновенная девочка. Студентка. Нет, не обыкновенная. Во-первых, никакого сленга. Несовременная. Все говорят, а я отвечаю без этих словечек. Не люблю. И не выделяюсь. Пока никто не заметил. Жить можно. Характер? Тоже никто не замечал. Павел один. И, по-моему, Катерина Ивановна. Ревнует сына. Думает, я так легко отступлю. Сейчас к делу. Экзамен. У меня гипотеза. Платон ведь не дописал диалог. Ответную речь Сократа. О всплытии Атлантиды.

Об этом потом. Напишу. Отредактирую. Покажу правителю. И не буду скрывать. По фиг другие. А у Павла сократовский ум. Я так думаю. Он оценит мою античную сказку. Почему-то, я решила, Бобров тоже оценит. Павел

прикольный. Хороший парень. Совсем не такой, как придумал священник. Разумеется, он скорее среднего роста, но все же высокий. Белая челка на лбу – ерунда, и я догадываюсь почему. Но ближе, ближе. Красивый, а глаза – как у Сократа. Удивительно. Брову об этом ни слова. Он строг на экзамене. Издевается над студентом. Нас не любит совсем. А у самого, у старика, шишковатый лоб. Глазки, усы, борода. Все, как надо. Гипотеза. Критий о погружении, а Павел о всплытии. Бобров посмеется. Хороший ответ. Создам. Отредактирую. Покажу.

А на самом деле все это – несерьезно. Важно только одно – отношения. Отношения. Живу одна. Мать умерла. Отца не было. Мама не рассказывала. А я решила. Знать не хочу. Миниатюрная, маленькая девчонка. Лишние дары нам ни к чему. А у меня их много. Скрываю. У Павла таких нет. Он другой. Готова и буду скрывать. Он видит. И его не волнует. Он занят. Он все время занят. Отношения для него ничто. Но он помнит, что они есть. И остаются. Приходит ко мне. Видим друг друга. Сидим в моей двухкомнатной, с большой стеклянной перегородкой. Нам хорошо. Только видим. И только сидим. Все остальное – слабость. И ничего остального нет. И это нормально. И такое чувство, что все уже было. Несовременное. Об этом я никому рассказать не могу. А мы понимаем друг друга. Нам хорошо.

Отплытие. Впереди – остров Цитеры. Ватто. Мы совпадаем с Катериной Ивановной. И потому она боится меня. Маленькую. Миниатюрную. Ватто – мой любимый. Врубель – опасен. Говорят, он появился. Бродил в Русском музее. Его заметили. Но он опять пропадает. Павел встречал его и рассказывал мне. Мы посмеялись. Но теперь такое вполне реально. Граница параллельных миров. Прозрачная, как эта перегородка. Между комнатами в квартире. На стенах у меня – ничего. Никаких украшений. Полочек. Вазочек. Не люблю. Только в гостиной. Прямо над зеленым диваном. Небольшая картина Сабурова-старшего. Как она оказалась? Павел принес. Эюд. Повторение. Сферически изогнутый горизонт. Желтое поле. Снопы. Снопы. Красная крестьянка в белом платке. Согнулась. Ищет колосья.

Она потеряла красный платок. Вернулась на знакомое место. Ищет. Никак не может найти. И будет искать вечно. И неподвижно. А платок у меня. Вот он. Красный. Целыми днями одна гляжу и гляжу на него. Подарок Павла. Откровенен всегда. А про платок не говорит ничего. Тайна. Кто-то ищет. А он у меня. И рассказывать нечего. Тайна тайн. Катерина Ивановна знает. Искусствовед. Но она не ведает главного – где, у кого мой красный платок. Надо, чтобы она его мне отдала. Но как это сделать? Чтобы отдать, надо иметь. Надо знать и согласиться. Разглядываю. Прячу. Вновь вынимаю. Иногда – при нем. Когда он придет. Приходит. Глядит. Уходит. Вновь оглядывается. И вот – вся моя жизнь. Вдумываюсь и плачу одна. Плачу и прячу. Смешно. Большие окна. Стеклопанельная дверь на балкон. После смерти мамы никогда не открывала ее. Павел порой открывал.

Ничего себе миниатюрная. Чуть повыше Павла. Тоненькая. С большими глазами. Фигурка отличная. Плавание. Бег. Вот и все. Таких, как я, не

замечают. Правда. И слава Богу. Зато я знаю, в чем тайна вечной женственности. В сострадании. Говорю прямо, потому что способна всему сострадать. Убийцам и поджигателям – тоже. Мне их жалко. Заговорщиков, политиков, боевиков. Даже тех, кто задумывал против Павла. Партийное поручение. Сели в машину. Поехали в поле. Зашли с двух сторон. Он их оттолкнул. Бежали. Пошли за священником и богатырем. Поэтом. Что делать? Утратили добродетель. Во время всплытия Атлантиды. Павла могли убить, а я сострадаю. Антигона. Жена правителя. Если б вы знали. Катерина Ивановна. Для меня – человек, а не грешник. А для вас? Не испытали.

Сострадать – не значит простить. Грех остается грехом. Даже в помыслах. Или в замыслах. Сострадание – мука. Простить – упростить. Лицемерие. Правитель не страдает. А я свободна. Всего лишь будущая жена. А сегодня вечером... Сама по себе. Сама и для себя самой. Вот вечная женственность. День за днем. А я не жалею. И, слава Богу, никто не жалеет меня. Павел уверен. Или, быть может, у него нет ни одной свободной минуты. Завалит экзамен. Или экзаменатора? Я помогу. Положу перед ним текст воссозданной речи Сократа. Об Атлантиде. А он вынет его из кармана. И прямо даст его почитать Боброву. Это ведь не шпаргалка. Такое возможно. Придумываю. Сочиняю. Клонирую. Платон умер и не дописал диалог. Многоточие – смерть. Представляю. И даже тут – сострадание.

Боюсь. Кто-то не доживет и не прочитает Сократову речь. Ее нет. А я слышу голос. Понимаю по-гречески. Перевожу. А потом опять забываю. Выдумка или простой перевод? Из параллельных миров. Документ или гипотеза? Делаю по любви. Мне все равно. То, что происходит сейчас, огромно. Попробуй, охвати состраданием и любовью. Получается. Тайна тайн. Красный платок. Еще и еще раз. Вглядываюсь. Вот несколько пятен. Как будто кто-то взял рукой, испачканной в саже. А вот прожженная дырочка. Попадание искры. А вот еще и еще. Подымаю. К окну. Держу на просвет. Почти прозрачный. Станный. Вот-вот исчезнет. Кто-то потянет из рук. Было когда-то. Кто дал, тот и возьмет. Фантазии. А правильнее сказать – моя современность. Глупею. Не слышу голоса. Не понимаю по-гречески. Позабыла мой перевод. Платок в руках. Разгадка растаяла.

Вдруг поняла. Хочу родиться. Вот что ищут и чего не могут найти философы, поэты, филологи и проповедники. А больше – священнослужители. Тот, кто выдумал бессмертную душу, родиться не хочет. Он уже родился. Не ведомо как. Неважно. Только бы сохранить то, что явилось однажды. А по правде – наоборот. Вот я, например, хочу. А у меня еще целая жизнь. Божество рискнуло – приоткрыть изначальную тайну девочке. Потому что забуду, как утренний сон, и не вспомню. Ошибка. Я не забуду. И для себя, и для Павлуши, и для тех стариков. И для экзамена по философии. Найти бы священника. Также скажу. Потому что сама испытала. Сегодня. А ведь Атлантида не сон. И все как-то связано. Вечная женственность. Проще. Я родиться хочу. Но чтобы я родилась. Именно я. Впервые.



Открытие. Мужское. По роду и полу. Перехватила у них. Сама того не желая. А, это начало Сократовой речи. Вот и разгадка. Он так бы мог начать свою речь. И дальше говорил бы о всплытии Атлантиды. О том, что она захотела родиться. И потому ушла под воду сама. Боги тут не при чем. Сначала нирвана. Потом погружение. Да, да. Именно так. Побороть все желания. Кроме того одного. самого страшного. Родиться опять. Не продолжить себя. Не воскресить, а родиться. Мой Сократ ничего. Кое-что узнал окончательно. Демон ему подсказал. И он перестал быть Сократом. И до сих пор не родился. Вот почему диалог оборван. Это мужская боль. Я родилась. И опять хочу. И узнала, потому что хочу. Девчонка. Феврония. Китеж тоже ушел в глубину. Там продление. А моя Атлантида – заново. Та же – другая.

Надо Павлу сейчас. Я бы могла ему объяснить. Слышу греческий голос. Перевожу и не забываю. Компьютер. Электронная почта. Пишу. Переспрашиваю. Пальчики мои дрожат. Сократ не записывал. Жутко. Слова-иероглифы. Главное – как понять. Аристофан прав. Облака. В каждом слове и над словами. Кому пишу. По какому адресу. Не женское дело. Но как быть, если вместо него, Сократа, заново. И вот опять, опять и опять. А эта жизнь – подарок. Павел. Павлуша. Правитель. Рука набирает какой-то адрес. И отсылает. Сама собой. Вот я и сделала то, что глупо. Кажется – окна стали еще больше. Во всю стенку. Солнце. И в лучах утренний дождь. Льет. Пропадают кроны. Красивые пятна осенних деревьев, купы в белом тумане ливня. Хорошо. Холодно. Шум оглушительный. Снова солнце. И вновь ослепительная акварель. Чувствую. Павел. Одновременно.

Обе комнаты меняют окрашенный интерьер. Зеленые. Фиолетовые. Оранжевые. За окнами – радуга цветовых изменений. И в комнатах радуга. А я в ней. Хочу потрогать журнальный столик. Полированный. Желтый, Красный. Снова зеленый. Отражает листву за окном. Трогаю. Неподвижен. Удивительно. Кажется, дышит. Ливень густеет и становится синим. Все как сквозь лиловое, голубое стекло. Трепет и страх снаружи. А в комнатах – молчание и согласие. Живая подсветка. Милый покой. Нирвана жилья. Пробуждение. Вот бы так уйти и родиться. Получается. Нет никакого столика. Журналов. Полированных книжных полок. Полет. Комната – прозрачная капелька синего ливня. Шума. Нет ничего другого. Миллионы раз. И до сих пор мы не поняли. Просто. Маленькое движение, и отброшен мой страх.

Несовременно. По-гречески. В переводе. Доводы. Рассуждения. Вопросы к себе самому. Да, только Бог знает, что лучше – оставаться или уйти. Где лучше? Апология. Но Платон слышит иного Сократа. Он понял, что в начале всего. Оно. Самое лучшее. И не уходить, и не оставаться. Родиться. Одному и тому же. Одновременно. И это все – мой Павел. Правитель. Мы поменялись ролями. Он правит. А я понимаю. Созерцаю. Падаю каплей дождя. И снова падаю. Откуда? Снова и снова. Не одна за другой. А вместе. Рядом. Целое облако. И навстречу всплывает моя Атлантида. В тумане ливня

очертания зданий. Выходит не из воды, а отовсюду. Омытая. Преображенная. Разноцветная. Они пожелали. Захотели родиться. Никто не упорствует. Вот новое сгущение синей сиреневой бури.

Силлогизмы едва поспевают. Вопросы. Улыбка. Усмешка. Платон и Сократ. Вопросай меня. Феврония отвечает. Китеж всплывет. Город умерших. Город рожденных. Рядом Смоленское кладбище. Вымытое насквозь. Река Смоленка. Дождевая буря идет по земле, а не падает с неба. Они погибли. Испытают крещение и возвратятся. Их омоет синий шквальный порыв. Пауза. Обрывается речь. Платон опять умирает. Чувствую. Он снова не довершил. Да он еще и не начал. Надо быть Готамой, Сократом, Христом, чтобы сказать первое слово и довести до конца. Комнаты вновь мерцают радугой разных цветов. Лиловый, фиолетовый, синий, красный, оранжевый, желтый. И совсем золотой. Солнце ровно, спокойно озаряет паркет, журнальный столик, застекленный стеллаж. Почти добирается до картины Сабурова, но тень от шторы укрывает ее. А краски в тени греют и горят еще ярче.

Белый кварц. Красный платок. Атлантида. Павел – правитель. А на самом деле просто необыкновенный студент-бизнесмен. Лидер партии. Популярный, к несчастью. Не хочет править ни партией, ни страной. Избегает всех. Скрывается. Мерседес – его последняя и ненужная слабость. Живет и запрещает себе счастье любви. А все знают – он жив. И вот его чуть-чуть не убили. И хотят повторить. И межпартийные замыслы. Втайне от большинства. И против него. А он легко разрушает любые затеи. И ничего не боится. И не хочет быть на виду. Ливень смывает замысел. Павел уходит. По моему совету. И там избегает. И все удается. И он чист, как радуга. И сегодня. Особенно близок. Прошумел и ушел. Счастье. Слезы мои смыты. Вода. Красный платок передо мной. Белый кварц глубок и прозрачен.

Сократ молвит. Я отвечаю. А теперь он волнуется и сам произносит ответную речь. А я удивляюсь, как он это может. Фраза простая. Один и тот же прием. Эллипсис. Он пропускает слова и оставляет самые важные. Люблю такое. Пора пробовать новый язык. Пробуют многие. И не слышат со стороны. А я издаю. Слышу и понимаю. Но ведь не только это. Новое многословие. Потому что в начале. Дальше не знаю и знать не хочу. Ливень промоет и прояснит. А мой философ предвидит. И я улавливаю тайный смысл. Речь совсем не годится. Перевести невозможно. Пишу. Пустые буквы, как промытые камни. Прозрачных мало. А мне, девчонке, нужны абсолютно прозрачные. Разноцветные. Сократ улыбается и, волнуясь, подбирает прежние мраморные слова, чистые от ливня и соли прибора.

Суть его речи в том, что люди перестанут бояться мягко и незаметно размывать грани сознания. И скоро совсем очнутся и, не опасаясь, достигнут предела. Души, тела без границ. Или очень прозрачно. И все верно. И все так происходит. А он побывал за пределами. Оттуда видно как на ладони. И почему-то никто из юношей не может отважиться. Интуиция девушки. В Петербурге. Той, что хочет не только любить, но и родиться. Подумай –

преодоление границ. Это замысел Зевса. Как ты думаешь, не лучше ли жить по законам верного всплытия. Не правда ли, так будет лучше. Нирвана – путь к Атлантиде, которая прямо у вас на глазах. Или я ошибаюсь? Да, он улыбается. Кудри усов, бороды – приоткрывают улыбку. В самом деле – что-то особенное. Перестаю отвечать. Умолкаю. Перевожу. А за стеклами окон – призрачные дома. Листва. И кто-то идет по асфальту.

## 2.

Была бы кошка. Или собака. Нет, он оставляет меня одну. Еще бы. Надежно. И несовременно. И на расстоянии. Кто я? Сольвейг? Чем она занята целую жизнь? До седых волос. До потери зрения. Об этом не сказано. Видимо, знаю одна только я. Готова. Жду. Вокруг – особое течение времени. То медленно, то мгновенно. И опять по новому кругу. И хорошо известно обо всем, что происходит. И на ближних и на дальних путях. И на просторе. И там. Вдали. От него. От меня. Так надо. Боже. Целый день ожидания. Кто идет вдоль газона по мокрому тротуару? Асфальт – черное зеркало. Оно отражает золото лип. Оно колеблет мгновение каждого шага. Ближе и ближе.

Черный чужой прошел и пропал. Мимо. Целый день впереди. Первый прохожий. Спасибо. А вообще это правильно. То, что люди независимы и торопливы. Ничего не знать. Хорошо. Пропал из виду. Шагнул за край моего окна. И это игра. А я знаю, кто он. Чужой, незнакомый. Гоню от себя лишний дар узнавания. Поздно. Уже не получится. Еще один вошел в мою жизнь. При желании вспомню. Он торопится каждое утро. В тот же час и в те же минуты. Почему я так спокойно его узнаю. И пропускаю. И забываю. И каждый раз он идет. И это он все равно. Молодой. Черный какой-то. И торопливый. На улице никогда не встречались. Только мимо окна. Вот веселое утро. Но незаметно и неожиданно в Интернете ответная речь Сократа. Уже написана. Жду. Перечитываю. Оказывается, не интересно.

Достоверная речь. Легко заявить. Оно. Попадание. Документ. Буду историком. Точно решила. Наука наук. Но почему-то великое открытие ни к чему не обязывает. А сейчас очень легко. Речи всплывают сами собой. Вот могу еще и еще, снова и снова. Сразу найду живого Сократа. Он скажет: предупреждаю – все придумал Платон. Догадка. Выдумка. Проповедь. Историки воображают, создают, весело и нежно обманывают и не знают: мое открытие достоверно. И незаметно как воздух. Павлу пригодится, но я забыла. Мобильный? Позвонить? Нет, ни за что. Сольвейг. Не забывай. Ты не сделаешь. Неторопливый. Не торопись. Водяные, земельные кольца. Мосты. Возведенные и достроенные. Они на дне океана. И подняты на поверхность. Критий. Сократ. Платон. Вы опоздали. Павел уже не придет. Понимаете? А тот успел добежать к месту работы.

Нет у меня подружек. У Катерины Ивановны – товарищи по архиву. Знакомые. Ровесницы. А у меня одной – счастье. Заранее. Потому что нет

незнакомых. Стоит взглянуть, и сразу известно. А ты сосредоточься и спрашивай себя. И отвечай терпеливо и не торопясь. Катерина Ивановна – родная, о ней нечего узнавать. Она тогда на меня посмотрела. Косым пронизательным взглядом. В Русском музее. Павел сидел между нами. Странное чувство. Она просто не поняла, кто я такая. Случайная или та самая. Похожая на редакторшу. Та, с кем у Павла назначена встреча в зале «Шестикрылого Серафима». Я вижу. Встаю, ухожу. Конспирация. Неважно. Любая. Личная или та, предвыборная. Павла моего еще не узнавали. А уже на другой день... И тогда, в палисаднике, вечером она, мать, разглядела меня.

Странное состояние. Мы сидим на скамье в зале, и Павлуша как будто меня заслоняет от Катерины Ивановны. А она боится, что вот рядом Бобров. Павел у окна по правую руку. А потом вдруг подходит, садится и сидит между нами. Он делает выбор. И мы теперь очень редко будем встречаться. А я... Отныне. Одна. Сольвейг. И я вечером иду к его дому. В последний раз. Нет, не редакторша. Очень похожа. Подхожу. Постояли. Мать, жена и единственный сын. В последний раз. А потом до утра брожу пешком. Он рядом. Об этом ни слова. И уже тогда решалось где-то, что он будет избран. Отговаривать? От нас не зависит. И только одно. Ведь он проводит меня. И назад. Ночью. Пешком. Целый Васильевский остров. По улицам и переулкам. Рискуя. Но это мои страхи. Он благополучно дойдет.

И с тех пор один только раз он позвонил и пришел. Сюда. Мы вдвоем. Ни собаки, ни кошки. Чистота. Пустота. А что еще? Круглые плечи. Или челка на лбу. Или не было ничего. Или кое-что поважнее. Кое-что. И я не могу. Не умею сказать. Яркое солнце. Огромные окна. Кроны лип – свидетели счастья. Или прощания. Дверь на балкон приоткрыта. Подобие смерти. Которой не надо бояться. Но я исчезаю. И возвращаюсь. И осязаю. Сама. Оглушенная. Себя самоё изначально. Мужское. Женское. Не он познавал меня. Как в Библии. Нет. Я познавала. Удивительно. И я вам скажу. Понемногу. Погружение. Всплытие. Память. Потеряно. Возвращено. Тысячекратно. Ближе. Ближе. Совсем нераздельно. Одновременно. Обморок. И у меня, и у него. Подобие смерти. Но я сохранила какую-то связь. Последним усилием. Да. Я ее сохранила и удержала в себе.

Засыпая и просыпаясь, в полудремоте он видел странные, счастливые сны. И я переживала их, сидя над ним. Женское. Мужское. Он засыпает. Она бодрствует. А теперь он видит и понимает, что вернуться нельзя. А ведь это сон о том, как страшное отступило. А самое жуткое, и только во сне бывает подобное, каменная гора сковала тебя по рукам и ногам, и ты не можешь раздвинуть ее над собой, и под собой, и справа, и слева. И главное, ты согласился ее раздвигать и оказался внутри, один, сдавленный камнем, в неудобной позе, не можешь пошевелинуться, двинуть пальчиком руки и ноги. И ты все понимаешь и почему-то можешь дышать и поворачивать голову. И кто-то видел уже подобные сны. Видел. Но вдруг все пропадает, И ты уже не один. И сразу счастье. И это награда за то, что ты согласился.

А ты садишься. Встряхиваешься. Отгоняешь сон. И вновь падаешь головой на подушку. И чувствуешь руку мою. На лбу, на плечах, на груди. Она тоже легко отгоняет каменный сон. И ты опять в полудреме. И ты согласен опять. И счастлив, что повторенья не будет. И вдруг вот оно – прежняя поза. И тот же каменный монолит. И неподвижность. И сознание. И память о том, что кто-то видел уже этот сон. И озаренье. И сам ты его испытал и проснулся. А теперь видишь опять. Бояться не надо. Полежи и подумай. Голова свободна. Было. Было уже. Камень. А почему-то солнце. Большие окна. Светлая комната. Клены, липы за стеклами. Сон. Продолжение усилий. А потом пробуждение. Молодое здоровое тело. Гоген. Продление жизни. Созерцание. Всканиваю без одежды. Как это произошло?

Вижу. Грехопадения не было. Днем. Только днем. Ночью заметят. Больше не будет. И ты поняла мои сны? Поняла. Услышала. Прочитала. Пережила. Но было не так. Нет, все правда. Все явь. И ты это знаешь. А он, другой, такого не допустил. Ну и что? Он другой. И не надо об этом. Я сама понимаю, что это прощание в поддень. А солнце такое счастливое. И ты уже одет. Усилие воли. Быстро. Мгновенно. Как правитель. Смеюсь. Ты уже избран и признан. Или это шутки? Игра? По сравнению с тем, что было. Поднимаюсь медленно вслед за тобой. Не отстаю. А ты позабудь мой каменный плен. И не говори. Ты согласился. Ты был согласен. Это главное. И для меня, и для тебя. Да, я не спала. И теперь не хочу засыпать. Покачиваюсь и не сплю. Все. Не обращай внимания. Мы расстанемся надолго. Солнце – свидетель. А это лучшее из моих дарований – разгадывать сны.

Прощание затягивается. Удастся отодвинуть минуту конца. Я кормлю Павла на моей маленькой кухне. Вообще-то ему есть куда уйти. От отца и от матери. Но здесь он будет у всех на виду. А там – незаметно. И оттуда уйдет. Конспирация. Исчезнет. Место жительства неизвестно. В Москве? В Петербурге? Мы сегодня молодожены. Сами. Где наш патер Лоренцо? Несовременно. Раньше времени. По сути, опережая. Историк знает: время разгадано и обратимо. Кому доступна такая премудрость? Вот. Сольвейг. Феврония. Китеж. Погибший вернется. А я владею секретом. И знанием. И все мы посвящены. Те, кто хочет родиться и может родить. Почему – не знаю. Между прочим, Бобров еще со мной незнаком. Профессор знает меня как студентку. Вернее, узнает на экзамене – через несколько дней.

А ему бы со мной побеседовать о возвращении времени. Павел стыдится кушать. Он очень голоден. Говорю ему о черной материи кое-что новое. Теоретикам неизвестно. А это новый научный метод. Говорю. Только бы слушал. Только бы не кончалось. Чай, буженина. А ведь и я не все открываю. И не открою. Боюсь. Но что удивительно: тайное лучше всего. У Боброва целая книга. Заумная. Верная. А ведь он совсем не владеет моим искусством. Павел – тем более. Оно подарено. И в каждой девчонке скрыто. Колдовство и молитва. Шучу. Могу. И они могли бы. Но они визжат и произносят слова. Роняют свое назначение. А я не страдаю. Это они жалкие. Научить их – дело правителя. Кушай. Кушай. Умолкаю на полуслове. Наглые. А счастье ближе и ближе. Неуловимо. Поймала.

Чаю? Покрепче? Ломтики буженины. Ладно. Возьму и себе. Булка нарезана тонко-тонко. Надо бы три-четыре икорки. Так у бывшей графини. Художницы по фарфору. Она папу твоего приглашала однажды. К себе. Он был еще мальчиком. Ты рассказывал. Тонкие ломтики. Буженина – грубо. Три-четыре красных икорки. Ничего. Я не графиня. Я Феврония. Вещая дева. Шучу. Но почему ты поднял голову и неподвижно глядишь на меня? Ты хочешь сказать, что я побывала в том времени? Пустяки. Возможное, как правило, в яви не происходит. Я нарезаю тонко. И шучу, шучу. Умолкаю. Павел очень изящный. Русский характер. Вспомнил Катерину Ивановну и ее рассказ о серебряном рубле и о том, как дед его потерял. Перескакивает мысленно. Врубель в машине. Побратимы. Отодвигает хлеб и тарелку. Пора. Или еще немного.

Первый наш и последний день. Семья. Первое и последнее утро. Мы муж и жена. Небольшая ранка на левом колене. Когда он сидел без одежды и мотал головой. Ничего. Сама заживет. Но я ее обработала спиртом. Прижала марлю. И долго держала. Просила, чтобы он не вставал. А он стыдился и мотал головой. И тут я заметила белую челку на лбу у него. Почему она пропадает и опять появляется? Глупый вопрос. Попробуй сама ответить. А пока обрабатывай ранку и не спрашивай. Марля отпала. Вот он в кухне двигает стул. Встает и уходит. И не может уйти. Стоит на пороге. Можно спросить – о другом. Ну, собери свою мудрость. И я собираю. О вечном. Он отвечает. Не помню сейчас. Только одно: ответы знаю заранее. Улыбается. Подтверждает. И внезапно уходит. И вот я одна. Одна и одна.

Так было. А теперь уже третье утро. И такой же день ожидания. Третье утро. Синий ливень. Солнце. Точно такое. Продолжается разговор. Как твоя рана? Какая? На левом колене. Прижимаю марлю и жду. Все в порядке. Не включай телевизор. Вообще придется вырвать его и вырубить навсегда. Узнавай обо мне иначе. Не узнавай. Сольвейг сумеет. Люблю его движения. Наклоняет лоб навстречу. Глядит исподлобья. Подожди. Что он сказал напоследок? Или что я отвечала ему? Внезапно. Что-то не сказано. А! Свежая ранка от камня. От монолита. От каменного мешка внутри неподвижной горы. Что же? Он все-таки задел, когда просыпался. Было такое движение. Но это память о том, что во сне. Многие раны пропали. Следы монолита и неподвижности. Отеки. Садины. Все пропало. Эта осталась.

И сейчас я сжимаю виски ладонями, сидя на той же кровати. Покачиваюсь вправо и влево. Почему я свободна? Что? Неверно. Каменный сон – про меня. О том, что мне остается. Одновременно. Ближе и ближе. Или наоборот – все дальше и дальше. Падаю головой на подушку. Мычу. Рыдания запретны. Он видит. Он может услышать мой неожиданный вой. Неужели я так способна завить, мыча и мечась головой на подушке. Тогда, во сне, он все-таки оставался один. А теперь... Вот он забыл на журнальном столике черную флешку. Запись чего-то. Нет. Правитель не ошибается. Там. На всякий случай. Что-то важное. Прячу и забываю. Опять вынимаю из полированного письменного стола. Вынимаю. Смотрю. На всякий случай. Предсмертное. Или признание. Все потеряло смысл. После того, что случилось, и когда он проснулся и отогнал свой каменный сон.

Вспомнила. Возвращаю. Минуты прощания. Осязаю. Женское и мужское. Но если ты хочешь вернуть, не пытайся выразить словом. Помимо слов. И тогда вернется. Но я не умею. Называю предметы. Хотя бы так. Нет, не дает полноты. Нужны глаголы. Нужна вся моя речь. Возвращаю и что-то могу изменить. Полезно. Моим секретом никто не владеет. Просто. Измени там хотя бы один предмет или глагол, и все изменится в будущем. Открытие. Серьезно. Многих можно спасти. Поправить судьбы. Даже в мире, куда Павел ушел. В жизни государств и народов. Пойми, какой миг. И как это сделать. Вот о чем нужно ему сообщить. И чтобы никто не узнал. Как? По мобильному? Нет, нужно глядеть друг другу в глаза. Исподлобья. И чтобы я трогала плечи. И видела челку. А он затаил бы дыхание.

Полированный стол. На нем нет ничего. Компьютер на другом, узеньком столике. Черном. Книга на кресле. А стол как темное зеркало. Можно увидеть себя. Всматриваюсь. Различаю. Попробуй, верни время. Как только думаю – не могу. Нам нельзя расставаться. Открытие за открытием. Ему нужно. А я лишняя. Даже на ферме. Там ждет Суламифь. Смешно. Туда поехать важней, чем ко мне. Суламифь не все понимает. Каждый раз успокаивай. Павел никого не бросит. Одна только я. Да, но о чем? Да. Нельзя разлучаться. Политика. Трудно. И как сказано у Лао Цзы. Ничего не делать. Попробуй. Душа не лежит. Но ум подсказет. Интуитивно. Глупость. Павел оберегает меня. И потом – ему нельзя допустить увеличение персонала. Власть. Цель. Себя свести на нет – вопреки всему.

Возвращаю мгновение. Точно, оно. Удерживаю последнюю связь. Тонкую ниточку. Будет ребенок. И уж этого я никак менять не хочу. Вот зачем я одна. Живи. Жди. Набирай силы. А помнишь, как тогда, она, та, другая прямо сказала. Другому. Она поняла, что это уже началось. И сказала. Будет второй. Господи. От обилия счастья. Первому шесть лет, а второй... Началось. Помнишь? Это с ними. Они жили. Трое умерли. Из четверых – трое. Но ты... Вспомнила? А почему забыла? Это совсем не те дни и минуты. Она сказала. Он был рядом. А я не могу. Ты ушел. Догадывайся. Понимай. Кому говорю? Кому шепчу? Не беспокойся. Ты догадался раньше меня. Когда проснулся. И увидел. окна. Желтые кроны кленов и лип. Приоткрытую дверь на балкон. И полированный стол. И в нем одно мое отражение. А там – надежда отца на мое невозможное счастье. Вынимаю, смотрю, запираю опять.

### 3.

Экзамен прошел. Все было не так. Павел мелькнул, сдал и скрылся. Я не успела ему передать ответную речь Сократа. Бобров разговаривал полминуты. Поставил в зачетку. И простился. Как будто они совсем незнакомы. Да и вообще – Павел на себя не похож. Белая челка исчезла. Впрочем, я видела только в затылок. Никто не узнал. Гипноз. Поздравляю правителя. Он сам научился тому, что я хотела ему передать. Но это вовсе не значит, что можно всегда и везде. На меня гипноз не подействует. Посмотреть со стороны – чужой, как тот, кто мимо торопился утром за окном по асфальту после синего ливня. Помнишь? Еще бы. Нет. Мой Павел. Ты. Без гипноза.

Хороша Феврония. Для меня экзамен тоже мгновение. Подхожу. Протягиваю Боброву текст перевода. Он глядит, перечитывает, кладет на стол, разглаживает сложенные листочки, нагибается к ним, перечитывает еще раз. А потом... Как сейчас вижу. Ироническая улыбка. И в самом деле. Бородка. Усы. Но улыбка заметна. Глаза Врубеля. Понимаю Катерину Ивановну. Разговор невозможен. Все ясно и так. Вижу, вижу, – ставит «оглично». Без единого слова. Но почему-то зачетку не отдает. Открывает и закрывает. Еще и еще. Держит в руках. А листочки с моим открытием – прямо передо мной. Они перевернуты. Могу читать. Могу взять назад. Они мои. Вновь ироническая улыбка. Он отдает мне зачетку. А затем подвигает рукопись. Прямо к моим рукам. Ясно: тут новооткрытый Сократ.

Разглядываю профессора. Франсуа Рабле. Вот на кого он похож. И темные глаза. Дорого бы тот Франсуа дал за мое открытие. Феврония. Фу. Подумай. Стыдно. Рабле так же хорошо открывает Сократа. А профессор перечитывает перевернутый собственный текст. Перечитал. Понял. А теперь. На память. Подарок студентке. Бобров – одно. А Рабле обрадован и взволнован. То, что мне нужно. Попала в цель. Вижу – гипноз постепенно спадает с Боброва. Он озирается по сторонам. Аудитория. Студенты готовятся. Ищет глазами Павла, понимая, что он уже далеко. Покачивает головой. Ничего себе Атлантида. Если нужен гипноз на экзамене по философии. Какое же всплытие? Нужен. Ради разнообразия. Игра и свобода. Легкая светотень. Милая девушка понимает. Молодец. Открытие. Но почему я не написал три года назад?.. Подожди. Она уже мать. От него.

Быстро научились. Играть в незнание. Мы, якобы, друг друга не принимаем. Делаем вид, что не очень знакомы. Чужие как будто. Ведь это игра. Даже глядим друг другу в глаза. Выдерживаем долгий взгляд, и как будто чужие. Зачем это все? Видимо, страх. А чего мы боимся? И, главное, бесполезно. И чуть-чуть неловкое слово, и все. Конец. И нет никакой игры. А мы продолжаем. Конспирация? Для правителя? Хорошо. А ведь играют все. И как будто он заразил. И нам полнубилось. Изображаем прежнюю, вчерашнюю жизнь. Изображаем. Делаем. Но я не согласна. И не буду. Бобров сразу меня разгадал. И еще немного, и мы бы вслух заговорили об этом. Но экзамен. Дальше. И тут я встаю и забираю рукопись перевода. Ладно. Согласна. Буду писать. О себе самой. О возобновлении текста.

Дипломантка Боброва. Как же ты согласилась? Ведь в тебе теперь новая жизнь. Ребенок. Профессор заметил. И ты согласна? Ненавижу себя. Ты играешь в ту же игру. Но ведь все, как я сама захотела. Я решила. Буду историком. И сразу... Получилась игра. А может быть, это неважно. Если шутят. И делают вид. Нет, что-то новое. Наши судьбы и речь Сократа сошлись. Там есть одно место. В оригинале по-гречески очень красиво. Я перевела кое-как. О рождении. И о том, что у ребенка не будет живого отца. И о том, что мой Павел погибнет в сражении с греками. Когда Атлантида всплывет. Сократ знает и говорит. Прямо не сказано. И от перевода зависит. Что-то похожее. И что-то страшное. Переводила и не узнавала. И ни за что не поверю. Бобров поверил. Вот почему я согласилась.



Предупреждение. Обращено прямо ко мне. Оттуда. Время настало. Значит, он тоже любит меня. Если решился предупредить. Возражая Критию в диалоге. Платон умер и не дописал. Он бы не смог. Предпочитая уход в царство теней. Или туда, где умное место. Прообразы. Побратимы. Алтарь Матерей. Все очень просто. По-человечески. Сострадание. К себе самой. Или к себе самому. Но пока еще не случилось. Что же? Опять игра? С кем? С Атлантидой? Подожди. Успокойся. Тогда, на экзамене, все было не так. Тогда до меня не дошло. А теперь. Каникулы. Комнаты. Письменный стол. Воем уже ничего не выразишь. Воем трагедии. Молчание. «Критий» переведен. Запредельно. И окончательно. Полдень. Шум листвы за окном. И я не одна. Я без него. Сократ. Беспощадно. Как может. А он, тот, кто во мне, он, ребенок, только он теперь моя опора и жизнь.

Мать моя была одной из крестьянок. Точно таких, как на этюдах Сабурова Николая. В Русском музее. Дома у Павла я никогда не была. Да там и нет ничего. Все взял Русский музей. И все в запаснике, там, где Катерина Ивановна. Мама кое-что мне завещала. Духовно. Сама не была такой. А мне отдала. Надо разгадывать. Никто не сумеет. Павел подарил красный платок и отступил. А вообще – только он. И совсем иначе – Бобров. Профессор понял. Но созерцательно. И на расстоянии. А Павел уверен во мне. Выдержу и подожду. Легко ему жить моим ожиданием. Нет, недолго и не легко. Что-то одно – постоянное. В душе и в надежде матери. И во мне. Я теперь тоже. И еще более чувствую: истина – то, что в нас. Как ему сообщить. Не только Христос и Сократ. Мать и ее ожидание. В каждой из нас.

Теперь новое время. И вот Феврония остается одна. Фрося. Таня. Галина, Галя. Их уже нет. Какие милые имена. Не умирает мое. Угадайте, подберите его. Я позабыла. И никто меня так не зовет. Прямо – без имени. Я незаметна. Вглядываюсь в воздух малой комнаты за стеклянной перегородкой. Там, в пустоте, мама. Смотрит. И глаза прозрачны, как воздух. Темный в тени, синий прозрачный сумрак зрачка. А на самом деле нет ничего. Одно постоянство и ожидание. Вот что нужно сообщить молодому отцу. Но ты не сделаешь. Ты не тронешь рукой полированный стол. Вообще не войдешь в малую комнату. И не откроешь дверь на балкон. За стеклом. Неподвижно. Подарок от Павла. Целая жизнь. Дышит и ждет.

Она потеряла его. Отняли. Увели. Убили. В самые, казалось бы, лучшие, застойные годы. Говорят. Ностальгируют. Обещанное в программе состоялось тогда. Длилось десятилетия. И должно было кончиться. Хватит. Испытали. Но именно в эти безвредные годы моего отца увели. Не помню. Маленькая была. Два года, не больше. Сабуров-отец хорошо его знал. Писатель, художник. Они хорошо узнали друг друга. И третий. Тот, проповедник, он, кто выдумал всех нас, кроме одной меня. Кроме одной. Он мог бы рассказывать много и долго. О том, как отец выбрал шахту и бросился туда вниз головой. Погиб. А мы остались вдвоем. И в самое лучшее время. Когда люди перестали достигать и, скупая, пользовались дарами режима. При мысли об этом родилась идея правителя. Отца не знаю. Мама одна. Умерла

молодой. Не надо. Вот она – в малой комнате. Дверь приоткрыта. Прозрачный воздух и полусумрак. Проглядываю насквозь.

Та, что ожидает ребенка, причастна тайнам. А иначе сказать, она легко переходит из одной тайны в другую. Могу описать каждое состояние. Его цвет и звук. Смена оттенков и ослепительных красок. Прозрачных, как во время синего ливня. Помнишь? Синий. Комнаты меняли свой цвет. Шум тоже особенный. В каждом из состояний. «Измерение» тут не подходит. Попробуй измерь. Ты состоишь, а не измеряешь. Даже не существуешь. Понятно. Шум, не осязательный слухом. Какие-то звуки – уходят и возвращаются. Мы с Павлом потревожили границу невозможных звучаний. Потревожили вместе, сами не зная. И сразу как будто удар. Одновременно. Обморок. И у меня, и у него. От звука и цвета. Он очнулся. Он ушел. А у меня осталось. Там. Внутри. В глубине. В радуге. В шуме. В его красоте.

А самое трудное – уметь перейти. На грани любых состояний. Перейти по воле и не задержаться в каком-то из них. А если захочешь. А что значит? Глупое слово. Наше состояние – самое слабое. Но я за слабых. И как-то сказала Павлу об этом. И он согласился. Там такое могущество, и эти глубины лучше не трогать. А здесь – все ненадежно. Все хочет уйти. Там, где защита уже не нужна. Павел мысленно прошептал в минуту зачатья (такое возможно!), что он за тех, кто боится жить без защиты. Он прошептал. А я была в другом из миров. И могла там остаться. Он вывел меня. И только это (понимаю сейчас) и есть его сила и воля. Он раньше меня возник из нашего обморока. И я осязала. И осязаю сейчас, когда его нет. А он шепчет (и это возможно), поневоле он шепчет ему – тому, кто зачат.

«Боится жить без защиты...» Он сам не боится. Он вообще ничего не боится. И вот его защищают. А он... Легко. И тогда кто меня защитит? Клен золотой? Желтая зеленая липа? Флешка в столе? Пустота и свобода – от Крития и Атлантиды? Где же твои невозможные состояния? Где измерения, если говорить на языке тех, кто все измеряет? Где? Там или здесь надо предостеречь того, кто может погибнуть? Я не сумею родить, и не захочу... Без него. Без этой спины и груди, без осязания, после которого все мое счастье испытано. И даже прикосновение к ребенку – память о том, что было здесь. Он шептал. И теперь шепчет о том же... И не слышит. И ничего не хочет услышать. Любую минуту с ним что-то может случиться. В этом самом слабом из миров. Защитник. Падаю на пол. И знаю – упала. Кто подымет? Кто из тени войдет в полуоткрытую дверь?

Приподымаюсь. Прямыми руками – в ковер. Оглядываю комнату. Хочу доползти до раздвижного дивана. Упасть на него и уснуть. И ни в один из миров. Просто уснуть. Мгновенное состояние. Люблю. Заслужила. А уж теперь – Бог велел. Тянет, как моего отца. Туда, в глубину. Доползаю. Встаю на колени. Кто поможет? Смешно. Так тоже удобно. Усилие. Вот я лежу – головой на подушке. Подбираю ноги. Провал. Оказывается, нельзя. Что-то не спит. Что-то за мной следит изнутри. И не дает уйти от себя. И вовсе не то, что меня разбудит от сна. Мой ребенок еще не умеет. Кто-то иной. Кто станет

ребенком. Точно. Оказывается, он рядом с ним и во мне. Поручаю себя. Дай отключиться. Что-то важное, чего люди не знают. Не бойтесь. Он вас не оставит. Кто-то на грани. Кто-то готов. Кто-то со стороны и внутри.

Звонки по мобильному. Один за другим. Возвращают внезапно. Сколько длилось? Или нисколько? Не было времени? Провал. А перерыва не подарили. Стены. Громадные окна. Письменный стол. Никого не пушу. Оттуда. Я одна. Совладаю. Тяжело. Снова жить. Нет, не нужно свободы. И небытие в непонятной тревоге. Беспокойство. Сны. Врубель. Ватто. Мое ожидание. То же самое. Некуда уходить. Вот это я понимаю. Ирония «умного места». Прообразы. Имеют руки и ноги. Спины и груди. Платон их осязает и учит меня. Сам не умеет. Ладно. Прощаю. Женщина. Та, за которую прятался в диалоге Сократ. Постарше меня. Выдумана. А я та, кого придумать нельзя. Но я хотела поверить. Глубокий сон. Мера против Сократа. Платон отключился. А я не смогла. Все не так. Бред и надежда. Верно. Как я устала.

Начинаю перебирать. Их всех, кто мог позвонить. Много. А именно кто? И почему тревожатся? Как раз когда я не смогла. Сообщений, знаю, нет никаких. Павел в порядке. А если вернее – он недосыгаем. И ему тоже нельзя. Проклятье. Вот снова. Кто может что-то сказать? Протягиваю руку. Нажимаю неправильно. Голос. Мужской. И как будто совсем незнакомый. Отключаю. Но почему так упорно? Вот новый звонок. И уже теперь слушаю. Не говорю. В телефоне кто-то кричит и докричаться не может. Она девчонка. Подружка. Тоже ни отсюда и не туда. Узнаю. Понемногу. Как они все догадались? И не только один Бобров. А может быть, по его лицу. По выражению темных глаз. И по тому, как Павел исчез. И по тому, как я медленно встала. И отошла от стола. И сложила вчетверо. И унесла. Пора догадаться. Ангелы. Задолго до Рождества. Могу объяснить. Засыпаю.

Мама нашла красный платок. Во сне. Присмотрись к этюду. Почему я прежде не замечала? Вот рядом с желтой копной. Легкий мазок. Что-то красное. Женщина в белом платке уже увидела. А мама сквозь прозрачное стекло перегородки, из той малой комнаты видит этюд и в нем, наконец, находит она то, что искала. А я сплю на диване, как раз под этим этюдом, и она видит мой сон. Кто-то еще наяву увидел такое. И поверил. И пошел за моим красным платком. Это мама. Какое милое, приятное чувство. Пусть оно, любимое, решается там, в глубине. И земля золотая сферична. Как на этюде. Охры меняют мое состояние. И становятся мной. В том из миров. Там, где я запомню и не отдам, просыпаясь. Любимое дышит вместе, рядом. Он ведь нашел. Он мне подарил. И его тепло не остынет.

Пока я сплю, Атлантиду охватывает веселая паника. Выборы состоялись. Несколько дней назад. Во время экзамена по философии произведен последний подсчет голосов. Страна в напряжении. Постепенно осознает она то, что случилось и что произошло. Конечно. Веселое пробужденье. От сна. От нирваны. Появляются молодые желания. Как их заявить, пока еще не знает никто. Но, вы понимаете, событие необратимо. Кое-кто проспал его. И теперь в панике и не знает, хорошо или плохо. То, что случилось. По крайней мере,

надо спешить и некогда спать. Гляди во все стороны. Вот возможность. Все видно. В пространстве и времени. И в третьем состоянии, которое измерить и изменить я уже не могу. Поняли, кто победитель? Почему бы вам сразу не обойтись без него? Счастье!

Шум приглушенный. Сквозь сон. Все закипело, забегало. А при этом время замедлилось. Что-то сдерживает эйфорию на улицах. После выборов и объявления результатов. Но та, кто ожидает ребенка, может поспать. Но значит, все эти звонки... Не только потому что заметили там, на экзамене. Конечно, заметили. Но звонят еще и по новому поводу. Знакомым и незнакомым. Без повода. Просто звонят. Услышать веселые голоса. Ближних и дальних. Оказывается, это важно. Сквозь сон одобряю. И не сомневаюсь. Тепло под боком. И напряженно во мне. Успокаиваю. Удастся. А шум нарастает. Ничего. Успокоим. Павел отдыхает. И никто не догадывается, где он сейчас. У меня под боком. Но его тепло меньше и меньше. Не может быть. Возвращаю. Трогаю. Спит. Как именно он вернулся. Как он сумел. А я и не сомневаюсь. И не говори со мной. И не мешай нашему счастью.

#### 4.

Наяву поневоле спокойнее. Поневоле. Никаких эйфорий, шумов, мобильных звонков. Никаких подружек, подозрений, внезапных сочувствий. Предупреждений. Все незаметно. Меня ведь вообще трудно увидеть. А здесь попробуй. Растворилось вещее воображение. И так молодо. И так хорошо. А что в действительности, не знает никто. Лишь бы все было в порядке. Тогда можно и жертвовать. Чему и кому? Воображению. Какому? Оно обеспечено. Кто-то незримый правит. Но для России точно, впору такое незаметное управление. И его принимают легко. И управляют сами. Так же, без лишних усилий. Шаги, но шумов нет никаких. Вероятно, в этом все дело. Погляди. Прежний прохожий. Асфальт высох. Походка. Работа. Мимо окна.

Выздоровела от первых переживаний. Хочется хлеба. Чаще и чаще. Вернулась из магазина. Сама не заметила. Полкруглого и соль на столе в маленькой кухне. Белый столик. Хочется есть. Удерживаю себя. Как будто бегство в Египет. И еще далеко до привала. Бегу одна. Без осла и младенца. Павел, не видимый в кухне, вновь наблюдает со стороны. Он опять незримый вошел. В прихожей свет не включил. Остановился в тени. Совсем другая тень. Сквозь нее ничего не видно. Как на этюде в большой комнате. Черная тень за копной. Люблю эту тень. Она так неожиданна. И так незаметна. Еще немного. Нет. Не могу. Макаю ломоть свежего хлеба в крупную соль. Почему-то ее рассыпаю на блюдец и снова макаю. Корка хрустит. Все в порядке. Достаточно. Бегство в Египет. Привал. Вот мы вновь незаметные трое.

Подкрепились немного. Он посмотрел и пропал. Успокоился. Так долго нельзя отвлекаться. Некуда убегать. Египет рядом. В той же комнате и на кухне. И на душе тепло. Воображаю, как оно будет. Надо нас уберечь.

Возвращаюсь в комнату. Пройду сквозь черную тень. Коридорчик маленький. Два шага. Все зеленое. Стены. Линолеум пола. Но вот белая застекленная дверь. Светло и прозрачно. А в тени что-то охватывает и не пускает. Удерживает. Пройти поскорей. Входная дверь на лестницу. Нет никого. Стою. Осматриваю. Привыкаю глазами. Пустая вешалка. Мамин зонтик. Зеркало в темноте. Постою, где он вошел и где растворился. Никуда не исчез. Будет. Вообразила. Остановилась. Молчание. Тишина. Он предупредил об опасности. И вот из черной тени. Кончен привал.

Догнали в Египте или еще не догнали? Здесь мы пока на свободе. Удивительно и невозможно. Он молится мне, или я читаю молитвы. Он берет мои силы. Пока не родился, легко уберечь. И отец молит. И все непохоже. И евангелие не повторится. И я без него, и все как будто во мне. Заново. И так еще не бывало. Рука тянется к пульту. Включи телевизор. Я пробую – повторяю, но он не горит. И так бывает. И это к добру. Не пробуй. И не включай. И что-то не то. Пока ничего нет, но будет. Подожди. Вспыхнет. И тогда уже поздно. Вот он – темный зеленый экран, и я ничего не жду от него. И не вижу. А по идее – время легко задержать. Феврония. Китеж. Ровное озеро. Молитва и колдовство. Ну, хорошо. Теперь – ненадолго. А ты вспомни имя свое. Наташа. Наташа. Она другая. Мы не похожи. А мне тепло и светло.

А что более свято, чем ожидание. В моей душе – воля и какая-то власть. И предчувствие и покой. Отдаю себя понемногу. И сохраняю. А в ней – предел моей силы. И мне очень трудно сказать и подумать. И почему предел, и что за пределом. Имя. Теплое имя. Родить и родиться. Как это соединить? И зачем? А я знаю – просто необходимо. Тому, кто умеет и может. Одновременно и скоро. Нет, еще долго ждать. Но с каждой минутой все больше. А я теперь могла бы спокойно обдумать судьбы других. И не обдумать. А порадоваться тому, что они есть. И их много. И я не одна. И вот сижу неподвижно. И только в углу – зеленый темный экран. И не то, что зрачок за стеклянной перегородкой. Он зачем-то включен, зеленый и темный, и в нем, в его темноте что-то мерцает и чудится мне. Отражение?

Стой. Оказывается, там давно идет передача. А я за несколько дней, помнишь, тогда, перед экзаменом, отключила яркость. И теперь – боюсь повернуть назад. Выявить свет. И все, что происходит в мире. И в глубине. А что происходит? Звук приглушен. Колдовство. Нажать и усилить. Отвожу глаза. Нажимаю. Говорят – убили правителя. Говорят. Где? Опять? В каком из миров? И снова скороговоркой. И что-то похожее. И как будто боятся, что их услышат. Подожди. Подожди. У нас еще все по-иному. Кончилось. И началось. Выборы. Прежний правитель. Какой прежний? Выбрали. Правитель один. Или не существует? Подожди. Не хочу слушать. И не надо смотреть. Все в порядке. Не надо. И я опять заглушаю. Перекрываю. Почти до конца. И все тонет и гаснет. Мерцание уже нельзя различить. Прямая. Недвижно. И это моя воля. А на экране – белое отражение.

Это в Ливии. Это в Египте. Это в Сирии. Это в Китае. Как умудрились убить. И там, где можно. И там, где нельзя. Умудрились. Приближаются к нам. Индия. Там убивали. Давно. Мой любимый Ганди. Ладно. Он победитель. Гибель – выдумки новой истории. Но я терплю. С позавчерашнего дня. Звонит, светит и крутится трубка. И не отключен аппарат. В малой комнате. Кажется, два звонка. На самом деле – один. Почему я заметила только сейчас. Много. Много. Номер занят звонками. Кажется, только один. Или два. Телевизор дрожит. Густой воздух. Бродяг слои. За стеклянной перегородкой. А в комнате предметы меняют форму. Как будто сквозь неровное большое стекло. Кадры. Ливийская революция. Или одна из площадей Петербурга. Не знаю, какая. Кадры меняют форму. Не видно.

Голос Павла. По трубке. Спокойно. По трубке. Да. Я так и знала. Не разбираю слов. Успокаивает. Боже мой. Что происходит в мире? Как раз после экзамена. Когда я согласилась. Ответ Сократа. Вот уж теперь никакой иронии. Полное совпадение. Почему я ему не говорю об открытии? Он успокаивает. А я еще ничего, ни слова. Раздельно. Пытаюсь и не могу объяснить. Да, да, все понятно. Послушай меня. Он уже давно предсказал. Как раз во время всплывтия Атлантиды. Погибнет правитель. Погибнет отец. И я останусь одна. Что? Непонятно? А ты ведь все знаешь. Заранее. Тебе все известно. Какие слова? Слышу их напор и не различаю ни звука. Вот кричу в ответ. Умолкаю. Тот же голос. И так же не слышит меня. Продолжает. Вдруг что это? Кто говорит? Кнопку нажать не успела. Держу перед собой.

Голос умолк. На минуту. А за ней – безмолвие. Не спеши. Пустота и тишина ожидания. И телевизор гремит. Один в моем колдовстве. Там шквал сообщений. Они излишни. Уже Сократ предсказал и ответил. В Ливии. В Атлантиде. Возвращаю. Стою. Каждую фразу. Вновь. Повторяю. Вот удивительно. Это, видимо, не слова. И здесь причина. Одна. И никуда не уйти. И не убежать. Оставаться и слушать. И вот звонок в дверь. Медленно. Открываю. Павел мой на пороге. Павел стоит. Пропадает. И снова стоит. Вот он. Помедли. Не исчезай. Голос отдельно. И без помощи слов. Заглуши телевизор. Пойду, заглушу. Тень позади. В просвете. Там. Дверь остается открытой. Входи поскорей. На лестнице шум. Кто-то спешит. Мимо и мимо. Самообладание на исходе. Понемногу оседает в душе. Опадает. Вот реальный звонок. В открытую дверь. Жду – сама не знаю, чего.

Непрерывный звонок. На лестнице и от трубки. А она на столике перед диваном. Крутится и горит. Почему крутится? От напряжения. Или кажется мне. А на площадке... Что он? Зачем? Нечего открывать. Обе двери открыты. Но он звонит и не входит. Кто? Почему не бросаюсь навстречу? Просто он должен войти сам. Без меня. Без колдовства. Подождет. А трубку не заглушить. Нажимаю – гаснет, и сразу же вновь. Непрерывно. И, наконец, мобильная остановилась. Горит, но уже не крутится. Или мне кажется. Нажимаю. Слушаю. Тот же голос. Только быстрее и тоньше. Совсем не похож. На того, кто на пороге. Или перед порогом – на лестнице. На

площадке. И ни слова... Потому что звонит. Прямо как Достоевский, и только. Но тут страшнее. Светло. И люди не те. И все не так. Самое страшное.

Как разорвать этот круг? Ни в коем случае. Не разрывай. Он мне спасение. Кто-то меня уберег на минуту. Помнишь? Сон уходит. А ты пытаешься его удержать. И он еще остается. Но сквозь этот сон видишь окна и комнату. И вот все уже только слова и твой шепот. А здесь все верно, как перегородка и линолеум в коридоре. Пользуйся чудом. Оставь звонки. Приглуши звук и выйди к нему. Туда. И ты увидишь и остановишь безумие. Феврония, Наташа. Не забывай имя свое. Делаю, что говорю. И сначала ничего не могу. Ну, наконец-то. Звонок становится музыкой. Наконец. А это значит – не было никаких моих непрерывных звонков. Прислушиваюсь. Телевизор умолк. И погас. Трубка мерцает, гаснет и умолкает. Выглядываю в коридор. Дверь закрыта. И переборы звонка прекратились. Глазок. Нет никого.

И вновь тишина и ожидание. Опять. Достоверно. Потрогай любой предмет. Получается. И теперь, если это безумие, убежать уже не удастся. Что говорю? Что повторяю? Одну и ту же фразу. Одну и ту же, и без конца. Остановись. Приди в себя. И подумай о том, что еще предстоит. Ну вот. Первая нормальная фраза. Проговори медленно и членораздельно. Она цитата. Не помню, откуда. Заклинай. Вот наше единственное колдовство. У всех одинаковое. Норма. А у тебя – излечение. И вдруг слышу – кто-то стучит в дверь кулаком. Электричество – да? И мобильная трубка опять начинает гореть и вертеться. И телевизор вновь набирает звук. Появляются кадры. Что-то знакомое. Гляжу в окно. Потом на экран. Сравниваю. Тот же асфальт и те же клены и липы. Цвет пропадает. Возвращается. А! Догадалась. В кадре – мой подъезд. Мое окно. Снаружи. А я изнутри.

Бегу. Неизвестно куда. Квартира осталась открытой. Ключи на маленьком столике. В большой комнате. У раздвижного дивана. Перед невыключенным телевизором. Вернуться? Там на экране то же, что здесь. Под ногами. На сером асфальте. Напрасно. Видят и слышат. И никто не скажет, куда надо бежать. А это следы. Но они возвращают к дому. И прямо в подъезд. И я вбегаю. Вернулась домой. Стою. Задыхаюсь. Вижу себя на экране. Привычно. И вдруг понимаю. Никуда не беги. Узнавай по любому каналу. Везде одно и то же. Скоро придут. Оглядываюсь. Повнимательней. В малой комнате Павел сидит у стола. Сквозь перегородку. Стекло. Четко. Вхожу. Прикасаюсь. Да, это он. Белая челка. Пристально. Обнимаемся. Очень спокойны, как будто ничего не случилось. Телевизор гремит. А мы в тишине.

Прихожу в себя. Лежу на диване. Павел рядом. Сидит. Склонился ко мне. Заслонил темный зеленый экран. Там успокоились. Там обычная передача. Правильно. Передача. Не выключай. Не отключайся. Опять повторится. Всматриваюсь в лицо правителя. Хоть что-нибудь угадать и понять. Ну, скажи про это одну фразу. Что ты думаешь? И что в итоге? Молчит. Поджимает губы. Сообщает. Пока одно понятно. Сюда никто не придет.

Повторяю. Самое безопасное место. Если не выбегать. И не искать меня там, где никто не может найти. А телевизор заглушает наши с тобой голоса. Правильно. Запоздалая конспирация. Показали и позабыли. Подъезд, асфальт, клены и липы. Все, как везде. Попробуй, найди. Пусть образуются. Пока поумнеют. И ничего не случается. Только для нас. Понимаешь?

А ты звонил? А ты стоял на пороге? А ты стучал кулаком в закрытую дверь? Конечно. А потом? Куда ты пропал? Никуда. Мы ведь с тобой знаем секрет, как быть незаметными. Люди видят и не узнают. Ищут и спешат мимо дверей и подъездов. А ты у них на глазах. Подожди. Но ведь что-то произошло. Кого-то убили. Не отвечай. И никто не пострадал? Или... Ну, выговаривай. Не могу. И я не могу. Посидим. Помолчим. Посмотри на меня, и довольно... А можно опять? Ну, попробуй. А ты не отворачивайся и не выжидай. Приду в себя не скоро. Не укладывается в сознании. Подожди. Постепенно. И не пытайся понять. Вот я прямо перед тобой. Поверь, знаю не больше другого. Нет, кое-что знаю. И лучше не знать. А ты виноват? Нисколько. И никого не убили? Нет, никого. И тебя? Выговорила то, что нельзя выговаривать. Поворачивается. Боже мой. Да? И тебя?

Со всей очевидностью. То, что не разъяснят никакие чувства и разум. То, что требует женской воли и моего понимания. А то, что он говорит, я сама произношу громко и четко. Состоялось бегство в Египет. Мы там, где убивают младенцев. И матерей и отцов. Прибежали туда. И теперь уже не в Москве – в моем Петербурге. Здесь решается. Город Китеж – твой Петербург. Он всплывает из утреннего тумана. Которого нет. Как же я не догадалась, что в нем уже невозможно убить. Вот уже вторая попытка. И неудачно. Спрашивай, не спрашивай, отвечаешь ты. И тот, кто в тебе. Молчание – тоже ответ. А убитый живым бродит по улицам. И его узнают. Или он совсем незаметен. Или недосыгаем. И куда убежать не надо святому семейству. Мы убежали. Последний привал. До Рождества.

Шутки. Туман за окном. И весь он источник нездешнего света. Он в себе собирает сияние. Собирает. И, если смотреть, он слепит собранным светом. Всем, что собрано в белом. А оно мягко. Полупрозрачно. Павел смотрит в окно. И я ему сообщаю. И живой отец кивает и улыбается мне. И вдруг за окном – никакого тумана. Он появился. И так же пропал. И вот опять. Сам по себе. И вновь пропадает. Павел один и тот же. По-разному освещенный. Такого не может быть. Показалось. Неплохо, если кажется только это. Спрашиваю о моем колдовстве. Отвечает. Мы совпадаем. Временное затмение. И у меня. И у него. Помнишь? Обморок в минуту зачатия. Помнишь? И что же это? Слова? Мои и твои слова о том, что мы пропадаем и появляемся. А вокруг прозрачный и незаметный туман.

Хорошо. Если так и останется. И ничего неестественного. Мы не любим с тобой, если происходит что-то подобное. И он тоже не любит. Он и она? Легкий туман между нами. Ты говори. Павел жмет мои руки. Белая челка видна сквозь раму и дымку. Лицо круглое. Он сжимает мне пальцы, чтобы я не потеряла его. Смешно. Вижу. Не потеряю. А ты объясни. По-моему, ты



чей-то брат. Нет, не так. Ты опять неправильно понял. Отец твой уже не причем. И Катерина Ивановна. Ты чей-то брат. И это иначе. Ты свет и радость. Не уходи от него. От младшего брата. Он повзрослел. А ты оставайся таким. Павел смеется. Да, конечно. Я не ушел. И не помню. Пусть он знает об этом. И не беспокойся. Мальчик. Он уже есть. Мы оба хотим. И получилось. Узнаешь. И я уверен. Почувствуй. Моей ладонью. Паша, я понимаю. Понимаю твой подвиг. Правитель исчез. А Атлантида осталась.

## 5.

Я ношу в себе новую жизнь. Пока незаметно. А потом очевидно. И я сказала себе. Да. Не нужен никто. Есть Павел. Или его уже нет. Есть Врубель. Или останется в прошлом. Есть Бобров. Или я не сдавала экзамен. Есть предсказание о всплытии Атлантиды. Или «Критий» не завершен? И сама Атлантида – всплыла или нет. И никто не нужен. Видимо, все в порядке. Если я ношу в себе новую жизнь. Моего колдовства недостаточно. Голод. Хочется хлеба. Макаю в соль и снова хочу. Одна. Без подружек. Отключила. И телефон. И экран телевизора. И окна мои. И колокольный звонок в квартиру. И время суток. Забыла. Этюд Сабурова. Где он? Забыла красный платок.

Что же осталось? То, ради чего хочется жить. Осталось то, что не выдуманно проповедником. Да и с ним самим я бы не хотела встречаться. Он это знает. И не тревожит меня. Что же? Гильгамеш и Сократ поговорили друг с другом? Или еще предстоит разговор? А народ? По-прежнему предпочитает нирвану? И не только наш – все народы земли? Или проснутся и выплывут? Какое мне дело? Вот я думала их понять, их объяснить. И поездить по миру. И поговорить на любых языках. И только с девушками. А то мужчины понятны. Одно и то же. Воображала, как это будет. И что? Где мой Сократ? Оказалось – только одно. Родить и родиться. Одновременно. И я знаю разгадку. Или тайну. По-разному. Лучше тайну. Потому что она там. В моей глубине. И вместе со мной. И с ним. И там останется долго.

Серебряный рубль. Бедная старушка моя. А ее могилу я отыскала. Зачем? И как? Интуитивно. Здесь, на Смоленском. Вчера. Случайно. Мама спит. А она совсем на другом конце. Нетрудно. Вчера побродила по кладбищу. Последний раз. Больше не буду. Он во мне. Довольно. Отпущение. Ты сделала больше, чем нужно. Еще совсем несколько дней, а уже говорит. Знаю, это он. И уже никто мне больше не нужен. Так я решила. Вчера. И стало совсем легко. Вот как сейчас. Бедные. Бедные. Люблю. Жалею. И отца. И Катерину Ивановну. И папку с архивом. А он подумал. И захотел шевельнуться. Но еще не умеет. И не может. И я побрела, побрела быстрее, быстрее. Вот вернулась домой. И решила. И засмеялась. И первый раз почему-то. Одна. И я сразу вспомнила всех. И больше не вспомню. И это самое лучшее – так полюбить, чтобы уже помнить и не вспоминать никогда.

Никто не нужен? Ты решила? Самообман. Я ни на секунду не отхожу,

не покидаю. Здесь. Мы не заметны. А ведь и я не заметен. Для нас обоих. Даже твоей мудрости не хватит, чтобы это вместить и изведать. А для меня все легко и понятно. Мне удалось одолеть рубеж – страх перед целым. Кто это сказал? Чувствуешь? Я уже не боюсь. А у тебя совсем иначе. Но представь – что-то держит, и ты плывешь без всяких усилий. А выйдешь на берег – и сразу каменный груз и тяжесть. И так и тянет к земле. И не поднять руку и ногу. И не подвинуться, и не шагнуть от воды. А у тебя вдвойне. И ты не можешь войти в мое состояние. Или в мое измерение. Для тех, кто все измеряет. Люблю и сочувствую. Путь очень большой. Целая жизнь. И одна и другая. Довольно об этом. А то, что испытываешь... Зачем? Легко и светло.

Как бы тебе объяснить. Состояний много. Особенно тех, которые нужно вызвать. Из ничего. Трудно понять. У тебя все иначе. Но поверь мне – все точно так. Больно и тяжело. И не хочется возникать и становиться на твердый берег земли. Зачем говорю? Хочешь, выйду? Перетерплю невыносимую боль и ступлю? Подожди. Не торопи. Не управляй. Кроме того, не все зависит от нас. Они сближаются и отплывают. И вдруг мы переходим без боли. И я говорю тебе – ты родишь, когда минута придет. И не надо мешать. Видишь ли – я остался правителем. Я плыву. И я помогаю немного. А пока мы расходимся. Отдаляются наши миры. Но я знаю, как повернуть. И все станет светло и совсем незаметно. И в одном из миров Атлантида всплывает. А в ином – тонет и погружается. Подожди. Мы поправим.

Да. Тебе это не нужно. И все-таки я прошепчу. Ты ведь любишь и не вспоминаешь. Завидно. А у меня все не так. Все больше и больше выплывает из памяти. Нужно менять естество. А я не хочу. Я потому и решил совместить. Но люди не поняли. Они радовались. И никак не могли догадаться. Минута настала. А я умудрился продлить ее. Несколько дней. Помнишь? Я к тебе приходил. Даже экзамен сдавал. Видел тебя. Каким-то особым зрением видел. Звонил. Стоял на пороге. И в том из двух измерений... случилось. А потом я увел это событие. Увел его за собой. И все позабыли. И не нужны оказались муки, страдания, скорби, воспоминания. От отца и матери. Я это все мягко и незаметно увел за собой. А теперь... Подождем. Ты решила. Самообман. Понимаешь? Нет. Засыпаешь и спишь. Дыхание ровное. Кое-что проникает сквозь сон. Вижу комнату. Вот. Вижу этуод на стене.

Ты говоришь – мы отдаляемся. Ты сказал. Но ведь и это самообман. А мы все ближе и ближе. Вот совсем одно, как тогда. Но если больно перешагнуть, я подожду. Измерение. Состояние. Они отплывают медленно одно от другого. И всем легко и спокойно. А тебе невыносимо больно. Помогите. Или минута прошла. И больше никогда не вернется? Что нужно сделать, чтобы они опять поплыли друг другу навстречу? Не говори. Не шепчи. Я все равно не пойму и не услышу. А для тебя – новая боль. И не пытайся. Но ты сумеешь. Я верю. Они, измерения, тоже страдают. Как мы. Их нужно уговорить по-особому. И что-то сделать. И они тоже поплывут. И будут все ближе и ближе. И я

дождусь. И я не устану. И не шепчи. Да, да, конечно – знаю, да, это не так. По-иному. Но он со мной ждет и боится. Он один – вместе с нами.

Волхова. Золотая майолика. Венок шестикрылого серафима. Жаровня качнулась на цепях, поднятая левой рукой. А в другой – лиловый клинок. Ты придумал. Там назначил свидание. Там скоро мы встретимся вновь. Ты будешь сидеть на той же скамье. И я подойду. А Врубель отовсюду глядит. И не исчезает из зала. И Катерина Ивановна снова окажется там. И заплачет. И будет ждать. И она дожидается меня. А в углу – золотая майолика Волховы. И без тебя ничего бы этого не было. И на белой куртке твоей – золотые, лиловые отсветы. А скажи – раньше ты уже погибал? После всего, что я знаю, такое спросить не опасно. Катерина Ивановна поймет, кто я такая. И отпустит меня – вместе с тобой. И мы уйдем. И оставим их в зале. И минута не повторится. И вот опять все возможно. Без боли и страха.

А та изба. До которой мы не дошли. Она сгорела. Но мы доберемся втроем. Знаю, пепелище травой зарастет. Но это священное место. Помнит о нас. И там легко совершать переход. Любой одолеет нирвану. Там. Именно там. Подальше отсюда. Нужно привыкнуть. А нам уже не впервой. Кто-то здесь был. Простор неогляден. Утром – дальний зеленый рассвет. А вечером – костер у черных бревен и пятна заката на обгорелой сосне. Дождя и грозы не будет. Красные облака уплывут. Небо опустится прямо над нами. Дальний коричневый лес утонет во тьме. И на этот раз оно оживет. И не повторится. И мы поверим и забудем о том, что случилось. И побратимы придут. И богатырь. И проповедник. И наш костер, и разговор всю ночь до утра. И опять зеленый восход. А потом новый полдень. И вновь главное чудо. Сближение. Снова. Оно. Там. Далеко.

Я не успел объявить эту боль, эту самую запретную тайну. Только ты поняла и укрываешь ее в душе, как ребенка. А ведь ничего запретного нет. Боятся. И ты боишься. И я, не скрою. Но теперь само решилось. И разрешилось. И если все произойдет, как ты сейчас мне сказала, я сам вместе с самим собою принесу оттуда мою благую, мою лучшую весть. Кто-то уже сделал так. И остался невидимым среди вас. Иногда появляется. Но его не могут узнать. Отплывают. А надо всплывать... Уж если что-то случится, что-то не так, найди его и поговори обо мне. Подумай, он совсем другой. Но взглядишь. И ты узнаешь меня. И не надо о нем. Будет по-моему. На пепелище России. Народов и стран. Пепелище. Но ты чувствуешь, как хорошо ему, тому, кто в тебе? Ты сказала. Точно. И очень просто. Попробуй иначе.

Что? Боишься? Ладно. Довольствуйся памятью. Мгновение, и я отойду. Туда. Понимаешь? Это легко. И ты сразу одна. И ему тревожно. Как шевельнуться? Не беспокой. Не отвлекайся от нашего разговора. Не стой посреди комнаты. Не трогай на столе красный платок. Это я его положил. Ты забыла. На полированном черном столе. В малой комнате. Он пропадает. Он появляется вновь. Это нормально. И даже я не причем. Понимаешь? Руки, ноги, спину мою, плечи – хочешь потрогать? Прости. Я часто шучу о том, что запретно. Попробуй. На какой-то миг. Поверь. Невозможное очень полезно.

Для того, кто живет. Хочешь? Забудь о том, как мне больно. Ты ничего не заметишь. Ничего на моем круглом лице. Хочешь, трону тебя неожиданно – сам. И ничего не дрогнет в уголках сомкнутых губ.

Много людей. Привыкай. Гильгамеш и Сократ. Я привыкаю. Сразу нельзя охватить. Все, что открыто. В пространстве и времени. Ты не улыбайся. Конечно. Глупо звучит. И кажется глупо. А знаешь, ты уже побывала здесь, где я сейчас рядом с тобой. Поверь. Все очень близко. Я тоже трогаю черный полированный стол. Красный платок. Видишь, он двинулся. Прости, больше не буду. Лежит, как лежал. Но ощущение осталось. Довольно. Миша или шаман касались его? А в нем еще одна, страшная тайна. Серьезно. Боюсь начинать. Мама твоя не испугалась. Подожди. Пусть он лежит. И не трогай. И не открывай. И не слушай. И не обижайся. Открыла? Да. Целиком перевод речи Сократа. Он твой, согласен. И все же я его сделал. Немного пораньше. Он слово в слово такой. Будь спокойна. Я записал. От него самого. Ты повторила. И не ошиблась ни в чем. Ну? Теперь я доволен.

Вот. Мое последнее слово. Оно перед отплытием. Отдалением. Наши миры, колыхаясь, движутся в разные стороны. Далеко друг от друга. Ты успел перейти? Оставайся. А я отплываю. Критий со мной. Туда, к Платону. А оттуда назад. Но слово последнее. Гильгамеш тоже со мной. Кто он? Можешь его спросить напоследок. Неважно. Он услышит и сам по себе станет героем. И люди не успокоятся. Любые Афины. В Гиперборее. На Севере. Далеко. Да, там Атлантида появится вновь. Но ей не нужно всплывать. Кроткий, милый правитель будет отцом. И погибнет. Разве для этого нужно соединение царств? И распад прекрасного острова? А он распадется в мировом океане. Правитель погибнет. А сын его родится на свет. Он запомнит, что было. И мне поможет забыть. Он ответит на мой последний вопрос.

Критий, ты вспоминал. А я знаю, как стало на самом деле. И что нас ждет впереди. Остров поднимется. Люди построят новые храмы. Из белого камня. Умное место Платона переселится в небывалые только что отстроенные города. Кольца земли и воды окружают их и обезопасят пространство. Наука всесильна и овладеет временем. Правитель откажется от правления. И вот люди решат, что его нужно убить. Выследят. Окружат. А он догадается и пропадет незаметно. И оставит наследником сына. И в память о лучших минутах сразу мальчика не тронет никто. И что-то случится. И люди поймут, наконец. А потом позабудут. И я подарю им эту речь на прощанье. И кто-то ее прочтает невольно и переведет легко на язык Севера, в Гиперборее. Критий. Платон. Гильгамеш. Вы не дождетесь. И я не дождусь.

Посмотри на меня. Ты видишь, Сократа еще не убили. Мы в этой платановой роще можем беседовать безопасно. Вы молодые. И молодой Гильгамеш вам не знаком. Это моя выдумка. Да и все остальное. Правда, есть иной проповедник. И еще, и еще. Бедные гиперборей. Лучшие люди уходят от вас. А вы их любите, очень любите и присуждаете к смерти. И я их приглашаю сюда. Нет, не идут. Отплывают в свои миры и пространства. Оттуда легко управлять временем, и веществом, и людьми. Останется

маленький сын. Первый, кто вместит в себя это знание. Критий, вставай. Спасибо траве, пещере, платанам. Ручью и местным богиням. Трудно быть недописанным рукою Платона. Или недосказанным в словах проповедника. Но как легко любому, кто побывал в наших мирах. Один из нас произнесет новую речь. Переведет. И добавит нужное слово.

Экран компьютера гаснет. Вынимаю флешку. Она такая же, как моя. Но перевод изменился. И не совпадает. А он слово в слово. Какой из них ближе к Сократу? Положи на место в ящик стола. Изменяться и совпадут. А мои слова те же самые. Но станут иначе. И будет Сократ. Вот совпали. Прячу, задвигаю и запираю на ключ. Ты не заметила? Это он мягко увел за собой. Последнюю память. Но я не отдам. Ключ в руке. И я делаю то, что надо. Никуда не исчезло. Мое. И не отплыла Атлантида. За окном по тротуару – много людей. Всматриваюсь. Нет, не знакомы. Они в первый раз. А я неизменна. И во мне все та же новая жизнь. Чувствую. Отключенная трубка. Подождите. Звонят. Выдержать. Выстоять. И не потому ли так долго стою у окна. Потому. А он. Тянет внутри и что-то берет от меня.

Павел исчез. Никак не найти. Не верят, что он пропал. Правильно. Вообще перестаньте верить. Ищите. Сосредоточьтесь, как я. Вам проще. Не надо стоять и ходить в малой комнате. И трогать стул, где он долго сидел. И высматривать на столе красный платок. Не было и не возвращается. И не вернется. Позвонят, позвонят и забудут, что у меня можно спросить. Ну, Сабуровы не забудут. Но это потом. А теперь они знают, что он у меня. Еще бы. Телефон отключен. А ведь и в самом деле. Я одна укрываю тайну тайн Атлантиды. А он больше. И все только здесь. Догадывайтесь. Легко догадаться. Прикрываю дверь на балкон. И теперь все, как было. Скорей отойди от окна. Сабуров-отец у подъезда. Остановился. Увидел меня. Понял, как я испугалась. И успокоился. Выглядываю осторожно. А его уже нет. Все в порядке.

Несколько дней. Покоя и счастья. А потом – долгое время. Совсем иная, новая жизнь. Он любил начинать сначала. Он это успел мне сказать. Я тогда не поверила. Еще бы. Конечно. Павел не отступает. А тут получилось. Еще не довел. И вдруг – сначала. Как будто и не было ничего. Родить и родиться. Он объяснял. Я не слушала. А это значит одно. Запомнить все и вернуться. Да, знакомо. Но зачем понимать? Сдави свое горло. Рыдания услышат. Оттуда. Не дай бог – подумают обо мне и о нем. Придет время. Другая минута. Обнимаю себя за плечи. Сильно сжимаю. Не так. Все не так. А между тем он пробирается по улицам Петербурга. Он садится в свой золотой мерседес. Трогает с места. И никто не видит. И не знает. Кампания кончилась. Прямо домой. А оттуда ко мне. Вырвался. Победил. Кто с ним рядом? Сжимаю виски. Лицом в подушку. И не узнает никто.

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

### ПОБРАТИМЫ

#### 1.

Переворот состоялся. Уверенно говорю. Я, тот, кто все это выдумал. Я существую, как и они. Побратимы. Они пешком спешат отсюда в разные стороны. Бог с ними. Забудем о них. Мы в самом начале переворота. Он бескровный. И без гражданской войны. И без высадки войск НАТО между Москвой и Петербургом. Нет, высадка была, но прошла незаметно и растворилась где-то в воздухе, на просторе. Как раз там, где Павел останавливал свой мерседес. И там, где я сейчас. Как будто на выжженной солнцем земле. Снова зеленой. В дымке туманного утра.

Ничего субъективного. Павел уехал. И теперь я никуда не уйду от событий. От людей и от их горьких судеб, от nirваны и всплытия Атлантиды. Пока он в своей роли, все легко. А на самом деле... Трудно вообразить и преодолеть. Он вошел в свою роль, но помнит о том, что случилось. Он тоскует и хотел бы вернуть. Была ошибка, или невидимое произошло? Переворот неизбежен. Большая реальность не в счет. А вот они, те, кто ошибается поминутно. А потом пропадают или сами скрываются от себя. И не уходят из памяти. Их нужно вернуть и не отпускать. Но как это сделать? Я понимаю Павла. Он молодой, а мне уже за пятьдесят. В этих делах я ему не помощник. Но он живет без меня. Вокруг много людей. Хороших. Он справится.

Впрочем, пока еще рано судить и предвидеть. А от того, как сложится, многое будет зависеть в нашей общей судьбе. И в моей, конечно. Высадку НАТО – не стоит недооценивать. Хочешь, не хочешь – все это есть. Растворилось, но дает о себе знать. Неожиданно и внезапно. По мелочам. Забывать нельзя ни о чем. Я в том возрасте, когда воображение выше реальности. Оно не свободно. Оно догадка. Способ увидеть, что существует вокруг. И о чем не подозревает никто. Послежу. Полезно. И еще одно. Выдуманное – воплощается. Итак, воображай точно. И без ошибок. И без остановок. Но я из тех, кто всегда ошибается. Ладно. Впереди очень много событий. Не надо спешить. Они все равно обгоняют. Пока только о том, что думают и чувствуют побратимы. Кто? Зачем? Нет. Мне их не забыть. Да и Павел недаром далеко за рулем прокручивает и возвращает их судьбы.

Мой Павел, который не ошибается (очень смешно), все-таки зачем-то сегодня утром возил их обоих к Боброву. Где же его предвидение и воображение? Или он ошибался? Я уверен, что да. А он, конечно, смириться не может. Ошибки не было. Тогда объясните, что случилось? То, что они разошлись в разные стороны. Вот где загвоздка или, может быть, ключ к

разгадке. Двое не могли убить одного. Он их оттолкнул, и они отступили. Куда? Почему? Глупостей не бывает. У тех, кто имеет задание партии. Даже если они сами решили. Втайне от своего центрального комитета. Понимаете, тут что-то не так. Надо вернуть. Надо найти их и вновь собраться всем у Боброва. И уж на этот раз помогут мои родители. Заеду и привезу. Так думает Павел. Да, он человек упрямый и волевой. А что если он прав?

Я ко всему такому имею свое отношение. Да, имею. Сейчас разберусь. Пока не выяснил. Но отношение – точно. Ибсен подскажет. Он мастер любых выяснений. Тут стоит подумать и поискать. Поспрашивать, если нужно. Двое друг друга нашли, были готовы обезвредить правителя и не выполнили задание. А тот оказался безвредным и один победил их в открытом поле. И теперь они бегут, а он думает их обнаружить. Вернуть. Приблизить к себе. И вновь свести с Бобровым, который признал их за убитых своих сыновей. А теперь догадался. И все знает о них как философ и отец, потерявший надежду. Федор и Михаил. Вздрагиваю. Мучение – произносить имена. Господи. Придется, во-первых, о себе самом кое-что придумать. Пятьдесят мне или семьдесят пять. Имеет значение.

Тоже иду пешком по ровному полю. Кто меня высадил и уехал? Тень моя – прямо передо мной. Гляжу вправо и влево. Нет никого. Тень ведет за собой. Все – как положено Богом. Никаких изменений. Чудес. Откровений. Долго мне еще выбираться? В город или к последней избе. К пепелищу. Надо выследить еще одного, того, кто сжигает бревенчатые мосты и дома. Он где-то здесь. И я почему-то верю – он покажется точкой вдали и будет все ближе, и мы вплотную сойдемся и разглядим и узнаем друг друга. Сегодня опять ночью сгорела изба. Он что-то мог бы мне рассказать. Они главные. Поджигатели. Республиканцы. Брут и Кассий. Наступила новая эра. Но вы все те же. Ничего. Мы совпадем и совладаем. Те, кто вас ищет и хочет приблизить к себе. Всех. Одного и другого и третьего. Мы оба – молодой и семидесятипятилетний. Поле. Равнина. Точка вдали.

Не узнаю человека. Мы друг против друга. Долго идем навстречу и вот стали в упор. Прямо какая-то притча. Пустыня. Он. Искушение. И все-таки, вы понимаете. Мало похоже. Я не тот. И он, по видимости, не искуситель. Догадываюсь о последней избе. Их еще очень много. В области, окружающей Петербург. И дальше – по всей России. Так и есть. Лишнее – воображать. А он человек молодой. По росту – вровень со мной. И я довольно высокий. Шапка черных волос. Плечи богатыря. Нарядная белая куртка. Лицо немного восточное. Белое. Как будто еще не брился ни разу. И весь он такой. Богатырь – преждевременно. Приятный. А засмеется, приподняв черные могучие брови, – чистый Восток. Мгновенно знакомый. Понял, сколько мне лет, и перестает улыбаться. Поднял обе руки и опускает невольно.

Чувствую, что я могу его спросить обо всем. Он сразу ответит. И не обманет. Когда лицо без улыбки – вроде бы русское. Но парень какой-то особый. В любом случае. Надо спросить. Шевелю губами. Не слышу моего обычного голоса. Но вроде бы что-то спрашиваю. Не знаю, о чем, но ожидаю

ответа. Он отвечает, а я никак не могу понять, что он сказал. Покачиваю головой, как будто бы понимаю. Так мы долго стоим. Разговор идет. А содержание его неизвестно. Пора попрощаться и расходиться. Нет, мы по-прежнему друг против друга. Пауза. Ждем, когда начнется другой разговор. Почтителен – по отношению ко мне. Сам не уйдет. Спрашиваю – верно ли, что он поджигает опустелые избы. Вопрос прямой. И мне удается поймать и осознать его смысл. Опять подымает руки и опускает, не отвечая.

Повторяю вопрос. Уже не очень вникая в его содержание. Богатырь не знает, что делать. Разница в возрасте. Улыбаться нельзя. Стоять, опустив руки, – смешно. Ответить прямо – не будет понятно. Вроде бы не поджигал. Но зачем они – эти последние избы стоят. И почему их так много. Надо спросить, но ведь он не ответил. А он увидел во мне человека, способного понимать. И я должен ему объяснять. Как будто он действует по моей воле, а не сам по себе. Восток на белом лице исчезнет, и тогда он свободен. А пока ждет и не торопится уходить. И я объясняю ему что-то насчет оставленных изб. Губы шевелятся. Но звука не слышу. Весь внимание. Слушает. Слышит. Почтение. Уважение. Смысла нет. Надо еще подождать. Наконец, я собираю последние силы и объясняю, что избы должны оставаться. И в одиночку, и целыми деревнями. Должны.

Понимаешь, это памятники ушедшей эпохи. Камни Острова Пасхи. Мы всплываем, и поэтому необходимо на всякий случай иметь, как древние книги, такие бревенчатые письма. Говорю и сам удивляюсь. Ведь я думаю вовсе не так. Парень смеется. Какой он здоровый. Отец говорит несерьезно. Шутит. Ничего не понятно. Камни, книги, памятники на Острове Пасхи. Видимо, он одобряет. Пора очистить простор. И вот я это делаю. Но почему-то папаша смотрит внимательно. Что-то еще не доделано. А! Он спрашивает, почему на мне такая чистая белая куртка. Нет следов копоти, черного дыма. И на лице нет ничего. Сам не знаю. Дело нехитрое. Поджигать легко и приятно. Идешь по земле, а за спиной пылает пожар. Ночью. Под ногами ровное поле. Шуршит невидимая трава. Сделано.

Думаю – всплытие Атлантиды он понимает как очищение пространства. Неправильно. Объясняю. Не верит. Нельзя идти против жизни. Если эта земля не нужна никому, надо ее отдавать новым хозяевам. Тем, кто возьмет. Кто они – пока неизвестно. А он старается. Поджигает. И никакого Острова Пасхи. Что за Остров? Какая Пасха? Много леса. Болот. А здесь делать нечего. Готово пространство. Чей мерседес? Был и уехал. И теперь здесь лучшее место, поле для таких разговоров. Отец. Мы эту землю возьмем. Вы ее отдадите. У нас другие отцы. Они решили. Я выполняю. Реши за меня, как они. Выполнию. Что впереди? Предместья города? Всему свое время. Говорят, целая страна понемногу уходит под воду. Потом всплывает. Вот-вот. Она, вода, гасит пожары. Папаша. Ты плачешь?

Нет, я стараюсь не показывать. Мне важно остаться отцом. Исполнитель. Передо мной. А ведь я хотел посмотреть ему прямо в глаза. Вот – состоялось. Как на Востоке. Заботливая тревога. Пока я плачу – смеяться нельзя. Грех.



Выражение скрывает черная борода. В ней усмешка тонких моих, неузнаваемых губ. А на глазах никому не понятные слезы. Смахиваю ладонью. Опасно и подозрительно. Если что не так, может убить. Всматривается внимательно. Павел знает секрет, как не бояться. Но я не боюсь и не знаю секрета. Могу выдать себя. Павел рядом с ним оказался бы среднего роста. Воображаю. Прикидываю. Страх смешон, и это спасает. Разница крови преодолима. Но богатырь ночью совершил неверный поджог. Повторяю. Неверный. Без объяснений. Готов совершить. Поздно. Приговор. Он опускает голову. И не убивает меня.

Приговариваю к покаянию. Глядит исподлобья. Не понимает. Перестань исполнять. Могучий и молодой. Перестань. Подумай. Поздно и уже нельзя по ночам исполнять чужие решения. Конечно, покаяние для такого, как ты, напоминает о смерти. Преждевременной гибели. Здесь. На выжженном поле. Отец говорит, что гибели нет. Выйти из битвы и пожалеть о том, что участвовал в ней. Вот – никто не сражается. Двое не могли убить одного. Чернобородый и чернобровый отец – незримый свидетель. Он говорит, значит – правда. Ничего себе. Хорошая битва. Легко выйти из такого сражения, погладить себя по лицу и покаяться, как делают православные. Мечеть в Петербурге, а здесь даже неверного храма не видно. Только тот, кто старше тебя. На минуту поле заменит храм.

Изба, которую бросили, тоже священна. В ней тишина, пустота. Полное присутствие Бога. Получается, что я ночью поджигал опустелые храмы. Так делают русские. Богатырь помогает. А решение принимают они. Самообман. Все по-другому. Спасибо, отец. Я мог бы тебе служить. Идти за тобой. Охранять от любых нападений. Ты понимаешь, я ничего не боюсь. Пригодится. Говорят, у вас там какой-то правитель. И уж если тебе не нужна охрана... Что? Ему тоже она не нужна? Он побеждает сам? Ты свидетель? Прямо тут? Как на ладони под небом, в неоглядной мечети? Говоришь, я никому не нужен. И даже к тебе опоздал? Ошибаешься. А он, кого ты называешь правителем, ошибок не совершает. Говорят. По мобильному телефону. Вот посмотри. Интернет в кармане. В руках. Сила нужна.

Что говорить? Приятно, когда за тобой по пятам идет богатырь. Мой Гейне, любимый в детстве, тогда вывел такого и вообразил на улицах Кёльна. Повторяю. Приятно. По доброй воле. Способ остановить пожары в безлюдных покинутых деревнях. Сохранить в последних избах молитвенную тишину. Пусть они, люди новой эры, забредают к этим бревенчатым храмам для покаяния и молитвы. И то и другое – пойдет на костер, если надо. Никто не захочет. Загодя прекращаю взрывы особняков. Она, революция, незаметна. Кругом воображаемая резня. Кругом автоматные очереди. Только здесь тишина. Благодаря правителю. Побратимы бегут. А он остается. Вот еще один – молодой. Вместо него. Исполнитель. Живая душа. Проверяю. Кладу руку ему на плечо. Куртка. Понемногу тепло. И ему хорошо от моей ладони. Сжимаю невидимое плечо богатыря.

Спрашиваю о побратимах. Программист. Композитор. Задание партии.

Обезвредить правителя. Обезврежен. Потому что не причинял и не причинит никакого вреда. Разошлись. Далеко в разные стороны. Правитель имеет право, по суду, определить им пожизненный срок. А он хотел бы их держать при себе. Как ты предлагаешь. О чем они думают. И куда подевались. Ты что-нибудь знаешь? Или современная интуиция. По улыбке чувствую... Мне можно открыть. А то иначе как же мы поверим друг другу. Смется. Поверь. Но тайну я не открываю. Могу посоветовать, не выдавая своих. Ты не понял? Они свои. Мировая религия. Да, мы страна-континент. И ты над нами, но тайны мы не выдаем даже тебе. Не требуй, хозяин. Дойди постепенно. Такие высокие не спрашивают ни о чем. Прости. Я молодой.

Опять он круглыми белыми своими ладонями гладит себя по лицу. Наклоняет голову. Глядит исподлобья. Такой взгляд еще у одного молодого. Был. А теперь у молодого правителя. И у того программиста. Который ушел – не знаю куда. И о чем думает – знаю. Богатырь посвящен. Поджигатель-убийца опоздал к исполнению приговора. Неверные не выполняют задания. Тот, композитор, особенно. И все же теперь у богатыря хозяин другой. Выше любого. Спрашивает – проверяет. Не надо меня проверять. Молчу. Холодные белые щеки под моими ладонями. Очищаю себя и вижу все другими глазами. Побратимы страдают. Скрываются. Когда разгадают волю правителя – друг друга найдут. Нет. Надо сейчас. Потому что воля... Новая эра. Ничего не подлаешь. Буду сопровождать.

Джинн из бутылки. А из голубой сиреновой дали неоглядного поля – я, старик-Алладин. Евразия. Черная борода моя вводит богатыря в заблуждение. Да, у меня тонкие губы. Но изгиб их совсем другой. Говорю. Не верит. Сопровождает. Иду по следам одного из двоих. Он приведет ко второму. Разрубаю затянувшийся узел. Думаю, что разрубаю. Богатырь идет рядом со мной – из сострадания и верности. Безнадежно. Поправить нельзя. Почтение. Почитание. Полдень. Изба сожжена. И все-таки шаг за шагом он возвращается. Мирно. Покорно. Благоговеино. Туда. Боль в молодом теле. Глядит исподлобья. Воображает пожарище. Там решится вопрос. А я тем временем осознанно приближение смерти. Пятьдесят или семьдесят пять. Понимаю – наступит она, когда я все продумаю до конца. Идти долго. На Киевское шоссе. До горизонта. К лесам и болотам.

## 2.

Я люблю все народы земли. Люблю. И говорю об этом спутнику моему. Он подавляет улыбку. Но тут же мотает головой и стыдится. Машет руками, и прямо из груди его раздастся какой-то особенный звук. Могучая грудь. Глубокое мгновенное покаяние. Конечно. Главное – полюбить иные, другие народы. Проще простого. Говорит, не скрывает. А я усмехаюсь. Греховно даже слово «хозяин». Он идет своей дорогой, а я ему как будто не нужен. И все же он любит меня. А ведь я сжег много деревянных домов. Много русских мечетей. Куда мы идем? Он уже не хозяин. А я все равно теперь не могу отойти и не отойду от него. Трудно возвращаться к пожарищу. Ночью оно за спиной. Теперь назад. Вспять. Грех. Покаяние.

Попутки. Одна и другая. Сворачивают. А нам нужно прямо. По Киевскому шоссе. Потом выходим у перекрестка. Благодарим. Сворачиваем сами. Ничего не видим по сторонам. Видим – не замечаем. Иду и не устаю. Спутник в белой куртке уже притомился. Надо бы задержаться. Перекусить. Не разрешаю. Шоссе, попутки сбили его маршрут. Я знаю дорогу. Время остановилось. В белом небе солнце как будто недвижно, застыло на месте. Дает время – пешком по ровной песчаной дороге в лесу дойти до пожарища. Дорога ведет прямо к последней избе. Дым впереди. Мой богатырь узнает на дорожном песке ночные следы. Ночные. Туда и обратно. Да. Он тогда возвратился. Почему-то. К месту поджога. Обошел вокруг. Видит – прямо на траве человек. Рядом собака. Даже две. Большая и малая.

Пока приближаемся, рассказывай дальше. А что рассказывать? Я подошел. Положил руку ему на плечо. Постоял. Подумал. Как правильно поступить? Изба догорает. А человек сидит и смотрит в море огня. Овчарка, такса тоже глядят неотрывно. Что мне ответить? Горе. Виноват. Посиди. Погрейся. Душа опустела. Я отнял руку от плеча погорельца. Он такой же, как ты. Но седой. Безбородый. В очках. А перед ним – красный платок. И он не замечает меня. Овчарка. Такса. Не замечают. Нет меня, да и только. Не о чем говорить. Собак не боюсь. А ему сострадаю. Ты понимаешь? Ты знаешь, кто это? Вижу – дело серьезно. Красный платок. Подумал. Обычный поджог. Но что-то не так. Огонь ревел. Я тихо сказал. Никто не услышал. Я постоял и ушел в темноту. Понял, что сила моя не нужна. Мне самому. Все сгорает само. И я шел отсюда уже двое суток. Пока не увидел тебя.

Ладно. Подходим. Огонь долизывает нижний венец. Хватит еще на целый день и целую ночь. Паломники. Время вечерней молитвы. Я не мешаю. У меня свои размышления. Когда кончатся, неизвестно. Я бессмертен. И она все дальше и дальше. Смерть. Никогда ничего не продумаю до конца. Обречен. Выбрал спутника. Согласился. Богатырь в белой куртке с белым лицом. Намаз – условие и без покаяния. Он поменял хозяина. Грех это или не грех. Здесь – в обугленной вечерней мечети. Он – исполнитель и поджигатель. Самое страшное – сбиться с пути. Потерять назначение. Кажется, так и случилось. Где побратимы? Они такие же грешники. У каждого – свой храм и молитва. Здесь мы их не найдем. Буду молиться один за них. И за себя. Мы побратимы. Нет, хозяин знает, где укрывается младший. Он укрывается от меня.

Господи, виноват. Кто? Я или ты? Ведь я поэт. А ты сделал меня поджигателем. Кто сказал, что на Страшном суде, на последней исповеди, у последней избы ты отчитаешься перед нами. Пока твоя власть и твоя воля. Но я рожден быть поэтом. Потому и стал им. Что же ты сделал со мной. Какая-то партия. Поручения. Тайны, которые мы не выдаем никому. Даже тебе. Новый хозяин и без нас откроет все, что задумано. Вот он открыл. Он привел меня к месту поджога. А здесь даже молитва моя становится новым грехом. Вечерет. Холодно. Белая куртка моя одна на двоих. Третий выйдет сюда, когда почувствует, что все безопасно. А тот, композитор, нас не найдет. Он похож на меня тем, что с ним получилось. Он виноват, как я и как младший. Хозяин – свидетель. Молитва. Солнце заходит.

Богатырь не пропадет. Сейчас он встает. Выпрямляется. Вот он снимает белую куртку свою. Хочет меня укрыть в темноте. Поэт. Я знаю. Подобный ему приходил ко мне, когда я был молод. Петербург назывался еще Ленинградом. А мы ровесники. Тогда студенты-филологи. Он часто бывал у меня, когда еще жила моя мать. Красный платок. Здесь лежал на траве. Исчез. Растворился в воздухе ночью. Подожди. Я не о том. Да, был такой, похожий на моего спутника-богатыря. Тоже поэт. Я не скрывал, что образы его холодны. Он терпеливо ждал от меня какого-то нового слова. Завидовал черновикам. Он мечтал иметь хотя бы один такой черновик. Искренний. Милый. Родной. А теперь. Лучше не думать. И вот, оказывается, он вернулся. Другой. Тот же самый. Что это? В руках у него – красный платок. Или мне показалось. Нет. Ему не дано.

Внешнее сходство. Он жив. И ему тоже сейчас, наверно, семьдесят пять. И судьба его совсем другая. Не такая, как у этого юного богатыря. Он еще скажет свое новое слово. Уже сказал. Восток и Русь – побратимы. Ослепительно яркие, по-южному цветные слова. Ритмы былин и древнеиндийских сказаний. Или бейтов моего любимого Навои. Или – или. Был в моей жизни, и вот я полюбил поджигателя. Похож и тоже поэт. Ночь впереди. Думаю, он почитает мне свои ритмичные холодные бейты. Или пропоеет былинные шлоки. Вот огонь оживился. Рядом с огромным догорающим ночью венцом жарко. Белая куртка еще не нужна. Закрываю глаза. Чувствую – набрасывает на меня. Садится. Мы делим ее на двоих. Тепло прижимаемся головами, плечами.

Греем друг друга и согреваемся от почернелых бревен горелой избы. Огонь кое-где. Рубиновый. Синий. Боюсь признаться, но никогда, никогда не было мне так хорошо. Кому подарить этот образ? Ну, ладно. Кто-то сгорел. Кто-то бросился в пламя. И все-таки мой поджигатель прижался ко мне. Могучее тело, но он как ребенок. И я сам припадаю к нему. Он возвратился. Мы совершаем наши поминки по черной милой избе и по тем, кто погиб. Собака. И еще мать хозяина этой собаки. И, может быть, кто-то еще. Теплое тело богатыря-поджигателя гудит от его голоса. А он поет свои поминальные шлоки и бейты. И уже не молится и не плачет. Ритмы, распевы и завывания проникают мне в душу все больше и больше. Могу отключиться. Отключаюсь на время. Чтобы еще горше и жарче прижаться к нему.

Кажется, бедный Фауст может завидовать мне. Такое мгновение. Оно длится и не кончается. Усилием судорожно открываю глаза. Ослепший старец – ничто. Все хорошо вижу. Лиловая темнота звездного неба. Лес. Его зубчатая черная полоса. Недалеко, но уже неразличимо, потому что прямо перед нами вспыхивает желтый, красный, белый огонь. Бревна чадят и остывают. Кто хозяин овчарки? Они сидели здесь, напротив нас, по ту сторону горелого сруба. Долго. Целую ночь. А потом овчарка пропала в огне. Голос богатыря прерывается. Могучее мягкое плечо его замирает и вздрагивает. Спина сотрясается. Надо успокоить. Рукой под курткой добираюсь до его другого плеча. Ничего не выходит. Ни шлоки, ни бейты, ни былинные завывания.

Молится и рыдает без голоса. Еще немного, и вырвется вопль. И богатырь мой рухнет в траву.

Мы на горке. А там, в темноте, – ночное болото. В сторону от дороги – на километры. Петербург от нас далеко. А где творится история? Там или здесь? Там, где людей соединяет новая дружба. Скажу – пройдем болото, все до конца, помогая друг другу. Пойдет. Вместо рыданий и покаяний. Глупцы политики. Надо обживать и постигать болото новыми силами. Атлантида – в неоглядных просторах. Россия на три четверти под водой. Ночью – нирвана. И только мы вдвоем выбрались из нее. Дружбу нельзя разрывать. И я ее не разрываю. Болото – повод. Он понимает. А вот эта изба – пробуждение. Гаснет огромный костер. Дождь и осенний холод. В темноте белая куртка, и под нею тепло. Но мы встаем и готовы идти. Наверстаем то, что упущено. И за себя, и за других.

Первый раз понимаю – дружба, когда за других. Боже, самое время им появиться. Правитель от нас далеко. Между нами – неизмеримые просторы болот. Ведь мы уже теперь не пойдем по дорогам. Они уводят в стороны от того, что надо пройти. Моховые провалы, трясины, внезапные топи. И все в темноте, на ощупь. Нога чувствует воду. Под богатырем колеблется торф. Кто-то уже ходил и оставил следы. Ночью не видно, какие. Тоже на ощупь. Друг мой чувствует и огибает, проваливаясь, открытую воду. Я бы не смог никогда. Видимо, он и в самом деле новый хозяин. А мы ни на шаг не отдаляемся друг от друга. Он держит руку мою. Куртка его на моих плечах и видна в темноте. Едва-едва. Но все-таки различима. Заплугали. Ночь впереди. Пора умирать. Шутка, ему не понятная. Спасение в ней.

Умереть невозможно. Поверь. Чутье у тебя на зависть. Оно пригодится. Но я и так не погибну. Я уже давно брожу в тех местах, где нет никого. Обживаю ночами. Ни разу ничего не случилось. Но ты молодец. Погибну – продолжишь собственным разумом. Разницы нет. Обживаю. Согласен – иду за тобой. Дружба и шутка. Мы помогаем взаимно. Ладно и слаженно. Потому что воистину ты молодец. Нужен особый опыт. Мы друг друга нашли. Обнаружили. Я старик, но я что-то вроде духа ночного. Здесь, в этих местах. Тот, кто шел впереди, это я. Проваливался и выползал в одиночку. Что же? Где-то записано. Почитаю потом. Нет, вспоминается. Одна строка за другой. Смерть от меня отдалена в темноту. Легкая морось. Погружение. Черный простор. Останавливаться нельзя. Понемногу засасывает. Но уже сил моих больше нет. Белая куртка падает. Нагибаюсь. Он поднимает ее.

Где огонь подожженной избы? Наш маяк. Он позади. Оборачиваемся. Черная тьма. Он больше не светит. Полный простор для ночной медитации. Двигаться, двигаться. И говорить, говорить. Ноги уходят в мох. Там, в глубине – вода. А уж если обе ноги увязли, как выбираться? Вот медитация последних усилий. Могучий спутник меня хватает за обе руки. Точка опоры. Что? Молодость или удача? Вот выбираюсь. Что-то с ним. Кочка. Тяну его из последних сил. Хватается за меня. Правильно. Под ногой – твердое. Берег песчаной горки. Напрасно. До Бабьей горы еще далеко. Самообман.

Помогает. Не стой на месте. Весело и отчаянно. Из последних сил выдирай сразу обе ноги. Невозможно. Вот почему-то у него получилось. И у меня. Держимся друг за друга. Медленно погружаемся.

Вот когда поневоле нужно растягивать мгновение гибели. Воображением. Одно на двоих. Получается. Остановка времени. Когда не за что ухватиться, хватай секунды. Одну за другой. Оба хватаем. Одновременно. Погружение разное. У него и у меня. Вы не поверите. Мы не цепляемся, держим друг друга. Делаем волевое усилие вверх. Кочка тоже движется. Ощущение полной свободы. Мгновенье, продлись. Продлевается. Выразить в слове? Зачем? Пока по колено. Какое счастье. Медленно или мгновенно. До пояса. Будет по грудь. И тогда руки уже бессильны. Мы помогаем друг другу или прощаемся. Вот моя последняя длинная фраза. Быстрой. Последний отчаянный звук. Мой. Побратим дышит рывками. Тихо. Продлевай. Сожми веки. Стисни губы. Сознание – прочь. Подавлено. Хорошо.

Нет. Сознание – что-то другое. Время есть. Мгновений много. Меньше. Меньше. Тот, шаман, пережил. Оборвалось. Что он шаманил? Боже мой. Откуда сила у моего побратима? Он обхватил меня за плечи и тянет куда-то наверх. Я тоже подталкиваю снизу себя самого. Сгусток трясины или твердое что-то. Нам повезло. На краю. Мох не дает потерять равновесие. Побратим тянет меня. А я помогаю. Шаман. Ты пережил, но подвинул землю под нами. Вспоминаю. За два километра от Бабьей горы. Тут есть несколько островков. А изба – далеко. Лучше передохнуть и подумать. Мы вцепились в землю. Богатырь засыпает. Чувствую, он отключился. Вот узнаю на моей руке его горячую руку. Холодно. Мокро. Белая куртка пропала. Пойти поискать? Ноги свисают. Не могу подтянуть. Спит. Падаю головой. Дышит. А над нами черноволосый черный шаман.

Кто-то еще сидит на островке. Тот, кто шел впереди. Пошевелился. Подвинулся. Он. Тот, кто скрывается. Кто чуть не убил правителя. Младший из них двоих. Мы не ошиблись. Он подвигается на край островка. Узнает или не узнает? Сидит спокойно. Благоразумен. Во всяком случае, в дождь и холод, по ночным болотам и мхам никуда не сбежит. Он и в самом деле боится богатыря. И пока ничего не знает. То, что у спутника моего хозяина другой. И что этот хозяин, во тьме, судя по дыханию – бессильный старик – тоже лежит здесь, рядом с ними двоими. Нашли. Вот уж правда. Никуда не уйти. А я, пока еще солнце стояло, забрел сюда с риском для жизни. Сидел. Не спал. И вот обнаружили. Будь что будет. Не признаю суда и расправы. Никого не убил. Дождь. И сквозь него дыханье троих.

Отключаюсь. Они разберутся. А я посплю, потому что они сейчас друг друга нашли. А вот шаман все ясней и ясней надо мной и над ними двоими. Он после смерти. Сорок дней пока еще не прошли. Начало его скитаний. Чья душа ближе? Родное лицо. Родной. Постоит и исчезнет. Опять. Он глядит ласково, не разжимая длинных и тонких губ. Такая улыбка. Вот сейчас что-то скажет. Услышать во сне. Непробудно. Спи. Черная темнота. Из нее непонятный свет. Подарок шамана. Спи. Никакого другого сознания.

Удивительно подтверждение. Вот что бывает, когда она останавливает недвижно плоть и кровь человека. Смерть. Легко. И теперь свобода. Летучий разум природы. Правильно. Я не ошибся. Передаю. Только тебе. Разглядывай и запоминай каждую черточку моего живого лица.

Просыпаюсь внезапно. Вижу – небо светлеет. На нем рядом со мной – два силуэта. Оба сидят по разные стороны от меня. Точно. Еще не сказали друг другу ни слова. Откровение тает, но остается в душе. Тайна поэзии. Тайна образа и стиха. Вдруг озарение, то, что это мне легко открылось во сне. Как можно осознать, просыпаясь? Такого еще не бывало во все мои семьдесят пять. Он унес мою смерть из-за этих двоих. Подумал и отлетел. Пропал в пустоте. Оглядываюсь. Боже правый. Куда мы зашли. Бабья горка. Здесь никогда никто не может заснуть. Богатырь – ненадолго. А я проспал целую ночь. Побратим и не думал забыться. Над нами черные сосны. Болота вокруг. Мох. До горизонта. Неподалеку вдали ровной полосой белеет вода. Что ж? Обнаружили побратима. Как-нибудь выберемся. Найдем композитора. Белая куртка и теперь для меня – единственный ориентир.

### 3.

У нас преимущество. Перед правителем. Да, он не прокладывал путь по зеленому царству болот. В ночной темноте. Крещение. Погружение. Всплытие. Как можно править, не испытав такое? И не пройдя пешком простор моховой пустыни? Особняки не возникнут здесь, на воде, как Петербург на болотах. Там, далеко. Мы не первые, кто освоил опасные топи. Сюда ходят за клюквой. А еще раньше – здесь ползли наши войска. Тонули танки. Немцы – по дорогам. А мы неожиданно – здесь. Остатки техники. Не погребенные трупы. Ушли туда, в глубину. Вот почему на Бабьей горке спать по ночам невозможно. Побратимы не спали. Я отключился.

Правитель не правит. Где он сейчас? Там, в Петербурге. Но мы с ним заодно. Он чувствует на расстоянии. Сколько прошло веков, тысячелетий, а мы – как в начале мира. Следы истории тонут, всплывают. Но здесь торжествуют простор, мох и вода. Россия – даже не континент, а продолжение океана. Солнце скользит по неподвижным, как волны, спасительным бугоркам. Синие длинные тени. Красные кочки. Пунктир наших следов. Путь к возвращению. Лучше любых ориентиров. Да. Приглашение. Возвращайся к сожженной избе. Кто-то вернулся. Мы продолжаем сидеть у корней багряных стволов. Три близких сосны. Недалеко друг от друга. Отдельно. Что происходит? Полная тишина. Мы решаем вопрос. Он очень важен. А мы смеемся. Каждый по-своему. Тихо. Беззвучно.

Кто первый? Кто следом? Кто замыкает? А не все ли равно? Без ведер с клюквой. Смешные. Станные. Бредем друг за другом. Горка дальше и дальше. Провалы знакомы. Обходим. Рядом – вполне безопасный и непроверенный путь. Параллельно тому, который мы проложили ночью. Вдвоем за одним. По его следам. А теперь светло. Первым пробираться

предложено мне. Поэт предложил. Михаил подчинился. Не могу привыкнуть к этому имени. Потому что Миша тот, кто уже в болоте не оставит следов. Привыкаю. А с этим я ведь еще не знаком. Богатырь замыкает нашу цепочку. Идут заговорщики. А я, предводитель, солидарен с правителем. Чужд политике. Вне категорий заговоров и преодолений. Кто я такой? Вероучитель? Ипостась шамана? Сам по себе? Белая куртка найдена. Кем-то из нас. Выходим к избе. Смеемся по-разному.

Одного нашли. Надо обнаружить второго. Третий готов идти. Но куда – неизвестно. Богатырь осматривает черные обгорелые бревна. Сизый остаток дыма отлетает у нас на глазах. Почему не сгорело все до конца? Утром невыносимо смотреть. Вокруг почернела трава. Тропка окружает пожарище и тоже кажется черной. Созерцание поутру заменит любую молитву. Младший молится. Похож лицом на того, которого нет. Удивительно. Я тоже молюсь. Небытию. Моему божеству. Черный запах бревен кажется фимиамом. Небытие вбирает в себя, но оно и творит. В минуту особой молитвы. Именно там, где что-то погибло. Да. Божество благодарно. Оно само не любит себя и само себя отменяет и становится бытием. Создает. Об этом писал философ Бобров. Он ждет уже скоро пятнадцать лет.

Возвращаемся. Долго. Полдня. И ни единого слова. Люблю, когда парни молчат. Идут убежденно. Мощно. По-молодому. И не обгоняют. Почтительно к возрасту моему. Никто из них не спросил, кто я такой и куда пропаду напоследок. Знают, что я сам определяю мой жизненный срок. В романе и в жизни. Пока мы вместе, наш путь обеспечен. Меньшой побратим нарушает молчание. Долго не могу понять его мысль. Думаю о своем. И неправильно. Он говорит о молодости и о старости. И о том, что кроме человеческого естества необходимы другие формы, но он не может вообразить более прекрасной, чем наша. Для него теория. А как для меня? Бобров и Сабуров – одно. А я ведь что-то могу. Человек – существо соразмерное. Парень спрашивает, о чем я думаю по ночам. Спрашивает о себе.

Я неправильно думаю. И тогда, и сейчас – целую ночь. А после вопроса облегчение, радость. Отчего? Может быть, оттого что годы не те, а я сохраняю свой разум. И в самом деле – какой я старик. Усталость в пути страшная, а я не показываю. И забываю о ней. И это легко. Смерть отдаляется. А была очень близко. Рассказываю о поэте-шамане, и вдруг чувствую, что это я говорю о другом. О чем? Спутники шагают молодыми ногами. Младший полностью переключился, переселился в меня. Потерял границу. И фамилия у него странная. Бобров. Имя его Михаил. Да, Михаил. Привыкаю. Стройный, высокий. Он хочет сравнить наши молитвы. Как творит божество? С чего начинается. Старец молится по-особому. А он, младший, все знает заранее. Правда ли это? Нет, мы ищем второго. Он ответит нам лучше, точнее. Подожди. Не торопись. Отвечаю.

А на самом деле, с трудом волочась по ровной скучной дороге, я невольно прощаюсь. Перелом наступил. Прощание долгое. Момент впереди. Шаг за шагом. Дальше – ближе. Как объяснить. Могу сказать, что это впервые.



Помимо воли. Серьезно. Прежде я никогда не прощался. Признавать и не испытывать. И так без конца. Всю мою жизнь. А потом вдруг почувствовать – вот началось. Оно. И я улетаю мыслью к началу века. Врубель где-то идет. Облик Пана. Одно в другом. Естественно. Так прощаются люди. В самом деле. Младший прав. Какие-то новые измерения. Форма существования. Вбирает в себя. Медленно. Тихо. Спокойно. Пора. Ты уже видел все. Но мир неисчерпаем. Уйти невозможно. Ради любви. Ради всего, что не познано. Прощайся и уходи. Так начинается мое божество.

Лучшего прощания вообразить невозможно. Спутники молоды. Спрашивают. Насторожились. Почтительно и отважно. Вот оно рядом – бывшее мое. Но теперь не так. Оно не мое. Происходит прощание. Уже создается что-то иное. Подарок Пана. Могу рассказать. Придумать. Предвидеть. Младший меня поправляет. Не то. Иное – не интересно. Ты, предводитель, скажи, как совершается все. Как начинается? Какое начало? Мы не ошиблись? Что? Ответ ускользает? Попробуй. Время, дорога. То, что нужно. Вы, мои спутники. Понимаете, вы уже не мои. А я не хочу. Впереди много – и у меня и у вас. Надо найти музыканта. Правитель один. Вы забыли о нем? Заговорщики. Началась новая эра. Вы сами. Объясняю, как божество начинается. Мы полюбили друг друга. Мы – к нему. Прощаться нельзя.

Ребята молчат. Не хотят моих расставаний. Дорога однообразна. Справа и слева лес. Пана и Врубеля нет. Гамсуна тоже. Младший вполне разделяет мою тоску и небывалую радость. Начало. Теперь. Вовремя. Он пробует меня обогнать. Ну, хотя бы на шаг впереди. Не удастся. Он сам отступает назад. Пан. А ты читаешь и любишь Гамсуна? Для Боброва – спасение. Он видит в тебе... Ладно. Молчу. Мы найдем композитора и соберемся. Ты согласен? Прости, я не хочу по имени. Прости. Не могу. Назови себя как-нибудь. Майкл, Микаэл. Шучу. Не обижайся. Если бы ты понимал, как больно распутывать. Проще рубить. Но я продолжаю. Люблю и говорю. Да. С вами двоими. Не вздрагивай, младший. Помни, расставание долгое. Путь пешком. По дороге и по шоссе. Возвращаемся в Петербург. И дальше на Север. Туда, где белые камни, сосны и еще одно пепелище.

Что Север? Что Белокаменка? Всю современную Русь пешком не пройдешь. Теодор весь растворился в ней. Имя тоже знакомое. Но это другой. Он композитор. Конспирация. Думал убить правителя и исчез. Попробуй найди. Тройка неполная. Друг о друге никто ничего не знает. Кассий, Брут... Иуда. Русь как соленое море. Вбирает в себя и очищает. И сама остается чистой. Прямо по Ницше. Русь – Небытие. Вот в чем новое откровение. Да. Небытие – мое божество. Берет в себя и рождает. А весь мусор цивилизации и загрязнений, которым, казалось, подавлена Русь, это все виртуальные выдумки. То, что еще не очистилось в океане. Просто. Понятно. Правда. Но почему-то вслух не могу. Спутники пропадут. Исчезнут. И я останусь один. И буду глядеть в глаза моему божеству. На ровной, прямой, надежной дороге.

Нет. Они родились. Исчезнет все остальное. Даже тот Петербург и его серебряный век. А они порождение божества. Они действительны, как само

небытийное. Вот чудо. Приоткрывается тайна. И так неожиданно просто. Я священнослужитель. Своей особенной веры. А молодые ребята – моя конфессия. Моя церковь. Точно. А ведь я думал, что Небытие не нуждается в ней. Вот мы идем, и она движется по земле вместе с нами и в нас. Храм неподвижен и передвигается по ровной дороге. Там, в болотах – крещение. И вот я туда повел и крестил. Самого себя и его. Пока одного. Микаэл – прежде нас, когда скрывался в болоте и ожидал нас на Бабьей горке. Три сосны – купола моей особенной церкви. Атлантида – крещение. А нирвана – молитва. Повторяю вслух. Молодые не исчезают. Идут. Пока только двое.

Чувствую – настает момент, когда человеку, старцу, выпадает особое знание. Предел раздвинут. Озарение осеняет и остается. Не уходит назад. Убыстряю шаг. Парни поспевают за мной. Поджигатель и тот, кто готов был убить. Однофамилец того, кто, потеряв сыновей, пятнадцать лет хотел такому, как он, посмотреть прямо в глаза. И уже посмотрел. Но не взгляделся. Мы придем. И он посмотрит еще раз. И навсегда. А после такого – будь что будет. И с ним, и со мной. Теперь я священнослужитель. Вероучение готово. Поспевают. Могу начать. Опоздал. Майкл уже начал, когда нарушил молчание. Он мне внушил исповедание веры. Оно ответ на вопрос. Что происходит? Я замечаю – деревья на обочинах нашей дороги становятся разноцветными. Как будто наступила внезапная осень. Полдень прозрачен. Каждый листик режет глаза. Темно-зеленый, золотой, лиловый, синий. Каждая крона.

Майкл и Теодор. Петр и Павел. Где Петр? Там, где Петербург? Надо найти. Неизвестно кого. Надо. Ничего не поделаешь. Теодор это не Петр. Нужен – появится. Место родилось прежде него. Так бывает. Наглядно для нас творит мое божество. Объясняю. Никто из них не смеется. Абсурд. Поверили, потому что абсурдно. У священнослужителя много дела. Только что был свободен. Кто из нас «ловец человеков»? Для правителя – новая партия. А для нас? В мире давно все – по евангелию. Форма существования. А ведь это совсем новая вера. Значит, она была изначально. И породила все остальные. Никто не заметил. Не выявил. Не обнаружил. Только сейчас выпало мне. Вера в Небытие. Конечно. Голгофа, по этой вере, – обычная смерть. А воскресение из мертвых? Рождение испостаси.

Каждое, любое деревце на пути справа и слева из глубины леса и у самой дороги – судьба, подобная человеческой. И все теперь епархия священнослужителя. Вспоминаю детство. Кажется, именно этого я хотел. Тогда у власти был другой виртуальный правитель. Его почитали одновременно и повсеместно. А я, ребенок, беспокоился тогда о его душе. Теперь это главный герой эпохи. Спаситель. Устанавливается культ. В детстве я чувствовал, что тот правитель на самом деле – другой. А сейчас я знаю, кто он. Он так же, как мои спутники, молод. Его чуть-чуть не убили вчера. Заговорщиков трое. Одного мы пока не нашли. Ищем. Но это не повторение. Вы понимаете? Новая небывалая эра. Тогда я хотел быть священником и не стал. А теперь – старец, не думал. А церковь моя идет по земле.

Вакантное место Петра. Зачем? Будет Петр – будет и Петербург. Новый Иерусалим. Апокалипсис. Нам не нужно. Все по-иному. Но Петербург существует. А это значит – и неведомый Петр наготове. Надо его немедленно обратиться. Иначе все – повторенье. Где он? Вглядываюсь в каждую березку и елку. Ищу внимательно и радуюсь – нет никого. Пейзаж. Пейзажная живопись. История живописи Бенуа. Серебряный век. Отдельные выпуски. В детстве это моя Библия. Усатый правитель – одно. А мой Эрмитаж в выпусках Бенуа – другое. Какое богатство. Тогда и родилась у меня мысль о погружении и всплытии Атлантиды. О новом крещении огромной страны. И о том, что я скромный служитель невиданного ритуала. Боже. Как хорошо. Собираю в душе. И теперь иду и невольно листаю цветные страницы моей небывалой библии. Ничего не ушло. Предчувствие оправдалось.

Теодор на белых камнях. Недалеко от финской границы. Черные остатки фундамента. Одинокая труба торчит на взгорке белой скалы. Преодолели пространство. Не получилось пешком. Электричка. Молчали весь путь. Вот он – сидит и ждет. Наш Теодор. Буду его так называть. Увидел нас. Не удивился. Готов отвечать перед любым правителем. О том, как убийство не состоялось. Виноват помышлением. Брут или Кассий. Хорошо, что нашли его мы, а не кто-то другой. Композитор. Музыка не записана. Крупный. Широкий. Богатырь чуть повыше его. Медленные рукопожатия. Они заговорщики. А я тот, кто их выдумал. Здесь на скале, на новом фундаменте, мы решаем воздвигнуть временный храм. Особому божеству. Небытию. Тому, которое все создает из себя самого.

Мы договариваемся, где бы ни были, не покидать этот храм. Рядом два озера. На скалах сосны. Шоссе на том берегу, там садоводство и неплохой магазин. Храм построим по собственному проекту. Архитектора не хватает. Найдем. Придумаем. Согласие полное. Скалы тоже опускались под воду. Всплыли. Остались озера. Место прекрасное. Для белых стен и трех куполов. Золотых. Чешуйчатых. Один купол выше другого. Не стоит изобретать новые формы. Четверо священнослужителей. Твердыня. И никакой огонь уже не возьмет. Ребята меня одного не оставят. Храм обитаем. Без ритуалов. Без прихожан. Знак того, что наступила новая эра. Не больше, не меньше. Все, что нужно из книг – в памяти. Снаружи и внутри чистые белые стены. Мелькают фрески. Воображает Небытие.

Пришли. Создали. Согласились. На башнях догорает закат. Пепелище забыто. Сюда отовсюду потянутся люди. Возможно. Приедет правитель. Сабуров младший. Бобров. Тот и другой. Невообразимая тишина. Вот возникает любимое, как фрески на стенах. Благоговение к моменту прихода из ничего. Удивляет меня – в храме всегда просторно. Свет проникает сквозь узкие окна. Что-то мерцает. А что-то приобретает четкие формы живого. Родилось и ушло за пределы. Там живет. А мое присутствие никого не смущает. Потому что я встречу здесь последний закат и первое утро. Пробую шаг в помещении. Гулко. Не надо. Все пропадает. Вечер. И мы стоим четвером. Пепелище. Лимонно-желтое небо. Труба наполовину цела. Черные силуэты. Сам я для них силуэт на белой скале. Для кого? Для себя самого? Или для них, для троих – основателей храма.

## 4.

Попутка. Маршрутка. Электричка. Петербург. Васильевский остров. Лифт. Квартира Боброва. Десять часов утра. Прихожая. Его не видно. Он в темноте. Мы тоже. Свет не включен. Философ открывает дверь в комнату братьев и одного за другим пропускает нас прямо к солнцу. Меня как будто бы нет. Комната небольшая. Диван. Круглый столик. Бюро. Дубовый резной буфет. Антикварная вещь. В углу на высокой подставке с мраморным верхом – золотая майолика Врубеля. Царевна Волхова. Подлинник. Стулья красного дерева. Садимся вокруг стола поближе к дивану. Тень от книжного шкафа. Он туда. А я напротив, чтобы философ мог меня разглядеть.

Бобров спокоен. Он держится отчужденно. Ждал, когда мы придем. Правителя с нами нет. Значит, все верно. Это не мои сыновья. И еще старик. Почему-то знакомый. И третий – мощный парень восточного типа. Моложе, чем кажется. Еще не брился ни разу. Лицо нежное, белое. Густые черные брови. Ну, богатырь, да и только. Откуда он? Любопытно. Почему здесь? Всматриваюсь. И в того старика. Актер? Поэт? Священник? Посматривает из-под седых бровей, как будто все обо мне знает и что-то может во мне изменить. Взгляд художника на свое почти готовое полотно. Поднял кисть и что-то исправил. Забавно. Вот уж он, по-моему, здесь вовсе не нужен. Как бы не помешал неосторожным словом или движением. Высокий лоб и особое спокойствие мастера. Гости почему-то любят его.

Ну, что будем делать? Я все знаю про вас. Нет, вы не представляете главного. Ты не догадываешься. Говорю сам себе. Верю себе и не верю. Почему-то вслух. А он, восточный парень, – весь внимание. Подался вперед. Меня пожирает глазами. Он молодой, а уже поджигатель. Как понять? Как мне освободиться от неприязни к человеческой форме? Дело в том, что именно такие, как эти, убили моих. Одного за другим. Такие. Поджечь и убить. Руки могут. Но как похожи оба на того и другого. Гляжу. Не ошибаюсь. Пришли. Спасибо. И только третий, громадный, широкоплечий, он, который не брился еще, он, с белым нежным лицом, поджигатель, напоминает, подсказывает без слов: да, старший и младший. Чужие. Внешность. Побратимы. Не братья. Чудес не бывает. А он почему-то нужен мне. Он спасение мое. Подался вперед. Пожирает глазами.

Зачем я пустил их в комнату сыновей? Никого никогда не пускал. Сам почти не заглядывал. Только она по утрам проходила мимо меня и будила ребят. Побратимы сюда могли заглянуть, пока я их в душе называл сыновьями. Позавчера. Один только раз. Наваждение. А потом она сказала. Во сне? Или невидимо. В коридоре. Но я все узнал. Понял и догадался. Что же теперь. Вот сидят. Прямо передо мною. И не на своих местах. Как тогда. По утрам. Они ведь любили торжественно встречать меня для разговора. Наш ритуал. Игра. Я им отчитывался в том, что сделал вчера. И что меня посетило ночью, когда я работал. Выслушивали. Смеялись. Отпускали меня. Пятнадцать лет я боялся безумия. И не входил в эту комнату по утрам. А теперь не буду бояться. Восточный парень меня излечил.

И вот все равно я отчитываюсь перед гостями. Рассказываю, как прозрел и что сотворил в эти дни. По ночам. Написано много. Исповедь. Непонятно зачем. Богатырю в новинку. Побратимы привыкли. Я не вижу их и говорю только ему. Снова безумие? Нет, что-то иное. Священник. Прямо передо мной. На свету. Солнце озаряет наши следы на пыльном паркете. Понимаешь? Это не игра и не выдумка. Наши следы. Отчетливо. Потревожена пыль. Неделю не убирал. Больше недели. Несколько лет. В тот день, когда они появились. Вот следы на полу. Он опять кажется лишним. Он мучительно слушает все, что я говорю. Мысленно поправляет. Под бородой и усами вижу его выражение. Вновь приспособливаюсь. Да. Исповедуюсь так, чтобы он меньше страдал и меня поправлял.

Кончено. А теперь дело за ними. Время дано. Подумали. Сообразили. Послушали. Священник может начать. Ожидаю. Солнце подвинулось по следам. Ближе ко мне. Задело стул, на котором сидит чужой человек. Священник все объясняет. И то, что я знаю сам. И то, о чем я даже подумать не мог. Правителя нет, потому что эти двое решили его обезвредить и не смогли. А ведь он для меня... Священник объясняет, придумывает. Нет, он уверенно воображает. А все это явь. Что? Ирреальность? Нет. Ничего не зависит. Глупости исключены. Все по порядку. Изба и болото. Белокаменка. Вместе. А где же правитель? Почему его нет? Что если он рядом? И тоже явь. Как вы сказали? Я должен решить? Кто? Именно я? Молчание. Богатырь, поэт пожирает глазами и подался вперед. Побратимы опускают головы. Сыновья, те, кто убили моих сыновей.

Политическая необходимость. Объясняет любой и всякий. Он. Психолог. Эмпатия, децентрация. Он якобы знает больше, чем я за эти пятнадцать лет. Что? Дети мои погибли, потому что возникла необходимость? Объясняет. Осуждая и поправляя. В этой комнате? И я их впустил. Успокаивает. Философ должен пережить и переживает голгофу. Не пережил. Поэтому пишу так много и долго. Да, повторяет он, есть причины. Вникай, а то иначе с годами острее. Не вынесешь. Вот они, старший и младший, знают все, что философу неизвестно. Правитель жив, потому что ситуация изменилась. Нет, не то. Предусмотрено. В моей философии. Ситуация та же. Но оказалось, что правитель невинен. Безвреден, как вы обнаружили вдруг. А дети? А гибель жены? Кому говорю? Почему? Кто поправляет меня?

Вновь тишина. Только слышно, как за окнами, по Большому проспекту, едут машины. Священник всматривается в золотую майолику. Лицо Волховы от солнечных бликов изменило свое выражение. Это она. Точно. Ее лицо. Она в этой комнате. Как ее звать? Катерина Ивановна? Или как-то иначе. Она здесь еще не была. А я только с ней одной хочу говорить. Прижимаюсь в угол. Скрываю лицо в тени. Золото Волховы слепит мне глаза. Плачет она, как будто смеется. Врубель предвидел. Священник заморожен. Та же самая боль и та же горечь. Объяснил. Успокоил. Машины за окнами. Золотой мерседес. Нет, мимо. По Большому проспекту. Чужие люди. За этим столом. Чужие. Вместе. И ничего объяснить невозможно. И никакой необходимости нет. И сразу они другие. Ближе. Родней.

Ожидаемое событие. Лифт. Подымается вверх. Долго. Мы все почему-то одинаково ожидаем, на каком этаже. Вот. Остановилась кабина. Громко распахиваются обе створки. Пауза. Кто-то вышел. Дверки сомкнулись опять. И теперь тишина. Правитель? Нет, никто не звонит. Непонятно. Он ждет на площадке. Чувствую, ждет. Надо встать и открыть. Нет, не двигаюсь. Солнце куда-то ушло. Майолика потускнела. Погасла. А лицо Волховы опять изменилось. Надо почаще открывать дверь в комнату и садиться в этот угол дивана. В тень от книжного шкафа. И в тени ожидать, как сейчас. Переливы померкшего золота очень красивы на серой стене. Покачай головой, и они оживут. Младший тут сидел по утрам и слушал меня. Старший слегка прикрывал Волхову. Тогда. А теперь. Ждем. Одно мгновенье. Другое. Неужели постоит и уйдет. Или решится. Пора. Когда? Воля правителя.

Все неловкое в моем потоке сознания перекрыто. Возможность увидеть его сейчас. Его одного. На круглом лице его – сходство с Катериной Ивановной. Он среднего роста. Ни на кого не похож. Ни на старшего. Ни на младшего моего. Могу сравнивать. Вот они прямо передо мной. Священник поможет. А богатырь все увидит впервые. Он спасение. Он доказательство, что никто не бредит и никто не сошел с ума. Доказательство. А почему нужно доказывать. Нет, не нужно. Все со мной именно так. Ожидание. Разные ожидания. Нет, одно. Мое. Только мое. Почему-то прислушиваюсь к дыханию тех, кто сидит. А его дыхание как мое. Он медлит. Раздумывает. Колеблется. Воображает. Выйти навстречу. Открыть. Обнять. Разрыдаться. Волхова. Катерина Ивановна. Плачет или смеется. Не слышу. Звонок?

Нет никакого звонка. Богатырь улыбнулся. Невольно. Правда, смешно? Позвонить. Обняться. Войти в коридор. И налево. Прямо в комнату, где собрались они, заговорщики. Против меня. Можно. Я не боюсь. И не буду бояться. Войду. Вижу заранее. Одного человека. Одного или двоих. Устал узнавать. Вроде бы все знакомы. А мое внимание правильно было бы отдать старикам. Это для них. Оно хорошо для тех, кто приближается к смерти. Особенно тому, с черной густой бородой. Или Боброву. Оба они мудрецы. Философ. Священник. Сидят. Знают, что я на площадке. Не двигаются. Ждут. И я ожидаю. Чего? Почему вспоминаю о ней. Той, что ушла. И пока не вернулась. И никогда не вернется. Лучше не втягивать ее в мою непонятную жизнь. Вот молодец. Подумал. На площадке у лифта.

Отступаю от одной двери к другой. Какая из них распахнется? Без моего нажатия на кнопку звонка. Лифт поехал вниз. Кто-то еще. Кто-то случайный. Он едет мимо меня на пятый этаж. Нажимаю на кнопку и вспоминаю. Кто-то еще нажимал. Всезнание жутко и невыносимо. Кабина возвращается. Останавливается вровень с площадкой. Громко распахиваются половинки. Свет из лифта. Ждет меня. Полминуты. Замерли. И я неподвижен, как тень. Правителя нет. Павел, один только Павел. Он увидит, когда съедутся дверцы и кабина замрет и внутри ее погаснет электрический свет. Помню. Как это было. И вдруг. Подожди. Подожди. Да.

Старик с бородой – отец того, кто упал после удара по голове. И не дотянулся до кнопки лифта. И не доехал до четвертого этажа. Когда? Зачем это было? Вот я здесь. Готов. Прислушиваюсь к тишине. Позвоню. И настанет минута преодоления.

Майкл и Теодор. Вот они. А на самом деле. Мгновенно открылись. Тогда. На пустыре. И с тех пор я не смотрел им в глаза. Отодвинул их вправо и влево. Там. И оказалось достаточно. Пропали. Почему-то хотел их увидеть и тогда, и сегодня, вчера и позавчера. Вот увижу сейчас. А третий – боевик, поэт, богатырь. А четвертый – священник. Заговор не состоялся. А я ускользнул от охраны. Всюду, невидимо кто-то меня бережет. Обманул. Уехал. Конспиратор. Здесь, на площадке, никто не догадается меня обнаружить. Оказывается уже теперь это главное дело. Скрываться. На золотой моей иномарке. Скрываться от узнавания. От того, что люди хотят. Поступаю по-своему. Не правлю и не поправляю. Новая эра. А они решили, чтобы она стала прежней. Что же? Подумай опять и нажимай кнопку звонка. Нажимаю.

Вот интересно. Кто-то вырубил электричество. Гулко. Темно. Лифт обесточен. Туда. Сюда. Нажимаю на ту и другую кнопку. Сквозь дверь в коридоре, внутри не слышу звонка. Дверцы лифта не отворяются. Электричества нет. Гроыхать кулаком? Невозможно. Спускаться по лестнице? Тоже. Попробуй. Гроыхни. Выйди. Опознают. Выявят сразу. Тут соседи. Прохожие – там. Темно. Прохладно. И незаметно. Думай об Атлантиде. То, что еще не успел. Что-то они совершили. Священник и эти трое. Крестили Россию. Античный миф. Погружение. Всплытие. Прообраз. Платон-мифотворец. Не довел сотворение мифа. Не довел до конца. Не думал, что Атлантида всплывет. Они довели. Для себя четверых. Открыли. У них преимущество передо мной. Побывали в болоте. Четверо. А как остальные?

Кабинет мой – темная лестница. Тут я свободен. Здесь одного за другим убивали. Там или здесь. Вот я живой. Отмою, очищу. Весь интерьер. Ступени, обесточенный лифт, каменная площадка. Невидимая вода уходит совсем незаметно. Прямо до первого этажа. И так везде. Все подъезды и подворотни. Очищено все. Благоухание свежести и прохлады. В полутьме и в тиши. Самое верное. Один. Регулирую всплытие. Как умею и как могу. Получается. Получилось. Кажется, все как надо. Вышло на этот раз. Пробовал прежде. И всегда что-то мешало. А теперь. Как хорошо. Без единого затруднения. И никто не узнает, и все вздохнули одновременно. И переживают одно и то же. Вот. Пробуждение от nirваны. Весело и легко. Можно спросить любого на улице, постучать в любую квартиру. Стой. Удержись. Ни в коем случае. Не шуми, не трогай, не погуби то, что сделал сейчас.

Бровов не выдерживает. Помогает священник. Подсказывает. Они молчат. Остальные. Коридор. Шаги. Отворяется дверь. Слепленный светом не видит во тьме. Привыкает. Влажные плиты. Очищенный воздух. А там. За спиной.

Голосов не слышно. И все же присутствие ощутимо. В комнате братьев. Они замерли. И оттуда падает свет в коридор. И на пороге силуэт Боброва заслоняет открытую дверь. Хозяин пропускает меня. Вхожу и сразу чувствую. Удивительно. Все как предвидел. Заговор состоялся. И обезврежен. Вот они, преступники. И вновь ничего делать не надо. Само собой. Восстанавливаю порядок. Только и нужно. Войти. Появиться. Быть. Гляди. Исчезает нирвана. Видишь, как меняются лица. Гляди. Подымают головы. А тот, с бородой, узнает и одобряет меня.

Самое безопасное место. Комната братьев. Солнечная. Стою за креслом священника. А он сидит и проповедует. Громко. Почему-то никто не слушает. Бобров спиной к нам у окна смотрит на улицу. Над крышами купол собора. Над куполом и крестом облака. Солнце ударит в глаза и снова исчезнет. Удивительное совпадение. Оказывается, у всех одинаково. Проповедь необходима. Уступаем слово тому, кто выдумал нас. Говорит, говорит. И так хорошо внимать и не думать о том, что слышим. Над- или подсознание? Правда. Все правда. Преодоление человеческой формы. И сразу новое обретение мышечной радости. Кто говорит – нуждается в помощи. Кто? А вы не узнали? Он. И опасность угрожает ему одному. Он уходит. Говорит, сидит и уходит от нас. Остановите его. Сил не хватает.

А что будет с нами, когда он уйдет? Очень просто. Не успеет нас увести за собой. Не успевает. Обманул свой распорядок. И он ведь уже и сам не слышит себя. Говорит и не слышит. И не потому что не может. Слух остается. Получается, у нас на глазах – великое таинство. Ничего себе. Главная тайна открыта. И только для нас. Обратите внимание. Только для тех, кого он придумал. Вообразил. Уберег. Собрал. И что еще? Собрал. Уберег. И, значит, все дело в том, чтобы мы оставались. Мы остаемся. И для нас главная тайна. И все-таки нет. Мы не слышим размеренных слов. Проповедь продолжается. И вдруг правитель прерывает ее. Как? Не знаю. Хочу проповедовать и не могу. До меня доходят формулировки. Но я вижу комнату, силуэт Боброва и всех, кто сидит за столом. А он, крепкий, невысокого роста, прямо за моей спиной вновь прерывает меня.

## 5.

Логика. Самообладание. Адекватность. Где они? Любой, кто посвящен в главную тайну всплытия из нирваны, поневоле теряет и то, и другое, и третье. Да, теряет и не хочет иметь. Что важнее? Благоразумие? Отказ от призвания? Слепота? Или мой особенный способ. Услышать себя самого. Там, за пределом. А потом почувствовать мои руки и ноги. Нет, не то. Снова не то. За себя и за них. Открылось. И то, что скрыто. Прозрачное. И непонятное. Воплотимое. Нет, снова иное. Вернуться. Весело. Или... Что? Прекрати мою проповедь? Да, именно так. Мою. Кто как будто берет меня за плечи и выводит оттуда? Кто меня прерывает?



Правитель. Неопытный. Молодой. Не может прервать. Студент. Экзамен по философии. Я сделаю так, что он будет его сдавать Боброву. Тому, кто стоит у окна. Спиною ко мне. Он-то как раз и не прерывает. Бойся. Опасается. Того, что происходит со мной. Только не это. Веселое небытие враждебно его философии. Подумаешь. Экая важность. Оно враждебно. Философия – область, где все легко прервать и перестроить. Больше того. Философ не должен бояться. Он знает – всплытие неизбежно. При нас или без нас. Мы думаем об одном. Переживаем одно. Вот я чувствую – меня уже нет. Проповедь продолжается. Бобров знает, что я ушел, и затаенно и внимательно слушает. Он повернулся ко мне спиной, чтобы не видеть меня. Все, что угодно, и там, за стеклом, на улице. Только не оборачивайся.

Ничего себе. Узнаю Боброва. Ладно. Стой у окна. А все-таки мне жалко с ним расставаться. Перестраивает. Последнюю главу. Вот уже перестроил. Надо бы записать. Но по-прежнему напевно звучит проповедь. Правитель не в состоянии ничего в ней изменить. Пауза, и вновь мое откровение. Спокойное. Ровное. Пауза необходима. Пожалуйста. Могу помолчать. И возобновляю с того слова, на котором прервали. Боброву легко представить, что будет сказано дальше. Сам себя не могу прервать – повторяю, меня уже нет. Сколько раз повторять. Совпадает с паузой. Вот, наконец, начинают слушать. Воплощение в слове. То, что понятно без слов. Бессловесное в слове. Наглядно оживаю и проповедую возвращение. Вот я, кажется, появился. И вот опять ухожу. Крепкий и молодой правитель снова и снова не отпускает меня. Богатырь и два побратима удвоили слух.

Катерина Ивановна. Сабуров старший и младший. Ровесник мой. И третий. Совсем еще молодой. У моего изголовья. За спинкою кресла. Их нет. И они не придут. А мы задумывали и хотели. Правитель мысленно привел их за собой. Вместо них – проповедник. Лишний. Тот, которого нет. Я сам. И все-таки я живу в их памяти и сознании. Я их придумал. И теперь они без меня. Проповедь остается. Продолжает звучать напевно. Поет в утренней тишине. Как мелодия и аккорды музыки в чужом кабинете. Но и она без меня. Слушаю вместе с другими. Кабинет мой. Пустынное поле. Пепелище. Болото. Белье камни. Катерина Ивановна. Волхова. Последняя изба на этюде Сабурова. Милая старушка-художница и ее серебряный рубль. Война. Детство. Киргизия. Климовщина. Ровное, эпохальное всплытие. Пауза.

Подождите. Майкл – единственный из нас, кто размышляет вслух. Музыка Теодора – нежный прозрачный фон для его размышлений. Оказывается, проповедовать легко, если кто-то возле тебя говорит в полный голос. Произносит отдельно каждое слово. Как Миша. Как младший Бобров. Он, другой, тот же самый. А наш хозяин, философ, стоит у окна. Слушает родной и невозможный голос убитого сына. За спиной у стола сидит он. Сходство полное. Сидит ненастоящий. Лучше не видеть. Но ведь это самообман. Голос один. И одновременно он слушает проповедь. Голос и проповедь. Рождение радости. Оно. То сочетание. Ради которого он

возвращался тогда. После доклада на пленуме конференции. Долго сидел в Летнем саду. Вернулся домой. Бродил в коридоре целую ночь. Терял сознание. Ожидал разговора.

Катерина Ивановна. Понимаю, почему Сабурова нет. Павел опять поправляет мерную проповедь и размышление вслух. Вставит слово и опять замолкает. Но сочетание остается. И, послушав, уже теперь вполне можно уйти. Не дописывать книгу. Или стоять у окна. И слушать, слушать. Голос и проповедь. Не думать и слушать. Подавляя рыдания. Подавляю. Только бы не угадали. Уж если прорвется плач, все пропадет. Умолкнут звуки. Священник вернется. Братья останутся. Побратимы подымут головы и посмотрят в глаза молодому правителю. А он подойдет ко мне и уведет меня от окна. Он очень спокоен. Вижу его. В первый раз. Круглая голова. Невысокого роста. Белая челка на лбу. Как в детстве у моего погибшего брата. Не надо. Не вспоминай. Проповедник прав. То, ради чего они собрались, давно совершилось. Ну а ты, одинокий, долистывай книгу-рыдание.

Что совершилось? Не торопись. Вновь интуиция, молодость, воля взяли свое, победили. Павел, кажется, в первый раз осознал, кто он такой. А я впервые мысленно увидел его. Мысленно. И без ошибок. Все цвета комнаты. Все предметы. Каждого, кто сидит и ожидает меня. Каждого и его, круглоголового, невысокого. В белом костюме. С белой, как снег, челкой на лбу. Испугался, мотнул головой и снова увидел. Закрываю лицо. Отнимаю ладонь. Удивительное совпадение. Проповедь продолжается. Волхова смеется и плачет безмолвно. Красное дерево. Бюро. Бюст Аполлона. Павел на середине комнаты. Остановился. Удивление. Пауза. Волевое решение. Предполагаю. Думаю. Различаю слова. Отдельные фразы. Нет. Павел не слышит. Он поступает по воле своей. И тогда и сейчас. А я проповедую.

Суть моей проповеди заключается в том, что сейчас легко избыть зло Атлантиды. Самое неприятное – при всплытии оно остается. Допускаю, в каких формах. Та же нирвана. Все оживает, кроме него. Оно готово проснуться. Майкл и Теодор. Неужели? В этой святой комнате. Тут, где на паркете – многолетняя пыль. Наши следы. А на столике у окна пожелтый Гамсун. Очень легко. Правитель безгрешен. Был и останется. Видите? Вам я отпускаю грехи. Главное – богатырь. Огненные глаза. Мы пришли. Мы у цели. Пауза. Да, недостаточно. Словом, уже без меня, тревожу и пробую набрать моей неизбывной силы. Особый способ. Когда Бобров, а не я, причастный тайнам, отпускает грехи сыновьям. И они становятся его сыновьями. Теперь уже безраздельно и навсегда. Ровно. Легко.

Правитель протягивает обе руки. Соединяю. Бобров отвечает. Возможно только реальное. Вот оно. Прикосновение. Рукопожатие. Благословение. Мое. Чужою рукой. Нет. Рукою Боброва. Ай да философ. Проповедь несомненна. Благодарит. Кого – неизвестно. Дышит. Вскрикивает. Пространство сжимается. Одно и то же. Неизмеримо. И много раз. И в тебя и в меня. Крик на лестнице. Сквозь белую дверь, коридор и входные железные двери. Я

продолжаю сидеть. Проповедь умолкает. Боброва нет. Он метнулся туда. Последний порыв. Железный запор. Защелку заклинило. Там площадка. Срываю ногти и пальцы. Вправо. Назад. Не получается. Трясу ладонями сверху и снизу. Преграда. Новый крик. Помогает правитель. Смазано хорошо. Дверь нараспашку. Лифт обесточен. Там.

Павел сбегает вниз. Быстрее меня. А я лечу. Ступени. Ступени. Перила мешают. Без них. Почти без меня. Что остается? Лишнее. Это сознание. Моя философия. Не падаю. Вниз головой. Павел там. А я еще. Поворот. Поворот. Еще. Теряю себя. Всплываю. Лечу. Первый этаж. Никого. Падаю. Сознаю. Что? Не понимаю. Что сознаю? Пустота. Почему тишина? Крик не прерывается. А на самом деле? Задохнусь. Конец. Нет. Почему-то лежу, как лечу. Воздуха нет. И не прерывается. Провал. Мой крик и медленное успокоение. Целая вечность. А на самом деле. Медленно. И возвращаю дыхание. Темная лестничная площадка. Свет сквозь грязные стекла над парадной. За мной обесточенный лифт. Холодные плиты белого камня. Он успокаивает. Холод. Вымытый камень. Лоб. Никогда не касался лбом. Нет никого.

Показалось? Было? Пробую опереться рукой. Цела. Подымаю голову. Полутьма. Обе руки. Оглядываюсь. Гулко. Дыхание прерывается и отдается от стен. Подбираю левую ногу. Встаю на колени. Пробую видеть. За лифтом ступенька вниз и почтовый ящик. Темный угол. Не видно. Что-то белое. Или, когда закроешь глаза. Вот я закрываю. То же самое. Вообще – все то же. И у тех, кто счастлив. И у тех, кто погиб. Ничего не кажется. Так одинаково. Не сознавай. А то появится что-то иное. Долго стою на коленях. Здесь это было. Здесь. Отсюда крик. Но уже никого. Кроме сына. Меньшого. Лежит. Крик почудился. Никто не кричит. И не крикнет. Как сейчас. Все не то и не так. Все одинаково. Белое пятно. Ближе и ближе. Прямо ко мне. Там, на ступенях у входа. В двух шагах от двери. Кто-то лежит.

Не понимаю. Не помню. Открывают парадную дверь. Входит Павел. Белое кажется черным. А на ступенях внизу нет никого. Я тоже стою. Даже отряхиваю колени. Пятнадцать лет убегают назад. Медленно и мгновенно. Черный силуэт по ступеням поднимается на площадку. Прямо ко мне. И становится белым. А мы покачиваемся и опираемся друг на друга. Он крепкий. Даже тепло немного особое. Круглое плечо. Я чуть повыше. Дышит прерывисто. Незаметно падает головой мне на грудь. Упирается лбом. Дыханье срывается в голос. Но это не плач. Дыхание. Выдерживаю. Слабеет. Но не позволяет себе прижаться по-детски. Обнимаю. Осторожно. Крепко. Нет. Все другое. Сжимаю и чувствую – плачет. И что-то шепчет прерывистым голосом. Было. Было. Что было? Скажи. Продолжай шептать. Было. Горячо и неслышно. Было. Голос и шепот. Мой голос и шепот.

Невероятно. Гости по-прежнему там, на пятом этаже, в комнате братьев. Они сидят за круглым столом. Солнце. Паркет. Без нас. Ожидают. По крайней мере, священник на полуслове умолк. А мы вдвоем. Он раньше меня. Он, кого

я прижимаю к себе. Он шепчет. Было. Что? Не побоялся. Предотвратил. Или как-то иначе? Видимо, что-то действительно было. Крик? Но это не так. Младший тогда не кричал. Да, все не так. Но объясни. Что же это? Какая философия? Какая новая эра? Какое всплытие? Что мы вообразили? Все по-прежнему. Если такое опять. Крик я слышал отчетливо. Это не выдумка. Здесь. Отсюда. Еще и еще раз повторяю. Он прогнал. И вернулся. Он дышит и плачет. Белый кварц. Помнишь? Оказывается, еще страшнее, больнее, когда различает жизнь, а не смерть.

Открывается дверь парадной. Там, внизу. И на пороге она. Катерина Ивановна. Сабурова нет. Одна. Тоже в белом. Как сговорились. Вовремя. Видит, я обнимаю правителя. Остановилась. Глядит прямо перед собой. Неужели она тоже слышала крик? Ничего не будет. Кажется в полутьме. Нет, все верно. Первое наше свидание. Слава Богу. Тихо. И сама не знает, зачем вошла в мою дверь. Парадная. Лестница. Лифт. Прохлада омытых ступеней. Как объяснить? А зачем? Не надо. Свидание с матерью. Кто кого уберег. Он меня или я – правителя. Сына. Павел выпрямляется. И отсылает мать легким движением руки. Первый раз в жизни. Естественно. Он повторяет свой жест. Повелевает. Но она не уходит. Подымается по ступеням и становится рядом. Прямо передо мной. Первый раз.

Кто-то распахивает парадную. Поодиночке мимо. А вот и по двое. Незаметно. И несколько раз. Мы пропускаем. Узнают, исчезают. Нет, возвращается лифт. Почему? Мимо. И снова на улицу. Убедились. Правитель. Не убежишь. Золотой мерседес. Катерина Ивановна. Парадная закрывается медленно. И вот я опять в полутьме. Там, где лежал и касался лбом промьтой ступени. Плиты под ногами – разноцветные отблески. Почему работает лифт, а для меня опять кнопка отключена? Подымаюсь медленно, тяжело. Без единого слова. Перила. Пролеты. Площадки. Второй и третий этаж. Было. Все это было. Можно войти в коридор и в комнату. И продолжить, и понемногу дослушать проповедь. Они трое меня ожидают. А я знаю заранее каждое слово. Но старший, младший, третий не хотят без меня. Что? Неужели крик повторится? Безумие? Нет. Первый и последний порыв.

Комната. Бюст Аполлона. Бюро. Нет никого. А где они? Рассеялись по квартире? Обман зрения. Вглядись. Поочередно. Все на месте. Проповедь – кульминация. Апогей. Тихим голосом. Выговаривая слова. Понемногу спадает. И завершается. Бородатый священник торжествен и невозмутим. И по глазам понимаю – он все видел и слышал. Нет, это не равнодушие. От него зависит. Ибо это он придумал всех нас. Придумал, поправил и завершил. А теперь он встает. Богатырь, поэт вскакивает за ним. Он такого же роста. Глаза горят. Подался вперед. Побратимы, помедлив, готовы последовать. Один за другим. Поочередно. Бородатому больно расстаться. Но он в воздухе держит ладонь, как будто благословляя. Поводит ею туда и сюда. Вправо и влево. И, видимо, отодвигает нас от себя.

Последняя поправка перед уходом. А мы переглядываемся. Даже я. Незаметно. Созданы, и до свидания. Протестуем. Одновременно. По-разному. Каждый по-своему. И опять без единого слова. Но бородастый успокаивает жестом и вроде бы улыбается в бороду и в усы. Все в порядке. Я уйду. А ты, Бобров, поживешь на просторе. Две недели твои. Философия завершена. Проповедь – и она уже состоялась. Прислушайся. Отзвуки, отклики ее живут в глубине. А меня прерывали, но помешать не могли. Подумай. Почувствуй и береги побратимов. Две недели – срок необъятный. У тебя все под рукой. Нужное состояние души. Страдания. Теодор и Майкл что-то хотят сказать. Им неловко. Правильно. Помолчите. Игорь Бобров. Назначенный срок. Наконец, разрешилось. А они – свободны.

Повернись. Покажи белую куртку. Порвана. Была в работе. Ладно. Ты согласен. Куда угодно. И там далеко-далеко. Продление жизни. А то и наоборот. И вы ничего не заметили? Но ты уловил особым взглядом. Уловил и запомнил. Какие тайны? Благословляю. Горько и больно. Было. Все это было. И все по-новому. Как не бывало. Белая куртка. Порванный локоть. Что? Вы хотите последнее слово? Не могу. Не имею права. Добавить уже ничего нельзя. Атлантида всплывает. Нирвана колеблется и тает, как облако в утреннем воздухе. Что еще? Зло? Прервет и исчезнет. Что еще? Все известно. Все сказано. Катерина Ивановна. Побратимы. Правитель. Прощайте. Идем. А ты меня поддержи. Я ослабел. Только-только дойти. Проводи. Мой первый и мой последний. Удивительный способ. Не прикасайся к вещам. Зашелка замка. Площадка. Лифт. Улица. Неоглядный простор.

-----

## ОГЛАВЛЕНИЕ

КРЫЛАТЫЙ ПАСТЭР. Памяти Ювана Шесталова.....	..... 4
РОССИЯ.....	.....11
САМОСОЖЖЕНИЕ.....	.....43
ПОЕДИНОК.....	.....121
МИША.....	..... 243
ИСПОВЕДЬ.....	.....259
ПРАВИТЕЛЬ	
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НИРВАНА...	..... 343
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СЛОВО.....	..... 364
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЛЮБОВЬ...	..... 385
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ПРАВИТЕЛЬ..	407
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. АТЛАНТИДА.....	... 430
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ПОБРАТИМЫ...	.. 454

**Герман Ионин**

**ПРИГЧИ**

Технический редактор В. Чернышев

Товарищество писателей в Петербурге

Текст книги размещен на сайте  
[spb-pisateli.ru](http://spb-pisateli.ru)

Издательство «SUPER»

2019

ДЛЯ ЗАМЕТОК

